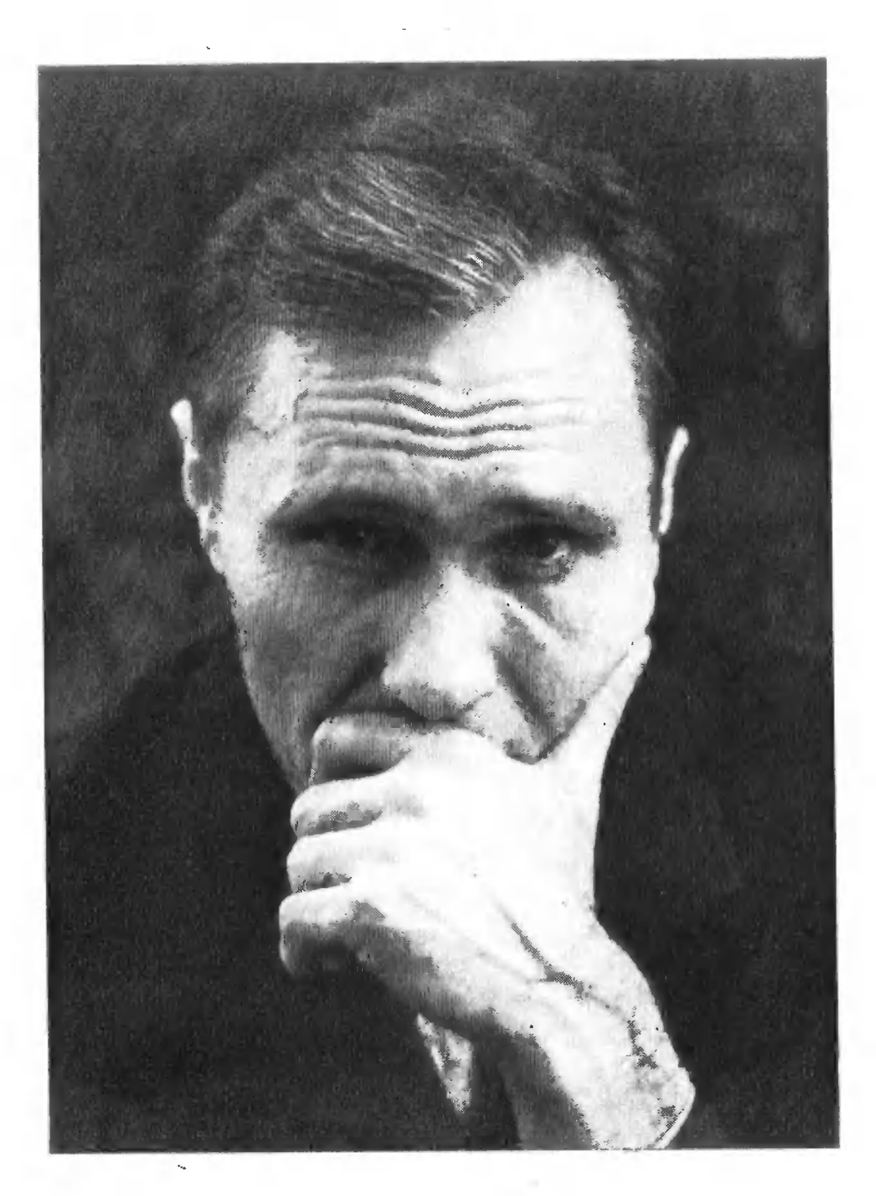
Василий

Шукшин

1



Василий **Шукшин**

Василий Шукшин

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ
ТОМАХ

Василий Шукшин

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том первый

■

ЛЮБАВИНЫ

Я ПРИШЕЛ ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ

Романы

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1984

Составитель
Л. ФЕДОСЕЕВА-ШУКШИНА

Вступительная статья
С. ЗАЛЫГИНА

Комментарии
Л. АННИНСКОГО

Ш $\frac{4702010200-065}{078(02)-84}$ Подписное

ГЕРОЙ В КИРЗОВЫХ САПОГАХ

Вот уже и Шукшин стал историей нашей литературы и искусства... И это кажется странным, кажется, только вчера он не только творил, но и жил.

Однако это было десять лет тому назад, а ныне по-другому: он уже не живет, хотя по-прежнему творит нечто в наших душах. Нечто, называемое искусством.

Каждый, кто писал и говорил о творчестве Василия Шукшина, не мог без удивления и даже какого-то чувства растерянности не сказать о его почти невероятной разносторонности.

Должно быть, это чувство надолго, так же будет и в дальнейшем, а исключения смогут иметь место лишь при рассмотрении того или иного отдельно взятого произведения Шукшина. И то далеко не всегда, ведь Шукшин-кинематографист проникает в Шукшина-писателя, каждый его фильм всегда литературен в лучшем смысле слова. Его нельзя воспринимать «по разделам», и вот, читая его книги, мы видим автора как бы на экране, а глядя на экран — вспоминаем его прозу.

Эта слиянность самых разных качеств и дарований не только в целое, но и в нечто очень определенное, вполне законченное еще и еще радует и удивляет нас сегодня, будет радовать и удивлять всегда.

Мы видим щедрый дар природы и необыкновенную личность личностью, а не набором качеств и способностей, видим, что эта личность меньше всего заботилась о самой себе, о том, чтобы проводить в самой себе грани: вот я — актер, а вот это я — писатель, я — режиссер, я — сценарист. Забот такого рода мы в Шукшине не заметим, самая их возможность была ему чужда, несвойственна, свойственна же полная естественность и непринужденность в обращении со всеми своими способностями, как будто только так и должно быть, как будто удивляться этому и даже это замечать совершенно ни к чему.

По этому поводу возникают, пусть самые добрые, а все-таки недоумения: и много писал, много ставил картин и хорошо писал, хорошо ставил — когда же успевал-то? А может

быть, надо спросить по-другому: не «когда?», а «почему?». Почему успевал?

Одержим был, работал по ночам — это было. Умел писать? Но и это еще не все — каждую задуманную вещь нужно уметь пронести сквозь житейские неурядицы и заботы, осуществить свой замысел не вне, а среди этих забот. Чего-чего, а этого добра Шукшину всегда хватало, биография его известна широкому читателю, биография и доказывает это. Значит, и это он тоже умел. Но вот еще что: Шукшин умел не делать лишней работы. Он писал быстро, энергично, но не суетно; по поводу своих вещей он не пускался в рассуждения о том, что́ есть искусство и каковы отношения искусства с действительностью, никогда и никому не доказывал он, что его произведения — это сама жизнь, что жизнь эту он знает вдоль и поперек, не говорил, что пишет «правду сегодняшнего дня». Он умел тонко почувствовать, что́ есть произвольная выдумка художника, а что́ действительно требует искусство, и делал никак не меньше этих требований. Но и не больше — больше, всякие ухищрения, умствования, завлекательности, моды и поветрия были ему прямо-таки противопоказаны. Никогда из его произведений не «торчали уши», никогда эти произведения нельзя было безболезненно сокращать (равно, как и добавить к ним что-то тоже было нельзя).

Вот эта врожденная мера, это безупречное чувство требований искусства было исключительной способностью Шукшина. Ну а затем уже следовало и все остальное.

Тут был врожденный артистизм, он и помогал затрачивать на каждое свое произведение столько сил, сколько действительно нужно.

Он умел безошибочно определять грань между актерством и артистизмом.

Шукшин принадлежал русскому искусству в той его традиции, в силу которой художник не то чтобы уничижал себя, но не замечал себя самого перед лицом проблемы, которую он поднимал в своем произведении, перед лицом того предмета, который становился для него предметом искусства. В этой традиции все то, о чем говорит искусство — то есть жизнь в самых различных ее проявлениях, — гораздо выше самого искусства, поэтому традиция никогда не демонстрировала своих собственных достижений, своего умения и техники, а использовала их как средства подчиненные. И поэтому искусству в этой традиции никогда не угрожала искусственность, тем более был далек для нее фокус, трюк, пусть и очень красивый, оригинальный, занимательный.

Такое умение держаться естественно и просто перед лицом

самой трудной творческой задачи, неизменно оставаясь самим собою, вероятно, лучше других выразил А. П. Чехов, очень сердито отозвавшись о виртуозности искусства, сопоставив одно и другое почти как антиподы.

Самое же главное, что именно эта традиция в конце концов и создала непревзойденные образцы формы и стиля, и так бывает всегда: для того чтобы решить задачу, хотя бы и труднейшую, ее нужно низвести до второстепенного положения, до положения составляющей, выдвинув на первый план сверхзадачу.

И здесь для Шукшина попросту не было ни вопроса, ни выбора. Он ведь представлял то искусство, которое есть не только правдивое, не только талантливое изображение жизни, но и сама жизнь реальная, повседневная, героическая, разная.

Казалось бы, этот человек должен был обладать самым высоким мастерством перевоплощения из одной своей ипостаси в другую, но так только казалось, в действительности же он обладал неповторимым умением всегда оставаться самим собою. Умением и чувством внутренней необходимости такой неизменности.

И вот всякий раз, когда мы шли смотреть фильм с его участием, мы встречались не с актером, а с ним самим, с Шукшиным, с тем человеком, который есть он. А глядя на экран, мы чувствовали, что сами понятия «актер», «роль», «игра», понятия, с которыми мы свыклись с детства, которые устоялись в нашем сознании как будто бы навсегда, — вдруг нарушаются, становятся странными условностями опять-таки потому, что перед нами предстает все тот же Василий Шукшин как таковой, не только без грима, но, кажется, и без игры.

Мы знаем, что в его руках весь фильм, что это его сценарий, его режиссура, его исполнение, но сам он относится к этому как бы между прочим. Он сейчас никакой не хозяин и не творец фильма, задумавший и воплотивший его от самого начала до самого конца, от впервые промелькнувшей мысли и догадки до монтажа готовой ленты; все это остается «за» — за пределами нашего восприятия, и нам кажется, будто не Шукшин снимается, а кто-то другой снимает его скрытой камерой для того, чтобы спустя время он увидел себя.

Увидел и сам себя рассудил: так ли, по-человечески ли он поступает? Не обнаружила ли скрытая камера какого-то ложного поступка с его стороны? В том числе и какого-то стандартного актерского жеста или того экранного выражения лица, которое представит его актером, с которым миллионными тиражами издаются фотографии больших и малых кинозвезд? Ведь в любом кадре и на любой странице его никто не должен подменить, никому, никогда, ни на одну минуту он не передо-

веряет самого себя. Равно как никогда ни у кого он ничего не заимствует, ни у кого не ищет ответа — как ему быть, как жить, как творить?

Мне кажется, последние годы жизни Шукшина были таким периодом, когда все, что его окружало — все люди и факты, — становилось для него предметом искусства, касалось ли это ссоры с вахтером в больнице или изучения биографии и деяний Степана Разина.

Исключений нет. И вот уже и его дети, и мать, и соседи — это актеры в его фильме, и его не только ничуть не смущает отсутствие у них актерского профессионализма, это как раз и привлекает его. И вот уже сосед и каждый человек, навестивший его в больнице, каждый спутник в поезде или в автобусе — это его герой, его персонаж.

Всегда ли необходимо это для истинного художника или не всегда — другое дело, но для него это так. Для него уже не имеет значения, что может быть и совсем иначе, когда у художника с годами до предела обостряется чувство отбора таких фактов и событий, которые являются его «собственными» предметами искусства.

Одно можно сказать, что жить среди людей, происшествий и впечатлений, каждое из которых требует своего, причем законного, места в твоем искусстве, каждое рвется через тебя на бумагу, на сцену, на экран, настоятельно требуя и ропща, — это очень трудно.

Тем более что конца ведь этому нет, не предвидится, каждый год эти требования множатся и множатся! Собственно, это уже не совсем жизнь, а постоянное и безоговорочное расходование себя на все эти требования.

Кстати говоря, в этой неизменной отзывчивости на любое проявление жизни, на любой ее случай Шукшин исполнил еще одну отнюдь не маловажную задачу: мне думается, что он восстановил в русской литературе рассказ случая.

Мы уже отвыкли от этого непринужденного повествования, от манеры устного собеседования и сказа, переданных через письменный рассказ, нам подавай такую литературу, чтобы в ней просматривался «акт творчества» во всей его красе и чтобы занимательность была именно такая, какую мы нынче признаем.

А вот старик Григорович, тот однажды вышел из дома, поговорил с садовником, и это стало рассказом, Чехов встретился с егерем — другой рассказ, проехал по степи — повесть, да еще и какая! И Короленко это умел. И Куприн. И многие другие, а мы — разучились.

Так вот, Шукшин восстановил эту литературу случая, конеч-

но, не в прежнем ее дотошно-повествовательном виде, но восстановил, и это очень существенно.

Существенно и многое другое, что является продолжением жизни художника после того, как его не стало. Его уже нет, ну а что же происходит с его произведениями? Как, в каком ракурсе и виде продолжают они восприниматься и читателем и литературоведением? О чем споры? О правомерности и ценности той манеры и тех приемов письма, которые использовал, а может быть, и заново открыл художник? О том, кто же нынче продолжает эту манеру и эти приемы? Сколь успешно это продолжение? Нет, мне кажется, что время этих именно споров все еще не настало, оно еще впереди, а нынешние размышления — и это вполне естественно — касаются вопроса гораздо более злободневного и важного, они, в общем-то, сводятся к другому вопросу: кто таков герой Шукшина? Кто все они, эти чудики, земляки, дяди Ермолаи, Макары Жеребцовы, генералы Малофейкины, танцующие Шивы, мужики Дерябины и Сивые? Что они значат для нас сегодня? Что будут значить завтра?

Собственно говоря, уже возникновение этого вопроса — кто таков есть герой, созданный художником десять, двадцать, сто, тысячу лет тому назад, — это и есть несомненная жизнь литературы и доказательство того, что художественное произведение создано всерьез и надолго.

Одну из своих последних книг Шукшин назвал так: «Характеры».

Но всю свою творческую жизнь он ведь только и делал, что изображал на экране и писал характеры.

В сравнительно раннем романе «Любавины» еще не было строгого, мастерски разработанного сюжета, еще можно было спорить о том, насколько реальны и правомерны события, о которых повествует автор, еще можно было усомниться во всем том, что называется «приметами времени» (то есть приметами начала двадцатых годов в сибирской деревне), но, что-что, а характеры-то уже были и там — и какие!

Герои «Любавиных» — это личности по-своему исключительные, исключительно злые, исключительно сильные, исключительно благородные, но впоследствии в своих рассказах Шукшин, кажется, начисто отказывается от такой исключительности, его внимание привлекает теперь личность рядовая или почти что рядовая, если и обладающая некой исключительностью, так только такой, которую вот так — с первого взгляда — нельзя заметить, чтобы ее заметить и увидеть, ее сначала надо открыть.

Шукшин и был таким открывателем — открывателем характеров, которые, не будучи исключительными, обязательно несут

в себе что-то особенное, то, что утверждает в них их собственную, а не заемную личность. Причем эти люди всегда не только характеры — они еще и среда, они явление социальное, общественное.

Может быть, ближе других подошел к точной характеристике этих характеров Л. Аннинский, когда он говорил: «По первому впечатлению, книги Шукшина — это пестрый мир самобытнейших, несхожих, самодействующих характеров, но, вдумавшись, видишь, что этот мир зыблется, словно силясь вместить что-то всеобщее, какую-то единую душу, противоречивую и непоследовательную, и вовсе не множество разных типов писал Василий Шукшин, а один психологический тип, вернее, одну судьбу, ту самую, о которой критики говорили неопределенно, но настойчиво: «Шукшинская жизнь» *.

Это интересное наблюдение и заключение, но понималось оно критикой по-разному, никто, кажется, Аннинскому не возражал, но и мало кто делал отсюда надлежащие выводы, а потому самым распространенным, а пожалуй, и самым удобным толкованием было такое: шукшинский герой и характер — это «чудик».

Шукшин пишет чудиков — вот и все, и, что бы там ни случилось, это объяснение всему. С чудика ведь какой спрос? Никакого! А если чудик будет кого-то там, хотя бы и литературного критика, спрашивать: «Кто я?!» — ему ответить проще простого: «Ты — чудик!» И все этим уже объяснено.

Да и сам-то Л. Аннинский, кажется, тоже отдал некоторую дань этой точке зрения, когда писал в той же статье:

«На одном полюсе этого мятежного мира — тихий «чудик», невпопад тыкающийся к людям со своим добром и теряющийся, когда его ненавидят.

На другом полюсе — заводной мужик, захлебывающийся безрасчетной ненавистью, только и мечтающий взлететь над заезжим умником и «скружить» на него сверху: посрамить, унизить, втоптать» **.

Но... начать хотя бы с лингвистики: как же так у нас получилось-то, что «чудик» — это тип? Чудик не должен быть типом, это ему противопоказано, он ведь нетипичен, и хочет не хочет, а все-таки противостоит типичности.

И вот мы читаем рассказы Шукшина, и что же? Разве у нас остается впечатление, будто мы познакомились с героями не от мира сего? Которые стоят где-то в стороне от быстротекущей современной жизни и составляют особый род, обладающий осо-

---

* Шукшин В. До третьих петухов. М., «Известия», 1976, с. 639.

** Там же, с. 648.

быми же понятиями и представлениями, какой-то исключительной психологией?

Да ничего подобного, наоборот, именно благодаря им, чудикам, мы нашу собственную жизнь чувствуем и понимаем более определенно, не говоря уже о жизни той среды, в которой существуют они.

И значит? Значит, какие же они чудики, если они приоткрывают какие-то стороны нашей общей жизни? Если они, сами, типичны?

Наконец, обратим внимание на элементарную статистику. Хотя она очень часто и противопоказана литературе и литературоведению, но все-таки.

Раз — чудик, два — чудик, три — чудик, тридцать три раза, сто раз — он же? А ведь их сотни у Шукшина, а тогда в чем же дело? Где же и чего ради он их выискивал в таком несметном числе?

И лишь недавно я прочел по поводу шукшинских героев нечто такое, с чем могу полностью согласиться... Цитата предстоит как бы двойная: я цитирую автора Ш. Умерова, автор же цитирует еще кого-то.

Итак:

«Большинство пишущих о его (В. Шукшина. — *С. З.*) героях продолжает считать их чудаками — «чудиками»... В одной из статей сборника «Гуманистический пафос советской литературы» «чудачество» рассматривается уже как основной принцип писателя: «Чудачество как поэтически заостренный, даже гротесково преувеличенный творческий прием для изображения человеческой неповторимости, особости — таково своеобразие творческой манеры Шукшина».

...Да, они действительно отличны от многих литературных персонажей, только это вовсе не обязательно предполагает «чудачество». В. Шукшин — в чем грань его подлинного новаторства — увидел и показал незаметных, точнее, не замеченных до него людей. Такого «человека и гражданина» Н. Н. Князева, таких Василиев Князевых, Пупковых, Козулиных, Рязанцевых словно не существовало до него в литературе... Он как художник утвердил их в праве быть такими, признал законность их расширяющихся интересов...» И далее: «Нет, у него — типы, штрихи характерного и закономерного. Необременительные представления о чудачестве его героев препятствуют осознанию тех открытий, которые совершил В. Шукшин».

Скажем от себя: что верно, то верно: препятствуют!

И тем самым утверждают представление о стандартном человеке, о такой «массе», любое отклонение от которой уже есть «чудачество». И если сегодня редкое исключение составляет в

этой массе «чудик», так завтра, глядишь, исключением уже будут и «типы»! Зачем массе типы, если ее идеал — однотипность?

Но человеку нужны индивидуальность и характер, как их понимал Шукшин, — нужны, нужны! — и вот уже поиск собственного характера тоже становится явлением типичным, а люди, которые испытывают на себе это требование и стремятся воплотить его в себе и в своей жизни, — это вовсе не одиночки, тем более не «чудики», это современный и достаточно распространенный тип. Его-то и открыл Шукшин.

Он открыл его в той среде, которая была ему ближе и понятнее, и это естественно, которая испытывает одновременное влияние и вековых канонов сельского существования, и еще не сложившегося существования городского, энтээровского — благодарная для такого рода открытий среда! Однако, это вовсе не значит, будто герои Шукшина изолированы от остального общества.

Ничего подобного, посмотрите, как любила и как продолжает любить Шукшина и городская интеллигенция самых различных специальностей, «очкарики» всех направлений?! А почему? Да потому, что им, «очкарикам», тоже отнюдь не чужд этот тип, он вовсе не ограничивается одной-единственной средой.

Очень возможно также, что открытие этого типа Шукшиным относится не только к современности, но и к прошлому — разве в прошлом не было таких людей?

Но вот тогда они действительно были чудаками и «чудиками», были одиночками, когда же НТР стремится стандартизировать всех и вся, это уже типы, противостоящие такому стремлению, типы со своими особенностями и со своим собственным восприятием явлений общественных.

Ныне они не замыкаются в гордом одиночестве, не противопоставляют себя обществу и его чаяниям, его науке и искусству, а скорее наоборот — стремятся по-своему этому обществу подсобить и самим фактом своего существования, и теми «идеями-фикс», которые они исповедуют. Больше того, они то и дело добиваются общественного признания, справедливо полагая, что, если они стараются внести некую лепту в жизнь общества, так их тоже должно заметить и признать.

Это — многочисленное своего рода «Добровольное общество самодеятельных изобретателей», удачливых, а чаще, пожалуй, и неудачливых, но только изобретают они не в технической, а в социально-нравственной области, во всем том, что мы называем формированием современной личности.

Интересно, что даже Егор Прокудин, вор-рецидивист, и тот дорожит вниманием к нему общества, ему при любых обстоятельствах совершенно небезразлично все то, что о нем могут

подумать, что сказать, как могут к нему отнестись, ему тоже очень важно оставаться такой личностью, которую, если уж не признáют безотлагательно, так, по крайней мере, поймут, проявят к нему интерес — то ли удивятся ему, его смелости, находчивости и той щедрости, с которой он разбрасывается деньгами, то ли займутся его перевоспитанием — это для него тоже дело не последнее, он и на этот счет соображает, как и что; то ли в какой-то семье он будет принят, то ли навсегда отвергнут.

Иногда мне даже думается, что именно этот поиск общественного, если уж не признания, так понимания, дает нам повод полагать, что Егор Прокудин — первый и наиболее выразительный в том разнообразном ряду типов, которых создал, а одновременно и открыл для нас Шукшин.

Первый — по значительности, по остроте постановки вопроса, доведенного в этом образе до своего апогея, до той границы, за которой этот тип — Егор Прокудин — действительно оказался бы уже уголовником, но на этой границе — он все еще фигура больше ищущая и трагическая, чем элементарно-уголовная.

Егор непоследователен: то умиленно-лиричен и обнимает одну за другой березки, то груб, то он ерник и забулдыга, любитель попоек «на большой палец», то он добряк, то бандит. И вот уже иных критиков опять смутила эта непоследовательность, и они приняли ее за отсутствие характера и «правды жизни». Критика не сразу заметила, что такой образ до сих пор не удавалось, пожалуй, создать никому — ни одному писателю, ни одному режиссеру, ни одному актеру, а Шукшину потому это и удалось, что он — Шукшин, пронзительно видящий вокруг себя людей, их судьбы, их жизненные перипетии, потому что он и писатель, и режиссер, и актер в одном лице.

Очень, очень многое нужно художнику, чтобы такой образ создать, и все, что для этого было нужно, Шукшин имел.

Но дело этим не исчерпывается.

Непоследовательность Прокудина вовсе не так проста, стихийна и ничем не обусловлена, она отнюдь не пустое место и не отсутствие характера.

Прокудин ведь последовательно непоследователен, а это уже нечто другое. Это уже логика. Его логика не наша логика, она не может, наверное, и не должна быть нами принята и разделена с ним, но это вовсе не значит, что ее нет, что она не в состоянии перед нами открыться и быть нами понята.

И не так-то часто мы имеем возможность сказать: вот такого человека, такой тип и характер, такую логику я не знал не ведал, быть может, даже и не подозревал никогда в жизни, но сегодня, в течение каких-нибудь нескольких часов, я все это с

помощью искусства постиг, узнал! Узнал не только умом, но и сердцем.

Это с нами происходит, очевидно, в тот момент, когда не быстро и не тихо, а ровным шагом Егор двигается по только что вспаханной им пашне навстречу своей смерти.

Идет, зная, к чему идет.

Идет, сначала отправив прочь своего подручного на пахоте, чтобы не было свидетелей всего того, что сейчас неминуемо произойдет, чтобы человеку, к судьбе Прокудина никак не причастному, не грозила какая-то опасность, какие-то неприятности свидетеля.

Мы помним, как звучно и продолжительно раздаются удары сапог Прокудина по деревянным мосткам, когда он выходит из тюрьмы на волю, быть может, продолжительность их даже утомила нас, но вот он почти неслышно, но почти в том же ритме шагает по пашне, шагает с воли в смерть, и круг замыкается, и тут многое нам становится ясным.

Ясным и пронзительно отчетливым, хотя с нашей точки зрения это и бессмысленно — вот так идти навстречу своей смерти, вот так отправить в сторону единственного свидетеля, вот так упасть на землю со смертельной раной.

Но тут-то мы и понимаем, что этот человек — Егор Прокудин — только так и должен был поступить — об этом ведь говорила вся предыдущая его непоследовательность.

А понять человека — значит уже сочувствовать ему, мысленно участвовать в его судьбе, сопереживать ее. Тем более что Прокудин как раз этого и ждал от нас — понимания. Ни любви, ни жалости, ни покровительства, ни помощи, ничего от нас он не принял бы, а вот наше понимание ему необходимо. Необходимо опять-таки по-своему — он ведь все время этому пониманию сопротивляется, недаром он и был столь непоследователен и выкидывал колена, но все это именно потому, что наше понимание было ему необходимо, он и завоевывал его так, как умел. Он как бы и умер-то потому, что хотел, чтобы его поняли. Мы ведь гораздо более склонны понимать мертвых, чем живых, и Егор Прокудин это знал.

Эта его алогичность может быть названа как угодно: процессом перевоспитания, упрямством, диким самолюбием, грубостью, глупостью, ёрничеством, но любое название скорее характеризует нас, чем его. Все сводится к нашему пониманию и чувству, а чувство он вызвал в нас гуманное, этот разбойник.

Чуткое и понятливое отношение одного человека к другому — это и в жизни, и в искусстве всегда гуманизм. А чем же это еще может быть?

Мы должны — и Шукшин это подчеркивает и доказывает, —

мы должны признать за человеком его право на самовыражение. Без этого признания нет личности... Конечно, всему есть мера и критерии, которые и определяют, какое самовыражение обогащает общество, а какое — губит, роняет его достоинство.

Губошлеп из «Калины красной» тоже ведь может утверждать, будто убийство — это не что иное, как способ самовыражения, и это утверждение будет не лишено формальной логики, но тут-то и проявляет себя искусство, которое, помимо логики, обладает еще и мыслью нравственно-художественной и утверждает нас в безоговорочном понимании того, что вор Губошлеп — убивает, а вор Прокудин — самовыражается.

Больше того, мне вот кажется, что самовыражение Прокудина и Степана Разина чем-то и как-то объединяет их между собой, и вот уже при всем том блеске и роскоши одежд, которые привез с собой Разин из последнего похода в Персию, он нет-нет, да и предстает передо мною героем в кирзовых сапогах...

И тут же снова и снова начинаешь думать, догадываться о том, что Прокудин и Степан Разин дают нам понимание не только самих себя, но и своего художника — Василия Шукшина.

Надо было быть Шукшиным и жить его напряженной, безоглядной, беспощадной по отношению к самому себе жизнью, надо было, просыпаясь, каждое утро идти на «вы» — на множество замыслов, сюжетов, деталей, сцен, диалогов и событий, чтобы твой герой вот так же прошел по вспаханным им же бороздам навстречу своей смерти.

Мы не хироманты и не предсказатели судеб и, когда читали и когда смотрели «Калину красную», ни о чем не догадывались. И хорошо, наверное, в этом такт самой жизни, как правило, избавляющей нас от такого рода догадок, это хорошо и для художника — ему отчетливая догадка была бы ни к чему, но теперь-то, когда художника не стало, спустя годы, многое становится на свои места. Теперь мы, кажется, знаем, почему Шукшин-актер смог пройти по пашне именно так, как он по ней прошел.

Так же как Шукшин без грима играл, так же без грима он и писал. И тут снова как бы присутствовала скрытая камера, только теперь она была направлена не на него, но им на кого-то другого.

При этом технологические понятия литературы — сюжет, фабула, завязка, кульминация — теряли свое значение, смещались и заменялись понятием жизни, и даже не понятием, а ею самой.

Ею самой, выраженной в характерах и ситуациях, в нравственных ее началах, поскольку без них искусство не искус-

ство, литература не литература, да и сама жизнь тоже не жизнь.

У Шукшина никогда не было и тени умиления или заискивания ни перед своими героями, ни перед самим собой. Больше того, он был очень суров в отношении и к ним, и к себе той суровостью, которая неизбежна, если писатель знает и понимает людей и не делает особого исключения для себя, если он хочет, если страстно желает, чтобы им было не только лучше, но чтобы и они сами тоже были лучше.

А его герои никогда не обижались на него за это. Иначе говоря, они всегда оставались достоверными, убедительными и, безупречно выполняя предписанную им автором роль героев и действующих лиц, оставались самими собой, живыми людьми.

В последней строке своего последнего произведения Василий Шукшин спросил: «...что с нами происходит?»

И его герои пытаются на этот вопрос ответить.

Сергей ЗАЛЫГИН

Любавины

РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Любавиных в деревне не любили. За гордость.

Жили Любавины как в крепости: огромный крестовый дом под железной крышей, вокруг дома — заплот из вершковых плах. В ограде днем и ночью гремят проволокой два волкодава с красными злыми глазами.

Мужиков Любавиных пятеро: отец и четыре сына. Спокойные, угрюмые, с насмешливыми умными глазами вприщур.

Старик Емельян Спиридоныч — огромный и угловатый, как коряга. Весь зарос волосами. Волосы растут у него даже в ушах. Скуластое, грубой ковки лицо не выражает ничего, кроме презрения. Уважал Емельян в человеке только силу. Хозяйство за жизнь сколотил крепкое, гордился этим и учил сынов жить так же. Сумеют — можно лучше. Сыны не то что уважали его, скорей — побаивались, поэтому слушались.

Старший — Кондрат. Медлительный, лобастый, с длинными руками. Больше смотрел вниз. А если взглядывал на кого, то исподлобья, недоверчиво. Людям становилось не по себе от такого взгляда. Вообще редко кто испытывал желание «покалякать» с ним о жизни у ворот перед сном грядущим. Кондрат не страдал от этого. Верил только отцу, отцовскую житейскую мудрость принимал безоговорочно. Знал в жизни одно — работать. И работал от зари до зари — молча, терпеливо, упорно. На все остальное смотрел, как и отец, — презрительно. Не выносил, когда при нем много разговаривали.

Второй сын — Ефим.

Этот помягче был. Умел разговаривать с людьми, иногда улыбался. Но улыбался так — для солидности. Был он мужик хитрый. Сам про себя знал: не оплошает в трудную минуту, найдет выход.

Жил он отдельно, своим хозяйством. Как-то незаметно вывернулся из-под влияния отца... Но своей са-

мостоятельностью не раздражал его. Зря не спорил. Приходил советоваться к родным. Охотно поддакивал отцу, а за душой таил другое, свое. Братья понимали, что Ефим — себе на уме. Было ему за тридцать.

Третий — Макар. Самый «суетливый» из всех Любавиных. Ходил в чистой рубахе, волосы аккуратно причесывал. Лицо красивое и злое. В глазах его постоянно таился ядовитый смешок. Любил подраться. Обиды никому не прощал, не спал ночами, стонал, ворочался — выдумывал один за другим коварные мстительные планы. В драке мог в любую минуту выхватить из-за голенища нож и в свалке, под шумок, запустить кому-нибудь под ребро.

Парни боялись его. Он знал это.

Самый младший из братьев — Егор. Задумчивый парнина, круглолицый и стройный, как девка. Будь он немного разговорчивее и веселее, любая, закрыв глаза, пошла бы за ним. Было в его лице что-то до боли привлекательное: что-то сильное, зверское и мягкое, поразительно нежное — вместе. Но он почти ни с кем не разговаривал и улыбался редко, неохотно. На девок, однако, смотрел и снился им ночами.

Эти двое не были еще женаты.

2

Ранняя весна 1922 года.

Темными мокрыми ночами с шумом, томительно и тяжко оседал подтаявший снег, и в лесу что-то звонко лопалось с протяжным ликующим звуком: пи-у...

За деревней, на сухих прогалинах, до самой зари хороводилась молодежь. Балалаечники, настроившись по двое, высекали из своих тонкошеих инструментов неукротимый серебряный зуд.

Парни топтали тяжелыми сапогами матушку-землю — плясали, пели частушки с матерщиной, часто дрались... Просилась наружу горячая молодая сила.

А над рекой, пронизывая сырую, вязкую тишину медным витым перебором, голосила великая сводница — тальянка. Девки рассыпали по доскам шатких мостков сухую крепкую дробь, пели зазывные припевки.

Жизнь шла своим чередом.

Первым, как всегда, проснулся Емельян Спиридоныч. Он спал на кровати. Укрывался зимой и летом тулупом.

Скинул на пол босые ноги, достал пятерней промеж «крыльцев», зевнул и пошел в сени умываться.

На печке неслышно, как тень, завозилась хозяйка — Михайловна. Привычно перекрестилась и прошептала:

— Господи, господи, прости нас, грешных...

В горнице жалобно скрипнуло старое кроватное железо — проснулся Кондрат. Несколько раз глухо и густо кашлянул; понесло махрой. Он тоже один спал — жена лежала в больнице, в уезде.

На полатях досыпали свои законные — по молодости — минуты Макар с Егором. Егор спал с краю, вытянувшись во всю длину полатей. Рядом, скрючившись, закинув ноги на брата, похрапывал Макар. Эти проклятые ноги Егор каждую ночь то и дело скидывал с себя, матерился негромко... Но все равно к утру ноги обязательно лежали на нем.

Емельян вернулся из сеней, приглаживая на ходу кудлатую голову. Сказал, ни к кому не обращаясь:

— Седня пригрет здорово.

— Все уж... паска на носу, — откликнулась Михайловна. Она затапливала печку.

Емельян Спиридоныч обулся, встал на припечье, тряхнул Егора:

— Подымайтесь.

Егор легко отнял от подушки голову, вытер ладонью губы, полез с полатей. Макар, не открывая глаз, перевернулся на другой бок и снова захрапел. Он вставал последним. Приходил с улицы обычно к свету, спал самую малость, а утром его вместе со всеми подпимал отец. Макар боролся, как мог, за лишнюю минуту сна. После каждого оклика он уползал все дальше в глубь полатей и под конец оказывался у самой стенки. Там отец доставал его ухватом. Толкал в бок железными рогами и говорил беззлобно:

— Ты гляди, что выделывает, боров... спрятаться хочет. Эй!

Макар поднимался злой и помятый. Ворчал:

— Пихает, как колоду... Они же вострые!

Младшие братья наскоро ополоснули лица, пошли во двор убираться — задавать корм скоту, поить лошадей...

Занимался рассвет.

По всей деревне скрипели ворота, колодезные валы, гремели ведра. Переговаривались, покашливали люди,

Из края в край, то стихая, то с новой силой, весело горланили петухи. Где-то отчаянно ломилась из закутка свинья.

Небо было ясное. Воздух стоял чистый, по-утреннему свежий, с тонким запахом дыма и парного молока.

Макара слегка пошатывало — не выспался.

В конюшне, взнуздывая жеребца, он тоскливо попросил брата:

— Сделай один, а? Я где-нибудь придавлю с часок. Прямо с ног ведет — до того спать охота.

— Лезь, спи, — согласился Егор. — Только подальше куда-нибудь.

Макар забрался на сеновал, зарылся в сухое пыльное сено, с величайшим удовольствием зажмурился... Засыпая, забормотал:

— Жили же цари, мать их в душу! Спали сколько влезет...

Егор погнал на реку лошадей.

По Баклани густо шел лед. Над всей рекой стоял ровный сплошной шорох. В одном месте, на изгибе, вода прибивала к берегу. Льдины покрупнее устремлялись туда, наползали на берег, разгребая гальку... Показывали скользкие, изъеденные вешней водой морды, нехотя разворачивались и плыли дальше. Умирать.

Сразу за рекой начиналась тайга — молчаливая, грязно-серая, хранившая какую-то вечную свою тайну... А дальше к югу, верст за сорок, зазубренной голубой стеной вздыбились горы. Оттуда, с гор, брала начало бешеная Баклань, оттуда пошла теперь ворочать и крошить синий лед.

Безлюдье кругом великое. И кажется, что там, за горами, совсем кончается мир. У бакланских бытовало понятие — «горы», «с гор», «в горы», — но никто никогда не сказал бы «за горами». Никто не знал, что там. Может, Монголия, может, Китай — что-то чужое. Свое было к северу. Туда и тайга пореже и роднее, и пашни случались, и деревни, — редко, правда, там, где милостью божьей тайга уступала людям землю. Уступила она землицы и бакланским — пашня начиналась за деревней большой черной плешиной в таежном море. Туда же, к северу, вела единственная дорога из Баклани (к районному селу и уездному городку). А на юг петляли тропки к пасекам, охотничьим избушкам и на покос.

Молчание тайги и гор задавило бы людей, если бы не река — она одна шумела на всю округу.

Быстро светлело. От воды поднимался туман. Егор зябко ежился, посвистывал лошадям, чтобы они дружнее пили. Лошади одна за другой отходили от воды, вздрагивали — вода была студеная.

Напилась последняя — маленькая жеманная кобылка по кличке Монголка, любимица Емельяна Спиридоныча.

Приехав домой, Егор засыпал коням овса, убрался со скотиной, наколол дров для бани — суббота была, — пошел будить Макара.

— Айда завтракать.

— А?

— Пошли. Все.

— Пошли. — Повеселевший Макар — маленько урвал, — разминая затекшие ноги, пошагал в дом.

Завтракали все вместе.

Во главе стола — Емельян Спиридоныч. По бокам — сыны.

Ели молча, аккуратно и долго. Сперва была лапша с гусятиной, потом жареная картошка со свининой.

Емельян Спиридоныч рукой брал со сковороды куски мяса и прятал в лохматый рот. С удовольствием, громко жевал. Поесть в этом доме любили.

Наконец старик отвалился, размахнул на половинки большую, как веник, бороду... Сказал, покосившись на икону:

— Слава богу.

Стали подыматься. Зашарили по карманам кисеты.

Емельян Спиридоныч, сыто икая, заговорил о делах.

— Мы с Кондратом седня поедем в Березовку. Я сон хороший видал — может, к добру.

В Березовке один лукавый татарин продавал редкого, знаменитых кровей, жеребца. Этот жеребец не давал старику Любавину покоя ни днем, ни ночью. Но татарин ломил страшную цену. Три раза скупой Емельян Спиридоныч ездил торговаться и три раза приезжал ни с чем. Последний раз сгоряча заявил татарину:

— Сукин ты сын, идол! Полмешка мильенов — тебе мало?! Не продашь — я его так уведу, харя!

Татарин засмеялся ему в лицо, дыша губительным запахом неслыханной крепости табака и лука.

— У тебя коней больше... смотри!

Сегодня Емельян Спиридоныч решил съездить еще раз. Сон видел такой:

— Вижу, быдто за поскотиной, наспроть Логушиной избенки, сидит волк. Во-от такой волчина — лоб как у коня. Мне так сердце резануло. Думаю: бежать? — догонит, хуже будет. Я взял да лег...

— В штанах ничего не оказалось? — поинтересовался Макар.

Емельян Спиридоныч нехорошо поглядел на сына.

— Я вот ломану чем-нибудь вдоль хребта — у тебя враз окажется, сопляк.

— Они шибко умные стали, — хмуро заметил Кондрат, увидев, что Егор отвернулся и трясется от смеха.

— Ты вот что, — повысил голос отец, презрительно и властно глядя на Макара, — перекуешь сёдня всех коней и договорись насчет борон.

Макар сразу поскучнел — он решил было денек погулять, раз отец уезжает. Скосоротился, пошел в горницу.

— Платить надо кузнецу-то. А то уж неловко даже! — громко заявил он оттуда.

— Скажи — нечем пока платить. После.

— Не будет ковать.

— А ты раньше время не распускай слюни. Не будет — тогда заплати. Ты, Егорка, поплывешь в остров за чашшой.

Егор надегтяривал у порога сапоги.

— Шуга-то не прошла еще, — буркнул он.

Емельян Спиридоныч выкатил из печки уголек, долго сопел, прикуривал. Потом вытолкнул из густых зарослей бороды и усов белое облачко, спокойно сказал:

— Ни хрена с тобой не случится. Барышня кака́! Иди, Кондрат, закладывай. Надо успеть, пока дорога не раскисла.

Кондрат молчком оделся и вышел.

Емельян Спиридоныч долго надевал тулуп, минут пять искал папаху... Подпоясался цветной опояской, взял под мышку рукавицы-лохмашки, остановился у порога.

— Ну? — У него привычка такая была: перед уходом из дому останавливался у порога, оглядывал избу и спрашивал: «Ну?»

— Ты... это... — Михайловна пошла его проводить. — Много шибко запросит, так уж не берите. Что их, косяк

целый держать? А ребятам строиться скоро — деньги надо...

— Там поглядим, — уклончиво сказал Емельян Спиридоныч. Он никогда серьезно не советовался с женой.

Когда отец вышел. Егор распрямился и сказал брату с горечью:

— Договорился на свою голову?

Тот откликнулся из горницы:

— Ты думаешь, он без этого не нашел бы нам работы? У него жила не выдержит.

Егор ногой задвинул банку с дегтем под печь, пошел в горницу.

На скрип двери Макар метнулся к кровати, быстренько сунул что-то под одеяло.

— Не прячь, я уж видал его.

— Кого?

— Обрез твой.

— Ну и что?

— Ничего. Доиграться можешь. Давеча поил коней — приметил: двое каких-то приехали опять. С Колокольниковым из сельсовета шли.

— Из уезда нагрянули?

— Наверно, откуда же...

Макар картинно подбоченился, прищурился на брата.

— Им, Егорушка, надо ноги на шее завязывать, этим властям всяким. А вы с девками пузыри пускаете. Конечно, они скоро на голову сядут.

Егор ничего не ответил. Это был сложный вопрос — как относиться к властям. Они не трогали его. У Макара с ними особый счет, он уже отсидел месяца три в районной каталажке — за хулиганство.

3

В тот день в Баклань действительно приехали незнакомые люди.

Ранним утром по широкой деревенской улице шли трое. Впереди в высоких негнущихся пимах, в новеньком, белой овчины, полушубке шагал предсельсовета — Елизар Евстигнеич Колокольников. За ним, в двух шагах, — приезжие. Один — старый, с бородкой, второй — совсем еще молодой парень, высокий, с тонкими длинными ногами. На лбу у парня — косо, через бровь — шрам.

Приезжие были в сапогах. Под ногами у них по-зимнему громко взыкал снег.

Направлялись к высокому дому с веселым писаным крыльцом. Поднялись. Елизар, не вынимая из карманов рук, ногой толкнул дверь сеней (положение председателя не позволило ему иначе открывать двери).

Вошли в избу.

Завидев чужих, из избы в горницу козой шарахнула молодая девка в спальной рубахе.

— Кобыла старозаводская, — строго заметил Елизар.

— Откуда ж она знала! — вступилась за дочь хозяйка, пухлая, с заспанным лицом баба.

— Еслив не знала, так надо весь день нагишом ходить?

— Так уж — нагишом! — откликнулась из горницы девка.

— Вот тут остановитесь, товарищ, — обратился Елизар к приезжим. — Это мой брат здесь живет.

— У тебя другого места нет, кроме брата! — обернулась баба. — К себе-то почему не ведешь?

Елизар скрипнул новыми настывшими пимами, смерил угрожающим взглядом хозяйку и выразительно постучал себя по лбу.

— Граммофон!

Та сердито махнула рукой и принялась за тесто.

— Вот здесь, значит, остановитесь, — снова обратился Елизар к старику и парню.

Они терпеливо стояли у порога, старик протирал концом потертого шарфа очки, а парень незаметно поводил плечами под легким кожаном и переступал с ноги на ногу, — видно, промерз.

— Немедленно истопишь баню! — приказал председатель, снова решительно повернувшись к хозяйке.

— Приедет хозяин, затоплю, — все так же непримиримо ответила та, не оборачиваясь. — Не шуми тут много.

Елизар вконец обозлился, но строжиться перестал — опасался, что эта дура выкинет что-нибудь похлестче. Спросил:

— А он иде?

— Сено увезли продавать.

— А-а... Ну, значит... — Елизар повернулся к товарищам, которым хотел угодить, — значит, к вечеру вам тут баньку истопют. Это с дороги полезно. — Он изобра-

зил улыбку, с которой деревенские люди разъясняют городским общеизвестные истины.

Старик, устраивая на нос очки, согласно кивнул головой — полезно.

— А я, значит... это.. побежал. — Елизар пытливо заглянул старику в глаза и ушел: так, кажется, и не понял — угодил или нет?

Старик спокойно разделся, прошел к лавке, сел. Парень тоже заскрипел тужуркой, с удовольствием стаскивая ее.

— Тебя как называть можно? — спросил старик, глядя на хозяйку поверх очков.

— Агафьей.

— А меня — Василий Платоныч. А его вот — Кузьма. Фамилия у нас одинаковая — Родионовы.

— Сын, что ли?

— Племянник. Ты не сердись на нас. Мы ненадолго.

— Чего там, — примирительно сказала Агафья. Ей, видно, понравился старик.

Из горницы вышла девка в пестром ситцевом платье — крепкая, легкая на ходу, с маленькой, гордо посаженной головой.

— Здрасте. — Смело посмотрела на парня, непонятно дрогнула уголком припухлого рта, прошла к матери.

У Кузьмы слегка побагровел шрам.

— Дай закурить, дядь Вась, — тихонько попросил он.

— Из уезда, что ли? — поинтересовалась Агафья.

— Из уезда, — ответил Платоныч. — А чаек нельзя придумать, Агафья?

— Сейчас будем завтракать. Клавдя, убирай со стола. Дочь моя, — сочла нужным пояснить Агафья. — Сами, конечно, городские?

— Ага.

— Замерз парень-то. Иди вон к печке, погрейся. Шибко уж легкая у тебя эта штука-то.

— Зато — кожаная, — не то серьезно, не то издеваясь, вставила Клавдя.

Кузьма кашлянул в ладонь и сказал:

— Ничего, так отогреемся.

4

Дорога за ночь хорошо подмерзла. Лошадь шла ходко; коробок дробно тарахтел. Где-то в передке, нагоняя сонное раздумье, дребезжала железка.

Емельян Спиридоныч, зарывшись в пахучий воротник тулупа, чутко дремал.

Кондрат время от времени трогал вожжами и равнодушно говорил:

— Но-о, шевелись. — Опускал голову и снова принимался постегивать концом вожжей по своему сапогу.

Кругом ни души. Просторно. Еще на всем — сонная сладкая одурь после тяжкой весенней ночи.

Проехали пашню, начался редкий, чахлый осинник. Запахло гнильем.

Впереди на дороге далеко и чисто зазвенел колокольчик; навстречу неслась тройка.

Емельян Спиридоныч выпростал из воротника голову, всмотрелся. Кондрат тоже глядел вперед.

Тройка быстро приближалась. Лошади шли вмах; коренной смотрел зверем; пристяжные почти не касались земли, далеко вскидывая длинные красивые ноги. Колокольчик чему-то радовался — без устали, звонко хохотал.

Тройка пронеслась мимо, обдав Любавиных ветром, звоном и теплом. Емельян Спиридоныч долго глядел вслед ей.

— Соловьи! — вздохнул он. И снова полез в воротник.

Опять было настроились на мерный, баюкающий шумок долгой путины. Но вдруг Емельян Спиридоныч высунулся из воротника, встревоженный какой-то мыслью.

— Слышь! — окликнул он сына.

— Ну?

Емельян Спиридоныч заворочался на месте, откинул воротник совсем.

— Знаешь, кто это проехал?

— Почта.

— Правильно. — Отец в упор, вопросительно смотрел на сына.

— Ты чего? — не выдержал тот.

Емельян Спиридоныч опять пошевелился.

— Денюжки проехали, а не почта, — тихо сказал он. — Они их в железном ящике возют. Ночью покормются — назад поедут.

Кондрат прищурил глаза. Отец искоса смотрел на него. Ждал.

— Кусаются такие денюжки, — сказал Кондрат, не глядя на отца.

Емельян Спиридоныч задумался. Смотрел вперед хмуро.

— Тц... У людей как-то получается, язви тя.

Кондрат молчал.

— Тут бы те сразу: и жеребец, и по избе нашим оболтусам.

Кондрат понукнул воронка. Емельян Спиридоныч снова полез в воротник. Вздохнул.

— Это Иван Ермолаич, покойник, — тот сумел бы.

— Кто это?

— Дядя мой по матери. Тот сумел бы. У его золотишко не переводилось. Лихой был, царство небесное. Сгинул где-то в тайге.

Больше не разговаривали.

5

В баню пошли втроем: Николай Колокольников — хозяин, у которого остановились приезжие, и Платоныч с Кузьмой.

Николай, широкоплечий, кряжистый мужчина с красным, обветренным лицом, недавно вернулся из уездного города. Навеселе. Где-то хватил дорогой с мужиками.

Он сразу разговорился с Платонычем, заспорил: стал доказывать, что школа в деревне не нужна и даже вредна.

— Да почему?!

— А вот... так. Я по себе знаю. Как задумаешься иной раз: почему, к примеру, от солнца тепло, а от месяца — нет? Или: где бог сидит?..

Клавдя фыркнула (из-за нее, собственно, и начался спор. Платоныч спросил, умеет она читать или нет) и, мельком глянув на Кузьму, кокетливо ввернула:

— На небесах.

Отец накинулся на нее:

— Да небеса-то... эт что, по-твоему? Это же нормальный воздух! Попробуй усиди на ём. А если б небеса, скажем, твердые были, то как тогда через их звезды видать? Ты через стенку много видишь? Что?

Считая, что против таких доводов не попрешь, Николай повернулся к квартирантам:

— Об чем я говорил? А-а... про месяц.

— А у попа спрашивал, где бог сидит?

— Спрашивал. «В твоей, — говорит, — глупой башке он тоже сидит». У нас поп сурьезный был.

Поспорили еще о том, нужно земле удобрение или нет. Николай твердо заявил, что — нет. Навоз — туда-сюда, а что соль какую-то привозят некоторые — это от глупости. И от учения, кстати.

Пошли в баню. Разделись при крохотном огоньке самодельной лампочки. Николай окупнулся и полез на полок.

— Ну-ка, бросьте один ковшичек для пробы.

Платоныч плесканул на каменку. Низенькую баню с треском и шипением наполнил горячий пар. Длинный Кузьма задохнулся и присел на лавку.

На полке заработал веником Николай. В полутьме мелькало его медно-красное тело; он кряхтел, стонал, тихонько матерился от удовольствия... Полок ходуном ходил, доски гнулись под его шестипудовой тяжестью. Веник разгулялся вовсю. С полка валил каленый березовый дух.

Кузьма лег плашмя на пол, но и там его доставало, — казалось, на голове трещат волосы. Худой, белый, со слабой грудью Платоныч отполз к двери, открыл ее и дышал через щель.

— Мм... О-о! — мучился Николай. — Люблю, грешник!

Наконец он свалился с полка и пополз на карачках на улицу.

— Ну и здоров ты! — с восхищением заметил Платоныч.

Николай, отдуваясь, ответил:

— У нас отец парился... водой отливали. Кха!.. Насмерть заходился.

— Зачем так? — не понял Кузьма.

Николай не сумел ответить — зачем.

— Поживешь, брат, — узнаешь.

Уходили из бани по одному. Первым — Кузьма. Вошел в избу и лицом к лицу столкнулся с Клавдей. Она была одна.

— Скидай гимнастерку, ложись вон на кровать, отдохни, — сказала без дальних разговоров.

Кузьма растерялся: под гимнастеркой у него была рубаха, а рубаха эта... того... не первой свежести.

— Ладно, я так посижу. Сейчас отец твой придет, ему обязательно надо отдохнуть. Он там чуть не помер.

Клавдя подошла совсем близко, заглянула в его серьезные, строгие от смущения глаза.

— Ты чего такой? Как теленочек. Ты ведь — парень. Да еще городской. — Она засмеялась.

Тонкие ноздри маленького ее носа вздрагивали. Смотрела серыми дерзкими глазами ласково, точно гладила по лицу ладошкой. Рубец у Кузьмы маково заалел. Парень начал соваться по карманам — искать табак. Смотрел мимо девушки в окно, глупо и напряженно. Он понимал, что нужно, наверно, что-нибудь сказать, и не находил, мучительно не находил ни одного слова.

В сенях звякнула щеколда. Клавдя упружисто повернулась и пошла в горницу.

Кузьма сел на скамейку, прикурил, несколько раз подряд глубоко затянулся.

Вошла Агафья. За ней шумно ввалился Николай.

— Квасу скорей! — Он был в одних кальсонах. Литое раскаленное тело его парило. Приложился к крынке с квасом и осушил до дна.

— Фу-у... Во, парень, какие дела! — сказал он Кузьме, вытирая тыльной стороной ладони мокрые губы. — Хорошо у нас в деревне! Сходил в баню... — он завалился на кровать, свободно, с подчеркнутым наслаждением раскинул руки, — пришел домой — и сам ты себе голова. Никто над тобой не стоит. Так?

— А в городе кто стоит?

— Ну, в городе... Вы сами откуда?

— Из-под Москвы.

— Из рабочих?

— Да.

— Хорошо получали?

— Ничего.

— Так. А зачем к нам?

Кузьма ответил не сразу. Была у него одна слабость: не умел легко врать. Обязательно краснел.

— Нужно, — сказал он.

Николай улыбнулся.

— Ты не из трепачей... А скажи... этот Платоныч, он партейный?

— Да.

— Толковый старик, видно. Глянется вам Сибирь-то наша?

Кузьма погасил о подошву окурок, отнес его в шайку, неохотно и кратко пояснил:

— Мы знаем ее.

— Как?

— Я в Бомске родился, а дядя ссылку отбывал там же... недалеко.

Николай даже приподнялся на локте, с интересом посмотрел на парня.

— Во-он он, значит, из каких! И много отбарабанил?

— Девять лет.

— То-то он такой худенький старичок, — вмешалась в разговор Агафья. — А у тебя мать-то с отцом живые?

— Нет. Померли. Здесь же.

— Они что, тоже сосланные были? — опять приподнялся Николай.

— Тоже.

— Сколько ж тебе было, когда без них остался?

— Года два, что ли.

— Дядя тебя и подобрал?

— Ага.

Замолчали. Агафья жалостливо смотрела на Кузьму. Николай глядел в потолок, нахмурившись. Кузьма листал искуренный наполовину численник.

Пришел Платоныч. Распаренный, повеселевший... Близоруко сощурившись (без очков он был трогательно беспомощный и смешной), нашел глазами хозяйку.

— Хоть за баню и не говорят «спасибо», но баня, надо сказать, мировая.

Николай встал с кровати.

— Ляг, отдохни, Платоныч.

— Лежи, — махнул тот рукой, — я не имею привычки отдыхать.

Николай снял с гвоздя брюки, долго шарился в карманах.

— Братца моего раскусили или еще нет? — спросил он.

— Как раскусили?

— Что он за человек?

— Нет. А что?

— Ну, узнаете еще... — Николай беззлобно, даже с некоторым восхищением усмехнулся, тряхнул головой. — Попер в председатели! Работать не хочет, орясина. Он смолоду такой был — все норовил на чужом хребту прокатиться.

Николай вытащил наконец несколько бумажек, протянул жене.

— Сбегай, возьми. Мы откупорим... со знакомством.

Платоныч кашлянул, сказал просто:

— Дело такое, Николай: мы не пьем. Мне нельзя, а он... ему рано.

Агафья благодарно посмотрела на старика, быстренько спрятала деньги в шкаф.

— Ну, после бани, я думаю, можно... По маленькой? — просительно сказал Николай.

— Нет, спасибо.

Николай крякнул, посмотрел на жену: деньги в надежных руках. Она их уже не выпустит — не тот случай. Он только теперь сообразил, какого свалял дурака. Стоял посреди избы со штанами в руках — огромный, расстроенный. Тяжело глядел на свою ловкую половину. Та как ни в чем не бывало собирала на стол ужинать. Платоныч и Кузьма невольно рассмеялись.

— Не тоскуй, Микола, — сказал Платоныч.

Николай крепко, с шумом потер ладонью небритую щеку. Признался:

— У меня теперь голова три дня не будет работать. Какую я ошибку допустил, мать честная! — Он запрыгал на одной ноге, попадая другой в штанину. — Главное — сам же... свернул трубочкой и сунул под хвост. Затемнение какое-то нашло.

— Все тебе мало, душа сердешная. Трубочкой он свернул! — обиделась Агафья.

Николай повернулся к ней, строго сказал:

— Пока не разговаривай со мной. Не волнуй зазря.

Поужинали. Клавди не было. Кузьма вылез из-за стола, поблагодарил хозяев, пошел на улицу покурить.

В сенях, в темноте, его вдруг коснулось что-то мягкое, и в ухо горячо дохнули:

— Выходи на улицу.

Кузьма даже сморщился — так больно и сладко сделалось в груди.

Во тьме тихонько засмеялись; прошумели легкие шаги, открылась дверь в избу... В светлом квадрате мелькнула маленькая аккуратная голова, и дверь закрылась.

Кузьма вышел на крыльцо, сел на ступеньку... Сдавил голову руками и сказал вслух с тихим ужасом, счастливо:

— Елки зеленые!

Встал, пошел в избу.

Платоныч разговаривал с Николаем. Агафья убирала со стола.

Кузьма на мгновение задержался у порога, потом быстро снял с вешалки свой кожан, шапку и, не глядя ни на кого, вышел. Платоныч сделал вид, что не заметил этого. Хозяева действительно не заметили.

А Клавдя смотрела через узкую щель в горничной двери и улыбалась. Через некоторое время вышла и она. Платоныч как бы между прочим проводил ее глазами и продолжал беседовать.

Было тепло. Буйный апрель, навоевавшись за день, устало прилег, шелестя прошлогодней, жухлой листвой. Густым током наплывал тяжкий запах талой земли.

Молчали. Опять Кузьма думал, что нужно же, черт возьми, что-нибудь говорить, и не мог выдавить из себя ни слова.

Шалый низовой ветерок, играя, налетал то сбоку, то мягко и осторожно подталкивал сзади, раздувал цигарку, подхватывал искорки, и они впивались в темноту и гасли шагах в трех впереди.

Рядом, совсем близко, шла Клавдя. Она раза два поймалась за его рукав, негромко сообщая:

— Ой, я осклизнулась...

Кузьма неловко поддерживал ее.

— Мы куда идем? — спросил он.

— На вечерку. А что? Тебе не полагается?

— Да ну!..

— А вы надолго приехали?

— Неизвестно.

— А зачем?

— Это... я потом расскажу. Вообще — вам помочь жизнь наладить. По-новому.

Клавдя неподдельно изумилась:

— Господи, да какие же вы помощники?!

Кузьма как-то сразу осмелел. Ее изумление задело его за живое.

— Это ты рано так о нас?.. Зря, пожалуй. Ты ведь не знаешь ничего.

— Чего я не знаю?

— Понимаешь, какая штука!.. — громко начал Кузьма. — Живут на земле люди. Всякие, конечно, люди... — Он кинул на дорогу окурок и полез снова за махоркой. И замолчал. Хотел рассказать ей про счастье, что это такое, но почему-то осекся, застыдился. С горечью от-

метил: «Заорал чего-то, как дурак». Вспомнил про «теленочка».

— Ты чего замолчал?

Кузьма кхакнул, глубже надвинул на лоб шапку. Неожиданно для себя, довольно резко, непонятно для чего и с какой стати, заявил:

— Живешь ты, Клавдя, и, видать, никакого тебе дела до других. Нельзя же так, елки зеленые! — Замолчал и подумал: «Сейчас повернется и уйдет».

Но Клавдя не думала уходить. Тогда он еще сказал — негромко, упрямо:

— Так, конечно, легче. Но так же нельзя...

— Ты чего это? — спросила Клавдя серьезно.

— Что?

— Ты почто так со мной разговариваешь?

Кузьма промолчал. Он сам не понимал, что с ним происходит. Клавдя тоже замолчала. Потом вдруг сказала:

— Влюбчивый ты, наверно? А?

— Как это?

— В меня-то небось влюбился?

Кузьма ахнул про себя и сбился с ноги — он все время следил, чтоб идти в ногу с девушкой.

— Знаешь что... — Клавдя остановилась. Подумала немного и сказала твердо: — Не пойдем на вечерку. Ничего там хорошего нет. Айда на бережок, посидим. А? — Она осторожно и властно повлекла его за собой. Голос ее зазвучал доверчиво и обещающе — из самой груди. — Пойдем, там хорошо так...

— Пойдем.

Шли. Разговаривали несвязно. Говорила больше Клавдя.

— Небось плохой меня считаешь?

— Ну... Зачем ты?

— А я, Кузенька, думаю тоже. Ночи не сплю, думаю. Любить мне охота... А некого. Наши... здоровенные все, как жеребцы, и шибко уж неинтересно с ими. Ты другой вроде. Поглянулась бы я тебе... У нас тут девки разные... Есть лучше меня.

— Ну... зря ты. Что там... — бормотал Кузьма.

— Тебе хорошо будет со мной. Ты вон какой стеснительный... Дай-ка я тебя поцелую, терпения больше нет. — Она едва дотянулась до его лица (он не догадался наклониться) и вдавила свои горячие губы в его, по-взрослому затвердевшие, пропахшие табаком...

6

Емельян Спиридоныч с Кондратом вернулись к вечеру. Дома был один Егор. Он сидел на полу, поджав покиргизски ноги, — мастерил скворечню. Любимое его занятие — выстругивать что-нибудь.

— Ты чего дома? — нахмурился отец.

— Лодку смолить надо. Спустил ее на воду, а в нее, как в сито... — Егор отложил в сторону плашки, поднялся.

— Макар в кузне?

— Там.

— А ты себе другого дела не нашел?! — Емельян Спиридоныч пнул недостроенный скворечник. — Лоботрясы!

Егор молчком, стараясь не шуметь, собрал плашки, вынес в сени.

— Пойду к Беспаловым, — заявил Емельян Спиридоныч. (Было два семейства в Баклани, куда ходил Емельян Спиридоныч, — Беспаловы и Холманские, богачи под стать Любавиным и такие же нелюдимые и спесивые.) — Мать придет — скажи, чтоб в баню ишо подкинула, я, может, засижусь.

Кондрат кивнул.

— Егорка! — позвал он.

— Чего он такой? — спросил Егор, войдя в избу. — Из-за жеребца, что ли?

— Сходи за Макаркой.

— Зачем?

— Надо. Чтоб сразу шел.

— Жеребца-то не купили?

— Не твое дело.

Кондрат сел к столу, грузно навалился на локоть, подпер большую голову. Был он какой-то задумчивый и сосредоточенный.

Макар пришел потный, в копоти — помахал кувалдой в охотку вместо молотобойца.

— Чего?

— Пошли со мной, — велел Кондрат, направляясь в горницу.

Макар покосился на Егора, пошел за старшим братом.

Кондрат пропустил его вперед, с порога горницы сказал Егору:

— Иди засыпь овса Монголке. Поболе. — И захлопнул за собой дверь.

Егор сунулся было за ними.

— Тебе куда сказали идти? — рявкнул Кондрат.

— Ключи от амбара там... Чего ты орешь-то?

Из горницы, звякнув, вылетела связка ключей.

Макар стоял посреди горницы, вопросительно смотрел на Кондрата. Он тоже обратил внимание, что тот сегодня какой-то не такой.

— Где у тебя обрез? — сразу начал Кондрат.

— Какой обрез? — Макар сделал изумленное лицо.

— Не корчи из себя дурачка. Где он?

— А зачем тебе?

— Надо.

— Не скажешь — не дам.

Кондрат посмотрел на младшего брата. Тот понял, что спорить лучше не надо. Достал из-под кровати обрез, вскинул на руке.

Кондрат бережно принял его — тяжеленький, аккуратный, — погладил широкой черной ладонью иссиня-сизый куцый ствол.

— Где ж ты его, поганец, держишь?! Сунься кто-нибудь — и враз увидют.

— Я только почистить принес. А зачем он тебе? — Глаза у Макара горячо сверкнули азартным блеском.

— Не твое дело. Иди в кузню.

Макар толкнул ногой дверь горницы и вышел — обиделся.

Когда огней в деревне уже не было и в тишину пустых улиц простуженно бухали цепкие кобели, с любавинского двора выехал Кондрат, возвышаясь темной немой глыбой на маленькой шустрой кобылке.

В переулке, где кончается любавинская ограда, от плетня вдруг отделилась человеческая фигура и пошла наперерез всаднику. Монголка настороженно вскинула маленькую голову, навострила уши, но ходу не сбавила. Кондрат придержал ее.

— Я это. — Стоял Макар. — Возьми, братка... шибко охота. Я лучше эти дела знаю, чем ты.

Голос Макара звучал тихо, с надеждой. Он держался за сапог брата. Тот неразборчиво, сквозь зубы, матернулся, толкнул Монголку вперед и исчез в темноте.

Макар пошел домой с тяжелой обидой в сердце. Влез на полати и затих.

Домой Кондрат явился перед рассветом. Бледный, без шапки... Держался рукой за левый висок.

Молчком прошел в горницу, попросил самогону.

Емельян Спиридоныч в одном исподнем забегал из избы в горницу — боялся спрашивать. Он догадался, где был сын.

— Коня потерял, — прохрипел Кондрат.

Отец на мгновение остолбенел, потом снова бестолково засуетился.

— Надо умётывать... По коню могут узнать, — вслух соображал он. — Рубаху скинь: на ей кровь.

Помог снять рубаху. Нечаянно коснулся раны на голове сына. Тот замычал от боли.

— Ничо, ничо! — торопил отец. — Кистенем, видно, угодили?

Скомкал рубаху, выбежал с ней в избу, кинул жене. Михайловна развернула ее и... выронила.

— Господи батюшка, отец небесный... Омеля, тут кровь.

— Сожги.

Михайловна стояла над рубахой и смотрела на мужа.

— Ну, что? — Емельян стиснул огромные кулаки, глухо, негромко, чтобы не побудить ребят на полатях, выругался: — Твою в креста мать. Не видела никогда? — Поднял рубаху, облил керосином и запалил в печке. — Мы с Кондратом уедем дён на пять, скажешь — к Игнату в гости. Вчера, мол, вечером еще... нет, днем уехали. Слышишь?

— Слышу.

— Ребятам так же скажи. А если, случа́й чего, придут, станут спрашивать... — Емельян притянул к себе жену и, дрожа челюстью, зашипел: — ...ты ничего такого не видела. Завтра с утра растрезвонь, что Монголку у нас украли. Поняла?

Он направился в горницу, но вдруг резко обернулся и сказал сипло и страшно:

— Да сама-то веселее гляди! Чего ты, как с того света явилась!

Кондрат, обхватив голову большими руками, бережно качал ею из стороны в сторону. Останавливался и, склонившись к левому плечу, замирал, точно прислушивался. Видно, мерещился ему до сих пор легкий присвист страшного железа на плетеном мешке. На массивном лбу его мелким бисером выступил пот.

— Болит?

— Спасу нет.

— Ничо, живой остался. Счас поедем. Отвезу тебя к Игнату — там отходим.

Емельян Спиридоныч присел на минуту на кровать, замотал длинным веником бороды и с дрожью в голосе проговорил:

— Кобылу... кобылу-то!.. Золотая была животинка. — Смахнул твердой, потрескавшейся ладонью слезу, уронил на колени тяжелые руки, докончил шепотом: — Ах ты господи... Нет уж, видно, не умеешь — не берись. — Был он сейчас огромный, взъерошенный и жалкий. Спросил: — Как получилось-то?

— Потом, — выдохнул Кондрат, с трудом разнимая побелевшие от боли губы. — Трое их было. Обрез вышибли — и... чем-то по голове.

Емельян Спиридоныч встал:

— Поедем.

Они вышли из дома. Но Емельян Спиридоныч тут же вернулся, влез на полати, растолкал Макара (Егора не было дома).

— Езжай прямо сейчас... Знаешь, где Бомская дорога в Быстрянский лес заворачивает?

— Ну.

— Шапку там потерял Кондрат. И обрез поищи.

Макар все понял:

— Эх... Так и знал.

— Скорей, едрена мать!.. Разговаривать он будет! До света чтоб успел! — И опять выбежал, не оглянувшись на жену: она все стояла посреди избы.

7

Еще с зимы приметил Егор одну девку — Марью.

Была Марья из многодетной семьи вечного бедняка Сергея Федорыча Попова.

Давно-давно пришел в Баклань веселый и нищий парень Сергунька. Откуда — никто не знал. Был он балалаечник и плясун. Девкам пришелся по душе. Плясал он, плясал и выплясал самую красивую девку в деревне — Малюгину Степаниду. Пошел свататься. Отец Степаниды, один из тогдашних богатеев деревенских, напоил его и ухлестал вусмерть. А когда Сергунька отлежался, Степанида убежала к нему без родительского благословения. Отец проклял ее и послал жену — снять все, что на ней имеется. Мать пришла, потихоньку благосло-

вила молодых и сняла с дочери последнее платьишко — без этого муж не пустил бы ее на порог.

Стали Поповы жить. Поставили небольшую избенку, наплодили детей кучу... И так и остались в постоянной бедности. Сергей Федорыч начал закладывать. А к старости еще сделался какой-то беспокойный. Шумел, ругался со всеми — каждой бочке затычка.

Был он невысокого роста, растрепанный, с маленькими сердитыми глазками, — смахивал на воробья. Из тех, которые среди других воробьев выделяются тем, что всегда почему-то нахохлены и все прыгают-прыгают грудкой вперед — очень решительно.

Он плотничал. Не было случая, чтобы он, нанявшись к кому-нибудь перекрыть крышу или связать рамы, не поругался с хозяином. Спуску не было никому. Не боялся ни бога, ни черта.

Рассказывали — был в старое время в деревне колдун. Кого невзлюбит этот колдун, тому не даст житья. Сейчас выйдет утром за поскотину, поколдует на зарю — и человек начинает хворать ни с того ни с сего. Все боялись того колдуна хуже огня. А он ходил надутый и важный — нравилось, что его боятся.

Один раз Сергей Федорыч плотничал у него по найму, и они, конечно, поругались. Колдун говорит:

— Хочешь, я на тебя порчу напущу?

— Напустишь? — спрашивает Сергей Федорыч.

— Напущу, так и знай.

— Неужели правда напустишь?

— Напущу.

Тогда Сергей Федорыч среди бела дня скинул штаны, похлопал себя по заду и говорит:

— Напускай скорей... вот сюда.

После этого два дня гулял по деревне и всем говорил:

— У него язык не повернулся колдовать — до того она у меня красивая.

Степанида в старости сделалась сухой, жилистой и тоже шумливой. Только глаза сохранила прежние — веселые, живые и умные.

Ругались они с мужем почти каждый день. Начинал обычно Сергей Федорыч.

— Всю свою дорогую молодость я с тобой загубил! — горько заявлял он.

Степанида, подбоченившись, отвечала:

— Никогда-то я тебя не любила, петух красный.

Ни вот столечко не любила, — она показывала ему кончик мизинца.

Сергей Федорыч растерянно моргал глазами:

— Врешь, куделька, любила. Шибко даже любила.

Степанида, запрокинув назад сухую сорочью голову, смеялась — искренне и непонятно.

— Любила, да не тебя, а другого. Эх ты... обманутый ты на всю жизнь человек!

Сергея Федорыча как ветром сдувало с места. Он прыгал по избе, кричал, срываясь на визг:

— Да любила же, кукла ты морская! Я же все помню! Помню же...

— Что ты помнишь?

— Все. Ночи всякие помню.

— А я другие ночепьки помню, — вздыхала Степанида. — Какие ноченьки, ночушки милые!.. Заря как кровь молодая... А за рекой соловей насвистывает, так насвистывает — аж сердце заходится. И вся земля потихоньку стонет от радости. Не с тобой это было, Сереженька, не серчай.

Сергей Федорыч лохматил маленькой крепкой рукой не по возрасту буйный красный хохол на голове — смотрел на жену тревожно. Не верил.

А Степанида продолжала вспоминать дорогое сердцу времечко:

— А как к свету ближе, станет кругом тихо-тихо: лист упадет на воду — слышно. Похолодает...

Сергей Федорыч начинал нервно гладить ладонью себя по колену. Пробовал снисходительно улыбнуться — получалось жалко. В глазах накипали едкие слезы. Он весь съеживался и, болезненно сморщившись, говорил быстро, негромко:

— Дура, дура... Кхах! Вот дура-то! Выдумывает сидит что ни попадя. Ну зачем ты так? — Он сморкался в платок, возился на стуле, доставал кисет. — Она думает: мне это горе...

Степанида подходила к мужу, небольно шлепала его по круглому упрямому затылку.

— Притих?

У них было одиннадцать детей.

Два старших сына погибли в империалистической, в шестнадцатом году, одного зашибло лесиной, когда готовили плоты по весне. Один служил в городе милицио-

нером. До последнего времени он часто приезжал к родителям в гости. Когда появлялся в деревне — крупный, красивый, спокойный, — у стариков наступал светлый праздник. Они гордились сыном.

С утра до ночи хлопотали, счастливые, — старались, чтоб все было как у добрых людей. Собирали «вечер».

Выпив, пели старинные песни.

Зачем я стретился с тобою,
Зачем я палюбил тебя?
Ведь мне назначено судьбою
Идти в дале-кие края...

Хорошо пели.

Сергей Федорыч, облокотившись на стол, сжимал в руках маленькую рыжую голову и неожиданно красиво запевал любимую:

Эх ты, воля моя, воля,
Воля вольная моя!..

Степанида украдкой вытирала слезы и говорила сыну:

— Это он, когда еще парнем был, шибко любил эту песню.

Была одна противная слабость у Сергея Федорыча: хватив лишнего, любил покуражиться.

— Кто я?! — кричал он, размахивая руками, стараясь зацепить посуду на столе. — Нет, вы мне скажите: кто я такой?!

Степанида смотрела на него молча, с укоризной — умно и горько. Сергей Федорыч от ее такого взгляда расходился еще больше.

— А я вам всем докажу! Я...

Сын легко поднимал его на руки и относил в кровать.

— Зачем ты так, тятя?.. Ну вот, родимчик, все испортил.

— Федя! Сынок... Скажи своей матери... всем скажи: я — человек! Они у меня в ногах будут валяться! Я им!..

— Ладно, тятя, усни.

Сергей Федорыч покорно умолкал. Степанида подсаживалась к нему — без этого он не засыпал.

— Ты здесь? — спрашивал он, нащупывая ее руку.

— Здесь, здесь, — откликалась она. — Спи.

— Ага.

Он засыпал.

А потом Федор перестал приезжать к ним. Прислали из города бумагу: «Погиб при исполнении служебных обязанностей».

И вот раз (зимой дело было) поехали они за сеном.

Погода стояла теплая. Падал снежок. Было тихо.

Навьючили хороший воз, выбрались на дорогу и поехали шажком. Ехать далеко.

Буран застиг их в нескольких километрах от деревни. Он начался сразу: из-за гор налетел сухой резкий ветер; снег, наваливший с утра, не успел слежаться — сразу весь поднялся в воздух. Сделалось темно. Ветер дико и страшно ревел. Лошадь стала.

Свалили сено, оставили немного в санях, чтобы укрыться от ветра. Попробовали ехать порожнем. Сперва казалось — едут правильно, потом лошадь начала проваливаться по брюхо в снег. Опять остановились.

Сергей Федорыч выпрыгнул было из саней — поискать дорогу, но тут же провалился и едва влез обратно. Ветер валил с ног.

Лошадь легла. Они тоже легли.

Лежали тесно — лицом к лицу.

Всех их быстро заметало сугробом.

На Сергее Федорыче были старенькие сапоги. Ноги стали мерзнуть.

— Стеша... тут нам, однако, и конец пришел, — сказал он.

— А ты не пужайся. Зато — вместе.

— Неохота же умирать-то!.. «Не пужайся»! Храбрая выискалась!

Помолчал и добавил:

— Обидно почему-то!

— Мне тоже обидно. Только ты не жалуйся — это нехорошо.

— Почему нехорошо?

— Не знаю.

— Дурацкие рассуждения! Ты бы хоть сейчас не учила.

— Я тебя никогда не учила, глупый.

Замолчали.

— Ребятишек только жалко, — прошептала Степанида.

Сергей Федорыч засопел.

— Ноги заходятся, — сердито сообщил он.

Степанида с трудом сползла вниз.

— Разувайся... Давай их сюда.

Кое-как стащили сапоги, и она устроила закоченевшие ноги мужа у себя на груди, у тела. Когда они стали отходить в тепле, поднялась такая боль, что Сергей Федорыч заскулил по-собачьи. А Степанида уговаривала:

— Ничего, теперь лучше будет. Теперь они не замерзнут.

Так их и нашли.

Утром, чуть свет, выехали на нескольких подводах и сразу же за деревней наткнулись.

Привезли в больницу.

Степаниде сельсовет выдал отрез на юбку — подарок.

Лежала Степанида на больничной койке — вся какая-то ясная, чистая, светлая... Смотрела на людей ласково и благодарно — никогда в жизни ей ничего не дарили.

Сергей Федорыч был несколько смущен таким вниманием к его старухе. Когда они оставались одни, он подсаживался к ней и строжился:

— Ты что же это, мать, не ешь ничего? А? Ну-ка, немедленно съешь вот этот суп! Ты посмотри только, суп-то какой!..

— Я уж наелась, старик, — отвечала она. — Люди-то какие хорошие!

Сергей Федорыч отворачивался, мял в руках клинышек бородки, покашливал...

А через два дня Степанида умерла. Тихо. Ночью.

Сергей Федорыч схоронил ее и притих. Не шумел больше по деревне, ни с кем не ругался. Ковырялся у себя в завозне, строгал, пилил... и помалкивал.

Стал как будто меньше ростом. Полинял. Желтизной начал отдавать. Последнее время чудить стал.

Приволок как-то большой камень, вытесал из него квадратную толстую плиту (месяц работал), высек посередине крест и навалил эту плиту на могилку жены.

А на масленице явилась она к нему во сне и сказала:

— Тяжело мне, старик. Сними ты его...

Утром, еще не рассвело хорошо, он помчался с ломиком на кладбище и свалил камень с могилы.

Осталось на руках у Сергея Федорыча семеро детей. Старшей, Марье, — девятнадцать лет.

Марья лицом походила на мать — чернобровая, с ясными, умными глазами. А характером удалась в брата Федора — спокойная, рассудительная, с открытой, доброй душой. Очень терпеливая.

Она редко улыбалась, но в родниковой глубине своих чистых глаз таила постоянную светлую усмешку. Люди, когда на них смотрят такие глаза, становятся доверчивыми.

Трудной жизнью жила Марья, но никогда не жаловалась. Не умела. От товарок своих не отставала: пела задушевные девичьи песни, умела сплясать... Причем, глядя на нее, трудно было подумать, что вот она — несуетливая, тихая, с внутренним сдержанным величием — может выйти на круг и сплясать. А когда плясала, никто этому не удивлялся. Делала она это легко и свободно, без тайного желания понравиться кому-нибудь. Просто — душа хотела.

Ухажеров у Марьи не было. Как-то так — не было. Ее это не тревожило. Правда. Хитрить она не умела.

Когда расходились с вечерки, Егор догнал девчат и пошел сзади, шагах в десяти. Девушки пели хором «подгорную». Десять-двенадцать сильных молодых голосов, как большие невидимые крылья, поднимали вверх, к небу:

Ох, разрешите познакомиться вот с этим паренько-ом!..

Тальянка захлебывалась в переборах, торопилась, выговаривала...

А голоса дружно подхватывали и поднимали выше:

Эх, довести его до дела, —
Чтоб качало ветерком...

Егор любил безобидные девичьи песни под гармошку. Глухими весенними ночами, когда слышно, как на земле вовсю работает весна, мог подолгу неподвижно сидеть в своей ограде на осклизлом бревне — слушать. Немела спина, кончики пальцев в сапогах прихватывал цепкий ночной морозец, а он все сидел, не шевелился. Далекая, беззаботная, милая гармошка будила какое-то непонятное сильное чувство. Накипала в груди странная горячая радость.

...Шел Егор, слушал песни и думал, что сегодня он опять не подойдет к Марье. Он последнее время часто думал о ней. Несколько раз хотел подойти и не мог — боялся. И гордость мешала. Хотел уж просить Макара, чтобы он как-нибудь свел, — у того это лихо получалось. Удерживало опасение, что когда-нибудь ядовитый братец некстати припомнит ему эту слабость.

Понемногу расходились. Гармонист свернул в переулок — унес с собой свою голосистую легкую грусть. Уходили парами в ночь.

Остались три-четыре — не занятые. Шли впереди, разговаривали, смеялись. Среди них и Марья.

Вдруг Егор понял, что сегодня подойдет к ней.

Он отошел в сторонку, выждал, когда девки свернут за угол, маханул через плетень и огородами, по вязкой земле, напрямик чесанул к Марьиной избе. Бежал, как будто за ним гнались, — легко и податливо. Бежал, стиснув зубы... Про себя упрямо и весело повторял: «Так! Так! Так!» Раза два нарвался на кобелей. Один перепугал насмерть: видно было — прыгнул через прясло, здоровенный, как телок, и молчком, сливаясь с черной землей, скользящим наметом пошел наперерез. Егор с ходу пружинисто дал козла — к плетню... Успел выверпуть березовый колышек... Волчком закрутился на месте, описывая концом колышка низкие круги. Натянутой тетивой — мягко, глуховато — гудела на колу отставшая берестинка. Раза три пробовал мрачный кобелина нырнуть под гудящий круг, но отскакивал. Потом так же молча убежал.

...Через последний плетень Егора перенесло с такой легкостью, что он сам изумился. Подумал: «Чего я так?»

Потом стоял около ветхих ворот Марьиного двора, до боли сжимал в руках суковатый стежок — пробовал унять волнение. Но не было никаких сил справиться с этим. Он обозлился. Прошелся по переулку. Закурил. Сворачивая папиросу, заметил, что руки трясутся. «Что со мной делается?»

Так и встретил Марью — со стежком в руках, злой и встревоженный неодолимым волнением.

Марья слабо вскрикнула, схватилась за грудь.

— Не пужайся. — Егор смотрел почему-то на небо. — Я это.

— Господи, напугал-то как! — Марья перевела дыхание. — Ты чего?

— Ничего. — Егор старательно затоптал окурок, не-

заметно откинул в сторону кол. Недовольно спросил: — Спать, что ли, хочешь?

— Нет.

Егор достал железную коробочку с леденцами — косил в кармане на всякий случай, — нашел Марьину руку, сунул, не глядя.

— На. — И сморщился: стало до тошноты стыдно. Эта сволочная коробочка извела его за весь вечер — звякала в кармане, напоминая о необходимости делать все, как положено, как делают другие. Макар на досуге учил его этой науке.

— Зачем, Егор? — Марья вертела в руках коробочку; в темноте, совсем близко, весело блестели ее добрые глаза. Это было еще хуже. Хоть бы уж взяла и молчала.

— Да бери! — сорвался на крик Егор. — Откуда я знаю — зачем?!

— Ты чего такой?

— Какой? — Егор остервенело крутнул головой, в упор уставился на нее.

— Тебе чего надо-то от меня?

— Ничего не надо!

— Ну, пропусти тогда. — Она положила на столбик коробочку, обогнула неподвижно стоявшего Егора, скрипнула воротами...

Егора точно кто вдавил в землю — хотел уйти и не мог сдвинуться с места.

— Егор! — тихонько позвала Марья.

— Ну.

— Ты зачем приходил-то?

Егору послышалась в ее голосе насмешка. Он как стоял, так пошел прямо, не оборачиваясь, готовый расшибить голову о первую попавшуюся стенку. Мучительно хотелось оскорбить Марью — тяжело, грубо, чтобы чистые глаза ее помутились от ужаса.

Он отошел уже далеко и вдруг вспомнил, что на столбике так и лежит злополучная коробочка с леденцами. Его даже кольнуло в сердце. Бегом вернулся назад, схватил ее и запустил в огород.

Пошел на Баклань-реку. Сел на берегу, стал слушать, как шуршит лед. Потом вскочил, пошел домой. Взнуздал на конюшне Воронка, вывел за ворота... Вскакивая, шатнул его своей тяжестью. Сильный мерин с места взял вмах. Под копытами гулко застонала земля. Навстречу со свистом понеслась ночь...

Конь сам выбирал себе дорогу. Егор, стиснув зубы, в

такт лошадиному скоку упрямо твердил: «Так! Так! Так!»

Вылетели за деревню.

Егор осадил разгоряченного коня, спрыгнул... Сел на сырую землю, склонил голову к поджатым коленям.

...Уже на востоке тихо стал заниматься рассвет, прокричали третьи петухи, а он все сидел так, ни разу не подняв головы. Воронко несколько раз осторожно тянул у него из рук повод, ржал негромко.

Егор вскинул наконец голову, поднялся, погладил мерина по шее. Поехал домой. Грустно было, и зло брало на Марью и на себя.

8

Утром Платоныч едва добудился Кузьму.

Тот натянул до ушей тонкое лоскутное одеяло (один большой нос торчал наружу) и выдавал такой свист с переливом, что Платоныч с минуту стоял над ним — с удовольствием слушал. Потом крепко тряхнул гуляку.

— Кузьма! А Кузьма!

Свист на секунду прекратился. Кузьма пошевелился, сладко чмокнул губами и снова выдал веселую руладу.

— Вставай, Кузьма!

Кузьма открыл глаза, огляделся. Они спали на полу, на старых, вытертых полушубках.

— Подъем!

Кузьма деловито вскочил и тут же сел, поспешно спрятал длинные худые ноги в коротких кальсонах под одеяло: увидел дверь горницы и все вспомнил.

В избе никого не было: хозяин ушел на работу, Агафья убиралась в ограде. Клавдина шубейка висела на стенке рядом с тужуркой Кузьмы.

— Ты где был вчера? — негромко спросил Платоныч.

Кузьма натягивал под одеялом галифе. Вместо ответа зырко глянул на горничную дверь, покраснел.

— Что ты спросил?

— Где был вчера?

— Да так... прошелся по деревне.

— А-а... Ну, умывайся, пойдем. Я тут кое-что придумал, хочу рассказать тебе...

— Что придумал?

— Потом.

Наскоро перекусили.

Выходя, встретились с Агафьей.

— Вы позавтракали? Я там на столе оставляла. — Она пытливо заглянула в глаза Кузьме.

— Мы — уже. Спасибо, — ответил Платоныч.

Кузьма выдержал взгляд Агафьи, прошел мимо.

— По-моему, тут кто-то из города шурует, — заговорил Платоныч, когда вышли за ворота. — Или же человек специальный в город ездит. Но связь с городом есть, это точно...

Кузьма плохо его слышал. Шаг за шагом вспоминал и снова переживал он вчерашнюю ночь. Голос Платоныча звучал далеко и безразлично; он рассказывал о том, что нужно, по его мнению, сделать в ближайшие дни.

Дело, ради которого они сюда приехали, было такое.

Месяца два назад к югу от Баклани начала действовать шайка отчаянных людей. Сначала их приняли за обычных грабителей, но потом поняли (после налета на деревни): наводит головорезов опытная и мстительная рука. В деревнях громили сельсоветы, избы-читальни, в одном селе сбили замок с каталажки и распустили арестованных.

Как только банду начинали преследовать, она уходила в глухомань, и там ее достать было трудно. Чоновцам нужна была помощь местного населения и верных людей.

Губернское ГПУ выслало в эти места несколько человек — выследить банду и подготовить ее разгром. В числе таких были и Родионовы. Они не были чекистами, приехали в Сибирь, чтоб помочь возродить жизнь на тех небольших заводишках в уездных городах, которые стояли — немые и холодные — с гражданской.

Когда же узнали, что места эти им знакомы, попросили пока повременить с заводами. Платоныч согласился. Кузьму уговаривать не пришлось.

По документам они числились представителями губернского ОДН — общества «Долой неграмотность». А Платоныч загорелся мыслью построить в Баклани школу — руками самих крестьян. Благо это заодно поможет лучше скрыть истинную цель их приезда.

— ...Походим по дворам, посмотрим, — говорил Платоныч. — Может, двух зайцев сразу поймаем. Только осторожно, конечно. Тебе хорошо бы с парнями сойтись...

Кузьма согласно кивал головой:

— Сойдусь.

— Девка-то нравится? — неожиданно спросил Платоныч. Как обухом огрел.

Кузьма насупился.

— Какая девка?

— Хозяйская. — Платоныч поверх очков посмотрел на него и засмеялся. Смеялся он тихо, хитро и весело. По всему лицу разбегались мелкие морщинки. — Эх, ты... чекист, голова садовая! — Потом посерьезнел, сказал: — Взрослеть надо, Кузьма. Сколько уж тебе, я все забываю?..

— Двадцать.

— Ну вот. Ты, я вижу, в мать свою. Та до тридцати лет все краснела, как девушка.

В сельсовете взяли список наиболее зажиточных семейств.

— Не получится это у вас, — любезно сказал Колокольников. — Не будут строить.

— Посмотрим.

— Весна как раз пришла. У каждого своей работы...

— По пять дней отработают — ничего не случится.

— Спробуйте, конечно...

В первом же доме, у Беспаловых, хозяин, добродушный зажиревший мужик с узкими внимательными глазками, выслушал их, прямо и просто сказал:

— Нет.

— Почему?

— Это же дело добровольное?

— Конечно.

— Ну вот. Мне это не подходит. Некогда.

— Один день...

— Ни одного. Даже посмотреть на нее не пойду.

В другом не менее категорично, но более ядовито объяснили:

— Наши голодранцы церкву без нас ломали? Ну и школу пусть без нас строют. А то — умные какие... Разлысили лоб. Вот к им и идите. К голож...

— Без выражений можно?! — обозлился Платоныч. — Вам же школа-то нужна.

— Кому нужна, тот пускай строит. Нам без нее хорошо.

На улице Платоныч задумался.

— Крепкий народ. Неужели все такие?

— Мы неправильно сделали, что к богатым пошли, — сообразил Кузьма.

— Пожалуй, — согласился Платоныч. — Пойдем подряд, без разбора.

9

Игнатий Любавин жил на заимке. Один.

До девятнадцатого года торговал Игнатий в городе, имел лавочку, дом большой. А в девятнадцатом все отобрали. Но он кое-что успел припрятать. Даже золотишко, наверно, имел. Долго не раздумывая, отгрохал за деревней дом, купил штук двадцать ульев и зажил припеваючи. Не жаловался. Вслух, во всяком случае.

Это был сухой, благообразный старик метра в два ростом. Тихий... Все покашливал в платочек — привычка такая была — и посматривал вокруг ласково, терпеливо, с легким намеком на скрытое страдание.

Они с Емельяном были сводные братья — от разных матерей. Роднились плохо. Редко бывали друг у друга — только по надобности какой.

Емельян Спиридоныч не выносил старшего брата. За скрытность. «Никогда не поймешь, что у него на уме. Темно, как в колодце», — говорил Емельян. Игнатий отвечал тем же. И в минуты нехорошей откровенности, посмеиваясь, высказывал, что думал о Емельяне Спиридоныче: «Крепкий ты, Емеля, как дуб, и думаешь, что никакая сила тебя не возьмет. А дуб срубить легко».

Приехали к Игнатию уже при солнце.

Дорогой Кондрат несколько раз просил остановиться — голову раскалывала страшная боль. Один раз даже вырвало.

— Света белого не вижу, — шептал он бескровными губами. — Устосовали они меня...

Стояли несколько минут, потом тихонько трогались дальше.

Игнатий встретил их в ограде.

— Вижу из окна: вроде конь ваш... Что это с Кондратом?

— Упал, — кратко пояснил Емельян Спиридоныч.

Игнатий белыми длинными пальцами осторожно раздвинул спутанные волосы на голове Кондрата, долго рассматривал рану.

— Откуда упал?

— С крыльца.

Игнатий насмешливо посмотрел на брата.

— Соврать даже не умеешь, Емеля-пустомеля!

— А ты, если уж ты такой умный, не спрашивай, а веди в дом.

Игнатий секунду помедлил.

— Там у меня... — хотел он что-то объяснить, но махнул рукой и первый направился в дом. — Пошли.

В избе у стола сидел незнакомый молодой человек с длинным желтым лицом. С виду городской. Глаза большие, синие. На высокий костлявый лоб небрежно упал клочок русых волос. Узкая, нерабочая ладонь нервно шевелится на остром колене. Смотрит пристально.

— Это брат мой. А это племяш, — представил Игнатий.

Молодой человек легко поднялся, протянул руку:

— Закревский.

Емельян Спиридоныч небрежно тиснул его влажную ладонь. Про себя отметил: «Выгинается, как вша на гребешке».

— Ушиблись? — с участием спросил Закревский у Кондрата и улыбнулся.

Кондрат глянул на него, промолчал. Игнатий увел племянника в горницу, уложил в кровать.

— Сейчас... обмоем ее, травки положим. А потом уснуть надо. Крепко угостили. Дома-то нельзя было оставаться?

— Мм...

— Правильно. Только с вашими головами дела делать. Они крепкие у вас. Могут искать?

— Не знаю. Могут.

— Ая-я-я!.. Как они ее разделали!.. Головушка бедная!

Емельян Спиридоныч сидел напротив желтолицего, курил. Швыркал носом. Какую-то глухую, тяжкую злобу вызывал в нем этот человек. Хотелось раздавить его сапогом. Непонятно почему. Наверно, на ком-нибудь надо было зло сорвать.

Синеглазый смотрел на него. Емельян почти физически ощущал на себе этот взгляд, внимательный и наглый.

— Где это сына?.. — спросил желтолицый, вовсю шаря глазами по лицу Емельяна Спиридоныча.

Тот поднял голову, негромко, чтобы не слышал Игнатий, сказал:

— А тебе какое дело, слюнтяй?

Незнакомец растерянно моргнул, некоторое время сидел не двигаясь, смотрел на Емельяна Спиридоныча. Потом улыбнулся. Тоже негромко сказал:

— Невежливый старичок. Хочешь, я тебе глотку заткну, бурелом ты?.. Ты что это озверел вдруг? А?

Емельян пристально смотрел на него.

— Один разок дам по мусалам — мокрое место останется, — прикинул он и гневно нахмурился. — Не гляди на меня, недоносок! Змееныш такой!

Закревский дернул рукой в карман.

— Хватит! Сволочь ты!.. — голос его нешуточно зазвенел.

Емельян смотрел ему в лицо и не заметил, что он достал из кармана. А когда опустил глаза, увидел: снизу, из белой руки, на него смотрит черный пустой глазок дула.

— Вы что, сдурели? — раздался над ними голос Игнатия.

Закревский спрятал наган, неохотно объяснил:

— Спроси у него... Начал лаяться ни с того ни с сего.

— Ты что тут?! — грозной тучей навис Игнатий над братом.

— Не ори, — отмахнулся тот. — Пусть он его еще раз вытащит... я ему переставлю глаза на затылок.

— Ты белены, что ли, объелся? — не унимался Игнатий. — Чего ты взъелся-то?

— Прекрати, ну его к черту, — поморщился Закревский. — Он не с той ноги встал. Достань выпить.

Игнатий послушно замолчал, откинул западню, легко спрыгнул под пол, выставил грязную четверть, так же легко выпрыгнул. Закревский и Емельян Спиридоныч хмуро наблюдали за ним.

Игнатий налил три стакана, подвинул один на край стола — Емельяну Спиридонычу. Тот дотянулся, осторожно взял огромной рукой стакан. Глянул на Закревского. Закревский вильнул от него глазами — наблюдал с еле заметной улыбкой на тонких, в ниточку, губах. Емельян Спиридоныч нахмурился еще больше, залпом шарахнул стакан, крякнул и захрустел огурцом.

Игнатий и Закревский переглянулись.

— Хорош самогон у тебя, — похвалил Емельян Спиридоныч.

— Первачишко. Еще налить?

— Давай. Мутно что-то на душе.

— Зря с человеком-то поругался, — Игнатий кивнул в сторону Закревского. — Он как раз доктор по такой хвори.

— А он мне нравится! — воскликнул Закревский. — Давай выпьем... старик?

Странно — Емельяну Спиридонычу человек этот не казался уже таким безнадежным гадом. Он глянул на него, придвинул стул, звякнул своим стаканом о стакан Закревского, протянутый к нему.

Выпили. Некоторое время молча ели.

— Отчего же на душе мутно? — поинтересовался Закревский.

— Если б я знал! Жизнь какая-то... хрен ее разберет.

— Я думал, таких ничего не берет, — с удовольствием сказал Закревский и озарил свое желтое лицо приветливой улыбкой. Потрогал тонкими пальцами худую шею. Придвинулся ближе.

10

Первым, кто согласился пойти отработать день на строительстве школы, был кузнец Федор Байкалов.

Федор жил в маленькой избенке с двумя окнами на дорогу. Он влезал в нее согнувшись, очень осторожно, точно боялся поднять невзначай потолок с крышей вместе.

В трезвом виде это был удивительно застенчивый человек. И великий труженик.

Работал играючи, красиво; около кузницы зимой всегда толпился народ — смотрели от нечего делать. Любо глядеть, как он — большой, серьезный — точными, сильными ударами молота мнет красное железо, выделывая из него разные штуки.

В полумраке кузницы с тихим шорохом брызгают снопы искр, озаряя великолепное лицо Феди (так его ласково называли в деревне, его любили). Крепко, легко играет молот мастера: тут! тут! тут! Вслед за молотом бухает верзила-подмастерье — кувалда молотобойца: ух! ах! ух! ах!

Федя обладал редкой силой. Но говорить об этом не любил — стеснялся. Его спрашивали:

— Федя, а ты бы мог, например, быка поднять?

Федя смущенно моргал маленькими добрыми глазами и говорил недовольно:

— Брось. Чо ты дурак, что ли?

Он носил длинную холщовую рубаху и такие же штаны. Когда шел, просторная одежда струилась на его могучем теле, — он был прекрасен.

По праздникам Федя аккуратно напивался. Пил один. Летом — в огороде, в подсолнухах.

Сперва из подсолнухов, играя на солнышке, взлетала в синее небо пустая бутылка, потом слышался могучий вздох... и появлялся Федя, большой и страшный.

Выходил на дорогу и, нагнув по-бычьи голову, громко пел:

В голове моей мозг высыхает;
Хорошо на родимых полях.
Будет солнце сиять надо мною,
Вся могилка потонет в цветах...

Он знал только один этот куплет. Кончив петь, засучивал рукава и спрашивал:

— Кто первый? Подходи!

А утром на другой день грозный Федя ходил с виноватым видом по ограде и беседовал с супругой.

— Литовку-то куда девала? — спрашивал Федя.

Из избы через открытую дверь вызывающе отвечали:

— У меня под юбкой спрятана. Хозяин!

Федя, нагнув голову, с минуту мучительно соображал. Потом говорил участливо:

— Смотри не обрежься. А то пойдет желтая кровь, кхххх-х-х...

В избе выразительно гремел ухват, Федя торопливой рысцой отбегал к воротам. На крыльцо с клюкой или ухватом в руках появлялась Хавронья, бойкая крупная баба. Федя не шутя предупреждал ее:

— Ты брось эту моду — сразу за клюку хвататься. А то я когда-нибудь отобью руки-то.

— Бык окаянный! Пень грустный! Мучитель мой! — неслось в чистом утреннем воздухе.

Федя внимательно слушал. Потом, улучив момент, когда жена переводила дух, предлагал:

— Спой чего-нибудь. У тебя здóрово выйдет.

Хавронья тигрицей кидалась к нему. Федя не спеша перебегал через улицу, усаживался напротив, у прясла своего закадычного дружка Яши Горячего. За ворота Хавронья обычно не выбегала. Федя знал это.

Яша выходил к нему, подсаживался рядышком. Закуривали знаменитый Яшин самосад с донником и слушали «камедь».

— Бурые медведи! Чалдоны проклятые! — кричала Хавронья через улицу. — Я из вас шкелетов наделаю!..

Дружки негромко переговаривались.

— Сёдня что-то мягко.

— Заряд неважный, — пояснял Федя.

Иногда, чтобы подзадорить Хавронью, Яша кидал через улицу:

— Ксплотатор! (Он страшно любил такие слова.)

— Ты еще там!.. — задыхалась от гнева Хавронья. — Иди поцелуй Анютку кривую! Она тебя давно дожидается...

Яша умолкал. Анютка эта — деревенская дурочка, которую Яша один раз по пьяной лавочке защучил в углу и... говорил ей ласковые слова. Она дура-дура, а тут вырвалась, исцарапала Яше лицо и убежала. Но мало того — еще раззвонила по деревне, что Яша Горячий приходил ее сватать, но она, Анютка, не пошла за такого. «Шибко уж пьет он, — говорила она серьезно. — Если бы пил поменьше...» — «Да ты подумай, Анютка, — советовали ей мужики. — Не швыряйся шибко-то... У вас же старая любовь». — «Нет, нет, нет, — даже и не уговаривайте! Слушать даже не хочу». Мужики гоготали, а Яша выходил из себя: грозился, что убьет когда-нибудь Анютку.

Федя был дома, когда пришли к нему.

Хавронье нездоровилось — лежала на печке с видом покорной готовности выносить всякие несправедливости судьбы. Федя разбирал на лавке большой амбарный замок.

— Здравствуйте, хозяева! — громко сказал Платоныч. (Он сначала было озлился, помрачнел, а под конец своих неудачных хождений странным образом повеселел. «Ничего, Кузьма, вот увидишь — школа будет. Не на тех они нарвались», — заявил он.)

На «здравствуйте» Федя поднял от замка голову, некоторое время молча разглядывал старика и парня.

— Здорово живете.

— Вот какое дело, хозяин, — заговорил Платоныч, без приглашения направляясь в передний угол, — надо вам в деревне школу иметь... Надо ведь?

Федя, наморщив вопросительно лоб, смотрел на него.

— Надо, конечно, — сам себе ответил Платоныч. — Ребятишки учиться будут. Да. А школы нет. Как быть?

Федя хмыкнул — ему понравилось начало.

— Как же быть?

— Не знаю, — сознался Федя.

— Строить! — воскликнул Платоныч, будто сам удивляясь и радуясь столь простому решению.

— Во-он ты куда! — догадался Федя. Отложил в сторону замок. — А как... кто строить-то будет?

— А все вместе. Каждый по пять-шесть дней отработает — и школа готова. Леса вам не занимать.

Федя выслушал и, не раздумывая, просто сказал:

— Можно.

Платоныч даже растерялся от такой легкой победы. Встал, потрогал застегнутые пуговицы пальто.

— Вот и хорошо. Хорошо, брат!.. Пошли, Кузьма. До свиданья.

— Будь здоров.

На улице Платоныч молодо сверкнул глазами:

— Чего я тебе говорил!

— Один только...

— Все будут! — Платоныч смешно вскинул голову, легко и уверенно пошагал к следующему двору. Он был упрямый старик.

Зашли к Поповым.

Они как раз обедали. На столе дымился чугунок с картошкой. На лавках вкруг стола сидела детвора — один другого меньше. Каждый доставал себе из чугунка горячую картошину, чистил, катая с руки на руку, макал в соль и, обжигаясь, ел с хлебом. Запивали молоком из общей кружки, в которую Марья часто подливала свежего. Молока было немного, ребятишки следили друг за другом, чтобы тот, к кому переходила кружка, не очень старался, глотая. Молчали.

— Здравствуйте, хозяева!

Все обернулись; шесть маленьких рожиц с одинаково ясными «поповскими» глазами с любопытством рассматривали Платоныча и Кузьму.

— Проходите, — пригласил Сергей Федорыч, вытирая полотенцем руки.

Платоныч незаметно огляделся, выискивая, куда присесть.

— Вон, на кровать можно, — показал хозяин, не смущаясь угнетающей теснотой в своей избе. Он привык к ней за всю жизнь.

Присели на край высокой деревянной кровати, покрытой полосатой дерюгой.

Сергей Федорыч отъехал с табуреткой от стола ближе к кровати. Достал кисет.

— Курите?

Платоныч отказался, а Кузьма закурил.

Еще ни в одной избе не испытывал Кузьма такого острого, саднящего душу чувства жалости к людям, как здесь. «Вот кому новая жизнь-то нужна», — подумал он, разглядывая ребятишек. Встретился взглядом с Марьей и... вздрогнул. Она вдруг напомнила ему мать. Он не знал мать, но по рассказам Платоныча и других людей восстановил для себя дорогой образ, свыкся с ним, бережно хранил... Ему казалось, что он ее помнит; он даже встречал женщин, похожих на мать. Но эта... елки зеленые! — до того похожа. Невероятно, странно, что она сидит здесь, живая. Можно подойти и потрогать ее рукой. Кузьма не отрываясь смотрел на Марью. Не слышал, о чем говорит Платоныч с хозяином. Ничего не слышал и не видел вокруг. Не помнил даже, как вышли на улицу... В глазах стояла Марья.

— Что такое, дядь Вась... А? Ты видел, какая она?

Платоныч строго посмотрел на племянника. Негромко и серьезно сказал:

— Не нравятся мне такие штуки, Кузьма. Ты что это?

Кузьма промолчал. Понял, что не сумеет сейчас ничего объяснить.

Молчали до следующего двора. Перед тем как войти в дом, Платоныч остановился, спросил встревоженно:

— Что с тобой делается? Ты можешь объяснить?

— Потом объясню. Вечером.

11

Братья приехали почти одновременно. Не успел Макар расседлать коня (за шапкой ездил и за обрезом), ворота раскрылись — въехал Егор.

— Ты где был? — спросил Макар.

— Недалеко.

Утро было хмурое. Небо заволокло тучами; они низко плыли над землей, роняли в грязь редкие холодные капли.

— Кондрата нашего, однако, убили, — сказал Макар.

Егор застыл около коня.

— Где?

— Не совсем... Вон видишь, что делается! — Макар показал братнину шапку, всю в крови.

— Скажет тоже — убили!

— Может помереть.

— Дрались, что ли?

—Ага.

— С кем?

— Не знаю.

— У тебя курево есть? — Егор присел на ясли. — Я прокурился.

Макар сел рядом, достал из кармана кисет, подал брату. Нахмурился, разглядывая окровавленную шапку.

— С кем он? — опять спросил Егор.

— Не знаю. Не могу никак понять: чем так звезданули? От гирьки не бывает рвано. А тут вишь... — он сунул под нос Егору шапку.

— Брось ты ее! — откачнулся Егор.

По крыше конюшни забарабанил редкий, но крупный дождь — ранний собрался. Первый в этом году.

— Пахать скоро, — вздохнул Макар.

Егор подобрал с земли соломинку, закусил в зубах.

— Втюрился я, Макар...

Макар живо повернулся:

— Ну-у! В кого?

— В Марью Попову.

Макар заулыбался: такая любовь сулила много хлопот Егору.

— Как же теперь?

— Не знаю. Хоть «Матушку репку» пой.

— М-дэ-э... — сочувственно протянул Макар. — Плохо твое дело, Егор, шибко плохо. Даю голову на отсечение — он даже разговаривать об этом не станет.

Егор сам знал, что говорить с отцом о Марье — все равно что шилом пахать. Глупо. Емельян Спиридоныч понимал одно: невеста должна быть с приданым. Он за Кондрата высватал некрасивую, хворую девку, зато из богатого дома. «С лица воду не пить»,—заявил он.

— Пощупал уж ее? — спросил Макар.

Егор дрогнул ноздрями, сплюнул.

— Оглоед!.. Только одно знаешь. Все, что ли, такие?

— Что ж ты с ней... оленей ловил?

— Перестань, а то в зубы заеду!

— Я заеду! — В глазах у Макара загорелся веселый злой огонек. — Попал — так не чирикай.

Егор бросил соломинку, подобрал другую.

— В общем, не видать тебе Марьи как своих ушей, — сказал Макар, поднимаясь.

Егор задавил сапогом окурок, каким-то не своим голосом, тихо сказал:

— Поглядим.

Домой Емельян Спиридоныч приехал на другой день.

Кряхтя, боком влез в дверь, скинул с плеча мешок.

— Здорово почевали. — Весь опухший, темный, с мутными глазами.

— С приездом! — весело откликнулся Макар. Он был один дома. Куда-то собирался: стоял перед самоваром в синей сатиновой рубахе, смотрелся в него.

Отец выжидающе уставился на сына.

— Никто не был?

— Никого. Монголка-то прибежала.

Емельян слезливо заморгал.

— Сама?

— Сама. Ночью. Как заржет под окном... Я думал, мне сон снится.

Емельян Спиридоныч снял рукавицу, высморкался в угол.

— Поеду в город — рублевую свечку Миколе-угоднику поставлю, — поклялся он, устало присаживаясь на припечье. — Иди коня выпряги.

— А где Кондрат?

— Там.

Макар вышел, но тотчас вернулся обратно с широко открытыми глазами.

— Эти... приезжие зачем-то идут.

Емельян Спиридоныч выронил кисет. Встал, хотел идти в горницу, но в сенях уже скрипели шаги. Оба — отец и сын — замерли посреди избы, глядя на дверь.

— Здравствуйте, хозяева! — Вошли Платоныч и Кузьма.

— Доброго здоровья! — приветливо откликнулся Макар. — Проходите.

Он несколько суетливо подставил один стул и... сам сел на него. Но тут же вскочил, поправил рубаху.

Кузьма с недоумением глядел на Макара. Тот почувствовал этот взгляд. Тоже уставился на Кузьму — тревожно.

Молчание получилось долгим, тяжким для Любави-

ных. Емельян Спиридоныч мучительно решал: сесть ему или продолжать стоять? Или вообще уйти в горницу?

— Мы вот по какому делу: решили в вашей деревне школу строить. Поможете?

Емельян Спиридоныч сдвинулся наконец с места, пошел к порогу раздеваться. Макар сел, закинув ногу на ногу. Приготовился с удовольствием разговаривать.

— Школу, значит, строить? — Макар бесцеремонно рассматривал Платоныча. — Большую?

— Хорошую нужно.

— Так. А сортир там будет?

Емельян Спиридоныч гневно обернулся на сына. У Кузьмы багрово потемнел шрам. Один Платоныч сохранял спокойствие.

— Ты что, мастер по сортирам?

— Ага. Я очки вырубаю. И какие очки, ты бы знал!.. — Макар говорил серьезно, даже несколько торжественно. — Не очки, а загляденье! Люди сутками сидят на них, и вставать неохота. Сидят и смеются... от радости.

Кузьма с тоской и яростью посмотрел на Платоныча. У того чуть заметно дергалось левое веко.

— Знаешь... Это интересно. Фамилию твою можно узнать? — Платоныч полез в карман за карандашом.

Макар настороженно сузил глаза:

— Зачем?

— А нам такие мастера нужны. Как фамилия?

— Ну, это ты зря, дядя... Я ж пошутил, — Макар невесело улыбнулся.

— Как фамилия?! — строго прикрикнул Платоныч.

Макар сутуло повел плечами.

— Любавин. Только не ори на меня.

— Ты чего это, борода, разоряешься? — спросил Емельян Спиридоныч. — Гляди, это тебе не старинка. — Под лохматыми бровями его тускло мерцали, играя, злые глаза.

Платоныч, не оборачиваясь, резко сказал:

— В помощи вашей мы больше не нуждаемся. А за издевательство над общим делом можно спросить! — Он круто повернулся и пошел к выходу.

Емельян Спиридоныч посторонился.

Кузьма, глядя на него, замедлил шаг.

— Вот именно — не старинка! Это ты правильно сказал.

— Будь здоров, сопля, — миролюбиво ответил Емельян Спиридоныч.

Кузьма, ощерив стиснутые зубы, пошел грудью на старика — длинный, тонкий, прямой и безрассудный. Боль и гнев стояли в его глазах. Но был он слаб, до смешного слаб против квадратного Емельяна Спиридоныча. Тот в молодости ломал через колено дышло от брички.

— Кузьма! — остановил его Платоныч. — Пойдем.

Когда за ними закрылась дверь, Емельян Спиридоныч подошел к Макару, наотмашь, хлестко стеганул его по лицу портянкой.

— Балабонишь много!

Макар крутнул головой, хищно оскалился... Отошел к окну. Проводил глазами отступающего от кобеля Кузьму, плюнул на крашеный пол.

— С одного раза до смерти зашиб бы... такого. А приходится молчать. Как их Колчак не угробил?!

— Меньше вякай про это! — рыкнул отец. Стащил сапог с ноги и мрачно задумался. — Они нам еще завьют горе веревочкой.

— Просидели тут в семнадцатом годе, — не то упрекнул отца Макар, не то сказал с сожалением. — Про... Сибирь.

Емельян Спиридоныч посмотрел на сына, ничего не сказал. Подумал, спросил с издевкой:

— Что же ты не шел спасать ее в переворот-то? Вон они, не так уже далеко были, партизаны-то. — Забыл сгоряча Емельян Спиридоныч, что было Макару в ту пору пятнадцать-шестнадцать лет — вояка еще зеленый. Сам же сообразил, что сказал глупость, добавил уклончиво:

— Ничо, не пропадем пока.

— Это — как сказать. Я вон встретил вчера Елизара Колокольникова, он говорит: «Передай, говорит, отцу, чтоб нынче в пахоту не нанимал никого». Гумага какая-то ему пришла от начальства. «Сами, говорит, управляйтесь».

Емельян Спиридоныч опять невесело задумался. Потом озверел вдруг:

— Ты скажи ему, чтоб он не совал нос куда не надо! А то я его вместе с гумагой энтой в Баклань спущу. Председатель... — Матюкнулся и полез на печку, отсыпать пропитую ночь. Не стерпел и еще подал оттуда: — Хлебушка им дай, а людей не нанимай!

— Прям стишок получился, — сострил Макар.

— А ты чего лоботрясничаешь?! — вконец обозлился Емельян Спиридоныч. — Куда выпялился?!

Макар струсил.

— В карты пойду поиграю. А чего делать-то? Коней перековал...

— Бороны надо чипить!

— Там очередь... Не дошло. А Федя еще косится на нас...

Емельян Спиридоныч отвернулся к стенке, сказал с сердцем сам себе:

— Я им покошусь! Обормоты...

Макар поскорее вышмыгнул из избы; плохо дело, когда отец не знает, на ком сорвать злобушку: он всегда тяжко хворал с похмелья и ненавидел весь свет.

Когда вышли за ворота, Платоныч остановился, поджидая Кузьму.

— Неправильно делаешь, дядя Вася, — с ходу заявил Кузьма, останавливаясь.

Платоныч двинулся в переулок, к следующему дому.

— Пошли. Что неправильно?

— Форменные богачи, а ты на них с карандашиком... Напугал кого! Вообще надоело мне возиться с этой школой. Нас для чего послали?

— Иди ближе и не кричи так. Слушай меня. Неправильно делаешь ты, а не я. Помню, для чего послали. Но только напрасно ты думаешь, что к дуракам послали. — Обогнули с разных сторон большую лужу, сошлись снова. — Вся деревня у нас вот где должна быть, — Платоныч протянул руку ладонью кверху. Она была маленькая, ладонь, сморщенная. — Всех надо вот так видеть. И знать. И блох не ловить — главное. А от школы я не отступлюсь. Не они, так дети ихние спасибо скажут. Так, Кузьма. Будь умнее. Не торопись.

Вечером того же дня у Егора с отцом произошел короткий разговор.

Емельян Спиридоныч только что проснулся, сидел на лавке, разогретый сном, пил с передышками квас. Блаженно кряхтел.

Егор вошел с улицы — полушубок нараспашку. Не снимая шапки, сразу начал:

— Тять, хочу жениться.

— Хм. Кого хочешь брать?
— Марью... Попову.
Емельян Спиридоныч отставил ковш. Даже не захотел повысить голос.
— Ты што, смеешься надо мной?
— Не смеюсь. Люблю девку.
— Иди кобылу мою полюби. Здоровый балда, а умишка ни на грош. Больше не подходи ко мне с таким разговором.
— Тогда сам пойду сватать, — решил Егор. — Со мной не будет, как с Кондратом. — Он, не поворачиваясь, стал отходить к двери. И, хоть он и ждал этого, едва успел увернуться: ковш, брызгая во все стороны квасом, пролетел около его головы, ударился о косяк и, звякая, покатился по полу.
— Собака! Научились с отцом разговаривать!! — послал Емельян Спиридоныч громовым голосом вслед сыну.

Егор вылетел из сеней, вытирая рукавом лицо, — квасом попало. Навстречу на крыльцо поднимался Макар.
— Ломанул чем-нибудь? — спросил он, улыбаясь.
Егор загородил ему дорогу:
— Пошли со мной.
— Куда?
— К Поповым. Сватать.
Сросшиеся смоляные брови Макара поползли вверх.
— Он што... согласный?
— Согласный. Пойдем самогону достанем...
Егор развернул брата и, не давая ему опомниться, потащил за собой. Тот шел и не шел: не верилось.
— А чего ты такой выскочил?
— Эта... Я потом расскажу. Пойдем.
— Врешь, — понял Макар и остановился. — Ты чего надумал?
— Выручи, Макар, пошли. Высватаем, приведу в дом — не выгонит. Побоится позора. А выгонит — хрен с ним. Но все равно будет по-моему.
Макар думал. Такое сватовство ему могло выйти боком. Но очень хотелось досадить отцу. В душе он был согласен с Егором. Вскинул голову, озорно сверкнул глазом.
— Пошли.
Купили в одном, известном им доме три бутылки самогону и направились к Поповым. Первым — Макар.

Азартная, ярая душа его разыгралась не на шутку. Его уже нельзя было остановить. Вздумай сейчас Егор удариться на попятную — он пошел бы сватать один. За себя.

— Замесили дельце! — потирал он, довольный, руки.

Огня у Поповых еще не было. Макар впотьмах налетел на табуретку.

— Дядя Сергей!

— Оу!

— Где ты тут? Запаляй огонь — гости пришли! — распоряжался Макар.

Марья зажгла лампу и, когда увидела у порога серьезного, собранного Егора и сияющего Макара посреди избы, вспыхнула горячим, предательским румянцем. Сергей Федорыч понял позже.

— Вам чего, ребяты?..

— Нам-то?.. — Макар, к немалому удивлению хозяина, быстро разделся, прошел к столу. За ним так же быстро и решительно смахнул с плеч полушубок Егор. — Нам для начала капустки. Есть? А потом потолкуем. — Макар значительно посмотрел на Марью. Она не знала, куда девать свои ясные, посчастливевшие глаза.

Сергей Федорыч понял наконец. Приосанился. Первый раз, за первую дочь пришли свататься. Теперь — не ударить лицом в грязь.

— Вон вы какие гости-то! — сказал он, как бы решая для себя: не выставить ли сразу таких гостей?

Но долго не смог притворяться.

— Марья, неси капусту. — Сел к столу. Потрогал маленькой высохшей рукой бутылку. — Запотела, сволочь.

Макар достал из кармана большой шмат сала (заходил по дороге к брату Ефиму), сдул с шершавой корочки табак, шлепнул на стол.

Ребятишки внимательно смотрели на них с печки.

Сергей Федорыч отхватил ножом хороший кусок, бросил им.

— Только с хлебом ешьте.

Марья принесла в чашке капусту. Поставила на стол и отошла в сторонку.

— Та-ак. А сам Емельян Спиридоныч к бедным не ходит сватать? — спросил Сергей Федорыч.

— Ему некогда, — ответил Макар.

Хитрый Ефим зачуял недоброе.

Отрезая Макару сало, невзначай спросил:

— Зачем тебе сало-то?

— Выпьем тут с дружками.

Ефим понял, что замышляет Макар какое-то темное дело. То ли драку или чего похуже.

Проводил Макара, собрался — и ходом к отцу.

С порога спросил:

— Где ребята?

— Не знаю. А што?

— Приходил сейчас Макар ко мне, попросил сала. А у самого карманы оттопырены, — по-видимому, бутылки с самогоном. Не затеяли они чего?

Емельян Спиридоныч, набрякая темной кровью, спросил:

— Егорка был с ним?

— Был. Только тот не заходил, а на улице дожидался. Но пошли вместе.

Емельян Спиридоныч вскочил с места, тяжело забегал по избе.

— Ах, подлецы! Сукины дети!.. Ведь они сватать Маньку пошли! Ну-ка... где мои сапоги?! — наливаясь гневом, заорал он. Сам увидел их у порога... С трудом натаскивая прямо на голую ногу, тихо и страшно гудел: — Головы пооткручиваю паразитам... Месиво пойду сделаю!

— Чью Маньку-то?

— Попову.

Ефим даже ахнул: голь перекатная!

— Макар, што ли?

— Егорка... Гад сумеречный! Пошли.

Сергей Федорыч быстро захмелел. Обхватил маленькую косматую головенку, тихо, с тоской запел:

Эх ты, воля, моя воля!..

Оборвал песню. Из-под пальцев на стол быстро-быстро закапали слезы.

— Старуха моя... Степанидушка... Не дожила ты до этого дня. А хотела она...

Егор стиснул зубы и пошевелился, чтобы унять дрожь.

— Тять, зачем ты об этом? Не надо, — попросила Марья.

Макар сохранял деловое настроение:

— Так что, Федорыч?.. Отдаешь за нас Марью?

Сергей Федорыч помолчал и вдруг громко сказал:

— Нехорошие вы люди, Макар! И Егор... тоже ж — Любавин. Корни-то одни. Не хотел бы я с вами родниться, но... пускай. Видно, чему быть, того не миновать.

Макар слегка опешил от такого ответа. Завозился на месте. Егор хмуро и трезво смотрел на пьяненького Сергея Федорыча. А тот помолчал и опять повторил упрямо:

— Плохие вы люди, Егор. Потёмые.

— Тятя!.. — встряла было Марья.

— Ты молчи! — приказал отец. — Ты ничего еще не понимаешь...

Ефим осторожно подкрался к маленькому, низкому окну. Заглянул с краешка.

— Здесь. За столом сидят.

Слабенькая, легкая дверь с треском расхлобыстнулась от пинка... Как чудище, страшное и невозможное, вырос Емельян Спиридоныч в тесной избушке. Как гром с ясного неба грянул.

— Марш отсюда!

Первым опомнился Макар. Встал. Не знал, что делать: вылетать сразу или немного поартачиться?

Егор сделался белым; сидел, стиснув в руке граненый стакан с самогоном. Не шевелился.

— Я кому сказал! — рявкнул Емельян Спиридоныч.

В тишине, мучительной и напряженной, тоненько звякнул лопнувший стакан в руке Егора.

Макар двинулся к выходу.

Егор сунул окровавленную руку в карман... Тоже поднялся.

Медленно одевались. Слышно было, как со стола мягко и дробно каплет разлитый самогон.

Сергей Федорыч забыл закрыть рот — смотрел на Любавиных.

Последним на улицу вышел Емельян Спиридоныч. Догнал в ограде Егора, коротким сильным ударом в голову сшиб его с ног. Тот вскочил было сгоряча, но Емельян Спиридоныч еще раз достал его. Егор упал навзничь. Отец прыгнул на него, начал топтать ногами.

Оба молчали. Ефим кинулся сзади к отцу, поймал за руки, оттаскивая.

— Убьешь ведь. Убьешь, што ты делаешь? — дышал он в затылок отцу.

Тот легко отбросил его, рванулся опять к Егору. Егор хотел встать, скользил на кровяном снегу, не мог подняться. Емельян Спиридоныч опять кинулся на него, но в это мгновение странная, резкая боль в голове заслонила от него свет, — никто не заметил, когда Макар выдернул из плетня кол и тенью скользнул к отцу... Емельяна Спиридоныча шатнуло, он пошел было задом на посадку, но устоял, закрутил очугуневшей головой, заревел, как недорезанный бык, и двинулся на сыновей.

— Поднимайся, Егор, скорей! — сдавленным голосом торопил Макар, заслоняя его от отца.

Емельян Спиридоныч шел напролом, ничего не желая видеть — никакой опасности. Колышек тихо прошумел... Хрястнул, сломившись. Емельяна Спиридоныча опять качнуло взад...

Егор поднялся, побежал к плетню, Макар — за ним, думая, что он убегает совсем. Егор ухватился за кол, легко, как спичку, сломил его.

— Не бежи, Макар!

Макар вернулся. Только выверпул себе другой кол — побольше.

Ефим тоже не дремал: ему подвернулось под руку коромысло... Он переломил его, сунул половинку отцу.

Дышали тяжело, с хрипом. Удары звучали мягко и глухо. Молодые действовали дружно, напористо; под их натиском Емельян Спиридоныч с Ефимом отступали все дальше в глубь ограды.

Макар вьюном крутился меж кольев, часто доставал своим то отца, то брата Ефима.

Егору попадало чаще, но зато его удары были крепче; он все подбирался к отцу... И один раз, изловчившись, угодил ему в лоб. Емельян Спиридоныч глубоко вздохнул, выронил кол и, зажав лицо руками, пошел прочь. Макар последним ударом сзади свалил его с ног. Кинулся к Ефиму... Тот отпрыгнул в сторону и, бестолково размахивая половинкой коромысла, заорал:

— Караул!

Из сеней выскочил Сергей Федорыч. Грянул ружейный выстрел.

— Разойди-ись! Постреляю всех! — завизжал он, клацая затвором берданки.

— Егор... уходим. — Макар побежал из ограды. Егор, прихрамывая, — за ним.

За воротами Макар развернулся и запустил свой кол в Сергея Федорыча.

— Постреляешь у меня!.. Хрен моржовый! Дай-ка твой — я им разок по окнам заеду. Все равно теперь родней не быть.

В этот момент гулко треснул и широко в ночь раскатился еще один выстрел берданки; где-то вверху просвистела летящая горстка дроби.

— Пошли, ну их...

— А куда? — Макар высморкался сукровицей в рваный подол рубахи.

— К дяде Игнату пока... А там поглядим.

— Зайдем тогда коней прихватим? Неизвестно, сколько придется бегать.

Егор согласился.

— Не торопись только. Плохо мне.

12

У Игната шел пир горой. Дым, гвалт, обрывки песен, крученый мат... Где-то в углу, невидимая, из последних сил, отчаянно хлопая мехами, взвизгивала гармонь.

Какой-то детина с покатыми плечами в косую сажень во что бы то ни стало хотел пройтись вприсядку. Но его каждый раз вело с ног; он падал, с трудом молча поднимался и, распрямившись во весь свой огромный рост, жеманно подбочснивался, точно по-бабьи, вскрикивал: «Ух ты-и!..» — приседал с маху и... заваливался на спину.

За столом, в центре, сидел Закревский. Улыбался, трепал кого-то по плечу, кому-то наливал водку, пил сам... Он первый увидел незнакомых. Остановил на них мутный, подозрительный взор:

— Кто такие?

Макар, не отвечая, презрительно сощурился. Егор искал глазами Игната. Его почему-то не было среди этих людей.

Закревский легко поднялся с места, пошел к Макару. На ходу резко и трезво бросил кому-то:

— Вася, выйди на улицу, посмотри.

Макар сунул руку за пазуху.

— Кто такие? — еще раз спросил Закревский, заглядывая Макару в самую душу.

— Я не могу с тобой разговаривать: у тебя чижелый

дух изо рта идет. Отойди маленько. — Макар легонько уперся стволом обреза в грудь ошеломленного Закревского, отодвинул его назад. Тот метнул испуганный взгляд на Егора, опять на Макара, на дверь...

— Где дядя Игнат? — спросил Егор.

Закревский обмяк, улыбнулся, отвел от груди обрез.

— Черти драные... перепугали насмерть! Проходи! — Он потянул Макара к столу. — Вы Любавины? Отец послал? Золотой старик... Садись. Садись, другом будешь!

Макар спрятал обрез, оберегая избитые бока, втиснулся между пьяными. Никто больше не обращал на них внимания. Егор с трудом пробрался в горницу.

Кондрат лежал на кровати с перевязанной головой.

— Ты зачем здесь?

— Так... в гости.

Кондрат приподнялся на локте:

— Дома что-нибудь?

— Ничего дома... Лежи. Што это за народ здесь?

— Знакомые Игната. Извели меня вконец, паразиты... Вторые сутки пьют.

— А где дядя Игнат?

— В город уехал.

В горницу с бутылкой и стаканом в руках вошел Закревский.

— Вот они, голуби! Так... — Он, ласково глядя на Егора, зазвякал горлышком бутылки об стакан, наполнил его с краями вровень, сунул под нос Егору. — Пей! За свободную жизнь.... Мне нравится ваша порода.

Егор отвел в сторону стакан:

— Не хочу. Нездоровится.

— Не-ет, выпьешь... — Закревский силой стал совать в лицо Егору стакан. Водка плескалась на руки и на грудь им обоим.

Егор наотмашь вышиб из рук Закревского стакан.

— Пристал как банный лист...

— Вот вы какие! — с восхищением воскликнул Закревский. — Эх! — Он трахнул бутылку об пол, качнулся, поворачиваясь. — Но вы не можете быть сильнее меня. Понимаешь?! Вася! — Он пинком распахнул дверь горницы, из прихожей тугой волной ударил гул затяжной попойки. — Вася!

В дверях вырос Вася, невысокий человек с окладистой русой бородой. Молодо и трезво поблескивал собачьими глазами на хозяина.

— Пригласи человека к столу, — Закревский показал на Егора.

— А он рази не хочет? — искренне изумился Вася.

— Он ждет особого приглашения.

Вася медленно подошел к Егору. Не успел тот сообразить, в чем дело, Вася сгреб его в охапку и так сдавил, что у Егора от боли глаза полезли на лоб. Вася отнес его к столу, бросил на лавку.

— Сядь тут.

Макар, увидев брата, потянулся к нему:

— Егор! Брательник мой хороший...

Но его кто-то перехватил, увлек в сторону. А Егору услужливо подставили стакан водки. Он выпил. Кто-то подставил еще стакан. Он выпил еще. Поднял глаза — подставлял стаканы Вася.

Закревский со стороны наблюдал за ними. После второго стакана он подсел к Егору, обнял тонкой рукой за шею.

— Правильно сделали, что пришли. Хочешь денег? Баб?.. А? — Глаза Закревского блестели неподдельной радостью. — Чего хочешь — говори...

— Я?

— Ты.

— А ты?

— Я хочу дать свободу русскому характеру... Натворить побольше! Мы раскиснем к черту с такими властями. Согласен?

— Не знаю. — Егор снял жиденькую горячую руку со своей шеи. — Не лапай, я не баба.

— Пей еще! — потребовал Закревский.

— Давай.

Рядом громко орал Макар:

— Согласный! Все!.. — Он заехал ковшом в гущу бутылок и стаканов. — Я такой жизни давно искал, гады милые!.. Душить будем!

Егор выпил третий стакан, кинул его куда-то в людей, нашел грудь Закревского, забрал в кулак тонкую белую рубашку, подтащил к себе.

— А я несогласный. Больше не говори мне разные слова... а то ударю.

Хлопала, хрипела и взвизгивала гармонь. Грохотали по полу сапоги, качались стены. Качались и плавали в глазах чужие люди...

На третьи сутки, в глухую полночь, Макар явился домой. Один. На тройке. И вел сзади еще пару своих лошадей, тех, которых они захватили с Егором, когда уходили из дома.

Бросил лошадей посреди ограды, вошел в избу — в новеньком полушубке, в папахе, красивый и смелый. Слегка покачивался.

— Здрасте!

В избе слабо мерцала керосиновая лампа. Не спали. Емельян Спиридоныч лежал на печке, весь обмотанный тряпками, злой и слабый (в той драке ему попало больше всех). Увидев сына, он поманил рукой жену.

— Сходи за Ефимом. Скорей, — шепнул Емельян Спиридоныч.

Макар услышал эти слова, прошел к столу, выложил на белую скатерть два нагана.

— Бесполезно, папаша: пришью на месте. — Сел, закинул ногу на ногу. — Я подобру зашел. Сказать, что коней, которых взяли, отдаем обратно. Нас с Егором больше не ждите. На этом — до свиданья. — Он собрал наганы, встал.

Емельян с яростью, беспомощно глядел на него с печки.

— Нашли себе дружков?

— Ага. Верные люди.

— Поддорожники, ворюги... Проклинаю вас обоих!

— Это неважно. Поправляйся, папашенька. Не сердись на нас. А здорово мы вас ухайдакали!..

Мать не выдержала, топнула ногой:

— Варнак ты окаянный! Отец он тебе или кто? Уходи с глаз моих долой!

Макар оглянулся на нее, ничего не сказал. Вышел.

13

Не смог ничего Кузьма объяснить дяде Васе ни вечером, ни после. Он сам ничего не понимал. Он все время чувствовал, что чем-то обязан Клавде, хотя, сколько ни искал в себе, не мог найти и понять, за какую радость он благодарен ей. Стыдно было смотреть на Клавдю, и он изо всех сил старался, чтобы она этого не заметила.

И вместе с этой неловкостью и тяжелой обязанностью, долгом — не обидеть человека, который непонятно зачем влез в его жизнь, вместе с тихой тоской и болью за какую-то непоправимую ошибку, вместе со всем этим

в душе его упорно — днем и ночью — распускалась цветастая радость. Марья... Марья была недалеко. И он знал, что когда-нибудь он возьмет ее за руку и близко посмотрит в ее глаза. Знал, ему не будет неловко и стыдно при ней, а будет очень, очень легко. Он ждал этого часа. И дождался...

Однажды утром, светлым весенним утром, Агафья, собирая на стол завтракать, между прочим рассказала, как вчера братья Любавины приходили сватать Марью Попову. После первых ее слов у Кузьмы вспотели ладони. Он оглох... Не слышал всего, только в конце стал понимать, что она рассказывает.

— ...те собрались — да за ними. Там драку учинили! Ухлестали друг друга до смерти.

— Как «до смерти»? — не понял Платоныч. Он внимательно слушал.

— Ну, как... Самого-то чуть живого домой привели. Помрет, говорят.

— Что делают! — воскликнул Платоныч. — А сыновья где?

— Убежали. У них не первый раз такое.

— Вот так сватовство! Ну и чем это кончится?

— Да ничем. Побегают-побегают и придут.

— Куда ж они могут убежать?

— В тайгу. Куда больше.

— Любавины их фамилия?

— Любавины. Макарка у них заводила-то. С малолетства с гирями ходит. Егор — тот вроде спокойнее...

— Все они там — один другого лучше. Дикари, — вставил Николай.

— Ну, а Ма... девушка что? — спросил Кузьма.

— Дак што... Ничего. Обрадовалась было девка, да и осталась ни с чем. Одно опозорили на всю деревню таким сватовством.

Кузьма вышел на улицу, зашел в сарай, сел на дровосеку, — хотелось побыть одному.

Клавдя нашла его там.

— Все уж... испекся, — сказала она, остановившись над ним.

Кузьма не поднял головы, — как сидел, склонившись к коленям, так продолжал сидеть. Клавдя опустилась рядом, обняла.

— Горе ты мое, горюшко...

Уткнулась ему в грудь, затряслась в рыдании. И продолжала говорить:

— За что я несчастная такая, господи!.. Как сердце чуяло! Я приведу ее тебе... Может, ты выдумал все, а? Милый ты мой, длинненький! Я приведу, а сама погляжу: может, и нету у вас никакой любови? А правда — так черт с вами... Оставайтесь тогда. Неужели она лучше?

Кузьма подавленно молчал.

Клавдя сдержала слово, вечером пришла с Марьей.

Марья держалась просто, спокойно взглянула на Кузьму, поздоровалась.

Тому показалось, что табурет поехал из-под него... Он кивнул головой.

Девушки прошли в горницу. Дома никого больше не было (Платоныч ушел в гости к Феде Байкалову, они подружились за это время).

Кузьма поднялся, хотел уйти. Колени мелко и противно тряслись. Он стал надевать кожан, но дверь горницы открылась... Именно этого мучительно ждал и боялся Кузьма — когда откроется дверь.

— Ты куда? — спросила Клавдя.

Кузьма промолчал.

— Зайди к нам.

Он пошел прямо в кожане, Клавдя подтолкнула его в спину.

Марья сидела у стола в синеньком ситцевом платье, под которым как-то не угадывалось тело ее. Кузьма стал перед ней; она снизу с детской, ясной улыбкой вопросительно глядела на него.

Клавдя остановилась позади Кузьмы; от ее взгляда — он чувствовал этот взгляд — он не мог ничего сказать.

Так стояли долго. Слышно было, как на завалинке шебаршат куры, разгребая сухую землю.

— Он любит тебя, Манька. Влюбился, — громко сказала Клавдя.

Марья вспыхнула вся, резко поднялась. Полные красивые губы ее задрожали — не то от обиды, не то от растерянности. Кузьме стало жалко ее.

— Правда, — сказал он. — Она правду говорит.

У Марьи сверкнули на глазах слезы. Она зажмурилась, качнула головой, стряхивая их.

— Вы что... зачем так?

— Ты у него спроси. Вчера меня целовал, а сегодня...

Кузьма твердо, спокойно, даже с каким-то удовольствием сказал:

— Врет она, Маша. Я не целовал ее. Она врет.

Клавдя прошла вперед, опустилась на колени перед божницей, размашисто перекрестилась.

— Истинный мой Христос. Гляди — крещусь.

— Честное слово, не было. Крестись. Не было — и все, — стоял на своем Кузьма.

Клавдя, не поднимаясь с колен, дотянулась до Марьи, обхватила ее ноги, прижалась лицом. Заплакала.

— Было, Манюшка, милая... Не отнимай его у меня, милая... Присохло к нему мое сердце... Изведусь я вся, господи! Руки на себя наложу!.. — Она плакала страшно — навзрыд, как по покойнику. У Кузьмы по спине пошел мороз.

Марья насилу подняла ее, посадила на кровать и разревелась сама...

— Да я-то... я-то знать ничего не знаю. Зачем вы меня-то, господи?.. Отпустите вы меня отсюда...

Кузьма ничего не соображал, понимал только, что все это, наверно, скоро кончится. Он не слышал, как ушла Марья... Смотрел в окно. Очнулся, когда Клавдя тронула его. Она не плакала, смотрела серьезно и строго. Кузьма хотел выйти из горницы. Она загородила ему дорогу.

— Манька далеко уже. Не ходи.

— Я не за ней. Пусти.

Клавдя решительно тряхнула головой, вытерла рукавом заплаканные глаза.

— Пойдем вместе.

На улице она цепко ухватилась за его руку, повела за собой к хозяйским постройкам.

— Куда ты?

— Не разговаривай.

Подошли к сеновалу. Клавдя втолкнула его в темную дверь. Шепотом приказала:

— Лезь.

Кузьма зашуршал сеном — полез наверх. Сзади карабкалась Клавдя.

Долезли до самого верха. Клавдя опрокинулась на спину. Нашла руку Кузьмы, потянула к себе.

Жаркий туман кинулся Кузьме в голову. Чтобы унять дрожь, которая начала трясти его, он заглотнул

воздух и перестал дышать... Потом громко, со стоном выдохнул.

— Ну, что ты!.. А? — почти крикнула Клавдя.

Прижала его к себе, торопливо зашептала:

— Милый... Ну? Что ты?..

Потом закусила губу и замолчала.

. . . .

— Вот... Теперь ты мой. Мне надо было давно догадаться, глупой, — устало и спокойно сказала Клавдя.

Кузьма молчал. Смотрел через пролом в крыше на небо.

Красная опояска зари тускнела. Горячие краски ее поблекли, подернулись с краев пепельно-тусклой пеленой. Ночь опускалась над степью и над селом. Большая тихая ночь.

14

Гринька Малюгин влопался — поймали в чужой конюшне.

Этот Гринька был отпетая голова.

Еще молодым парнем поспорил с дружками, что сшибет кулаком жеребца с ног. Поспорили на четверть водки.

Гринька вывел из своей конюшни жеребца-производителя, привел на росстань, где уже собрался народ (на пасху дело было), поплевал на руки, развернулся и хряпнул жеребца меж глаз. Рослый жеребец как стоял, так пал на передние ноги.

Вечером об этом узнал отец Гриньки. Принес ременные вожжи, свил вчетверо, запер дверь и исполосовал Гриньку чуть не до смерти.

Когда Гринька отлежался и стал ходить (но еще не сидеть), он раздобыл ведерко керосину, облил ночью родительский дом, вокруг, по окладу, и подпалил. А сам ушел в тайгу.

С тех пор где-то пропал.

Потом объявился: разъезжал на паре, грабил в дальних деревнях.

Но в своей никого не трогал, хоть, случалось, наезжал ночами.

Один раз мужики накрыли его: пасечник Быстров донес.

Засадили Гриньку в тюрьму.

Вскоре, воспользовавшись заварухой семнадцатого года, когда не до него было, он сбежал и ночью с двумя товарищами нагрянул к старику Быстрову.

Про эту историю рассказывали в деревне так.

...Быстров круглый год жил на пасеке со своей старухой. А в эту ночь, как на грех, осталась у них ночевать дочь Вера. Засиделась допоздна и не захотела идти домой.

Пасека была недалеко от деревни — на виду. А в деревне, с краю, жил сын Быстрова — Кирька.

И вот спит ночью Кирька, и снится ему такой сон: подошел к нему какой-то человек, взял за нос и говорит: «Спишь? Отца-то с матерью убивают». Вскочил Кирька сам не свой — на улицу. Смотрит, а в отцовском доме такой свет в окнах на́сдерат, какого по праздникам не бывало. И пес — цепной кобель у них был, Борзей звали — аж хрипом заходится, лает. Кирька схватил лом — и туда, как был — в подштанниках.

Прибежал, подкрался к окну, заглянул. Видит: сидят за столом трое — Гринька и его дружки. Гринька — посередке. Пьют. На столе всевозможная закуска, оружие ихнее лежит. Рядом ни живая ни мертвая стоит сестра Вера — прислуживает им. Отца с матерью не видно.

В тот момент, когда заглянул Кирька, у них как раз кончилась медовуха. Гринька послал одного в погреб — нацедить из логуна свежей. Тот пошел... Кирька с ломом — к крыльцу. Встретил — и ломом его по голове. Тот вытянулся. Кирька опять к окну. Ждали-ждали те двое своего товарища, не выдержали — поднялся еще один. Кирька опять к крыльцу. И второго уходил так же. И тут не выдержал сам — ворвался в дом, размахнулся ломом. А он возьми да зацепись за матку в потолке, лом-то, — криво пошел. Только по плечу вскользь задел Гриньку. Гринька — за наган, но не успел. Кинулся на него Кирька... Покатились вместе на пол. Гринька был здоровее — подмял Кирьку под себя и подтаскивает к столу — к нагану. Сестра догадалась, смахнула со стола наганы, а дальше не знает, что делать. Стоит как вкопанная. А Гринька душит ее брата — тот посинел уж... Едва прохрипел сестре:

— Борзю...

Сестра кинулась во двор, отцепила кобеля. Пес в три прыжка замахнул в избу и с ходу выдернул Гриньке два ребра. Гринька взвыл дурным голосом, бросился в окно... Вынес на себе раму и ушел.

— Где отец? — спрашивает Кирька.

Сестра показала на кровать, а сама грохнулась на пол — ноги подкосились.

Кирька отдернул одеяло... Под ним лежат отец с матерью рядышком. Мертвые.

С тех пор долго Гринька не появлялся. Ездил Кирька и с ним человек пять мужиков, искали его по тайге. Но разве найдешь! Отлеживался Гринька, как медведь, в глухом месте.

Потом Кирька переехал с семейством жить в другую деревню, и это дело забылось.

И снова Гринька объявился; стали опять ходить слухи: ездит по деревням с товарищами, колупает мужичков побогаче. Поймать не могли.

И наконец Гринька попался... В своей же деревне, до обидного просто.

Лунной, хорошей ночью подломил конюшню Ефима Беспалова, выбрал пару жеребцов, взнуздал... И тут на пороге появился сам Ефим:

— Здорово, Гринька!

Гринька вскинул голову — на него в упор смотрят два ствола тульской переломки, с картечным зарядом... А чуть выше — внимательные глаза хозяина.

Гринька улыбнулся:

— Здорово, Ефим.

— Пойдем? — предложил Ефим.

Гринька постоял в раздумье.

— Не отпустишь?

— Нет.

— Заплачу́ хорошо...

— Нет, Гринька, не могу.

Гриньку посадили на ночь в пустую избу; шесть человек несли охрану. А утром стали судить своим способом. Дали в зубы большой замок, надели на шею хомут, связали за спиной руки и повели по деревне. Рядом несли смоленый конский бич; кто хотел, подходил и бил Гриньку.

Завелись с конца деревни... Шли медленно. Охотников ударить было много.

Гринька смотрел вниз... Поднимал голову, когда ктонибудь подходил с бичом. Прищурив глаза, затравленно и зло глядел он на того человека. Долго глядел, точно хотел покрепче запомнить. И распалял этим своим взгля-

дом людей еще больше. Били что есть силы, старались угодить по лицу, чтоб не глядел так, сволочь такая!... А он глядел. Когда было особенно больно, он на мгновение прикрывал глаза, потом снова вспыхивал его звериный, бессмысленный взгляд, не умоляющий о пощаде, а запоминающий.

К середине деревни Гринька стал спотыкаться. Рубаха на нем была изодрана бичом в клочья. На лицо страшно смотреть — все в толстых красных рубцах. Кровь тоненькими ручьями стекала на шею, под хомут.

Таким застали его Платоныч и Кузьма.

Платоныч задыхался, не мог бежать. Слабая грудь не выдерживала.

— Беги один, останови! — махнул Кузьме.

Кузьма, отмеряя длинными ногами сажени, скоро догнал шествие.

— Прекратите! — звонким, срывающимся голосом крикнул он.

Кто-то засмеялся в ответ. Никто не остановился. Даже Гринька не обрадовался, не замедлил шаг. Какой-то невысокий растрепанный мужичок взял Кузьму за руку и охотно пояснил.

— Это у нас закон испокон веков — за конокрадство вот так судют.

Кузьма забежал спереди, вынул наган. Уже спокойнее сказал:

— Прекратите немедленно! Вы не по закону делаете. На это у нас есть суд.

Шествие сбилось с налаженного шага, спуталось, но еще медленно двигалось на Кузьму. Он стоял посреди дороги — длинный, взволнованный и неуклонный. И не очень смешной — с наганом.

— Первого, кто его сейчас ударит, я арестую!

Гринька остановился. Мужики тоже остановились. Окружили Кузьму, доказывая свою правоту.

Подошел Платоныч. Коротко, как-то очень авторитетно распорядился:

— Сними с него хомут и веди в сельсовет. А я объясню людям, что такое советский закон.

В сельсовете Кузьма вылил на голову Гриньке ведро воды, усадил на лавку. Руки развязывать не стал — до Платоныча.

Гринька, навалившись грудью на стол, сонно моргал маленькими усталыми глазами.

— Дай покурить... товарищ, — осипшим голосом, тихо попросил он.

Кузьма, стараясь не глядеть на него, свернул папироску, прикурил, вставил в опухшие, синие губы Гриньки. Тот прикусил ее зубами, несколько раз глубоко затянулся и впервые глухо застонал.

— Мм... Только б живому остаться — ремни буду вырезать из спин.

— За такие слова едва ли останешься, — сказал Кузьма.

Гринька глянул на него, сказал, как другу, доверительно:

— Всех до одного запомнил.

Пришли Платоныч с председателем. Платоныч на ходу отчитывал Елизара:

— Не видишь, что под носом делается, власть! А может, специально скрылся, чтобы не мешать?..

Колокольников молчал. Вошел в сельсовет, остановился на пороге.

— Вот он, красавец! Разрисовали они тебя! Не будешь чужое имущество трогать.

Гринька не удостоил председателя взглядом.

— Что с ним будем делать? — спросил Колокольников. (Он в эти дни с удовольствием сложил с себя всякие полномочия. Люди из края. Присланные. С бумагами.)

— Помещение есть, где можно пока оставить?

— Есть кладовая...

— Посади туда. Поставь человека. Без нашего разрешения не трогать. Пошли, Кузьма.

Спускаясь с высокого сельсоветского крыльца, Платоныч в сердцах воскликнул:

— А ты говоришь, зачем школа! Да тут на сто лет работы! — Помолчал и тихонько добавил: — Это тебе Сибирь-матушка, не что-нибудь.

— Дядя Вась, — позвал Кузьма.

— Ну.

— Слушай, ведь Гринька наверняка знает про банду?

— Ну, допустим.

— Сделать допрос — скажет.

Платоныч невесело усмехнулся.

— Быстрый ты... Но попробовать можно. Это ты дель-

но предложил. Не очень только верится, чтобы сказал. Знать-то, может быть, знает, но вряд ли скажет. Это ж такой народ...

. . . .

Ночью Кузьма не мог заснуть. Думал. Не расскажет, конечно, Гринька. Припугнуть расстрелом? Дядя Вася вот только... Кузьма прислушался к его дыханию. Подумал о нем: «Все-таки он немного неправильно делает. Школа — школой, но у нас же задание». И вдруг пришла простая мысль. Кузьма даже пошевелился, воскликнул про себя: «Елки зеленые!» Не вытерпел, толкнул Платоныча в бок.

— Мм? — Платоныч поднял голову. — Что ты?

— Дядя Вась, выйдем на улицу.

— Зачем?

— Надо.

Старик поднялся. Накинули на плечи полушубки, осторожно вышли.

Ночь была темная, теплая. С крыши капало. В переулке два подвыпивших мужичка негромко тянули:

> Оте-ец мой был природный пахарь,
> И я рабо-отал вместе с ним...

— Ну, что такое?

— Давай сделаем так: дадим убежать Гриньке, а сами выследим. Он обязательно к ним пойдет. А?

Платоныч долго молчал.

— Хм. А если совсем убежит?

— Не убежит. Двое же нас.

— Ну, я бегун знаешь какой... Может, Федю пригласить?

— Конечно!

— Подумать надо, племяш. Это риск: убежит — мы в ответе. Потом допросить тоже не мешает. Завтра допросим, а после решим, что делать. А пока пойдем поспим.

— Иди, я посижу немного.

Платоныч ушел в избу.

Кузьма сел на ступеньку. С новой силой накинулась вдруг тоска по Марье. Марья становилась все недоступнее. Уходила все дальше и дальше — как во сне. И звала за собой. Невозможно было привыкнуть к мысли, что никогда он уж не возьмет ее за руку, не посмотрит в глаза... Почему так бывает в жизни?

Гринька отошел за ночь. Рубцы на лице закоростились, подсохли. Смотрел веселее.

— Где твои товарищи? — сразу начал Платоныч.

Гринька насмешливо посмотрел на него.

— Я один работаю, дед.

— Зачем нужны были кони?

— Кони всегда нужны.

— Где ты до этого был?

— Далеко.

Из допроса явно ничего не получалось.

Платоныч замолчал, стал закуривать. Кузьма строго смотрел на разбойника.

— Покурить можно? — спросил Гринька и пошевелил связанными руками.

— Дай ему, Кузьма.

— Я бы дал ему сейчас! — озлился Кузьма. — Нашелся тоже!.. Если по-человечески спрашивают, так надо отвечать!

Платоныч с удивлением посмотрел на племянника. А Гринька улыбнулся, показывая желтые редкие зубы.

— Ты сосунок еще. Не вам меня, конечно, допрашивать.

— Уведи его, — сказал Платоныч.

Гринька поднялся, пошел к двери.

— Что выручили вчера — спасибо.

— Иди, — Кузьма подтолкнул его в спину.

Когда дверь кладовой закрылась за Гринькой, он сказал оттуда:

— А что покурить не дали, — нет вам от меня хорошего слова.

— Без курева посидишь, — отрезал Кузьма.

Вечереет. Краем леса, по грязной дороге идут Гринька и Кузьма. Гринька — впереди, Кузьма — сзади, в нескольких шагах.

В лесу пахнет смольем. А с другой стороны, с пашни, несет болотной сыростью талой земли. Где-то далеко-далеко над степью, в пылающей заревой дали, слабо звучит песня. И шумит-шумит за лесом река.

Гринька не торопится. Шагает вразвалку, поглядывает по сторонам. Руки его крепко связаны сзади ремнем.

— Как думаешь, сколько отвалют? — спрашивает он.

— Не знаю, — отвечает Кузьма. — Я не судья.

— Ты большевик? — опять спрашивает Гринька, немного помолчав.

— Не твое дело.

— Я большевиков уважаю, — серьезно говорит Гринька. — Здорово они Миколку-царя пужанули. А правду говорят, он еще в тюрьме сидит? — Гринька чуть замедлил шаг, оглянулся. — Вроде Ленин ваш не велит его трогать. Пять лет уж сидит.

— Кого не трогать?

— Миколку-царя.

— На том свете твой Миколка...

Некоторое время идут молча. Неожиданно Гринька загорланил:

Эх, сто было давно-о,
Лет пятнадцать наза-ад.
Вез я девушку трактом почтовы-ым...

— Замолчи! — приказал Кузьма. Он опасался, что разбойник накличет песней своих дружков.

Гринька тряхнул головой и запел громче:

Эх, круглолица, бела,
Д'ровно тополь стройна-а
И покрыта...

Кузьма подставил ему сзади ногу. Гринька упал лицом в грязь.

— Я кому сказал — замолчать?

Гринька перевернулся на спину, выплюнул изо рта грязь и, глядя снизу на Кузьму, жалостливо сморщился.

— Попался бы ты мне, дитятко, в темном месте, уж я б тебя приласкал...

— Вставай!

— Не хочу. — Гринька широко раскинул ноги и смотрел на Кузьму вызывающе. — Хочу отдохнуть малость.

Некоторое время Кузьма не знал, что делать. Потом склонился над Гринькой, серьезно сказал:

— Довести я тебя все равно доведу. Но уж там расскажу, так и знай, как ты дорогой выламывался. За это могут накинуть лишнего...

Это было похоже на правду. Гринька задумался.

— А песню дашь допеть?

— Только негромко.

Гринька поднялся, встряхнулся и пошел. Петь ему расхотелось.

Шли молча. Быстро темнело.

Кузьма напряженно всматривался вперед.

Прошли по гнилому мостику через широкий ручей, поднялись на взгорок — здесь дорога круто заворачивала в лес.

— Подожди, — сказал Кузьма, отошел к ближней сосне, сел. — Я переобуюсь.

Гринька остался стоять на дороге.

Когда Кузьма склонился к сапогу и начал его стаскивать, Гринька незаметно оглянулся, глотнул слюну. Кузьма закусил губу, сморщился — сапог никак не снимался. Гринька в два прыжка домахнул до деревьев и с треском стал удаляться в лес. Кузьма выхватил наган, выстрелил вверх. Тотчас, словно из-под земли выросли, появились Платоныч и Федя. Федя на секунду прислушался и побежал за Гринькой. Кузьма прыгал на одной ноге, натаскивая на ходу сапог, — за ним. Платоныч некоторое время бежал рядом, потом схватился за сердце и остановился.

— Всё, ребята. Смотрите там...

Бежали осторожно, часто останавливались и слушали. Гринька, одуревший от удачи, ломил напролом, без передышки. Так продолжалось долго. Кузьма начал задыхаться, в голове сделалось горячо, в глазах появились светлые круги. Федя тоже часто дышал, но бежал легко и почти бесшумно.

Наконец Гринька замучился, пошел шагом. Он был недалеко, — слышно было, как он трещал сучьями и отхаркивался.

Стали подходить к нему еще ближе.

Федя шел настолько неслышно, что Кузьма раза два терял его, прибавлял шагу и натыкался на его спину.

Гринька все шел и шел. Иногда останавливался послушать. Тогда останавливались и замирали Федя и Кузьма. Гринька шел снова. И снова шаг в шаг, затаив дыхание, шли Федя и Кузьма.

Опять Гринька остановился. Долго стоял, прислушиваясь, потом двинулся... почему-то назад. Федя лег на землю, тронул Кузьму — сделать так же. Кузьма лег. Гринька остановился шагах в четырех, выбрал на ощупь сосенку потоньше, стал перетирать об нее ремень.

Под Кузьмой, когда он лег, что-то зашевелилось колючее. Он инстинктивно дернулся вверх, но под ногой громко треснул сучок. Кузьма упал опять и, превозмогая боль, придавил что было силы это колючее животом.

Гринька замер. Стало тихо.

Колючее упрямо шевелилось под сердцем Кузьмы. «Сейчас цапнет, — ждал он, покрываясь с головы до ног пóтом. — Сейчас...»

Гринька долго слушал, потом вздохнул и снова принялся за ремень. Зашелестела, посыпалась на землю сосновая кора, зашумели веточки.

Кузьма медленно, очень тихо приподнялся на руках. Что-то покатилось, зашуршало из-под него. Так же тихо, очень тихо Кузьма опустился и уткнулся лицом в молодую пахучую травку. «Ежик, — понял он наконец. — Дьяволенок такой!»

Гринька кончил свою работу. Негромко засмеялся. Слышно было, как звякнул пряжкой откинутый прочь ремень.

— Эх вы... москалики! — сказал он и опять засмеялся — коротко, удовлетворенно. И пошел.

Федя поднялся. Кузьма тоже встал. Пошли за Гринькой. Тот шагал теперь неторопко. Шорох веточек и потрескивание сучьев под ногами обозначали его путь. Вдруг его не стало слышно. Федя прошел несколько шагов, постоял и сел, привалившись спиной к широкой сосне. Усадил рядом Кузьму.

— Отдыхает, — шепнул он ему на ухо.

Кузьма долго, до боли в глазах, вглядывался в сумрак, но увидеть ничего не мог. Тогда он стал смотреть в темное небо. Потом кто-то осторожно взял его за плечи и привалил к теплой сосне. В последний момент успел подумать: «Не заснуть бы, елки зеленые...»

И заснул. А когда проснулся, уже брезжил рассвет, Над ним стоял Федя с хмурым, серьезным лицом:

— Ушел Гринька-то. Ночью. Я думал — он отдыхать лег... Ушел.

Кузьма тряхнул головой, хотел принять это за сон и понял, что — правда: Гринька ушел.

— Я найду его, — сказал Федя, не глядя на Кузьму. — Думаю, что он не с той бандой все-таки..

15

Пили до одури, до зеленых чертей. Пили, не удивляясь и не думая о том, сколько может выдержать человеческое сердце.

В короткие минуты прояснения Егор видел все ту же желтую морду Закревского и чугунную челюсть Васи.

«Что делается?» — пытался понять он, но потом все вокруг сворачивалось в свистящий круг, и Егору тоже хотелось кружиться и топтать кого-нибудь ногами. Боль в теле унялась.

Во время одного такого просветления Егор увидел на столе голую девку. Рядом стоял Закревский и орал:

— Танцуй! Танцуй, корова!

Он был серый и злой. И кричал зло и тонко.

Девка прикрывала руками стыд и плакала в голос. На нее со всех сторон напряженно и бессмысленно смотрели пьяные глаза. Никто не понимал, почему она здесь оказалась и чего от нее хотят. Один Закревский знал, как все это должно быть, и его бесило, что девка не танцует, на удивление его дружкам.

— Танцуй! — визжал Закревский.

Девка не танцевала. Плакала.

Закревский плюнул и похабно выругался.

— Азия! — горько воскликнул он, пряча наган в карман. — Научишься ты когда-нибудь жить по-человечески!.. Убрать эту выдру!

Вася взял девку в охапку и под шумок хотел отнести в горницу (этот человек был пьян меньше других, хоть пил, кажется, больше). Но Закревский строго прикрикнул:

— Вася!

Вася опустил девку, подталкивая в горницу, хлопнул ее ниже спины.

— Изюм!

Снова загалдели, заорали, засвистели... Всё опять с грохотом провалилось в тартарары.

Игнатий вернулся домой рано утром. Перешагнув порог, зажал пальцами нос и отступил назад — стоял такой густой запах перегорелой водки и блевотины, что у него закружилась голова.

На полу, на печке, под столом спали люди. Лежали в самых неповторимых позах точно груда нарубленных тел. Стены гудели от храпа.

Игнатий поискал глазами Закревского, прошел в горницу.

Закревский спал на голом полу. Белая рубашка задралась к шее — видна была узкая спина с крупными мослами хребта.

Кондрат с трудом приподнял голову с подушки:

— Приехал. Узнаёшь дом-то?

Игнатий остановился посреди горницы, снял шапку, долго и внимательно смотрел на Закревского — как на покойника. Непонятно для чего, сказал:

— У него отец генералом был.

— Пьет он тоже по-генеральски... Наших сосунов втравили, паскуды.

Игнатий поднял глаза:

— Кого?

— Макарку с Егором. Там лежат, — Кондрат устало прикрыл глаза, потрогал ладонью голову. — Что они тут выделывали! Был бы здоровый, всех до одного подушил бы, как собак бешеных... Вот этого особенно. — Он кивнул на Закревского.

Игнатий подошел к генеральскому сыну, крепко тряхнул за плечо:

— Э-э!

Тот поднял голову, долго ловил мутным взглядом лицо Игнатия.

— Ты?

— Соображать можешь сейчас? Поговорить надо.

— А что такое? — Закревский хотел вскочить, но его бросило в сторону... Он взмахнул руками и ударился головой об стенку. Потирая ушибленное место, сказал: — Здорово мы... черт возьми! У тебя что-нибудь серьезное?

— Пошли на улицу.

Они вышли и через некоторое время вернулись. Закревский был без рубахи, мокрый. Вытерся какой-то тряпкой, надел чистую рубаху Игнатия, пошел будить своих людей. Вид у него был озабоченный. Видно, вести Игнатий привез нехорошие.

Они вместе растаскали спящих, выгнали всех на улицу, чтобы те хоть немного отошли на вольном воздухе. Кажется, готовились уезжать.

В горницу вошел Егор. Присел на кровать к Кондрату.

— Дорвались до вольной жизни? — сердито спросил Кондрат.

Егор, подперев голову руками, мрачно смотрел в пол.

— Что дома-то наделали?

— С отцом подрались.

— Ну и что теперь?

— Что...

— С ними, что ли, поедете?

— Зачем? Я не поеду. — Егор похлопал себя по пустому карману. — Курево есть?

— Вон под подушкой. Надо домой ехать. Пахать скоро...

— Домой я тоже не пойду, — тихо, но твердо сказал Егор, слюнявя губами край газетки.

— Куда ж ты денешься?

— Найду.

— Здорово отца-то измолотили?

— Не знаю. — Егор затянулся самосадом, закрыл глаза.

Вошел Макар. Держал в руках бутылку и два стакана. Подошел к Егору, повернулся боком:

— Достань в кармане два огурца.

Егор вытащил огурцы.

— Похмелимся. У меня во рту как воз назьма свалили. — Макар глянул на Кондрата, усмехнулся. — Может, тоже выпьешь?

— Вы домой поедете или нет? — строго спросил Кондрат. — Вы что, сдурели, что ли! Надо ж на пашню выезжать...

Макар выпил и закрутил головой:

— Ох, сильна, падлюка!

Егор тоже выпил и откусил половинку огурца.

Кондрат свирепо глядел на них.

— Домой? — переспросил Макар. — Домой я теперь долго не приду.

— Тьфу! — Кондрат перекатил больную голову по подушке к стене. — Дай бог поправиться — найду вас, обормотов, и буду гнать до самого дома бичом трехколенным. По три шкуры спущу с каждого.

— Бич два конца имеет, — без всякой угрозы сказал Макар.

— Увидишь тогда, сколько!.. Ты у меня враз шелковым станешь, погань ты! — Кондрат приподнял голову. Коричневые, с зеленоватой пылью глаза его смотрели до жути серьезно и прямо. Даже Макар не выдержал, небрежно играпул крылатыми бровями и отвернулся.

Вошел Закревский. Он был уже одет. Понимающе улыбнулся.

— Последние минуты? Пора, братцы. Рога, так сказать, трубят.

— Я никуда не поеду, — сказал Егор.

Закревский не удивился.

— А ты? — повернулся он к Макару.

— Еду.

— Макар! — снова приподнялся Кондрат. — Последний раз говорю!

— А что он такое говорит? — спросил Закревский у Макара. — Мм?

— Ты... гад ползучий! — крикнул Кондрат. — Я счас соберу силы, поднимусь и выдерну твои генеральские ноги.

У Закревского на скулах зацвел румянец. Он вырвал из кармана наган и двинулся к Кондрату. Тонкие губы скривились в решительную усмешку.

Егор, не поднимаясь, ногой в живот отбросил его от кровати. Макар подхватил падающего главаря и ловко вывернул из руки наган.

Закревский растерянно и нервно провел несколько раз ладонью по лицу.

— Что вы?.. — Оглянулся.

Макар стоял у двери, прищурившись.

— Дай, — потянулся Закревский за наганом. — Черт с вами... сволочи. Дай.

— Пойдем, на улице отдам.

— Ты едешь со мной?

— Еду.

— Сволочи, — еще раз сказал Закревский и вышел, не оглянувшись.

Макар нагнул голову и пошел следом. Тоже не оглянулся. Братья долго смотрели на дверь, как будто ждали, что она откроется, войдет Макар и скажет: «Раздумал».

Вместо Макара вошел Игнатий.

— Макарка поехал с ними, — тихо сказал Кондрат. — Удержи... а?

Игнатий махнул рукой:

— Пусть сломит где-нибудь голову. Мне об своей подумать некогда.

16

Показав Кузьме, как идти домой, Федя, не попрощавшись, скорым шагом пошел в другую сторону.

— Федор! — крикнул Кузьма, когда тот изрядно отошел.

Федя остановился.

— Возьми! — Кузьма показал наган.

Федя махнул рукой: «Нет» — и продолжал свой путь.

Напрямик, через лес, без дороги, вышел он к Баклани-реке, долго искал по берегу лодку. Наконец увидел чью-то плоскодонку, примкнутую к большой коряге. Сбил камнем замок, стащил в воду и, отгребаясь плашкой для сиденья, переплыл реку. Вытащил подальше на берег лодку и снова углубился в лес. Долго шагал, разнимая руками ветки... Перепрыгивал через ручьи и колоды.

К полудню вышел на открытую поляну. Посреди поляны стояла избушка. Избушка та была небольшая, с маленьким окошком и с жестяной трубой на крыше. Из трубы синей струйкой кучерявился дымок и низко, слоями, растягивался по поляне.

Федя огляделся по сторонам, вошел в избушку.

Перед камельком на корточках сидел белоголовый древний старик с мокрыми, подслеповатыми глазами. Он долго рассматривал вошедшего, потом сказал:

— Никак Федор?

— Он. Здорово, отец.

— За утятами?

— Не совсем... По делу шел, завернул обогреться.

— Правильно, — одобрил старик. — Садись. Сейчас щерба будет.

Федор сел, оглядел избушку. По стенам до самого потолка висели знакомые пучки засушенных трав. Смешанный запах этих трав не выветривался из избушки ни зимой, ни летом. В переднем углу висела большая икона божьей матери.

Этот старик, Соснин Михей (Михеюшка, как его называли в деревне), был из Баклани. Жил у вдовой дочери, давно не работал. Случилось так, что на его глазах с деревенской церкви своротили крест... Михеюшка побледнел, ушел домой и слег. А когда поправился маленько, ушел совсем из деревни. Поселился в охотничьей избушке. Кормили его охотники, и раза два в месяц приходила дочь, приносила харчишек. Иногда, в хорошую погоду, сам добывал в реке рыбку. В деревню не собирался возвращаться.

— Шел бы домой, чего заартачился-то? Живут же другие старики... Что они, хуже тебя, что ли? — говорила дочь в сердцах.

— Пускай живут, — покорно отвечал Михеюшка. —

Пускай живут. Я им ничего говорить не буду. Я свой век здесь доживу.

— Как здоровьишко, отец? — спросил его Федор.

— Хорошо, бог милует.

— К тебе сёдня никто не заходил?

— Нет, никого не было.

— Я посижу у тебя тут до почи.

— Сиди, мне што. Дочь моя не померла там?

— Не слышал.

— Долго не идет что-то. Я уж харчишками подбился. Увидишь — скажи ей.

— Скажу.

До поздней ночи ждал Федя. Наколол старику дров, натаскал в кадушку воды, рассказал все новости деревенские, поговорили о ранешней жизни.

Михеюшка, помолившись на сон грядущий, охая и жалуясь на нонешние времена, полез на нары, а Федя остался сидеть у окна.

Перед дверцей камелька, на полу, затейливо переплетаясь, играли желтые пятна света. Потрескивали дрова в печке; по избушке ласковыми волнами разливалось тепло. Ворочался и вздыхал в углу Михеюшка; сухо трещал сверчок.

Федя закурил и, удобнее устроившись на лавке, стал смотреть в окошко. Так, не двигаясь, просидел часа два. Никто не приходил.

Вдруг на улице послышалась какая-то возня. Федя втянул голову в плечи, перестал дышать, глядя на окно... Ему показалось — или он в самом деле увидел? — что в окно, в нижнюю клеточку, кто-то заглянул. Несколько минут было тихо. Потом скрипнули доски крыльца. Федя на цыпочках перешел от окна к стенке. Дверь медленно, с певучим зыком открылась. Кто-то вошел, так же медленно закрыл за собой дверь, стоял не двигаясь.

— Это ты, Гринька? — спросил Федя.

Вошедший громко глотнул слюну. Спросил:

— Кто это?

— Проходи. Я тебя давно жду. — Федя подошел к двери, захлопнул ее плотнее.

— Что-то не узнаю...

Федя выбрал около камелька лучину потолще, зажег, поднял над головой.

— Федя?! — Гринька с минуту заметно колебался, потом прошел к камельку, протянул к огню озябшие руки. — А чего... почему, говоришь, ждал меня?

— Так я же... — Федя воткнул лучину в пазовую щель над столом, — я ж за тобой пришел.

Гринька выпрямился, посмотрел на дверь, потом на Федю. Растерянно и жалко сморщился.

— Там есть кто-нибудь? — спросил он, кивнув на дверь.

— Есть. В кустах сидят с ружьями, — Федя гыкнул и стал подыматься с чурбака.

Гринька тихо попросил:

— Погоди. Дай хоть отогреюсь маленько... окоченел весь. Ночи холодные еще.

Федя присел на корточки рядом с Гринькой, подкинул в камелек смолья. Огонь вспыхнул с новой силой, громко загудел в печурке.

— Разыскала беда... пошло косяком, — вздохнул Гринька. — Попадаюсь, как дите.

Федя смотрел на огонь.

Гринька тоже замолчал; с удовольствием отогревался. На запястьях его больших грязных рук еще видны были следы вчерашнего ремня.

— Ты теперь сыщиком работаешь? — не без горечи спросил Гринька.

— Нет, — добродушно откликнулся Федя. — Помочь надо хорошим людям. Да и ты погулял, Гринька. Хватит, однако. Сколько уж? Годов восемь? До переворота ведь ишо...

— А чего... эти не заходют? — спросил Гринька и опять кивнул головой на дверь.

Федя тоже посмотрел в ту сторону.

— Там нету никого.

— Ну? — Гринька оживился. — Ты один?

— Ага.

— А если убегу?

— Не убежишь. — Федя подбросил в печурку. — От меня не убежишь.

Гринька оглядел гигантскую фигуру Феди, цокнул языком:

— М-дэ-э... Не та уж у меня силушка, верно. Утром пойдем?

— Можно утром.

Надолго замолчали. Потом Гринька скромно кашлянул в кулак и начал издалека:

— Ты говоришь — погулял... — Он прищурился, почесал около уха. — В том-то и загвоздка, что не погулял. Только собрался — и вот... не успел. А погулять бы сейчас можно. Хорошо, с треском!

Он посмотрел на Федю, проверяя действие своих слов. Федя не заинтересовался.

— Да-а, — вздохнул Гринька, — обидно. Всю жизнь копил — и так в земле все останется... — Он опять посмотрел на Федю.

Тот как будто не слышал.

Гринька нетерпеливо пошевелился и продолжал:

— Золота у меня с пудик припасено. В земле зарыто. Жалко — пропадет.

Федя покосился на него.

Гринька, не раздумывая больше, взял быка за рога:

— Пойдем выроем? Половину возьмешь себе, половину — мне. А? И я уйду из этих краев насовсем, от греха подальше. Начну мирную жизнь. Как думаешь?

— Нет, Гринька. — Федя покачал головой.

— Зря, — искренне огорчился Гринька. — Как был ты дураком, Федя, так дураком и помрешь.

— От дурака слышу, — ответил Федя. — Я честно работаю, а ты разбойник.

— Он работает! — Гринька сердито плюнул в огонь. — Конь тоже работает. Только пользы ему от этого нету, коню-то.

— Сморозил, однако. Мне есть польза.

Гринька неискренне, зло засмеялся.

— Как хочешь, Федор, но таких... уж совсем дураков... я еще не видывал. Как тебя земля дёржит?

— Ничего, дёржит, — не обиделся Федя.

— Тебе, наверно, наговорили, что вот, мол, Федя, работай, а мы тебя похвалим за это! А сами они небось ходют себе ручки в галифе. Видел я их в городе, когда в тюрьме был. Насмотрелся.

— Врешь ты все, — устало сказал Федя.

— Я ему одно — он другое. Ну и черт с тобой, колода сырая! Ему же добра желают, а он брыкается. Што тебе это золото, помешает?

— Оно ворованное.

— Какое оно ворованное! Это мне товарищ один отдал. Возьми, говорит, Гринька, потому что ты хороший человек и верный товарищ.

— Товарищ подарил... А потом ты куда этого товарища? В Баклань спустил?

— Тьфу! — Гринька опять сплюнул в огонь. — Дай закурить. С тобой разговаривать — надо сперва барана сожрать.

Закурили. Лучина заморгала и потухла. Некоторое время во тьме плавали два папиросных огонька. Потом Федя встал, зажег новую лучину.

— Пойдем выкопаем золото? — как бы в последний раз спросил Гринька.

— Нет. И тебя не пушшу, даже не думай про это.

— Кхм... Ну, сделаем тогда так: не хочешь отпускать — не надо. Но пойдем выкопаем золото. Половину я с тобой вместе занесу одним хорошим людям, а другую берешь себе. Можешь отдать его кому хошь, — хоть посмеются над тобой. Таких лопоухих любют. Но меня совесть заест, если я это золото в земле оставлю. Понимаешь? Вернусь я теперь не скоро... Еще не знаю, вернусь ли. Ну? Теперь-то чего думаешь?

— Далеко это?

— Версты полторы отсюда.

Федя долго молчал.

— Утром сходим.

— В том-то и дело, што утром нельзя, — могут увидать.

— А кому ты хошь половину отнести?

— Одним моим знакомым... Я потом скажу тебе.

Федя задумался.

Гринька с надеждой смотрел на него.

— Пойдем, — решился Федя.

Гринька крепко хлопнул его по плечу.

— Люблю я тебя, Федор, сам не знаю, за што. Прямо вся кровь закипела, когда тебя увидал!

...Шли друг за другом, Гринька — впереди, Федя — сзади. Федя нес на плече лопату.

Прошли с километр.

— Счас... скоро, — сказал таинственно Гринька.

Подошли к какой-то горе, очертания которой смутно и сказочно-страшно вырисовывались на черном небе.

Гринька долго кружил около этой горы, отсчитывал шаги от одинокой сосны на заход солнца, бормотал что-то себе под нос. Подошли к большому камню-валуну, прислоненному к горе...

— Помоги, — велел Гринька.

Налегли на камень, он сдвинулся.

— Постой здесь. Я счас...

И не успел Федя заподозрить его в черных мыслях, не успел вообще подумать о чем-либо, Гринька исчез в дыре, которую закрывал камень.

Федя, склонившись над ней, ждал.

— Ну чо? — спросил он.

Никто не ответил.

— Гринька! — позвал Федя.

Ответом ему была черная немая пустота. Федя зажег спичку, влез в пещеру и осторожно пошел в глубь ее, держа спичку над головой.

— Гринька-а, гад!

Сырые гулкие стены, словно издеваясь, ответили: «...ад-ад-ад...»

Пещера разветвлялась вправо и влево. Федя остановился.

— Гринька, кикимора болотная!

И опять стены воскликнули насмешливо и удивленно: «...ая-ая-я-я-я!..»

Федя наугад свернул вправо, прошел шагов десять и... вышел из пещеры на вольный воздух. Долго стоял столбом, медленно постигая чудовищное вероломство. Ударил себя по лбу и пошагал прочь.

Утром в избушку пришел Егор.

— Здорово, Михеич!

Старик долго рассматривал парня.

— Что-то не узнаю... Чей будешь?

— Любавин.

— Емельян Спиридоныча?

— Ага.

— Молодые... Не упомнишь всех. За утями?

— Ага. Поживу тут у тебя недельку-другую. — Егор снял с плеча ружье, холщовый мешок, устроил все это в углу на нарах.

Михеюшка несказанно обрадовался:

— Правильно! Правильно, сынок. Дело молодое, только и позоревать на бережку. Я вот те расскажу, как мы раньше охотничали...

Егор с удовольствием стащил промокшие сапоги, завалился на нары, вытянув ноги к камельку.

— Ну, как вы раньше охотничали?

— Сича-ас, — весело засуетился Михеюшка. Наскоро

подкинул в камелек, свернул «косушку» и, устроившись получше на чурбаке, начал: — Это ведь когда было-то! До японской! Соберемся, бывало, человек пять-шесть ребят, наладим, братец ты мой... Тебя как зовут? Я не спросил.

Ответа не последовало — Егор крепко спал.

Михеич не огорчился.

— Уморился. Молодые... знамо дело. Дэ-э... — Он поправил короткой клюкой дрова, подумал и стал рассказывать себе: — Соберемся мы это впятером, дружки... А здоровые какие все были! Эх ты, господи, господи!.. Прошла жись. Вроде сон какой. — Он замолчал, задумался.

17

Платоныч с Кузьмой припозднились в сельсовете. Платоныч выписывал из разных книг себе в тетрадку все крестьянские хозяйства в деревне. (Приезжал из района товарищ, и они долго беседовали о чем-то в сельсовете. После этого Платоныч и занялся списком.)

Кузьма сидел рядом с ним, смазывал ружейным маслом наган.

Шипела и потрескивала на столе семилинейная лампа, поскрипывало перо Платоныча — он работал с увлечением (сказал, что попросили помочь в одном деле).

— Дядя Вася...

— Ну.

— Как ты вообще думаешь... не пора мне жениться?

Платоныч поднял голову, некоторое время смотрел на племянника. Тот, нахмурившись, старательно тер ветошью и без того сияющий ствол нагана.

Старик пошевелил концом ручки хилую бородку, опять склонился к тетрадке, но писать перестал.

— Ты серьезно, что ли?

— Конечно.

Платоныч опять посмотрел на Кузьму.

— Я думаю — еще не пора.

— Почему?

— Ты здесь, что ли, жениться-то хочешь, я никак не пойму?

— Здесь, — Кузьма впервые посмотрел ему в глаза.

— На Клавде?

— Нет.

— А на ком же?

— Ну... Нет, ты вообще-то как... твердо знаешь, что нет?

— Твердо.

— Чего же тогда говорить...

Кузьма кхакнул, поднялся с места, прошел к порогу. Там остановился, посмотрел на Платоныча. Встретил его внимательный взгляд.

— Чудной ты парень, Кузьма. Что это, шуточки тебе — жениться? Приехал, чуть пожил — и сразу... Здорбво живешь! А потом куда?

— Что «куда»?

— Ну, куда с женой-то?

— Куда сам, туда и она. Вместе.

— Пошел ты! — рассердился Платоныч. — Рассуждаешь, как... Даже злость берет.

— Значит, не поможешь мне в этом деле?

— Хватит, ну тя к чертям! Ты просто ополоумел, Кузьма!

— Чего ты кричишь?

— Как же мне не кричать, скажи на милость? Ты ж сам говорил мне, чтобы я не забывал, зачем нас сюда послали. А теперь что получается? Сам и забыл.

— Я помню.

— Так о чем разговор?! Ты соображаешь хоть немного?! Его послали вон на какое дело, а он... Чтоб я больше не слышал этого!

— Да ты не кричи. Я же спокойно...

— Он спокойно!.. А я не могу спокойно, когда человек глупые слова на ветер бросает.

— Какой ты оказался...

Платоныч тихо спросил:

— Какой?

Кузьма прошелся от порога к столу и обратно.

— Не сердись, дядя Вася. Но чего ты, например, испугался? Ведь я сам могу за себя ответить.

— Вот и отвечай.

Платоныч заставил себя работать, но долго не мог писать. Отодвинул тетрадь, устало потер пальцами седые виски.

— Помог бы лучше опись вот составить. Председательская работа вообще-то. А этот Колокольников в рот богатеям заглядывает. Такого понапишет, что Федор с Яшей зажиточными окажутся.

Кузьма ходил по комнате, курил.

— Чья девка-то? — неожиданно спросил Платоныч.

— Попова. Помнишь, мы были... где детишек много.
— Ну... и влюбился?
— Не знаю... Хожу, света белого не вижу. Вся голова в огне.
— Ты гляди, что делается! Когда ты успел-то? — изумился Платоныч.
Кузьма взъерошил пятерней короткие волосы, сказал недовольно:
— Сразу.
— М-дэ... — Платоныч встал, начал одеваться. — Не знаю, парень, что и придумать. Ты, конечно, думаешь: вот, мол, старый хрыч, ничего не понимает. А я понимаю. Будь это в другое время — на здоровье. А тут... даже перед крестьянством как-то неловко, понимаешь? Не успели приехать — бах-тарарах, свадьба! Подумают, что мы в каждой деревне так. Ты подожди малость. Это никуда не уйдет, поверь мне, племяш.
— Не поможешь?
Платоныч сердито сунул тетрадку в карман, первый направился из комнаты.
— Гаси лампу, пойдем спать.
На другой день Кузьма вскочил чуть свет, хозяева и Платоныч еще спали. Осторожно оделся, умылся на улице и пошел к Феде.
— Только сейчас вышел, — сказала Хавронья. — Вот по этой улице иди — догонишь его.
...Федя шагал серединой дороги. Руки в карманах, не спеша, вразвалку — тяжело и крепко. Когда его хотели обидеть, его называли «земледав». Но обидеть Федю было так же трудно, как трудно было бы свалить на землю это огромное тело.
Кузьма догнал его, поздоровался за руку. Сказал:
— Хороший день будет.
— Выезжают пахать, — Федя показал следы плугов на дороге.
— Да.
Федя через плечо сверху посмотрел на Кузьму.
— Ты не горюй шибко. Гриньку я вам добуду. Вот маленько управлюсь с работой. Я знаю, где его надо искать.
Кузьма кивнул головой, достал жестяной портсигар, щелкнул ногтем по крышке и снова положил в карман.
— Понимаешь, какое дело, Федор... Гринька этот... черт с ним. Найдем, конечно. Тут у меня сейчас другое

дело. — Кузьма кашлянул в ладонь, огляделся зачем-то кругом. Посмотрел в глаза Феде и сказал просто: — Пойдем со мной жениться.

Глаза Феди округлились.

— Не жениться, то есть сватать, — поправился Кузьма. — Я один что-то трушу.

— Ха! — Федя остановился. — А к кому?

— К Поповым.

— К Сергею?

— Да.

— Пошли. — Федя решительно двинулся вперед, по его лицу было видно, что он одобряет выбор Кузьмы. — Постой, — он опять остановился. — А бутылку-то надо или нет?

— Не знаю.

— Возьмем на всякий случай. Потребуется — она у нас в кармане. Пошли ко мне.

Так же решительно направились в обратную сторону.

— Я люблю всякие свадьбы, — признался Федя. — Весело бывает.

— Федор, у меня денег-то нету.

— Пойдем. У меня тоже нету.

Хавронья встретилась им в ограде.

— Давай нам на бутылку, — сразу сказал Федя,

Хавронья показала обоим фигу:

— Нате вот, на закуску еще.

— Нам для дела, глупая, — терпеливо пояснил Федя.

— Для какого дела?

— Мы свататься идем. — Федя посмотрел на Кузьму. «Извини, конечно, иначе не даст», — говорил его взгляд. Кузьма согласно кивнул головой.

— Нету у меня денег, — отрезала Хавронья.

Федя долго смотрел на нее.

— Чего уставился-то? Правда нету. Были бы — для такого дела дала бы. — Денег у нее действительно не было.

Федя почесал затылок.

— Хм... Достань мне рубаху новую.

Хавронья вынесла рубаху, синюю, с белыми горошинами; Федя тут же, в ограде, переоделся.

Хавронья сгорала от любопытства, но выдерживала необходимую паузу.

— Кого же сватать-то идете? — безразлично спросила она, скрестив на высокой груди полные руки.

— Секрет, — сказал Федя, подпоясываясь узким сыромятным ремешком.

Хавронья обидчиво поджала губы.

— Хоть бы уж молчал, пугало гороховое! Туда же... секрет.

Федя пошел из ограды, Кузьма — за ним. Когда они были уже за воротами, Хавронья крикнула:

— У дружка твоего есть деньги-то! Они вчерась из города приехали! — Ей все-таки хотелось, чтобы они нашли денег. Она бы тогда имела возможность рассказывать у колодца бабам: «Мой-то сватать пошел за этого, приезжего-то. Длинного. Все утро бегали — деньги доставали». За кого пошли сватать — это она надеялась узнать.

— А верно она про Яшку-то, — сказал Федя. — Я совсем забыл. Пошли к нему.

Яша дал денег, изъявил желание тоже идти сватать, но Федя отказал:

— После на свадьбу придешь.

По дороге зашли к старухе самогонщице, взяли бутылку самогону и направились к Поповым.

— Федор, разговаривать будешь ты.

— Конечно. Ты, главно... это не волнуйся.

Но чем ближе подходили к поповской избе, тем больше Кузьма трусил.

— Пойдем потише, — попросил он.

— Ладно.

Оставалось каких-нибудь метров двадцать до избы.

— А как ты будешь говорить, Федор?

— Не знаю, — честно признался Федя. — Я ни разу не сватался.

— А как же ты женился?

— Так это ж просто у нас делается. Отец ходил. Я ее и не знал почти, Хавронью-то.

— Ну, уж ты как-нибудь... постарайся.

— Конечно! — Федя поплевал на ладонь, пригладил жесткие прямые волосы. Волнение Кузьмы передалось и ему, он тоже начал робеть.

Кузьма застегнул ворот гимнастерки, на ходу стер рукавом кожанки какое-то пятно на колене...

Перед самой дверью, когда Федя уже протянул руку к скобке, Кузьма остановил его. Сказал шепотом:

— Погоди... постоим немного.

Федя охотно отступил от двери.

Постояли.

— Ну, пошли? Постучись сперва.

— Зачем?

— Так лучше...

Федя казанком указательного пальца неуверенно стукнул в дверь. Им никто не ответил. Федя постучал громче. Дверь открылась.. На пороге стояла Марья.

— Здравствуйте. Проходите.

Федя хотел пропустить вперед Кузьму, а тот — Федю... Вошли вместе.

Сергея Федорыча дома не было. Ребятишек тоже не было — бегали на улице. У окна, на скамейке, в коричневой короткой шубейке и в цветастом платке, сидела подружка Марьи, Нюрка, щелкала семечки.

Федя остановился у порога:

— А где отец?

— А они с кем-то за лесом уехали. Вот, — показала глазами на Кузьму и покраснела, — для школы ихней.

— А-а... — Федя тяжело сел на кровать, хлопнул ладонями себя по коленям. — Жалко.

Кузьма стоял у порога, пристально смотрел на подружку Марьи.

Марья перевела взгляд с Феди на Кузьму:

— А вы что хотели-то?

— Да он нам нужен, по одному делу, — сказал Федя.

Кузьма упорно глядел на Нюрку. Она страшно мешала ему. Не будь ее, казалось Кузьме, Федя давно бы заговорил о деле.

Федя потрогал бутылку в кармане. Встал.

— Ну, нет — так нет. — Он двинулся к двери, стараясь не глядеть на Кузьму.

Вышли. В ограде остановились.

— Не оказалось Сергея дома, — словно извиняясь, сказал Федя, озабоченно глядя вдоль улицы. — Надо же...

— Да, не повезло, называется, — согласился Кузьма. Он тоже смотрел в ту сторону.

Они как будто ждали, что Сергей Федорыч вот-вот подъедет.

— Зря мы вышли, — сказал вдруг Кузьма. — Пойдем обратно!

Федя растерянно посмотрел на него.

— Сейчас?

— А что? Попросим, чтобы эта... вышла.

— Как ты ее попросишь? Придется уж так... А может, вечером? Сергей приедет...

— Пойдем, Федор. Что-то со мной... черт ее знает что делается. Трясет всего.

Опять Федя постучал в дверь и сам открыл ее. Вошел первым.

— Марья... — начал он решительно, но запнулся, посмотрел на цветастую, строго сказал ей: — Нюрка, выйди на улицу! Сидишь — прямо быдто вросла в эту скамейку.

Нюрка удивленно посмотрела на Марью, фыркнула и пошла на выход, значительно глядя на Кузьму.

Федя опять сел на кровать и опять хлопнул руками по коленям. Кузьма опустился на низкое припечье... (острые коленки его оказались почти на уровне головы), сжал до отеков кулаки.

— Марья... Ты... это... замуж-то собираешься? — спросил Федя, пытаясь изобразить на лице нечто вроде улыбки.

Марья занялась румянцем во всю щеку. Смотрела в пол.

Федя кашлянул и объявил — как гору с плеч свалил:

— Он хочет взять тебя. Он хороший человек.

Марья вскинула голову, посмотрела на Кузьму, потом на Федю, сказала негромко:

— Нет.

Кузьма не шевельнулся. Только крепче сжал кулаки.

— Не хочешь, значит? — спросил Федя, нисколько не удивляясь. — Зря.

Наступила гнетущая тишина. Никто не знал, как выйти из этого положения.

— А пошто не хочешь? — спросил Федя.

Кузьма поднял на него умоляющие глаза, но Федя не заметил этого, он смотрел на Марью с упреком.

Марья качнула головой:

— Не хочу. Что вам еще?..

Кузьма встал. Федя тоже поднялся.

На этот раз Кузьма вышел первым.

На улице, вздохнув всей грудью, сказал Феде:

— Даже легче стало, ей-богу.

— А чего же... конечно, — «согласился» Федя. Ему не стало легче. Провал сватовства он относил только за свой счет. Он не верил, что Марья не хочет выходить замуж за Кузьму. Надо уметь сватать.

Пошли вместе. На перекрестке, прежде чем свернуть в кузницу, Федя замедлил шаг.

— Куда самогон теперь девать? — спросил он.

— А? — Кузьма тоже остановился. — Ты на работу?

— Ага.

— Пойдем, я тоже с тобой.

В кузнице уже шуровал молотобоец Гришка Шамшин, молодой парень с сильными, непомерно длинными руками.

Еще когда подходили к кузне, Кузьма, глядя себе под ноги, сказал Феде:

— Я выпить хочу, Федор.

— Сейчас выпьем, — понимающе откликнулся Федя. — Это надо.

Он усадил Кузьму на какой-то ящик, турнул Гришку домой:

— Бегом — огурцов и хлеба!

Гришка через пять минут явился с огурцами и хлебом.

Закрыли дверь на крюк, поддули горн, чтобы светлее было, сели в кружок.

Пили из большой медной кружки по очереди. Молчали.

После первой кружки у Кузьмы сделалось тепло в груди. Захотелось встать, взять кого-нибудь за грудки и, глядя в глаза, в чьи-нибудь глаза, рассказать все... Он не знал, что это «все» и о чем рассказать, но начал бы он так: «Ты понимаешь? Понимаешь ты?.. Неужели вы ничего не понимаете?..»

— Что это вы такие хмурые? — спросил простодушный Гришка.

— У него — горе, — серьезно сказал Федя.

Кузьма выпил еще полкружки самогона и теперь только понял, что у него — горе. Большое горе. Горе — это то, что едко и горячо подмывает под сердце. Оказывается, это горе. Кузьме стало все понятно.

— Да — горе, — сказал он и заплакал, не мог сдержаться.

Плакал, уткнувшись лицом в ладони, горько, всхлипами. Плакал, качал головой.

Федя молчал. Серьезно смотрел на Кузьму и чувствовал, как этот длинный честный парень вместе со своим горем входит в его большую, емкую душу, становится понятным ему, становится другом. Могучий Федя испытывал острое желание как-нибудь помочь ему. Он не знал только — как помочь?

— Ты, может, уснешь? — спросил он.

— А? — Кузьма открыл лицо. — Что ты сказал?

— Уснуть бы надо...

— Ладно.

Постелили в углу сена. Кузьма лег и сразу уснул. Федя долго сидел около него, потом встал, махнул рукой Гришке — вышли на улицу и принялись разбирать косилку. В кузнице в этот день не стучали.

Домой Кузьма пришел ночью. Нарочно задержался у Феди, чтобы не встретить никого; особенно тяжело было бы видеть дядю Васю и Клавдю. Они, конечно, знали о его печальном сватовстве.

Не тут-то было.

Клавдя ждала его у ворот. Заслышав знакомые шаги, пошла навстречу.

— Здорово, Кузя. — Она не кричала, не плакала, даже, кажется, не сердилась. Говорила спокойно, только голос чуть вздрагивал.

— Здорово. — Кузьма наершился, приготовился быть кратким, дерзким, грубым, если на то пойдет, — приготовился к бою.

Боя не последовало.

Клавдя взяла его под руку, повела в дом.

— Два часа дожидаюсь тебя... замерзла. Свататься ходил?

— Ходил.

— Не вышло?

— Ну и что?

— И не выйдет. Зря старался.

— Почему это?

Клавдя помолчала, крепче прижалась к Кузьме, тихо, счастливым голосом сказала:

— А ребеночка-то куда денешь? Он ведь наш... Я уже отцу с матерью сказала про все.

Кузьма остановился.

— Как это?

— Так. Ты чего удивляешься?

Кузьма не верил. Хоть не много он понимал в этих делах, но все же знал, что для такого заявления рановато.

— Врешь.

— Я и не говорю, что сейчас. Но он же будет. Как ему не быть?

Она стояла близко — беззаботная, неподдельно счастливая. Улыбалась.

— Ну, что дальше?

— Все. Я не обижаюсь, что ты ходил... туда. Пошли в дом.

Платоныч тоже дожидался его, не спал.

Когда Кузьма лег, он накрыл его с головой одеялом и заговорил тихо:

— Ты что делаешь?

— Ходил сватать, — так же тихо ответил Кузьма.

— У тебя все дома?

— Все.

— Завтра я поговорю с тобой.

— Ладно.

— Что «ладно»? Что «ладно»? Прохвост! Правильно, что не пошла за такого.

Кузьма лежал, вытянув руки вдоль тела... Смотрел в черноту и там, в черноте, видел, как вспыхивают и медленно рассыпаются в искры красные огоньки. В груди было пусто. В голове воздвигались какие-то маленькие миры из синего неба, домов, полей, безликих людей... Воздвигались и рушились.

Кузьма смотрел прямо перед собой, вверх, и думал смутно: «Ну и что? Ничего!» А миры в голове воздвигались и рушились — быстро и безболезненно.

18

Через неделю после того, как Егор поселился в охотничьей избушке, к Михеюшке пришла дочь.

Михеюшка рассказывал в это время Егору про «ранешных» разбойников. Это были разбойники! А што сичас?! Украл человек коня — разбойник. Проломил голову соседу — тоже разбойник. Да какие же они разбойники! Этак, прости господи, мы все в разбойники попадем. Если ты разбойник, ты должен убивать купцов. Должна быть шайка, и атаман — обязательно. И в земле у них не по пуду золота, а чуть поболе...

— Купцов-то нету теперь, — вставил Егор, заинтересованный рассказом. — А эти... нэпманы, что ли, какие-то.

И тут вошла Ольга.

— Вот и дочь моя заявилась! — обрадовался Михеюшка.

— Заявилась! — огрызнулась Ольга. — Пятнадцать верст по такой грязи — черт не ходил...

— Сразу надо начинать с черта, — недовольно заметил Михеюшка, развязывая большой мешок. — Хлебушко есть, сальце, пирожки разные... все правильно. Чего долго не была?

Ольга только теперь заметила в полутемной избушке гостя.

— Егорка ведь?.. Ты чего здесь?

Егор не ответил (как будто она сама не понимала, чего он здесь!), слез с нар, прикурил от выпавшей из камелька щепочки, сел на чурбак: он знал, что баба сейчас будет выкладывать деревенские новости. Хотелось узнать, что делается дома.

Ольга долго распутывала шаль и все ворчала, что это не погода, а наказание господнее. (Странное дело с этими бабами: когда им даже не очень нужно и даже совсем не нужно, они могут так легко, просто врать, будто имеют на это какое-то им одним известное право. Погода на дворе стояла ясная, тихая, холодная — лето обещало быть хлебородным.)

Раздевшись наконец, Ольга оглядела избушку, нашла веник, стала подметать и заговорила, кстати, о том, что вот если бы оставить мужиков одних, то их скоро надо было бы вытаскивать из грязи за уши. А все на баб ругаются, все недовольны: мол, ничего не делают, пятое-десятое... Интересно бы посмотреть на вас тогда...

Михеюшка отреза́л кусочки сала и подолгу жевал их беззубым ртом, очень довольный.

— Што нового там? — не выдержал Егор.

— Где?

— В Баклани, где...

— Чего там нового?.. Отца твово видела, по улице шел. Слабый шибко. Идет — вроде улыбается, а самого, сердешного, ветром шатает...

У Егора под сердцем шевельнулась непрошеная жалость. Конечно, все не так, как расписывает эта шалаболка. «Отца ветром шатает»! Глупая баба! А все равно стало жалко отца.

Егор погасил окурок, хотел выйти на улицу, но Ольга продолжала рассказывать.

— А к Маньке-то новые сваты приходили. Пошла девка в гору с твоей руки...

— Кто?

— Городской парень этот... Как их называют, забыла уж...

— Полномоченный, — подсказал Михеюшка.

— Леший их знает. Ну, со стариком они приехали, школу еще хотят...

— Ну и что? — сердито оборвал Егор.

— Ну, и пришли... с Федей Байкаловым. Нашел кого позвать! Смех один...

— Ну?

— Ну, самого-то Сергея Федорыча как раз дома не было. Она и говорит, Манька-то: вот, мол, приедет отец, тогда приходите, а без отца я, дескать, не могу разговор вести.

Егор хлопнул дверью, сбежал с высокого крыльца... Лицо горело.

— Ах ты... паразитство! Гадость! — Он несколько раз подряд негромко выругался.

Остановился посреди поляны, не знал, что делать дальше. Присел на дровосеку, но тотчас вскочил и вошел в избушку.

— А Макарка-то тоже здесь живет? — спросила Ольга.

Егор не ответил, снял со стенки ружье и вышел, так хлопнув дверью, что с потолка, из щелей, посыпалась земля.

Лес просыпался от зимней спячки. Распрямлялся, набирался зеленой силы.

Солнце основательно пригревало. Пахло смольем. Земля подсохла, только в ложбинах под ногами мокро чавкало.

В полдень Егор пришел на пасеку к Игнатию.

Игнатий возился с ульями, сухой, опрятный, в черной сатиновой рубахе, сшитой красными нитками.

— Пришел, беженец? Домой?

— Нет. Мне Макара надо.

— Зря. Я думал, ты домой. Вертаться надо, Егор.

— Где Макара найти?

— А хрен его знает! Макар теперь залился. Дурак он у вас отпетый...

Егор понял, что Игнатий осторожничает. Пожалуй, не скажет, где скрывается банда. Он скинул с плеча переломку, взвел курок и нацелился в грудь Игнатию.

— Говори, где Макар? Или — ахну сейчас и не задумаюсь. Ты еще не знаешь меня.

У Игната отвисла нижняя губа и ярко покраснел кончик носа.

Долго стояли так.

— Как же мне не знать вас, — заговорил наконец Игнатий, не спуская глаз с Егора. — Живодеры... И породил вас живодер. Напугал, срамец, аж в брюхе что-то лопнуло. — Он плюнул под ноги Егору. — Бессовестный, на старика ружье поднял!

— Где Макар?! — крикнул Егор, бледнея.

— В кучугурах, за вторым перешейком, где Змеиная согла... подлец ты такой. Я тебе это запомню.

Егор опустил ружье, повернулся и пошел прочь широким шагом.

19

Макар с Закревским играли в шашки.

Обыгрывал генеральский сын. Макар злился и от этого играл хуже, просаживал одну пешку за другой.

— Ходи.

— Пойду. Ты только не расстраивайся.

— Думаешь, как этот...

— На.

— Так... А вот так?

— Угорела пешечка. Даже две. Дамка. Ваша не пляшет.

Макар наморщил лоб. Крякнул.

— Насобачился ты в этом деле! Давай еще?

— Надоело.

За дверью возник шум.

Закревский поднялся:

— Что там?

Дверь в землянку отворилась, вошел Егор.

— К вам, как в церкву, с ружьем не пускают.

Макар обрадовался брату. Он скучал без него, хотя не сознавал этого.

— Егорка? Тю!..

Закревский тоже улыбался:

— Проходи. Пришел... блудный сын. Давно пора!

Егор сел на пенек, огляделся:

— Неплохо живете.

— А как ты думал! — Макар, подбоченившись, с улыбкой смотрел на брата. — Увидишь, через полгода

что́ будет. Ковры будут висеть и сабли. Ты в деревне был?

— Нет.

— А где ты живешь? У Игната?

— У Михеюшки.

— Что слышно из деревни?

— Ничего. Отец... живой. Пашут, наверно.

— Пускай попашут, — сказал довольный Макар. — Раздевайся. У нас теперь жить будешь.

— Мне надо поговорить с тобой.

— Ну.

Егор посмотрел на Закревского.

— Пойдем на улицу.

Макар первый вышагнул из землянки, Егор — за ним. Остановились. Егор долго смотрел в землю.

— Дай мне коня, браток. Ночью приведу назад.

— Зачем?

— Надо.

— Не скажешь — не дам.

Егор посмотрел на верхушки сосен, на Макара, криво улыбнулся.

— За невестой съездить.

— За Манькой?

— Ага.

— Украсть хочешь? — Макар широко улыбнулся. — Давай вместе. Пошли! — Он втолкнул Егора обратно в землянку.

— Мы поедем в деревню за невестой, — объявил Макар.

Закревский насторожился:

— Как это — за невестой?

— Так. Воровать поедем невесту. Понял?

Закревский понял.

— На наших лошадях?

— Ну да. На чьих же?

— Нельзя.

Макар поднял брови:

— Как это нельзя?

— Нельзя, ребята. Я все понимаю, но... это глупый риск. Можете легко засыпаться.

— Не дашь коней? — спросил Макар.

— Не дам.

Макар снисходительно не то улыбнулся, не то поморщился.

— Пойдем, Егор, я покажу, каких подседлать.

— Макар! — резко крикнул Закревский.

Но Макар уже вышел из землянки и показывал Егору:

— Себе — вон того жеребца в чулках. Лев! Мне — во-он Гнедко... Седлай. Я пойду переобуюсь.

Егор долго примеривался к жеребцу, пока взнуздал его. Рослый скакун сердито косил большим темным глазом, прижимал уши и разворачивался задом, когда Егор приближался к нему. Наконец Егор загнал его в кусты и там обротал. Вошел в землянку.

Макар стоял перед Закревским — руки в карманы, одна нога небрежно отставлена.

— Не командуй шибко много. Понял? Это отец твой генералом был, а ты не генерал.

Закревский, прижимая руки к груди, кричал:

— Да ты же попадешься, дура! Лошади пропадут!

— Хрен с ними. Што я, дешевле лошадей?

Увидев Егора, спросил весело:

— Подседлал?

— Ага.

Закревский, злой и уставший, сел к столу.

— Идиоты!

— Сейчас... переобуюсь. Промочил давеча... — Макар начал стаскивать сапоги.

— А куда вы ее привезете? — спросил Закревский.

Ему никто не ответил.

— Сюда, что ли? — опять спросил он, уже миролюбиво.

— Нет, — ответил Егор.

— Хоть бы уж свадьбу тогда сыграть, — сказал Закревский. По правде говоря, о лошадях он беспокоился меньше всего. Ему не нравилось, что Макар много своевольничает. Это было тем более неприятно, что без Макара он теперь не мог обходиться.

— Но свадьбу мы все одно справим! — воскликнул Макар, подняв глаза на брата: он и утверждал, и спрашивал.

Егор неопределенно пожал плечами:

— Надо сперва невесту привезти.

— Привезе-ем! Сейчас мы ее, голубушку, скрутим. Хорошая девка! — похвалил он, обращаясь к Закревскому.

Ему сейчас казалось, что он о Марье всегда так и думал — что она хорошая.

Закревский обиженно отвернулся от него.

Макар вдруг задумался.

— Может, мне тоже кого-нибудь украсть? — спросил он. — А?

— Укради уполномоченного, — сказал Закревский и улыбнулся.

Макар хохотнул.

— Хороший ты парень, Кирька, только гнусишь много. Лучше я погожу с невестой. Поехали? Ноченька как раз темная!..

Макар посвистывал, похохатывал: правилось, что под ним легкая, сильная лошадь, правилась тихая, темная ночь, правилось быть вольным человеком.

Егора тоже дурманила эта бешеная гонка. Не мог он только представить, что через некоторое время у него в седле будет Марья. Как-то не верилось.

Влетели в деревню. Погнали по улице, мимо родительского дома. Свернули в переулок... Вот и Марьина изба. Огонек светится.

У знакомых ворот Макар остановился.

— Как будем? — спросил Егор.

— Не знаю. Зайти... и вынести без разговоров?

— Ребятишки там... перепугаются.

— Свистни ей под окном.

Егор соскочил с коня, подкрался к окошку, заглянул.

— Однако, дома нету.

— Ну-ка, свистни.

Егор негромко свистнул и отошел на всякий случай к воротам: мог выйти сам Сергей Федорыч с какой-нибудь штукой в руках. Но никто не выходил. Тогда Макар заложил в рот два пальца, тишину ночи резанул тонкий, проникающий в сердцевину мозга свист. Тотчас хлопнула избная дверь — в сенях послышались шаги, чьи угодно, только не девичьи. Егор подбежал к коню, сел. Успел шепнуть Макару:

— Не отвечай, если сам выйдет.

На крыльцо вышел Сергей Федорыч:

— Кто это здесь подворотничает? — Было совершенно темно.

Макар легонько тронул лошадей.

Выехали из переулка. Остановились.

— Что делать?

— Вот что: заедем к Нюрке Гилёвой, скажем, чтобы

вызвала нам Маньку, — предложил Егор. — Они товарки.

Вышел брат Нюрки, Колька Гилёв, парнишка лет пятнадцати.

— Чего? Кто тут?

— Нюрка ваша дома?

— Дома.

— Вызови ее. Только не говори, кто зовет.

— А зачем тебе? — Колька подозрительно, с опаской всматривался в Макара.

— Надо. Да не бойся ты. Мужик, а сдрейфил.

Колька некоторое время колебался, потом пошел в дом.

Нюрка сообщила, что Марья дома, но у нее болят зубы.

— Поехали к ней. Садись ко мне.

— Поехали. Ой, да на конях! Вы чего эт, ребята? Чего затеяли-то? Откуда кони-то?

Братья молчали. Макар подсадил Нюрку к себе.

Тогда Нюрка сама принялась рассказывать, как приезжий парень Кузьма приходил сватать Марью. В середине рассказа она вдруг так взвизгнула, что жеребец прыгнул вперед, — это Макар решил от нечего делать побаловаться с ней.

— Дурак!

— А ты не прижимайся ко мне, не наводи на грех.

— Кто к тебе прижимается-то? Вот черт! — Нюрка, наверно, покраснела. — Бессовестный!

Снова подъехали к Марьиным воротам.

— Только не говори, что мы тут. Боже упаси! Мы хочем нечаянно...

Нюрка вошла в избу, и ее долго не было.

Макар сидел на коне, а Егор стоял около крыльца — на тот случай, если Марья, заподозрив что-либо, захочет вернуться в избу.

Наконец скрипнула дверь... По сеням шли двое. Егор весь напружинился.

На крыльцо вышла Нюрка, за ней — Марья.

— Вот — дожидаются, — сказала Нюрка.

Марья всматривалась в темноту:

— Кто?

Егор молчал. Марья была в двух шагах от него. Он

мучительно соображал: сразу ее хватать или сперва сказать что-нибудь?

В этот момент избная дверь хлопнула. В сенях заскрипели мужские шаги. Это решило все.

Егор оттолкнул девушек от двери, ощупью забросил петлю на пробой, легко вскинул на руки Марью и побежал к лошади.

Марья громко вскрикнула:

— Тятя!

В дверь из сеней заколотили руками и ногами.

— Что там?! Эй! Откройте! Люди! — заполошным голосом кричал Сергей Федорыч, но людей на улице в такую пору не бывает.

Когда Нюрка догадалась откинуть петлю, кони были уже далеко, — слышно было, как расшпают грязную дорогу четыре пары лошадиных копыт.

20

Кузьма узнал обо всем от Клавди.

Она рассказала на другой день... Радости скрыть не умела.

Шли вместе домой.

— С Егором теперь Марья...

На мгновение Кузьме показалось, что дорога под ним круто вспучилась горбом. Он остановился, чтобы устоять на ногах. Почему же так? Разве он на что-нибудь еще надеялся после того скандального сватовства и после того, что было потом?.. Разве надеялся? Надеялся. А теперь — всё.

Кузьма повернулся, пошел к сельсовету — там был Платоныч. Он не знал, для чего нужен сейчас дядя Вася. Наверно, совсем не нужен. Просто надо было куда-нибудь быстро идти. И он шел. И думал: «Все. Теперь — всё». Представил, как Марья испугалась и плакала.

Раздумал идти в сельсовет.

Стал вспоминать, где живут Любавины. Спросил у какой-то бабы.

— Дак вот же! Рядом стоишь, — показала баба.

Кузьма вошел во двор к Любавиным.

Из-под амбара выкатился большой черный кобель и молчком кинулся ему в ноги. Кузьма выскочил за ворота. Крикнул:

— Хозяин?

Вышла Михайловна, прицепила кобеля.

— Мужики дома?
— Хозяин один.
Кузьма вошел в избу, сразу спросил:
— Где ваши сыновья?
Емельян Спиридоныч сучил дратву; рукава просторной рубахи закатаны по локоть, рубаха не подпоясана... Большой, спокойный.
— Какие сыновья?
— Твои.
— У меня их четыре.
— Младшие.
Емельян со скрипом пропустил через кулак навощенную дратвину.
— Я про этих ублюдков не хочу разговаривать.
— Они не были дома после того... как ушли?
— А тебе што? Не были.
Кузьма вышел.
Куда теперь? С какого конца начинать? К Феде?..
Федя работал.
Кузьма вызвал его... Отошли, сели на берегу.
— Отец сам не знает, это верно. Потом... я думаю, што они не в банде.
— Почему?
— Так. Наших, бакланских, там нету. Люди бы знали. Разговоров нет — значит, никого наших нету.
Долго молчали.
Кузьма курил.
— У их Игнашка есть... — заговорил Федя. — На заимке живет. Тот может знать. Не скажет только...
Приехали к Игнатию под вечер.
Хозяин долго не понимал, чего от него хотят, терпеливо, с усмешечкой заглядывал в глаза Кузьме и Феде. Потом понял.
— Не знаю, ребята. Чего не знаю, того не знаю. Наши оболтусы были у меня, когда сбежали из дома. А потом ушли. Я им сам говорил, что надо домой вертаться. Не послухали. Где они теперь, не знаю.
— Собирайся, — приказал Кузьма. Глаза его смотрели прямо, не мигая, внимательно и серьезно.
— Куда? — спросил Игнатий, и усмешечка погасла.
— С нами в деревню.
— Зачем?
— Посидишь там, подумаешь... Может, вспомнишь, где они.

— А-а! — Усмешечка снова слабо заиграла в сухих глазах Игнатия. — Пошли, пошли! Думать мне нечего, а посидеть могу. Глядишь, кой-кому и влетит за такие дела. Маленько вроде не то время, чтоб сажать без всякого...

Елизар Колокольников был в сельсовете, когда привели Игнатия. Он сделал вид, что хорошо знает, за какие делишки попался этот Любавин, строго нахмурился, глядя на него. Потом, когда того заперли в кладовую, спросил у Кузьмы:

— Эт за што его?

— Допросим. Он, наверно, знает про своих племянников.

Елизару показалось, что Кузьма действует, пожалуй, незаконно. Однако говорить с ним об этом не стал. Собрался и пошел к Платонычу.

Платоныч сразу же пошел в сельсовет. На Кузьму разозлился крепко. «За девку мстит, паршивец! Шутит с такими делами!»

Кузьма сидел за столом, положив подбородок на руки, смотрел на дверь кладовой, за которой «думал» Игнатий.

Платоныч вызвал его на улицу.

— Зачем старика арестовал?

— Он знает про банду. Я чую.

— Жалко, у меня ремня с собой нету. Снял бы с тебя штаны и всыпал, чтобы ты лучше почуял, что такими делами не балуются. Ты что, опупел?

— Не опупел. Ты занимайся своей школой и не мешай мне.

— Сейчас же выпусти его!

— Не выпущу.

Платоныч высморкался. Некоторое время молчал.

— Кузьма, ты делаешь большую ошибку. Ты во вред советской власти делаешь. Чего ты людей дергаешь, молокосос ты такой?! Кто дал тебе такое право?! Немедленно выпусти его!

— Нет, — Кузьма стоял, ссутулившись, смотрел на дядю исподлобья, — это ты делаешь ошибку. Пять лет уж скоро советская власть, а тут... какие-то разъезжают, грабят население. Это не во вред? До чего осмелели, гады!.. Не выпущу — и всё. У меня сердце чует, что он знает про банду!

— Дай сюда наган! — сдавленным голосом крикнул Платоныч.

— Не дам.

Платоныч сам полез в карман Кузьмы, но тот оттолкнул его...

Старик удивленно посмотрел на племянника, повернулся и пошел прочь, сгорбившись.

На крыльце появился Колокольников.

— Ты можешь идти домой. Я сам здесь останусь, — сказал Кузьма.

— А где Платоныч?

— Он тоже домой пошел.

Колокольников помялся... Хотел, наверно, что-то еще спросить, но промолчал. Скрипнул воротцами и удалился по улице.

Кузьма вошел в сельсовет. Подошел к окну, приложил лоб к холодному стеклу.

— Ничего, — сказал он сам себе. И зашагал длинноногим журавлем по пустой сельсоветской избе. Нехорошо было на душе, что с дядей Васей так получилось. Но другого выхода он не видел.

Платоныч направился не домой, а к Феде.

Вызвал его на улицу и путано объяснил:

— Там племяш это... разошелся. А у меня силенок нет, чтоб его приструнить. Пойдем уймем. Черт... какой оказался! Пошли, Федор.

Федя понял одно: надо помочь старику. Почему и как разошелся Кузьма, он не понял. Но спрашивать не стал.

— Пошли.

Кузьма допрашивал Игнатия.

Сидели друг против друга на разных концах стола. На замызганном голом столе между ними, ближе к Кузьме, лежал наган.

— Как ты думаешь, куда они могли уйти?

— А дьявол их знает.

— А про банду ты не слышал?

— Приходилось.

— Кто там ру... главарит у них кто?

— Бог его знает.

— Так... — Кузьма внимательно смотрел на благообразного Игнатия. И был почему-то уверен, что тот знает про банду. — У тебя коней нету?

— Не имею. У меня пасека.

— А как думаешь, на чьих они приезжали? Они тут одну девку увезли ночью...

— Зачем? — не понял Игнатий.

— Не знаю. — Кузьма встал, но сел снова, пригладил ладонью прямые жесткие волосы, кхакнул в кулак. — Увезли — и все.

Игнатий мотнул головой, сморщился.

— Вот подлецы! — Глянул на Кузьму боязливо. Хотел понять, как держаться в этом случае, с девкой: может, улыбнуться? — Что делают, озорники такие!

Кузьма хмуро встретил этот его трусливый взгляд.

— Ах, подлецы! — опять воскликнул Игнатий.

И снова показалось Кузьме, что старик знает про этих подлецов все.

— Где же они лошадей брали?

— Это уж... ты у них спроси.

Тут вошел Платоныч. А за ним вырос в дверях огромный Федя.

— Уведи арестованного, — распорядился Платоныч, глядя на Кузьму неподкупно строго.

Кузьма с минуту удивленно смотрел на Платоныча, на Федю... не двигался.

Игнатий спокойно, с чувством полной своей невиновности, поглядывал на них на всех. От него не ускользнуло, что между стариком и молодым что-то произошло.

— Арестованный... — обратился было Платоныч к Игнатию, но глянул на Кузьму и в последний раз решительно приказал: — Вывести арестованного!

Кузьма поднялся:

— Пошли.

Игнатий покорно встал, заложил руки за спину, двинулся в свою кладовую.

— Гражданин... Кузьма Родионов! Я тебе приказываю освободить из-под стражи арестованного, — заговорил Платоныч казенным голосом, когда Кузьма вернулся в избу. — Иначе я тебя самого арестую. Понял? О нас черт те чего завтра заговорят, — повернулся он к Феде, ожидая, что тот его поддержит. — Скажут, мы тут... Ты это понимаешь? — Платоныч снова развернулся к Кузьме, повысил голос: — Или не понимаешь?

Кузьма молчал, смотрел на дядю.

— Ни черта не понимает, — пожаловался Платоныч Феде.

Федя деликатно швыркнул носом и посмотрел в угол.

— Сейчас я начал его допрашивать и понял... — начал Кузьма.

— Опять за свое?!

— Ты послушай...

— Федор, иди выпусти старика.

— Федор! — Кузьма заслонил собой дверь. — Нельзя этого делать, Федор.

Феде было тяжело.

— Пусти меня, — отстранил он Кузьму после некоторого раздумья. — Я уйду. Не понимаю я в таких делах... — И ушел.

Платоныч стоял посреди избы, смотрел, прищурившись, на племянника.

— Эх, Кузьма, Кузьма... Жалко мне тебя. До слез жалко, дурака. Баран ты глупый! Ты думаешь, такое великое дело — сломить голову? Это просто сделать. И ты ее сломишь. Вспомнишь меня не один раз, Кузьма... поздно только будет. Вот он, близко, локоть-то, да не укусишь тогда. Прочь с дороги! — Он прошел мимо — прямой, хилый и злой. Похоже было, что он не на шутку обиделся.

Кузьма сел на табуретку, задумался.

Дядя Вася был для него очень дорогим человеком. Собственно, на всем белом свете и был у него один только Платоныч, родной человек. Лет до восьми Кузьма вообще не знал, что Платоныч не отец его, а дядя.

Но ведь ошибается он сейчас! Это же так ясно.

Кузьма вывел Игнатия из кладовки, посадил к столу.

— Теперь говорить будешь прямо. Где племянники?

— Не знаю, — раздельно и отчетливо, в который уже раз объяснил Игнатий.

Кузьма подошел к нему, показал наган:

— А вот это знаешь, что такое?

Игнатий качнулся назад.

— Убери.

— Знаешь, что это?

— Эх... змеи подколодные! — холодно вскипел Игнатий. — Хорошо вы жизнь наладили! Свобода! Трепачи, мать вашу... Тебе, поганке такой, всего-то от горш-

ка два вершка, а ты уж мне в рот наган суешь. Спрячь сейчас же его!

Кузьма устремил на него позеленевшие глаза. Заговорил, слегка заикаясь:

— Я тебе говорю честно... я тебе клянусь... если ты не скажешь, где скрывается банда, живой отсюда не уйдешь. Можешь подумать малость. — Он сел, спрятал наган в карман, вытер ладонью вспотевший лоб. — Я тебе покажу свободу... Христос!

Игнатий трухнул.

— Я еще раз говорю: не знаю, где эти варнаки. Можешь меня убить — тебе за это спасибо не скажут. Счас тебе не гражданская.

— Подумай, подумай, не торопись. Я не шутейно говорю.

Игнатий замолк.

«Не угостил бы на самом деле... дикошарый. Разбирайся потом», — думал он.

— Ну как?

— Не знаю я, где они, милый ты человек.

— Иди еще подумай.

Игнатий поднялся.

Кузьма запер его, вышел на улицу, закурил. Потом вернулся в сельсовет, расстелил на лавке кожан, дунул в ламповое стекло. Язычок пламени вытянулся в лампе, оторвался от фитиля и умер. Лампа тихонько фукнула... Долго еще из стекла вился крученой струйкой грязный дымок. Завоняло теплым керосином и сажей. Светало.

21

Михеюшка насмерть перепугался, когда под окном его избушки ночью заржали кони. Он снял икону и прижал к груди, готовый принять смерть. Подумал, что это разбойники.

Дверь распахнулась. Вошел Егор с ношей в руках.

— Михеич!

— Аиньки?

— Зажги огонь.

— Это ты, Егорушка! А я напужался! Сичас я...

Егор положил Марью на нары, взял у Михеюшки лучину...

Марья смотрела широко открытыми глазами. Молчала. Лицо белое, как у покойницы.

— Никак убиенная? — спросил шепотом Михеюшка, заглядывая через плечо Егора.

Егор отстранил его, воткнул лучину в стенку.

— Затопи печку.

Михеюшка суетливо захлопотал у камелька. И все поглядывал на нары.

Марья лежала не двигаясь.

Вошел Макар. С грохотом свалил в углу седла.

— А коней не потырят здесь?

— Кто, поди?.. Ты спутал их?

— Спутать-то спутал... — Макар подошел к Марье, заглянул в лицо, улыбнулся. — Ну как?

Марья прикрыла глаза. Вздохнула.

— Перепугалась... Может даже захворать, — объяснил Макар не то Егору, не то Михеюшке.

Егор сидел на чурбаке, курил. Смотрел в пол.

— Чего не хватает, так это самогону, — сокрушенно заметил Макар, тоже сворачивая папиросу. — Жалко, такой случай... Чтобы прихватить давеча? Просто из ума вышибло.

Михеюшка вертел головой во все стороны. Он понял, что это не покойница — на нарах. Но больше пока ничего не понял.

— Самогон? — переспросил он. — Самогон есть. У меня к погоде ноги ломит, я растираю...

— Давай его сюда! — заорал Макар. — Ноги он растирает!.. Марья, поднимайся!

— Пускай лежит, — сказал Егор.

— А чего ей лежать? Ей плясать надо. А ну!.. — Макар затормошил Марью, посадил на нары.

Марья нашла глазами Егора, уставилась на него, точно по его виду хотела понять, что с ней сделают дальше.

Тот докурил, аккуратно заплевал цигарку, поднял голову. Встретились взглядами. Егор улыбнулся:

— Замерзла?

Марья кивнула головой.

— А вот мы ее сичас живо согреем, — пригрозил Михеюшка. Нырнул в угол под нары и извлек на свет бутылку с самогоном, закупоренную тряпочной пробкой. — Это что такое?

— И все? — спросил Макар.

— Все.

— Свадьба получается!.. Ну, хоть это.

Сели к столу.

Михеюшка отказался сесть со всеми вместе, шуровал в печке и смотрел со стороны на непонятных гостей.

Марья сидела между братьями. Макар налил ей самогону.

— Держи. Ты теперь — Любавина.

Марья тряхнула головой, откидывая на спину русую косу. Взяла кружку и не отрываясь выпила все.

Она действительно замерзла.

— Ох, мама родная! — выдохнула она.

— Берет? — улыбнулся довольный Макар. — Мы еще не так гульнем! Это просто так... — Он налил себе, выпил, стукнул кружкой, закрутил головой. — Ничего!

Егору осталось совсем мало, меньше половины кружки.

— Тебе нельзя много, — многозначительно сказал Макар.

— Что же вы со мной делаете, ребята? — спросила Марья.

— Взамуж берем, — пояснил Макар.

— Кто же так делает? Неужели по-другому... — Марья опустила голову на руки. Видно, вспомнила вечер сватовства Егора, неожиданный налет старика Любавина с Ефимом. — Что ж... здесь и жить будем?

— Пока здесь, — сказал Егор.

Макар посмотрел на Михеюшку и спросил:

— Тебе выйти никуда не надо?

Михеюшка не понял:

— Куда выйти?

— Пойдем проветримся, коней заодно посмотрим.

— Зачем ты его? — вмешался Егор.

— Мы с ним на вольном воздухе заночуем, — сказал Макар.

— Не валяй дурочку, — Егор покраснел. — Никуда вы не пойдете.

— Как хотите. Для вас же стараюсь, понимаешь.

Марье постелили на нарах, а Макар, Михеюшка и Егор устроились на полу.

В избушке стало светло — из-за леса выплыла луна. Ее было видно в окошко — большая, круглая и поразительно близкая, как будто она висела в какой-нибудь версте отсюда.

На полу лежал бледный квадрат света, и в нем беззвучно шевелились, качались, вздрагивали тени ветвей.

Блестела на столе кружка.

— Ночь-то! — тихонько воскликнул Макар. Ему не спалось.

Михеюшка пошевелился. Сказал сонным голосом:

— Перед рассветом птаха какая-то распевает каждый раз... до того красиво!

— Ты ведь давно уже тут живешь, Михеич? — не то спросил, не то просто так, чтобы поддержать разговор, сказал Макар.

— Третий год пошел с троицы, — ответил Михеюшка.

— Наверно, все тут передумал один-то?

Михеюшка ничего не сказал.

— Скучно, наверно, тебе?

— А чего скучно?.. Люди заходют. До вас вот Гринька Малюгин с Федей Байкаловым были...

— Гринька? — Макар приподнялся на локте. — Его ж поймали.

— Ушел он... Федя-то как раз за им приходил. Ну, тот говорит: «У меня золото есть... пудик, давай, мол, выроем — ты себе половину забираешь, а я уйду».

Макар долго молчал.

— Слышь, Егор?

— Слышу, — отозвался Егор.

— Пуд золота... — Макар лег и стал смотреть в потолок.

— Федор-то не соглашался сперва. «Оно, говорит, ворованное», — заговорил Михеюшка.

Макар перебил его:

— Ладно, давай спать, отец.

Михеюшка послушно смолк.

В окошко все лился серебристый, негреющий свет, и на полу шевелилось тонкое кружево теней.

Во сне громко вскрикнула Марья, потом шепотом сказала:

— Господи, господи...

Егор сел, послушал, дотянулся рукой до стола, взял кисет и стал закуривать.

— Дай мне тоже, — поднялся Макар.

Закурили.

— Федя — не дурак, — негромко сказал Макар.

— Я тоже так думаю, — согласился Егор.

Легли и замолчали.

Михеюшка почесал спину, зевнул и, засыпая, пробормотал:

— Охо-хох, дела наши грешные...

Утром, чуть свет, Макар уехал.

После ареста Игнатия Платоныч взял коня у Яши Горячего и поехал в район.

Вернулся с каким-то товарищем. Пришли в сельсовет.

В сельсовете было человек шесть мужиков. Говорили все сразу, загнав в угол Елизара Колокольникова: отказывались ремонтировать мост на Быстринской дороге.

Кузьма сидел на подоконнике, наблюдал эту сцену.

— Да вы ж поймите! Поймите вы, ради Христа: не я это выдумал. Это из району такой приказ вышел! — отбивался Елизар.

— А ты для чего здесь? Приказали ему!..

— Пускай быстринские ремонтируют, чего мы туда полезем?

— И быстринские тоже будут. Сообча будем...

— Пошел ты к такой-то матери! Сообча! Вы шибко прыткие стали: ломай им горб на мосту!..

В этот момент и вошли Платоныч и приезжий.

— Что тут делается? — спросил Платоныч, с тревогой посмотрел на Кузьму.

— Вот люди мост собираются чинить, — пояснил Елизар.

— Ну и что?

— Ничего. Сейчас поедут.

Мужики вышли с Елизаром на улицу и там долго еще галдели.

Платоныч прошел к столу, устало опустился на лавку.

Кузьма разглядывал приезжего.

Тот в сапогах, в галифе, в малиновой рубахе под серым пиджаком стоял у окна, сунув руки в карманы. Молчал, разглядывая Кузьму.

Вошел Елизар.

— Елизар, выйди на пять минут, — сказал Платоныч. — Мы по своим делам потолкуем.

Елизар, нисколько не обидевшись, вышел.

— Ну-ну, так... — сказал приезжий, вынул руки из карманов. — Рассказывайте: что тут у вас? — Подсел к столу, облокотился на него одной рукой, закинул ногу на ногу, приготовился слушать.

— А чего рассказывать? — спросил Кузьма.

— Кого ты здесь арестовал?

— Любавина Игнатия. Родного дядю этих... — Кузьма споткнулся, посмотрел на Платоныча, хотел понять: можно ли все говорить?

— Это из милиции, — сказал Платоныч.

— Игнатий Любавин, по-моему, знает про банду, — досказал Кузьма.

— Так. — Приезжий с минуту обдумывал положение или делал вид, что обдумывает. — Вот что... товарищ Родионов. Старика немедленно выпустить. Банда бандой, а подряд сажать всех никто не давал права. Ясно?

— Ясно, — ответил Кузьма. — Интересно только, как мы все же узнаем про банду?

— Узнаем, — успокоил приезжий. — Иди выпусти его.

Кузьма вышел в сени... Загремел замком.

— Выходи.

Игнатий лежал на лавке. На оклик поднялся, пошел на выход. Решил держаться до последнего.

— Шапку возьми.

Игнатий вернулся, взял шапку. Опять направился к двери, не понимая: хорошо это или плохо, что приказали взять шапку?

Кузьма загородил ему дорогу.

— Я отпускаю тебя... пока, — негромко сказал он, заглядывая в серые глубокие глаза Игнатия, — но могу прийти еще.

— Приходи, приходи. Медком накормлю... А хочешь — медовухой, —Игнатий слегка обалдел от радости и не понимал, что эти его слова легко могут сойти за издевательство. — У меня такая медовуха!.. Язык проглотишь!

— Иди.

Игнатий напялил шапку и вышел. Пошел к Емельяну. Он давненько не был там и сейчас, по пути, хотел попроведать братца и, кстати, порассказать, какие он принимает муки через его лоботрясов. А главное, зачем надо было видеть Емельяна Спиридоныча и для чего он ненароком собирался приехать в Баклань, было вот в чем.

Прослышал Игнатий, что можно опять открывать лавочки. В городе-то их полно, и больших и маленьких — всяких. Но в город возвращаться теперь уж ни к чему (семьи у него не было: жена померла в двенадцатом году, единственный сын, Николай, ушел с кол-

чаковцами в восемнадцатом и не вернулся), а вот в Баклани можно было сообразить лавку. На паях с братом. Построить он бы и один мог, но тогда всем кинулось бы в глаза: откуда такие деньги? Осторожности ради надо было уговорить дремучего брата войти в долю (хоть не на равных, для отвода глаз) и, благословясь, начинать дело. Жизнь вроде бы поворачивала на старый лад.

23

Через два дня после того, как увезли Марью, такой же темной ночью, до восхода луны, к Феде Байкалову пожаловали нежданные гости. Вошли без стука (Федя никогда не запирался на ночь). Чиркнули спичкой...

— Кто здесь? — спросил Федя, поднимаясь с кровати.

— Где лампа у вас? — спросил один и высоко поднял спичку.

— На окне. — Федя при свете лампы узнал Макара Любавина и всматривался теперь в его товарищей — желтолицего, в кожаном пальто с поднятым воротником и второго, с чугунной челюстью, широченного, в полушубке. Те стояли у порога. Федя повернулся было к Макару, чтобы спросить, что им нужно... И вдруг сообразил: ведь это как раз, наверно, те самые разбойники, которых ищут! И Макарку-то тоже ищут. Обеспокоенный такой догадкой, он повернулся к жене, как бы желая что-то спросить у нее.

Макар опередил его:

— Хавронья, иди посмотри корову — она что-то мычит. Нам надо поговорить с Федором... насчет одного дела.

Хавронье не хотелось подниматься, и она ни в жизнь не поднялась бы, если бы не подумала, что тут, кажется, выгорит выгодное дело: наверно, они принесли починить какую-нибудь секретную штуку и хорошо заплатят. Этот, в кожаном пальто, показался ей денежным человеком. Она оделась и вышла.

Федя окончательно понял: «Они самые, из банды».

Сидел на кровати, уперев руки в колени. Смотрел на Макара. В уме прикинул, что легко уложит всех троих. Надо только выждать момент. Он был доволен, что жена ушла. А то визгу не оберешься.

Макар стоял около стола... непонятно смотрел на человека в пальто.

Тот отвернул воротник, прошел вперед, оглядывая избу.

— Что-то я не вижу здесь персидских ковров, — сказал он. — Ну, спрашивай.

Макар подошел ближе к Феде. Федя, таким образом, был окружен со всех сторон: у окна, справа от него, стоял Закревский, у двери, слева, — Вася. Прямо перед ним, заложив пальцы под ремень рубашки, остановился Макар.

— Где у тебя золото? — спросил Макар.

Федя с удивлением посмотрел на него:

— Чего-о? Какое золото?

— Которое тебе Гринька дал. Полпуда.

Федя хмыкнул. Некоторое время соображал, как лучше ответить. Потом спросил:

— Ты дурак или умный?

— Говори добром: где золото? — Макар вынул из кармана наган.

Федя медленно стал подниматься. Краем глаза увидел, как человек, стоявший у двери, странно взмахнул рукой... А в следующее мгновение почувствовал на шее холодный, скользкий ремешок: Вася накинул петлю. Федя рванулся к Макару, но тонкая петля с такой силой резанула по горлу, что он открыл рот и судорожно стал выдирать пальцами врезавшийся в кожу сыромятный ремешок. Макар толчком в грудь посадил его на кровать. Вася ослабил петлю, но не настолько, чтобы ее можно было зацепить пальцами. Федя шумно вздохнул и ринулся на Васю. Макар ударил его рукояткой нагана по голове. Федя упал на кровать.

— Где золото, земледав? — зашипел Макар, близко склонившись над ним.

Федя глотал воздух и таращил глаза на Макара. Петля душила его.

Закревский тем временем открыл сундук и брезгливо, двумя пальцами, выбрасывал из него Хавроньины юбки.

Макар ударил Федю по лицу.

— Скажешь или нет? — Еще удар — тупой и смачный. — Скажешь?

Федина голова моталась от кулака. Из носа потекла кровь, заливая рубаху и кальсоны. Федя молчал.

Макар вытер об одеяло руку. Выпрямился.

— Ну?

— Ни черта здесь нету. Спрятал где-нибудь, — сказал Закревский.

— Вася, ну-ка вложь ему! — кивнул Макар на Фе-

дю. Но не выдержал и сам опять склонился над ним и стал молча бить по лицу. Вид крови разъярял его. Бил немилосердно. По зубам, по носу, по глазам...

— Скажешь, гадина, или нет? — сквозь стиснутые зубы, скривив рот, спросил он. — Сейчас казнить буду!

Федя уже почти терял сознание.

Макар вытер руку, отошел от кровати.

— Нету?

— Ничего.

Макар достал из-за чувала клюку, начал выгребать из-под печки всякий хлам — старые пимы, обрывки кожи, ножницы для стрижки овец, поломанные замки...

Закревский бросил искать, подошел к кровати, зажег спичку и поднес ее к рыжеватой Фединой бороде. Она вспыхнула. Огонь на мгновение охватил лицо. Федя зажмурил глаза, заметался, глухо заревел, стал царапать лицо пальцами... Закревский подушкой погасил огонь. Понесло паленым.

— Где золото?

— Нету... — Федя качнул головой. Из глаз его катились слезы.

— Как так нету? — подошел Макар. — Как нету? Тебе же Гринька дал полпуда, за это ты его отпустил.

Федя опять слабо качнул головой, с трудом сказал:

— Обманул он меня... убежал он...

Закревский выразительно посмотрел на Макара. Макар склонился к Феде.

— Врешь. Ты это сейчас придумал. — И снова стал бить, придавив к кровати Федину руку коленом.

Между ударами Федя негромко просил:

— Макар, хватит... Макар...

Макар бросил его. Выпрямился.

— Наверно, правда, нету. Пошли.

Вася снял с Феди петлю, некоторое время любовался работой Макара и Закревского.

— Уделали вы его! А вышло — ни за что.

— Ничего. Это ему за уполномоченных этих пойдет. Он тут якшаться начал с ними.

Они ушли.

24

Свадьбу решили закатить великую.

С обеда начали съезжаться разбойнички. Всего набралось человек пятнадцать.

День был солнечный, теплый. Распрягали коней и

валились на разостланные потники, кошмы — лежали, грели на солнышке грешные тела свои. Мужики были все как на подбор — здоровые, гладкие, очень довольные легкой жизнью. Пожилых не было.

Оглашали тайгу беззаботным здоровым гоготом. Тайга настороженно и терпеливо молчала.

Тут же, на поляне, под огромной треногой горел костер — варился баран. Специально ездили за котлом.

Марья вымыла в избушке, выскребла стол, нары, промыла оконце, перетряхнула всю рухлядь, устелила пол сосновыми ветками... Михеюшка не узнавал своего жилья.

Егор в свежестираной рубахе, несколько пришибленный всей этой веселой кутерьмой и огромным своим счастьем, слонялся из избушки на поляну и обратно — не знал, куда себя деть. С удовольствием рубил дрова, таскал Марье воду.

Марье дел было по горло. Заканчивала уборку в избушке, следила за варевом и еще урывала минутку-другую — поглядеть на себя в ведро с водой, переплести косу.

Макар с Васей и с ними еще человека четыре куда-то уехали верхами. Сказали, скоро будут.

Закревский в безукоризненно белой рубашке (кто только стирал их ему и гладил!) и в синем, очень нарядном пиджаке расхаживал по поляне, посвистывал. Подолгу и внимательно смотрел на Марью, когда она проходила мимо или хлопотала у костра.

Марья заметила, сказала Егору. При этом не скрыла, как она думает о Закревском:

— Весь желтенький... как чирей.

Егор хмыкнул, промолчал.

Закревский раза два пытался заговорить с Марьей, но ей все некогда было.

Приехал Макар со своим отрядом. Привезли четырехведерный логушок самогона и гармонь.

— Ну как? — огласил поляну своим сильным, чистым голосом Макар. — Идут дела?! — Спрыгнул с коня, расседлал, хлопнул его по крупу, отгоняя в кусты, на зеленую травку.

Когда солнце поклонилось к закату и на поляну легли длинные косые тени, сели за стол. Уместились кое-как, несмотря на то, что стол удлинили досками с нар.

Во главе стола, под божьей матерью, сидели Егор и Марья. По правую руку от них, рядом с Егором, — Закревский, по левую, с Марьей рядом, — Макар.

Михеюшку тоже посадили за стол. Днем Марья постирала ему рубаху и обстригла тупыми ножницами волосы на голове — лесенкой.

Михеюшка тихо сиял и все хотел рассказать соседу про свою свадьбу... И вообще — как раньше игрались свадьбы.

Разговаривали все сразу. Делили посуду. Не хватало стаканов, вилок. Кто вынимал из-за голенища нож, кто прямо руками выворачивал из барана ногу и волок к себе.

Закревский застучал вилкой по стакану. Постепенно затихли. Повернулись к Закревскому.

— Други мои! — начал тот, с трудом поднявшись, так как был стиснут с обеих сторон. — Мы сегодня собрались, чтобы... — Он посмотрел на Марью. Та покраснела и опустила глаза. — Чтобы отпраздновать как следует — по-русски! — бракосочетание этих молодых людей.

Закревский опять посмотрел на Марью и при общем молчании пригубил из стакана. Обвел взглядом настороженные, лукавые лица и сказал:

— А самогон-то горький.

Как будто потолок обвалился — все разом гаркнули:

— Горька-а!!

Егор первый поднялся и, не глядя ни на кого, ждал, когда встанет Марья. На крепких плитках его скул заиграл румянец.

Марья тоже поднялась... Шум стих.

Егор неловко обнял невесту, ткнулся ей куда-то в щеку и сразу сел.

Опять заорали... Кто-то стал доказывать, что это надувательство — так не целуются! Кто-то изъявил желание показать, как надо. Егор посмотрел на Марью. Она держала стакан в руке, не решалась пригубить. Егор кивнул ей. Она вдруг молча заплакала.

— Ты чего? — спросил Егор.

— Тятю жалко. — Марья смахнула ладошкой слезы. — Ничего, Егор, пройдет...

Макар завладел логуном — он стоял у него между ног, под столом, — черпал оттуда ковшом и разливал

направо и налево в стаканы, в кружки, в туески и в крынки, везде по полной. Сам, через двух, прикладывался к ковшу, крутил головой, доставал левой рукой куски мяса — заедал, а правой не переставал черпать самогон.

Опять заревели:

— Горька!

Егор уже смелее обнял Марью, крепко поцеловал. Потом она поцеловала его — сама.

Кто-то поднял было:

Эх, я, как ворон, по свету скитался-а!..

Но этот единственный голос смяли, не дали вырасти в песню — рано еще.

Закревский пил много. Глаза его неприятно нагло заблестели. Он все пытался поймать взгляд Марьи.

Макар наклонился под стол, поднатужился и с грохотом выставил логун на стол, посередине.

— Надоело мне вам подавать, зверье! Нате теперь...

Сам первый запустил в логун ковшик, повернулся к Егору.

— Давай, братка... хочу с тобой выпить. И с тобой, Марья. Дай вам бог жизни хорошей, как говорят... А еще... — он качнулся, — еще детей поболе, сынов. Штоб не переводились Любавины на земле. — Он запрокинул ковш, осушил его и заревел: — О-о-о!.. — Потом, закусывая, вдруг вспомнил: — Знаешь, кого мы позвать забыли?

— Кого? — спросил Егор.

— Дядю Игната. Хоть бы один от родни был.

— Дядя Игнат в каталажке сидит, — усмехнулся Егор.

Макар остолбенел:

— Как так?

— Так. За нас с тобой. Допытываются, куда мы ушли.

— Да што ты говоришь?!

— Что слышишь. Я вчера парня знакомого встретил, он за лесом приезжал, рассказывал. Били, говорят. Там этот молодой отличается шибко... — Егор посмотрел на Марью, усмехнулся, — жених вот ее.

Макар сел и мрачно задумался.

Никто не заметил, как они с Васей через некоторое время вышли из избушки.

Платоныч и Кузьма сидели в сельсовете. Они почти не разговаривали после приезда работника милиции...

Платоныч по-прежнему занимался списками. Из уезда потребовали точную опись имущества крестьянских хозяйств. Кузьме дано было поручение: обойти все дворы в деревне, переписать со слов хозяев наличие крупного скота, лошадей. А Платоныч сверял эти показания с другими, которые он добывал у крестьян победнее, и не без удовольствия поправлял богачей.

Елизару этого дела уездное начальство не доверяло.

Была уже глубокая ночь, но Платоныч все сидел и скрипел пером. Кузьме неудобно было уходить одному; он рассматривал проект школы, который выслали из губернии по просьбе Платоныча. Школа планировалась на сто двадцать человек.

— Сколько дворов обошел? — спросил Платоныч, утомленно откинувшись на спинку стула и глядя на Кузьму поверх очков (он хотел помириться с племянником, но хотел также, чтобы тот понял, что в этой истории с арестом не прав Кузьма).

Кузьма развернул тетрадный листок.

— Двадцать семь.

Платоныч устало прикрыл глаза, с минуту сидел, наслаждаясь покоем. Потом захлопнул тетрадку и встал.

— Пошли. Ты делай так: почувствуешь, что мужик может рассказать про соседа, — зови сюда. Только вежливо, не пугай.

Оделись... Кузьма погасил лампу.

Вышли в темные сени. Платоныч шел первым.

Едва он открыл сеничную дверь, с улицы, из тьмы, полыхнул сухой, гулкий выстрел. Платонычу показалось, что его хлестнули по глазам красной рубахой... Мир бесшумно качнулся перед ним. Он схватился за косяк и стал медленно садиться.

Кузьма несколько раз наугад выстрелил. В ответ из ближайших дворов громче залаяли собаки. Кузьма кинулся в улицу... Пробежал несколько шагов, прислушался. Никого. Тьма. Только гремят цепями кобели да где-то тоскливо мычит корова, — наверно, телится.

Кузьма бегом вернулся к крыльцу.

Платоныч умирал, зажав руками лицо, обезображенное выстрелом.

Кузьма приподнял его:

— Дядя Вася!..

Платоныч вздохнул раз-другой и сразу как-то отяжелел в руках... Голова запрокинулась.

Кузьма бережно положил его на пол, сдавил ладонями виски и сел рядом.

Тесная Михеюшкина избушка ходуном ходит.

Дым коромыслом... Рев. Грохот.

Несколько человек, обнявшись, топчутся на кругу, сотрясая слабенький пол. Поют хором:

Ух-ух-ух-ух!
Меня сватает пастух!..

Жарко. С плясунов — пот градом. Но тут важно пластаться до конца — пока не поведет с ног.

Михеюшка в углу рассказывает сам себе:

— ...Ну, тут я, конечно, сробел. Думаю: видно, нечистая сила играется. Да. Снял шапку, перекрестился. «Господи, говорю, господи, спаси, сохрани меня, раба грешного!» Только я так скажи, а сзади меня кэ-эк захохочут... ну, я и...

Кто-то захлестнул вожжами чувал камелька.

— Дава-ай, эй! (Обычай такой: на свадьбе разваливают хозяевам чувал.)

Ухватились за вожжи, потянули.

— Р-ра-аз!

Чувал выпучился и сыпанул градом кирпичей на пол. Пыль заполонила избу. Взрыв хохота.

Но все это покрыл вдруг могучий рев:

— Кто-о?! Кто натворил?! — Кому-то не понравилось, что разорили у Михеюшки печку. — Заче-ем?!

На кругу, по кирпичам, все топчутся плясуны.

Приходи ко мне, кум,
Эх, я буду в завозне-е!

Закревский весь вечер кружил около Марьи, все заглядывал ей в глаза, улыбался. Она тоже улыбалась — потому что приятно кружилась голова, потому что рядом красивый, сильный муж и кругом веселые и вовсе не страшные люди...

Воспользовавшись тем, что Егор вышел с мужиками

из избушки, Закревский подскочил к Марье, жарко дохнул сзади в шею:

— Там с Егором... плохо, пойдем.

— Где? — вскинулась Марья.

— Пойдем.

...В лесу, неподалеку, слышались голоса мужиков. Марья кинулась было туда, но Закревский схватил ее за руку и потащил в сторону.

— Вот сюда, сюда вот... Здесь...

В другое время Марья услышала бы, что голос Закревского подсекается, дрожит, почувствовала бы, как маленькая трепетная рука его вспотела и сделалась горячей. Но сейчас она думала о Егоре и забыла даже спросить, что с ним.

У первых сосен Закревский остановился... Обнял Марью. Она забилась, как перепелка в силке, — пыталась вырваться. Тонкие цепкие руки держали крепко.

— Зачем ты? Ты что это?.. — Марья напрягала все силы, колотила Закревского, царапалась.

Закревский жадно хватал ртом мягкие девичьи губы. Бессвязно мычал.

— Егор! Ег...ор! Пусти, змей подколодный? Ег...

Закревский зажимал Марье рот, пытался повалить.

Увлеченные борьбой, не заметили, как в пяти шагах от них подхватился с земли (на корточках сидел) мужик и, поддерживая штаны, побежал в избушку.

...В шуме и гомоне свальной попойки прорезался веселый, радостный голос:

— А иде женихало-то наш?! Там его бабу... Х-хэк!.. Чуток не наступил на их.

Егора (он был в избушке уже) обдало как из лохани помоями. Он выскочил на крыльцо... И увидел под ближними соснами белую рубаху Закревского.

...Закревский успел немного отбежать, но споткнулся и упал. Егор навалился на него. Под руку сразу, как нарочно, попало горло Закревского, зобастое, липкое от пота. Егор даванул. Горло податливо хрустнуло в кулаке, как яйцо. Закревский захрипел. Егор поднял его и трахнул об землю. Еще раз поднял и еще раз с силой обрушил... Закревский икнул, вытянулся и перестал шевелиться.

Марья стояла у сосны ни живая ни мертвая — ждала. Слышала возню и страшных два — тупых, тяжких — удара тела о землю. Подошел Егор. Дышал тяжело.

Марья инстинктивно оградила рукой голову.

— Егор, я невинная... Егор, — заговорила торопливо, — он сказал, что тебе плохо...

— Было или нет? — странно спокойно спросил Егор.

— Да нет, нет... Нет, Егор. — Марья заплакала, стала вытирать рукавами глаза. Кофта, разодранная спереди, распахнулась (до этого она придерживала ее рукой). Матово забелели полные молодые груди.

Егора охватил приступ бешенства, какого он в жизни не испытывал. Он сел, почти упал, обхватил руками колени:

— Уходи... Скорей! Уйди от греха!

Марья торопливо пошла к избушке.

Егор вскочил, догнал ее, схватил сзади за косу.

— А зачем вышла? Сука... — Едва сдерживаясь, чтоб не ударить по голове, толканул в плечо.

Марья упала.

— Зачем вышла?!

— Да обманул он... Сказал, что плохо тебе...

— Чего мне плохо?! Чего плохо?!

— Не знаю. — Марья опять заплакала. — Не было ничего. Егор. Невинная я...

— Уйди. Иди куда-нибудь!.. Скорей!

Марья поднялась и, придерживая кофту, опять пошла к избушке.

А Егор широко зашагал в лес. По дороге. Ни о чем не думал. Немного тошнило.

Долго шел так, совсем трезвый.

Впереди послышался конский топот пары лошадей. А через некоторое время — стало видно — смутно замаячили два всадника. Егор сошел с дороги, остановился.

Ехали Макар с Васей. Макар — впереди. Негромко пел:

> Бывали дни веселые,
> Гулял я, молодец.
> Не знал тоски-кручинушки...

Егор окликнул его. Макар придержал коня.

— Эт ты, Егор? Ты што?

Егор подошел к нему.

— Ехай, я рядом пойду.

Двинулись неторопким шагом.

— За Игната я расквитался, — сказал Макар. — Я их теперь уничтожать буду всех подряд.

— Я дружка твоего... тоже уничтожил, — негромко, без всякого выражения сказал Егор.

— Какого дружка? Кирьку?

— Кирьку.

— Как?.. Не понимаю...

— Убил.

Макар натянул поводья.

— За што?

Сзади наехал Вася, Егор не сказал при нем.

— Трогай. Сейчас расскажу.

До самой поляны молчали.

Еще издали слышно было, как гудит и содрогается избушка.

— Гуляют наши! — с восхищением сказал Вася. — Умеют, гады!

Расседлали коней.

Вася потер ладони, тоненько засмеялся и вприпрыжку побежал в избушку — наверстывать упущенное.

Егор повел брата в лес. Остановились над Закревским. Макар зажег спичку, склонился к мертвому лицу. Долго смотрел, пока не погасла спичка. Потом поднялся и сказал печально:

— Отпрыгался... Кирилл Закревский. Жалко все-таки.

Егор закурил, отошел в сторонку.

Макар подошел к нему.

— За што ты его?

Егор кашлянул, как будто в горло попала табачинка... Ответил не сразу, неохотно:

— С Манькой поймал...

Макар взялся за голову и наигранно, больше дурачась, но все-таки изумленно воскликнул:

— Мамочка родимая!.. Вот змей, а! Прямо на свадьбе?.. Так успел или нет? Манька-то чо говорит?

— Говорит — нет. — Егор сплюнул.

— А иде она?

— Там, — Егор кивнул на избушку.

— Ну... живая хоть?

— Живая. Не знаю, что с ней делать.

— Та-ак, — протянул Макар. Присел под сосну, поцокал языком. — Надо подумать... Убил ты его, конечно, правильно. Я бы сам его когда-нибудь кончил. Боюсь только, как бы эти шакалы не устроили нам с тобой... Видал кто-нибудь, как ты его?

— Ну, кто... Марья видела.

— Вызови ее.

— Пошла она!..

— Тогда я сам... Подожди здесь.

Макар ушел в избушку и долго не выходил. Егор успел еще один раз покурить.

Вернулся Макар повеселевшим.

— Никто не знает. Марье сказал, чтоб молчала. На ней лица нету. На, выпей, чтобы полегчало малость. — Сунул Егору крынку с самогоном. Сам он уже успел хватить — чувствовалось. — Этого ухажера мы сейчас в реку спустим.

Взнуздали первых попавшихся лошадей. Долго устраивали Закревского на спину серому мерину. Мерин храпел, поднимался на дыбы, волочил повиснувшего на узде Егора — не хотел принимать покойника. Макар таскался следом за ним с Закревским в руках, матерился — не очень приятно было нянчить холодеющее тело.

Наконец Егор зацепил повод за лесипку. Макар вскинул Закревского на спину дрожавшего мерина, вскочил сам. Поехали.

Раскачали Закревского и кинули с высокого берега в Баклань.

— Прощай, Киря. Там тебе лучше будет, — сказал Макар, дождавшись, когда внизу громко всплеснула вода.

Утром рано Макар поднял своих людей.

Было тепло, сыро. По тайге низко стелился туман. Верхушки сосен весело загорались под лучами солнца.

Седлали коней, забегали в избушку опохмеляться. Кто-то хватился Закревского.

— Уехал вперед, — сказал Макар.

Он зашел тоже в избушку, дернул целый ковш самогона, простился с Егором (на Марью только мельком глянул) и выбежал. Повел банду в тайгу.

Остались Егор, Марья и Михеюшка.

Михеюшка изрядно хватил вчера... Пристроился в уголке на старом тряпье и крепко спал.

Марья лежала на нарах вниз лицом. Непонятно было, спит она или нет.

Егор сидел посреди разгромленной избушки на чурбаке. Перед ним стоял логун с остатками самогона. Он пил.

25

Начало лета. Непостижимая, тихая красота... Деревня стоит вся в зеленых звонах. Сладкий дурман молодой полыни кружит голову.

Под утро, в красную рань, кажется, что с неба на землю каплет чистая кровь зари. И вспыхивает в травах цветами. И тишина... Такая, что с ума сойти можно.

Каждую ночь почти Кузьма приходил к Платонычу на могилу и подолгу сидел. Думал. Хотел понять, что такое смерть. Но понять этого не мог. Нельзя разрыть землю, разбудить дядю Васю. Он не спит. Его нет. Начиналась бесплодная, отчаянная работа мысли. Как же так? Есть небо, звезды, есть где-то Марья, есть депо, товарищи — далеко только. А дяди Васи нету. Совсем. Нигде. Это непонятно...

Однажды на кладбище пришла Клавдя.

Кузьма услышал за спиной тихие шаги, не оглянулся: он почему-то знал, что это она.

Клавдя села рядом, поджала коленки.

Долго молчали.

— Совсем я один остался, — тихонько сказал Кузьма. Все эти дни ему очень хотелось кому-нибудь пожаловаться.

Клавдя погладила его по голове.

— Я с тобой.

Кузьма ткнулся в теплую, тонко пахнувшую пóтом, упругую грудь ее.

— Тяжело мне, Клавдя. Невыносимо.

— Я знаю. — Клавдя тесно прижала его голову.

— Ты хорошая, Клавдя.

— Конечно. И ты тоже хороший — добрый.

— Жалко дядю Васю...

— Говорят, Макарка Любавин убил. Видели их в ту ночь на конях.

— Я знаю. Федя поехал его искать.

— За что он его? Безвинный вроде старичок...

Кузьма ответил не сразу:

— Потому что он враг. Враг лютый.

Клавдя подняла его голову, заглянула в глаза.

— А если тебя тоже убьют когда-нибудь?

Кузьма не знал, что на это сказать. Он ни разу об этом не думал.

— С кем я тогда останусь? И ребеночек наш... как он будет? — Она готова была разреветься. На ресницах уже заблестели светлые капельки.

Кузьма обнял Клавдю. Успокаивая ее, успокоился немного сам.

— Пошли домой, — сказал он и почувствовал, как от этих слов стало теплее на душе. Это все-таки хорошо — иметь дом.

— Пойдем. — Клавдя высморкалась в кончик платка, поднялась.

Они пошли домой.

26

Сергей Федорыч после того, как увезли Марью, захворал и целую неделю лежал в лёжку. А когда немного поправился, пошел к Любавиным.

— Што же они делают, кобели такие?! — начал он, едва переступив порог любавинского дома. — Они што, хотят в гроб меня загнать?

Любавины-старшие были дома. Ефим тоже зашел к своим. Обедали.

— Садись с нами, поешь, — пригласил Емельян Спиридоныч. — Мать, подставь ему табуретку.

— До еды мне! — горько воскликнул Сергей Федорыч. Вытер глаза рукавом холщовой рубахи, устало присел на припечье. — Тут скоро ноги перестанешь таскать с такими делами.

Любавины доставали ложками из общей чашки, молчали. Емельян Спиридоныч нахмурился. Он последнее время заметно сдал: то с Кондратом история, то с младшими оболтусами. Да и за посевную порядком наломался.

Кондрат тоже смотрел в стол, задумчиво, с сытой ленцой жевал. На гостя не смотрел.

Только Ефим отложил ложку, икнул и, глядя на пришибленного горем Сергея Федорыча, сказал:

— Ты не убивайся шибко-то, Федорыч. Никуда они не денутся.

— Да... не убивайся... — Сергей Федорыч часто заморгал и опять вытер глаза. — Вам легко рассуждать... Налетели, коршунье... Гады такие!

Емельян Спиридоныч засопел громче. Однако промолчал.

Ефим вылез из-за стола, закурил.

— За Егоркой-то можно бы съездить, — неуверенно сказал он, глядя на отца.

Сергей Федорыч — точно только этой фразы и ждал — поднялся.

— Спиридоныч! Христом-богом прошу: поедем, привезем их! Срубим... Ну, хоть у меня сичас, правда, нечем помочь, — руками пособлю, — срубим избенку им, пускай живут, как все люди. Ведь это же стыд головушке! Как лиходеи какие.

— «Нечем сичас помочь!» — передразнил его Спиридоныч и фыркнул. — У тебя когда-нибудь было чем помочь?

Сергей Федорыч не был готов к такому жесткому отпору. От неожиданности даже руками развел.

— Ну что ж делать... раз мы такие...

Спиридоныч глянул на него, исхудавшего, с морщинистой шеей, с желтым клинышком бородки... Отвернулся. Неожиданно мягко сказал:

— Ладно, сичас подумаем. Может, привезем. Я только выпорю его там сперва. Кондрат, приготовь мне хороший бич.

— Так толку не будет, — сказал рассудительный Ефим. — Так он еще дальше зальется.

Все промолчали на это.

Емельян Спиридоныч вылез из-за стола, долго разглаживал бороду. Смотрел в окно.

— Поехали, — решительно сказал он.

Дорога, припыленная на взгорках и прохладноволглая в низинах, часто поворачивала то вправо, то влево. Коробок подпрыгивал на корневищах. Монголка мотала головой, звякали удила.

Старики сидели рядышком. Беседовали.

— Как работенка-то? Строгаешь все?

— Копаюсь помаленьку. Руки вот трястись зачали. — Сергей Федорыч показал сморщенные, темные руки, сам некоторое время разглядывал их. — Отстрогался, видно.

— Да-а, — протянул Спиридоныч, с трудом подлаживаясь под горестно-спокойный тон Сергея Федорыча, — помирать скоро. Хэх! Ну и жизнь, ядрена мать! Мыкаешься-мыкаешься с самого малолетства, гнешь хребтину, а для чего — непонятно.

— Для детей, — сказал Сергей Федорыч, подумав.

— Ну, это — знамо дело, — согласился Емельян Спиридоныч. Ему захотелось вдруг обстоятельно, с чувством поговорить о близкой смерти, и он не стал возражать. — Это правильно, что для детей. Только... Ты вот можешь мне объяснить: что бывает с человеком, когда он кончается? В писании сказано, что он сразу в рай там или в ад попадает, смотря сколько грехов. Его вроде как берут под руки ангела́ и ведут. Так? А в избе кто три дня лежит? И потом — он же в земле остается... Гниют они, конечно, но лежат-то они там! Кого же в рай-то ведут? Я тут не понимаю.

— Душу.

— Да эт я понимаю! Это я тебе сам могу сказать, что душу. А как это — душу?.. Как ее в смоле можно варить? Или говорят: «Будешь на том свете языком горячую сковородку лизать». А у души язык, што ли, есть?

— Должен быть. Вопче душа, наверно, похожа на человека.

— Непонятно.

— Ну, как же непонятно! Какой ты, такая у тебя душа.

Емельян Спиридоныч посмотрел сбоку на Сергея Федорыча. Сказал разочарованно:

— Ни хрена ты сам не знаешь, я погляжу.

Сергей Федорыч пожал плечами.

— Тебе, наверно, шибко в рай захотелось? Таких туда не берут, не собься.

Емельян Спиридоныч хотел что-то возразить, но Сергей Федорыч повернулся вдруг к нему, оживленно сверкнул глазом, — вспомнил:

— Ты говоришь: как это — душа! А вот у меня свояк был... помер, царство небесное, на родине нашей жил — в Расее, так вот ехал он в позапрошлом годе из города порожнем... — Сергей Федорыч устроился удобнее — история была необыкновенная, он любил рассказывать ее. — Летом дело-то было, зеленя́ только еще грача скрывали. И как раз в этом-то году и недород у их страшный случился, мор...

— У их там вечно недород, — недовольно заметил Емельян Спиридоныч. — А мы — отдувайся.

— Погорело все, чо ж ты хочешь! Да не один год, а два подряд — в двадцатом и в двадцать первом. «Отдувайся»!.. Убавилось у тебя, смотри. Люди семьями вымирали, а у него две брички хлеба лишнего взяли — дак сердце запеклось, забыть не может.

— Еслив бы только две брички...

— Тьфу! — Сергей Федорыч обозлился. — Вот пошто и ненавижу-то вас, прости меня, господи, — шибко уж жадные!

— Ладно, развякался...

— Лучше в яме сгноит, но чтоб никому не досталось! Чалдоны проклятые!

— Что ж ты приперся к чалдонам-то? Мы никого не звали к себе.

Сергей Федорыч ничего не сказал на это.

Некоторое время ехали молча — отходили.

— Ну, што свояк-то? — первым заговорил Емельян Спиридоныч. Ему хотелось дослушать историю.

Сергей Федорыч еще маленько помолчал из гордости, но и самому хотелось рассказать, и он продолжал:

— Ну, едет, стало быть. Попадается на дороге старичок. Так себе — старичок. Бородка беленькая, сам небольшой... с меня ростом. И шибко грустный. «Подвези, говорит, меня, мужичок, маленько». А свояк у меня хороший мужик был, уважительный. «Садись, дедушка». Сел старичок. Ну, едут себе. Старичок помалкивает. Свояк мой тоже вроде как дремлет — намаялся в городе. Да. И тут видит свояк: лежит на дороге куль. Соскочил с телеги, подошел к этому кулю, посмотрел: пшеница. Да крупная такая пшеница — зерно к зерну. Обрадовался, конечно. Хотел поднять, а не может. Он уж его и так и эдак, не может поднять — и все. Что ты будешь делать? Крикнул старичку, иди, мол, подсоби поднять, я не могу один. Старичок негромко так засмеялся и говорит: «Не поднять тебе его никогда, мужичок. Ведь это хлеб ваш... Видишь: будет он сперва большой, рясный, а потом сгорит все. И мор будет страшный». Сказал так и пропал. Нет ни старичка, ни куля. Свояк оробел. Подхлестнул лошаденку — и скорей в деревню. Рассказал знающим людям. Те услыхали и пригорюнились — не к добру это. Это же, говорят, Николай-угодничек был! Ходит, сердешная его душа, по земле... жалеет людей. А уж

к зиме и начался у них мор. Валил старого и малого. Вот и вышло, что не подняли они свой урожай тогда.

— К чему эт ты рассказываешь? — спросил хмурый Емельян Спиридоныч. История тронула его. Только не понравилось, что Сергей Федорыч рассказывает таким тоном, будто Николай-угодник тоже доводится ему свояком.

— К тому, что душа... тоже как человек бывает, — ответил Сергей Федорыч. — В образе.

Емельян Спиридоныч ничего не сказал. Чувствовал себя каким-то обездоленным и злился.

— А чего эт ты давеча про рай сказал? — спросил он. — Каких туда не пускают?

— Богатых.

— Почему?

— Потому что они... кcплотаторы. И должны за это гореть на вечном огне.

Емельян Спиридоныч пошевелился, сощурил презрительно глаза.

— А ты в рай пойдешь?

— Я — в рай. Мне больше некуда.

Спиридоныч потянул вожжи.

— Трр. Слазь.

— Чего ты?

— Слазь! Пройдись пешком. В раю будешь — наездишься вволю. Нечего с грешниками вместе сидеть. — Емельян Спиридоныч не шутил. Серые глаза его были холодны, как осенняя стылая вода. — Слазь, а то дальше не поеду.

Сергей Федорович вылез из коробка, пошел рядом. Ехали давно уже не по дороге — коробок то вилял между деревьями, то мягко катился за лошадью по неожиданно широким тропам.

— Но в огне тебе все равно гореть, — сказал Сергей Федорыч. — Буду проходить мимо — подкину в твой костер полена два.

— Я тебя, козла вонючего, самого в костер затяну.

— Затянешь!.. Там вот с такими баграми стоять будут — сторожить. Но ты не горюй шибко: может, тебя еще не будут жечь. Ты мужик здоровый — на тебе черти могут в сортир ездить. Это все же полегче. Зануздают тебя, на хребтину сядут и...

— Я тебя самого сичас зануздаю! — озлился Емельян Спиридоныч. — Пристегну к Монголке, и будешь бежать, голодранец! Да еще бича ввалю.

Сергей Федорыч поднял с дороги большой сук, обломал с него веточки, примерил в руках.

— Иди пристегни... Я те так пристегну, что ты вперед Монголки своей побежишь.

— Ой! — Емельян снисходительно поморщился. — Трепло поганое! Я ж тебя соплей зашибить могу.

— А ты спробуй. Иди.

— Руки об тебя не хочу марать.

— А я об тебя и марать не буду. Вот этим дрыном так отделаю...

— Хэх, козявка!.. Хоть бы уж молчал!

— Волосатик. Из тебя только щетину дергать. Боров!

Емельян Спиридоныч остановил лошадь.

— Ты будешь обзываться? Поверну сичас и уеду. Иди тогда один.

— А ты чего обзываешься? Ты думал, я тебе спущу? На, выкуси. — Сергей Федорыч показал фигу.

Емельян Спиридоныч подстегнул Монголку и скоро пропал за поворотом впереди.

— Ничего, тут уж немного осталось, — вслух сказал Сергей Федорыч и зашагал в том направлении, куда уехал Емельян Любавин. Он догадался, что Егор с Марьей живут у Михеюшки.

27

О том, что они, Клавдя и Кузьма, хотят пожениться, Клавдя объявила утром, когда завтракали:

— Тять, мам, я замуж выхожу.

Агафья вскинула глаза на Кузьму и опустила. А Николай, удивленный, спросил:

— За кого?

— Вот за него, за... Кузьму.

Николай еще больше удивился. Но и обрадовался. Ему нравился Кузьма. После смерти Платоныча он всячески хотел помочь парню, но не знал, как можно помочь. Только он никогда не думал, чтобы они — его дочь и Кузьма — сообразили такое дело.

— Я согласный, — сказал он.

Агафья не так представляла себе сватовство. Даже огорчилась.

— Так уж, сразу, и согласный! — накинулась она на мужа. — Отмахнулся! Одна-единственная доченька... —

Она вытерла воротом кофты повлажневшие глаза. — Зверь какой-то, а не отец.

Николай растерялся. Посмотрел на Кузьму. Тот сам готов был провалиться на месте.

— А ты... не хочешь, что ли? — спросил Николай жену.

— При чем тут «хочешь», «не хочешь»? Никто так не делает. Не успели заикнуться — он уж сразу согласный. Как вроде мы ее навяливаем кому.

— Да зачем вы так? — вмешался Кузьма. — Кхе! Мы спросили... Я не знаю: как еще нужно?

— Сынок, — Агафья ласково посмотрела на него, — это ведь дело не шуточное. Тут подумать надо. Легко сказать — замуж! Замуж — не напасть, замужем бы не пропасть. Так говорят у нас. Мы тебя не шибко и знаем-то. Ты вон и к Марье ходил свататься.

Николай сморщился, отбросил ложку.

— Эх, повело тебя! Чего ты говоришь-то? Ну, ходил. И правильно. А я до тебя к Нюрке Морчуговой ходил. Да не один раз!

— Да ты-то уж сиди! — махнула рукой Агафья. — Ты шалопут известный.

— Что «сиди»! Что «сиди»! Я кто ей — отец или нет? Завела: ходил свататься... Мало, значит, ходил. Если несогласная, говори сразу. Нечего тут хвостом вилять.

Кузьма ерзал на табуретке... Шрам на лбу горел огнем.

Клавдя улыбалась. Ей, кажется, все это даже нравилось.

— Мам, дак ты согласная? — спросила она, запрятав усмешку в глубь серых прозрачных глаз.

— Несогласная! Вот! — выпалила Агафья, вконец разгневанная тем, что сватовство безнадежно скомкалось и что ее, Агафью, никто всерьез не принимает.

— Ну, тогда што же... — печально заговорил Николай и подмигнул Кузьме, — тогда и говорить нечего. Давно бы так сказала. — Он вылез из-за стола, начал одеваться. — Пошли, Кузьма, нам по дороге.

Кузьма обрадовался возможности уйти из дома. Он тоже быстро оделся, и они вышли.

— Не горюй, Кузьма, — начал Николай, когда вышли за ворота, — все будет в порядке. Это она так, выламывается.

Кузьма молчал. Он понимал, что Николай, этот добродушный, очень неглупый мужик, тоже становится его

большим другом, как Федя. «Хорошие люди!» — невольно подумал он.

— Если глянется — все. Сыграем свадьбу. У меня возражениев никаких нету, — продолжал Николай.

— Глянется, — бездумно сказал Кузьма.

— А жить-то... тут будешь?

— Здесь. Куда я теперь?.. — Хотел досказать: «...без дяди Васи». Но смолчал.

— Ну и ладно! — Николай хлопнул Кузьму по плечу и свернул в переулок.

Кузьма пошел дальше, в сельсовет. Настроение у него было не жениховское, не радостное. «Буду работать — и все. Что еще надо в жизни?»

28

Рубили школу довольно дружно. Нежданно-негаданно сработала опись имуществ, которую организовал Платоныч: одни струсили, другие решили — на всякий случай, чтоб власти зачли, когда понадобится.

Руководил строительством Сергей Федорыч. Он оживился в последние дни. (Марью с Егором они привезли тогда с Емельяном Спиридонычем. Сейчас Марья жила у Любавиных — как полагается.) Он покрикивал на мужиков, балагурил... Дело вел толково.

Кузьма все дни пропадал там. Почернел под солнцем. Обтесывал топором кругляки, первый лез закатывать на ряд готовые бревна, первый подворачивался, когда надо было подхватить доску или стропилину. Курил со всеми вместе. Обедал тут же, сидя на горячем, смолистом бревне. Мужикам нравился. Говорили про него хорошо, даже с оттенком некоторого изумления: «Вот тебе и городской!»

Про банду за все это время было слышно мало: в какой-то далекой деревне увели лошадей, где-то изнасиловали учительницу...

Любавины на стройку не ходили. Рубили всем семейством избу Егору. Сергей Федорыч частенько убегал туда — помочь, а потом, после полудня, приходил и несколько смущенно спрашивал:

— Ну, что у вас тут?

Кузьме свои отлучки объяснял просто:

— А как же? Должен.

Кузьма понимающе кивал головой.

Школа потихоньку росла.

Заложили ее посреди деревни, на взгорке. С верхнего ряда уже теперь видно было далеко вокруг; ослепительно блестела река, жарко горела под солнцем крашеная жесть трех домов — Любавиных, Беспаловых и Холманских. По береговой улице тулились друг к другу пятистенки и простые избы, среди них изба Поповых. Любавинский дом стоял почти на выезде из Баклани (их огород клином упирался в тайгу, которая с южной стороны вплотную подступала к деревне); Кузьма невольно по нескольку раз на дню смотрел сверху в их ограду — надеялся издали увидеть Марью. Так лучше — издали. Встретиться с ней сейчас, заговорить было бы... трудно. Недавно рано утром, завидев, что она идет с бельем с речки, почувствовал, что сердце споткнулось, враз зачастило, и свернул в переулок. А взглянуть на нее издали тянуло порою неодолимо... К жене стал всетаки вроде привыкать. Сперва он стыдился, когда Клавдя вместе с другими бабами приходила с обедом, а потом стал даже поджидать ее. Ему нравилось, когда кто-нибудь из мужиков, окликнув его, показывал:

— Твоя бежит.

Он отходил в сторонку, вытирал исподней стороной рубахи потное лицо и, улыбаясь, смотрел, как идет Клавдя.

— Уморился? — спрашивала она.

— Маленько есть. Что там у тебя? — Кузьма тянулся к корзинке, зная, что там будет что-нибудь вкусное: пирожки какие-нибудь, блинцы масленые, холодное молоко, мягкие шаньги, соленые крепкие огурцы с капустой впритруску...

Кузьма аппетитно хрумкал огурцами, а Клавдя сидела рядышком и говорила деловито:

— Пораньше не придешь сёдня?

— Не могу.

— Ну уж, парень!

— А что?

— Покосить отцу помочь. Ему тяжело одному.

— Не могу. Рад бы...

Клавдя критически оглядывала сруб школы и говорила, подражая кому-то из пожилых баб:

— Господи батюшка... когда вы уж ее кончите.

— Кончим.

С любовью Клавдя не донимала. Кузьма поначалу боялся: начнутся какие-нибудь попреки, обиды: поздно

пришел, неласковый, мало разговариваешь... Ничего подобного! Как есть, так и есть.

С Николаем у Кузьмы наладились хорошие, неболтливые отношения.

Иногда вечерком, попозднее, они ездили за сеном (Николай, один из немногих хозяев, вывозил сено летом, и сметывал в прикладок на дворе, а зимой не знал горя). Ездили на двух парах, бричками. Навьючивая возы, Николай как-то очень ловко подхватывал вилами-тройчатками огромные пласты пахучего сена, чуть приседал и, крякнув, замахивал высоко на воз. Пласт ложился как влитой — не топорщился.

— От так, — говорил он с улыбкой, видя, что Кузьма наблюдает за ним.

Он помаленьку, с удовольствием приучал его к крестьянской работе.

— Может, сгодится, — рассуждал он.

Кузьма с не меньшим удовольствием постигал нехитрый, но требующий навыка и сноровки труд. Даже расколоть чурку — и то не просто.

— Вот гляди, — показывал Николай, — вот сук, — так ты старайся попасть, чтоб вдоль сука. Оп! — Короткий взмах колуном — и чурка в добрый обхват легко разваливалась пополам с таким звуком, будто открыли плотную крышку какой-то деревянной посудины. — Понял? Силой тут не надо. Силой пускай медведь работает.

Или принимались пилить дрова. Кузьма старался, налегая что есть силы на пилу.

— Э, друг! — смеялся Николай. — Так у нас ничего не выйдет. Так мы с тобой упаримся только. Запомни: когда, значит, ты ее к себе тянешь, тут нажимай вовсю, но, конечно, не так, чтобы после первого урока скопытиться. И пила будет идти ровно. Вот. А когда я тяну, ты отпускай совсем. Есть, правда, хитрые — тут-то как раз и жмут. Но это... нехорошо. Ты ж не такой.

Долго не мог Кузьма научиться запрягать лошадь в телегу. То седелку забудет надеть, то наденет седелку, но забудет перевернуть хомут клешнями вверх и тщетно пытается надеть его на голову лошади. А когда седелка и хомут надеты и шлея верно заправлена под хвост, надо вспомнить, с какой стороны закладывается дуга... А сколько поднимать на переметнике, он так и не понял до конца.

Иногда за ними наблюдала Клавдя и хохотала над старательным и неловким мужем.

— Чего ты смеешься? — сердился Николай. — Посмотрел бы он на нас с тобой на заводе ихнем...

Просто и хорошо было с Николаем. Только с Агафьей у Кузьмы как-то не ладилось. Она все присматривалась к нему, все что-то прикидывала в уме. Иногда, когда они оставались вдвоем, она ни с того ни с сего спрашивала вдруг:

— А вот возьмешь да уедешь от нас?

— Куда же я уеду? Незачем теперь ехать.

— Ну... пошлют куда-нибудь.

— Ну и что? Поедем с Клавдей вместе.

Лицо у Агафьи сразу делалось кислым.

— Вот и начнется тогда жизнь... Нет, уж ты просись, чтобы тут оставили. Чего зря мотаться-то? А то заедешь куда-нибудь да бросишь там...

Кузьма не знал, что па это отвечать. Молчал. Старался вообще не оставаться с тещей наедине. При Николае она не затевала таких разговоров.

29

Когда Федя вернулся домой (его не было недели три), он увидел: рядом с его ветхим жильем, жарко сияя на солнце свежестругаными сосновыми боками, стояла новенькая изба. Федя с удивлением разглядывал ее из своей ограды: «Кто-то работнул!»

В избе жили: на окнах висели белые занавески и стояли горшки с цветами. Перед окнами, на кольях, выжаривались под солнцем крынки. В ограде возились, играя, два голенастых щенка. Бродили куры.

Федя попробовал вспомнить, кто в деревне хотел строиться, но не мог. Повел Гнедка к колодцу. Напоил, искупал холодной колодезной водой. Дома насухо вытер его кошмой и насыпал в ясли отвеянного овса.

— Ешь теперь.

Постоял еще немного посреди ограды (Хавроньи дома не было, на двери висел огромный замок: вечно боялась за свои юбки) и пошел от нечего делать к новым соседям — узнать, кто они такие.

Вошел и остолбенел у порога: за столом сидели Егор и Марья. Обедали.

— Здорово, сосед, — сказал Егор, насмешливо разглядывая гостя.

— Здорово, — ответил Федя и сел на новую, беленькую табуретку около печки, запыленный, в грязных сапогах, весь пропахший травами и конским потом.

Не знали, о чем говорить.

Марья под каким-то предлогом вышла из избы.

— Отстроился? — спросил Федя.

— Отстроился, — ответил Егор.

Опять долго молчали.

— Ну, бывай здоров! — Федя поднялся уходить.

— Погоди, — остановил Егор. — Ты вроде как зуб на меня имеешь?

Федя посмотрел на Егора.

— Нет. Ты-то при чем?

— Я за брата не ответчик...

Федя нетерпеливо шевельнул рукой: он не хотел об этом говорить.

— Посиди, что ж ты сразу уходишь? Нам теперь по-соседски жить. — Егор поднялся, вышел на крыльцо.

Марья сыпала курам просо.

— Слышь, — позвал ее Егор.

— Ты что, имени, что ли, не знаешь? — обиделась Марья.

— Там у нас есть под полом?

Марья прошла в избу.

Слазала под пол, налила туесок пива, поставила на стол. Потом так же молча нарезала огурцов, ветчины, хлеба, разложила все на тарелки.

Федя, серьезный и неподвижный, сосредоточенно курил. Смотрел в пол. С его сапог на чистый половичок стекали черные капельки воды (обрызгался у колодца).

Егор налил три стакана.

— Ну, давай, сосед, — за хорошее житье.

— Давай, — охотно согласился Федя.

Дошагнув до стола, взял стакан, осторожно чокнулся с Егором. С Марьей забыл. Он как будто не замечал ее. А когда она сама осторожно звякнула своим стаканом о его, он почему-то покраснел и быстро, ни на кого не глядя, выпил. Налили еще по одному.

— Давай, сосед.

— Ага.

Марья пить больше не стала. Сидела, облокотившись на стол, разрумянившаяся, красивая.

Федя упорно не смотрел в ее сторону. Пил и хмуро разглядывал туесок. Не закусывал.

Егор после каждого стакана вытирал ладонью губы и громко хрустел огурцом.

Выпили уже стакана по четыре. Пиво было крепкое, Игнатов подарок.

У Феди заблестели глаза, лицо помаленьку прояснилось.

— Макара искал? — спросил Егор.

— Ага. — Федя отодвинулся от стола. Закурил. — Пойдем прихватим бутылочку? — предложил он, глядя на Егора задумчивыми глазами.

— Хватит вам, — сказала Марья. — И так выпили... Чего еще?

— Ну, я пошел тогда.

— Будь здоров. Забегай когда...

— Ладно.

Федя ушел.

Марья некоторое время смотрела на дверь, потом призналась:

— Чудной какой-то. Большой такой, сильный, а его почему-то жалко. Как ребенок...

Егор поднял на нее помутневшие глаза, долго, непонятно смотрел. Потом сказал:

— Тебе всех жалко... — и отвернулся.

Вечером, когда пригнали коров, Марья вошла в избу с подойником, сообщила:

— Напился Федор-то... Поют с Яшей песни. Хавронью выгнали из избы. — Помолчала и добавила задумчиво: — Что-то у него есть па душе — грустный давеча сидел. Хороший он человек.

Егор молчал. Он тоже пил один и сейчас вспомнил некстати поляну у Михеевой избушки, Закревского.

Марья процедила молоко, вытерла со стола.

— Ужинать собирать?

Егор встал — он сидел на кровати, — пошел к порогу разуваться.

Марья проводила его глазами.

— Что ты, Егор? — Подошла, хотела сесть рядом.

Егор стащил сапог и босой ногой, не говоря ни слова, толканул ее в живот. Она отлетела к столу и упала на лавку. Схватилась руками за живот, заплакала.

— За что же ты меня так?.. Всю жизнь теперь будешь?.. Господи...

Второй сапог снимался трудно. Егор перегнулся, лицо налилось кровью, верхняя губа хищно приподнялась — открылись крупные белые зубы.

В избе было сумрачно и тепло. Настоявшийся запах смолья от новых стен отдавал вином.

Марья, всхлипывая, разобрала постель, сняла с кровати подушку, одеяло, раскинула себе на полу.

Егор незаметно следил за ней.

Марья разделась, легла, отвернулась к стене и затихла.

Егор не спеша, мягко ступая потными, до горяча натруженными ступнями по прохладному гладкому полу, подошел к жене. Постоял.

— Устроилась?

Марья не ответила.

Егор нагнулся, осторожно, чтобы не захватить тело, забрал в кулак ее рубашку и коротким сильным рывком поднял жену. Марья с испугом смотрела на мужа. Егор тоже смотрел на нее — в упор, внимательно. Потом тихонько, невесело засмеялся.

— Што? — И вдруг привлек к себе, крепко сдавил в руках, теплую, обиженную.

Марья обхватила голыми руками крепкую шею мужа и заплакала всхлипами, горько.

— Дурной ты такой... Что ж ты мучаешь меня? Убил бы уж тогда сразу... Понял ведь, что ничего не было. Забыть не можешь...

— Ну, ну, ладно... — Егор скупо ласкал жену и о чем-то думал.

— По животу меня больше не трогай.

Егор отстранил ее, поймал посчастливевшие смущенные глаза Марьи, заглянул в них, отвернулся, глуховато сказал:

— Давай спать.

30

Наступил покос.

Школу бросили строить. Объединялись семействами и выезжали далеко в горы: травы там обильные, сочные, не тронутые скотом. Выезжали все. В деревне оставались старики и калеки.

Кузьма поехал вместе с Федей, Яшей Горячим и другими. Николай на покос не ездил — он в это время уезжал в город и нанимался к подрядчику готовить лес на сплав. На этот раз поехали Агафья и Клавдя — у них свой, бабий счет: за то, что они работали на покосе, бабы и девки из других семейств должны были зи-

мой напрясть им пряжи или выткать столько-то аршин холста.

Покос — самая трудная и веселая пора летом. Жара. Солнце как станет в полдень, так не слезает оттуда, — до того шпарит, что кажется, земля должна сморщиться от такого огня. Ни ветерка, ни облачка... В раскаленном воздухе звенит гнус. День-деньской не умолкает сухая стрекотня кузнечиков. Пахнет травами, смолой и земляникой. Разморенные жарой, люди двигаются медленно, вяло. Лошади беспрерывно мотают головами...

Зато, когда жара схлынет и на западе заиграет чистыми красками заря, — на земле благодать. Где-нибудь далеко-далеко зазвучит, поплывет над логами и ко́лками печальная девичья песня, простая и волнующая. Поют про милого, который далеко... И — как тоскливо и холодно жить, когда неразумные мать с отцом выдадут за богатого дурака, некрасивого и грубого...

С лугов густо бьет медом покосных трав. Взгрустнули стога. В низинах сгущаются туманные сумерки, и по всей земле разливается задумчивая, хорошая тишина.

Выехали к вечеру, чтобы устроиться с жильем, переночевать, а с утра пораньше начать косить.

Ехали на четырех бричках. На трех разместились люди, четвертая была загружена граблями, косами, вилами и разным скарбом, который необходим людям вдали от дома: старая одежонка, посуда, ружья...

Кузьма сидел в одной бричке с Федей, Клавдя — в другой.

Бричка с бабами шла первой. Правил ею белоголовый парнишка Васька Маняткин, курносый и отчаянный. Свесился Васька набок, держит левой рукой ременные струны вожжей. А с правой тяжелой змеей упал в пыль дороги четырехколенный смоленый бичина... Орел!

Пара каурых рвут постромки. Бричка подскакивает на ухабах. А с нее вверх, в синее небо, летит песня. Что-то светлое, хрупкое — выше, выше, выше... Аж страшно становится.

Сронила колечко-о
Со правой руки-и-и;
Забилось сердечко
По милом дружке-е-е...

Высоко! — коснулась неба и — раз! Упало нечто драгоценное на землю, в травы. Разбилось.

Охх!..
Сказали — мил помер,
Во гробе лежи-ит,
В глубокой могиле
Землею зары-ыт.

Плачут голоса. Без слез. Горько.

Надену я платье,
К милóму пойду,
А месяц покаже-ет
Дорожку к нему...

Сплелись голоса в одну непонятную силу, и опять что-то живучее растет, крепнет. Летит вверх удивительная русская песня.

Пускай люди судят,
Пускай говорят,
Что я, молодая,
Из дома ушла...

И вот широко и вольно, наперекор всему — с открытой душой:

Пускай этот до-омик
Пылает огне-ом,
А я, молодая,
Страдаю по не-ом...

Дослушал песню Кузьма, и защемило у него сердце: захотелось, чтобы дядя Вася был живой. Чтобы и он послушал дивную песню. И... взглянуть бы ему в глаза... Хоть раз, один-единственный раз. Понял бы дядя Вася, что в общем-то трудно Кузьме живется, слишком необъятный у него путь на земле и слишком нравятся ему люди. Порой трудно глаза поднять на человека, потому что человек до боли хороший. Много, очень много надо сделать для этих людей, а он пока ничего не сделал. И не знает, как сделать. Иногда ему даже казалось, что с подлыми жить легче. Их ненавидеть можно — это проще. А с хорошими — трудно, стыдно как-то. Дядя Вася... он понял бы. Он много понимал. Со школой — это он правильно задумал. За это можно смотреть в глаза хорошим людям. А паразиты убили его... змеи подколодные.

— Что задумался? — спросил Федя.

— Так... Поют хорошо.

— Поют — да. Послушаешь, что они там будут делать!

— Мы долго там будем?

— Недели две. — Федя помолчал, улыбнулся и сказал, как большую тайну: — Я для того корову держу, чтобы летом на покос ездить. Шибко покос люблю. Молока-то я бы мог так сколько хошь заработать... На покосе люди другими делаются — умнее. А еще за то люблю, что там все вместе. Так — живут каждый в своей скворешне, только пересудами занимаются, черти. А здесь — все на виду. И робят сообща...

— Интересно говоришь, — отозвался Кузьма одобрительно, — мысли у тебя... хорошие. Вон кое-где мужики-то в коммуны организовались... Слыхал?

— Слыхать слыхал, — задумчиво проговорил Федор. — Поглядеть бы, что и как. Да поблизости от нашей Баклани-то нет их — как поглядишь?

Помолчали.

— Ты далеко был, Федор? — спросил Кузьма.

— Когда?

— Ну, когда Макара искал.

— А... далеко. — Федя сразу помрачнел. — В горы они подались. Макарка теперь атаманит. Там их трудно достать.

— А много их?

— С полста. Их в одном месте защучили было — отстрелялись. После этого и ушли. Теперь лето, каждый кустик ночевать пустит.

Солнце клонилось к закату. От холмов легли большие тени. Там и здесь с косогоров сбегали веселые березовые рощицы. Когда на них ложилась тень, они делались вдруг какими-то сиротливыми. Снизу, из долин, к голым их ногам поднимался туман, и было такое ощущение, что березкам холодно.

Бабы молчали. Мужики задумчиво смотрели на родные места. Курили. Далеко оглашая вечерний стоялый воздух, глуховато стучали колеса бричек и вальки.

Приехали поздно ночью. Разложили большой костер и при свете его стали сооружать балаганы. Это веселая работа. Парни рубили молодые нежные березки, сгибали их, связывали прутьями концы — получался скелет балагана. Потом на этот скелет накладывали сверху веток и травы. Внутри тоже выстилали травой.

Кузьма попробовал залезть в один. Там было совсем

темно и стоял густой дух свежескошенной травы. Кузьма лег, закрыл глаза.

А вокруг — невообразимый галдеж — разбирали одежду, захватывали лучшие места в балаганах, смеялись. Время от времени взвизгивала какая-нибудь девка, и кто-то из взрослых не очень строго прикрикивал:

— Эй, кто балует?

Костер стал гаснуть, а люди еще не разобрались. Кто-то из парней «нечаянно» попал в девичий балаган. Там поднялся веселый рев, и опять кто-то из взрослых прикрикнул:

— Эй, что вы там?!

— Петька Ивлев забрался к нам и не хочет вылазить, черт косой!

— Я это место давно занял, — отозвался Петька.

— Я вот пойду огрею оглоблей, — спокойно сказал все тот же бас. — Нашел, дьяволина, где место занимать!

— Губа не дура, — поддержали со стороны.

Кто-то потерял друга и беспрерывно звал:

— Ваньк! Ванька-а! Где ты? Я тебе место держу!

Костер погас, а шум не утихал. Пожилые мужики и бабы всерьез начали ворчать:

— Хватит вам, окаянные! Завтра подниматься чуть свет, а они содом устроили, черти полосатые!

— Молодежь — под лоханкой не найдешь.

— Пусть хоть один проспит завтра! Самолично дегтем изгваздаю.

— Спать! — сурово сказал бас, и стало немного тише.

Кузьме нравилась эта кутерьма. Он понимал теперь, почему Федя любит покос. Это смахивало на праздник, только без водки и драк. Он лежал, прижавшись к чьему-то теплому боку, и беззвучно хохотал, слушал озорных ребят и девок. «Где-то Клавдя там моя», — с удовольствием думал он.

Он попал в балаган с пожилыми. В нем было тихо. Зато в соседнем ни на минуту не утихала возня. Ребята прыскали в кулаки, гудели. Иногда кто-нибудь негромко звал:

— Маня. А Мань! Манюня!

— Чего тебе? — откликались из шалаша подальше.

— Это правда, что ты меня любишь?

— Правда. Высохла вся.

— Что ты говоришь! Я тебя тоже. Поженимся, что ли?

— С уговором, что ты, перед тем как целоваться, будешь сопли вытирать.

В том и в другом балагане приглушенно хохотали.

— Я сейчас пойду женю там кого-то! — опять сказал бас, уже сердито. — Кому сказано — спать!

Кузьма не мог никак вспомнить, кому принадлежит этот бас.

Возня стихала, но потом опять все начиналось сначала. Опять слышалось:

— Маня! А Маня! Х-хых...

Маня больше не отвечала.

— Девки! Пойдемте саранки копать?

— Спите, ну вас, — ответили из девичьего балагана.

Понемногу все затихло. Скоро отовсюду слышался легкий, густой, с придыхом, с присвистом храп. Люди спали перед трудным днем, как перед боем, — крепко.

Поднялись, едва забрезжил рассвет. Отбили литовки и пошли косить.

Молодые не выспались, ежились от утреннего холодка, зевали.

— Господи, бла-аслави! — громко сказал высокий, прямой мужик с выпуклой грудью (Кузьма узнал вчерашний бас), перекрестился и первый взмахнул косой.

Литовки мягко и тонко запели. Тихо зашумела трава.

Шли вниз по косогору. Мужики — впереди.

Кузьму еще раньше Николай научил косить. Шел Кузьма в бабьем ряду, за Клавдей. Клавдя была в том самом легком ситцевом платьице — с мелкими ядовито-желтыми цветками по синему полю, — в котором Кузьма впервые увидел ее, и подвязана белым платочком под подбородок, маленькая, аккуратная, броская, сама как цветок, неожиданный и яркий в тучной зелени долины.

Кузьма с радостью смотрел на нее. «Чего я, дурак, искал еще?» — думал он.

Клавдя часто оборачивалась к нему, улыбалась:

— Не отставай!

Кузьма не жалел себя. Работа веселила его; в теле при каждом развороте упругой волной переливалась злая, размашистая сила.

Косы хищно поблескивают белым холодным огнем, вжикают... Жжик-свить, жжик-свить... Вздрагивая, никнет молодая трава.

Ряд пройден. Поднялись по косогору и пошли по новому.

К полудню выпластали огромную делянку. Стало припекать солнце. Прошли еще по два ряда и побрели на обед. Не смеялись.

Кузьма намахался... Руки, как не свои, висели вдоль тела. Упасть бы в мягкий шелк пахучей травы и смотреть в небо!

Кто-то показал на соседний лог:

— Любавины наяривают. О!.. жадность, — и солнце нипочем!

Кузьма посмотрел, куда указали. Там, на склоне другого косогора, цепочкой шли косцы. За ними ровными строчками оставалась скошенная трава — красиво. Белели бабьи платочки. «Какая-то из них — Марья», — спокойно подумал Кузьма.

Вечером, когда жара малость спала, еще косили дотемна.

Кузьма еле дошел до своего балагана. Есть отказался. Только лежать!.. Вот так праздник, елки зеленые! Ничего себе — ни рукой, ни ногой нельзя шевельнуть.

Клавдя пришла к нему.

— На-ка, поешь, я принесла тебе.

— Не хочу.

— Так нельзя — совсем ослабнешь.

— Не хочу, ты понимаешь?

Клавдя положила ему на лоб горячую ладонь, наклонилась и поцеловала в закрытые глаза.

— Мужичок ты мой... Это с непривычки. Поешь, а то завтра не встанешь.

Кузьма сел и стал хлебать простоквашу из чашки.

— До чего же я устал, Клавдя!

— Я тоже пристала.

— Но ты-то ходишь, елки зеленые! Я даже ходить не могу.

— И ты будешь. Привыкнешь. Ешь, ешь, мой милый, длинненький мой...

— Ты больше не зови меня длинненьким.

Клавдя размашисто откинула голову, засмеялась.

— Что ты?

— Да я же любя... Что ты обижаешься?

— Не обижаюсь... а получается, что я какой-то маленький.

— Ты — большой, — заверила Клавдя и погладила его по голове.

Кузьма усмехнулся — на нее трудно было злиться.

Опять развели костер и опять колготились до поздней ночи.

Кузьма с изумлением смотрел на парней и девок. Как будто не было никакой усталости! «Железные они, что ли?!»

Пришли ребята и девки от Любавиных, Беспаловых, Холманских, — эти гуртовались в покос отдельно, наособицу.

Здешние парни косились. Не было дружбы между этими людьми — ни между молодыми, ни между старыми.

Затренькали балалайки. Учинили пляску.

В беспаловской родне был искусный плясун — Мишка Басовило, крупный парень, но неожиданно легкий в движениях.

И здесь тоже имелся один — Пашка Мордвин, невысокий, верткий, с большой кудрявой головой и черными усмешливыми глазами.

Поспорили: кто кого перепляшет?

Образовали круг.

Балалаечник настроился, взмахнул рукой и пошел рвать камаринского.

Первым в пляс кинулся Мишка Басовило. Что он выделывал, подлец! Выворачивал ноги так, выворачивал этак... шел трясогузкой, подкидывая тяжелый зад. А то вдруг так начинал вколачивать дробаря, что земля вздрагивала.

Зрители то хохотали, то стояли молча, пораженные легкостью и силой, с какой этот огромный парень разделывает камаринского.

Мишка с маху кидался вприсядку и, взявшись за бока, смешно плавал по кругу, далеко выкидывая длинные ноги... Но вдруг он вырастал в большую крылатую птицу и стремительно летал с конца на конец широкой площадки. А то вдруг останавливался и начинал нахлопывать ладонями себя по коленям, по груди, по животу, по голенищам, по земле, сидя... В заключение Мишка встал на руки и под восторженный рев публики прошелся так по всему кругу. Это был плясун ухватистый, природный. Опасный соперник.

Пашка понимал это.

Он вышел на круг, дождался, когда шум стих... Кокетливо поднял руку, заказал скромненько:

— Подгорную.

Едва балалаечник притронулся к струнам, Пашку как ветром сдернуло с места и закрутило, завертело... Потом он вылетел из вихря и пошел с припевом:

Как за речкой-речкой
Целовал не знаю чью.
Думал, в кофте розовой,
А это пень березовый.

Пашка хорошо пел — не кривлялся. Секрет сдержанности был знаком ему. Для начала огорошил всех, потом пошел работать спокойно, с чувством. Смотреть на него было приятно.

Частушек он знал много.

Я матанечку свою
Работать не заставлю,
В Маньчжурию поеду —
Дома не оставлю.

Ловко получалось у Пашки: поет — не пляшет, а только шевелит плечами, кончил петь — замелькали быстрые ноги... Ухватистый, дерзкий.

С крыши капали капели, —
Нас побить, побить хотели,
С крыши — целая вода, —
Не побить нас никогда!

Под конец Пашка завернул такую частушку, что девки шарахнулись в сторону, а мужики одобрительно загоготали.

Стали судить, кто переплясал. Трудное это дело... Пришлые доказывали, что Мишка; Поповы, Байкаловы, Колокольниковы и особенно Яша Горячий отстаивали своего.

— А что Мишка?! Что ваш Мишка?! — кричал Яша, налезая на кого-то распахнутой грудью (его за то и прозвали горячим, что зиму и лето рубаха его была расстегнута чуть не до пупа). — Что Мишка? Потоптался, как бык, на кругу — и все! Так я сам умею.

— Спробуй! Чего зря вякать-то, ты спробуй!

В другом месте уже легонько поталкивали друг друга.

— Тетеря! Иди своей бабушке докажи!..

— Ты не толкайся! Ты не толкайся! А то как толкану...

— По уху его, Яша, чтоб колокольный звон пошел!

— Шантрапа! Голь перекатная!

— Катись отсюда... Мурло!

— Ну-ка, ну-ка... Что ты рубаху рвешь?.. Ромка, подержи балалайку...

Могла завязаться нешуточная потасовка, но вмешался Федя Байкалов.

— Э-э!.. Брысь! Кто тут?! — Он легко раскидал в разные стороны не в меру ретивых поклонников искусства, и те успокоились.

— Да обои они, черти, здорово пляшут! — воскликнул кто-то.

Это приветствовали смехом. Уладилось. Снова началась пляска как ни в чем не бывало.

Опять тренькала балалайка. Плясали девки. Парами, с припевом, сменяя друг друга.

Кузьма вздрогнул, когда во второй паре увидел Клавдю.

Клавдя плясала, вольно раскинув руки, ладонями кверху, — очень красиво. Ноги мелькали, выстукивая частую дробь. Голова гордо и смело откинута — огневая, броская.

«Молодец! — похвалил Кузьма. — Моя жена!»

Кабы знала-перезнала,
Где мне замужем бывать, —
Подсобила бы свекровушке
Капусту поливать, —

спела Клавдя и обожгла мужа влюбленным взглядом.

Некоторые оглянулись на Кузьму.

«Это она зря», — смущенно подумал Кузьма, незаметно отступая назад. Ушел в балаган и оттуда стал слушать песни и перепляс. «Здорово дают... Молодцы. Но драка, оказывается, может завариться очень даже просто».

Разошлись поздно.

Кузьма нашел в одном из балаганов Федю, прилег рядом. Хотелось поговорить.

— Здорово ты их давеча! — негромко, с восхищением сказал Кузьма, трогая сквозь рубашку железные бицепсы Феди. — Одного не понимаю, Федор: как они могли тебя тогда избить? Макар-то...

Федя пошевелился, кашлянул в ладонь. Тихо, доверчиво сказал:

— Ничего. Что меня побили, это полбеды. Хуже будет, когда я побью.

— Найдем мы их, Федор, — не то спросил, не то утвердительно сказал Кузьма.

— Найдем, — просто сказал Федя.

— Федор, ты в партизанах был?

— Маленько побыл. Баклань-то не задела гражданская. Человек пятнадцать нас уходило из деревни — к Страхову. Шестерых оставили. А один наш в братской могиле лежит на тракте — сродственник Яши Горячего.

— А Яша тоже был?

— Был, ага. Яша удалой мужик.

— А ты убивал, Федор?

Федор долго не отвечал.

— Приходилось, Кузьма. Там — кто кого.

— Больно тебе было? — тихонько спросил Кузьма. — Когда Макар-то...

— Больно, — признался Федя. — Когда бороду жгли... шибко больно.

— А сейчас не болит?

— Не... Потрогай. — Федя нащупал руку Кузьмы и поднес ее к своей бороде. — Еще гуще стала... чуешь?

— Ага. Как проволочная.

— Ххэ!..

Опять замолчали.

Кузьма, засыпая, невнятно сказал:

— Спокойной ночи, Федор. Знаешь... я как в яму начал проваливаться.

— Спи. Тут воздух вольный. Хорошо.

Мир мягко сомкнулся над Кузьмой.

В последующие дни продолжали косить. А часть людей ворошила подсохшее сено — переворачивали ряды на другую сторону. Копнили.

Кузьма втянулся в работу и теперь уставал не так.

31

По вечерам плясали, пели песни. Старые люди рассказывали диковинные истории про колдунов, домовых, суседок и другую нечистую силу. Сидели и слушали разинув рты.

Кузьма узнал за эти дни много всякой всячины. Что в нечистого можно стрелять только медной пуговицей —

другое не берет. Что клад, который никому не завещали, будет мучить седьмое колено того, кто этот клад зарывал. Одного мужика замучил. Пойдет в поле — прямо из земли вырастает рука и машет ему: иди, мол. Или: захочет переплыть реку, глядь, а с его лодкой стоит другая — из золота: все тот же клад в руки просится. А возьмешь его — примешь грех на душу. Вот и гадай тут: возьмешь — грехи замучают, не возьмешь — клад замучает, потому что ему в земле нельзя, ему к людям надо.

...Одного старика долго просили рассказать о том, как его когда-то — давно-давно — увозили черти.

Этого старичка Кузьма видел несколько раз в деревне, — невысокий, плотный, с белой опрятной головой и неожиданно молодыми и умными глазами. Звали его Никон Дегтярев. Их было двое таких на покосе. Второй еще более древний — сгорбленный, зеленолицый старик с реденькой серой бородкой. Про его бороду парни говорили: «Три волосинки и все густые». Звали его очень странно — дед Махор. Деды были приятелями. Дед Махор следил за лошадьми и починял сбрую, Никон отбивал литовки и ремонтировал грабли и вилы.

Долго просили Никона рассказать, как его увозили черти. Он согласился.

Придвинулся к огоньку, раскурил «ножку» — папиросу-посушку — и начал...

— Ну, значит... было это, дай бог памяти, годе во втором, не то в третьем — до японской ишо. Загулял я както — рождество было. День гуляю, два гуляю... На третий, однако, пришел домой. Стал разболакаться-то, да подумай — как подтолкнул кто: дай-ка, думаю, я еще к куму Варламу схожу. Кума Варлама вы не помните. Вон Махор помнит. Богатырь был. Как рявкнет, бывало, на одном конце деревни — на другом уши затыкай. Дэ-э... Вышел я. А уж под вечер. На дворе мороз с пылью.

Только я из ворот, — а по переулку летит пара с бубенцами. Снег веется. Чуток с ног не сшибли: трррр! «Эй! — кричат. — Кум! Мы за тобой. Падай в кошевку!» Кумовья оказались: кум Макар Вдовин и кум Варлам. Мне того и надо — пал в кошеву. Подстегнули они коней и понесли. Дэ-э... Ну, сижу я в кошеве и света белого не вижу — до того ходко едем. А кумовья знай понужают да посвистывают. «Куда, говорю, едем-то?» Кумовья только засмеялись. И тут, — видно, и на их, окаянных, сила есть, — только захотел же я курить. Так захотел — сердце заходится. Ну, свернул папироску, стал

прикуривать. Чиркаю спичками-то. Одну испортил, другую, третью, — с десяток извел, ни одной не зажег. Ну и подумай про себя: «Господи, да что же я прикурить-то никак не могу?» Только так подумал — кумовьев моих как век не было рядом. И сижу я не в кошеве, а на снегу. Вокруг — ни души. Темень — глаз выколи. Тут я струсил. Хмель из головы сразу вылетел. Сижу как огурчик. Главное — не пойму: что со мной делается? А тут еще поземка начинается, дергает низом: к бурану дело. Что делать? И слышу — далеко-далеко звенят колокольчики: динь-динь, динь-динь...

Похоже, ямщики с грузом.

Закричал я что было силы: «Не дайте душе сгинуть!» Кричу, а колокольчики все — динь-динь, динь-динь...

Я еще громче: «Карау-ул! Погибаю, люди добрые!» Слышу — смолкли колокольчики. Я — кричать. Через немного времени замаячили в темноте двое. На вершнах. Кричат: «Где ты там?! Шуми — на голос едем». — «Здесь, говорю, ребяты. Вот он я!»

Остановились саженях в пяти. «Кто такой?» — спрашивают. «Христианин, говорю, вот — крещусь. Плотник из Баклани, такой-то. Слыхали, может?» Один узнал, — ямщик, ночевал у меня раза два. «Как попал сюда?» — «А сам, говорю, не знаю».

Когда вышли на тракт, тут только узнал я, где нахожусь: верстах в семи от деревни.

Ну, сел я на воз-то и все не верю, что домой еду, — перепужался. Рассказал ямщикам, а те только засмеялись. «Ты сам-то, говорят, понимаешь, какие это кумовья были?»

Никон помолчал, погасил окурок, сплюнул в костер и закончил:

— Такая была история.

Все сразу заговорили. История понравилась.

Кто-то вспомнил подобную же:

— А я вот слыхал... также увезли одного... но только того — на болото. Тоже, говорит, пир горой шел, а потом закричал петух, и никого не стало. А он на кочке сидит...

И оттого, что такие истории, оказывается, уже бывали и что много похожего в них, рассказ Никона казался убедительным.

— Бывает, бывает... Чего только не бывает на белом свете.

— Окаянные, чо им нужно?

— Надо же — завезти человека вон куда и бросить!

Еще рассказывали про перевертушек... Про какую-то знаменитую колдунью...

Костер потрескивал, выхватывал из тьмы трепетный, слабый круг света. А дальше, выше, кругом — огромная ночь. Теплая, мягкая, гибельная. Беспокойно в такую ночь, без причины радостно. И совсем не страшно, что Земля, эта маленькая крошечка, летит куда-то — в бездонное, непостижимое, в мрак и пустоту. Здесь, на Земле, ворочается, кипит, стонет, кричит Жизнь.

Зовут неутомимые перепела. Шуршат в траве змеи. Тихо исходят соком молодые березки.

32

Следующий день начался для Кузьмы необычно.

Он копнил с бабами.

Работал в паре с Клавдей. У той все получалось както очень аккуратно. Воткнет вилы в пласт сена, навалится на них всем телом, упрет черенок в землю — раз! — пласт перевалился.

Кузьма тоже хотел так: глубоко загнал вилы, навалился на них... —черенок хрястнул.

Клавдя долго смеялась над ним.

Кузьма пошел к стану сменить вилы.

У крайнего балагана, на дышле, под которым была подставлена дуга, висела зыбка с ребенком. Мать ребенка, соседка Кузьмы в деревне, не захотела отстать от других, поехала на покос с грудным. Днем за ним присматривали старики — Махор и Никон. Она только кормить приходила.

Сейчас их не было ни того ни другого.

Еще издали увидел Кузьма что-то черное на груди у ребенка, встревожился, прибавил шагу... И похолодел: змея. Она зашевелилась, гибко и медленно поднялась над краем зыбки. Как завороженные смотрели друг на друга человек и змея. Поразили Кузьму глаза ее — маленькие, острые, неподвижные, как две черные гадкие капельки.

То, что он сделал в следующее мгновение, было опасно не столько для него, сколько для ребенка: можно было не успеть подскочить.

Об этом Кузьма не подумал. Подскочил к зыбке, схватил змею, кажется, прямо за голову, кинул на землю.

В этот момент из-за балагана вышел Никон.

— Змея! — крикнул Кузьма.

— Где?

— Вон!.. Вон она!

Змея стремительно уползала по выкошенн й плешине к высокой траве.

— А-а... Это — сичас... Черня! Черня! — позвал Никон.

Откуда-то вылетел большой красивый пес, вопросительно уставился на хозяина.

— Вон, — показал Никон.

Пес в несколько прыжков настиг гадюку, схватил ее, трепанул и отпрыгнул, загородив ей путь к траве. Змея поднялась чуть не наполовину, разинула рот и грозно зашипела. Пес изготовился к прыжку. Мах!.. — промазал, вернулся. На несколько секунд змея и пес непонятно скрутились. Черня раза три высоко подпрыгнул. Змея успела свернуться в кольцо и вдруг с молниеносной быстротой развернулась. Прозевай Черня долю секунды, ему пришлось бы плохо: она целила в голову. Гадюка мягко шлепнулась, тотчас опять вздыбилась и поползла к траве. Черня, не давая ей опомниться, прыгнул. Присев на задние лапы, быстро закрутился на месте, не позволяя ей дотянуться до своей головы. Бросил, отпрыгнул. Змея была уже сильно изранена и разъярена. Она кинулась сама. Тут-то и настиг ее Черня. Он обрушился на змею с такой силой, что сам не устоял, перевернулся, вскочил и принялся рвать ее и крутиться... Через минуту со змеей было покончено.

Кузьма и Никон наблюдали за этим сражением. Ни тот, ни другой не проронили ни слова. Только когда Черня подбежал к ним, Никон поласкал его за ухом и сказал:

— Умница.

Кузьма сел на землю. Колени противно тряслись от пережитого страха.

— Дед... ведь змея-то в зыбке была.

— Чего-о?!

— Так. Смотреть надо... Вам поручили, елки зеленые!

Никон тоже сел на землю.

— Ах ты, господи... грех-то какой! Только отлучился по нуждишке — и вот... Как же ты ее?

— Выбросил.

— Как выбросил?

— Сам не знаю. Рукой выбросил.

— Дак она не ужалила тебя? Ты, может, сгоряча не заметил?

Кузьма внимательно осмотрел ладонь.

— Нет, ничего.

— Господи, грех какой мог быть! — опять заговорил Никон. — Ты уж не говори никому, а то мать-то с ума сойдет.

— Ладно. Только ты смотри все же!.. — Кузьма поднялся. — Забыл, зачем пришел... А-а! Вилы. Вилы сломались.

Долго еще потом не мог очухаться Кузьма. Вздрагивал, вспоминая гладкий змеиный холодок в руке.

В обед, когда все разбрелись по балаганам соснуть часок-другой, пока не схлынет жара, Кузьма пошел в березник неподалеку — поесть костяники.

Ему нравилась эта ягода — кисленькая, холодная, с косточкой в середине.

Он сразу напал на такое место, где почти под каждым листиком была костяника. Долго ползал на коленях, не успевая собирать. И вдруг услышал негромкий разговор... Поднял голову. На сухой колодине спиной к нему сидели дед Махор и Никон. Курили «ножки», беседовали.

— Давно хотел узнать у тебя... Это правда, что ли?

— Что?

— Что черти увозили.

Никон как-то странно хмыкнул.

— Так и знал, — сказал дед Махор, глядя сбоку на приятеля. — Здоров!.. А как было-то?

— Зачем тебе?

— Пошел ты к едрене-фене... Умирать скоро, а у его все секреты!

Никон сдвинул фуражку на затылок.

— Заблудился с пьяных глаз. Хотел в Куйрак, а попал... вон куды.

— Так. А зачем в Куйрак?

— Ну вот... расскажи ему все! Ты что — поп?

— Хэх ты, бес! Да ведь ты к этой наверно... черная бабенка там жила... Забыл теперь, как звать ее было, греховодницу. Цыганиста така... Ворожейка.

— Может, к ней, — согласился Никон.

Дед Махор некоторое время молчал, потом тронул темной, как высохшее дерево, рукой морщинистую шею, сказал негромко:

— Я тоже бывал там, язви ее.

— Ворожил?

— Ага.

Долго тихонько хохотали, не глядя друг на друга.

— Ну и ну!.. Как на тот свет-т явимся?

Никон подумал и в тон приятелю сказал:

— Попросимся, — может, пустят. А не пустят — здесь тоже неплохо.

Кузьма неслышно выбрался из березника и пошел к стану. «Вот черти!.. Надо же такое придумать! И ведь как складно врал вчера!»

Когда стали собираться на работу, Кузьма не выдержал, отвел Никона в сторону.

— Я давеча невзначай подслушал ваш разговор... Так вышло. Я не хотел. Скажи, пожалуйста: для чего ты вчера так здорово... выдумал? Я не осуждаю, просто хочется знать. А? Я никому не скажу.

Никон ничуть не смутился. Заулыбался.

— А для антересу. Скажи людям, что заблудился пьяный, — скучно. Они это давно знают, что пьяный может заблудиться. А так... редко бывает... Теперь узнал?

После обеда, благословясь, заложили первый стог.

Кузьма с ребятишками подвозил копны.

Федя Байкалов стоял под стогом. Без рубахи, бугристый, с неимоверно широкой грудью. Бабам он не нравился такой:

— Прямо смотреть страшно... Господи! Куда уж так?

Стогоправом стоял дед Махор, — дело это не тяжелое, но искусное. Надо суметь так вывершить стог, чтобы он не скособочился через недельку и не подставил запавшие бока проливным осенним дождям, — иначе пиши пропало сено. Сгниет.

Бабы накладывали на волокушу большущие копны (чтобы окаянный Федя надорвался, а то вздохнуть не дает — все ждет), перехватывали копну веревкой, и копновоз волок ее к стогу. Федя показывал, где остановиться. Развязывал веревку, придерживал копну вилами, лошадь выдергивала из-под нее волокушу... Плевал на руки, некоторое время примеривался, с какого боку лучше взять. Всаживал вилы, подгибался рывком и...

— Опп!

Огромная копна с непонятной легкостью вздымается высоко вверх. Федя некоторое время танцует с ней, выискивая устойчивое положение.

Весь напрягся...

— Держи! — Толчок — копна на стогу.

Там ее долго растаскивает, раскладывает, утаптывает дед Махор. А Федя выбирает из волос насыпавшееся сено. Ждет следующую.

— Чего там? Заснули? — кричит бабам.

Кузьма захотел пить, но воды в ведре не оказалось.

— Съезди напейся и нам заодно привезешь, — попросила Клавдя.

Кузьма поехал к ручью.

Еще издалека узнал Марью. Сердце подпрыгнуло и словно провалилось куда-то...

Он остановил коня, хотел повернуть, но Марья уже увидела его. Быстро надернула юбку на голые колени — она стирала мужнину рубаху, — распрямилась.

Кузьма подъехал к ручью.

— Здравствуй... те, — сказал он и улыбнулся.

— Здравствуешь. — Марья тоже улыбнулась.

Некоторое время молчали, глядя друг на друга.

— Как живешь? — спросил Кузьма, слезая с коня. Он сделал это, как во сне, — будто перелетел с горы на гору.

— Живем... Ты как?

— Да тоже...

Лошадь потянулась к воде, ссыпая глинистый край берега.

— Разнуздай коня-то, он пить хочет.

Кузьма суетливо и долго отстегивал удилину. Никак не мог.

Марья засмеялась. Негромко, необидно.

— Дай-ка. — Подошла, разнуздала и осталась стоять рядом.

Кузьма услышал запах ее волос, тонкий, отдающий сухостойным солнечным травняком. Увидел, как на шее, около уха, трепетно вспухает тоненькая синяя жилка. Шагнул. Глаза Марьи округлились, зеленоватые, с радужными стрелками-лучиками вокруг зрачка.

— Что ты? — спросила она.

Еще заметил Кузьма: когда она говорит, кончик носа ее чуть шевелится.

В груди даже больно сделалось, — как горячая железка влипла.

— Ну, что ты?

— Не знаю. — Кузьма качнул головой.

— Люди же увидют, — сказала Марья, продолжая смотреть в глаза Кузьмы. — Увидют, что стоим... Уезжай.

— Сейчас... — Кузьма не шевельнулся.

Марья осторожно провела мокрой ладошкой по его лицу — со лба вниз, легонько толкнула.

— Уйди.

Кузьма повернулся, пошел к коню.

Марья зачерпнула в ведро воды, подала ему.

— На. — Посмотрела строго, внимательно. — Уезжай. — И отвернулась.

Кузьма ни о чем не думал, когда ехал обратно. Все время чувствовал прохладную Марьину ладонь на лице. Никак не мог отвязаться от этого ощущения.

Его поджидали с водой.

Он отдал ведро и сказал Клавде:

— Я сейчас... Мне нужно.

Поехал в стан.

Зашел в свой балаган, лег вниз лицом, закусил рукав рубахи. Долго лежал так. Все. Короткое спокойное счастье его разлетелось вдребезги. Мир заслонила Марья. Стояла в глазах, какой была, когда подавала ведро с водой, — смотрела снизу.

Судьба словно сжалилась над ним.

Только он вернулся к работе, с косогора к ним скатился на коротконогой кобыленке молоденький парнишка из Баклани.

— Там пришли эти, с Макаром! Порох по домам ищут, лопотину забирают...

Федя уже надевал рубаху. Похватали ружья, какие были, пали на коней и понесли.

— Объехай всех, кто есть из деревни! — сказал Кузьма парню, с которым скакал рядом.

Тот кивнул головой, не сбавляя ходу, отвалил в сторону.

Лошади подравнялись на ходу одна к другой. Шли кучно. Дробный топот копыт слился в один грозный гул.

В деревню залетели на полном скаку.

Встретили на улице старика.

— Поздно хватились. Ушли...

— Куда?

— А дьявол их знает! У меня папаху отобрал один, чтоб ему...

— Куда, в какую сторону поехали?! — заорал Кузьма, танцуя возле старика на разгоряченном коне.

— Что ты на меня-то кричишь? Сказал — не знаю.

— Давно?

— Не шибко давно.

Разделились на три группы, кинулись по разным дорогам.

Группа, с которой был Кузьма, поехала по дороге, которой только что приехали, с тем чтобы потом свернуть к парому через Баклань: там начинались согры, чернолесье.

За деревней встретили еще человек пятнадцать, ехавших с покоса. Соединились.

Объездили километров двадцать в округе — банда как в землю ушла. Даже следов не оставила.

Вернулись под вечер.

Приехали другие группы. Бандиты ушли.

Разошлись по домам посмотреть, что они натворили. Взято было немного: кое-что из одежды, сапоги, ремни... Зато порох подмели вчистую в каждом доме.

Кузьма заехал к Сергею Федорычу. Тот стоял в завозне и чуть не плакал.

— Топор взяли, паразиты! Ведь все равно иззубрят об камни... А он мастеровой.

Кузьма устало присел на верстак.

В завозне было прохладно, пахло стружкой и махрой. По стенам на деревянных спицах висели пилы, пилки, ножовки, обручи... В углу свалены неошиненные колеса.

— Ах варнаки проклятые! — ругался Сергей Федорыч, сокрушенно качая головой. — Что я теперь без топора буду делать?

Кузьма встал:

— Спросят — скажи, я в район поехал. Скоро вернусь.

— Ты зачем туда?

Кузьма, не отвечая, вышел из завозни, сел на коня и выехал со двора.

33

Вернулся Кузьма через два дня.

Не заезжая домой, проехал прямо в сельсовет.

Его встретил на крыльце сияющий Елизар.

— У нас гость! — возвестил он, непонятно улыбаясь.

Кузьма почувствовал почему-то неприятный холодок под сердцем.

— Какой гость?
— Гринька Малюгин.
— Что ты говоришь?
Кузьма спрыгнул с лошади, прошел в сельсовет: подумал, что Гринька пришел сам.
— А где он?
— В кладовке.
— Его поймали, что ли?
— Ага. Федя Байкалов вчера привел. Накостылял ему, видно, по дороге. Едва приволок.
Гринька лежал в кладовой на лавке, закинув ноги на стенку. Харкал в низкий потолок, стараясь попасть в муху. Плевки ложились рядом с мухой. Муха почему-то упрямо не улетала, только переползала с места на место.
На стук двери Гринька повернул голову, широко улыбнулся.
— А-а!.. Здорово живешь!
— Здорово, — весело сказал Кузьма. — Со свиданьицем!
— Спасибо! — откликнулся Гринька, не снимая ног со стенки. — Опять меня поведешь?
— Нет, теперь по-другому будет. Как же ты попался?
— Бывает, —сказал Гринька и опять харкнул в потолок. — Бывает, что и петух несется.
— Федор тебя поймал, говорят?
— Этому человеку можешь от меня передать, — Гринька снял со стены ноги, сел на скамейке, — я у него в долгу.
— Какие вы грозные все! «В долгу-у»... Плевал он на таких страшных!
Гринька нахмурился, зловеще сломил левую бровь, но сам не выдержал этой гримасы, улыбнулся.
— Глянешься ты мне, парень, — сказал он. — По-моему, ты не дурак. Тебя как зовут?
— Отдыхай пока. Потом поговорим. Невеселые тебя дела ждут, могу заранее сказать.
Гринька вопросительно и серьезно глянул на Кузьму, но тотчас овладел собой.
— У меня, паря, всю жизнь невеселые дела. Так что — не пужай. — Лег и опять закинул ноги на стенку.
— Ну, такого у тебя еще не было, — сказал Кузьма, вышел и запер кладовку.

Елизар что-то писал, склонив голову на левое плечо и сильно наморщив лоб.

— Гриньку беречь, как свой глаз, — сказал Кузьма. Бросил на лавку красноармейскую шинель и шлем. — Да, и вот еще что: я теперь буду секретарем сельсовета.

Елизар поднял голову, долго смотрел на Кузьму.

— Понятно.

— Что понятно?

— Что секретарем. Я думал, ты оттуда председателем приедешь. Что-то меня долго не снимают.

— Снимут, — добросердечно пообещал Кузьма, — сами бакланцы снимут. — И вышел на улицу.

Федя был дома. У него расхворалась жена, и он старался не отлучаться.

— Как же ты поймал его? — спросил Кузьма, когда поздоровались и присели к столу.

— А он сам в руки шел. У нас телок вчера пропал, я пошел вечером поискать за деревню. Смотрю — Гринька идет. Ну... мы пошли вместе.

Кузьма улыбнулся, хотел передать Гринькину угрозу, но подумал и не стал: Хавронья слышала их разговор, могла перепугаться.

— Я теперь секретарь сельсовета, — сказал Кузьма.

Федя с уважением посмотрел на него.

— Теперь, я думаю, Гринька знает про них — в одних местах были.

— И Гриньку тряхнем. За всех возьмемся. — Кузьма был настроен воинственно.

— Давно еще сказывал мне один человек, — заговорила слабым голосом Хавронья, — что есть, говорит, дураки в полоску, есть — в клеточку, а есть — сплошь. Погляжу я на вас: вот вы — сплошь. Какое ваше телячье дело до той банды? Они сроду по тайге ходют... испокон веку. И будут ходить.

— Лежи поправляйся, — добродушно сказал Федя.

— Тебе, дураку, один раз попало — неймется? Он вот узнает, Макарка-то, про ваши разговорчики! Нашли с кем связываться... с головорезом отпетым.

Федя и Кузьма молчали. Кузьма незаметно подмигнул Феде, они вышли на улицу.

— Я вот чего пришел: Любавины с покоса приехали?

— Приехали.

— Возьми Яшу, и подождите меня здесь. Я домой заскочу на минуту. Потом пойдем арестуем старика Любавина.

Федя задумался.

— Зачем это?

— У меня, понимаешь, такая мысль: банда где-то недалеко, так? Узнает Макар, что отца взяли, и захочет освободить или отомстить. Он мстительный. А мы его встретим здесь. А? Что с ним, со стариком, сделается? Посидит. Отдохнет.

— Можно, — согласился Федя.

— Я быстро схожу.

Любавины только пришли из бани.

Емельян Спиридоныч распарил старые кости, лежал на кровати в исподнем белье, красный.

Кондрат ходил по горнице и тихонько мычал: ломило зубы. На покосе в самую жару напился ключевой воды и простудил их.

Михайловна собирала ужинать.

В избе было тепло, пахло березовым веником. Заливался веселой песней, мелко вызванивая крышкой, пузатый самовар. На полу два котенка гонялись друг за другом. Один, убегая от преследования, прыгнул на кровать, и ему попалась на глаза тесемка от кальсон Емельяна Спиридоныча. Он начал играться ею. Спиридоныч шваркнул его голой ногой.

— Щекотно, черт тя!..

— А? — спросила Михайловна.

— Не с тобой.

В сенях хлопнула дверь, заскрипели доски под чьими-то тяжелыми шагами.

— Ефим, наверно, — сказал Емельян Спиридоныч.

В избу вошли Кузьма, Федя и Яша.

— Здравствуйте.

— Здорово были. — Емельян Спиридоныч сел, тревожно разглядывая поздних гостей. «Макарка что-нибудь отколол», — подумал он.

Из горницы вышел Кондрат, остановился в дверях, держась рукой за щеку.

— Собирайся, отец, пойдешь с нами, — сказал Кузьма Емельяну Спиридонычу.

Тот продолжал смотреть на них, не шевельнулся.

— Куда это он пойдет? — спросил Кондрат.

— С нами.
— Для чего?
— Я там объясню... — Кузьма переступил с ноги на ногу: слишком покойно и мирно было в избе для тех слов, какие сейчас, наверно, придется сказать.
— Ты здесь объясни. — Кондрат отнял от щеки руку. — Где это там объяснишь?
— Одевайся! — строго сказал Кузьма, глядя на Емельяна Спиридоныча.
— Никуда он не пойдет! — тоже повысил голос Кондрат.
Емельян Спиридоныч потянулся рукой к спинке кровати.
— Я только штаны надену, — сказал он сыну.
Все молча стояли и смотрели, как он надевает штаны. Он делал это медленно, как будто нарочно тянул время.
— Побыстрей можно? — не выдержал Кузьма.
— Ты не покрикивай, — спокойно сказал Емельян Спиридоныч. — Мне некуда торопиться.
— Ты арестован.
Емельян Спиридоныч прищурился на Кузьму.
— Это за что же?
— За дело.
— Вот что!.. — Кондрат решительно стронулся с места и пошел на Кузьму. — Ну-ка, поворачивайте оглобли — и... к такой-то матери отсюда!
Из-за Кузьмы на полплеча выдвинулся Федя, в упор, спокойно глянул на Кондрата.
— Не ругайся.
Кондрат остановился... Смерил Федю глазами.
— А ты-то чего тут?
— Так... на всякий случай.
Кондрат сплюнул, повернулся и ушел в передний угол. Сел на лавку.
— Земледав.
— Не ругайся, — еще раз сказал Федя.
— Ты чего, в партизанах, что ли? — спросил его Емельян Спиридоныч. — Ты, может, перепутал?
— Пошто? — не понял Федя.
— Чего ты тут командываешь?
— Я не командываю.
— Хватит разговаривать, — сказал Кузьма. — Собирайся.
Емельян Спиридоныч стал одеваться.

Вышли, громко стуча сапогами, спустились с крыльца.

— Хочу зайти по малому, — заявил Емельян Спиридоныч.

— Пойдем вместе, — сказал Кузьма.

Отошли за угол. Через некоторое время вернулись.

— Куда теперь?

— В сельсовет.

Ночью Кузьма беседовал с Гринькой.

— Дело плохо, Гринька, — грустно сказал Кузьма. — Есть такая бумага, в ней говорится, что к тебе применяется высшая мера наказания.

— Ха-ха-ха! — Гринька от души расхохотался. — Камедь!

— Мало смешного, Гринька, — не меняя выражения лица, продолжал Кузьма. — Я тебя не пугаю. Ты объявлен вне закона. Первый, кто тебя поймает, может убить без суда и следствия. Даже обязан.

— Покажи.

— Чего?

— Гумагу эту.

— У меня нет ее.

— Ха-ха-ха!.. Про банду хочешь выпытать, — я тебя наскрозь вижу.

— Она в районе. Но завтра я получу ее. Покажу тебе.

— Не верю.

— Как хочешь. Я тебя не уговариваю верить.

Замолчали.

Гринька сидел в небрежной позе, но в глазах его залегла тоскливая тень.

— Не верю я все ж таки, — опять сказал он.

Кузьма пожал плечами.

Гринька закурил.

— В районе знают, что меня поймали?

— Нет еще.

— Тогда давай говорить, как умные люди: я тебе рассказываю, где банда, ты отпускаешь меня на все четыре стороны. Тебе выходит повышение или награда какая, а мне жизнь дорога. Идет?

У Кузьмы загорелись глаза.

— Где банда?

— А отпустишь?

— Отпущу. Но сначала скажи: где банда?

Гринька оглушительно расхохотался.

— Все! Влип ты, парнища! По маковку! Никакой такой гумаги у вас нету. Эх, милый ты мой!..

Кузьма понял: поторопился. Однако быстро совладал с собой, выражение лица его стало скучным.

— Я думал, ты действительно умный человек. А ты — дурак в клеточку.

— Никогда товарищей своих я не выдам, — важно, даже торжественно сказал Гринька. — Отсидеть три года или пять — отсижу. Ничего. Убегу. Но с гумагой ты ловко придумал, дьявол. Я ведь правда поверил...

— Ладно, иди порадуйся последние минутки.

Гринька ушел веселым. Из-за двери хвастливо сказал:

— Редко кто обманывал Гриньку Малюгина. Это ты запомни.

— Запомню.

«Эх, черт! Поторопился...»

Домой Кузьма пришел перед светом. Хотел соснуть пару часов, но не мог. Ворочался на жаркой перине, кряхтел...

— Чего ты? — сонным голосом спросила Клавдя.

— Ничего. Кто это у вас перины такие сообразил? Потолще нельзя было?

— Ты все чем-нибудь недоволен. Ему делают как лучше...

— Что ж тут хорошего? Лежит целая гора, елки зеленые! — усни попробуй! В кочегарке и то прохладней.

Наконец он ушел совсем от Клавди — на пол. Но и там не мог заснуть. Дело было не в перине.

Утром, чуть свет, он вскочил, выпроводил из горницы Клавдю, закрылся и стал что-то вырезать из резинового каблука.

Клавдя несколько раз стучала в дверь, звала завтракать, Кузьма не выходил. Он делал печать.

Таким ремеслом еще никогда в жизни не доводилось заниматься. Но сейчас эта печать нужна была позарез. На столе лежала какая-то справка с губернской печатью — для образца.

В глазах у Кузьмы рябило от мельчайших буквочек, черточек, точечек, колосков... Наконец к полудню печать была готова.

Кузьма пришлепнул ее к бумаге. Сравнил с настоящей... Грустно стало. От его печати так явно несло липой, что надеяться можно было только на Гринькину великую грамотность.

Потом он написал бумагу. Она гласила:

«Приказ по Запсибкраю № 1286.

Настоящим подтверждается, что Малюгин Григорий...»

Кузьма не знал отчества Гриньки. Вышел, спросил у Агафьи.

— Ермолай у них отец был, — сказала Агафья.

«...Григорий Ермолаевич, уроженец д. Баклань, за свои безобразные поступки объявляется вне закона.

Местным властям, где Малюгин Гринька будет пойман, следует применить к нему высшую меру наказания, т. е. расстрел.

Начальник краевого управления ГПУ».

Кузьма долго придумывал фамилию начальника. Хотелось какую-нибудь такую, чтобы у Гриньки поджилки задрожали. Подписал: «Саблин». И — печать.

Долго любовался своим творением. Сейчас даже печать выглядела солидной и внушительной. «А — ничего! Что ему еще нужно?»

Пошел в сельсовет.

Гринька чувствовал себя превосходно.

— Что, дитятко?

— Вот, почитай. — Кузьма протянул ему сложенный вчетверо приказ.

Гринька вскинул брови, взял бумажку, развернул. Внимательно стал разглядывать ее.

— Ты читать-то умеешь?

— Читать-то?.. — Гринька посмотрел бумагу на свет. — Читать я, парень, не умею.

— Давай я тебе прочитаю.

— Пусть другой кто-нибудь...

— Почему?

— А ты прочитаешь не то. Я ж тебя знаю.

— Да почему не то? — загорячился Кузьма. — Почему не то?! Что ты ерунду говоришь?

— А-а... — Гринька понимающе оскалился. — Пусть другой прочитает.

— Другому нельзя. — Кузьма растерялся: он не знал,

что Гринька совсем не умеет читать, надеялся — по складам прочтет. — Это секретный приказ.

Гринька вернул бумагу.

— Тогда сходи с ней в одно место.

Кузьма озлился.

— Ну, Гринька!.. Не проси милости. Как человеку... помочь хотел. Не хочешь — не надо. Сегодня расстреляем. Все.

Гринька пошел вразвалку. Прежде чем войти в кладовую, оглянулся:

— Ты такими шутками не шути.

— Все. Кончен разговор.

Лунной ночью Гриньку повезли на «расстрел».

Ехали с ним в телеге трое: Кузьма, Федя и Яша.

Гринька лежал на траве со связанными руками. Несколько раз пробовал заговорить со своими мрачными спутниками — ему не отвечали.

Выехали за деревню, в лес.

Гриньке помогли сойти с телеги, привязали к дереву. Сами отошли на несколько шагов.

Федя и Яша зарядили ружья.

Гринька внимательно наблюдал.

В лесу было сумрачно. По макушкам деревьев время от времени дергал верховой ветер, и они зловеще шумели. Тоскливо ухала сова.

Кузьма достал из кармана приказ, зажег спичку и громко прочитал его. Стал медленно складывать бумагу. На Гриньку не глядел.

Федя и Яша вскинули ружья...

— Стой! — крикнул Гринька. — Я расскажу про банду.

Яша и Федя ждали с поднятыми ружьями.

— Говори, — велел Кузьма.

— Я скажу, а эти... стрельнут.

— Нет. — Кузьма немного помедлил. — За то, что скажешь, тебя помилуют. Не совсем, конечно: сидеть все равно придется.

— Расскажу, черт ее бей.

В деревню гнали вмах. Телега подскакивала на рытвинах, трещала и скрипела по всем швам.

У первых домов Кузьма и Яша соскочили, побежали собирать людей.

Федя отвез Гриньку в сельсовет, запер в кладовой и помчался домой за лошадью.

Когда он верхом вернулся к сельсовету, там было уже человек пятнадцать мужиков и парней — все на лошадях и с ружьями.

Кузьма был в сельсовете: ждали еще с дальнего края деревни человек восемь надежных ребят.

Наконец подъехали и эти.

Тронулись в путь.

Кузьма ехал впереди с Федей. Федя знал место, которое указал Гринька. Верст двадцать от Баклани, в таежном предгорье.

Ехали уже часа два. Луна спряталась за плотный облачный полог.

Дорога сначала была торная, но потом, в тесных увалах, сузилась в еле различимую тропку, зажатую с обеих сторон плотной стеной леса и огромными камнями. Отряд далеко растянулся, даже две лошади не могли идти рядом.

«Выбрали место, сволочи», — думал Кузьма.

Федя ехал впереди.

— Далеко еще, Федор?

— Верст семь-восемь.

Прошло еще полчаса. Федя остановил коня.

— Скоро уж... Надо, чтоб не шумели.

Кузьма передал назад: не шуметь!

Медленно и тихо двинулись вперед. У Кузьмы сильно колотилось сердце. Он напряженно, до боли в глазах, всматривался во тьму. Но ничего, кроме размытых очертаний гор на темном небе, не видел.

Лошади осторожно ступали по каменистой тропе, шуршала под ногами мелкая галька. Неожиданно тропинка расширилась и завернула вправо.

— Тут, — шепнул Федя, останавливаясь.

Кузьма осторожно выехал вперед, долго всматривался и вслушивался в ночь. Ничто не подсказывало присутствия здесь людей. «Неужели обманул Гринька?» — со злостью подумал Кузьма.

Сзади подъехал Федя.

— Тут небольшая ложбинка, как тарелка... А в ней полно камней. Они, наверно, в этих камнях.

— Надо сейчас брать. Верно?

Кузьма слез с коня и пошел к отряду. Объяснил, как лучше действовать. Разделились на две группы: одна двинулась в обход слева, другая начала карабкаться по камням вверх, чтобы обойти ложбину справа; справа ложбина примыкала к горе с отвесным почти уклоном. Коней оставили под присмотром двух парней.

Стрельбу открывать договорились по выстрелу Кузьмы.

Он пошел с группой вправо.

Путь был трудный. Лезли по узкому карнизу уклона, цепляясь за выступы камней, за ползучие чахлые кустики. Вдруг сзади под кем-то сорвался большой камень и с треском полетел вниз в ложбину. Сделалось тихо. Все замерли.

— Кто там? — спросил снизу сонный голос.

Тягучая, томительная тишина.

— Кто там? — спросили еще раз, встревоженно.

Опять никто не ответил.

Внизу прошумели шаги. Неразборчиво заговорили. Кто-то приглушенно кашлянул.

Кузьма, сжимая в руке наган, лихорадочно соображал: сейчас начинать или выждать? Внизу вспыхнул факел. Огонь начал приближаться к ним, вверх, освещая ноги в сапогах и замшелые валуны.

Кузьма выстрелил немного выше этих ног. Факел дрогнул, описал путаную кривую и покатился по земле. И сразу со всех сторон начали лопаться ружейные выстрелы. Долина загудела.

Снизу стали отвечать. То там, то здесь, во тьме брызгали узкие стремительные огни. Вразнобой, сухо грохотали винторезы, гулко и дураковато бухали переломки большого калибра, редко пробивались собранно-четкие, тукающие винтовочные выстрелы. Звонко, с надсадой тявкали узкоствольные ружья. Над головами свистела дробь.

Кузьма стрелял из-за камня, ругаясь сквозь зубы. «Не так, не так надо было!.. Черт их достанет там, за камнями! Не окружили... Могут уйти, если поймут, что та сторона свободна. А понять легко, потому что оттуда не стреляют».

— Федя! Зайдем с той стороны! — крикнул Кузьма. И тут же увидел, что его опасения сбываются: огоньки

выстрелов внизу начали продвигаться именно в ту сторону.

— Уйдут! — заорал Кузьма. — Уходят! Братцы!..

Тахх! Тах! Тумм! Тахх! — гремели ружья.

— Пошли-и! Не давай им уходить! — Кузьма вскочил и, спотыкаясь, бросился вниз. Слышал, как сзади громко ломится Федя. Один Федя.

— Ну что-о?! — отчаянно закричал Кузьма тем, кто оставался наверху. — Что-о?!

Еще два парня спрыгнули вниз. Остальные постреливали из-за камней. Не очень хотелось выходить под выстрелы.

Другая группа не могла услышать — далеко.

«Провалили дело», — понял Кузьма, перебежками двигаясь вперед, стрелял по огонькам.

— Ушли! — крикнул ему на ухо Федя.

Кузьма перебежал к следующему камню, зарядил наган и снова начал стрелять. «Надо преследовать», — решил он.

Кто-то — человека три из той группы тоже увязались за отступающими бандитами. «Правильно делают, — похвалил Кузьма. — Мы их замотаем к утру».

— Ушли, — еще раз с тоской сказал Федя. — У их там кони...

Кузьма чуть не застонал: ведь можно было заранее угнать коней-то!

Действительно с той стороны горы у бандитов паслись кони. Приученные к выстрелам, они не разбежались. Бандиты ловили их и группами рассыпались по тайге. Оставшиеся отстреливались. Их становилось все меньше. Наконец последний, часто стреляя, вскочил на коня и ускакал. Все. До обидного просто и быстро.

Кузьма сел на камень, закусил губу, чтоб стало больно. Хотелось зареветь, заорать на кого-нибудь. Но орать нужно было только на себя.

Пристыженные неудачей, злые и мрачные собирались к лошадям. Сморкались, кашляли. Материли перепуганных коней. Подобрали двух раненых бандитов и поехали домой.

К рассвету были в деревне.

Кузьма расседлал коня, вошел в дом, разделся, завалился к стенке, за Клавдю, долго не мог уснуть.

34

Ночью в окно Егоровой избы несколько раз осторожно стукнули.

— Кто? — спросил Егор.

— Отвори.

— Макар?! — Егор открыл дверь. — Ты что, сдурел?

— Огня не зажигай, — сказал Макар. Ощупью прошел к лавке, в передний угол, тяжело опустился. Вздохнул. — Марья дома?

— Дома, — откликнулась с кровати Марья.

— Здорово, Марья.

— Здравствуй, Макар.

— Заделай чем-нибудь окна... хочу посмотреть на вас, — попросил Макар.

Егор завесил окна: одно — одеялом, другое — скатертью со стола. Зажег лампу.

Макар сидел, навалившись боком на стол. В высоких хромовых сапогах, в крепких суконных брюках и в зеленой атласной рубахе, подпоясанной наборным ремешком, — красивый и бледный.

— Соскучился, — сказал Макар, устало улыбнувшись. — Как живете?

— Тебя ж поймать могут! — Егор невольно глянул на дверь.

— Не поймают. — Макар поднялся, достал из кармана какую-то золотую штуку, какое-то женское украшение на шею... Подавая Марье, качнулся — он был пьян. — На... подарок мой тебе. На свадьбе-то не подарил ничего.

— Господи!.. Красивая-то какая! — Марья примерила золото на себя.

— Носи на здоровье. Дай закурить, Егор. Все есть, а вот табачок — не всегда. — Закурил, сел, опять навалившись боком на стол. — Хорошую избенку срубили, я смотрю.

— Про отца-то слыхал?

— Что?

— Посадили ж его?

— Про это слыхал.

— От кого?

— Слыхал... — неопределенно сказал Макар.

Помолчали.

— Трепанули вас вчера, говорят?
— Было маленько.
— Взвозился парень... Упрямый, гад. Накроет.
— Ничего-о, —спокойно протянул Макар. — Поглядим, кто кого накроет.
— Дома не был?
— Нет. Как живете-то?
— Живем, — сказал Егор, нахмурился и нагнул голову. — Ничего.
— Наши как?
— Ничего тоже. У Кондрата жена померла.
— Царство небесное. Отмучился Кондрат.
— Плакал, когда хоронили...
— Ну... привык. Жалко, конечно. Засеяли все?
— Засеяли... что толку? Опять начнут хапать.
Макар поднялся:
— Ну... я поеду. Дай табачку на дорогу.
Егор высыпал ему в карман весь кисет.
— Больше нету. Завтра рубить хотел.
— Хватит этого. Поехал. — Макар вышел.
Под окном тихонько заржал конь... Приглушенно прозвучал топот копыт по пыльной дороге. И все стихло.
— Жалко Макара, — сказала Марья. — Связался с этими...
Егор дунул в стекло лампы, лег на кровать с краю и только тогда сказал:
— Мне, может, самому его жалко.
— Дай твою руку под голову, — попросила Марья и приподнялась с подушки.
— Лежи, — недовольно сказал Егор.
Марья опустила голову.
— Неласковый ты, Егор.
Он ничего не сказал на это. Думал о брате Макаре. Марья с минуту, наверно, лежала тихо, потом вдруг приподнялась и испуганным шепотом спросила:
— Егор!.. А он иде его взял-то?
— Кого?
— Подарок-то! Может, он убил кого-нибудь, да снял? а?
— Откуда я знаю...
— Тошно мнеченьки!.. Как же теперь? Грех ведь!
— Лежи ты! — вконец обозлился Егор. — Не брала бы тогда.
— Так я откуда знала?.. В голову не пришло. Куда

теперь деваться-то с ним? Может, в речку завтра?.. Он же задушит. На нем же кровь чья-нибудь..

— Отдашь завтра мне, я спрячу. А счас спи, не заполошничай.

Утром Агафья вошла в горницу к спящим Кузьме и Клавде. Толкнула Кузьму. Тот быстро вскинул голову.

— Что?

— Вышла сичас, а в дверях бумажка какая-то... На, прочитай.

Кузьма развернул грязный клочок бумаги. На нем химическим послюнявленным карандашом неровно и крупно написано:

«Отпусти отца. А то разорву пополам на двух березах. Так и знай.

Любавин Макар».

— Что там?

— Так... Ерунда какая-то.

— Я думала, святое письмо. У нас, когда церкву сломали, святые письма находили так же вот.

— Нет, тут что-то неразборчиво. Хулиганит кто-нибудь.

— Чего доброго, этих варнаков хватает. В прошлом годе чего удумали, черти. Вот наспроть нас домик-то стоит с зелеными ставнями...

— Ну.

— Там Фекла Черномырдина живет, старая девка. А она шибко жадная до всяких тряпок. Прямо, где увидит лоскуток, затрясется вся. Так они, охальники, додумались: наложили в цветастую тряпочку отброса разного и засунули в скворешню. А кончик тряпки выставили наружу, чтоб его видно было. Ну, встает утром Фекла, видит в скворешне этот лоскуток. «Тошно мнеченьки, говорит, какую красивую тряпочку-то скворушки принесли!» Подставила лесенку, поднялась и залезла рукой в скворешню-то... Ну, вляпалась, конечно. Так ругалась, так ругалась — на чем свет стоит.

— Хм... А кто это делает?

— Да ребята холостые. По целым ночам ходют, жеребцы, выдумывают. — Агафья вышла.

Кузьма вскочил с кровати, одеваясь, сквозь зубы сказал:

— Клюнул, Макар Емельяныч! Клюнул дорогой! Я те разорву на двух березах!

— Ты что это ни свет ни заря соскочил? — спросила Клавдя.

— Надо.

Он ополоснулся на скорую руку, пошел к Феде в кузницу. «Смелый, гад, — думал про Макара. — Не предполагал я, что он так рано побывает здесь».

Проходя мимо недостроенной школы, Кузьма остановился. Долго глядел на нее. «Кончать надо строить, пока погода хорошая стоит. Это памятник тебе, дядя Вася».

Федя был в кузнице. Ковали с Гришкой.

— Выйди-ка на минутку, — позвал его Кузьма.

Вытирая на ходу руки о фартук, Федя вышел на улицу.

— Смотри. — Кузьма вручил ему Макаров листок. — Твой друг-приятель весточку подал.

Федя беспомощно повертел в толстых черных пальцах бумажку.

— Какой друг-приятель?

— Макар. Слушай. — Кузьма взял у него листок, прочитал.

Федя заулыбался.

— Встретим. Год буду под плетнем сиднем сидеть — дождусь.

В тишине ночи, где-то совсем рядом, захлопали выстрелы: короткие, лающие — из нагана — и раза три раскатисто — из ружья.

Егора точно подкинуло с кровати. Он бросился к окну, но на дворе была кромешная темень. Снова раздались выстрелы, кажется — прямо под окном. Потревоженная ночь удивленно заахала: ах! ах! ах!

Егор сшиб ногой табуретку, запрыгал по избе, надевая штаны.

— Зажги огонь! Наверно, Макар...

Марья нашарила на столе спички, трясущимися руками засветила лампу.

Опять начали стрелять.

Егор выскочил на улицу... Некоторое время его не было. Потом в сенях послышались шаги, короткая возня и голос Макара.

— Да погоди! Погоди ты, дура!.. — негромко и быстро говорил Макар.

Егор втолкнул его в избу, сам бросился закрывать сеничную дверь.

Макар, хромая, дошел до кровати, сел. Из левого сапога его текла кровь.

Егор вошел в избу.

На улице опять начали стрелять. Макар сморщился, качнул головой.

— Пропадают люди... Они тебя не видали?

— Могли — я в белой рубахе.

И тотчас в дверь с улицы крепко ударили, — наверно, прикладом.

— Гаси огонь! — приказал Макар. — Дай ружье.

Марья отбежала от окна, дунула в стекло.

— Заряды есть, Егор? Я из нагана все расстрелял.

Егор молчком мотнулся по полати, и оттуда со стуком посыпались патроны. Макар издал какой-то странный горловой звук, зарядил ружье.

В дверь опять сильно застучали.

Егор ощупью нашел на стене еще одно ружье, снял. Тоже зарядил.

— Становись к окну. А я — у двери. Вместе не стреляй, — распоряжался Макар.

— Много их?

— Четверо, однако.

В дверь забарабанили в три приклада.

— Выходи! Все равно бесполезно! — крикнул кто-то с улицы.

Макар, вышагнув за порог, остервенело всадил заряд дроби в сеничную дверь.

С улицы ответил наган.

— До света бы уложить всех... — с тоской проговорил Макар, — и я бы спасен.

Егор качнулся от окна, осторожно прокрался в сени.

— Иди к окну, — шепнул он Макару. — Здесь одна дырка есть... попробую...

Макар дохромал до оконного косяка. За окном в этот момент ухнул выстрел, и среднее стекло брызнуло по избе звонким дождем. Почти одновременно с этим в сенях загремело ружье Егора. На улице кто-то коротко застонал и смолк.

Макар взвизгнул от радости... Стал перед окном на колено и сразу выстрелил по какой-то тени, мелькнувшей во дворе.

В это время раздался страшный удар в дверь. Одна доска вылетела, и в пролом два раза выстрелили. Егор шарахнулся в избу... Но успел тоже выстрелить в пробитую дверь. Судорожно зашарил рукой по полу.

В дверь опять ударили.

— Макар, скорей сюда!

Еще удар в дверь. Еще одна доска затрещала. И стало тихо.

— Слышь, — шепотом позвал Макар.

— Ну.

— Стой у дверей... я попробую в окно выскочить.

— Зря. Не надо, — сказал Егор.

Макар, не слушая брата, высадил прикладом раму. Егор выстрелил в дверь, в щель. С улицы — по двери и по окну сразу. Макар едва успел пригнуться.

— Нет, не выйдет. Пропал я, Егор. — Макар пополз по полу, шаря патроны. — Обложили. Патронов нет больше?

— На, у... меня... два есть, — слегка заикаясь, сказал Егор.

— Выходи, а то хуже будет! — предложили с улицы.

Макар быстро вскинул ружье, выстрелил в окно на голос.

— Не порть зря, — зашипел Егор.

Макар подполз к окну, положил на подоконник ствол переломки и громко сказал:

— Сдаюсь!

— Выброси ружье!

Макар не уловил точно, откуда прозвучал голос, и еще раз сказал:

— Сдаюсь, чего вам еще?

— Выброси ружье, тебе говорят!

Макар довернул ствол влево и выстрелил. С улицы ответили.

— Еще есть? — спросил Макар.

— Нету, — прохрипел Егор.

— Так. Все, братка... Прячь ружье. Я сдамся.

— Зачем?

— Потом убегу. А счас пришить могут. Прячь, чтобы тебя не запутали.

Егор сунул ружье под печку.

— Держи! — Макар выкинул ружье в окно. Оно упало, тяжело звякнув.

Егор зажег лампу.

В сенях заскрипели шаги. Вошел Кузьма. Быстро оглядел избу, увидел на печке бледную как смерть Марью... Задержал на ней взгляд на секунду дольше, чем нужно было, чтобы убедиться: жива!

Макар стоял у окна, глупо и напряженно улыбался, глядя мимо Кузьмы.

Егор дрожащими пальцами застегивал рубашку.

— Пошли, — кивнул Кузьма Макару.

— Покурить можно? — спросил Макар каким-то не своим голосом. Даже Егор с удивлением посмотрел на него.

— Там покуришь. Иди.

— Та-ак... — Макар понимающе прищурился. — Даже покурить нельзя? — Медленно, как-то боком, двинулся к выходу. — Кокнешь по дороге?

— Иди.

Макар поравнялся с Кузьмой, совсем замедлил шаг. Кузьма несколько отступил. Макар точно ждал этого — резко, словно падая, качнулся вперед и снизу вверх, в челюсть, бросил Кузьму на кровать. Сам кинулся к окну.

Кузьма привстал, но тут же нарвался на кулак Егора, от которого мешком свалился на пол и выронил наган.

Макар вымахнул в окно и... сразу споткнулся, обожженный двумя выстрелами в упор. Даже ногами не копнул, — как бежал, так, с ходу, уткнулся лицом в сухую, теплую землю.

В избу вбежали двое.

Егор поднял руки.

35

Разговор с Гринькой произошел ночью в сельсовете.

— Я тебя отпускаю, Гринька. Иди.

— Совсем?

— Совсем. Иди в свою банду.

— Не удалось накрыть?

— Нет. Но главаря там уже нету.

— А где он?

— Весь вышел.

— Ну, главарей там хоть отбавляй. А зачем ты меня отпускаешь?

— Знаешь, что я думаю?.. Иди туда и посмотри хорошенько на них...

— Я ведь не с ними был, — сказал Гринька неохотно. — Просто — знал, где они...

— А сейчас иди к ним.

— Но сказать потом про них... не смогу все равно.

— Почему?

— Я сам такой.

— Другим станешь. Тебе эта жизнь давно осточертела. Я вижу.

— Нет, — твердо сказал Гринька. — Ты парень хороший, но не могу... Лучше не отпускай тогда.

Кузьма долго смотрел на Гриньку.

— Но ты же один раз выдал их.

— Это — когда приперло. Смерть принимать за них я не собираюсь.

Помолчали.

— А с гумагой ты меня все ж таки облапошил! Молодец! — похвалил Гринька.

— Струсил?

— Струсишь...

Опять замолчали. Гринька курил. Кузьма смотрел в окно, обхватив челюсть, сильно болела.

— Ты любил когда-нибудь, Григорий? — неожиданно спросил Кузьма.

— Кого?

— Ну... девку, бабу...

Гринька невесело ухмыльнулся.

— Я-то любил... — Он долго смотрел на папироску, словно не решался говорить дальше, главное. Потом сказал: — А вот меня — не шибко. А я, может, и сичас люблю.

— Что ты говоришь! Расскажи.

— Хм! — Гринька с усмешкой посмотрел на Кузьму. — Тебе зачем?

— Интересно. У меня... Ну, интересно.

— Да тут и рассказывать нечего. Живет в одной деревне вдовая баба. Девчонка у ней лет восьми... не от меня, конечно. От мужа. Он бросил ее.

— Ну?

— Ну вот... не любит меня эта баба. А я люблю.

Она, наверно, присушила меня. Деньги берет, а как переночевать, скажем, — не пускает.

— Ну, а ты что?

— А что я?.. По-хорошему-то надо бы задрать юбку да выдрать ремнем. А у меня рука не подымается.

— Не трогай. Раз не любит — ничего не сделаешь. Хорошая баба?

— Ну!.. — Гринька весь засиял. — Бывает, примерзнешь где-нибудь в лесу — хоть волком вой. А как ее вспомнишь, так, может, не поверишь, сразу жарко становится. Загляденье, не баба. Так бы и съел ее, курву такую...

— Ладно, Гринька. Иди. Думаю, что ты еще придешь к нам. А баба правильно делает, что не любит. Перестань бродяжничать — полюбит. Это я тебе точно говорю.

Гринька еще с минуту сидел, как будто не хотел уходить. Задумчиво смотрел на огонь лампы. Потом встал и пошел к порогу. В дверях остановился:

— Не приду я, парень.

— Придешь. Могу спорить: до зимы придешь.

Гринька усмехнулся и вышел, осторожно прикрыв за собой дверь.

Кузьма навалился грудью на стол, положил голову на руки. Закрыл глаза. Болела челюсть (как еще зубы не вышиб Егор!), болела голова. Да и устал он за последние дни. Слишком много было всего... Обдумать бы надо все дела, а думать ни о чем не хочется.

В открытое окно с улицы веет прохладой. Где-то на краю деревни прокричал первый петух. Потом заголосило сразу несколько в разных концах, и скоро отовсюду неслось пронзительное, с деловой хрипотцой и надсадой: «Ку-ка-реку-у!»

«Сейчас наш гаркнет», — подумал Кузьма. (Был один петух, который каждую ночь приходил из соседнего двора и орал под сельсоветскими окнами, с плетня. Как будто специально делал, подлец.)

Действительно, за окном шумно захлопали крылья и тишину ночи прорезал звонкий сторожевой крик.

«Хорошо! Давай еще!»

Но петух прыгнул с плетня и удалился к своим курицам.

Опять стало тихо.

Ночь бесшумно летела на своих больших мягких крыльях.

Около головы Кузьмы тихонько шипела семилинейная лампа — очень ласково. На сердце от этого делалось покойно. «Не буду ни о чем думать», — решил Кузьма, и тотчас в голове зашевелились разные мысли: о Гриньке, о Марье, о братьях Любавиных. «Правильно сделал, что отпустил Гриньку или нет? Кажется мне, что он придет. Что с Любавиным делать, с Марьиным мужем?.. А Марья?.. Нет, о Марье не буду думать. Не хочу. И не буду...» Мысли стали путаться в голове. Все отодвинулось куда-то, стало далеким и безразличным.

Проснулся оттого, что хлопнула дверь. Вскинул голову — у порога стоит Марья. Держится рукой за дверную скобку, смотрит на него. Подумал — сон, улыбнулся. Она подошла к столу, села. А сама все смотрит и смотрит на него — внимательно и скорбно. «Что она так?.. Как будто я умер».

— Я к тебе пришла... Мне Клавдя сказала, что ты здесь.

«Это не сон, — понял Кузьма и подумал в смятении: — Зачем же она?»

— Отпусти Егора.

— А-а... — вырвалось у Кузьмы. Он встал и опять сел. — Не могу отпустить. — Помолчал и еще раз сказал: — Не могу. Они Федора ранили.

Марья внимательно глядела на него.

«Любит она Егора», — подумал Кузьма и вдруг понял, почему он с таким жестоким упорством сказал, что не отпустит ее мужа: потому, что она любит его.

Он встал, сцепил за спиной руки, заходил по избе.

— Как же я могу его отпустить? — Кузьма остановился перед ней.

— Он не виноватый.

— Ну? А стрелял кто? А кто... Не могу! Все. — Кузьма крутнулся на каблуках и опять начал вышагивать от стола к порогу и обратно.

— Он за брата заступился.

— А мне какое дело?

— Он не стрелял...

— Стрелял. Стреляли из окна и из двери.

— Отпусти его, Кузьма, — почти шепотом сказала Марья.

Кузьма почувствовал, что на какую-то долю секунды у него закружилась голова... Сдвинулись с места окна, дверь, Марья... Он перестал понимать: что, собственно,

происходит? Ночь, никого нет, сидит у стола Марья — совсем близко, в белой застиранной кофточке... смотрит на него. Может, это все-таки сон? Он напряг память и вспомнил, о чем он с ней говорил: о ее муже. Нет, не сон.

— Не отпустишь?

— Нет.

Марья заплакала и сквозь слезы тихонько запричитала:

— Да как же я теперь... Хороший ты мой, отпусти ты его. Пожалей ты меня... Ну, куда же я одна-то? У нас ведь скоро... Не виноватый он совсем...

Кузьма не знал, что делать. Уйти бы сейчас отсюда — лучше всего. Но как же, куда уйдешь?!

— Не плачь. Не надо... Что уж ты так?

— Как же мне не плакать, Кузьма? Да я в ноги тебе упаду. — Она действительно брякнулась Кузьме в ноги. Тот подхватил ее под руки, поднял.

— Не плачь... Перестань. Не надо плакать.

Никогда еще лицо ее не было так близко — так невероятно, неожиданно и страшно близко. Оно было мокрое от слез, измученное тревогой — красивое, самое дорогое.

Кузьма закрыл глаза, резко отвернулся. Отошел, как пьяный, к окну... Сел на подоконник.

— Уйди, Марья. Тяжело. Уйди. Егора отпущу.

На рассвете пошел дождь. Зашумел ветер. В стекла окон мягко сыпанули крупные редкие капли. Потом ровно и сильно забарабанило по железной крыше. Запахло пылью и старым тесом.

Дождь шумел, гудел, хлюпал... Множеством длинных ног своих отплясывал на крыльце... Звонко и весело лупил по ведру, забытому на колу. Под окнами журчало и всхлипывало. Казалось, настроился надолго. Но кончился он так же неожиданно, как начался. По мокрой листве бойко пробежал ветер, и все стихло. Только с карнизов срывались капли и шлепались в лужи.

Утро занималось ясное, тихое. В синее, вымытое небо из-за горы выкатилось большое солнце. Мокрая земля дымилась теплой испариной и дышала, дышала всей грудью.

Поздно вечером Ефим Любавин вошел во двор к Егору. С любопытством, долго разглядывал разбитую дверь, потом открыл ее и, не входя в избу, позвал:

— Егор! Ты дома?

— Дома, — откликнулся Егор.

— Выйди, покурим.

Егор вышел, обирая с черной рубахи мелкие кудрявые стружки.

Сели на бревно около конюшни.

— Схоронили? — спросил Егор.

— Схоронили. Чего ж не пошел?

— Не могу я его видеть... такого.

— Там было дело, — вздохнул Ефим. — Мать водой отливали.

Егор скрипнул зубами, нагнул голову.

— Белый лежит... хороший, — рассказывал Ефим. — Прямо верба вербой. Большой какой-то исделался сразу.

— Куда попали?

— В бок, вот сюда, — Ефим показал рукой чуть ниже сердца, — и в висок... картечиной.

— Никогда этого не забуду, — тихо, но твердо пообещал Егор.

— Вот, я как раз поэтому и зашел. — Ефим строго посмотрел на младшего брата. — Первое дело: не вздумай сейчас пороть горячку. Хорошо еще — самого отпустили. Могли приварить, как милому. — Ефим помолчал, потом понизил голос и спросил: — Кто из вас Федето попал?

— Куда ему?

— В грудь. Да поверху как-то, — он, наверно, аккурат в этот момент повернулся. Доктора привозили из города. Длинноногий ездил. Выковыряли дробины.

— Надо было картечиной.

— Макара я тоже не одобряю, — заговорил серьезно и рассудительно Ефим. — У него, у покойника, сроду на уме была одна попожовщина. Сколько раз ему говорил: «Гляди, Макар, достукаешься когда-нибудь». Ну! Рази ж послухают!

Егор молчал, кусая зубами соломинку.

— Наше дело, Егор, спетое... Теперь помалкивай в тряпочку и не рыпайся. Ничего не попишешь — ихняя взяла. Раз уж не сумели...

— Какой-то ты... — Егор выплюнул соломинку, хмуро посмотрел на брата, — шибко умный, Ефим! Нас будут стрелять, а мы, по-твоему, должны молчать в тряпочку?

— Вас стрелять!.. А вы не стреляли? Кто старика городского-то хлопнул? Не вы, что ли?

Егор не ответил. Подобрал новую соломинку. Закусил в зубах.

— За тебя Марья хлопотать ходила?

— Она.

— Сумнительно мне, почему выпустили. Что-то не так...

— А что? — Егор так резко крутнул головой, что шейные позвонки хрустнули. Заметно побледнел.

— Ну, думают, наверно, что ты связан с этой шайкой... Следить, наверно, будут.

Егор отвернулся, осевшим голосом, устало сказал:

— Пускай следят.

Помолчали.

— Не могу никак с отцом сладить, — пожаловался Ефим. — Одурел совсем на старости лет: жеребцов каких-то покупает, веялки... Нашел время! А перед тем как Макара убить, привез двух каких-то бродяг из Мангура. Они ему дня три лес возили, он их потом напоил и выгнал — ничего не заплатил. Они — в сельсовет. Хорошо — там Елизар как раз сидел. Пришел вместе с этими мужиками к отцу. Тот на Елизара орать начал. Так ничего и не заплатил.

— А как он сейчас, после отсидки? — поинтересовался Егор, с любопытством прищурив глаза.

— Пьет второй день. Как случилось с Макаром, так начал...

— Эх, Макар, Макар... — Егор низко наклонил голову. — Как вспомню, так сердце кровью обольется. Как же они его быстро!.. У тебя самогон дома есть?

— Есть маленько.

— Пойдем, я хоть выпью. Может, полегчает.

Они поднялись и пошли по улице, большие, придавленные горем. Ефим сморкался на обочину дороги и все что-то говорил, Егор смотрел себе под ноги, и непонятно было: слушает он Ефима или думает о чем-то своем.

36

Федя лежал забинтованный от шеи до пояса. Очень слабый. Дремал или смотрел в потолок — подолгу, задумчиво.

Хавронья тоже еще не оправилась от своей болезни. Лежала на печке.

К ним часто приходили Яша Горячий и Кузьма.

Яша рассказывал деревенские новости, а также о том, как и из-за чего у них сегодня произошло «сражение» с женой.

Семейная жизнь Яши Горячего давно и безнадежно не только дала трещину, но просто образовала зияющую щель. Виноват во всем был господь бог.

Яша почему-то (он никому не объяснял, почему) с детства люто невзлюбил бога. И когда приехали из района решать судьбу старой деревенской церквушки, он первый изъявил желание влезть на маковку и сшибить крест. Влез и сшиб на глазах у всей деревни. Сколько проклятий, молчаливых и высказанных вслух, неслось тогда по адресу Яши! Каждый шаг его на церкви сторожили десятки внимательных глаз: ждали — вот-вот оступится Яша и полетит вниз. Яша не оступился. Добрался до верха, вынул из-за пазухи топор и, поплевав на руки, начал крушить обухом святое знамение. Своротил, проследил глазами за падающим крестом, выпрямился и громко спросил у всех:

— Что же он в меня стрелу не пустил, а?!

Никто ему не ответил.

На другой день после этого все верующие были потрясены новым неслыханным святотатством: Яша за одну ночь смастерил из самой большой церковной иконы воротца в хлев. Собрались старики, хотели побить Яшу, но он вышел с ружьем на улицу, и никто к нему не подошел. Направили аж в уезд делегацию с жалобой на Яшу. Приехал какой-то начальник и велел снять икону.

Жена Яши, некрасивая чернявая баба, уходила от него, опять приходила, ругалась, плакала, умоляла... Ничто не помогало. Яша был верен себе. Разучил «Интернационал» и каждое утро исполнял его, стоя в переднем углу по стойке «смирно». На словах: «Никто не даст нам избавленья, ни бог, ни царь...» — Яша весь подбирался и пел так громко, что у соседей было слышно. В ближайших домах крестились. Жена уходила куда-нибудь на это время. В избе с Яшей оставался отец жены, тесть Яши, Степан Митрофанович Злобин, старый высохший человек, много лет прикованный к постели какой-то непонятной болезнью — обезножел.

Яша кончал петь, трижды плевал в красный угол, где раньше висели иконы, и говорил:

— Вот тебе в седую бороду, вот тебе, вот, козел.

Набожный Степан, чуть не плача, говорил:

— Чтоб тебе провалиться, окаянному! Дождесся ты все-таки, будут тебя, отступника, на угольях жарить...

— Хватит, — спокойно говорил Яша. — Меня триста лет в темноте держали. Насчет углей не пужай. Я не из робкого десятка.

— Богохульник! Анчихрист! Дурак! Наломал бы я тебе сичас бока, но не могу.

— Вот и лежи там, помалкивай. Если он у тебя шибко хороший, твой бог, чего же он тебя на ноги не поставит?

Кузьма, заинтересованный всем этим, однажды долго допытывался у Яши, за что он так яростно ненавидит бога. Яша под большим секретом рассказал:

— Я был один у матери и шибко жалел ее. Отца у меня не было... Ну, был, конечно, но я его не знал.

— Как?

Ну, как бывает... Нагуляла меня мать. Ну вот... Чуток подрос я, стал мало-мало соображать, что к чему, и приметил: похаживает к нам в избушку попик. Как стемнеет, так мать меня раз — посылает куда-нибудь. Я из дома, а поп в дом. Заело меня. Прямо места не нахожу. Один раз взял ружье, зарядил патрон солью и подкараулил попа. Только он вышел от нас, спустился с крыльца-то, я ему и всадил горсть соли в зад. Кэ-эк он подпрыгнет! Как припустит бежать!.. Я чуть со смеху не умер. Ну, узнали они, чья это работа. Поп отлежался на печке, заманил меня как-то вечером в церкву и так извозил медным крестом, что я с месяц, однако, не мог подняться. Орал тогда на всю церкву, а он, гад такой, затыкает мне рот своей рясой, а сам крестом по бокам лупцует. Два ребра сломал. Да-а... А тут мать у меня захворала и померла. Молодая еще была. Когда умирала, подозвала к себе и тут мне и сказала, что, значит, поп этот — есть мой отец. Возненавидел я попа пуще прежнего. Из-за него, змея ползучего, мать раньше время в могилу ушла. Она была ладная собой... бедная, конечно, но все же могла бы подыскать себе какого-нибудь парня. А тут — я. Кто же возьмет с ребенком? Помучилась-помучилась да и померла. Надорвалась.

Остался я один. Пришлось хлебнуть горя. Родных-близких никого нету, молодой еще... Вспоминать даже неохота. В обчем, батрачил ходил: где день, где ночь — сутки прочь. А он тут же, в нашей деревне, жил и, ска-

жи, хоть бы раз кусок хлеба вынес: на, мол, поешь. Ведь сын все ж таки! Ни в жизнь! Увидит, бывало, на улице — отвернется. Ах ты гад такой... отец святой! Вот тогда я и на бога разозлился... Но я все ж таки допек его. Дом у него был здорове-енный, крестовый. Я этот дом поджег. Сгорел домик. Как он глядел тогда на меня, этот поп! Дай волю — съел бы с костями. Знает, гусь лапчатый, что это я поджег, а как докажешь? Отстроил второй дом, поменьше, правда. Этот я тоже поджег. Тут уж он не выдержал — уехал в другую деревню, в Верх-Малицу. Хотел я туда сходить, пустить петуха еще раз, но пожалел его ребятишек. Ну, потом женился я. Женился — так... без всякого выбора. Батрак, ни кола ни двора. Какая уж пошла, такая и моя. Вот так было дело, друг. Вишь, какая жизнь-то!..

С Федей Байкаловым дружил Яша давно и трогательно. Собственно, во всей деревне один Федя и знался с Яшей, и Яша платил ему за это беззаветной любовью и преданностью.

Он приходил к нему, садился у изголовья и часами рассказывал разную ерунду — только чтоб другу не было тоскливо.

Кузьма тоже заходил к Феде каждый день.

Однажды Хавронья подозвала его к себе и на ухо, чтобы не слышал Федя, сказала ему:

— Ты, парень, не ходи больше к нам.

— Почему? — тоже шепотом спросил Кузьма.

— Сгубишь мне мужика. Он, сам видишь, какой... Совсем доконают где-нибудь. Не втравливай уж ты его никуда больше. И не ходи. Скажи, что некогда, мол... Он отвыкнет.

— Чего это там? — спросил Федя, подозрительно скосив глаза на жену.

Кузьма отошел от Хавроньи, удивленный и обиженный ее простодушной просьбой.

— Это она просила, чтобы я лекарство одно достал, — успокоил он Федю. «Хитрая какая нашлась! Ходил и буду ходить. Не к тебе хожу».

И еще один человек приходил каждый день к Байкаловым — Марья.

Проводив мужа на работу, она бежала в соседнюю

избушку, к Байкаловым. Доила корову, пекла хлеб, кормила больных...

Федя с утра начинал поджидать Марью, вздрагивал при каждом стуке и смотрел на дверь.

А когда Марья наконец приходила, он не сводил с нее добрых, тихо сияющих глаз. Почти не разговаривал. Только смотрел.

Марья распоряжалась в их избе, как в своей, — деловито, уверенно. Иногда, почувствовав на себе Федин взгляд, она оборачивалась к нему и улыбалась. Федя краснел и тоже застенчиво улыбался. Отводил глаза.

Хавронья то и дело встревала, как казалось Феде, с ненужными советами, подсказывала, где найти чугунок, крынку, куда поставить снятые сливки...

— Марьюшка, — говорила она жалостливым голосом, — это молоко процеди, матушка, и перелей... там под лавкой у меня малировано ведро стоит, перелей в это ведро и вынеси в погребок.

Убравшись по хозяйству, Марья кормила больных.

Подсаживалась на кровать к Феде (он опять краснел), устраивала чашку с супом у себя на коленях, и Федя свободной рукой (другая была прибинтована к телу) осторожно, чтобы не накапать Марье на юбку, носил из чашки. Марья смотрела на него и иногда говорила:

— Здоровый же ты, Федя! Как только выдюжил...

Федя шевелил бровями, подыскивал какие-нибудь хорошие слова и не находил. Неловко усмехался и говорил:

— Да ну... чего там...

Один раз он долго глядел на нее и вдруг сказал:

— Зря за Кузьму тогда не пошла.

Теперь покраснела Марья. Поправила рукой волосы, коснулась ладошками горячих щек. Сказала не сразу:

— Не надо про это, Федор.

— Почему?

— Ну... не надо.

Как-то Егор вернулся с работы раньше обычного. Выпрягая из телеги коня, увидел через плетень в байкаловской ограде Марью. Он не окликнул ее. Вошел в избу, дождался.

Марья вскоре пришла.

— Где была? — спросил Егор.

— Помогла вон Байкаловым...

— Еще раз пойдешь туда — изувечу.

— Да ведь хворые они лежат!

— По мне они хоть седня сдохни, хоть завтра. Соль дешевле будет.

37

Возобновились работы на стройке.

Уже возвели крышу и теперь настилали пол, рубили окна, двери...

Один раз, с утра, туда пришел Ефим Любавин.

— Хочу пособить вам, — сказал он, улыбнувшись Кузьме.

— Хорошее дело, — сказал Кузьма, отметив, однако, что глаза у этого Любавина такие же, как у всех у них, — насмешливые и недобрые.

Клавдя, как и раньше, приходила в обед к школе, приносила в корзинке такие же вкусные пирожки и шаньги. Только радости она с собой теперь почему-то не приносила.

Кузьма молча устраивался на каком-нибудь кругляке, молча ел.

Клавдя не могла не заметить этой перемены, хотя виду не подавала. Внешне все было благополучно.

Но один раз Кузьма глянул на нее и поразился: в глазах у веселой, спокойной Клавди устоялась такая серьезная черная тоска, что он растерялся.

— Ты что это, Клавдя?

— Что?

— Какая-то... Чего ты такая грустная?

— Ничего, — Клавдя усмехнулась, — показалось тебе.

Кузьма решил поговорить с ней ночью.

Но она и ночью не хотела говорить о том, что ее терзает. И только когда Кузьма обнял ее, приласкал, она вдруг заплакала и сказала:

— Сохнешь об Маньке... Вижу. Все знала, заранее знала, что будешь сохнуть, только ничего не могла с собой сделать...

— Брось ты, слушай... — Кузьма не знал, что говорить. А если бы было светло, то и смотреть не знал бы куда.

— Думала, привыкнешь... забудешь ее...

— Брось ты, Клавдя. — Кузьма поцеловал ее в обветренные губы и невольно подумал: «Нет, что-то не то».

— Посылала тогда ее к тебе в сельсовет, а у самой сердце разрывалось на части... Знала...

— Ну, хватит! Ты как заведешь одну песню, так не остановишься. При чем тут сельсовет! — Кузьма отвернулся и стал смотреть в окно. В темном небе далеко играли зарницы. Лопотали листвой березки... Скрипел от ветра колодезный журавль, и глухо стукалась о края сруба деревянная бадья.

Клавдя притихла на руке мужа: может, заснула, а может, думает самую горькую думу на свете, которую никто еще никогда до конца не додумал.

38

Егор корчевал пни — расширял пашню. Уставал. Приезжал поздно вечером, наскоро ел, раздевался и падал в кровать. А Марья зажигала лампу и садилась шить своим братьям и сестрам штаны и рубашонки. Шила — и думала, думала.

В гости к ним редко приходили.

Один раз, рано утром, заявился Емельян Спиридоныч.

Обошел весь двор, заглянул в пригон, в конюшню, покачал стойки, плетни. Потом вошел в избу. Поздоровавшись, сказал:

— Там один столбик в пригоне заменить надо — подгнил.

— Знаю. Руки не доходят, — отозвался Егор.

Марья начала торопливо собирать на стол. Молчала.

Емельян походил еще по избе, оглядел окна, постучал в стены, сел к порогу курить.

— Ничего изба получилась.

— Не жалуемся, — ответил Егор.

— Ты все корчуешь? — спросил Емельян.

— Корчую.

— Чижало одному. Завтра пришлю тебе двух мужиков. Из Ургана.

Егор не сразу согласился.

— У меня пока платить нечем.

— Я расплачусь, — сказал Емельян Спиридоныч. — Потом отдашь. Эт Ефим все учит меня жить, все боится чего-то... Побежал школу строить, дурак хитрый. Тьфу! — Емельян Спиридоныч в сердцах плюнул на папироску, кинул ее в шайку. — Я вот зачем пришел: надумали мы с Кондратом сено вывезти...

— Зачем сейчас-то?

— Надежней. Хотели попросить твою бричку... А может, и сам бы помог.

— Седня, что ли?

— Когда же?

Егор подумал.

— Ладно, приеду.

— Тятенька, завтракать с нами, — пригласила Марья, немножко взволнованная приходом свекра. — У нас, правда, не шибко на столе-то...

— Мы уж похлебали, — отказался Емельян Спиридоныч. — Мать лапшу с гусятиной варила. Ешьте. Я пойду. Ненастья бы не было — спина что-то болит. — Он, кряхтя, поднялся, взялся за скобку, спросил, ни на кого не глядя: — Марья-то брюхатая, что ли?

— Четвертый месяц, — ответила Марья и покраснела.

Егор хмуро сопел, гоняя черепком ложки таракана по столу.

Емельян Спиридоныч также хмуро мотнул головой и вышел.

Некоторое время молчали.

— До чего же вы все нелюдимые, Егор! — не выдержала Марья. — Просто на удивление. Ну что бы ему посидеть с нами хоть для блезира, спросить: как, мол, живете?.. Ведь отец он тебе!

— Что он, сам не видит, как живем, — лениво отозвался Егор.

— Да разве в этом дело?

— В чем же?

— Ну, я уж не знаю... Зачем же тогда жить, если так будем... как буки смотреть друг на друга? Ни ласки, ни привета.

— Хватит! — оборвал ее Егор. — Разговорилась...

Изредка забегал к ним Сергей Федорыч. Сидел, пил чай с вареньем и рассказывал что-нибудь. Рассказал, как один раз давно-давно они со Степанидой, покойницей, ездили в город...

— А там, в городе, — тихо говорил он, посматривая на Марью, — жила тогда материна сестра, тетка твоя — Настасья. А эта Настасья была замужем за богатым человеком. Он у нее не то купец, не то служил где-то. Шибко богатый. Дом об двух этажах, а в доме ковры всякие, зеркала... живой воды только не было. А вышла

за него Настя шибко чудно. Приехал тот человек в деревню по своим каким-то делам и подвел к колодцу коней поить. А Настя-то как раз по воду пришла. Он увидел ее и говорит: «Где живешь?» — «Вон, недалеко», — Настя-то. Поехал тот человек к деду твоему. Ну, тарыбары... Я, мол, такой-то, хочу, мол, вашу дочь за себя взять... Да-а... Ну, и увез в тот же день. Они сильно красивые были, Малюгины-то. Да. Так вот, приехали один раз в город и остановились ночевать у Насти. И сидели мы со Степанидой на печке и смотрели, как живут добрые люди. Какая же это красота! К ним как раз гости сходились. И до чего все обходительные! Входит какой-нибудь, весь в золотых цепях, при шляпе. Входит — и не то чтоб там «здрасте» или «здорово живете», а обязательно скажет: «Честь вашей красоте». А ему отвечают: «Салфет вашей милости». Насмотрелись тогда на них!

Или рассказывал Марье еще про что-нибудь... Иногда Марья почему-то плакала. А Сергей Федорыч говорил:

— Ничего, ничего, дочка, обойдется.

Один раз их застал Егор. Пришел откуда-то мрачный. Буркнул с порога невнятное «здорово», смахнул с плеч пиджак, достал из-под печки недоструганное топорище, сел на лавку и принялся стругать. На гостя — ноль внимания, как будто его здесь нету.

Сергей Федорыч опешил. Встал, начал торопливо одеваться. Заговорил, чтобы хоть что-нибудь сказать:

— А вот зашел... Дай, думаю, посмотрю: как они там?

Егор ухом не повел. Продолжал стругать.

Марья с изумлением и болью смотрела на мужа.

— Да ты сядь, тятя! Чего вскочил-то? Сядь, — сказала отцу.

— Да мне шибко-то рассиживать... Я вот попроведал и пойду. Там ребятишки заждались, наверно... Бывайте здоровы.

Егор даже головы не поднял, даже не кивнул.

Сергей Федорыч вышел из избы, дождался в ограде дочь.

— Ну, девка, попала ты к людям! Мать честная, какие они!..

Марья стала жаловаться:

— Прямо не знаю, что делать. И вот всегда так. Сил моих больше нету. Он меня и по имени-то не зовет. «Эй!» — и все.

Сергей Федорыч покряхтел, высморкался, развел руками.

— Что тут делать?.. Сам ума не приложу. Может, одумается еще, обживется. Ну, люди! Верно говорят — не из породы, а в породу. Я думаю, это от жадности у них. Ведь жадность-то несусветная!

— Погоди, ребятишкам отнесешь чего-нибудь.

— Да ладно уж... не бери ты у них ничего.

— Пошли они к чертям!

Марья сходила в сени, вынесла в платке большой узел муки и кусок сырого мяса.

— Нате вот, — пельмени сделаете.

Сергей Федорыч взял узел и пошел домой, сгорбившись.

Марья долго смотрела ему вслед, потом вошла в избу. Егор сидел у стола, задумчиво смотрел в угол.

— Ну, Егор, давай говорить прямо, — начала Марья с порога. — Ты все время моего родителя так принимать будешь?

Молчание.

— Егор!

— Што? — Егор медленно повернул голову и не мог — не захотел — пригасить в глазах злые, колючие огоньки.

— Ты все время...

— Я их всех ненавижу, всю голытьбу вшивую. Дождались, змеи поганые, своей власти... Радуются ходют. Нарадуются!

Марья сдержала волнение, негромко сказала:

— Дай господи, рожу ребенка — уйду от тебя, Егор. Знай.

Егор спокойно выслушал, долго сидел неподвижно. Потом положил голову на руки, тихо, без угрозы, сказал:

— Далеко не уйдешь.

39

Федя скоро поправился. Ходил уже на работу и, когда его очень просили, поднимал подол рубахи и показывал мелкие шрамистые рытвинки — следы дроби.

— Две там сидят. Не могли достать, — не без гордости говорил он.

Поправиться-то он поправился, но... что-то случилось с Федей. Он загрустил. Всегда был на удивление спокойный, с хорошим, ровным настроением, а тут... Просто

непонятно. После работы уходил Федя на Баклань и стоял на берегу столбом — смотрел на воду, подкрашенную свежей краской зари, на дальние острова, задернутые белой кисеей тумана, на синее, по-вечернему тусклое небо. Подолгу стоял так.

Стремится с шипением бешеная река. Здесь она вырывается из теснины каменистых берегов, заворачивает влево и несется дальше, капризно выгнув серебристую могучую спину.

Хавронья женским чутьем угадала, что происходит с Федей.

Однажды вечером он сидел задумчивый у окна. На дворе было ненастно. В окна горстями сыпал окладной, спорый дождь.

Хавронья вернулась от соседки. Долго, как курица, отряхивалась у порога, посматривала на Федю.

Тот не хотел замечать ее.

Хавронья разделась, села к столу, напротив мужа. Долго молчала. Потом вдруг спросила:

— Ты что, влюбился, что ли?

— А твое какое дело? — ответил Федя, продолжая смотреть в окно.

Хавронья схватилась за бока и захохотала. Да так фальшиво, что Федя с изумлением посмотрел на нее.

— Ой, матушка, царица небесная! Уморит он меня совсем! О чем ты только думаешь своей корчагой?

Федя не счел нужным вступать в разговор.

— Как ты можешь понимать, что такое любовь? — не унималась Хавронья.

— Зато ты шибко умная. Неохота мне с тобой разговаривать, — отрезал Федя, не стерпел.

Хавронья опять притворно засмеялась.

— Да ведь ты же... как тебе сказать?.. Ты же лесина необтесанная! А туда же — про любовь думаешь. Ведь я же на тебя и так без смеха не могу глядеть, а ты взял да еще влюбился. Ну не дурак ли?!

Федя невозмутимо смотрел в окно.

— Так чего же ты сидишь-то? Ты иди и скажи: так, мол, и так, Марья, влюбился в тебя. Может, Егорка-то ноги хоть тебе переломает там.

— Заткнись варежкой, — сказал Федя.

— Завтра скажу Марье. Хоть посмеемся вместе.

Федя медленно повернулся к жене:

— Я так скажу, что ты в землю уйдешь до пояса.

Хавронья презрительно махнула рукой:

— Молчи уж, баран недобитый...

А через два дня Хавронья застала мужа (она не то что следила за ним, но все же приглядывала) за необычным занятием: Федя пробрался в высокую крапиву, присел на корточки к плетню и смотрел через него в соседнюю ограду — на Марью.

Марья только что вернулась с речки, развешивала мокрое белье.

Нежарко горело июльское солнце. Пахло увядающей ботвой и полынью.

Марья, в белой кофте и черной, туго облегающей бедра юбке, ходила босиком по ограде, отжимала сильными руками рубахи, встряхивала их и, приподымаясь на носки, перекидывала через веревку. На руках и ногах ее, как прилипшая рыбья чешуя, сверкали капельки воды. Когда она хлопала белье, высокие груди ее вздрагивали под тесной кофтой.

Федя смотрел на нее и крошил в пальцах тоненький, сухой прутик от плетня.

Хавронья неслышно подкралась сзади и вдруг чуть не над самым Фединым ухом громко позвала:

— Мань!

Федю точно ударили по затылку. Он ткнулся вперед, в плетень, испуганно оглянулся на жену. А она, не давая ему опомниться, закричала:

— Ну-ка, иди скорей ко мне!

Марья положила рубахи в таз, пошла к плетню.

Федя втянул голову в плечи и замер. Он не знал, что делать.

— Да скорей, скорей ты! — торопила Хавронья.

Когда Марья была уже в нескольких шагах от плетня, Федя шарахнулся назад, с треском ломая крапиву. Сшиб Хавронью с ног и, пригибаясь, чтобы его не было видно Марье из-за плетня, побежал в избу.

— Вон он! Вон — побежал! Эй, ты куда?.. Эх ты, бессовестная харя! — кричала с земли Хавронья вслед Феде.

Марья только успела увидеть, как Федя одним прыжком замахнул на крыльцо и скрылся в дверях.

— Что это, Хавронья?

Злое, мстительное выражение на лице Хавроньи сменилось беспомощным и жалким. Не поднимаясь с зем-

ли, она некоторое время рассматривала красивое лицо молодой соседки и вдруг заплакала горькими, бессильными слезами.

— «Что, что-о»! — передразнила она Марью. — Змеи подколодные! Мучители мои!

Поднялась и пошла из ограды, отряхивая сзади юбку.

40

Страда. Золотая легкая пыль в теплом воздухе. Ласковое вылинявшее небо, и где-то там, высоко-высоко в синеве, затерялись голосистые живые комочки — жаворонки. День-деньской звенят, роняя на теплую грудь земли кружевное, тонкое серебро нескончаемых трелей.

В придорожных кустах, деловито попискивая, шныряют бойкие птахи. По ночам сходят с ума перепела. Все живет беззаботной жизнью, ничто еще не предвещает холодных ветров и затяжных, нудных дождей осени.

Хлеба удались хорошие. Люди торопились управиться, пока держится вёдро.

Жали серпами, косили литовками, пристроив к ним грабельки-крючья, лобогрейками. На полосах богачей, махая крыльями, трещали жнейки.

Николай Колокольников имел свою лобогрейку.

Настроились с утра. Сперва на беседку села Клавдя — показать Кузьме, как действовать граблями и когда поднимать и опускать полотно лобогрейки. Потом сел Кузьма.

Объехали круг, и Кузьма уже уверенно махал граблями, улыбался во весь рот.

Николай правил парой не приученных к лобогрейке лошадей. Перекрывая шум машины, крикнул Кузьме:

— Ну вот, видишь!

Кузьме нравилась эта работа. Четко обрезанная стенка ржи, а внизу движется, сечет ее зубастая, стрекочущая пила. Рожь вздрагивает, клонится...

На полотне уже набралось достаточно — на сноп. Теперь надо отпустить ногой педаль, которой полотно удерживается в наклонном положении, помочь граблями — и кучка ржи сползет с него. Следом идут бабы, вяжут снопы, а потом снопы составляют в суслоны.

Работа отвлекала Кузьму от беспокойных, въедливых мыслей. К вечеру он так устал, что заснул моментально.

И во сне рожь все наплывала и наплывала на него, вздрагивала, клонилась — желтая, тучная...

С утра снова впрягли отдохнувших лошадей — и снова круг за кругом, круг за кругом по полосе...

В три дня все сжали. Начали свозить снопы на точок. Пошла молотьба. Ночевали тут же, под скирдой.

Неподалеку молотили Любавины.

Кузьма издали узнал Марью. Отошел за скирду, сел, привалившись спиной к снопам, задумался. «Что же делать? Неужели всю жизнь вот так мучиться?» Хочется ему, чтобы Марья была рядом, чтобы ей, а не Клавде, подавал он наверх, на скирду, ковш с водой... Чтобы ей смотрел в глаза.

Он не видел ее с того раза, когда она приходила в сельсовет. Хотел увидеть. Ходил на работу мимо их избы, думал встретить по дороге или около колодца. Один раз увидел ее в ограде, замедлил шаг — хотел хоть издали поздороваться. Но Марья, заметив его, ушла в избу.

«Забуду, забуду, ни к чему это все», — думал Кузьма. Но не забыл. Аж с лица осунулся, — упорно, мучительно и бесплодно думал о ней. Вспоминал походку ее, губы, глаза...

Мужа ее встречал раза два на улице. Шел, нагнув голову, мрачный, как зверь какой-то. Лениво поднял на Кузьму глаза, задержал взгляд на мгновение — насмешливый... И опустил голову. Не поздоровался.

«Красивый он», — подумал Кузьма.

Отмолотились рано. Вывезли хлеб, засыпали в закрома. И — началось. Закучерявились, закрутились из труб в ясное небушко пахучие злые дымки — варился самогон из новой ржицы. Готовились свадьбы, крестины, именины...

Через пару дней появились первые ласточки: поздно вечером кто-то, громко топоча по дороге, бежал за кем-то и кричал диким голосом:

— Зарублю-у, змей такой!

Николай усмехнулся:

— Чуешь, секретарь? Начинается.

— Много драк бывает?

— Посмотришь.

На третий день, к вечеру, деревня кололась пополам. Почти в каждой избе гуляли. Ломились столы от земных

даров. Самогон мерили ведрами. Пили. Пели. Плясали. Сосновые полы гнулись от топота...

Из одного дома переходили в другой, из другого в третий. В каждом начиналось все сначала. Потихоньку зверели. Затрещали колья, зазвенела битая посуда... Размахнулась, поперла через край дурная силушка.

На одном конце деревни сыновья шли на отцов, на другом — отцы на сыновей. Припоминались обиды годовалой давности.

Кузьма в эти дни был необходим, как гармонист. За ним прибегали и звали запалошным голосом:

— Скорей!

К ночи гулянка разгоралась, как большой пожар, неудержимо и безнадежно. Дикое, грустное мешалось со смешным и нелепым.

Ганя Косых, деревенский трепач и выдумщик, упился «в дугу», надел белые штаны, рубаху, вышел на дорогу и лег посередине.

— А я помер! — заявил он.

Кругом орали песни, плясали... Никто не замечал Ганю.

— Эй! — кричал Ганя, желая обратить на себя внимание. — А я помер!

Наконец заметили Ганю.

— Что ты, образина, разлегся здесь?

— Я помер, — скромно сказал Ганя и закрыл глаза.

— А-а-а!! — Поняли. — Понесли хоронить, ребяты!

Наскоро, пьяной рукой, сколотили три доски — гроб, положили туда Ганю, подняли на руки и медленно, с песнопениями, с причитаниями, понесли к кладбищу.

Впереди процессии шел Яша Горячий, нес вместо иконы четверть самогона, приплясывал и пел частушки. На нем была красная неподпоясанная рубаха, плисовые штаны и высокие хромовые сапоги-вытяжки.

Ганя Косых лежал в гробу, а вокруг него голосили, стонали, горько восклицали. Кто-то плакал пьяными слезами и громко сморкался.

— Ох, да на кого же ты нас покинул?! Эх, да отлетал ты, голубочек сизый, отмахал ты крылышками!..

— Был ты, Ганька, праведный. Пойдешь ты, Ганька, в златы вороты!..

— Ох, да куда же я теперь, сиротинушка, денусь?! — Какой-то верзила гулко колотил себя в грудь, крутил головой и просто и страшно ревел: — О-о-о-о-о!..

И тут Ганька не выдержал, перевернулся спиной

кверху, встал на четвереньки и закричал петухом. Ждал — вот смеху будет. Это обидело всех. Ганьку выволокли из гроба, сдернули с него кальсоны и принялись стегать крапивой по голому заду. Особенно старался двухметровый сиротинушка.

— Мы тебя хоронить несем, а ты что делаешь, сукин сын?

— Братцы-ы! Помилуйте!

— А ты что делаешь? Помер — так лежи смирно!

— Так это ж... Это я, может, воскресать начал, — оправдывался Ганька.

— Загни ему салазки, Исусу!.. Чтобы не воскресал больше!

На другой день опохмелялись. С утра. Потом пошли биться на кулаках.

Был в деревне, кроме Феди Байкалова, еще один знаменитый кулачник — Семен Соснин. Он всегда и устраивал «ку́лачки». Около Семенова двора в такие дни толпился народ. Сам Семен стоял на кругу и, кротко посмеиваясь, гладил могучей рукой окладную рыжую бородку — ждал. Кулак у Семена как канатный узел — небольшой, но редкой крепости. Мало находилось охотников удариться с ним (с Федей они не бились: Семен не хотел). А когда кто-нибудь изъявлял наконец желание «шваркнуться» с Семеном, он покорно расставлял ноги, точно врастал в землю, прикладывал обе ладони к левому уху и говорил великодушно:

— Валяй.

Мужик долго примеривался, ходил вокруг Семена, плевал на ладонь, разминал плечо... Бил. Потом бил Семен. Бил сладко, с придыхом, снизу... Некоторых поднимал кулаком «на воздуся́». Почти никто не оставался на ногах после его удара.

Емельян Спиридоныч шел с Кондратом по улице. Подвыпившие. Направлялись в гости. Увидели — у Сосниной избы толпился народ.

— Семка, — сказал Кондрат.

— Зайдем? — откликнулся Емельян Спиридоныч.

Подошли.

В кругу стоял не Семен, а Федя Байкалов. Рукава просторной Фединой рубахи засучены, взор мутный — Федя был «на взводе». С ним никто из бакланских не бился. Иногда нарывались залетные удальцы из даль-

них деревень, но после первого раза зарекались на всю жизнь — слишком уж тяжела рука у Феди.

Емельян Спиридоныч, увидев Федю, улыбнулся ему, как желанному другу.

— А-а, Федор!.. Что, трусит народишко выходить?

— Может, ты выйдешь? — предложил Федя.

— Ну, куда мне, старику, равняться с вами! Вот разве Кондрат? — Емельян Спиридоныч выразительно посмотрел на сына, подмигнул незаметно.

Тот вяло качнул головой: нет.

Емельян Спиридоныч опять повернулся к Феде. С притворным уважением сказал:

— Боятся, Федор! — А у самого в глазах сатанинский огонь, подмывало желание врезать Феде: видел, что тот пьян. — Не те людишки пошли, Федор, не те...

Федя презрительно отвернулся от него. Плюнул.

В глазах у Спиридоныча заиграл зеленый огонь.

— А кого бояться-то? — продолжал он тем же добродушно-уважительным тоном. — Вот эту оглоблю?

Федя приоткрыл от изумления рот.

— Я, конечно, шутейно сказал, — пояснил Емельян Спиридоныч, продолжая непонятно улыбаться. — Но правда: стоит перед вами туша сырого мяса, а у вас у всех из носа капает. Тьфу! До чего мелкий народ пошел!

— Ты выйди сам, — сказал кто-то из толпы. — Крупный какой выискался! Или — хочется и колется?

— Он в коленках слабый, чтоб выйти...

— Я-то выйду, — неожиданно для всех сказал Емельян Спиридоныч. Скинул пиджак и вышел на круг. — Давай.

Наступила тяжкая тишина.

— Кто первый? — спросил Федя.

— А это — кинем. — Емельян Спиридоныч поднял с земли камешек, заложил руки за спину, долго перекладывал камешек из ладони в ладонь. Зажал в одной. — Отгадаешь — первый бьешь.

— В правой.

Камешек был в левой.

Федя изготовился, приложил ладони к уху.

Емельян Спиридоныч медленно, очень медленно подошел к Феде, развернулся и с такой силой ударил, что огромная Федина голова мотнулась вбок. Он качнулся. Но устоял.

— Становись.

Стал Емельян Спиридоныч.

Федя оскалился и кинул свой страшный кулак в голову врага. Спиридоныча бросило вбок, на плетень. Он хватнулся за колья и упал вместе с плетнем. Тут же вскочил и, потирая ухо, сказал небрежно:

— Ничего.

Они удалились с Кондратом, гордые и злые.

За первым же углом Емельян Спиридоныч прислонился к заплоту и закрыл глаза:

— Не могу иттить. Ох, паразит!.. Я думал, он крепко выпимши, производитель поганый... Отведи меня домой, Кондрат.

Дома Емельян Спиридоныч обвязал голову полотенцем и весь день лежал на печке — прогревал на горячих кирпичах ухо. Тихонько матерился, вспоминал Федин кулак.

Гуляли еще два дня. Потом постепенно затихли и занялись делами. Близилась зима.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Пришла наконец и зима.

Всё сеялись, сыпали с низкого, грязного неба мелкие, холодные дожди... Серые дома, горбатые скирды, поля, ощетинившиеся стерней, — все намокло, потемнело, издавало тяжкий, гнилостный запах. Неуютно было на земле. Некрасиво. Люди смотрели в окна и говорили с тоской:

— Ну... теперь началось.

А однажды утром проснулись и, еще не выходя на улицу и не выглядывая в окна, поняли: пришла зима — пахло снегом и в избах посветлело.

За одну ночь навалил снег, и творения старческих рук осени разом накрылись. Этот первый снег уже не растаял.

1

Кузьма по первопутку поехал в район.

Коренастый, вислозадый мерин бежал резво. В кошеву летели крупные ошметья снега.

Дорога шла лесом.

Кузьма дремал, уткнувшись в теплый воротник полушубка. На душе было спокойно.

Вернулся Кузьма через три дня. Вез в кошеве книги и большеглазую девушку в шубке городского покроя. У девушки были огромные, ясные, немножко удивленные глаза.

Девушка говорила без умолку. Про Сибирь, про счастье, про Джека Лондона... Кузьма скоро устал от ее трескотни и сидел, откинувшись на спинку кошевы, смотрел на верхушки деревьев в белых шапках.

Девушку звали Галина Петровна Кравченко.

Эту Галину Петровну Кузьма встретил в уездном городе и уговорил ехать в Баклань учительствовать. Шко-

ла не была готова — оставались внутренние работы. Но Кузьме не терпелось начать учить. Решил, что пока возьмутся за взрослых: вспомнил об удостоверении, выданном ему и дяде Васе обществом «Долой неграмотность».

Галина Петровна приехала в Сибирь с отцом, которого направили сюда с Украины. Он был секретарем укома.

Ей было двадцать пять лет, о чем Кузьма узнал с удивлением: на вид восемнадцать-девятнадцать, не больше. Первое, что она спросила:

— У вас там, кажется, стреляют?

Кузьма поймал ее на слове:

— Боитесь? Так и скажите.

— Я?

— Не я же.

— Вы так думаете?

— Думаю.

— Хм... — Большущие глаза Галины Петровны просто кричали: «Учтите, я никогда ничего но боюсь!» — Поехали.

Поначалу Кузьма пытался объяснить ей сложность ее работы. Люди взрослые, люди никогда книжку в руках не держали... Но это еще ничего. Над теми, кто вздумает увлечься книжками, смеются. Вообще считается, что грамота — дело не крестьянское.

Галина Петровна слушала рассеянно.

— Не открывайте мне, пожалуйста, Америк.

«Ох ты!» — изумился про себя Кузьма.

Остальную часть пути говорила она.

— Жить нужно для людей, — это высшее счастье, которого, кстати, не понимал Джек Лондон, потому что его герои живут только для себя. Какое это счастье — жить для людей!..

«Дуреха... будто это так просто», — думал Кузьма.

Приехали под вечер, когда воздух стал синим, а звуки глухими и неразборчивыми.

Кузьма повез Галину Петровну к себе.

Клавдя, увидев незнакомую девушку с Кузьмой, почему-то испугалась, уставилась на нее вопросительными глазами.

— Здравствуйте! — звучно поздоровалась Галина Петровна и улыбнулась.

Кузьма долго не объяснял, кто она такая, хлопотал около нее: раздевал, устраивал вещи... Краем глаза наблюдал за домашними. Особенно смешно выглядела Агафья: вся наструнилась, поджала губы и внимательно разглядывала городскую, готовая в любую минуту выставить ее за дверь.

«Да-а... эти бабоньки, случись что-либо — отравят либо зарубят ночью топором», — думал Кузьма.

— Новая наша учительница, — пояснил он наконец, когда Галина Петровна разделась и прошла в передний угол (своим огромными глазами она так и не увидела, какое внесла замешательство).

— Так, — сказал Николай, приподымаясь с кровати и вытаскивая из-за голенища кисет. — Учить будешь?

— Да, — сказала Галина Петровна. — Пока — вас, взрослых.

— А работать заместо нас кто будет?

— Как?.. — Галина Петровна на секунду растерялась, но тут же ослепительно улыбнулась. — Никто. Вы сами.

— Так мы же все ученые будем.

— Ну, до ученых вам далеко. Учеными вы не будете, а книжки читать будете. Это разве плохо — книги читать?

— А зачем?

— Интересно. Вообще необходимо.

Кузьма во время этого разговора стаскивал книги в избу и складывал на лавку.

Николай нагнулся, достал одну, полистал.

— Что тут интересного, я вот чего не пойму? — снова обратился он к учительнице. — Меня иной раз даже зло берет. «Интересно! — кричат. — Интересно!..» А я, к примеру, всю жизнь прожил без них — и хоть бы что.

Галина Петровна легко поднялась с лавки, взяла у него из рук книгу, посмотрела заглавие.

— Хотите, почитаю?

— А ну! — Николай тряхнул головой и сощурил глаза.

— Сейчас... — Она быстро зашуршала страницами, отыскивая нужное. — Ну вот... «Человек в футляре» называется.

— Как это — в футляре?

— Ну... знаете, что такое футляр?

— Нет.

— Это оболочка, одеяние... Футляром можно накрыть что-нибудь... Что бы такое... — Галина Петровна стала осматриваться по избе.

— Вроде тулупа? — догадался Николай.

— Не совсем...

— Ну, шут с ним, с футляром, — великодушно сказал Николай. — Читай.

— Да нет, тут весь смысл в этом. Как же?

— Что-нибудь другое, — подсказал Кузьма.

Галина Петровна подсела к книгам, стала выбирать.

Агафья снисходительно улыбалась, глядя на нее. Клавдя поднялась, накинула на себя вязаный платок — чтобы большой живот был не так заметен, — опять села.

— Вот! — Галина Петровна вышла на середину избы с книжкой в левой руке, чуть расставила ноги, чуть откинула голову, отвела правую руку. — «Погиб поэт!..» «Смерть поэта» называется, — прервала она себя.

Погиб поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой.
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..

Она хорошо читала — громко, отчетливо, чистым сильным голосом. Понимала, что́ читает; глаза возбужденно сияли. Она не стеснялась, поэтому было приятно смотреть на нее.

Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один как прежде... и убит!
Убит!.. К чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор,
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!

Голос девушки зазвенел горестно и сильно. Все мелкое, маленькое, глупое должно было пригнуть червивые головки перед этой скорбной чистотой.

Николай во все глаза смотрел на девушку. Едва ли он был поражен силой и звучностью слов, едва ли дошло до него, сколь велик был и горд человек, так разговаривающий с сильными мира... Но что-то до него дошло.

Не могла не поразить его чуткий от природы слух гневная музыка, которая образовалась непонятно как — чудом — из обыкновенных слов. Не могло так быть, чтобы одна русская душа, содрогнувшаяся в бессильных муках жажды мести, не разбудила другую — отзывчивую и добрую.

Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный судия: он ждет;
Он недоступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед...

От волнения щеки девушки побледнели. Раза два голос ее сорвался. Она, не прекращая чтения, трогала красивой рукой белое, гладкое горло, опять отводила руку в сторону и коротко взмахивала ею в ударных местах.

Клавдя опять с испугом смотрела на городскую — она чувствовала ее силу и боялась этой силы.

Кузьму стихотворение медленно накаляло...

И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

Галина Петровна устало вздохнула.

— Как? — спросила она Николая. — Неинтересно?

Николай раскурил потухшую папироску, посмотрел на девушку и ничего не сказал, опустил голову.

— Ну ладно, песни — песнями... Садитесь ужинать, — скрипучим голосом сказала Агафья. — Самовар скипел.

Кузьма думал о Галине Петровне: «Вот ты какая!..»

Когда ужинали, Николай с уважением посмотрел на девушку и признался:

— Крепко вы... просто, знаете... Только я не понял: кто кого убил?

— Убили нашего поэта Пушкина.

— А-а! — Николай кивнул головой. — Вон кого...

— А другой поэт — Лермонтов — обвиняет тех, кто его убил. А убил его царь.

— Ну?!

— Не сам царь, конечно, а его люди.

Николай поспешно кивнул головой — понял.

«Если она и дальше так будет переворачивать людей, то она натворит здесь хороших дел», — думал Кузьма.

Городской постелили в горнице вместе с Клавдей.

Кузьма лег на полу в прихожей. Долго не мог заснуть: думал о стихотворении. Потом откинул одеяло, встал потихоньку, зажег свет, нашел ту книгу... Долго рассматривал молодое, умное лицо поэта с холодноватыми глазами. Михаил Юрьевич Лермонтов.

Сзади, за спиной Кузьмы, негромко кашлянул Николай. Кузьма обернулся — Николай, приподняв голову над подушкой, смотрел на него.

— Погляди, какой он был. — Кузьма взял книжку и, придерживая одной рукой сползающие кальсоны, пошел к кровати. — Лермонтов. Вот...

Николай взял книжку, тоже долго глядел на поэта.

— Красивый, — шепотом сказал Николай. — Офицер. Вишь, — он показал обкуренным пальцем ряды пуговиц и шнурки на гусарской куртке.

— Ну, он такой офицер был... неугодный.

— Это уж конечно, — согласился Николай. — Как он их!.. И вы, говорит, не смоете вашей черной кровью его светлую кровь. Ты эту книжку припрячь, Кузьма. Мы ее читать будем.

Кузьма вернулся к столу, хотел было начать читать сначала, но Агафья недовольно заметила:

— Там керосину немного в лампе осталось. Завтра встать не с чем...

— Будет тебе! — строго сказал Николай. — Керосин пожалела... Читай, Кузьма.

— Не пожалела, а нету его. Сам же впотьмах завтракать будешь.

— Ну и буду. Небось в ухо не пронесу.

Кузьма с сожалением захлопнул книгу, погасил лампу и лег.

— Завтра почитаем, Николай.

— Колода, — негромко сказал Николай жене.

Агафья промолчала.

На другой день с утра начали устраивать Галину Петровну на квартиру.

Николай посоветовал идти к Фекле Черномырдиной: изба большая, живет одна — чего ей? Возьмет. Еще рада будет — все веселее.

Кузьма пошел к Фекле.

...Распахнул дверь и увидел, как метнулась к двери Фекла... Но поздно, Кузьма переступил порог.

— Здравствуй, хозяюшка! — приветливо сказал он.

Фекла стояла перед непрошеным гостем в простеньком, наспех надетом платье, с заспанным, сердитым лицом.

— Чего тебе? — Она хотела загородить собой кровать. Кузьма видел, что на кровати сидит Кондрат Любавин.

«Не выйдет тут с квартирой», — понял Кузьма. Но на всякий случай сказал:

— Я вот зачем: приехала к нам новая учительница... Не пустила бы ее на квартиру? Платить будем, конечно.

— Нет, — отрезала Фекла. — С учительницами еще тут возиться!

— А чего с ней возиться-то?

— Не пущу.

— Ну ладно. До свидания. — Открывая дверь, Кузьма не выдержал, обернулся и понимающе подмигнул Фекле.

У Феклы на широком лице проступили красные пятна. Она нахмурилась.

«Ишь ты... старая дева!» — весело думал Кузьма, шагая по утренней пустой улице. Вспомнилась некстати Марья. И подумалось: «Вот ведь все они — бабы, все с руками, с ногами... казалось бы: какая разница? Нет, елки зеленые, врежется одна в душу — и все. Одна и есть на всем белом свете».

Галину Петровну устроили неподалеку от дома Кузьмы, у одинокой старушки Завьялихи.

Завьялиха занималась ворожбой и потихоньку варила самогон. В доме у нее было чисто, тепло и сухо. Галине Петровне понравилось.

— Ну вот, — сказал довольный Кузьма, — живите на здоровье.

Галина Петровна улыбнулась ему и занялась чемоданами.

2

Макарова смерть не выходила из головы Егора. Черная мысль о мести свила гнездо в его сердце и жила там ядовитой змеей, сосала сердце ласково и больно. Он знал, что никто не отомстит за Макара — ни отец, ни Кондрат,

ни Ефим. Отец — слишком черствый человек для этого, Кондрат — этот при случае мог бы припомнить и Макара, но сам додуматься до этого, а главное — сделать умно не сумеет. Кондрат ходит только с козырного туза — в лоб, просто и глупо. Ефим — даже думать не станет об этом.

Не нужно было долго ломать голову, чтобы понять, кто стрелял в Макара. Их было в ту ночь четверо: секретарь этот — Кузьма, Федя Байкалов, Яша Горячий и еще один парень — Пронька Воронцов. Кузьма не стрелял, потому что был в это время в избе, Федя тоже не стрелял в Макара — он был уже ранен. Стреляли по Макару Яша и Пронька. Причем в висок, наверно, угодил Яша, заядлый охотник, отличный стрелок.

«В голову целил, гад подколодный, — мучился Егор. — Будешь за это кровью плакать, паскуда. Будешь».

Ни разу не подумал Егор о том, что Макар тоже имел такую привычку — целить в голову. Его заботило другое, как сделать, чтобы расквитаться за Макара и не оставить никаких следов?

Он здоровался с Яшей. Один раз даже разговорились. Егор пришел за водой к колодцу (Марье было уже тяжело таскать ведра), а Яша привел поить коняку.

— Здорово, сосед, — первым поприветствовал Егор.

— Здоров, — ответил Яша.

Сели на край промерзшей колоды. Закурили.

— Рано нынче навалил, — сказал Яша, сбивая концом кнутовища снег с валенка. — На сырую землю лег.

— Да, — согласился Егор. — Для озими хорошо.

— Мгм...

— Коняка что-то у тебя... — сказал Егор, разглядывая шерстистую понурую кобыленку Яши. — Захудала.

— Она все ничего была, бойкая, а тут осенью нынче обожралась чего-то — разнесло, как бочку. Мне бы, дураку, вы́водить ее сразу, а я поперся к этому хромому, к ветеринару нашему. Тот, поверишь, ни слова, ни полслова — кэ-эк саданет ей шило в пузо. «Сичас, говорит, из нее воздух пойдет». А из нее заместо воздуха кровь пошла. Кое-как кровь-то уняли да вместе по ограде начали гонять. Погоняли малость — она опала. «Для чего же ты, говорю, шилом-то ее, змей ты такой?» — «Значит, не попал, куда надо. Это тоже не всегда попадешь», — это он мне. Вот с тех пор она и затосковала. Я думаю,

он ей проколол чего-нибудь внутри. У нее ж тоже — своя организма. Так мне ее жалко, сердешную! Ночью заржет — я уж думаю: все, подыхает. Выйду, приласкаю ее, а у ей — веришь, нет — слезы. Я уж сам ревел. Как-никак семь лет уж она у меня, привык.

— Что же он так? Ты б ему самому тем шилом-то... Что бы из него пошло, интересно?

— Впору, черту такому. Не умеешь — не берись.

Вода в Егоровом ведре подернулась светлым, с причудливыми стрелками ледком. Егор затоптал окурок, поднялся.

— Ну, бывай. Забегай.

— Будь здоров. Сам заходи.

Егор поднял ведро и зашагал к дому. «Может, с Проньки начать? — подумал он ни с того ни с сего, но тут же зло плюнул на снег. — Пошел ты к такой-то матери, гнус поганый! Разжалобишь меня. Из Макарки не воздух шел, а кровь ключом била. Сирота казанская...»

3

Собираться решили в сельсовете.

В первый вечер пришло человек десять: Федя Байкалов, Яша, Пронька Воронцов, Николай Колокольников и другие. Молодых, кроме Проньки, никого не было. Те были на вечерках. Явился и Елизар — начальство.

Галина Петровна сидела за столом, положив перед собой белые руки, серьезная и взволнованная. Кузьма незаметно наблюдал за ней. Он тоже волновался. Было такое ощущение, будто все это — праздник, и нужно, чтоб все было хорошо.

Елизар Колокольников, суетливо рассаживал мужиков, запрещал курить, сморкался в платок, поглядывал на Кузьму и на учительницу: хотел знать — довольны им или нет.

Мужики переговаривались между собой, приглаживали заскорузлыми ладонями волосы, покашливали... И впрямь все это смахивало больше на предстоящую пирушку, чем на урок; у мужиков было великолепное настроение. Только очень хотелось курить, но Елизар, заметив кого-нибудь с кисетом, делал строгие глаза и укоризненно качал головой.

— Товарищи! — сказала Галина Петровна, и все замолчали и перестали шевелиться. — Я сначала хочу вам

рассказать, для чего нужна человеку грамота. Здесь есть кто-нибудь, кто умеет читать? Поднимите руки.

Поднялась одна-единственная рука — Яши Горячего. Все оглянулись на Яшу... Ему даже неловко стало.

— Только... я ведь тоже читок не резвый, — счел нужным сказать Яша. — Пока соберу слово-то, семь потов сойдет.

— Хорошо. Значит, все вместе начнем с самого начала. Будем учиться читать. А сейчас я... мы с Кузьмой Николаевичем расскажем, для чего человеку необходима грамота.

Кузьма слегка покраснел от удовольствия и потянулся за кисетом, но вспомнил, что сам же подсказал Елизару — не разрешать курить, кашлянул в ладонь и стал слушать учительницу.

— Вот я, — начала она, — человек. Я живу в деревне. Но мне хочется знать, как живут люди, например, в городе. Как я могу это узнать?

— Съездить туда, — сказал кто-то.

— Да нет... Ну и что — съездите? А если нельзя съездить? Да вообще, разве в этом дело?! Как же узнать?

— ??

— Я беру вот такую книжку, — Галина Петровна взяла со стола книжку и показала всем, — и начинаю ее ч и т а т ь. И узнаю постепенно, как живут люди в городе: что они едят, в чем ходят, о чем думают, чем интересуются... Понимаете? — Галина Петровна улыбнулась.

Мужики тоже вежливо заулыбались, зашевелились. Но, судя по их лицам, их не очень обрадовала и удивила такая блестящая возможность. Не поверили, что все это так легко и просто — взял книжечку, почитал и все сразу узнал. Это она, конечно, того... подбадривает. Но девушка им понравилась. Главное — они видели, что она старается для них.

— Можно также узнать о жизни в других странах, о животном мире, — продолжала Галина Петровна.

— А стих нам почитаете? — весело спросил Николай Колокольников и оглянулся с таким видом, точно хотел сказать: «Сейчас начнется!»

Но Галина Петровна почему-то не то чтобы обиделась, но показала, что она недовольна такой просьбой.

— При чем тут стих? Я же вам о другом совсем го-

ворю. И потом... когда я говорю, меня перебивать не нужно.

Николай сконфузился и понимающе кивнул головой.

— Поняли теперь, для чего нужна грамота? — спросила Галина Петровна, уже без улыбки глядя на мужиков.

Мужики дружно ответили:

— Понятно.

— А сейчас... Может быть, вы что-нибудь скажете? — Галина Петровна посмотрела на Кузьму. — Вы сами ведь представитель общества «Долой неграмотность».

— Да нет... все ясно, — отказался Кузьма.

— Тогда займемся главным: будет разучивать буквы.

Всем роздали буквари, а Галина Петровна взяла со стола пачку картонок, похожую на колоду карт, и стала так, чтобы ее всем было видно.

— Вот это — А, — показала она одну картонку с буквой. — Найдите у себя такую же.

Мужики уткнулись в буквари и стали водить пальцами по алфавитам.

— Да вот же! — подсказал кому-то Яша.

— Где?

— Да вот, чучело гороховое! Что ты, ослеп?

— Подсказывать нельзя! — строго сказала Галина Петровна.

Яша послушно уткнулся в свой букварь.

— Все нашли?

— Федя тут никак не может... Вот же она! На тебя смотрит, — опять не выдержал Яша.

— Не мешайте. Так. Запомните, что это — А. Теперь вот такую найдите, — Галина Петровна показала еще одну букву.

Опять заползали пальцами по букварям. Яша беспокойно завертелся во все стороны.

— Да вот же... вот... — шепотом подсказывал он.

— Ты сиди тут! — громко возмутился Николай Колокольников. — Крутишься, как сорока на колу. Без тебя найдем.

— Все нашли?

— Я что-то никак не найду, — сказал Федя и посмотрел на Яшу. Тот молча ткнул пальцем в Федин букварь.

— Запомните — это М. А теперь я вот так сложу их, рядом: что получилось? Вы пока не говорите. — Галина Петровна имела в виду Яшу.

Все с завистью посмотрели на него. Вообще Яша сегодня неизмеримо вырос в глазах мужиков.

— Где ты успел, Яша? Вот черт...

— Он сразу грамотным родился, — заметил Николай. — И знаю почему...

— Ну, а что получилось-то? — не выдержал Кузьма. — Поняли?

Никто не знал, что получилось.

— Это какая буква? — спросила Галина Петровна, теряя спокойствие. — Вот вы скажите, — она показала на Федю.

Федя уставился на учительницу:

— Где?

— Да вот, вот же... я вам показываю! — воскликнула Галина Петровна. Посмотрела на Кузьму и покраснела. — Вот это какая буква? — переспросила она тихо.

— Не знаю, — Федя кашлянул в кулак. — Можно, я выйду? Шибко курить захотел.

— Хорошо. — Галина Петровна положила картонку на стол. — Выйдите все, отдохните.

Облегченно закашляли, заговорили... Закурили прямо здесь же — в сенях было холодно.

— Уела попа грамота, — хмуро сказал Николай Колокольников. — Для меня это не под силу, ребята. Я отрекаюсь.

Федя Байкалов посмотрел на Кузьму — тоже хотел отречься, но увидел его расстроенное лицо и промолчал.

— Почему отрекаешься? — спросил Кузьма тестя.

— Не могу, Кузьма. Я лучше десятину земли спашу — и то легче. Я, конечно, извиняюсь, но мне это ни к чему.

— Я тоже, однако, — поддержал Николая мужик в тулупе. — Я думал, нам тут читать будут... Дело зимнее, можно послушать разные истории, а тут... Нет, я тоже отказываюсь.

Галина Петровна растерянно посмотрела на Кузьму. Тот встал с места и, прижимая руки к груди, горячо заговорил:

— Вы погодите! Чего вы сразу в кусты полезли? Чего испугались-то?! Ну, трудно, конечно, с непривычки...

Ну, покряхтите недельку-другую, потом пойдет легче. Вот увидите. Когда сами научитесь читать, вас тогда от книжки не оторвешь. Это всегда так сначала бывает. Потерпите малость. Ничего с вами не случится.

— Конечно, ничего не случится, — согласился Николай. — Но я просто не осилю. Я себя знаю.

— Да осилишь! Все осилите!

— Нет, — не сдавался Николай, — вы уж молодых соберите, вернее будет. А нам лучше бы стих почитали.

Кузьма не знал, что еще говорить, смотрел на мужиков и понимал, что их сейчас никакими словами не убедишь. Он сел. Но тут вскочил Яша Горячий.

— Бросьте вы трепаться! — обрушился он на своих товарищей. — «Не оси-илим»! Ты, Николай, сурьезный мужик, а такого дурака ломаешь, что уши вянут. Что он, лучше тебя? — он показал на брата Николая, Елизара. — Он-то осилил! Нам же для пользы делают, стараются, дак мы начинаем тут... Даже зло берет.

— Тебе хорошо, конопатому, ты их знаешь, а у меня они все перепутались, эти буквы! У меня от них в глазах струя. — Николай ткнул пальцем в букварь. — Насыпано их тут, как вшей...

Галина Петровна поморщилась.

— Чего насыпано? Ничего там не насыпано! — кричал Яша, размахивая руками. — Ты присмотрись хорошенько!

Федя потянул его за полу полушубка вниз.

— Сядь.

Яша послушно сел.

— Не хотите, значит? — спросила Галина Петровна.

— Нет, — дружно сказали мужики.

— Все?

— Все.

Промолчал только Яша.

— Жаль...

— Да вы не волнуйтесь шибко-то, — сказал Николай повеселевшим голосом. — Вы соберите молодых, у них мозги не заржавелые. А нам для чего она, грамота-то, если разобраться? С кобылами мы и так умеем разговаривать.

Галина Петровна опять поморщилась:

— Вы только не грубите, пожалуйста. Не хотите — не надо, силой не заставляют.

Кузьма встал и объявил:

— На сегодня — все. Пошли домой.

4

Больше всего Егор любил охотиться на зайцев. Всякий раз, когда он брал бегущего зайца на мушку, им овладевало жгучее, сладостное чувство. Заяц улепетывает со всех ног... Через прорезь прицела он кажется далеким, смешным и глупым. Рука каменеет, ствол движется несколько впереди зайца... Толчок в плечо, сухой гром выстрела... Зайчишка, высоко подпрыгнув, кувырком летит в снег.

— Есть, — негромко говорит Егор.

В тот день, наохотившись до устали, Егор пришел в избушку Михеюшки рано.

В избушке уже кто-то был — у крыльца, прислоненная к стенке, стояла пара лыж.

Егор скинул с плеча связку убитых зайцев, снял лыжи, вошел в избушку.

На нарах сидел Яша Горячий и что-то с азартом рассказывал Михеюшке.

— ...Я — туда-сюда, так-сяк — ничего не получается. Эт, собачий выродок, думаю... — Увидел Егора. — Здорово, Егор.

— Здорово. — Егор присел к камельку, вытянул к огню руки.

— Как убой? — спросил Яша.

— Так... не шибко. Снег плохой.

— Ночью подсыпет свежего. Я тоже пустой вернулся. Ты давно здесь?

— Два дня. — Егор посмотрел вниз на Яшу. — Ничего там не случилось, в деревне-то?

— Все тихо.

Егор глотнул слюну и стал закуривать. С недавнего времени, когда он видел Яшу, он испытывал такое же чувство, какое испытывал, когда целился в зайца.

— Может, настрелял все же? — опять спросил Яша.

— Та-а... чего там...

— Что у тебя за ружье? — Яша встал с нар, снял

со стенки Егорово ружье, долго разглядывал его. — Осечки не дает?

— Нет.

Яша повесил ружье.

— Эх, какое у меня ружье было!.. В двадцатом году в тайге отобрали. Золото, а не ружье. Сейчас и то жалко.

Михеюшка тоже хотел поделиться воспоминаниями:

— Эх, а вот я помню... Мы это под вечер...

Но Егор оборвал его:

— Ну что, ужин сварганим?

— Это — дело, — согласился Михеюшка.

Спал Егор плохо, несмотря на усталость. Вставал, пил теплую воду, курил. Подолгу смотрел на спящего Яшу. Подкидывал в камелек дров, снова ложился и ненадолго забывался неглубоким, чутким сном. И даже во сне слышал, как ворочается и чмокает губами Яша. Только под утро заснул Егор. Заснул и тотчас увидел странный сон. ...Как будто живет он еще у отца... Откуда-то пришел Макар — в папахе, в плисовых шароварах. Веселый. Дал деньги и говорит: «Сбегай возьми бутылку». Пошел Егор к бабке, а там народу — битком набито. Егор стал дожидаться, когда все уйдут. А люди все не уходят. Егор еще подумал: «Макар теперь злится сидит». Потом к бабке-самогонщице вошла Марья, вела за руку какого-то мальчика. Егору сделалось неловко, что она пришла на люди с ребенком. Он подошел к ней и спросил: «Чей это?» — И хотел погладить мальчика по голове, а мальчик вдруг зарычал по-собачьи и укусил Егора за руку.

Егор проснулся и сел. «Что за сон такой?..» И сразу, как кто в бок толкнул, подумал: «Марья рожает». Вскочил, оделся, стал на лыжи и побежал домой.

Было еще темно и очень морозно. Даже быстрая ходьба плохо согревала. Снег громко звенел под лыжами. Вокруг лица все закуржавело, веки слипались. Егор часто останавливался и протирал глаза варежкой.

«Наверно, сын будет», — думал он.

Пришел домой, когда на востоке только-только пробивался красноватый свет.

Огня в избе не было. Егор постучался. Через некото-

рое время промерзшая избная дверь со скрипом разодралась.

— Кто там? — спрашивала Марья.

— Я.

— Ты, Егор?

— Кто же еще?

Марья отодвинула засов, вошла в избу, зажгла лампу. В избе было тепло, пахло хлебом.

Егор долго распутывал закоченевшими пальцами опояску. Огляделся по избе, увидел на печке чьи-то ноги — кто-то спал.

— Кто это?

— Учительша. Читала нам вечером... Она ходит по избам, книжки читает. Вчера припозднилась — я оставила.

Учительница зашевелилась, приподняла голову.

— Это ваш муж пришел? — Галина Петровна смотрела на Егора большими сонными глазами. — Здравствуйте.

— Здорово живешь, — откликнулся Егор и повернулся к жене: — У нас самогонки нисколько нету? Продрало меня крепко.

— Маленько, однако, есть. — Марья полезла в шкаф.

Егор развязал наконец опояску, скинул полушубок, зябко повел плечами.

— Хотите, я пущу вас на печку потреться? — предложила Галина Петровна. Она свесила с печки босые ноги и смотрела на хозяина с любопытством.

— Сейчас согреемся. — Егор взял у Марьи бутылку, налил полный стакан и одним духом осушил. Понюхал корку хлеба и только после этого выдохнул. — Кхо-ох!

— Вы же сожжете себе все горло, — заметила Галина Петровна. Она все еще смотрела на Егора.

Егор стал закуривать.

— Ничего.

— Вы похожи... знаете, на кого? На Андрия.

— На какого Андрея?

— На Андрия. Из «Тараса Бульбы». Только характер у вас, наверно, не такой. Почему вы такой мрачный?

«Балаболка какая-то», — подумал Егор и ничего не сказал.

— Постели на полу, я сосну маленько, — сказал он жене.

Вспомнил сон, посмотрел мельком на ее живот.
— Ложись на кровать, а я к ней на печку полезу.
— Куда полезу!.. Полезу... — Егор сам снял со стенки большой бараний тулуп, раскинул на полу, сбросил с кровати одну подушку, скинул валенки, рубаху, лег и с хрустом, сладко потянулся. Закинул руки за голову. — Накрой полушубком.
Галина Петровна смотрела на крупного красивого хозяина, шевелила пальцами босых ног.
Марья укрыла мужа полушубком, он зевнул и повернулся на бок, спиной к учительнице.
Марья дунула в лампу, долго шуршала платьем, потом тяжело завалилась на кровать и затихла.

Своей бани у Егора не было еще, ходили по субботам к Емельяну Спиридонычу.
Вечером Егор засобирался к отцу.
— А меня не возьмешь, что ли? — обиделась Марья.
— Куда тебе... И так еле ходишь.
— Я хоть в вольном пару посижу. Мне шибко охота, Егор.
Егор подумал, вышел на улицу. Минут через пять вернулся:
— Собирайся. На коне поедем.
Марья накутала на себя поверх шубейки две вязаные шали и еще набросила сверху одеяло. Еле пролезла в дверь. Егор не выдержал, засмеялся:
— На кого ты похожа сейчас!
— Ничего. Зато не простыну, когда оттуда поедем.
Поехали.
На половине пути Марья вдруг позвала мужа:
— Егор!
— Ну.
— Однако у меня... господи!.. Поворачивай!
Егор оглянулся. Марья посинела.... Глаза сделались невозможно большими. Он подстегнул коня, — до своих было ближе, чем до дома.
— Говорил ведь, русским языком говорил! Нет! — свое...
Сани подкидывало на выбоинах.
Марье стало хуже.
— Ой, умираю! Смертонька моя пришла, мама родимая! — закричала она.

— Ну, я потише поеду.

— Ой, да все равно. Останови ты, ради Христа!..

Егор остановил коня, огляделся — на улице ни души.

— А что делать-то?! — заорал он. Выпрыгнул из саней, склонился над Марьей. — Мань!

Марья кусала затвердевшие губы.

— Мамочка милая... смерть пришла, — шептала она; из больших глаз текли слезы.

Егор подхватил ее на руки и бегом понес в ближайший двор. Пинком отворил тяжелые ворота, вбежал на высокое крыльцо... И тут только увидел, куда забежал, — к Николаю Колокольникову.

Дверь открыла Агафья.

— Господи Исусе!.. Что с ней?

— Помирает, — кратко пояснил Егор, он был бледен.

— Рожает, что ли?

— Ну...

— Неси в горницу... заполошный.

Егор пронес Марью в горницу, положил на пол... Засуетился вокруг нее, начал раздевать. Руки тряслись.

— Да не пужайся ты, дурной! Ну, рожает. Делов-то. Вези бабку скорей.

— Где?

— Куксиху, она ближе всех.

Егор вылетел из избы, в сенях ударился головой о притолоку, чуть не упал от боли... Доплелся до саней, свалился в них, подстегнул коня...

Минут через десять он летел обратно. Вез бабку-повитуху.

Марья так кричала, что в ушах звенело.

Егор сидел на припечье, зажав руками голову... Не выдержал, сунулся было в горницу, но на него зашикали бабы. А Марья, увидев его, каким-то не своим голосом, страшно крикнула:

— Уйди, проклятый! Ненавижу тебя!..

Егор опять сел на припечье.

Кузьма был дома. Он забился в угол и смотрел на все испуганными глазами. С Егором они не обмолвились еще ни словом. Только когда Марья закричала на Егора и когда он сел и зажал руками голову, Кузьма почувствовал что-то похожее на жалость.

— Не переживай. Это всегда так бывает, — сказал он.

Егор поднял голову, посмотрел на Кузьму затравленным зверем.

— Бывает, — сказал он тихо. И опустил голову.

— На, закури, — Кузьма подошел к нему с кисетом. — Надо было заранее в больницу.

— Да, — согласился Егор.

— Больно, поэтому они кричат.

Егор промолчал.

— Кого ждешь?

— Сын должен...

Кузьма несколько раз подряд затянулся.

— Как назовешь?

— Ванькой.

— А я — Василием. У меня тоже сын будет.

Марья все кричала.

— Главное — помочь никак нельзя. Как поможешь? — Кузьма погасил окурок о подошву валенка и стал закуривать снова.

— В том-то и дело, — согласился Егор. — Сижу как связанный... Дай, я тоже закурю. Треснулся у вас давеча... как пьяный сейчас. — Егор потер ушибленное место.

— Дверь низкая. Я с непривычки тоже долго бился.

Марья перестала кричать.

Из горницы вышла Агафья. Егор поднялся навстречу ей.

— Сын, — сказала Агафья. — Здоровенный, дьяволенок... насилу выворотился.

— Так, — сказал Егор и вытер со лба пот. — Правильно.

— Здорово! — с завистью сказал Кузьма. — Как думал, так и вышло. У меня бы так.

— Ванька... — Егор устало улыбнулся. — Не горюй, тоже так будет.

— Посмотрим.

Крестины справили пышные. Гуляли у старших Любавиных. Два дня пластались.

Сергей Федорыч, пьяненький, обнимал Емельяна Спиридоныча, дергал его за дремучую бороду и кричал:

— Ты с этой поры не шибко выкобенивайся! Это —

мой внук!.. Понял? Дупло ты! — А Егору грозил пальцем и говорил: — И ты тоже — сопи не сопи, все равно приду. К внуку приду, не к тебе. К Ваньке. Понял?

Марья побыла немного со всеми и пошла домой. Дорóгой, не в силах сдержать радость, то и дело останавливалась, откидывала одеяльце, смотрела на сына.

— Сынуленька мой хороший, ангелочек мой маленький, кровиночка моя! — шептала.

Подходя к своей избе, увидела в ограде Федю Байкалова. Тот правил на точиле топор.

— Федор! — позвала Марья.

Федя выпрямился и, продолжая ногой крутить точило, смотрел на Марью.

— Зайди, сына-то посмотри.

— Сейчас? Ага... зайду.

Он пришел в новой папахе и в новом дубленом полушубке (забежал в избу переодеться). Неловко потоптался у порога.

— Я маленько согреюсь, а то с мороза, с холода... как бы он не простыл.

— Ну! Он сам с мороза. Иди.

Федя заглянул в зыбку и неподдельно изумился:

— Лоб-то у его какой! Учитель, наверно, будет.

Марья хотела дать Феде подержать ребенка, но тот запищал. Она отвернулась, достала грудь и стала кормить его. Федя смотрел в угол, на божницу.

— Федор, а почему у вас-то детей нету? — спросила счастливая Марья.

Федя покраснел, долго молчал, опасаясь взглянуть на Марью. Осторожно кашлянул и сказал:

— Не знаю. У нее чего-то не в порядке. Ванькой окрестили?

— Ванькой.

— Лучше бы Серегой.

— Да он уперся. Я хотела Михайлом — в честь братки. Не дал.

— Гуляют теперь?

— Гуляют.

— Теперь, конечно, можно.

— Ты бы свозил Хавронью-то в город, к доктору.

— Я уж говорил ей... — Федя перевел взгляд с божницы на окно. — Не хочет. Божеское дело, говорит. Бог не дает.

— Ну, бог богом, а к доктору надо.

— Я понимаю. Ну, я пошел.

— Забегай, Федор.

— Ага. — Он ушел, осторожно ступая по полу...

5

С крестин завелись на сватовство: Кондрат с отцом поехали договариваться с Феклой.

Заложили иноходца в легкую кошеву и через пять минут подлетели к Феклиным воротам.

Кондрат выпрыгнул из кошевы, по-хозяйски распахнул ворота. Емельян Спиридоныч въехал во двор, критически оглядывая скромное Феклино хозяйство.

Фекла вышла на крыльцо и, скрестив на могучей груди полные руки, спокойно смотрела на Любавиных.

— Может, в дом пригласишь, корова комолая? — сказал Емельян Спиридоныч.

— Заходите, раз приехали. А коровой меня нечего обзывать.

— Скажите какая... Ну, телка. — Емельян Спиридоныч молодо выпрыгнул из кошевы — в руках по бутылке и еще из карманов торчат две. — Режь огурцы, — распорядился он. — Честь тебе великая привалила, а ты стоишь, как в землю вросла. От радости, что ли?

Фекла была тоже из гордых людей; в свое время из-за гордости и проворонила всех женихов.

— Ты не петушись тут, — осадила она Емельяна Спиридоныча. — Приехал... царь-горох.

— Поменьше вякай, дура. А то ведь и повернуть можем.

— Ладно вам, — вмешался Кондрат. — Чего схватились? Давай, Фекла, капусты, что ль...

Фекла пошла в погреб, а отец с сыном прошли в избу.

— Не глянется она мне, — Емельян Спиридоныч пьяно икнул. — Она сейчас должна перед нами на цыпочках ходить... — Он опять икнул и плюнул на чистый половичок. — Что она, девка семнадцати лет?

— Я тоже не парень. — Кондрат скинул полушубок, привычно устроил его на гвоздь возле двери. — А одному с этих пор тоже не сладко. Я не поп.

Емельян Спиридоныч пропустил это последнее замечание мимо ушей.

— Ты — мужик, а мужик до сорока годов парень. — Он тоже разделся. — Смотри не распускай перед ней слюни, а то живо окрутит в бараний рог. С ними — во как надо! — Он показал сыну жилистый кулак. — Для первого раза обязательно выпори. Вожжами.

Вошла Фекла с капустой и с огурцами.

Сели за стол.

— Вот так, договоримся... — Емельян Спиридоныч положил темные лапы на свежестираную камчатную скатерть. — Ты перед нами не выгибайся, как вша на гребешке. Мы тебя не первый год знаем. Кондрат хочет взять тебя... подобрать, можно сказать. Жить будет у тебя. Все. Наливай, Кондрат. Я тебе, девка, советую: с нами поласковей. Мы не любим, когда хорохорются.

— Один у вас уж дохорохорился, — заметила Фекла.

— Цыть! — Емельян так треснул ладонью об стол, что бутылки подпрыгнули. — Ни разу не заикайся про это, толстомясая!

— Чего ты, на самом деле? — Кондрат неласково посмотрел на будущую жену.

— А чего он! Изгаляется сидит, как хочет. Как будто я ему потаскушка какая-нибудь. — Фекла отвернулась и заплакала молча.

— Ну ладно, — Кондрат налил ей полный стакан водки, повернул за плечо к столу, — пей.

Фекла вытерла слезы, взяла стакан.

— А сами-то чего же?

Емельян Спиридоныч взял стакан, потянулся к Фекле — чокнуться.

— Не сердись. Давай выпьем. Мы ж родня теперь.

— Давай.

Выпили. Стали закусывать.

— Капусту солить не умеешь. Вялая, — заметил Емельян Спиридоныч.

— Поздно срубила, заморозком хватило.

— У тебя сколько скотины-то?

— Две коровы, конь, овечек держу, курей... Хватает.

— Теперь больше будет. Пару коней я вам даю, две бороны, плуг... новенький плуг, из лопотины — само собой: тулупишко, пимы, шаровары... Обчим, не обижу. — Емельян Спиридоныч задумался, долго молчал. — Один теперь остаюсь. А ить мне уж скоро семисит. Турнёт скоро курносая со двора... Налей-ка, Кондрат.

Еще выпили.

Потом еще. И еще. Отяжелели.

Ночевать остались у Феклы.

Проснулся Емельян Спиридоныч рано. Долго ходил по избе, кряхтел... Зажег лампу.

На широкой кровати спали Кондрат с Феклой.

Емельян Спиридоныч остановился над ними, долго смотрел на сына... Тихонько позвал:

— Кондрат! А Кондрат! Поднимись, ну тя к дьяволу, развалился тут. — Ему стало почему-то очень грустно, и обида взяла на сына.

Кондрат поднял голову, посмотрел в окно.

— Рано еще, чего ты?

— Встань, не могу тебя видеть с этой дурой. Уйду — тогда уж спите. Давай похмелимся.

Проснулась Фекла. Потянулась так, что хрустнули кости.

— Чего ты, тятенька?

— Здоро́ва спать! — с сердцем сказал Емельян. — Другая давно бы уж соскочила, блинов напекла.

Фекла сыто улыбнулась.

— Все ворчишь?

Емельян Спиридоныч прищурился на нее, хотел, видно, что-то сказать, но не сказал. Долго сворачивал «ножку», мрачно сопел. Грусть и злость не унимались.

— У нас осталось чего-нибудь со вчерашнего? — спросил он.

— Все выпили, — ответил Кондрат.

— Сейчас сбегаю к Завьялихе, — сказала Фекла.

Емельян Спиридоныч сел к столу, подпер кулаком голову.

— Макарку во сне видал.

Кондрат промолчал.

— Пришел откуда-то: «Прости, — говорит, — меня, тятя, шибко я виноватый перед тобой». — Емельян Спиридоныч заморгал, отвернулся. Что-то непонятное творилось с ним. Ему до боли стало вдруг жалко Макара, жалко стало прожитую жизнь. И обидно, что Кондрат в чужой избе чувствует себя как дома. — Убили. А за что? Он сроду курицы не обидел. Эхх...

...Опохмелились. Емельяну Спиридонычу стало вроде

полегче, захотелось с кем-нибудь поговорить о жизни. Но здесь он говорить не мог — Фекла злила его.

— Пойду к Егорке. Коня сам отведешь. Загуляю, наверно, — сказал он.

Егор стоял над зыбкой — всматривался в лицо ребенка. Он часто так делал: Марья из избы — он подходит к сыну и подолгу изучает его красную, сморщенную рожицу. Непонятно было, о чем он думал в такие минуты.

Когда в сенях заскрипели шаги отца, Егор поспешно отошел от зыбки и сел к столу.

— Здорово. — Емельян Спиридоныч огляделся. — Маньки нету?

— К своим пошла.

Емельян разделся, прошел мимо зыбки, мельком заглянул в нее.

— Не хворает?

— Ничего пока.

— Затосковал я, Егорка. — Емельян Спиридоныч тяжело опустился на лавку, навалился на стол. — Крепко затосковал.

— Чего?

— Хрен его знает, чего... От Кондрата сейчас иду. Женился Кондрат. Баба у него — дура набитая.

— Чем так не поглянулась? — Егор притаил в глазах усмешку — не везло отцу с невестками.

— Кобыла она. На ей пахать надо, а Кондрат угождает ей.

— Кондрат угодит... жди.

— Макарку во сне видал. — Емельян Спиридоныч поднял на сына красные, печальные глаза. — Жалко мне его. Убили, гады. Какого парня!..

Егор отвернулся. Промолчал.

— У тебя выпить есть чего-нибудь?

— Не знаю. Посмотрю, — голос Егора осел до хрипотцы.

— Посмотри. Выпьем хоть... за помин души Макаровой.

Егор слазил под пол, достал большую зеленую бутыль с самогоном.

Нарезали ветчины, хлеба.

Выпили по стакану. Сидели, склонившись локтями на стол, — лоб против лба, угрюмые, похожие друг на

друга и не похожие. У старшего Любавина черты лица навсегда затвердели в неизменную суровую маску. Лишь глубоко в глазах можно еле заметить слабый отсвет тех чувств, какие терзали этого большого лохматого человека. У молодого — все на лице: и горе, и радость, и злость. А лицо до боли красивое — нежное и зверское. Однако при всей своей страшной матерости отец уступал сыну, сын был сильнее. Одно их объединяло, бесспорно: люди такой породы не гнутся, а сразу ломаются, когда их одолевает другая сила.

— Один знакомый мужик из Суртайки рассказывал — нонче быдто еще больше на нашего брата, кто покрепше, налогов навешают. — Емельян налил из зеленой бутылки. — От жись пошла! Руки опускаются. — Выпил. — А ишо не то будет. Сейчас половину забирают, потом все начисто подметут. — Емельян Спиридоныч, как мог, подогревал свою злобу.

Егор слушал, обняв голову. Ему нездоровилось последнее время. Налил себе в стакан, выпил. Спросил:

— Знаешь, кто Макара убил?

— Яшка?

— Яшка.

Еще молча выпили. Лениво жевали хлеб и сало. Потом стали закуривать.

— Яшка — он змей подколодный. Таких еще не было. Спроси, почему я его оглоблей не зашиб, когда он у меня до переворота ишо на покосе робил. — Емельян Спиридоныч заметно пьянел. — А я мог... Имел права: он у меня жеребенка косилкой срезал, урод. А я — ничего... пожалел. Сирота. А сичас радуется ходит...

— Он нарадуется. — Егор провел ладонью по лицу. — Он нарадуется. — Ему передалась отцовская злость, охватило яростное нетерпение и страх. Показалось, что он навсегда упустил момент, когда можно было расквитаться с Яшей. Теперь Яша будет ходить и радоваться. А брат родной в земле гниет, неотмщенный. — Ты куда сейчас? — спросил он, поднимаясь.

— Никуда. Я загулял.

— Мне уйти надо...

— Иди. Я дождусь Маньку.

Егор оделся, вышел на улицу, надел лыжи и пошел скорым шагом из деревни. На окраине оглянулся — улица была пуста. Он поправил ружье и скрылся в лесу.

6

Подойдя к знакомой избушке, Егор внимательно осмотрелся. От крыльца по поляне шла свежая лыжня. Больше следов не было. Егор двинулся по лыжне, старательно попадая лыжами в глубокие колеи.

Он шел так с час. Смотрел вперед, прислушивался... Один раз, остановившись, услышал далекий, похожий на треск сучка, выстрел. Прибавил шагу.

...В полдень он догнал Яшу.

Был ясный, морозный день. Снег слепил глаза.

— Здорово, Егор! — крикнул издали Яша.

— Здорово. — Егор глотнул пересохшим горлом. — Здорово, Яша. — Он медленно приближался к нему.

Яша стоял, широко расставив ноги. На снегу, рядом с ним, лежала убитая лиса. Яша улыбался.

— Убил? — спросил Егор.

— Ага. Спускаюсь вон с той гривки — гляжу: хромает, милая. — Яша показал носком валенка на переднюю левую ногу лисы: вместо ноги у нее был короткий огрызок. — Из капкана ушла, а под пулю угодила, дурочка.

Егор остановился шагах в трех от Яши. Снял рукавицы... Странно улыбнулся. Яша чуть заметно приподнял одну бровь. Ружье у него было за спиной. У Егора ружье на плече. Он воткнул палки слева от себя...

— Что, Яша?.. — Егор опять не то улыбнулся, не то сморщился. — Погань ты такая, ублюдок...

Яша побледнел.

Мгновение смотрели друг на друга... Одновременно рванулись к ружьям...

Грянул одинокий выстрел. С Яши слетела шапка, точно невидимая рука сорвала ее и откинула далеко в сторону; Егор взял сгоряча выше. Яша не успел снять свое ружье. Он теперь стоял, опустив руки, и как завороженный смотрел на Егора, — у Егора двустволка, и палец лежит на спусковом крючке второго ствола.

— Не надо, Егор, — тихо сказал он, с трудом разлепляя сведенные судорогой губы.

— Ты Макара убил!..

— Егор... прости... — Яша глядел в глаза Егору.

— Ты Макара угробил... паскуда! — Егора трясло все сильнее. Ему было жалко Яшу. — Ты Макару в висок попал. Рвань... — Егор матерно выругался.

— Егор, не губи... Егор... Эх ты, гадина! Су..

Грохнул выстрел. Яша схватился за лицо, упал и засучил ногами, залезая головой в снег. Егор рывком перезарядил оба ствола, добил Яшу в затылок. Закидал труп снегом и пошел обратно, так же старательно попадая лыжами в глубокий след. В горле стояла теплая тошнота, не проходила. Раза два он останавливался, ел горстями снег. Он вдруг страшно устал. Напрягал последние силы, передвигая лыжи.

...Перед самой деревней его вырвало. Стало жарко; жаром дышала в лицо дорога; глаза застилал горячий туман. Глядя на Егора со стороны, можно было подумать, что он беспробудно пил неделю. Его шатало из стороны в сторону.

Держаться он уже не мог. «Ну, все...» — подумал. И лег на дорогу. И вытянулся. И погрузился в теплый, глухой, непроглядный мир, ласково и необоримо влекущий куда-то.

Еще час, полтора — и Егор уже не вернулся бы из этого непонятного, сладостного мира. Даже молодая неистребимая сила не вернула бы его к жизни: он замерзал.

Подобрал его один мужик, ехавший в деревню с сеном.

7

Неделю Егор пластом покоился в жаркой перине, не приходя в сознание. Марья кормила его с ложки. Егор тихо стонал, не хотел открывать рот; Марья ножом разжимала стиснутые зубы и вливала молоко или бульон.

Мерещились Егору какие-то странные, красные сны... Разнимали в небе огромный красный полог, и из-за него шли и шли большие уродливые люди. Они вихлялись, размахивали руками. Лиц у них не было, и не слышно было, что они смеются, но Егор понимал это: они смеялись. Становилось жутко: он хотел уйти куда-нибудь от этих людей, а они все шли и шли на него, Егор вскрикивал и шевелился; на лице отображались ужас и страдание.

Чьи-то заботливые руки, пахнувшие древним теплом, укладывали ему на лоб влажное полотенце... Две женские головы склонялись над ним.

— Снится, что ли, ему?..

...Очнувшись, Егор увидел около себя Галину Петровну.

— Как вы себя чувствуете?

— Ничего. — Егор хотел посмотреть по сторонам, но тотчас прикрыл глаза: они так наболели, что в голове, подо лбом, заломило. — Где я?

— Дома. — Галина Петровна положила ладонь на лоб больного. Ладонь чуть вздрагивала.

— А где... Марья?

— Она ушла. У нее отец тоже заболел.

— А ты чего здесь?

— Я? Так просто. А вам что, неприятно?

— Почему?.. Ничего. — Егор отвернулся к стене и замолчал.

Яшу нашли через три дня. Охотники с гор.

Притащили в избушку к Михеюшке:

— Знаешь такого, отец?

Яша стукнулся об пол, как чурбак. Он так и застыл — скрюченным.

Михеюшка заглянул в лицо покойнику, медленно выпрямился и перекрестился.

— Наш... Яша Горячий... Царство небесное... Кто его?

— Кто-то нашелся. Кто он был-то?

— Человек... кто? Надо сказать нашим-то.

Охотники поколготились в избушке, отогрелись и ушли. Один на лыжах побежал в Баклань.

Кузьма, когда узнал об убийстве Яши, побледнел и, стиснув зубы, долго молчал.

— Из ружья? — спросил он Николая, который сообщил ему эту черную весть.

— Из ружья. Всю голову размозжили.

Кузьма накинул полушубок и пошел к Любавиным. Но по дороге одумался:

«Нет, так не пойдет. Надо умнее делать».

А как умнее, не знал. Пошел медленнее. Незаметно пришел к Фединой избушке.

Федя сидел в переднем углу, около окна, подшивал жене валенки.

— Здорово, Федор!

Кузьма присел на табуретку.

— Здорово, — откликнулся Федя.

И нахмурился... Швыркнул носом и низко склонился над валенком. Смерть Яши удивила Федю, крепко опечалила. Он ходил смотреть друга, долго стоял над ним, потрогал его холодную руку... Лицо Яши было закрыто полотенцем. И вот это полотенце, небольшая, конопатая, холодная рука, белая чистая рубаха — все это странным образом не походило на Яшу, а вместе с тем это все-таки был Яша...

— Что, Федор? — спросил Кузьма.

Федя медленно поднял большую взлохмаченную голову.

— Угробили Яшу, — тихо сказал он и снова склонился к валенку.

— Пойдем, посмотрим то место? — попросил Кузьма.

На месте, где убили Яшу, была неглубокая ямка в снегу, несколько больших темно-красных ягодин крови — и все. Сколько ни искал Кузьма вокруг, ничего больше не обнаружил.

Пошли обратно.

Когда подходили к деревне, Кузьма твердо решил: надо идти к Любавиным.

— Федор, пойдем к Любавиным. Это они — за Макара.

— Я не пойду, — сказал Федор.

— Почему?

— Так. Не могу пока... Шибко горько.

— Тогда я пойду один. К Егору сперва.

— Егорка хворый лежит.

— Он на этой неделе тоже охотился.

— Сходи. А я... не сердись — не могу. Я, может, выпью пойду.

Егор опять впал в беспамятство. Около него сидела Марья.

Кузьма в первую минуту пожалел, что пришел сразу сюда, но отступать было поздно.

— Здравствуйте! — громко сказал он.

Марья от неожиданности приоткрыла рот... Молча кивнула.

Кузьма снял шапку, прошел к столу. На Егора не посмотрел. Вытащил из кармана замусоленную тетрадку, аккуратно расправил ее.

— Когда твой муж пришел с охоты? — спросил он.

— Неделю, как... — Марья вопросительно и удивленно смотрела на Кузьму.

— Он принес чего-нибудь с собой?

— Чего?

— Дичь какую-нибудь?

— Нет.

— Ничего не принес?

— Нет.

— Где его полушубок?

— Вон висит.

Кузьма подошел к полушубку, похлопал по карманам. В одном что-то звякнуло. Кузьма вытащил четыре пустых патрона.

— Так, — значительно сказал он. Осмотрел весь полушубок, снял со стенки ружье, заглянул в стволы. — Понятно.

Надел шапку и вышел, не посмотрев на Марью.

В тот же день он собрался и уехал в район.

Не было его три дня.

Возвратился обновленным: похудевший, собранный, резкий.

Забежал на минуту домой. Клавди не было в избе. Дверь в горницу закрыта. По глазам домашних понял: что-то случилось.

— Что такое? — не поздоровавшись, с порога спросил он.

— Ничего, — усмехнулся Николай. — С прибавлением нас...

— Родила?

— Ага. Девку. Хорошая девка получилась.

Кузьма прошел в горницу — там никого не было.

— А где она?

— У наших. Вечером съездим за ними.

Кузьма пошел в сельсовет.

Приехал он не один — в сельсовете сидел тот самый работник милиции, которого привозил Платоныч.

— Жена родила, — сообщил ему Кузьма.

— Дело, — похвалил мужчина.

— Девку... елки зеленые! — Кузьма сел к столу и рассеянно стал смотреть в окно.

— Где председатель-то? — спросил мужчина.

— Сейчас придет. Сына хотел...

— Ничего. Девки тоже нужны.

Пришел Елизар, вопросительно уставился на приезжего.

— Здравствуйте, товарищ.

— Здравствуйте. В каком состоянии Егор Любавин?

— Ходит. Давеча видел — по ограде ходил.

— Надо вызвать его.

— Для чего?

— Для дела. Не надо ничего говорить. Вызывают — и все. — Работник милиции говорил молодым, звучным голосом, короткими фразами, уверенно. Был он в том же костюме, в каком приезжал прошлый раз.

Елизар ушел.

— Сына, говоришь, хотел?

— Сына, — упавшим голосом сказал Кузьма; он сразу как-то устал. Он, конечно, обрадовался, но он так свыкся с мыслью, что у него будет сын Василий, так много думал об этом, что теперь несколько растерялся.

— Ну-у... уж ты совсем что-то скис, брат! На, кури.

Кузьма закурил. Попытался представить свою дочь... Усмехнулся.

— Ничего. Я — так просто, думаю.

...Егор сильно похудел за эти несколько дней. Держался, однако, прямо. Смотрел спокойно, угрюмо.

Кузьма так и не привык к любавинскому взгляду; всякий раз, когда кто-либо из них смотрел на него, его охватывало острое желание сказать что-нибудь резкое, вызывающее.

— Садись, — сказал приезжий.

Егор сел.

Елизар, сообразив что-то, вышел.

Кузьма и приезжий внимательно смотрели на Егора.

— Ты убил Горячего? — неожиданно, в упор, спросил приезжий.

Не столько спросил, сколько сказал утвердительно. Голова Егора дернулась, точно его кто позвал сзади. «Он», — подумал Кузьма.

— Нет.

— Это чьи патроны? — приезжий расставил на столе рядком четыре патрона.

Егор посмотрел на патроны, потом на следователя и на Кузьму, на душе у него стало немного веселее: он думал, что им известно больше.

— Не знаю. Может, мои, — у меня такой же калибр.
— Ты охотничал в среду? Перед тем, как захворать?
— Охотничал.
— Видел Горячего?
— Нет. Я не дошел до избушки... плохо стало, я вернулся.
— В кого же ты стрелял?
— В зайцев.
— Не попал, что ли?
— В одного попал, но испортил шкурку, не взял. А зачем это все?
— Ты четыре раза стрелял?
— Четыре.
— Так... — Следователь уставился на Егора угнетающе долгим, насмешливым взглядом.

Егору снова сделалось не по себе, он лихорадочно вспоминал: четыре раза он стрелял или больше? Один раз промазал, потом попал, двумя выстрелами добивал Яшу в голову — четыре. Двумя добивал или тремя?

— Вспомнил?
— Что?
— Сколько раз стрелял?
— Четыре.

Следователь пружинисто выкинул свое тело из-за стола, рявкнул в лицо Егора:

— А пятый раз в кого стрелял?!

Это было так неожиданно, что даже Кузьма вздрогнул.

— Почему у тебя в кармане было пять патронов? Почему?! Ну?!

— Ты не ори, — негромко сказал Егор. Он заметно побледнел; момент был жуткий.

— В кого стрелял?!

— Не ори, понял! — Егора душили страх и злоба. — А то не погляжу, что ты — власть. Нечего орать.

Шрам у Кузьмы багрово накалялся.

— В кого стрелял? — сквозь зубы, тихо спросил он. Он сам в эту минуту верил, что в полушубке Егора было пять патронов.

Егор не шевельнулся, только настороженно прихмурил глаза. Он отчетливо вспомнил ясное морозное утро, Яшу, его побелевшее, растерянное лицо... Выстрел. Негромкое: «Не губи, Егор». Еще выстрел. Потом еще. И еще. Откуда же их пять?»

— У меня на полатях еще двадцать пять патронов, — что же, я за всех покойников отвечать должен? — Егор обретал уверенность. Поднял глаза на следователя. На Кузьму упорно не смотрел. — Забыл, наверно, в кармане — и все. А где он, пятый-то? — Егор кивнул на патроны.

Следователь прошелся по комнате, закурил.

Егор отдыхал от великого напряжения.

«Его вовсе и не было, пятого-то, — думал он. — Ах, сволочи!.. Чуток не влопался».

За спиной Егора следователь поманил Кузьму, вышли в сенцы.

— Отпустим его, — негромко заговорил он. — Сделаем вид, что все кончилось. Потом продолжим следствие.

— Я думаю, это все-таки он.

— Мало мы слишком знаем. Думать — одно, а... Пойдем. Извинись для блезира... Надо успокоить его.

— Нет уж, сам извиняйся.

Вошли в избу.

— У меня один вопрос к тебе, — как ни в чем не бывало, добродушно заговорил следователь, — не знаешь, у Горячего не было врагов среди охотников с гор?

Егор не сразу ответил. Молчал, думал: «Подвох какой?»

— Не знаю. Может, в тайге встречались...

— Ну ладно, — легко примирился следователь. — Иди. Извини нас.

Егор спокойно поднялся, медленно пошел к выходу. В дверях излишне низко склонил голову, чтоб не удариться в притолоку.

«Ослаб, — подумал он, спускаясь с высокого сельсоветского крыльца; ноги дрожали. — Ослаб совсем».

— Где председатель-то твой? — спросил приезжий. — Позови, я ему передам... А то еще заартачится.

Кузьма нашел Елизара в соседней избе.

— Пошли, с тобой поговорить хотят.

— Про чо? — испугался Елизар.

— Скажут.

Елизар подозрительно посмотрел на Кузьму, пошел неохотно.

— Собери в субботу на сходку всех нелишенцев, — заговорил сразу приезжий.

Но Елизар перебил:

— В субботу — баня, черт их вытянет.

— Ну, в воскресенье.

— Мгм, так...

— Будут тебя переизбирать.

— Понимаю. — Елизар нисколько не удивился. — Его, да? — показал на Кузьму. — А мне какое место?

— Дело покажет. Я только передаю... В общем, приедут к вам два товарища из укома. Встретите.

8

Шел Егор из сельсовета и упорно думал: почему сразу вызвали его? Все сделано было аккуратно. В чем же дело? В чем дело?.. И вдруг пришла догадка: проболтался в бреду. Когда бредил, наверно, поминал Яшу. А эта учительша слышала... тварь глазастая. Ее нарочно подослали.

Он завернул к своим.

— Эк тебя перевернуло! — заметила мать. — Не рано поднялся-то?

— Ничего... Где отец?

— Ушел куда-то. Не знаю. — Михайловна опять принялась месить тесто.

Егор сел на припечек, закурил. Стало отчего-то тоскливо — пусто было в родительском доме.

— Не хворает парнишка-то? — спросила мать.

— Нет пока.

— У Авдотьи Холманской запоносила девчонка. Говорят, поветрие ходит. Если прохватит, поите черемуховым отваром. У Маньки-то нет, наверное, черемухи? Пусть придет, я дам.

— Кондрат бывает здесь?

— Редко. С Феклой анадысь зашли, посидели... Не любит наш ее чегой-то. Зря — баба хорошая, работящая.

— Он всех их не любит. — Егор бросил в шайку недокуренную папироску, поднялся. — Не придет скоро, однако. Он не загулял?

— Нет вроде. А там — бес его знает.

На крыльце заскрипели знакомые шаги. Зашуршал по валенкам березовый веник.

— Вон он... идет.

Емельян Спиридоныч вошел раскрасневшийся с мороза. Долго раздевался, кряхтел.

— Моро-оз, язви тя в душу! До костей пробирает. Скотине давала?

— Давала, — откликнулась Михайловна.

— Сейчас поболе давать надо. Такой навалился, черт те что... воробьи падают. Поправился? — обратился к сыну.

— Поправился.

— Заходил к тебе раза два... Думали уж — каюк пришел. А чего училка около тебя сидела?

Егор нахмурился, полез за кисетом.

— Пойдем в горницу, поговорить хочу.

Отец искоса, вопросительно глянул на сына, прошел в горницу.

— Вызывали сейчас в сельсовет, — сказал Егор, прикрывая за собой дверь.

— Зачем?

— Думают, я убил Яшку.

Емельян опять внимательно посмотрел на сына.

Егор присел на подоконник.

— Ну? — спросил отец.

— Допросили.

— А ты что?

— Что? Ничего.

— А почто сразу к тебе пришли?

— А я откуда знаю? Патроны какие-то нашли в полушубке, привязались. Я в тот день тоже на охоте был.

— А Яшку видал? На охоте-то?

— Стречались, — уклончиво ответил Егор, не выдержав отцовского откровенного взгляда.

— А больше ничего?.. Кромя патронов-то, ничего больше не нашли?

— Ничего не нашли.

— Посылай их подальше... Нет такого закона, чтобы зазря клепать на человека.

— Ты, когда был у меня, не слышал, я бредил?

— Нет вроде. Не помню. А что?

— Сидела там эта городская... Боюсь, не слыхала ли она чего.

— У Маньки-то не спрашивал?

— Нет, я только сейчас подумал про это.

— А чего она там сидела? — опять поинтересовался Емельян Спиридоныч.

— Черт ее душу знает! Я думаю, ее подослали.

Емельян Спиридоныч долго молчал, посасывая рыжую усину... Сплюнул, полез за кисетом.

— Жись, мать ее... — И вдруг пришла ему в голову такая мысль: — Вот чего: прикинься опять хворым, она, эта училка, снова придет, а ты туру́сь чего попало. Про хлеб скажи... Поговаривают, ишо будут нас облагать, сверху налогу. А я налог не отвез. Придут скоро. Налог, конечно, придется отвезти, а этот я зарыл. Под баней. Чижало догадаться, но все же... опасно. А ты, когда туру́сить-то будешь, дык вроде под пол мне советываешь. А я вроде не соглашаюсь — в завозню велю. Вроде ругаемся с тобой. Пусть тогда роются. Нету, и все — съели.

— Не получится у меня, — с сомнением сказал Егор, удивляясь про себя отцовской хитрости.

— А тут же, — продолжал увлеченный Емельян Спиридоныч, — брякни насчет Яшки: мол, не убивал я его, чего зря привязались!.. Нет. Вроде опять со мной говоришь: жалуйся мне, что на тебя такой поклеп возводют. — Старик даже устал от таких вывертов, но был доволен.

— Не получится, — еще раз сказал Егор.

— Получится! Чего тут не суметь-то? Только не все подряд рассказывай, а вперемежку. А то догадаются.

Егор ушел от отца с нетерпеливым желанием немедленно увидеть учительницу.

Марья подрубала топором ледок на крыльце.

— Давеча чуть не брякнулась, — сказала она. — Наросло черт-те сколько.

— Пойдем в избу, — буркнул Егор.

Марья положила топор, вошла в избу с недобрым предчувствием.

— Я хворый туру́сил или нет?

— Туру́сил чего-то...

— Ну и что?

— Чего ты?

— Что говорил-то? — почти крикнул Егор.

— Господи, чего ты орешь-то? Неразборчиво было... Да я и не слушала.

— А эта... твоя слушала? Учительша-то?

— А я откуда знаю! Она тут много раз одна оставалась. Может, слушала.

Егор с ненавистью глянул на жену.

— Не можешь, чтоб кого-нибудь не тащить в дом.

— Господи!.. Да она ко всем ходит читать. А когда ты захворал, она сказала, что умеет выхаживать. Училась, говорит, этому делу. Спасибо надо...

— Вот что, — оборвал Егор. — Призови ее счас, а сама куда-нибудь выйди...

— Зачем это?

— Надо! Не разговаривай много!

Марья пошла к учительнице.

...Галина Петровна пришла сразу.

— Здравствуйте!

Егор молча кивнул.

— Как вы себя чувствуете?

— Где Манька-то? — спросил Егор, чувствуя, что скоро может сорваться; особенно злили большие, чистые глаза девушки. «Сука... Святая».

— Она сказала, что зайдет на минутку к соседям. — Галина Петровна присела на табуретку. — А почему вы ее так — Манька?

— Я слышал, что тебе надо уехать отсюда, — негромко заговорил Егор. — Пока живая. А то у нас тут... есть ухари — враз оторвут голову.

Большие глаза Галины Петровны сделались еще больше.

— Как это?.. Вы что?

— Уезжать, говорю, надо, откуда приехала! Нечего наших баб от дела отваживать. В городе надо книжки читать. А здесь надо работать. А ишо ребята обижаются, что девки по вечерам с тобой сидят — им тоскливо одним, ребятам-то.

— Пусть тоже приходят...

— Я ей одно, она — другое. Уезжать, говорю, надо!

— Но почему?

— Да потому, что ты, змея ползучая, суешь нос куда не надо. — Оттого ли, что он ослаб здорово, или оттого, что давеча в сельсовете сильно перепугался, Егор уже не мог сдерживать себя. — Последний раз тебе говорю: не уедешь — пеняй на себя.

Галина Петровна словно онемела, только моргала голубыми глазами.

— Два дня тебе на сборы, дальше... смотри сама, — подытожил Егор. — Жалеючи говорю. Все. Иди отсюда, чтоб я тебя больше не видел.

— Вы в своем уме? Как вы смеете...

— Еще раз говорю: хлопнут — и концов не найдешь.

Галина Петровна поднялась с табуретки. И молча вышла из избы.

Через два дня она уехала. Вместе с Кузьмой, которого вызвали в район, и следователем. О причине отъезда сказала неопределенно:

— Нужно...

В Баклань больше не вернулась.

9

Из района Кузьма ехал с заданием: срочно, кто не отвез хлеб по продналогу, чтоб вывезли. И поговорить на сходке с крестьянами: может, кто сверх налога раскошелится. Хотя бы помаленьку. Богачей, если не дадут, обыскивать. Спрятанный хлеб считать достоянием государства. Задача нелегкая. Это не то, что собрать ворчливых мужиков на лесозаготовку на семь дней или на строительство школы на день. Это — хлеб. Хлеб есть, но... половина по ямам, половина — семенной, неприкосновенный. В районе строго-настрого предупредили: не махать наганом без дела, убеждать словами. Сознательность крестьян повысилась, этим надо пользоваться. Богачей, зажимающих хлеб, всенародно осуждать.

«Ты сперва найди его, а потом считай достоянием государства», — невесело думал Кузьма.

Первое, о чем позаботился Кузьма, — чтобы от каждого семейства на сходке присутствовали глава семьи и старшие сыновья. Баб на собрание не пускать. Некоторый опыт показал ему, что этот народ по части собственности более стойкий, чем мужики.

Собрались в церкви. Можно было собраться в школе (пол в зале настелен, потолок тоже), но у Кузьмы был свой расчет: в сломанную церковь богомольные бабы не пойдут. Не пойдут также и старики. А они-то как раз и не нужны там.

Долго рассаживались, кто на чем — кто прямо на полу, кто притащил из дома табуретку... Расселись. Помялись-помялись, покряхтели и закурили. Некоторые, правда, держались — то и дело выскакивали курить на улицу и очень мешали. Кузьма счел нужным объяснить:

— Раз церковь без креста, значит, курить можно. Это когда на церкви крест, тогда нельзя.

Большинство согласились с ним.

— Нужен хлеб, товарищи, — начал Кузьма, когда расселись и стало немного потише. — Кто по налогу не вывез — это само собой, надо завтра же вывезти. Но надо еще сверх налога — сколько можем.

— Эхма-а! — громко вздохнул кто-то в задних рядах; все засмеялись.

— А сколько надо-то? — спросил Ефим Любавин.

— Я сказал: по справедливости, кто сколько может. Кто больше собрал — больше, кто меньше — поменьше.

— А сеять-то что будем?!

— Семенной хлеб никто у вас брать не собирается.

— А ежели его нету, окромя семенного-то?! — спросили звонко.

Кузьма приподнялся, чтобы увидеть, кто спрашивает.

— Давайте так: кто хочет говорить, подымайте руку. Кто сейчас спрашивал?

— Я спрашивал, — поднялся невысокий мужичок в добротном тулупе. — У меня вот нет никакого хлеба, кроме семян. Налог вывез. А какой был лишний, отвез на базар. Осталось маленько, но самим надо кормиться.

Кузьма молчал. Он видел этого мужичка раза два на строительстве школы и один раз пьяным на улице. Был он, видно, не из богачей и говорил, может быть, правду. Как быть в таком случае, Кузьма не знал. То есть он знал, что в таком случае — никак не быть. Нет хлеба — его не нарисуешь. Однако для начала сходки такой разговор был крайне нежелателен.

— Садись, — сказал Кузьма. — Мы еще дойдем до этого. Начнем с тех, у кого хлеб есть.

Кто-то, засмотревшись на стенную роспись, негромко спросил соседа:

— Это Микола-угодник, что ли, с бородкой-то? Не пойму никак.

В тишине это услышали и опять засмеялись.

У Кузьмы неприятно засосало под ложечкой: хлеба, кажется, не будет. Уж больно спокойно они себя чувствуют.

— Любавины! — вызвал Кузьма. — Сколько можете?

Никто не поднялся.

— Кто Любавины-то? — спросил Ефим. — Любавиных теперь много.

— Емельян Спиридоныч.

Емельян Спиридоныч поднялся (он сидел в первом ряду), неторопливо разгладил бороду и только после этого сказал:

— По налогу вывезу, а больше — ни зернышка.

— Почему?

— Нету. Мы же разделились. Кондрат ушел — взял, Егорка ушел — тоже взял. Осталось себе. — Емельян Спиридоныч объяснял одному Кузьме — терпеливо, вразумительно.

— Нисколько нету?

— Не.

— А если проверим?

— На здоровье. — Емельян Спиридоныч сел, очень довольный.

— Беспалов!

— Я! — бодро ответил Ефим Беспалов, поднимаясь.

— Сколько можешь?

— Самую малость...

— Сколько?

— Куля два.

Опять захихикали. Кузьма до боли стиснул зубы.

— Садись.

— А куда же он у вас подевался-то, хорошие мои? — не выдержал Сергей Попов. — Уж шибко вы развеселились сегодня, я погляжу!

— Давай, Федорыч, подсоби властям, — съехидничал Ефим Беспалов. — Ты что-то давно не горланил. Прихворнул, я слышал?

— Поискать у них, чего тут лясы точить! — сказал Сергей Федорыч, обращаясь к Кузьме. — Припрятали, это ж понятно. Я первый пойду к Ефиму Беспалову.

— Милости просим! — откликнулся Ефим. — Угощу, чем бог послал.

— Чем ворота закрывают, — негромко подсказал Ефимов свояк.

— Попробуй, — спокойно сказал Сергей Федорыч и сел, не глядя на Беспаловых.

— Я тоже гляжу, что вам сегодня что-то весело! — заговорил Кузьма. — А зря! Зря веселитесь, мужики. Хлеб нужен рабочим. Им сейчас не до смеха, они голодные сидят. Неужели вам не стыдно? Ведь есть у вас хлеб! И предупреждаю: найдем — не жалуйтесь. — Он обращался в ту сторону, где сидели Любавины, Беспало-

вы, Холманские — богачи. — С вами, видно, только так надо разговаривать. Простого русского языка вы не понимаете. Все. Можете расходиться.

Расходились весело, точно на представлении побыли. Шутили... Тут же сговаривались группами человек по пять, соображали насчет самогона — воскресенье было.

Хоть и обозлился Кузьма, но, наблюдая, как расходятся мужики, слушая их разговоры, он понял, что им невыносимо скучно зимой, и ему пришла в голову неожиданная мысль: а что, если закатить какую-нибудь постановку, а в постановке той поддеть богачей — про то, как они хлеб зажимают? На постановку охотно пойдут, а тут уж постараться допечь их.

К Кузьме подошли Сергей Федорыч, Федя Байкалов, Пронька Воронцов.

— Надо искать, — сказал Сергей Федорыч. — Так ничего не выйдет.

— Будем искать, — кивнул Кузьма. — Завтра начнем. Найдем, думаете?

— Черт его... — Федя поскреб в затылке. — Под снегом — это нелегко.

— Потом — даже, наверно, не в деревне прятали, — высказал предположение Пронька.

— А где?

— На пашнях.

— Ладно, попробуем, — Кузьма поймал себя на мысли, что даже сейчас думает про постановку. Представил, с каким недоверием, любопытством и интересом будут собираться на эту постановку. Только, конечно, не в церкви надо, а в школе.

Он пошел в сельсовет и долго сочинял докладную в район. Честно описал сходку и высказал соображения насчет дальнейших своих действий. Искать он, конечно, будет, но едва ли найдет. Середняки могут поделиться и поделятся, но это крохи. Весь хлеб — у богачей и зажиточных, а они его надежно припрятали.

Взял бумажку с собой и пошел домой.

И дома, ночью, думал Кузьма о постановке. Надо, конечно, ее сперва написать... А может, готовые есть?

Он вскочил, оделся и среди ночи поперся к Завьялихе (вспомнил, что Галина Петровна книги оставила здесь).

Завьялиха, привычная к поздним посетителям, скоро открыла ему.

— Я книги возьму, бабушка.

— Возьми, милай, возьми... Я одной тут надысь печку растопила, отсырели дровишки, хоть плачь.

— Ладно, хорошо, что одной хоть. Помоги собрать.

— Да ведь не унесешь один-то? Возьми саночки у меня, только завтра привези их, саночки-то, а то я без их как без рук.

Кузьма сложил книги в мешок, завалил мешок в санки и привез домой.

Почти до света сидел он в горнице на полу, листал книгу за книгой — искал пьесу. Нашел «Ревизора» Гоголя, некоторые коротенькие пьесы Чехова, «Грозу» Островского... Того, что нужно, не было.

«Придется писать самому», — решил Кузьма.

10

Три дня ходили Кузьма, Федя, Пронька и еще четыре мужика — искали хлеб по дворам. Искали в конюшнях, в сараях, под полами. Простукивали все стенки, тыкали щупами куда попало — хлеба не было. Заглядывали на всякий случай в закрома, но там ровно столько, сколько нужно для посева и для себя — кормиться до нового урожая.

Из районного центра ответили, что пошлют в Баклань двух товарищей на помощь, но товарищей что-то все не было.

Днем Кузьма искал хлеб, а ночами сидел над пьесой. Хотел было попросить пьеску в районе — наверняка там что-нибудь такое было, — но постеснялся: подумают, что он тут вместо хлеба шутовством занимается.

Пьеса подвигалась быстро. Сюжет был таков.

Приходят к махровому богачу несколько деревенских активистов:

— Хлеб есть? Рабочим надо помочь.

— Какой хлеб? Вы что! Сам зубы на полку положил. Семенной доедаю.

Активисты уходят, но не все. Один незаметно прячется за дверью. В это время к богачу приходит другой богач — сосед. Начинается такой разговор:

— У тебя были? — спрашивает сосед.

— Только что вышли. А у тебя?

— Были.

— Нашли?

— Как же, найдут черта с два!

Богачи хохочут. Потом садятся за стол и начинают жрать. И ведут разговор в таком духе:

— Пусть там рабочие поголодают. Пусть попрыгают.

— У тебя сколько зарыто?

— Восемь бричек.

— А у меня десять.

— Ты где схоронил?

— На гумне. А ты?

— А я — на пашне, около березки.

Активист, который притаился за дверью, незаметно уходит.

Тут занавес закрывается. Кто-нибудь выйдет и скажет:

— Прошла ночь!

Опять сидит этот богач и пьет с похмелья рассол.

Приходят активисты:

— Ну как? Подумал?

— А чего мне думать-то?

— Может, вспомнишь, где хлеб?

— Нету у меня, чего вы привязались! Я с сыновьями разделился и весь хлеб роздал по паям.

Тогда один активист, главный, говорит:

— Последний раз спрашиваю!

— Пошел ты!..

Главный активист говорит другому:

— Доставай волшебную книгу.

Один из активистов достает таинственную книгу и начинает с ней разговаривать.

— Вот нам интересно бы знать, — спрашивает он, — где этот паразит спрятал хлеб?

Потом прикладывает книжку к уху, некоторое время слушает и заявляет громко:

— Книга сказала: «Этот паразит спрятал хлеб на гумне».

Богач падает в обморок, а активисты, довольные, уходят к его соседу...

Чем дальше подвигалась пьеса, тем больше нравилась Кузьме. Смущали только два обстоятельства: активист, который подслушивает, и волшебная книга. Подслушивающий активист слишком упрощал задачу. Хотелось, чтобы как-нибудь иначе находили хлеб. Волшебная же книга — это как-то... тоже не то. Но сколько ни мучился Кузьма, не мог ничего другого придумать. Без подслушивания рассыпался сюжет, а книжка... черт с ней, пусть

будет. Видно же, что они ее называют волшебной шутя. Поймут небось.

Один раз к Кузьме в горницу вошел Николай.

— Какую ночь уже не спишь, все пишешь?

— А ты чего бродишь?

— Спина разболелась. Ломит — спасу нет. Табак есть?

Кузьма решил поделиться с Николаем своими планами насчет постановки. Он мужик умный, подскажет чего-нибудь.

Николай внимательно слушал, улыбался, смотрел на Кузьму с уважением.

— Здорово! — сказал он. — Голова у тебя работает.

— Получится, думаешь?

— Хрен ее знает. Придумано ловко. Это надо знаешь с кем поговорить? С Ганей Косых. Он у нас на такие штуки дошлый. Поговори.

— Ладно. Значит, поглянулось тебе?

— Просто здорово!

Кузьма был доволен.

На другой день он вызвал в сельсовет Ганю Косых, Федю Байкалова, Проньку, Сергея Федорыча и рассказал о своем замысле. Прочитал с выражением всю пьесу. Всем понравилось. Только один Федя что-то кисло принял произведение Кузьмы.

— Ты чего, Федор?

— Я изображать никого не буду, — сказал Федя.

— И не надо. Не обязательно всем. Ты — так поможешь.

— Так можно, — Федя заулыбался.

Стали распределять роли.

Единодушно решили, что богача должен играть Ганя. Ганя покраснел от удовольствия и скромно сказал:

— Можно.

Второго богача решил попробовать изобразить Сергей Федорыч. Кузьма должен играть самого себя — главного активиста. Пронька будет подслушивать. Надо было еще одного, кто бы разговаривал с книжкой...

— Федор...

— Я изображать никого не буду, — уперся Федя.

Думали-думали и вспомнили — Николай Колокольников.

Тут же сидел Елизар Колокольников и обиженно молчал: его почему-то обошли в этом веселом деле. Он

скептически морщился и смотрел в окно. Сергей Федорыч показал Кузьме глазами на грустного Елизара.

— Елизар! — спохватился Кузьма. — А ты будешь еще один активист. Активистов может быть сколько угодно. Мы вон по четверо ходим. Согласен?

— Можно, — сказал Елизар.

Тут же, в сельсовете, начали репетировать.

Дело пошло.

Ганя вмиг преобразился: сделался степенным, самодовольным и важным. Стал вдруг гундосить, как Ефим Беспалов. А когда он сказал: «Что вы! Да какой же у меня хлеб? Не-е...» — все засмеялись. Федя Байкалов просто за живот взялся. Ганя все делал серьезно, и от этого было еще смешнее. Он даже разулся, сидел, развалившись, у стола, чесал пяткой худую ляжку свою, сыто икал и ковырял в зубах пальцем. Это было уморительно. Кузьма тоже хохотал, суетился и помаленьку, по примеру Гани, входил в роль. Когда надо было, он становился строгим и неподкупным. А когда заговорил о рабочих, их женах и детях, которые голодают, то говорил долго — так, что у самого перехватило горло от жалости и горя.

Ганя не сдавался. Он тоже пошел шпарить не по-написанному, а как бог на душу положит: повторял, что у него нет хлеба, вставал на колени и размашисто крестился, клялся такими причудливыми клятвами, что Федя то и дело прыскал в кулак и вытирал слезы на глазах.

Зато, когда дошли до Сергея Федорыча, дело застопорилось. Богач из него был неважный. Вернее — артист. Он, например, никак не мог заставить себя искренне хохотать с Ганей.

— Нет, ребята, не выйдет у меня, — сказал он.

Попробовал богача делать Елизар — вышло. И неплохо.

Засиделись до полуночи. Прошли всю пьесу. Решили, что богач в конце должен умереть от разрыва сердца.

— Будем его хоронить! — воскликнул Ганя. — А?

— Давайте, — согласился Кузьма.

— Я буду гробик строить...

— Гробик я могу строить, — сказал Сергей Федорыч.

Но Ганя тут же сымпровизировал эту сцену: сел, по-татарски скрестив ноги, и, стругая воображаемым фуганком, запел тоненьким голоском гнусаво:

Гробики сосновые,
Гробики дубо-овые, —
Строим для люде-ей...

Он, наверное, где-то видел такого плотника — уж больно точно, правдиво у него получалось, у дьявола.

Федя вдруг о чем-то задумался. Долго соображал, глядя на Ганю, потом сказал:

— Как же, Ганя?.. Ты, выходит, самого себя будешь хоронить? Ты же умираешь!

— Ну и что? — небрежно сказал лицедей Ганя. — Приклею бороду, и никто не узнает. — В Гане проснулся ненасытный творческий голод. Он только начинал расходиться.

Не хотелось уходить из сельсовета, хотелось придумывать новые и новые шутки, хохотать, беситься... У всех было такое хорошее настроение! Люди открыли вдруг источник радости.

Как-то так получилось, что и Федя с головой ушел в работу: он был зритель и как зритель судил, что хорошо, что плохо. Его слушались.

— Нет, — орал Федя, — стой! Пусть Ганька тут кукарекнет! Как тогда, помнишь, Ганька?.. Когда тебя хоронить носили.

Хором громко обсуждали, нужно тут Гане кукарекать или нет.

Разошлись поздно ночью. Договорились завтра опять сойтись вечерком и продолжить работу. Постановка обещала быть развеселой и злой.

Но собраться больше не пришлось.

На другой день, рано утром, в Баклань из уезда приехали два товарища (Кузьма видел обоих в городе, но никогда с ними не разговаривал). Оба предъявили Кузьме документы. (Елизара опять не было — пьянствовал.) И сразу спросили: как с хлебом?

Один был небольшой, толстенький, с круглой, полированной головой, с веселыми глазками на круглом лице, другой тоже невысокий, но, видать, жилистый, с крепким подбородком, чернявый.

Пока Кузьма объяснял создавшееся положение, оба внимательно слушали, кивали головами — как будто соглашались, а когда кончил, они переглянулись между собой, и понял Кузьма: не так все расценили. Уяснили

только одно — хлеб есть и Кузьма, мальчишка, не сумел его взять.

— Искал?

— Искал. Зимой без толку искать.

— Беседовал с людьми? Рассказывал, для чего нужен хлеб?

— Рассказывал.

— Плохо рассказывал, — резко сказал маленький толстенький. — Как же другие хлеб собирают?

— Не знаю. Попробуйте вы.

— Попробуем. Кстати, что нового известно по делу Горячего?

— Ничего не известно. Обещались же приехать.

— Хорош! — не выдержал другой, с крепким подбородком. — Хлеб есть — нельзя собрать, активиста убили — ничего не делается. Ты кто — советская власть или...

— Он тут первый парень на деревне, — ввернул толстенький и засмеялся. — Председатель пьет с богачами, а секретарь...

— Ты бы полегче, между прочим, — сказал Кузьма.

— Что полегче?! — Толстенький сразу посерьезнел. — Что полегче!.. Распустил тут!.. В общем — так: ехай в уезд, там скажут, что дальше делать.

Этого Кузьма никак не ожидал.

Вышел он из сельсовета растерянный. Пока шел домой, все спорил про себя с этим толстеньким:

«Я же сам говорил — надо провести настоящее следствие. А в уезде тянули кота за хвост. Теперь я же и виноват!..»

Дома попросил у Николая коня, заложил легкую кошевку и поехал в уездный город.

11

Вернулся Кузьма в Баклань по весне.

Уже отсеялись. Только кое-где еще на пашнях маячили одинокие фигуры крестьян.

Кузьма беспричинно радовался. Спроси его, чему он так уж сильно радуется, он не ответил бы. Радовался просто так — весне, черной, дымящейся паром земле, молодой травке на сухих проталинках, теплому, густому запаху земли...

Каурый иноходец (отныне за ним прикрепленный) шел легко, беспрестанно фыркал и просил повод.

«Вот жизнь...» — думал Кузьма, и дальше не хотелось думать. Голова чуточку кружилась, на душе было прозрачно.

А один раз вдруг пришла некстати мысль: неужели когда-нибудь случится, что все на земле будет так же — дорога петлять в логах, из-за увалов вставать солнце, орать воронье, облетая острые гривы косогоров, — а его, Кузьмы, не будет на земле?

И не поверилось, что когда-нибудь так может быть. Уж очень хорошо на земле, и щемит душу радость...

Под Бакланью, на краю тайги, Кузьма увидел Егора Любавина.

Егор корчевал пни под пашню на будущий год. Кузьма остановился, некоторое время смотрел на него.

Егор подкапывался под пень, подрубал его крепкие коричневые корни и, захлестнув ременными вожжами, выворачивал пенек парой сильных лошадей. И оттаскивал в тайгу.

Дорога проходила рядом с ним. Кузьма не захотел сворачивать.

Когда он подъехал ближе, Егор посмотрел на дорогу и узнал Кузьму. И отвернулся, продолжая делать свое дело.

Кузьма сбавил шаг лошади.

«Надо же, елки зеленые!.. С первым — обязательно с ним».

Он не знал, как вести себя. И, как всегда, решился сразу: поравнявшись с Егором, остановил коня, сказал громко:

— Бог помощь, земляк!

Спрыгнул, пошел к Егору.

Егор выпрямился с топором в руках, прищурился... Долго не отвечал на приветствие. Потом кинул топор в пень, буркнул:

— Спасибо.

Кузьма остановился. Смотрели друг на друга: один — откровенно зло и насмешливо, другой — с видимым желанием как-нибудь замять неловкость. Кузьма полез в карман за кисетом.

«Зачем мне это надо было?» — мучился он.

— Отпахался?

— Отпахался. — Егор тоже полез за кисетом.

Опять замолчали. Тяжелое это было молчание. Пока закуривали — еще туда-сюда: хоть какое-то дело, — но когда прикурили, опять стало ужасно неловко. Кузьма

готов был провалиться сквозь землю. И уйти сразу тоже тяжело: знал Кузьма, какие глаза будут смотреть ему в спину.

— Ну ладно, — сказал он. — Пока. — И хотел уйти.

— Опять к нам? — спросил Егор.

Кузьму этот вопрос удивил:

— А куда же?

— Так у нас же Елизарка теперь секретарит, — Егор улыбнулся.

Кузьма сразу успокоился.

— Ничего. — Сплюнул по-мальчишески, через зубы, посмотрел на Егора. — Мне тоже дело найдется.

— Это конечно. Это ж не пахать, а готовый искать.

— Надо будет — будем и пахать. Не ваше поганое дело. — Кузьма с виду был спокоен.

— Чего это ты поганиться начал?

— За Яшу Горячего ты все равно ответишь, — продолжал Кузьма. — Я для того и еду сюда.

Егор не изменился в лице, не посмотрел в сторону. Только еще больше прищурился.

— Смелый ты — на теплый пазём с кинжалом.

— Хм... — Кузьма не нашелся сразу, что ответить, некоторое время смотрел прямо в глаза Егору. — Не знаю, где ты бываешь смелый, но хвост теперь подожмешь. И братьям передай это, и папаше своему лохматому...

Кузьма подошел к коню, вдел ногу в стремя.

— Все понял?

— Ехай, — негромко сказал Егор.

Кузьма легко кинул тело в седло, тронул каурого. Отъехал немного, оглянулся...

Егор стоял не двигаясь, смотрел ему вслед.

Клавдя одна была дома.

Увидев Кузьму, она как-то странно посмотрела на него и села на кровать.

— Приехал, долгожданный. — Голос чужой, злой. Глаза тоже чужие и сердитые.

Кузьма опешил:

— Ты чего?

— Ничего. — Клавдя легла на подушку и заплакала.

Кузьма подошел к ней.

— Ну чего орешь-то? Клавдя?!

— Уехал... пропал... Тут все глаза просмеяли... — сквозь слезы выговаривала Клавдя. — Уехал — так уж

совсем бы не приезжал, на кой ты мне черт нужен такой...

Кузьма обозлился, сбросил с себя шинель, фуражку, заходил по избе.

— Ты гляди что!.. Что же, мне отъехать никуда нельзя теперь?

Ребенок в зыбке проснулся и заплакал. Кузьма подошел к дочери, развернул одеяльце, взял ее на руки.

— Здорово, Машенька ты моя! Чего эт вы в слезы-то ударились? Машенька... Маша, Марусенька... — Ребенок не унимался. Клавдя тоже рыдала на подушке. — Да ты-то хоть перестань! — закричал Кузьма на жену. — Что ты, сдурела, на самом деле?!

Клавдя поднялась, взяла ребенка, и он сразу затих.

— Доченька, милая, миленочек ты мой родной... — приговаривала Клавдя, а у самой еще текли слезы.

У Кузьмы от жалости шевельнулось под сердцем. Подошел к жене, неловко обнял ее вместе с дочерью.

— Ну? Вот дуреха-то!.. Ну, уехал. На курсах был. Я теперь милиционером здесь на законном основании. Чего же плакать-то? — То ли жалость, то ли жалость и любовь вместе вконец овладели Кузьмой. Он сам готов был заплакать. На какой-то миг он поверил, что осиротил дочь, вернее — представил себе, что было бы, если бы так случилось. Крошечное родное существо, брошенное им на произвол судьбы... Ему стало не по себе. — Милые вы мои...

— Не мог уж два слова домой написать! Уехал — как сгинул... От людей не знаешь куда деваться...

— Ладно, ладно! — Кузьма гладил жену по голове и совсем не думал о ней. Думал о дочери, которая осталась бы без отца. Представил, как бы она плакала... — Ну как вы здесь?

— «Как»?.. Ни стыда, ни совести у человека...

— Да хватит, слушай, — обозлился Кузьма. — Ну чего ты взъелась — не остановишься никак! Ну, уехал! И приехал. Собери поесть чего-нибудь.

Кузьма присел на скамейку, закурил.

«Не люблю я ее, вот в чем дело, — неожиданно подумал он. — Не привязанный, а будешь теперь визжать».

— Как новый председатель?

— Откуда я знаю — как?

— Хлеб искал?

— У Беспаловых нашли. У Холманских тоже...

— Много?

— Не знаю. Говорили — нашли, а сколько — не знаю. У тебя один хлеб только на уме! — Клавде не хотелось так просто сдаваться.

Кузьма промолчал на этот ее упрек.

— А где нашли? У Беспаловых-то?

— В простенке между амбаром и конюшней, отец сказывал. Насовсем хоть приехал-то?

— Ну.

Наскоро перекусив, Кузьма засобирался в сельсовет.

— Побудь хоть немного дома-то.

— Побуду еще. Я же приехал.

— Сейчас-то побудь. Ведь от людей стыдно: не успел забежать...

— Я приду скоро! — повысил голос Кузьма.

— Сгорел бы он синим огнем, сельсовет твой проклятый!

Кузьма выскочил из избы.

«Эх, елки зеленые!..» — горько подумал он. Настроение вконец было испорчено.

В сельсовете сидел Елизар Колокольников, раздобревший, улыбчивый. Сидел, развалившись за столом, как хозяин.

Поздоровались.

Кузьма подошел ближе и почувствовал, что от Елизара несет перегаром.

— С приездом! — Елизар широко улыбнулся.

— Ты пьяный, что ли? — спросил Кузьма.

— По какому делу к нам?

— Новый председатель тоже пьет?

Елизар враз посерьезнел.

— Мы на вопросы... разных людей не отвечаем.

— Где председатель? — строго спросил Кузьма.

— Поехал в район, — поспешил с ответом Елизар, но потом вдруг озверел: — Ты не ори на меня! — Он стал подниматься. — Ты кто?! Документы! А то я те счас...

Кузьма толкнул его в грудь. Елизар грузно плюхнулся на лавку и навел на Кузьму свирепые, мутные глаза.

— Ты что... длинноногий?.. Тебя поперли раз — мало? Еще надо?! — Елизар стукнул кулаком по столу. — Сма-атри у меня!

— Сиди.

Елизар не присмирел, как ожидал Кузьма, а снова медленно стал подниматься.

— Сядь!

Елизар, не сводя с него пьяных глаз, зашарил правой

рукой по кромке стола, отыскивая скобочку выдвижного ящика.

Кузьма дал ему выдвинуть ящик. И только когда тот начал лапать по ящику, отыскивая что-то среди бумаг, Кузьма, резко перегнувшись через стол, взял из ящика наган и пошел из сельсовета, не оглянувшись на Елизара.

«Ну, дела!.. Тьфу, черт!» — Кузьму коробило от неприятных чувств. На душе было погано.

Весь день сегодня какой-то — через пень колоду. То с Егором стычка, то Клавдины слезы при встрече, то этот дурак с наганом... Надо было что-то придумать, куда-то девать себя, унять как-то взлохмаченные чувства. И пришла желанная и властная мысль — Марья. Захотелось увидеть ее, услышать голос... И уж ноги сами собой свернули в переулок и зашагали под горку, к береговой улице, где жил Любавин Егор... И вспомнился опять сам Егор, утренняя встреча с ним.

Кузьма остановился.

«Егор — враг, враг сильный и жестокий. Кузьма ехал в Баклань с неуклонной и ясной целью: уничтожить врага. Марья все усложняла. Он понимал, что, преследуя Егора, будет больно бить Марью. Будет бить Марью, будет тяжело и больно бить себя. Так, очевидно, и произойдет. И тем сильнее захотелось увидеть ее теперь.

...Марья, ничего не понимая, долго смотрела на него.

— Здорово! — повторил Кузьма, невольно улыбаясь.

— Опять с Егором что? — спросила она, так и не поздоровавшись, — перепугалась, увидев Кузьму в милицейской форме.

— Что с Егором? — Кузьму несколько насторожил этот вопрос. — Ничего с твоим Егором не случилось, корчует пни.

— Ну?..

— Что?

— Зачем пришел-то?

— Так. В гости.

— Господи! — Марья села на лавку. — Ты сдурел, что ли?

— Почему?

— Он еще спрашивает! А зайдет кто?.. Егор приедет?

— Ну и что?

— Нет, Кузьма, уходи. — Марья решительно поднялась. — Уходи, Кузьма.

— Да погоди ты! Что ты, как эта... Что я тебе сделаю-то? Посижу и уйду.

Марья неохотно покорилась. Задернула занавески на окнах и стояла посреди избы, одолеваемая противоречивыми чувствами.

Кузьма снял фуражку, шинель, сел к столу, огляделся.

— Как сын? — Привстал, заглянул в зыбку.

— Растет, что ему... Ты где был-то?

— На курсах. Милицейское дело проходил. — Кузьма как будто впервые посмотрел на Марью. Она пополнела за это время. Налилась здоровой, разящей силой. Только глаза все те же — ласковые, умные и добрые.

«Так и будет всю жизнь мучить меня», — подумал он.

В окна било лучами заходящее солнце. Красноватый мягкий сумрак заполнял избу.

— Смешной ты, Кузьма. Жену-то видел?

— Видел. А что?

— Тут уж подумали, что совсем уехал.

— Ты тоже так подумала?

— А мне-то чего думать? — Марья зажгла лампу.

— Да, конечно... — голос Кузьмы дрогнул. Подумалось: «А что, если бы она опять пришла за Егора просить? Отпустил или не отпустил бы? — И решил: — Нет, не отпустил бы».

Марья тряхнула головой, запрокинула назад полные, крепкие руки, поправила волосы.

— Ой, Кузьма, Кузьма...

Он встал с лавки, хотел подойти к ней.

— Кузьма! — Марья сделала строгие глаза.

Он сел.

— Ты что? Ты в своем уме?.. У нас дети у обоих.

— Эх, Маша... что-то не так у меня в жизни. — Кузьма, запустив пятерню в волосы, несколько минут сидел неподвижно, смотрел в пол.

Неподдельная скорбь его тронула Марью, она подошла к нему, положила на плечо руку.

— Чего мучаешься-то?

— Не люблю Клавдю. Что я сделаю?.. Разве можно так? Домой идти — хуже смерти. Нельзя так! А дочь люблю до слез. И тебя люблю.

Марья осторожно убрала руку. Кузьма поднял голо-

ву — в глазах стояло горе. Марья погладила его по голове.

— Головушка ты моя бедная... Опять мне тебя жалко, Кузьма. Ну как же ты так? Ведь Клавдя-то хорошая вон какая... Ждала тебя...

— Да... Хорошая, конечно. Может, я плохой.

— Зачем же ты женился, раз не по́ сердцу она тебе?

— Откуда я знал?.. У тебя есть выпить?

— Напьешься ведь?

— Нет, выпью немного, — может, лучше станет.

Марья колебалась: и хотелось дать Кузьме выпить, — может, действительно легче ему станет, — и боялась.

— Слабенький ты, Кузьма, опьянеешь... Иди домой.

— Что ты все время меня — слабенький, слабенький!.. Какой я слабенький?

Марья негромко засмеялась и полезла под пол.

Кузьма сидел у стола и думал так: заложить бы сейчас коня, взять Марью с сыном, маленькую Машу и уехать куда глаза глядят. «Небось место на земле найдется».

Марья подала ему из-под пола четверть с самогоном:

— Подержи-ка.

Он поставил четверть на лавку, помог Марье вылезти.

— Что мы делаем, Кузьма?

— А ничего. — Кузьма полез в угловой шкаф за посудой. — Стаканы где у тебя?

— Там. Подожди, я сама достану. Садись уж и сиди. Не миновать нам беды, Кузьма, сердце чует.

— Ничего! — Кузьма размашисто прошелся по избе, сел к столу.

— Клавдя-то не будет тебя искать?

— Нет, не будет. — Однако пугливое счастье его поджало хвост, мимолетно подумалось: «Что же все-таки будет сегодня?» — Давай не говорить об этом, Марья.

— О чем?

— О Клавде, о муже твоем...

Кузьма налил себе стакан, Марье — поменьше. Взял свой, посмотрел на Марью... Не думал он, что так кончится его день. А может, он еще не кончился?

— Ну?..

— Давай, — Марья тоже подняла стакан.

В этот момент взыкнула уличная дверь, простучали в сенях чьи-то сапоги. Кто-то остановился перед дверью в избу и искал рукой скобу — в сенях темно было...

Кузьма похолодел. В ушах зазвенело.

Дверь распахнулась... Вошел Елизар Колокольников. Остановился у порога.

— Здорово живете, — сказал он. Кузьме показалось, что Елизар усмехнулся.

— Здорово, Елизар, — откликнулась Марья тихо.

Кузьма насилу проглотил комок, распиравший горло.

— Ты чего?

— Кузьма Николаевич... — Елизар прошел на середину избы, он был уже трезв. — Отдай мне его. А то я не знаю... Отдай, Кузьма.

Кузьма не сразу понял, что речь идет о нагане, который он взял у Елизара из стола. И вместо страха — так же быстро — вскипела в нем острая злость. Он достал наган, разрядил, ссыпал патроны в карман, бросил его Елизару.

— Иди отсюда.

Елизар взмахнул руками — хотел поймать... Наган с коротким стуком упал на пол и закатился под кровать. Елизар торопливо наклонился и полез туда. Долго кряхтел, даже простонал два раза... искал.

Кузьма усилием воли сдерживал себя на месте; подмывало вскочить и броситься на Елизара.

Марья сидела в той же позе, в какой застал ее Елизар, только поставила стакан.

Елизар нашел наконец наган, поднялся. Посмотрел на Кузьму, на Марью, на стол... На этот раз он действительно усмехнулся.

— Вот, Кузьма Николаевич... А то мало ли чего... — сказал он и пошел к двери. — Приятно вам посидеть.

Хлопнула дверь, опять тяжело простучали по доскам тяжелые сапоги, пропела сеничная дверь, звякнул целок... Шаги по земле... Потом слабо взвизгнули воротца, и шаги удалились по дороге. Стало тихо.

Все это походило на бредовый сон.

Кузьма посмотрел на Марью. Она тоже смотрела на него.

— Пропали, Кузьма, — одними губами сказала она.

Кузьма вскочил и бросился догонять Елизара.

На улице было темно.

Кузьма огляделся. Наклонился, увидел силуэт Елизара. Тот ушел уже далеко. Кузьма кинулся за ним.

Елизар — слышно было — остановился, потом тоже побежал, не оглядываясь. Черт его знает, чего он испугался, о чем подумал...

Догнал его Кузьма только около сельсовета.

— Тебе чего надо?! — заорал Елизар. — Эй, люди!!

— Не ори. Пойдем в сельсовет.

— Тебе чего от меня надо? — Елизар с перепугу обнаглел.

Кузьма вытащил наган, и Елизар затих.

— Пойдем в сельсовет.

Пока подымались на крыльцо, молчали.

В сельсовете разговаривали впотьмах, стоя.

— Как ты узнал, что я... там?

— Жена твоя сказала, Клашка.

— А она как узнала?

— Это уж я не знаю. Это вы сами разбирайтесь.

— Ладно... Теперь так: если ты хоть кому-нибудь скажешь, что нашел меня... там, то вот, Елизар, — Кузьма поднес ему под нос наган, — клянусь чем хочешь — убью.

— А какое мне дело до вас? Сами накобелили — сами и разбирайтесь. И нечего тут угрожать. За угрозы тоже можно ответить.

—Елизар, прошу тебя по-человечески — молчи.

— А то «убью»!.. Ишь ты! Молод еще! Еще сопляк! — Елизар опять осмелел.

— Елизар, еще раз тебе говорю... Я не угрожаю, я тебя на самом деле пристрелю, если скажешь. Не говори никому. Ведь разнесут, чего сроду не было, — что́ у ней за жизнь пойдет! Не за себя прошу, Елизар. Пожалей бабу. Не говори, Елизар. Это я виноват — зашел просто... Просто так зашел — и все.

— Я сказал: не мое это дело, — голос Елизара несколько потеплел. — И нечего меня просить. Отдай патроны.

— Завтра отдам, утром. Честное слово, отдам. Сейчас не могу. Ладно?

— Ладно.

— Дай руку. — Кузьма брезгливо пожал широкую потную ладонь Елизара и пошел из сельсовета.

«Скажет или не скажет? — мучился он, шлепая впотьмах прямо по лывам. — Если скажет, будет горе. Откуда Клавдя-то узнала, что я там? Видел кто-нибудь?..»

Огня у Марьи не было.

Кузьма взошел на крыльцо, споткнулся обо что-то, вздрогнул. Наклонился — лежит его шинель, рядом фуражка. Постучался. Никто не вышел. Изба мертвая. Еще постучал — ни звука, ни шороха в избе. Кузьма постоял

немного, оделся и пошел домой. Шел и мычал от горькой обиды и отчаяния. Вспомнил, как он весь день сегодня то ругался с кем-нибудь, то бегал, как дурак, по деревне за другим дураком, то злился, то радовался трусливо... Но все бы ничего, если бы все кончилось. Еще впереди — Клавдя, Егор и, наверно, вся деревня. Страшно было за Марью. Страшно подумать, что с ней будет, если Елизар или Клавдя разнесут по деревне грязный слух.

Дома горел огонь.

Кузьма толкнулся в дверь — заперто. Постучался. Избная дверь хлопнула, кто-то постоял в сенях... Потом скрипучий голос тещи спросил:

— Кто там?

— Я, — ответил Кузьма.

Дверь закрылась. Прошло несколько минут. Кузьма понимал, что против него что-то затевается, но не мог сообразить — что́. Стоял, ждал.

Наконец дверь снова открылась. Шаркающие босые шажки по сеням, долгая возня с засовом... Кузьма хотел войти, но его оттолкнули, выставили на крыльцо старый сундучишко, с которым они с Платонычем приехали сюда, и дверь снова захлопнулась, и только после этого голос тещи ласково сказал:

— Иди, милый, откуда пришел.

Агафья развернулась по всем правилам древней российской тактики наставления зятьев на путь праведный. Кузьме даже как-то легче стало. Он сел на приступки крыльца, задумался.

Значит, так: есть в деревне три человека, от которых сейчас зависит судьба Марьи. Как сделать, чтобы эти три человека — Елизар, Клавдя, Агафья — набрались терпения и промолчали? Просить — бесполезно, пугать — глупо. Что делать? Хоть бы посоветоваться с кем. Николая, наверно, нет дома, иначе он вышел бы к нему. Как ни стыдно перед Николаем, а надо бы посоветоваться с ним.

Так думал Кузьма, когда услышал, как около прясла Колокольниковых протарахтела телега и остановилась у ворот. Кто-то спрыгнул на землю, что-то начали двигать по телеге, негромко переговаривались — двое. Торопились. Кузьма затаился. Пригляделся и узнал Николая. Николай нес в руках что-то квадратное, похоже — ящик. Спустился в погреб, заволок туда свою ношу, вылез и побежал обратно. Опять приглушенный торопливый разговор, хихиканье... Телега затарахтела дальше, а Николай

опять побежал к погребу и опять с ящиком. Заволок и этот ящик, закрыл погреб, высморкался и пошел к дому. Кузьма поднялся навстречу, Николай испуганно вскинул голову, остановился.

— Кузьма, что ли?

— Я. Здравствуй.

— Испугал ты меня... тьфу! Аж в поясницу кольнуло. Ты чего тут?

— Так... Воздухом свежим дышу.

Николай сел на приступку, снял фуражку, вытер потный лоб.

— Ночь хорошая, — сказал он. Он растерялся от такой нежданной встречи и не знал, что говорить.

— Хорошая, — согласился Кузьма. Его подмывало узнать, что такое Николай прятал в погреб.

— Ты когда приехал-то? — спросил Николай.

— Сегодня.

— Мгм... Табак есть? Я намочил свой...

Кузьма подал кисет.

— Что это вы? Прятали, что ли, чего?

— Кто? Мы-то? Да тут... — Николай совсем смутился, ожесточенно высморкался и решил открыться: — Тут, понимаешь, плотишко один на реке растрепало. Об камни на быстрине шваркнуло, и поплыло все. А мы как раз там сети ставили. Ну, переловили их кое-как, сплавщиков-то. Смеху было! Они переполохались, орут... А сейчас самогонки им принесли, греются.

— А что на плоту было?

— Масло.

— Это ты масло в погреб-то прятал?

— Масло. Прихватил на всякий случай пару ящиков, пригодится. — Николай раскурил папироску и небрежно сплюнул.

— А много ящиков было?

— Двадцать, говорят. Мы штук двенадцать поймали. Мужики ниже поплыли — за остальными, но, думаю, не найдут — темно.

У Кузьмы шевельнулось подозрение: уж не ограбили ли они тот плот? — но тут же пропало: слишком мирно настроен Николай.

— Николай...

— Чего?

— Придется отдать эти ящики.

Николай долго молчал. Попыхивал папироской, осве-

щая при каждой затяжке кончик покрасневшего от холода носа.

— С какой стати отдавать-то? — спросил он спокойно.

— С такой, что они государственные.

— Так их же унесло! Они же все равно для государства потерянные.

— Ничего подобного. Их бы все равно собрали — не сегодня, так завтра. А за то, что вы их поймали, вам спасибо скажут.

— Вон как! — Николай начал злиться. — Умнó говоришь, нечего сказать!

— Ничего не сделаешь, Николай. И потом... надо же все-таки стыд иметь: у людей несчастье, а вы обрадовались. С них же спросят, со сплавщиков-то.

— Никто не радовался, чего зря вякать. Наоборот, помогли людям. В общем, я не отдам. Я думал, ты по-человечески разберешься — рассказал, а выходит — зря. Помешают они нам, эти ящики?

— Отдашь, Николай.

Долго молчали. Николай глубоко затягивался вонючим самосадом, сердито сплевывал и сопел. Кузьма щелкал ногтем по голенищу сапога.

— Ты кто сейчас будешь-то? — спросил Николай.

— Милиционер. Так что это... кхм... с маслом-то — отдать надо, Николай.

— Мы уж потеряли тебя.

— Я на курсах был.

Еще помолчали.

— Я-то — отдам, а вот другие... здóрово сомневаюсь.

— Не сомневайся, отдадут. Кто там еще был?

— Беспаловы ребята... четыре ящика хапнули, паразиты. Сергей Попов... Этому я бы по бедности его великой оставил. Ребятишек хоть накормит. Он тоже два взял. Малюгин Игнашка, Николай Куксин с сыном три взяли. Эх, Кузьма!.. А я уж гульнуть собрался. Думаю: продам один ящичек в городе — хоть шикану разок. Не даешь ты мне душу отвести.

Кузьме стало жалко тестя.

— Все равно бы их у вас взяли. Не я — так другие. Из города бы приехали.

— Эт пока они там приедут, у нас уж все масло растает.

Кузьма промолчал.

— Давай так: один ящик я отдаю...

— Нет, Николай.

— Тьфу! — Николай поднялся, затоптал окурок. — Нехозяйственный ты мужик, Кузьма. Трудно тебе жить будет.

— Николай...

— Ну.

— Дело вот в чем: меня из дома выгнали. — Кузьма заговорил торопливо, опасаясь, что не доскажет всего. — А выгнали за то, что я зашел давеча к Любавиной Марье... Ну, кто-то увидел и передал. Я и зашел-то случайно...

Николая это известие развеселило.

— Вон как! — воскликнул он, толкнул запертую дверь и вернулся к Кузьме. — Так. Ну-ка, дай еще закурить. Так ты, значит, хэх! Ты поэтому и кукуешь тут сидишь?

— Ну да.

— Понятно. Клюкой не попало?

— Нет.

— Мне клюкой попадало. Один раз погулял, значится, в Обрезцовке с кралей, — ну, донесли, конечно. Являюсь — подарок купил дуре такой, — она меня р-раз по спине клюкой, у меня аж в глазах засветилось. Чуть не убил ее тогда. Подарок пропил, конечно. Ты к Марье-то на самом деле случайно?

— Конечно. Никаких у меня мыслей... таких не было.

— М-да-а... У нас — так. Вообще-то с Любавиными лучше не связываться.

— Я и не связываюсь.

— У нас — так, Кузьма. Придется на сеновале переспать: сегодня с ними не столковаться. Я сейчас тулуп вынесу — ночуешь как барин.

— Я к Федору пойду переночую.

— Не ходи. У Феди Хавронья — бо́тало, завтра вся деревня знать будет.

«Верно ведь!» — подумал Кузьма.

— У меня тулуп хороший, не замерзнешь. А главное — не тоскуй. Бабы — они все такие.

— Да я не тоскую. — Кузьме действительно сделалось легче. Все-таки золотой человек этот Николай. — Стыдно только.

— Стыд не дым, глаза не ест. Сейчас вынесу тулуп.

— Спасибо.

Николай постучался. Тотчас — словно этого стука ждали — из сеней спросили.

— Кто там? — спрашивала Агафья.

— Я, — откликнулся Николай.

— Ты один?

— Нет, с кралей, — сострил Николай.

Агафья открыла дверь. Николай вошел в избу. Не было его довольно долго. Потом он вышел в тулупе внакидку, сказал негромко:

— На. Там, значит, такие дела: одна ревет, другая вся зеленая сделалась от злости. Иди. Завтра будем как-нибудь подступаться.

Кузьма взял тулуп и пошел к сеновалу.

Ночь была темная, холодная. Высоко в небе зябко дрожали крупные, яркие звезды. Тишина. Ни одного огонька нигде, ни шороха, ни скрипа. Только, если хорошо вслушаться, можно уловить далекий ровный шум реки.

Кузьма выгреб в сухом сене удобную ямку, лег, накрылся тулупом, вытянулся. Он устал за день, издергался. Сейчас было тошно. Самые разные мысли ворошились в голове, и не было сил прогнать их. Думалось о Марье, о Николае, о Клавде, о дочери своей, о Яше, опять о Марье... О Марье думалось все время.

«Лежит теперь Марья, мучается, милая. Родная ты, родная, добрая...

Вот тебе и любовь, елки зеленые!.. Одно мучение».

Из края в край по селу прокатился петушиный крик. Потом опять стало тихо. Только далеко-далеко, на другом конце деревни, шумит река, да в углу двора хрустит овсом лошадь, да жует свою бесконечную жвачку и глубоко вздыхает сонная корова.

Вдруг сеничная дверь тягуче скрипнула, и чьи-то шаги едва слышно зашуршали по земле. Кузьма приподнялся, высунул голову в пролом крыши. Сперва ничего нельзя было разобрать, потом различилась высокая мужская фигура — Николай. Николай прокрался к погребу, неслышно открыл крышку, спустился, вытащил ящик с маслом и понес к бане.

«Перепрятать хочет, — понял Кузьма. — Весь измучился сегодня с этим маслом, бедный».

Николай перетащил оба ящика в баню, так же тихо, — он даже, кажется, разулся, чтобы не шуметь, — ушел в избу. Он бы так и остался неуслышанным, если бы не проклятая дверь: оба раза она предательски певуче пропела. Николай, наверно, всю изматерил ее.

«Завтра скажет, что масло украли. Надо как-нибудь нечаянно наткнуться на эти ящики», — решил Кузьма, устраиваясь под теплым тулупом Николая. Он только сейчас, когда смотрел через пролом в крыше, вспомнил,

что на этом самом сеновале они были с Клавдей год тому назад, и пролом в крыше все такой же. Только тогда через него была видна ярко-красная, праздничная заря, а сейчас — холодное небо и звезды.

«Год прошел, елки зеленые...»

12

Елизар Колокольников, конечно, не утерпел.

Получив наган, он тут же забыл свои обещания, выждал, когда еще больше стемнеет, и прямехонько направился к старику Любавину. Емельяна Спиридоныча дома не было, он остался ночевать у Кондрата. Елизар постоял, подумал и пошагал к Кондрату. Шел и напевал песенку про Хаз-Булата — у него было хорошее настроение.

У Феклы в избе горел небольшой огонек. Занавески на окнах спущены, а на окно, выходящее на дорогу, навешена шаль.

«Что-то делают», — подумал Елизар и тихонечко перелез через прясло — решил подглядеть на всякий случай. Перелез, сделал два шага и остановился: вспомнил про знаменитых любавинских волкодавов. Он не знал, взял себе Кондрат одного кобеля, когда делился с отцом, или нет. Если взял, тогда не стоило подходить к окну: кобели у Любавиных такие, что впустить он тебя впустит, гад, а когда выходить начнешь, тут он кидается. Послушал-послушал Елизар — вроде тихо. Значит, не взял себе Кондрат собаку. Осторожненько подошел к окну, заглянул под занавеску и видит: Фекла стоит в кухне, оперлась могучей грудью на ухват. На ее и без того красном лице играет красный свет пламени из печки. На полу, на лавке, на столе — всюду крынки, миски, туески.

«Что за хреновина?» — удивился Елизар.

За столом сидят Кондрат и Емельян Спиридоныч. Кондрат сидит ближе к окну, загородил своей широкой спинищей все, что есть на столе. Но, судя по всему, а главное — по выражению лица Емельяна Спиридоныча, пьют. Пьют и о чем-то беседуют. Фекла прислушивается к ним, время от времени улыбается.

Елизар долго смотрел на эту немую странную картину, но так ничего и не понял.

«Не то масло топят, не то сало», — решил он. Ему показалось уютно в избе, тепло, чистенько. А главное — на столе прозрачная, как ручеек, водочка. Булькает она, милая, из горлышка — буль-буль-буль... От одного вида

под сердцем теплеет. Сидят за столом два умных мужика, с которыми можно про жизнь поговорить, пожаловаться можно, можно нахмурить лоб и сказать, между прочим:

«Я еще про это не слыхал. Узнаю».

Или:

«Вчерась указание прислали...»

И два умных мужика будут слушать. А это ведь не просто — когда тебя слушают.

Елизар так размечтался, что забыл даже, зачем пришел сюда, а когда вспомнил, то обрадовался. И пошел от окна. И тут ему на спину прыгнул кто-то живой и тяжелый... Елизар заорал раньше, чем сообразил, что это собака.

— Мельян! Кондрат!.. — дурным голосом закричал он, закрывая от собаки лицо.

Кобель норовил вцепиться в горло. Елизар пинал его ногами и орал:

— Мельян! Кондрат!

Из избы выбежали, оттащили пса. Емельян Спиридоныч держал его, а Кондрат взял Елизара за грудки. Негромко, нисколько не угрожая, спросил:

— Ты что тут, сука, подсматриваешь?

— Кондрат, я это! — взмолился Елизар. — Елизар. Не подсматривал я... С важными вестями к вам... хотел в окно постучать, а он налетел, гад полосатый. Пусти ты меня!..

Кондрат отпустил Елизара.

— С какими вестями? — спросил встревоженный Емельян.

— С такими... Наплодили зверей каких-то. Еще немного — и я бы его стукнул здесь. — Елизару было совестно за свой заполошный крик.

— Я б тебя тогда самого на цепь посадил заместо кобеля, — сказал Кондрат. — И лаять заставил.

— Посадишь... Бабку мою Василису посади, она еще резвая. Герой мне, понимаешь...

— Посторонись, Кондрат, я на него Верного спущу, — серьезно сказал Емельян Спиридоныч.

— Э-э! — вскрикнул Елизар. — Пошли, в избе новость скажу.

— Здесь рассказывай.

— Здесь не буду. Нельзя.

— Подожди тут. — Емельян Спиридоныч повел собаку, а Кондрат один зашел в избу.

Когда в избу вошли Елизар с Емельяном Спиридонычем, крынок и туесков на лавках уже не было. Устье печи прикрыто заслонкой.

Фекла встретила незваного гостя настороженным, злым взглядом; удивительно быстро она сделалась Любавиной.

— Раздевайся, проходи, — как ни в чем не бывало пригласил Кондрат Елизара.

Елизар быстренько скинул полушубишко, потер ладони, крякнул.

— Ночи холодные стоят!

— Садись погрейся.

— О-о! Да у вас тут... так сказать...

— Сапоги-то вытри, — сказала Фекла.

Елизар обшмыгнул сапоги о мешковину и устремился к столу.

Емельян Спиридоныч налил ему:

— Держи.

— А себе-то чего же?

Емельян Спиридоныч мельком глянул на сына, налил себе и ему до половинки стакана.

Елизар повеселел, оглянулся на Феклу.

— А я думал, ты блины печешь. Чего, думаю, так поздно?

Фекла подарила его таким взглядом, что Елизар быстро отвернулся и больше не оглядывался.

Выпили.

— Ух-ха! — Елизар для приличия закрутил головой. — Не пошла, окаянная.

Фекла фыркнула в кути:

— У тебя не пойдет!

Кондрат и Емельян Спиридоныч выпили молчком.

Долго все трое хрустели огурцами, рвали зубами холодную розоватую ветчину, блаженно сопели.

— Какая новость? — не выдержал Емельян Спиридоныч.

Елизар смело потянулся к бутылке — хотел налить себе, но Кондрат отодвинул бутылку локтем и уставился на Елизара неподвижным, требовательным взглядом. Елизар сказал резковато:

— Фекла, выдь!

— Куда это? — Фекла строго посмотрела на Елизара, потом вопросительно — на мужа.

— Ну, выйди, — нехотя сказал Кондрат. — Нам поговорить надо.

Фекла послушно накинула шубейку, взяла ведра и вышла из избы.

— Какая новость?

— Новость-то... — Елизар не торопился. — Табачишко есть у кого-нибудь?

Емельян Спиридоныч налил ему полстакапа водки, сунул в руку.

— Пей и рассказывай. Выкобенивается сидит тут...

Елизар выпил, громко крякнул, вытащил кисет и стал закуривать.

Емельян Спиридоныч как-то обиженно прищурился и подвинулся к Елизару.

— Значит, так, — торопливо заговорил тот, — жена Егорки вашего, Манька, спуталась с этим, с длинноногим, с Кузьмой. Он седня приехал — прямо к ней.

У отца и сына Любавиных вытянулись лица. Смотрели на Елизара, ждали. А ждать нечего — все сказано. Только всегда в таких случаях чего-то еще ждут, каких-то еще совсем незначительных, совсем ничтожных подробностей, от которых картина становится полной. Елизар продолжал:

— Я, значит, по одному делу забежал к нему домой, к Кузьме-то, а мне Клашка наша и говорит: «А он, — говорит, — у Маньки сидит». — «Как у Маньки?» — «А так», — сама в слезы. Я — к Маньке: как-никак она мне племянницей доводится, Клашка-то. Жалко. Плачет... Захожу к Маньке — он там. Выпивают сидят. Я и говорю ему: «У тебя совесть-то есть, Кузьма, или ты ее всю загнал по дешевке?» Он на меня с наганом... Там было дело.

— Давно это? — осевшим голосом спросил Кондрат.

— Ну, как давно? Нет, только стемнело.

— А сейчас он там? — спросил Емельян.

— Там, наверно.

— Кондрат, сходи. Ничего пока не делай, только узнай. — Емельян Спиридоныч встал, снова сел, запустил лапы в лохматую волосню и страшно выругался.

Кондрат в две секунды оделся, вышел, ничего не сказав.

Емельян Спиридоныч сидел, опустив голову на руки, молчал.

Елизар осторожненько протянул руку к бутылке, стараясь не булькать, налил полный стакан...

Емельян Спиридоныч поднял голову. Елизар вздрогнул.

— Налей мне тоже, — сказал Емельян.

Выпили. Закурили.

— Он кем теперь? Опять в сельсовете, а тебя куда?

— Да нет, он милиционером.

— Во-он што!.. — Емельян Спиридоныч качнул головой. — Са-абаки! Не мытьем — так катаньем...

Елизар сочувственно вздохнул. Помолчали.

— А ведь говорил Егорке, подлецу: «Не бери вшивоту Попову, не бери», — нет, взял. Ну во-от... Он ей подарил чего-нибудь, она и ослабла, сука.

— Без подарков не обошлось, конечно, — поддакнул Елизар. То состояние, о котором он думал и которого хотел себе, заглядывая в окно, наступило. — А я даже так думаю: сын-то у нее от Егора?

Емельян, застигнутый врасплох этим вопросом, некоторое время тупо смотрел в стол, потом шаркнул ладонью по лицу, отвернулся и сказал громко:

— Откуда я знаю? Что я ее, за ноги держал, гадину? — Это было горе, которого Емельян Спиридоныч сроду не чаял. —Ро́стишь их... кхэ! — Емельян Спиридоныч остервенело высморкался, вытер глаза. — Думаешь — толк будет. Вырастил! Одного хряпнули, как борова, другому... мм! За что?!

Елизар сочувственно молчал.

— За что, спрашиваю?! — Емельян грохнул кулаком по столу.

— Жись... — трусливо вздохнул Елизар.

— «Жи-ись»! — передразнил его Емельян. — Что она, жись-то?..

Вошел Кондрат.

— Не открыли. Стучал-стучал — чуть дверь не выломал... — Он скинул полушубок, сел к столу.

— Так. О!.. — Емельян Спиридоныч посмотрел на Елизара. — А ты тут про жись толкуешь!

У Елизара отлегло от сердца: он боялся, что Кондрат придет и скажет: «Никакого там Кузьмы нету».

— Выпьем? — предложил он.

Ему никто не ответил. Отец и сын Любавины сидели понурые, убитые позорным горем.

Вошла Фекла. Долго раздевалась, приглядывалась ко всем троим — хотела понять, что произошло.

— Лизар, поздно уж, иди спать, — бесцеремонно сказала она, заметив, что ни муж, ни свекор не обращают на Елизара никакого внимания.

Елизар поднялся, нашел свой полушубок, вышел из избы при полном молчании хозяев. И тотчас вернулся.

— Там собака-то...

— Привязана! — заорал Емельян Спиридоныч.

Елизар поспешно вышел.

— Спать! — скомандовал Кондрат. — Завтра видно будет.

13

Егор поднялся в то утро чуть свет. Напоил коней, закусил на скорую руку и принялся за пни. Выкорчевал один, взялся за другой... И увидел на дороге всадника. Кто-то торопился, и похоже — к нему. Егор приложил ладонь ко лбу, долго всматривался. Всадник пропал в лощинке и появился снова — на взгорке. Егор узнал сперва коня, потом уж брата.

— Корчуешь? — спросил Кондрат.

— Ты чего? — У Егора похолодело в груди от недоброго предчувствия.

— Жену-то там... — Кондрат прибавил словцо, от которого удивленные глаза Егора сделались глупыми, как у телка.

— Ты тронулся, что ли? — Он попробовал улыбнуться — растерялся.

— С Кузьмой ночевала эту ночь. Опять объявился, гад. Милиционером теперь. — Лошадь под Кондратом забеспокоилась, засучила ногами. — Той! — сказал Кондрат и дал ей кулаком по шее.

Егор все стоял и смотрел на брата. Долго стоял так... Потом сел на пенек и охрипшим голосом упрямо трижды повторил:

— Я не верю. Не верю. Не верю тебе.

— Апостол! — Кондрат плюнул и стал заворачивать коня. — Нарожает она тебе длинных — заживешь тогда! На крестины только не зови, пошел ты... Не верит он, когда я сам ходил к ним и достучаться не мог. Не пустили.

Егор схватил топор и пошел к Кондрату — он ошалел от горя, не понимал, что делает. Кондрат саданул в бока коню, тот прыгнул с места.

— Врешь, — сказал Егор, останавливаясь.

— Не сходи с ума-то, черт! — Кондрат резко натянул поводья. — Если я вру, так Елизар Колокольников не врет — он их сам видел. Распустил слюни, с бабой управиться не мог. Опозорила, сволочь, на всю деревню.

— Врешь! — Егор опять пошел к нему.

Кондрат понужнул коня. Обернулся, крикнул издали:

— У нас в роду этого еще не было! Ты — первый!

Крикнул и пропал в лощинке, потом появился снова — на взгорке, оглянулся... Егор стоял с топором в руках. Дождался, когда брата не стало видно за поворотом, вернулся к лошадям, отстегнул одну, пал ей на спину и полетел прямиком, без дороги. Он знал еще один путь в Баклань — короче.

Перед самой деревней надо было перебраться через студеный ручей. По весне ручей широко разливался — целая речка. Мерин с маху влетел в него, ухнул по грудь, испугался и заупрямился.

Егор долго мордовал его, толкал вглубь, потом вывел на берег и начал бить. Мерин пятился, поднимался на дыбы, ржал. Егор, обезумев от ярости, хлестал его по морде. Мерин тоже взбесился — начал изворачивать и бить задом. Егор намотал повод на руку и, увертываясь от копыт, стал доставать пинками в брюхо. Долго кружились так по вязкому берегу. Егор негромко матерился, мерин храпел и рвался из узды. Один раз Егор достал его особенно больно. Мерин оскалился и кинулся грудью на человека. Сшиб с ног, проволок по земле на поводу, развернулся, накинул пару раз задними ногами... Егор выпустил повод. Мерин отбежал недалеко и остановился. Егор лежал без памяти. Удар одним копытом вскользь пришелся по голове — он-то и выхлестнул его из сознания.

Было еще рано.

Солнце только оторвалось от гор и заливало долину веселым желтым золотом.

Земля исходила паром — дышала всей грудью.

Потревоженные утки снова начали подавать голоса. Из-за кустов тальника на середину ручья выплыла небольшая серая уточка. Почистила перышки, огляделась и крякнула громко и требовательно. И тотчас на воду с ясного неба упали два красавца селезня и поплыли рядом. Потом еще один крупный селезень низким косым лётом шаркнул вдоль кустов и шлепнулся на воду, подрулил к двум своим товарищам. Трое самоуверенных, гордых, хвастливо выпятив груди, преследовали одну — и ничего, не проламывали друг другу хрупкие черепа крепкими тупыми клювами. У людей так не бывает.

Егор долго лежал неподвижно. Уже солнце стало припекать основательно, несколько раз ржал тревожно мерин. Катились с тихим плеском, играли на солнце маленькие бойкие волны ручья, разговаривали утки...

Наконец Егор пошевелился, приподнял голову... И показалось ему, что лежит он на той самой полянке, где стоит избушка Михеюшки, где праздновали его свадьбу, где угробил он Закревского. Он даже как будто услышал неподалеку голос Макара — Макар смеялся.

«Выпил, что ли?» — подумал о себе Егор. Потом стал приглядываться, увидел ручей, коня своего, тальник... и вспомнил, и лег опять. Полежал, с трудом поднялся, намочил в ручье голову, медленно пошел к коню. Конь вскинул голову, всхрапнул и отошел от него. Егор сел на сырую землю. Закурил. Курнул несколько раз, бросил папироску. Хотелось заплакать от слабости, пожаловаться кому-нибудь на жизнь и на коня. О Марье не думал. Марьи живой для него не было. В мутном сознании своем Егор перешагнул какую-то грань и не злился больше — только тяжело было. Муторно было. И жалко кого-то. И себя тоже жалко.

Но жизнь еще не кончилась.

К обеду Егору стало легче. Боль в голове поутихла. Только шумело в ушах и глазах — нет-нет да сдвигалась куда-то в сторону большая гора перед Бакланью. Она ужасно мешала, эта гора.

Конь, когда Егор подошел к нему, задрожал, но остался стоять. Егор долго ласкал его, гладил по голове, потом сел и поехал вокруг, через мостик.

Марья сидела посреди избы на разостланной дерюге — выбирала из решета в ведро клюкву. Ванька играл рядом с ней.

Егор вошел спокойный, усталый... Остановился на пороге, прислонившись плечом к дверному косяку.

— Ягодки выбираешь? — спросил негромко.

Марья побледнела, смотрела на мужа испуганными глазами.

— Приехал?

Егор подошел к ней, грохнул сапогом по ведру с клюквой.

Марья потянулась к Ваньке — хотела взять его на руки.

— Не трожь, сука!

Второй удар прозвучал мягко и тупо. Марья опрокинулась на спину, не вскрикнула, не охнула... Схватилась за грудь. Из открытого рта ее на пол протянулся клейкий ручеек крови.

Егор с минуту ошалело смотрел на этот ручеек... Ванька, сидевший рядом с матерью, молчком поднялся и, ковыляя, пошел к отцу. Егор попятился от него к двери, давил сапогами клюкву, она лопалась. Споткнулся о ведро, чуть не упал... В сенях сшиб с лавки еще одно ведро, оно оглушительно загремело. Ванька заплакал.

Егор, как впотьмах, нащупал сеничную дверь, толкнул ее, вышел на улицу...

Ванька плакал в избе.

Егор побежал к воротам, где стоял конь, потом вернулся, осторожно закрыл сени, накинул петлю на пробой, поискал глазами замок, не увидел, воткнул в пробой палочку, как это делала Марья, когда уходила в огород или за водой к колодцу. Вернулся к коню, вскочил и пустил вмах по улице. Поехал к Кондрату.

— Я, однако, убил ее, — прохрипел он, входя в избу (Феклы не было дома). Егор был белый, в глазах стояли отчаянное напряжение и боль; он как будто силился до конца постичь случившееся и не мог.

Кондрат враз утратил тупое спокойствие свое, бестолково заходил по избе.

— Совсем, что ли? Может, нет?

— Совсем.

— Тьфу! — Кондрат выругался. — Пошли к отцу.

Емельян Спиридоныч лежал на печке — нездоровилось.

— Егорка Маньку убил, — с порога объявил Кондрат.

— Цыть! — строго сказал отец. — Орешь чего ни попадя! Как убил?

— Убил. Совсем.

Егор сел на припечье и стал внимательно рассматривать головку своего правого сапога, — точно речь не о нем шла, а о ком-то другом, кто его не интересует.

Емельян Спиридоныч легко прыгнул с печки, натянул сапоги.

— Иде она теперь?

Егор качнул головой:

— Там.

— Ну-ка... мать!..

Михайловна стояла тут же ни живая, ни мертвая, смотрела на своего младшего.

— Пойдешь со мной, — велел Емельян. — Молоко иде стоит у вас?

— Там, — опять вяло кивнул Егор.

— Никуда не выходить! Пошли. Смелей гляди, старая, — громко, как будто даже весело говорил Емельян Спиридоныч. — С убивцами живешь!.. Обормоты...

Мать с отцом ушли.

Когда за ними закрылась дверь, Егор зачем-то поднялся.

— Сядь, — сказал Кондрат.

Егор сел.

Кондрат напился воды, вытирая ладонью подбородок, сказал:

— Теперь держись: лет десять вломают, если до смерти зашиб. — Вытащил кисет, стал дергать затянувшийся узелок веревочки. — Рази ж так можно бить!

Егор молчал. На его лице было тупое безразличие и усталость. Хотелось даже спать.

Кондрат развязал наконец кисет, свернул папироску.

— На, покури.

Егор машинально протянул руку, взял папироску. Кондрат поднес ему горящую спичку. Прикуривая, Егор ясно увидел вдруг маленького Ваньку, протянувшего к нему руки, и сразу в груди огнем вскипулась резкая, острая боль. Он встал и пошел к двери.

Кондрат сзади облапил его.

— Куд-да ты?..

— Пусти.

— Нельзя туда.

Егор сдался.

Кондрат стал у двери. Объяснил еще раз:

— Сейчас нельзя туда. Сперва узнать надо.

Егор сидел, уронив на колени большие руки, бессмысленно смотрел на них.

— Чего уж раскис-то так? Помрет — надо уходить... Есть такой закон: побыть сколько-то лет в бегах — все прощается. У отца в горах знакомые... ни один черт не найдет.

«Почему у нас так все получается — через пень колоду? — пытался понять Егор, не слушая брата. — Почему нас не любят в деревне? Зачем надо ехать куда-то, скрываться, как зверю, мыкать по лесам проклятое горе?.. Почему не с кем-нибудь случилось сегодняшнее, а со мной? Почему в висок угодили не кому-нибудь, а брату Макару? Почему, когда односельчане хотят сказать о нас обидно, плохо, говорят: «Любавины...»? Что это?»

Впервые так горько и безысходно думал Егор и впер-

вые смутно припомнил, что он никогда почти открыто и просто не радовался. Все удерживала какая-то сила, все как будто кто-то нашептывал в ухо: «Не радуйся... Не смейся». А почему? Кто мешал? Ведь живут другие — горюют, радуются, смеются, плачут... И все просто и открыто. А тут как проклятие какое — вечная, непонятная подозрительность, злоба, несусветная гордость... «Любавины...» «Какие же мы такие — Любавины, что нет нам житья среди людей, негде голову приклонить в лихое время?..»

Уже сейчас страшно стало своего скорого одиночества. Без людей нельзя. А они гонят от себя.

В сумерки пришли старики.

Марья скончалась у них на руках.

В полутемном большом доме Любавиных началась тихая, шепотливая суетня: Егора собирали в далекий путь. Он сидел безучастный.

Емельян Спиридоныч объяснял сыну:

— Как этот лог проедешь, так сейчас бери вправо — на гору Бубурлан. Его даже ночью заметишь. И держи его на виду все время. Потом пасека одна попадется... старик Малышев там. Он меня тоже знает. Дальше расспроси его, он лучше расскажет. Добирайся ночами.

Кондрат набивал в мешок хлеб, сало, патроны.

— Ваньку мы к себе возьмем, не думай про это, — сказал он.

— Он сейчас-то иде? — спросил Егор.

— К Ефиму занесли, — ответил отец, — он принесет его проститься.

В сенях в это время заскрипели осторожные шаги. Вошел Ефим. Нес на руках спящего мальчика.

— Куда бы его?..

— Давай сюда, — Михайловна приняла внука, положила на кровать.

Егор подошел к кровати, долго ломал о коробок спички — не мог зажечь. Ефим достал свои, чиркнул... Желтый трепетный огонек выхватил из мрака лицо мальчика. Он крепко спал. Верхняя губенка оттопырилась и вздрагивала от дыхания. Все молча смотрели на него. Слышно было, как по жести крыши застучали первые капли дождя.

Лицо Егора окаменело. Глаза сухо горели невыразимой тоской.

Ефим послюнявил пальцы, перехватил спичку за обгоревший конец, поднял огонек выше. Он последний раз усилился, пыхнул и погас. В темноте захлюпала Михайловна.

— Пореви ишо! — сдавленным голосом зашипел Емельян Спиридоныч, сам едва сдерживая слезы.

...В полночь Егор выехал с родительского двора.

Тихо шуршал дождь. Деревня спала. Огней нигде не было.

До ворот по бокам лошади шли отец и братья.

— Не горюй особо, — напутствовал отец. — Передавай о себе с надежными людями. Проживешь как-нибудь.

Кондрат и Ефим молчали. Только у ворот пожали один за другим руку Егора. Ефим сказал:

— Счастливо добраться.

Егор подстегнул коня и пропал, растворился в темноте.

14

Марью хоронили на другой же день. Торопились, опасались, что Сергей Федорыч тронется умом.

В гробу лежала черная, какая-то старая, чужая женщина. Трудно было узнать в ней красавицу Марью.

Когда Сергей Федорыч приходил в себя, он начинал выделывать такое, что даже у мужиков волосы вставали дыбом. Он склонялся над гробом и разговаривал с дочерью, как с живой.

— Доченька, Маня! — звал он. — Проснись, милая. Вставать пора, а ты все спишь и спишь. Кто же так делает?.. Манюшка! Ну-ка, поверни головушку свою...

Сергей Федорыч брал в руки голову покойницы, шевелил, качал из стороны в сторону, поднимал веки... Мёртвые глаза Марьи смотрели внимательно и жутко. Присутствующие не выдерживали, Сергея Федорыча брали под руки и выводили из избы. Он вырывался, снова вбегал в избу, падал лицом на грудь мертвой дочери и начинал:

— Ой, да не проснешься ты теперь, не пробудишься! Да кровинушка ты моя горькая, да изорвали-то они все

твое тело белое, да надругались-то они над тобой, напоганились!..

Его силой оттаскивали от гроба, и он терял сознание. Любавиных никого у гроба не было. Только на могилки, когда хоронили, пришли Емельян Спиридоныч с Михайловной.

Стали в сторонке.

Сергей Федорыч увидел их, пал на колени, сделал земной поклон могиле дочери и взмолился к небу:

— Господи батюшка, отец небесный! Услышь меня, раба грешного: пошли ты на их, на злодеев, кару. Никогда я тебя не просил, господи!.. Шибко уж мне сейчас горько!.. Господи!

Емельян Спиридоныч круто развернулся и пошагал прочь с могилок. Михайловна — за ним. Так шли по деревне, один — впереди, другая — сзади, шагах в трех.

Когда подходили к дому, Емельян Спиридоныч сказал:

— Караулить дом надо ночами: может подпалить.

15

Федя Байкалов узнал о смерти Марьи через два дня, когда ее схоронили уже. Он возвращался из города — ездил за углем и железом — и встретил около Баклани дальнего своего родственника, Митьшу Байкалова. Тот ехал домой с возом чащи для сарая.

— Слыхал новость-то?! — крикнул с воза Митьша.

— Каку новость? — Федя придержал коня.

— Егорка Любавин бабу свою решил.

Федя выронил из рук вожжи... С минуту беспомощно смотрел на Митьшу, потом подобрал вожжи, подстегнул коня. И опять остановился.

— За что?

— А черт его знает! Никто толком не может сказать... Спуталась, что ль, с кем-то!

Федя погнал коня.

Дома быстро распряг его, засыпал овса в ясли, вошел в избу.

Хавронья белила печку. Увидев мужа, она почему-то испуганно съежилась и, не поздоровавшись (Федя тоже не поздоровался), усердно зашаркала щеткой по шестку.

Федя сел к столу, вынул из кармана бутылку водки.

— Дай закусить.

Хавронья молчком, послушно достала из печки жареную картошку. Взяла с полки пустой стакан, поставила на стол.

Федя налил вровень с краями, выпил.

— Егорка, конечно, ушел? — сказал он, не обращаясь к жене.

— Нет, дожидаться будет, — буркнула Хавронья.

Федя медленно повернул к ней голову:

— Я тебя не спрашиваю.

— А я не разговариваю с тобой. Нужен ты мне, пьянчуга!

— Выйди в один момент из избы! — приказал Федя. — Не доводи до греха.

Хавронья вышла.

Федя допил водку, долго искал в сундуке, среди жениных юбок, свою новую синюю рубаху, надел ее и вышел на улицу. Пошел к Любавиным, к Кондрату.

Кондрат собрался куда-то идти. Встретились у ворот.

Федя, заложив руки в карманы, стал перед ним.

— Здорово, Данилыч! — первым поздоровался Кондрат.

Федя продолжал стоять молча. Руки не вынул из карманов.

— Здорово, говорю! — Кондрат протянул руку, беспокойно-настороженно играя глазами.

Федя плюнул в протянутую руку и спокойно и выжидательно посмотрел на Кондрата. Рук из карманов так и не вынул.

Кондрат натянуто улыбнулся, вытер ладонь о штаны, оглянулся по сторонам.

— Ты чего это?

Федя повернулся и пошел в направлении к могилкам. Не дошел немного, постоял... и двинулся обратно. Решил пойти к Кузьме.

Кузьмы дома не было.

— Уехали с Пронькой — искать, — недовольным голосом сказала Клавдя.

Федя не знал, куда себя девать. Яши не было, Кузьма уехал...

Он пошел в кузницу.

16

Кузьма уже четыре дня мотался с Пронькой Воронцовым по тайге, — искали Егора.

Первым делом кинулись к Игнатию Любавину.

Игнатий страшно перетрусил, забожился, закрестился — не видел и слыхом не слыхал.

— Что он натворил-то?

— Мы у тебя побудем пока, — Кузьма сделался в эти дни раздражительным, резким. — Подождем.

Игнатий подумал и сказал:

— Зряшное занятие: не придет он сюда. Что он, дурак, что ли?

Это была трезвая мысль.

— А куда он может податься?

— Черт их, оболтусов, знает. Тайга большая. — Игнатий успокоился, в глазах появился любавинский насмешливый блеск. Это обозлило Кузьму.

— Ничего, придет и сюда. Так что — поживем здесь.

— Живите, — согласился Игнатий. — Только я вам дело говорю: зря.

Пронька предложил, вызвав Кузьму на улицу:

— Поедем к Михеюшке? Сюда он правда не придет.

Поехали к Михеюшке.

В избушку, чтобы не насторожить Михеюшку, зашел один Пронька. Побыл там немного и вышел.

— Никто не был. Михеюшка хворый лежит.

— Что с ним?

— Говорит — грудь.

— Подождем здесь, — решил Кузьма.

Выбрали место в кустарнике так, чтобы избушка была на виду, залегли. Коней спутали и отогнали в тайгу кормиться.

Прошел остаток дня, прошла ночь — никто к избушке не подъезжал.

Спали по очереди.

На рассвете бодрствовали оба. Было холодно. Курили, чтобы согреться, вполголоса говорили. Пронька, чтобы хоть немного отвлечь Кузьму от горьких дум, рассказал историю своей любви к одной городской женщине. История была странная и смешная.

Зимой Пронька с отцом продавали в городе мясо. Подошла молоденькая бойкая бабенка и стала выбирать кусок. Уж она выбирала-выбирала — кое-как выбрала. Потом начала торговаться. Отец Проньки разозлился

и отдал кусок почти в два раза дешевле. А Пронька, пока отец ругался, разглядывал покупательницу. Бабенка была ладная, белозубая, острая на язык. Когда она, расплатившись, пошла, Пронька был готов. Незаметно отошел от отца, догнал бабенку и сказал, чтобы она еще приходила, попозже, когда отец пойдет в лавочку греться. Он ей даст мяса за так, за красивые глаза. Она охотно приняла такое предложение. Одним словом, Пронька отвалил ей чуть не половину свиньи и договорился прийти к ней вечерком с бутылкой. Закуска будет — жареное мясо.

— И, понимаешь, — рассказывал Пронька, — не знаю, как думать — специально она так подстроила или это правда было. Сидим, значит, с ней, толкуем. А живет она аж на краю города, под горой...

— Где кладбище?

— Ага, около кладбища. Ночь на дворе. А у ней тепло, хорошо так. У меня аж душа радуется, — думаю: заночую тут. Ну, захмелели. Она, значит, целоваться лезет. Я — ничего, мне это на руку. Ну, значит, целуемся пока с ней. И тут, значит, стук в дверь. Она соскочила, забегала по избе, — я все-таки думаю, притворялась, зараза. «Ой, — говорит, — муж!» А до этого — ни слова про мужа. Да. «Он, — говорит, — у меня бешеный». Куда? Давай под кровать. Я — под кровать. Она, значит, открыла. Слышу — вошли. Этот мужик, значит, разделся... И спрашивает: «Кто у тебя был?» — «Никого не было». Ну, в общем выволок он меня из-под кровати и начал причесывать. Здоровый попался. Да я еще выпил... Значит, уделал он меня, отобрал деньжонки, какие были, и выставил.

— А она что?

— Она? А ничего. Стоит у печки, посматривает, как он меня метелит.

Кузьма закурил и стал смотреть, как над тайгой, с восточной стороны, все шире и шире — просторно — разливается свет. В тишине в настороженной шел по земле новый, молодой день. Птицы еще молчали. Туман поднимался от земли: на той стороне полянки кряжистые сосначи стояли по колено в белом молоке. И сделалось Кузьме до того горько вдруг, до того одиноко, что не стало больше сил сдерживаться. Он уткнулся в рукав, выдохнул со стоном.

Пронька замолчал.

— Надо Егора найти, — сказал Кузьма. — Жить лучше не буду, но найду.

— Он теперь один шатается. Банды той что-то не слышно.

Еще ждали до полдня.

— Ладно, — сказал Кузьма. — Поехали. Не придет он сюда. Он теперь далеко залился. Зайдем посмотрим старика.

Михеюшка был совсем никудышный, даже кашлять как следует не мог. Увидев людей, долго шевелил губами — хотел, видно, сказать что-то, потом махнул рукой и прикрыл глаза.

— Съезди за доктором, Пронька. Коня у Николая Колокольникова возьми. Скажи — я просил. И еще к Феде заехай, пусть он тоже сюда едет, если дома. Я здесь подожду.

Пронька переобулся, закурил на дорожку и пошел ловить коня.

Кузьма остался с Михеюшкой.

17

Егор, как советовал отец, пробирался ночами. Днем отсыпался в софрах, кормил коня, а ночами осторожно ехал.

До Малышевой пасеки он добрался на третью ночь, к рассвету.

Пасека располагалась в логовине, в редкой березовой рощице. Обнесенная ветхим березовым пряслицем, точно опоясанная белой опояской, она была видна с горки как на ладони — серенькая избушка с покосившейся трубой, с полсотни ульев, колодец с гнилым срубом, старая колода около него и, конечно, огромные молодые волкодавы, три. Зачуяв всадника, они подняли такой устрашающий лай, что конь под Егором сам остановился. Долго никто не выходил из избушки. Наконец на крыльцо вышел белобородый старик в холщовых шароварах, с костылем в руке. Цыкнул на собак, огляделся.

Егор спустился в логовину, остановился поодаль от прясла — кобели хоть замолчали, но были наизготовке.

— Здорово, отец! — сказал Егор.

— Здорово, здорово, — неохотно откликнулся старик, присматриваясь к Егору.

— Подержи собак-то, я заеду!
— Ты откуда будешь?
— Из Баклани.
— Чей?
— Любавин.
— Емелькин сын, что ль?
— Ну.

Старик сошел с крылечка, отвел собак куда-то за избушку, вернулся и, пока Егор въезжал в ограду, все недоверчиво присматривался к нему.

— Говорили, убили у Емельки какого-то сына...

— Брата, — сердито буркнул Егор. Его начала раздражать подозрительность старика.

— Тебя как зовут-то?
— Егором.
— Ты младший, что ль?
— Младший.

Старик успокоился, даже как будто обрадовался. Помог Егору расседлать коня, показал, куда сложить мешки с провизией.

— Похож ты на брата-то, на Макарку, я, вишь, обознался. Слыхал, что убили его... Как же, думаю? Бывал он тут. Отчаянный парень. А ты чего?

— В горы еду, а дорогу не знаю. Отец велел к тебе завернуть.

— Это можно. Как отец-то?
— Ничего.
— Заходи. У меня там ишо один бакланский гостит.
— Кто? — Егор невольно попятился от двери.
— Гринька Малюгин.

У Егора отлегло от сердца — он подумал почему-то, что его ждет Кузьма.

Старик заметил растерянность Егора, про себя, должно быть, отметил.

Гринька проснулся и ждал гостя, ничуть не встревожившись, даже с кровати не поднялся. В избушке был полумрак.

— Боженька человечка живого послал? — спросил он старика, с любопытством разглядывая Егора. — Кто такой?

— Ты же сам говоришь — человечек.

— Нет, может, ты купец — тогда твоя жизнь конченая. А может, ты от властей посланный — тогда поворачивай оглобли, нам не о чем толковать. А может, ты добрый молодец — тогда мы с тобой выпьем. — Гринька,

видно, намолчался в тайге, разглагольствовал с удовольствием.

Егор много слышал о Гринькиных похождениях, поэтому сам тоже с интересом рассматривал его. Он видел Гриньку, когда того водили по деревне за конокрадство, но тогда Гринька был не такой, и Егор, пожалуй, не узнал бы его, встреться он где-нибудь один на один с ним.

— Я проездом тут. В горы еду.

— В горы едет, — с дурашливой многозначительностью пересказал Гринька старику слова Егора. — А зачем, спрашивается? Коня прогулять? Или, может, тяпнул кого-нибудь по темечку? — тогда надо в горы.

Егору стало нехорошо от Гринькиных шуток, он нахмурился и, ничего не сказав, полез в карман за табаком.

— Не глянутся мои слова, — заметил Гринька старику. — А?

— Твои слова редко кому поглянутся, — сказал старик. — Он ведь земляк твой, из Баклани.

Гринька враз утратил беспечность, впился в Егора маленькими жуткими глазами.

— Нет, не помню, — сказал он. — Чей?

— Любавин.

— А-а... — Гринька опять лег, закинул руки за голову, долго молчал. — Помнишь, меня водили за коней Беспаловых.

— Помню.

— Я тоже помню. Я всех тогда запомнил. Любавиных не было. Правильно?

— Где не было?

— Бил кто-нибудь из Любавиных меня?

— Нет.

— Правильно. Давай, Кузьмич, медовухи. Мне что-то тоскливо сделалось.

— Давай-ка лучше поспим маленько, — сказал старик. — Да и парень умаялся с дороги, пусть отойдет. А потом выпьем, этого добра не жалко.

— Согласный, — сказал Гринька. — А ты?

Егор усмехнулся:

— Я тоже.

Ему постелили на полу. Старик полез на печку.

Егор с удовольствием вытянул натруженные за ночь ноги, зевнул.

В два маленьких оконца вливался ранний свет. Постепенно в избушке все четче обозначались отдельные

предметы: печь с большим, неуклюжим чувалом и с непомерно широким устьем, кадка в углу, куль с мукой, старенькое ружьишко на стене, волосяные маски от пчел, пучки сухих трав... Откуда-то — Егор не понимал откуда — потягивало свежим воздухом. На стене, над дверью, шевелились слабенькие тени — под окном стояла березка, и ее чуть трогал утренний ветерок.

Егор заснул незаметно, но и во сне все от кого-то убегал, а ноги плохо слушались, и сердце замирало от страха. Потом — не то приснилось, не то почудилось: как будто он так и лежит на полу в избушке. На печке спит старик Малышев, на кровати — Гринька. Вот Гринька полежал-полежал, зевнул и сел.

— Не спится.

— Мне тоже, — сказал Егор. — Ты Макара, брата, не знал?

— Знал, как же! Он атаманил в одной шайке.

— Так вот — убили Макара.

— Да ну?! Кто? — Гринька опять, как давеча, уставился на Егора страшными глазами.

— Уполномоченный у нас... Кузьмой зовут. На Клашке Колокольниковой женатый.

— Так чего же ты ушел из деревни?

— Я все равно его убью. Он тоже недолго погуляет. Примешь меня в свою шайку?

— Конечно. Ты Маньку-то любил свою?

Егор помедлил с ответом.

— А ты откуда знаешь про... Откуда ты все знаешь?

— Знаю, добрый молодец! — сказал Гринька и захохотал. — Я все знаю.

— Любил. Мне теперь тоскливо без нее.

— Ничего, не тоскуй. Сейчас выпьем. Правильно сделал, что убил.

— Кого?

— Уполномоченных-то.

— Я говорю: без Маньки мне теперь тоскливо будет.

— Ничего. Сейчас выпьем.

— Я же не хотел ее убивать. Я только ударить хотел, а получилось...

— А Яшу Горячего тоже ты убил?

— Нет.

— Ты мне не ври, добрый молодец! — Гринька опять громко захохотал, а глаза смотрели пронзительно. — Я ведь все знаю. И ты мне никогда не ври. А то я тебе самому сейчас голову отверну!

Гринька встал и начал кривляться над Егором и все хохотал оглушительно... Егор всмотрелся лучше и увидел, что у Гриньки нет лица. А Гринька подходил все ближе к нему и все хохотал и кривлялся... Егор проснулся от ужаса, охватившего его.

...Гринька, скорчившись в кровати, надсадно кашлял. Егор пошевелился. Гринька повернулся к нему.

— Вот, брат, до чего... — прохрипел он. — Всю душу выворачивает.

— Простыл?

— Простыл... Кузьмич! А Кузьмич!

Старик на печке поднял голову.

— Чего?

— Хватит спать! Давай медовухи.

Малышев протяжно зевнул и полез с печки.

— До чего утренний сон хороший!

— Ты как жених спишь, — упрекнул его Гринька.

— А чего ж? Я людей не убивал — душа не болит. — Непонятно, к чему он сказанул это. То ли недоспал — обозлился на Гриньку, то ли из ума стал выживать, забывает, с кем и о чем не следует говорить. Скорей всего не подумал и брякнул.

Гринька внимательно посмотрел на старика.

— Ты к чему это?

— Да так... присказка такая есть.

Гринька промолчал.

У Егора совсем пропал сон.

Было уже светло.

Позавтракали.

Егор напоил коня из колодца, спутал и пустил около ограды. Взял у старика драный тулупишко и полез на вышку. От выпитой медовухи голова отяжелела, и сон снова обуял Егора. Ни о чем больше не думалось.

На вышке было хорошо — тепло. Сквозь многочисленные щели крыши глазело солнце. Пахло пылью и старой кожаной сбруей. На карнизе дрались воробьи.

18

Кузьма вернулся домой через неделю. Похудел, оброс смешной рыжей бороденкой.

Домашние встретили его гробовым молчанием. Даже Николай не нашелся, что сказать сразу.

Кузьма разделся, ополоснул в сенях лицо. Когда во-

шел с мокрым лицом, Клавдя молча подала ему полотенце.

— Баню можно истопить? — спросил Кузьма, ни к кому в особенности не обращаясь.

— Баню надо, — поддержал Николай.

— Истопим, — сказала Клавдя.

Кузьма прошел в горницу и стал раздеваться — хотел спать лечь.

Вошел Николай, плотно прикрыл за собой дверь.

— Ну как? — участливо спросил он.

— Нет... Ушел.

— Ушел. — Николай сел на краешек кровати, глядя на Кузьму с отеческой неподдельной заботой. — Его теперь в горах надо искать.

— Где?

— В тайге, в горах. Там знакомство у Емельяна...

— Посоветоваться надо с председателем.

— Председателем-то счас другой. Пьяных Павел...

— Я слышал. Он ваш, кажется, баклаиский?

— Наш, ага. Сейчас только нету у него тут никого. Мать была, в позапрошлом году схоронили. А он, как в армию тогда взяли, в тринадцатом, однако, так его с тех пор не было. Никто не знал, иде он. А когда выбирали, рассказал: воевал сперва в империалистической, а потом за совецкую власть. Барона тут какого-то гоняли... А счас потянуло, видно, на родину...

— Хороший мужик?

— Дык вить... как скажешь? Его толком-то никто не знает. Ушел молодым ишо... В парнях вроде не выделялся, жили бедновато. Отца в японскую убило, а мать — чего она? А он — малолеток, незаметный... Хороший, говорят. Лизара нашего попер от себя. — Николай усмехнулся, качнул головой. — Третьего дня приходит пьяный. «Выгнали», — говорит. Давно пора...

Председателя в сельсовете не было. Сказали, в школе. Кузьма пошел в школу.

Дороги подсохли, затвердели. Под плетнями зазеленела молодая крапива. Мирно и тепло в деревне, попахивает дымком и свежевыпеченным хлебом... Опять была весна. Надо бы радоваться, наверно, а на душе неспокойно. Тяжело, что Марьи нет. Невыносимо тяжело и больно, что виноват в этом — он. Как страшно и просто все вышло!

Захотелось очень поговорить с Платонычем. И он

стал сочинять ему письмо (он иногда матери тоже «писал» письма).

«Дядя Вася!

У нас опять весна. Много всякого случилось без тебя — Марью убили, Яшу... Мне сейчас трудно. Жалко Марью, сердце каменеет... С семьей у меня тоже вышло как-то не так. Но школа твоя уже достраивается, скоро совсем достроим. Хорошая получилась школа. Ребятишки учиться будут, скакать, дурачиться, и ты будешь как будто с ними. Я теперь понял, что так и надо: все время быть с людьми, даже если в землю зароют. А с Марьей-то — я виноват. Не могу в глаза людям глядеть, дядя Вася. Хоть рядом с тобой ложись... Сергея Федорыча еще не видел и не знаю, как покажусь. Плохо!»

19

Председатель ругался с плотниками. Втолковывал, какие вязать рамы, чтоб больше было света. Даже показывал — чертил угольком на доске. Плотники таких никогда не вязали, упрямились. Уверяли, что и так хватит света.

— Куда его шибко много-то?

— Так дети же! — кричал председатель. — Черти вы такие! Дети учиться-то будут! Им писать надо, задачки решать... Наши же дети!

Плотники, нахмурив лбы, стали совещаться между собой.

Кузьма окликнул председателя. Тот повернулся, и Кузьма узнал его: один из тех, кто тогда приезжал на заготовку хлеба, невысокий, плотный, с крепким подбородком. Улыбнулся Кузьме.

— Здорово! Что ж долго не заходишь?

— Я заходил — ты в уезде был. А эти дни...

— Слышал. — Председатель посерьезнел. — Никаких следов?

— Нет. В горы ушел.

— Ждать не будет, конечно. Ну, давай знакомиться: Павел Николаевич. Тебя — Кузьма?

— Я помню — приезжали...

— Отойдем-ка в сторонку, поговорим.

Походка у Павла Николаича упружистая, и весь он как литой. Шея короткая, мощная. Идет чуть вразвалку, крепко чувствует под ногой землю.

Вышли из школы, сели на бревно.

— То, что ты милиционер, это хорошо. Что молод, это малость похуже, но дело поправимое. А?

— Думаю...

— Я тоже так думаю. Надо, Кузьма, начинать работать. Ты тут, прости меня, конечно, ни хрена пока не сделал. — Павел Николаич посмотрел своим твердым, открытым взглядом на Кузьму. Тот невольно почувствовал правоту его слов, не захотелось даже ничего говорить в свое оправдание. — Деревня глухая, я понимаю, но дела это не меняет, как ты сам понимаешь.

— Понимаю.

— У тебя как с семьей-то? — вдруг спросил Павел Николаич.

— Что — с семьей?

— Ну... все в порядке?

Кузьма нахмурился. Подумал: «Вот так и будет теперь все время».

— Ты же знаешь... Что спрашивать?

— Что знаю?

— Не в семье дело, а... Ну, знаешь ты! Из-за меня убийство-то... случилось. Марью-то Любавину...

Председатель жестоко молчал.

— Знаешь или нет? Говорят ведь!

— Говорят.

— Ну вот. Зашел к ней, а сказали... Да ну к черту! Тяжело. — Действительно, было невыносимо тяжело. Но именно оттого, что было так тяжело, нежданно прибавилось вдруг: — Я любил ее, не скрываю. Только ничего у нас не было. Вы-то хоть поверьте. Вот и все. Теперь мне надо найти его. Возьму человек трех, поедем в горы. Возможно, к банде пристал...

— В горы не поедешь. Из-за одного человека четверо будете по горам мотаться... жирно. А банду ту накрыли. У Чийского аймака. Человек шесть, что ли, ушло только. Сейчас туда чоновцев кинули — вот такие группы ликвидировать. Никуда и Любавин твой не денется.

— А когда банду?

— Четвертого дня.

— Далеко это?

— У границы почти. Наверно, хотели совсем уйти. Суть сейчас не в Любавине. Есть дела поважнее. Надо молодежь сколачивать — комсомол. Комитеты, актив... Богачи могут поднять голову. Раз «кто — кого», так и нам ушами не надо хлопать. Насчет убийства Марьи — считай, что это тебе урок на всю жизнь. Переживать

переживай, а нос особо не вешай, а то им козырь лишний, всяким Любавиным да Беспаловым. Понял?

— Сергей Федорыча жалко... Прямо сердце заходится.

— Жалко, конечно. Не везет старику: трех сынов потерял, и теперь вот... — Председатель замолк, подобрал с земли щепочку, повертел в руках, бросил и сказал негромко, но с такой затаенной силой, что Кузьма вздрогнул: — Сволочи.

— Егора надо найти.

Председатель поднялся с бревна.

— У дяди бумаги какие-нибудь остались?

— Есть... дома.

— Пойдем. Отдашь мне.

Пошли от школы.

— В уезде ничего не требуется?

— Нет. А что?

— Я сейчас еду туда. Со школой надо тоже утрясать. Деньги нужны. Что за учительница здесь была?

— Она не учительница, так просто... попробовала, и ничего не вышло. Испугалась, что ли...

— Вот надо все налаживать. А за нас никто ничего не сделает. Так, Кузьма.

20

В тот же день, проводив председателя, Кузьма пошел к Сергею Федорычу.

Увидел его кособокую избенку, и с новой силой горе сдавило сердце.

Сергей Федорыч ковырялся в ограде — починял плетень. На приветствие Кузьмы только головой кивнул. Даже не посмотрел.

— Дядя Сергей... — заговорил было Кузьма.

Но тот оборвал:

— Не надо ничо говорить. Ну вас всех к дьяволу! — Присел у плетня, вытер рукавом рубахи глаза, посмотрел на ребятишек, игравших в углу двора, вытер еще раз глаза, долго сидел не двигаясь.

Кузьма стоял рядом.

— Не надо про то... Сядь-ка, — сказал Сергей Федорыч. Кашлянул в ладонь. Голос дрожал. — Хлеб-то, помнишь, искали?

— Ну?

— У Любавиных тоже искали — не нашли. А хлеб есть.

— Есть, наверно.

— Не «наверно», а есть. И — оё-ёй, сколько!

— Ну?

— Не понужай — не запрег. Значит, так: мылся я у них как-то в бане — когда еще родней были, — и показалось мне подозрительно, что сам старик — мы вместе были — мало воды на себя льет. И на меня один раз рявкнул, чтобы я тоже не плескал зря.

Кузьма опять хотел сказать: «Ну?» Он ничего не понимал пока.

— А чего бы ее, кажись, беречь, воду-то? — продолжал Сергей Федорыч. — Заложил коня да съездил на речку с кадочкой. Нет! Он прямо на дыбошки становится: не лей зря воду — и все! Я и подумал тогда: не хлеб ли лежит у них там, под баней-то?

Кузьма смотрел в рот Сергею Федорычу, слушал. Но тот кончил свой рассказ и тоже смотрел на Кузьму.

— А зачем им его под баню-то прятать?

— А куда же его прятать? Тебе в голову придет искать хлеб под баней?

— Так он же сгниет там!

— Не сгниет. Поглубже зарыть — ничего с ним не будет. А они и баню-то редко топили нынче, я заметил. Да еще накрыли его хорошенько, вот и все. И воды поменьше лили.

— Чего же ты раньше-то молчал?

— Чего молчал! — Сергей Федорыч рассердился. — Родня небось были!.. — Рыжий клинышек бородки его опять запрыгал вверх-вниз, он отвернулся, высморкался и опять вытер глаза рукавом вылинявшей ситцевой рубахи. — Вот и молчал. Скажи тада, дочери бы житья не было. А счас мне их, змеев подколодных, надо со света сжить — и все. Не ной моя косточка в сырой земле, если я им что-нибудь не сделаю. — Эти слова Сергей Федорыч произнес каким-то даже торжественным голосом, без слез.

Кузьма в душе еще раз поклялся отомстить за Марью.

— Дак вот я и думаю, как у их этот хлеб взять?

— Возьмем, да и все.

Видно, Сергея Федорыча такая простота не устраивала, он хотел видеть здесь акт мщения.

— Тогда скажите, когда найдете: это я подсказал, где искать.

— Может, его нет там...

— Там! — опять рассердился Сергей Федорыч. — Я уж их изучил. Там хлеб! Говорят — надо слухать.

Когда стемнело, к Любавиным явились четверо: Кузьма, Федя Байкалов, Пронька Воронцов и Ганя Косых.

Емельян Спиридоныч вечерял.

Когда вошли эти четверо, он настолько перепугался, что выронил ложку. Смотрел на незваных гостей и ждал. Михайловна тоже приготовилась к чему-то страшному.

— Выйдем, хозяин, — сказал Кузьма, не поздоровавшись (из четырех поздоровались только Ганя и Пронька).

— Зачем это?

— Надо.

— Надо — так говори здесь. — Емельян Спиридоныч начал злиться, и чем больше злился, тем меньше трусил.

— Пойдем, посвети, мы обыск сделаем. И пошевеливаться надо, когда говорят! — Кузьма помаленьку терял спокойствие.

— Ишь какой ты! — Емельян Спиридоныч смерил длинного Кузьму ненавистным взглядом (он в эту секунду подумал: почему ни один из его сыновей не стукнул где-нибудь этого паскудного парня?). — Лаять научился. А голоса еще нету — визжишь.

— Давай без разговоров!

Емельян Спиридоныч встал из-за стола, засветил еще одну лампу и повел четверых во двор. Он был убежден, что ищут Егора. Даже мысли не было о хлебе. Давно все забылось. Успокоились. И каковы же были его удивление, растерянность, испуг, когда Кузьма взял у него лампу и направился прямо в баню. Но это еще был не такой испуг, от которого подсекаются ноги... Может быть, они думают, что Егор прячется в бане? И тут только он обнаружил, что двое идут с лопатой и с ломом. Емельян остолбенел.

Трое идущих за ним обошли его и скрылись в бане.

Емельян Спиридоныч лихорадочно соображал: взять ружье или нет? Пока он соображал, в бане начали поднимать пол — затрещали плахи, противно завизжали проржавевшие гвозди...

Емельян Спиридоныч побежал в дом за ружьем.

Увидев его, белого, как стена, Михайловна ойкнула

и схватилась за сердце: она тоже подумала, что Егор потайком вернулся и его нашли.

Емельян Спиридоныч трясущимися руками заряжал ружье.

— Да что там, Омеля?

— Хлеб, — сипло сказал Емельян Спиридоныч.

— Осподи, осподи! — закрестилась Михайловна. — Да гори он синим огнем, не связывайся ты с ними. Решат ведь!

Емельян Спиридоныч бросил ружье и побежал в баню.

— Гады ползучие, гады! — заговорил он, появляясь в бане. — Подавитесь вы им, жрите, собаки!.. Тебе, длинногий, попомнится этот хлебушек...

Пронька орудовал ломом, Федя светил.

Подняли четыре доски. Пронька с маху всадил в землю лом, он стукнул в глубине о доски.

— Вот он... тут! — сказал Пронька.

Емельян Спиридоныч повернулся и пошел в дом.

Кузьма, растирая ладонью ушибленное колено, бросил Гане:

— Гаврила, давай за подводами.

21

Кондрат узнал обо всем только утром. Фекла пошла за водой к колодцу, а там все разговоры о том, как от Любавиных всю ночь возили на бричках хлеб. Фекла не стала даже брать воду, побежала домой.

— Наших-то ограбили! — крикнула она.

Кондрат подстригал овечьими ножницами бороду. Бросил ножницы, встал.

— Что орешь, дура?

— Хлеб-то нашли ведь!

Кондрат как был, в одной рубахе, выскочил на улицу и побежал к отцу.

Емельян Спиридоныч сидел в углу, под божницей, странно спокойный, даже как будто веселый.

— Проспал все царство небесное! — встретил он сына. — Хлебушек-то у нас... хэх!.. Под метло!

Кондрата встревожило настроение отца:

— Ты чего такой?

— Какой? Сижу вот, думаю...

— Как нашли-то?

— Найдут! Они все найдут. Они нас совсем когда-нибудь угробют, вот увидишь.

— Весь взяли?

— Оставили малость на прокорм... — Емельян Спиридоныч махнул рукой.

Кондрат скрипнул зубами.

— Знаешь, что я думаю? — спросил отец.

— Ну?

— Петуха им пустить. Школа-то стоит?..

— Какой в ней толк, в школе-то?

— Дурак, Кондрашка! Сроду дураком был...

— Ты говори толком! — окрысился Кондрат.

— Школа сгорит — они с ума посходют. Строили-строили... Старичок-покойничек все жилы вытянул. Мне шибко охота этому длинногачому насолить, гаду. Я всю ночь про это думал. Его вонче-то убить мало. Он разнюхал-то... Но с ним пускай Егорка управляется, нам не надо. Тому все одно бегать. А школа у их сгорит! Все у их будет гореть!.. Я их накормлю своим хлебушком.

Кондрат молчал. Он не находил ничего особенного в том, в чем отец видел сладостный акт мести.

— А маленько погода установится, — продолжал Емельян Спиридоныч, — поедешь в горы, расскажешь Егорке, как тут нас... — Старик изобразил на лице терпеливо-страдальческую мину. — Гнули, мол, гнули спинушки, собирали по зернышку, а они пришли и все зачистили. А? Во как делают! — Емельян Спиридоныч отбросил благообразие, грохнул кулаком по столу. — Это ж поду-умать только!..

— Не ори так, — посоветовал Кондрат.

В глухую пору, перед рассветом, двое осторожно подошли к школе, осмотрелись... Темень, хоть глаз выколи. Тишина. Только за деревней бренькает одинокая балалайка — какому-то дураку не спится.

Кондрат вошел в школу с ведерком керосина. Емельян Спиридоныч караулил, присев на корточки.

Тихонько поскрипывали новые половицы под ногами Кондрата, раза два легонько звякнула дужка ведра. Потом он вышел.

— Все.

— Давай, — велел Емельян Спиридоныч.

Кондрат огляделся, помедлил.

— Ну, чего?

— Надо бы подождать с недельку хоть. Сразу к нам кинутся...

— Тьфу! Ну, Кондрат...

— Чего «Кондрат»?

— Дай спички! — потребовал Емельян Спиридоныч.

Кондрат вошел в школу. Через открытую дверь Емельян Спиридоныч увидел слабую вспышку огня. Силуэтом обозначилась склоненная фигура Кондрата. И тотчас огонь красной змеей пополз вдоль стены... Осветился зал: пакля, свисающая из пазов, рамы, прислоненные к стене. Кондрат быстро вышел, плотно закрыл за собой дверь.

Двое, держась вдоль плетня, ушли в улицу.

Из окон школы повалил дым, но огня еще не было видно — Кондрат не лил под окнами керосин. Потом и в окнах появилось красное зарево. Стало слышно, как гудит внутри здания огонь. Гул этот становился все сильнее, стреляло и щелкало. Огонь вырывался из окон, пробился через крышу — все здание дружно горело. Треск, выстрелы и гул с каждой минутой становились все громче. И только когда огнем занялись все четыре стены, раздался чей-то запоздалый крик:

— Пожар!.. Эй!.. Пожа-ар!

Пока прибежали, пока запрягли коней, поставили на телеги кадочки и съездили на реку за водой, за первой порцией, тушить уже нечего было. Оставалось следить, чтобы огонь не перекинулся на соседние дома. Ночь, па счастье, стояла тихая, даже слабого ветерка не было.

Стояли, смотрели, как рассыпается, взметая тучи искр, большое здание, большой труд человеческий...

Прибежал Кузьма.

— Что же стоите-то?! — закричал он еще издали. — Давай!

— Чего «давай»? Все... нечего тут давать.

Кузьма остановился, закусил до крови губу...

Подошел Пронька Воронцов:

— Любавинская работа. Больше некому.

Как будто только этих слов не хватало Кузьме, чтобы начать действовать.

— Пошли к Любавиным, — сказал он.

Дорогой к ним присоединились Федя и Сергей Федорыч.

— Они это, они... — говорил Сергей Федорыч. — Что делают! Злость-то какая несусветная!

— Они-то они, а как счас докажешь? — рассудил Пронька. — Не прихватили же...

— Вот как. — Кузьма остановился. — Сейчас зайдем

к старику, так?.. Пока я буду с ним говорить, вы кто-нибудь незаметно возьмете его шапку. Потом пойдем к Кондрату. Скажем: «Узнаешь, чья шапка? У школы нашли». А?

— Попытаем. Не верится что-то.

...Ворота у Любавиных закрыты. Постучали.

Никто не вышел, не откликнулся, только глухо лаяли псы. Еще раз постучали — бухают псы.

— Давай ломать, — приказал Кузьма.

Втроем навалились на крепкие ворота. Толкнули раз, другой — ворота нисколько не подались.

— Погоди, я перескочу, — предложил Пронька.

— Собаки ж разорвут.

— А-а...

Еще постучали — все трое барабанили.

— Стой, братцы... я сейчас. — Кузьма вынул наган, подпрыгнул, ухватился за верх заплота. — Пронька, подсади меня!

— Собаки-то!..

— Я их постреляю сейчас.

Пронька подставил Кузьме спину, Кузьма стал на нее, навалился на заплот.

— Кузьма! — позвал Федя.

— Что?

— Собак-то... это... не надо.

— Собак пожалел! — воскликнул Сергей Федорыч. — Они людей не жалеют...

— Не надо, Кузьма, — повторил Федя, — они не виновные.

— Хозяин! — крикнул Кузьма.

На крыльцо вышел Емельян Спиридоныч.

— Чего? Кто там?

— Привяжи собак.

— А тебе чего тут надо?

— Привяжи собак, а то я застрелю их.

Емельян Спиридоныч некоторое время поколебался, спустился с крыльца, отвел собак в угол двора.

Кузьма спрыгнул по ту сторону заплота, выдернул из пробоя ворот бороний зуб.

— Пошли в дом, гражданин Любавин!

Емельян Спиридоныч вгляделся в остальных троих, молчком пошел впереди.

В темных сенях Кузьму догнал Сергей Федорыч, остановил и торопливо зашептал в ухо:

— Ведерко... Счас запнулся об его, взял, а там керосин был. У крыльца валялось. На. Припрем...

Федя и Пронька были уже в доме. Ждали, когда Емельян Спиридоныч засветит лампу.

Вошли Кузьма с Сергеем Федорычем.

Лампа осветила прихожую избу.

Кузьма вышел вперед:

— Ведро-то забыли...

— Како ведро?

— А вот — с керосином было... Вы его второпях у школы оставили.

Емельян Спиридоныч посмотрел на ведро.

— Ну что, отпираться будешь? — вышагнул вперед Сергей Федорыч. — Скажешь, не ваше? А помнишь, я у вас керосин занимал — вот в этом самом ведре нес. Память отшибло, боров?

— Собирайся, — приказал Кузьма.

Михайловна заплакала на печке:

— Господи, господи, отец небесный...

— Цыть! — строго сказал Емельян Спиридоныч. Ему хотелось хоть сколько-нибудь выкроить время, хоть самую малость, чтоб вспомнить: нес Кондрат ведро домой или нет? И никак не мог вспомнить.

А эти торопили:

— Поживей!

— Ты не разоряйся шибко-то...

— Давай, давай, а то там сыну одному скучно. Он уж все рассказал нам.

Емельян Спиридоныч долго смотрел на Кузьму. И сказал вроде бы даже с сожалением:

— Но ты, парень, тоже недолго походишь по земле. Узнает Егорка, про все узнает... Не жилец ты. И ты, гнида, не радуйся, — это к Сергею Федорычу, — и тебя не забудем...

— Тебе сказали — собираться? — оборвал Сергей Федорыч. — Собирайся, не рассусоливай.

— Построили школу?.. Это вам за хлебушек. Дорого он вам станет... — Емельян Спиридоныч сел на припечье, начал обуваться. — Не раз спомните. Во сне приснится...

Пронька остался в сельсовете, караулить у кладовой Емельяна Спиридоныча и Кондрата.

Сергей Федорыч, Кузьма и Федя медленно шли по улице. Думы у всех троих были невеселые.

Светало. В воздухе крепко пахло свежей еще, неостывшей гарью. Кое-где уже закучерявился из труб синий дымок. День обещал быть ясным, теплым.

У ворот своей избы Сергей Федорыч приостановился, подал руку Кузьме, Феде:

— Пока.

Федя молча пожал руку старика, Кузьма сказал:

— До свидания. Отдыхай, Сергей Федорыч.

Сергей Федорыч посмотрел на него... Взгляд был короткий, но горестный и угасший какой-то. Не осуждал этот взгляд, не кричал, а как будто из последних сил, тихо выговаривал: «Больно...»

Кузьму как в грудь толкнули.

— Сергей Федорыч, я...

Сергей Федорыч повернулся и пошел в избу.

Кузьма быстрым шагом двинулся дальше.

— Пошли. Видел, как он посмотрел на меня?.. Аж сердце чуть не остановилось. Сил нет, поверишь? На людей еще — туда-сюда, а на него совсем не могу глаз поднять. И зачем я зашел к ней?..

Федя помолчал. Потом тихо произнес:

— Да-а. — И вздохнул. — Это ты... вобчем... это... Не надо было.

— Разве думал, что так получится!..

— Знамо дело. Да уж так оно, видно... А вот хуже, что Егорка ушел. Ему, гаду, башку надо бы отвернуть. Теперь не найдешь...

22

Егор проспал на вышке до обеда. Выспался. Слез, посмотрел коня и стал собираться в дорогу.

Гринька сидел на завалинке, грелся на солнышке.

— Как теперь в деревне-то? — спросил он.

— Ничего, — откликнулся Егор, зашивая несмоленой дратвой лопнувшую подпругу.

— Отпахались?

— Давно уж.

Гринька задумался. Долго молчал.

— А ты чего дернул оттуда?

— Надо.

— Какой скрытный! — Гринька засмеялся хрипло.

Егор поднял голову от подпруги, посмотрел на него.

— Выкладывай, — сказал тот, — легче станет, по себе знаю. Убил кого-нибудь?

— Жену, — не сразу ответил Егор. Он подумал: может, правда, легче будет?

— Жену — это плохо. — Гринька сразу посерьезнел. — Баб не за что убивать.

— Значит, было за что.

— Сударчика завела, что ли?

— Завела. — Егор жалел, что начал этот разговор.

— Паскудник ты, — спокойно сказал Гринька. — Падали кусок. Самого бы тебя стукнуть за такое дело.

Егор, не поднимая головы и не прекращая работы, прикинул: если Гринька будет и дальше так же вякать, можно — как будто по делу — сходить в избушку, взять обрез и заткнуть ему хайло.

— А сударчик-то ее что же, испугался?

У Егора запрыгало в руках шило, он сдерживался из последних сил.

— Чья у тебя жена была?

— Ты что это, допрос, что ли, учинил? — Егор поднял глаза на Гриньку, через силу улыбнулся.

— Поганая у тебя душа, парень. Не любит таких тайга. Я бы тебя первый осудил. Хворый вот только... Эх, падаль!

Егор для отвода глаз осмотрел внимательно седло и направился в избушку.

Малышев был у своих пчел.

Егор вынул из мешка обрез, зарядил его и вышел к Гриньке. Подошел к нему, пнул больно в грудь.

— Говори теперь.

Гринька никак не ожидал этого. Он даже не поднялся, сидел и смотрел снизу на Егора удивленными глазами.

— Неужели я сгину от такой подлой руки? — спросил он серьезно. — Даже не верится. Ты что, сдурел?

Егор проверил взведенный курок — отступать некуда, надо стрелять. А убивать Гриньку расхотелось — слишком уж спокойно, бесстрашно смотрит он. Самому Егору не верилось, что вытянется сейчас Гринька на завалинке и уснет вечным сном. Но и оставлять его живым опасно. Кто знает, сколько придется пробыть в тайге, — и все время будет за спиной Гринька или его товарищи.

— Не балуйся, парень, убери эту... Не бойся меня, я хочу менять свою жизнь. Вишь, хворый я. Поеду домой, покаюсь...

— Что же ты лаяться начал, хворый-то?

— А ты что же, чистым хочешь быть? Нет, врешь. — Гринька засмеялся. Он все-таки не верил, что умрет сейчас. — Врешь...

— Хватит!

— Чистым тебе теперь не быть, врешь, парень. Теперь тебя кровь будет мучить. Слыхал, что давеча старик сказал? Спать плохо будешь... А старик этот повидал нашего брата мно-о-го. Так что... вот. Ты думал: «Выехал на раздолье, погуляю»? Не... За все надо рассчитываться. От людей уйдешь, от себя — нет.

Слушал Егор грозного разбойника и понимал, что тот говорил сущую горькую правду.

— Я уж и так измучился эти дни. — Он опустил обрез.

— Во-о! — торжествующе сказал Гринька. — Ишо не то будет.

— А что делать?

— Это ты во-он, — Гринька показал на небо, — у того спроси. Он все знает. А я к зиме покаюсь.

— А я не хочу. Перед кем?

— Тебе рано, — согласился Гринька не без некоторого превосходства.

— Так что же делать-то, Гринька? — еще раз с отчаянием спросил Егор.

— Не знаю, парень. Бегать. Узнаешь, как птахи разные поют, как медведь рыбу в речках ловит. Я ему шибко завидую, медведю: залезет, гад, на всю зиму в берлогу и полеживает...

Та небывалая, острая тоска по людям, какую Егор предчувствовал дома в последнюю ночь, опять накинулась с такой силой, что хоть впору завыть. Он даже забыл, что случилось пять минут назад... Сел рядом с Гринькой. Тот легко выхватил у него обрез. Егор вскочил, но поздно — его собственный обрез смотрел прямо на него, в лоб. Даже лица Гринькиного не увидел он в это мгновение, даже не успел ни о чем подумать... Показалось, что он ухнул в какую-то яму, и всего обдало жаром. На самом же деле, вскочив, он сунулся было к Гриньке, но, увидев направленный на него обрез, отшатнулся и крепко зажмурился... Грянул выстрел. Горячее зловоние смерти коснулось лица Егора. Он оглох. Открыл глаза...

Гринька смеется беззвучно. Что-то сказал и протянул обрез. Похлопал ладонью рядом с собой.

Егор крепко тряхнул головой, шум в ушах поослаб.

— Садись, — сказал Гринька. — Возьми эту штуку свою.

Егор взял обрез, сел.

— Ну и шуточки у тебя...

— Это чтоб ты знал, как других пужать. А то мы сами-то наставляем его, а на своей шкуре не испытывали ни разу. Теперь знай. Крепко трухнул?

Егор ничего не сказал, опять покрутил головой.

— Оглох к черту.

— Пройдет.

— Тьфу!.. Прямо сердце оторвалось.

— Надо было. А то я разговариваю с тобой, а сам все на него поглядываю, — Гринька кивнул на обрез. — Думаю: парень молодой ишо, ахнет — и все. Курево есть?

Закурили.

— Значит, нет выхода? — все о том же заговорил Егор.

С пчельника неторопким шагом пришел старик Малышев.

— Живые обое?

— Слава богу, старик.

Старик ушел.

— Выход? Выход есть — садись в тюрьму.

— В тюрьме мне совсем не вынести.

— Сидят люди... ничего.

Егор подумал.

— Нет, не вынести.

— Значит, бегай.

Опять тоска прищемила сердце. Егор зверовато огляделся.

— Обложили...

Гринька задумался о чем-то своем.

— Не поедешь со мной? — спросил Егор.

— Не. Отлежусь маленько. А потом — с таким все равно бы никуда не поехал.

Егор встал, пошел к коню. Подвязал обрез к седлу, сел, тронул в ворота.

— Счастливо оставаться!

— Будь здоров!

Дорогу Малышев давеча утром объяснил. И сказал, что тут можно и днем ехать. Но не радовало это Егора. Ничто не радовало. Тоска не унималась.

А день, как нарочно, разгулялся вовсю. Зеленая до-

лина, горы в белых шапках — все было залито солнцем. В ясном небе ни облачка.

«А может, вернуться?» — мелькнуло в голове. Егор даже приостановил коня. И сразу встали в глазах: Федя, Кузьма, Яша Горячий, Пронька, Сергей Федорыч, Марья, сын Ванька...

Он почти физически, кожей ощутил на себе их проклятие. Тронул коня.

Гнали они его от себя — все дальше и дальше...

23

...Сидели на берегу, у кузницы.

Федя подбирал с земли камешки, клал на ладонь и указательным пальцем другой руки сшибал их в воду. Кузьма задумчиво следил за полетом каждого камешка — от начала, когда Федя прицеливался к нему пальцем, до конца, когда камешек беззвучно исчезал в кипящей воде.

Из-за гор вставало огромное солнце. Тайга за рекой дымилась туманами — новый день начинал свой извечный путь по земле.

— Да, Федор... — заговорил Кузьма. — Вот как все вышло. В голове прямо мешанина какая-то...

— Душу счас надрывать тоже без толку. — Федя вытер ладонь о штанину. — Вот Егорка ушел — это да. Это шибко обидно.

— Егор, может, найдется, а они-то никогда уж!

— Знамо дело, — согласился Федя.

— Понимаешь, не могу поверить, что их нету... Марьи... дяди Васи... Забыться бы как-нибудь... — Кузьма лег на спину, закинул руки за голову.

— Как забудешься?..

— И школа... Строили, строили... Теперь все сначала.

Федя ничего не сказал на это.

Ревет беспокойная Баклань, прыгает в камнях, торопится куда-то — чтобы умереть, породив новую большую реку.

Кузьма закрыл глаза.

— Слыхал, старик-то Любавин давеча: «Недолго, говорит, по земле походите». Может, так и будет?

— Кто ее знает? — Помолчав, Федя положил руку Кузьме на плечо. — Не горюй, брат... Я так считаю, — поторопился он, — ишо походим.

— Ну и рука у тебя, Федор! Железная какая-то. До сих пор не пойму, как они тогда побили тебя!.. Макар-то... с теми...

Федор смущенно кашлянул.

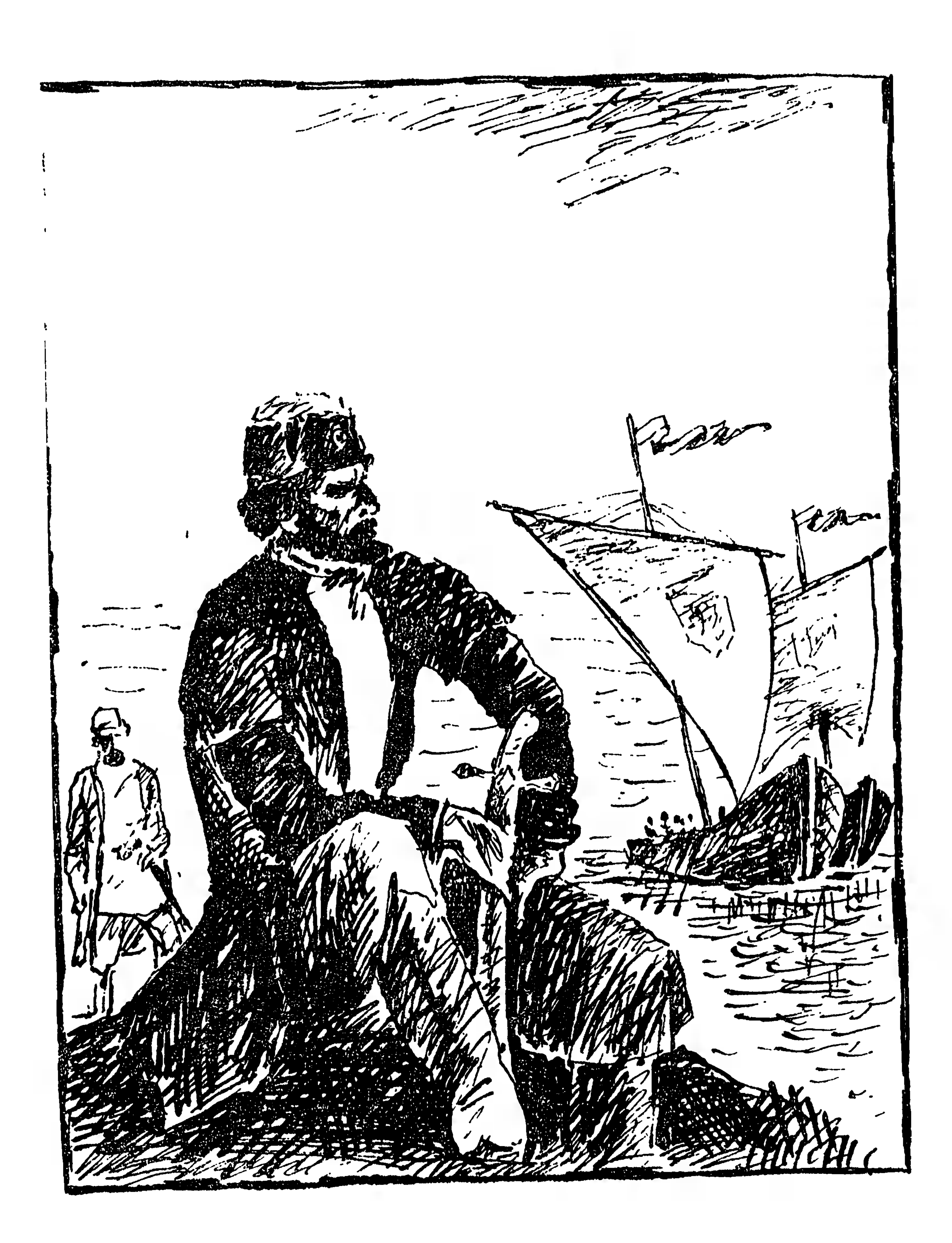
— Что меня побили — это полбеды. Хуже будет, когда я побью. — И рука его, могучая рука кузнеца, притронулась к худому плечу городского парня.

Свело же что-то этих непохожих людей!

Жизнь... Большая она, черт возьми!..

Я пришел дать вам волю

РОМАН



ЧАСТЬ I

ВОЛЬНЫЕ КАЗАКИ

Каждый год, в первую неделю великого поста, православная церковь на разные голоса кляла:

«Вор и изменник, и крестопреступник, и душегубец Стенька Разин забыл святую соборную церковь и православную христианскую веру, великому государю изменил, и многия пакости и кровопролития и убийства во граде Астрахане и в иных низовых градех учинил, и всех купно православных, которые к ево коварству не пристали, побил, потом и сам вскоре исчезе, и со единомышленники своими да будет проклят! Яко и прокляты новые еретики: архимандрит Кассиан, Ивашка Максимов, Некрас Рукавов, Волк Курицын, Митя Коноглев, Гришка Отрепьев, изменник и вор Тимошка Акиндинов, бывший протопоп Аввакум...»

Тяжко бухали по морозцу стылые колокола. Вздрагивала, качалась тишина; пугались воробьи на дорогах. Над полями белыми, над сугробами плыли торжественные скорбные звуки, ниспосланные людям людьми же. Голоса в храмах божьих рассказывали притихшим — нечто ужасное, дерзкое:

«...Страх господа бога вседержителя презревший, и час смертный и день забывший, и воздаяние будущее злотворцем во ничто же вменивший, церковь святую возмутивший и обругавший, и к великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичу, всея Великая и Малыя и Белыя Россия самодержцу, крестное целование и клятву преступивший, иго работы отвергший...»

Над холмами терпеливыми, над жильем гудела литая медная музыка, столь же прекрасная, тревожная, сколь и привычная. И слушали русские люди, и крестились. Но иди пойми душу — что там: беда и ужас или потаенная гордость и боль за «презревшего час смертный»? Молчали.

«...Народ христиано-российский возмутивший, и многие невежи обольстивший, и лестно рать воздвигший, от-

цы на сыны, и сыны на отцы, браты на браты возмутивший, души купно с телесы бесчисленного множества христианского народа погубивший, и премногому невинному кровопролитию вине бывший, и на все государство Московское, зломышленник, враг, и крестопреступник, разбойник, душегубец, человекоубиец, кровопиец, новый вор и изменник донской казак Стенька Разин, с наставники и зломышленники такового зла, с перво своими советники, его волею и злодейству его приставшими, лукавое начинание его ведущими пособники, яко Дафан и Авирон, да будут прокляты. Анафема!»

Такую-то — величально-смертную — грянули державные голоса с подголосками атаману Разину, живому еще, еще до того, как московский топор изрубил его на площади, принародно.

1

Золотыми днями, в августе 1669 года, Степан Разин привел свою ватагу с моря к устью Волги и стал у острова Четырех Бугров.

Опасный, затяжной, изнурительный, но на редкость удачливый поход в Персию — позади. Разинцы приползли чуть живые; не они первые, не они последние «сбегали на Хволынь», но такими богатыми явились оттуда только они. Там, в Персии, за «зипуны» остались казачьи жизни, и много. И самая, может быть, дорогая — Сереги Кривого, любимого друга Степана, его побратима. Но зато струги донцов ломились от всякого добра, которое молодцы «наторговали» у «косоглазых» саблей, мужеством и вероломством. Казаки опухли от соленой воды, много было хворых. Всех 1200 человек (без пленных). Надо теперь набраться сил — отдохнуть, наесться... И казаки снова было взялись за оружие, но оно не понадобилось. Вчера налетели на учуг митрополита астраханского Иосифа — побрали рыбу соленую, икру, вязигу, хлеб, сколько было... А было — мало. Взяли также лодки, невода, котлы, топоры, багры. Оружие потому не понадобилось, что работные люди с учуга все почти разбежались, а те, что остались, не думали сопротивляться. И атаман не велел никого трогать. Он еще оставил на учуге разную церковную утварь, иконы в дорогих окладах — чтоб в Астрахани наперед знали его доброту и склонность к миру. Надо было как-то пройти домой, на Дон. А перед своим походом в Персию разинцы крепко

насолили астраханцам. Не столько астраханцам, сколько астраханским воеводам.

Два пути домой: Волгой через Астрахань и через Терки рекой Кумой. Там и там — государевы стрельцы, коим, может быть, уже велено переловить казаков, поотнять у них добро и разоружить. А после — припугнуть и распустить по домам, и не такой оравой сразу. Как быть? И добро отдавать жалко, и разоружаться... Да и почему отдавать-то?! Всё добыто кровью, лишениями вон какими... И — все отдать?

2

...Круг шумел.

С бочонка, поставленного на попа, огрызался во все стороны крупный казак, голый по пояс.

— Ты что, в гости к куму собрался?! — кричали ему. — Дак и то не кажный кум дармовшинников-то любит, другой угостит, чем ворота запирают.

— Мне воевода не кум, а вот эта штука у меня — не ухват! — гордо отвечал казак с бочонка, показывая саблю. — Сам могу кого хошь угостить.

— Он у нас казак ухватистый: как ухватит бабу за титьки, так кричит: «Чур на одного!» Ох и жадный же! Кругом засмеялись.

— Кондрат, а Кондрат!.. — Вперед выступил старый сухой казак с большим крючковатым носом. — Ты чего это разоряешься, што воевода тебе не кум? Как это проверить?

— Проверить-то? — оживился Кондрат. — А давай вытянем твой язык: еслив он будет короче твово же носа, — воевода мне кум. Руби мне тада голову. Но я же не дурак, штоб голову свою запанраслишу подставлять: я знаю, што язык у тебя три раза с половиной вокруг шеи оборачивается, а нос, еслив его подрубить с одной стороны, только до затылка...

— Будет зубоскалить! — Кондрата спихнул с бочонка казак в есаульской одежде, серьезный, рассудительный.

— Браты! — начал он; вокруг притихли. — Горло драть — голова не болит. Давай думать, как быть. Две дороги домой: Кумой и Волгой. Обои закрыты. Там и там надо пробиваться силой. Добром нас никакой дурак не пропустит. А раз такое дело, давай решим: где легче? В Астрахани нас давно поджидают. Там теперь, я думаю, две очереди годовальщиков-стрельцов собралось:

новые пришли и старых на нас держут. Тыщ с пять, а то и больше. Нас — тыща с небольшим. Да хворых вон сколь! Это — одно. Терки — там тоже стрельцы...

Степан сидел на камне, несколько в стороне от бочонка. Рядом с ним — кто стоял, кто сидел — есаулы, сотники: Иван Черноярец, Ярославов Михайло, Фрол Минаев, Лазарь Тимофеев и другие. Степан слушал Суккина безучастно; казалось, мысли его были далеко отсюда. Так казалось — не слушает. Не слушая, он, однако, хорошо все слышал. Неожиданно резко и громко он спросил:

— Как сам-то думаешь, Федор?

— На Терки, батька. Там не сладко, а все легче. Здесь мы все головы покладем без толку, не пройдем. А Терки, даст бог, возьмем, зазимуем... Есть куда приткнуться.

— Тьфу! — взорвался опять сухой жилистый старик Кузьма Хороший, по прозвищу Стырь (руль). — Ты, Федор, вроде и казаком сроду не был! Там не пройдем, здесь не пустют... А где нас шибко-то пускали? Где это нас так прямо со слезами просили: «Идите, казачки, поша́рпайте нас!» Подскажи мне такой городишко, я туда без штанов побегу...

— Не путайся, Стырь, — жестко сказал серьезный есаул.

— Ты мне рот не затыкай! — обозлился и Стырь.

— Чего хочешь-то?

— Ничего. А сдается мне, кое-кто тут зря саблюку себе навесил.

— Дак вить это — кому как, Стырь, — ехидно заметил Кондрат, стоявший рядом со стариком. — Доведись до тебя, она те вовсе без надобности: ты своим языком не токмо Астрахань, а и Москву на карачки поставишь. Не обижайся — шибко уж он у тебя длинный. Покажи, а? — Кондрат изобразил на лице серьезное любопытство. — А то болтают, што он у тя не простой, а вроде на ем шерсть...

— Язык — это што! — сказал Стырь и потянул саблю из ножен. — Я лучше тебе вот эту ляльку покажу...

— Хватит! — зыкнул Черноярец, первый есаул. — Кобели. Обои языкастые. Дело говорить, а они тут...

— Но у его все равно длинней, — ввернул напоследок Кондрат и отошел на всякий случай от старика.

— Говори, Федор, — велел Степан. — Говори, чего начал-то.

— К Теркам надо, братцы! Верное дело. Пропадем мы тут. А уж там...

— Добро-то куда там деваем?! — спросили громко.

— Перезимуем, а по весне...

— Не надо! — закричали многие. — Два года дома не были!

— Я уж забыл, как баба пахнет.

— Молоком, как...

Стырь отстегнул саблю и бросил ее на землю.

— Сами вы бабы все тут! — сказал зло и горестно.

— К Яику пошли! — раздавались голоса. — Отымем Яик — с ногаями торговлишку заведем! У нас теперь с татарвой раздора нет.

— Домо-ой!! — орало множество. Шумно стало.

— Да как домой-то?! Ка-ак? Верхом на палочке?!

— Мы войско али — так себе?! Пробьемся! А не пробьемся — сгинем, не велика жаль. Мы первые, што ль?

— Не взять нам теперь Яика! — надрывался Федор. — Ослабли мы! Дай бог Терки одолеть!.. — Но ему было не перекричать.

— Братцы! — На бочонок, рядом с Федором, взобрался невысокий, кудлатый, широченный в плечах казак. — Пошлем к царю с топором и плахой — казни али милуй. Помилует! Ермака царь Иван миловал же...

— Царь помилует! Догонит да ишо раз помилует!

— А я думаю...

— Пробиваться!! — стояли упорные, вроде Стыря. — Какого тут дьявола думать! Дьяки думные нашлись...

Степан все стегал камышинкой по носку сапога. Поднял голову, когда крикнули о царе. Посмотрел на кудлатого... То ли хотел запомнить, кто первый выскочил «с топором и плахой», какой умник.

— Батька, скажи, ради Христа, — повернулся Иван Черноярец к Степану. — А то до вечера галдеть будем.

Степан поднялся, глядя перед собой, пошел в круг. Шел тяжеловатой крепкой походкой. Ноги — чуть враскорячку. Шаг неподатливый. Но, видно, стоек мужик на земле, не сразу сшибешь. Еще в облике атамана— надменность, не пустая надменность, не смешная, а разящая той же тяжелой силой, коей напитана вся его фигура.

Поутихли. Смолкли вовсе.

Степан подошел к бочонку... С бочонка спрыгнули Федор и кудлатый казак.

— Стырь! — позвал Степан. — Иди ко мне. Любо слушать мне твои речи, казак. Иди, хочу послушать.

Стырь подобрал саблю и затараторил сразу, еще не доходя до бочонка:

— Тимофеич! Рассуди сам: допустим, мы бы с твоим отцом, царство ему небесное, стали тада в Воронеже думать да гадать: ийтить нам на Дон али нет? — не видать бы нам Дона как своих ушей. Нет же! Стали, стряхнулись — и пошли. И стали казаками! И казаков породили. А тут я не вижу ни одного казака — бабы! Да то ли мы воевать разучились? То ли мясников-стрельцов испужались? Пошто сперло-то нас? Казаки...

— Хорошо говоришь, — похвалил Степан. Сшиб на бок бочонок, указал старику: — Ну-ка — с него, чтоб слышней было.

Стырь не понял.

— Как это?

— Лезь на бочонок, говори. Но так же складно.

— Неспособно... Зачем свалил-то?

— Спробуй так. Выйдет?

Стырь в неописуемых персидских шароварах, с кривой турецкой сабелькой полез на крутобокий пороховой бочонок. Под смех и выкрики взобрался с грехом пополам, посмотрел на атамана...

— Говори, — велел тот. Непонятно, что он затеял.

— А я и говорю, пошто я не вижу здесь казаков? — сплошные какие-то...

Бочонок крутнулся; Стырь затанцевал на нем, замахал руками:

— Говори! — велел Степан, сам тоже улыбаясь. — Говори, старый!

— Да не могу!.. Он крутится, как эта... как жана виноватая...

— Вприсядку, Стырь! — кричали с круга.

— Не подкачай, ядрена мать! Языком упирайся!..

Стырь не удержался, спрыгнул с бочонка.

— Не можешь? — громко — нарочно громко — спросил Степан.

— Давай я поставлю его на попа...

— Вот, Стырь, ты и говорить мастак, а не можешь — не крепко под тобой. Я не хочу так...

Степан поставил бочонок на попа, поднялся на него.

— Мне тоже домой охота! Только домой прийтить надо хозяевами, а не псами битыми.— Атаман говорил короткими, лающими фразами — насколько хватало воздуха на раз: помолчав, опять кидал резкое, емкое слово. Получалось напористо, непрекаемо. Много тут — в

манере держаться и говорить перед кру́гом — тоже исходило от силы Степана, истинно властной, мощной, но много тут было искусства, опыта. Он знал, ка́к надо говорить, даже если не всегда знал, что́ надо говорить.

— Чтоб не крутились мы на Дону, как Стырь на бочке. Надо пройтить, как есть — с оружием и добром. Пробиваться — сила не велика, браты, мало нас, пристали. Хворых много. А и пробьемся — не дадут больше подняться. Доконают. Сила наша там, на Дону, мы ее соберем. Но прийтить надо целыми. Будем пока стоять здесь — отдохнем. Наедимся вволю. Тем временем проведаем, какие пироги пекут в Астрахани. Разболокайтесь, добудьте рыбы... Здесь в ямах ее много. Дозору — глядеть!

Круг стал расходиться. Разболокались, разворачивали невода. Летело на землю дорогое персидское платье... Ходили по нему. Сладостно жмурились, подставляя ласковому родному солнышку исхудалые бока. Па́рами забредали в воду, растягивая невода. Охали, ахали, весело матерились. Там и здесь запылали костры; подвешивали на треногах большие артельные котлы.

Больных снесли со стругов на бережок, поклали рядком. Они тоже радовались солнышку, праздничной суматохе, какая началась на острове. Пленных тоже свели на берег, они разбрелись по острову, помогали казакам: собирали дрова, носили воду, разводили костры.

Атаману растянули шелковый шатер. Туда к нему собрались есаулы: что-то недоговаривал атаман, казалось, таил что-то. Им хотелось бы понять, что́ он таит.

Степан терпеливо, но опять не до конца и неопределенно говорил и злился, что много говорит. Он ничего не таил, он не знал, что делать.

— С царем ругаться нам не с руки, — говорил он, стараясь не глядеть на есаулов. — Несдобруем. Куда!.. Вы подумайте своей головой!

— Как же пройдем-то? Кого ждать будем? Пока воеводы придут?

— Их обмануть надо. Ходил раньше Ванька Кондырев к шаху за зипунами — пропустили. И мы так же: был грех, теперь смирные, домой хочем — вот и все.

— Не оказались бы они хитрей нас — пропустют, а в Астрахани побьют, — заметил осторожный, опытный Фрол Минаев.

— Не посмеют — Дон подымется. И с гетманом у царя неладно. Нет, не побьют. Только самим на рожон те-

перь негоже лезть. Приспичит — станицу к царю пошлем: повинную голову меч не секет. Будем торчать как бельмо на глазу, силу, какая есть, сберегем. А сунемся — побьют. — Степан посмотрел на есаулов. — Понятно говорю? Я сам не знаю, чего делать. Надо подождать.

Помолчали есаулы в раздумье. Они, правда, не знали, что делать. Но догадывались, что Степан что-то приберегает, что-то он знает, не хочет сказать пока.

— Держать нас у себя за спиной — это только дурак додумается, — взялся опять за слово Степан. — Я не слыхал, что воеводы астраханские такие уж лопоухие. А с князем Львовым у нас уговор: выручать друг дружку на случай беды...

— Откуда у вас дружба такая повелась? — с любопытством спросил Ларька Тимофеев, умный и жестокий есаул с неожиданно синими ласковыми глазами. — Не побратим ли?

Он весь какой-то — вечно на усмешечке, этот Ларька, на подковырках, но Степана любит, как бабу, ревнует, и не хочет этого показать, и злится всерьез, и требует от Степана, чтобы он всегда знал, куда идти и что делать, и чтобы поступал немилосердно. Случается — атамана затрясет неудержимая ярость, — Ларька тут как тут: готов подсказать и показать, на кого обрушить атаману свой гнев. Но зато первый же и прячется, когда атаман отойдет и мается. Степан не любит его за это, но ценит за преданность.

Степан ответил не сразу, с неохотой... Не хотел разглашать лишний раз свой тайный сговор со Львовым, вторым астраханским воеводой, но что-то, видно, надо говорить, как-то надо успокоить... Несколько подумал, поднял глаза на Ларьку.

— А кто нас тогда через Астрахань на Яик пропустил? Дева непорочная? Она в этих делах не помощница. Случись теперь беда с нами, я выдам Львова, он знает. Что он, сам себе лиходей?

— Как же он тебе теперь поможет?

Степан, как видно, и про это думал один.

— Будет петь в уши Прозоровскому: «Пропусти Стеньку, ну его к черту! Он будет день ото дня силу копить здесь — нам неспокойно». По-другому ему нельзя. Надо с им только как-нибудь стренуться...

— А ну-ка царь им велит? — допрашивал Ларька. — Тогда как? Што же он, поперек царской воли пойдет?

— Мы с царем пока не цапались — зачем ему? И го-

ворю вам: с Украйной у их плохие дела. Иван Серко всегда придет на подмогу нам. А сойдись мы с Сериком, хитрый Дорошенко к нам качнется. Он всегда себе дружков искал — кто посильней. Царь повыше нас сидит — на престоле, должен это видеть. Он и видит — не дурак, правда что... — Степан помолчал опять, посмотрел на Черноярца. — Иван, пошли на Дон двух-трех побашковитей, пускай с Паншина вниз пройдут, скажут: плохо нам. Кто полегче на ногу, пускай собираются да идут к нам — Волгой ли, через Терки ли — как способней. К гребенским тоже пошли — тоже пускай идут, кому охота. А как подвалют со всех сторон... я не знаю, как запоют тогда воеводы. Вот. Я им подпою. Посылай, Иван. Придут, не придут — пусть шум будет: мы без шуму не собираемся. А шумом-то и этих, — Степан кивнул в сторону Астрахани, — припужнем: небось сговорчивей будут.

— К гребенским послал, — откликнулся Иван.

— Ну, добре. Прибери на Дон теперь. Пойдем, Фрол, сторожевых глянем. — Степан вышагнул из шатра. Надоело говорить. И говорить надоело, и — в душу опять лезут, дергают.

— На кой черт столько митрополиту отвалил на учуге? — недовольно спросил Фрол, шагая несколько сзади Степана.

— Надо, — коротко ответил тот, думая о чем-то своем. Помолчал и добавил: — Молиться за нас, грешных, будет.

— А ясырь-то зачем? — пытал Фрол.

— Хитрый ты, Фрол. А скупой. Церква, она как курва добрая: дашь ей — хороший, не дашь — сам хуже курвы станешь. С ей спорить — легче на коне по болоту ехать.

Степан остановился над затончиком, засмотрелся в ясную ласковую воду... Плюнул, пошел дальше. Бездействие самого томило атамана.

— Тоска, Фрол. Долго тут тоже не надо — прокиснем.

Некоторое время шли молчком.

Давно они дружили с Фролом, давно и странно. Нравилась Степану рассудительность Фрола, степенность его, которая, впрочем, умела просто и неожиданно оборваться: Фрол мог отмочить такое, что, например, головорезу Сереге Кривому и в лоб бы никогда не влетело (лет пять тому назад Фрол заехал в церковь верхом на

коне и спросил у людей: «Как на Киев проехать?»). Эта изобретательность Фрола, от которой, случалось, сам Фрол жестоко страдал, тоже очень нравилась Степану. Фрол казался старше атамана, хоть они были годки. Степан нет-нет, а оглядывался на Фрола, слушал, но не показывал, что слушает, а иной раз зачем-то даже поперек шел — назло, что ли, только сам Степан не смог бы, наверно, объяснить (да он как-то и не думал об этом): зачем ему надо назло Фролу делать? Фрол был хитрый, терпеливый. Сделает Степан наперекор ему, глянет — проверить — как?.. Фрол — как так и надо, молчит и делает, как велено, но чуял Степан, что делает больно другу, чуял и потому иногда нарочно показывал всем, как они крепко дружат с Фролом.

В прибрежных кустах, неподалеку, послышались женские голоса, плеск воды — купались.

— Кто эт? — заинтересовался Фрол.

— Тише... Давай напужаем. — Степан чуть пригнулся, пошел сторожким неслышным шагом. Крался всерьез, как на охоте, даже строго оглянулся на Фрола, чтоб и тот не шумел тоже.

— А-а... — догадался Фрол. И тоже пригнулся и старался ступать тихо.

Вот — налетел миг, атаман весь преобразился, собрался в крепкий комок... Тут он весь. И в бою он такой же. В такой миг он все видел и все понимал хорошо и ясно. Чуть вздрагивали ноздри его крупного прямого носа, и голос — спокойный — маленько слабел: говорил мало, дельно. Мгновенно соображал, решал сразу много — только б закипело дело, только б неслись, окружали, валили валом — только бы одолеть или спастись. Видно, то и были желанные мгновения, каких искала его беспокойная натура. Но и еще не все. К сорока годам жизнь научила атамана и хитрости, и свирепому воинскому искусству, и думать он умел, и в людях вроде разбирался... Но — весь он, крутой, гордый, даже самонадеянный, несговорчивый, порой жестокий, — в таком-то, жила в нем мягкая, добрая душа, которая могла жалеть и страдать. Это непостижимо, но вся жизнь его, и раньше, и после — поступки и дела его — тому свидетельство. Как только где натыкалась эта добрая душа на подлость и злость людскую, так Степана точно срывало с места. Прямо и просто решалось тогда: обидел — получи сам. Тогда-то он и свирепел, бывал жесток. Но эту-то добрую, справедливую душу чуяли в нем люди, и тянулись к нему, и

надеялись, потому что с обидой человеку надо куда-нибудь идти, кому-то сказать, чтобы знали. И хоть порой томило Степана это повальное к нему влечение, он не мог отпихивать людей — тут бы и случилась самая его жестокая жестокость, на какую он не помышлял. Он бы и не нашел ее в себе, такую-то, но он и не искал. Он только мучился и злился, везде хотел успеть заступиться, но то опаздывал, то не умел, то сильней его находились... И сердце его постоянно сжималось жалостью и злостью. Жалость свою он прятал и от этого только больше сердился. Он берег и любил друзей, но видел, кто чего стоит. Он шумно братался, но сам все почти про всех понимал, особо не сожалел и не горевал, но уставал от своей трезвости и ясности. Порой он спохватывался подумать про свою жизнь — куда его тащит, зачем? — и бросал: не то что не по силам, а... Тогда уж сиди на берегу, без конца думай и думай — тоже вытерпеть надо. Это-то как раз и не по силам — долго сидеть. Посидит-посидит, подумает — надо что-нибудь делать. Есть такие люди: не могут усидеть. Есть мужики: присядет на лавку, а уж чего-то ему не хватает, заоглядывался... Выйдет во двор — хоть кол надо пошатать, полешко расколоть. Такие неуемные.

...Купалась дочь астаринского Мамед-хана с нянькой. Персиянки уединились и все на свете забыли — радовались теплу и воде. И было это у них смешно и беззащитно, как у детей.

Казаки подошли совсем близко... Степан выпрямился и гаркнул. Шахиня села от страха, даже не прикрыла стыд свой; нянька вскрикнула и обхватила сзади девушку.

Степан смеялся беззвучно; Фрол, улыбаясь, пожирал наголодавшимися глазами прекрасное молодое тело шахини.

— Сладкая девка, в святителя мать, — промолвил он с нежностью. — Сердце обжигает, змея.

— Ну, одевай ее!.. — сказал Степан няньке. — Или вон — в воду. Чего расшиперилась, как наседка!

Старуха не понимала; обе со страхом глядели на мужчин.

— В воду! — повторил Степан. Показал рукой.

Молодая и старая плюхнулись в воду по горло.

— Зря согнал, — пожалел Фрол. — Хоть поглядеть...
— Глазами сыт не будешь.
— Нехристи, а туда же — совестно.
— У их бабы к стыду больше наших приучены. Грех.
— Такая наведет на грех... Ослепну, не гляди!
Женщины глядели на них, ждали, когда они уйдут.
— Что? — непонятно, с ухмылкой спросил Фрол. — Попалась бы ты мне одному где-нибудь, я бы тебя приголубил... Охота, поди, к тятьке-то? А?
Старуха нянька что-то сказала на своем языке, сердито.
— Во-во, — «согласился» Фрол, — тятька-то ее — бяка: бросил доченьку — и драла...
— Будет тебе, — сказал Степан. — Купайтесь! Пошли.
Два дозорных казака на бугре, в камнях, тоже забыли про все на свете — резались в карты. На кону между ними лежали золотые кольца, ожерелья, перстни... Даже шаль какая-то дивная лежала.
Игроки — старый, седой и совсем еще молодой, почти малолеток, — увлекшись игрой, не услышали, как подошел Степан с Минаевым.
— Сукины дети! — закричал над ними Степан. — В дозоре-то?
— Да кто ж это так делает, а?!. — подал голос и Фрол.
Молодой казачок вскочил и отбежал в сторону... Старик, понурив голову, остался сидеть. Весь он был черный от солнца, только борода пегая да голова седая. Он пригладил черной сухой рукой волосы на голове.
— Чей? — спросил Степан молодого.
— Федоров.
— Зовут?
— Макся.
— Знаешь, что за это бывает? В дозоре картежничать...
— Знаю.
— А пошто побежал? От меня, что ли, убежать хочешь?
— Прости, батька.
— Иди суда!
Казачок медлил.
— Ну, я за тобой гоняться не буду, на кой ты мне нужен. Снимай штаны, старый, тебе придется ввалить, раз молодой убежал. Раз ему не совестно...

— Эхе-хе, — вздохнул старый и стал снимать штаны. — Смолоду бит не был, дак хоть на старости плеть узнаю. Не шибко старайся, Степан Тимофеич, а то у тебя рука-то...

Степан краем глаза наблюдал за молодым.

Тот подумал-подумал и вернулся, распоясываясь на ходу.

— Напаскудил и в бег? — сказал Степан. — Плохо, казак. От своих не бегают. Чтоб ты это крепко запомнил, — вложь ему, Микифор, полста горячих. А с тобой как-нибудь сквитаемся.

— Ложись, Максимка, всыплю тебе, поганец, чтоб старых людей не дурачил, — обрадовался Микифор.

— Обыграл? — полюбопытствовал Степан.

— Всего обчистил, стервец!

— Молодец! Не хлопай ушами тоже.

— Да он мухлюет, наверно! — воскликнул старый казак, как-то и возмущаясь, и жалуясь — сразу.

— Кто, я мухлюю?! — возмутился и Макся. — Чего зря-то, дядя Микифор... Карта везучая шла. Я сам вчера Миньке Хохлачу чепь золотую продул — карта плохая шла.

— Ложись, ложись, — поторопил его старый.

Макся спустил штаны.

— А хоть и мухлюет — глядеть надо, на то глаза, — вмешался Фрол за-ради справедливости.

— За ими углядишь! Они вьются, как черти на огню... Зарок давал — не играть, нет, раззудил, бесенок...

Макся лег лицом вниз, закусил зубами мякоть ладони.

Степан с Фролом направились к другим дозорам.

— Сам щитай — сколько: я только до двух десятков умею, — сказал Микифор.

— Я скажу «хватит», а ты не поверишь, скажешь, обманываю... — Макся отпустил ладонь — хотел было поговорить, даже и голову приподнял — тут его обожгла боль, он ойкнул, впился зубами в ладонь, не выпуская ее, крикнул: — Сам-то не злись, сатана!

— Я по спине увижу, когда хватит, — сказал старый. — А это тебе за «сатану» — от меня. — Старик еще раз больно стегнул парня. Потом еще раз, и еще раз, и еще — с сердцем, вволю... Скоро натешился — раз семь огрел — и велел: — Надевай штаны, будем дальше играть. Но станешь опять мухлевать!..

— Да я с тобой вовсе играть не стану!

— Не станешь, опять ложись: все полста отдам те.

Макся скривился, зло сплюнул и присел бочком на камень — опять играть.

Степан с Фролом остановились на возвышении.

Внизу шумел, копошился, бурлил лагерь.

Разноцветье, пестрота одежды и товаров, шум, гам и суетня — все смахивало скорей на ярмарку, нежели на стоянку войска.

Степан долго молчал, глядя вниз. Сказал сокровенно:

— Нет, Фрол, с таким табором — не война, горе: рухлядь камнем на шее повиснет. Куда они гожи, такие?.. Только торговлишку и затевать.

— Вот и надо скорей сбыть ее.

— Куда? Кому?

— Терки-то возьмем!

— Терки-то? — в раздумье, но с явным протестом повторил Степан. — А на кой они мне... Терки-то? Мне Дон надо.

По-разному использовали уставшие, наголодавшиеся, истомившиеся под нещадным морским солнцем люди желанный отдых. Отдых вблизи родной земли, по которой они стосковались.

Вот усатый пожилой хохол, мастер молоть языком, удобно устроившись на куче тряпья, бренет молодым казакам:

— Шов мужик з поля, пидходе до своей хаты, зирк в викно, а у хати москаль... гм... цюлуе його жинку...

Хохол, правда, мастер: встал, «показал», как шел себе мужик домой, ничего не подозревая, как глянул в окно — и увидел... И все — сдержанно, не торопясь, с удовольствием.

— Да. Мужик мерщий у хату, а москаль примитыв мужика, да мерщий на покутя, вкрывся, сучий сын, — не бы то спыть. Мужик шасть у хату и баче, що москаль спыть, а жинка пораецця биля пички. «Хиба ж то я нычого й не бачив!» — кажэ мужик. «А що ты там бачив?» — пыта його жинка. «Як що, бисова дочка!» — «За що ты лаешься, вражий сыну?» — «Як за що, хиба ж я не бачив, як тоби москаль цюлував». — «Колы?» — «Як колы?!.»

Молодые, затаив дыхание, ждут, что будет дальше, хотя слышали, наверно, эту историю.

А вот бандурист... Настроил свой инструмент, лениво перебирает струны. И так же неторопко, даже как будто нехотя — упросили — похаживает по кругу, поигрывает плечами какой-то новгородский «перс». Он и не поет и не пляшет — это нечто спокойное, бесконечное, со своей ухваткой, ужимками, «шагом» — все выверено. Это можно смотреть и слушать долго. И можно думать свои думы. Что-то родное, напевно-складное:

Гуси-лебеди летели,
В чисто поле залетели,
В поле банюшку доспели.
Воробей дрова колол,
Таракан баню топил,
Мышка водушку носила,
Вошка нарилася,
Пришумарилася.
Бела гнидка подхватила,
На рогожку повалила;
Тонку ножку подломила, —
Вошку вынесли...

А здесь свое, кровное — воинское: подбрасывают вверх камышинки и рубят их на лету шашками — кто сколько раз перерубит. Здесь — другая способность. Тонко посвистывают сверкающие круги, легко, «вкусно» сечет хищная сталь сочные камышинки. И тут свой мастер. Дед. Силу и крепость руки утратил он в бесконечных походах, намахался за свою жизнь вдосталь, знает «ремесло» в совершенстве. Учит молодых:

— Торописся... Не торопись.

— Охота ишо разок достать.

— Достанешь, еслив не будешь блох ловить. Отпускай не на всю руку... Не на всю — а штоб она у тебя вкруг руки сама ходила, не от собак отбиваисся. Во — глянь...

Полоска холодной стали до изумления послушна руке деда, вроде и не убивать он учит, а играет дорогой светлой игрушкой. Сам на себя любуется, ощерил порченые зубы, приговаривает:

— От-тя, от-тя...

— Ну?.. — скосоротился малолеток, вроде Макси.

— Хрен гну! Вишь, у меня локоть-то не ходит.

— Зато удар слабый.

— А тебе крепость тут не нужна, тебе скоро надо. А када крепость, тада на всю руку — и на себя. От-тень-

ки!.. — секир башка! Тут — вкладывай, сколь хватит силенки, и — маленько на себя, на себя...

Полсотни ребят у воды машут саблями. Загорелые, потные тела играют мускулами... Красиво.

Степан, спустившись с высотки, засмотрелся со стороны на эту милую его сердцу картину. К нему подошли Иван Черноярец, Иван Аверкиев, Сукнин, Ларька Тимофеев...

— С камышом-то вы ловкие! Вы — друг с дружкой! — не выдержал Степан.

Перестали махать.

— Ну-ка, кто порезвей? — Атаман вынул саблю, ждал. Он любил молодых, но если бы кто-нибудь из них вздумал потягаться с ним в искусстве владеть саблей, то схватился бы он с тем резвачом смертно. — Нет, что ли, никого? Ну и казаки!.. Куда смотришь, дед? Они у тебя только с камышом хороши. Наши молодцы — кто больше съест, тот и молодец? Эх... — Атаман шутил. Но и всегда — и серьезно — учил: «Губошлепа никто не любит, даже самая худая баба. Но смерть губошлепа любит». Он самолично карал за неловкость, за нерасторопность и ротозейство. Но теперь он шутил. Ему любо было, что молодые не тратят зря время, а постигают главное в их опасной жизни. — Ну, молодцы?.. Кто? Правда, охота.

Рубака-дед громко высморкался, вытерся заморским платком необыкновенной работы, опять заткнул его за пояс.

— Што-то я не расслышал, — обратился он к молодым, — кто-то здесь, однако, выхваляется? А?

Молодые улыбались, смотрели на атамана. Они тоже любили его. И как он рубится, знали.

— Я выхваляюсь! Я! — сказал Степан.

— Эге!.. Атаман? — удивился дед. — Легче шуткуй, батька. А то уж я хотел подмигнуть тут кой-кому, штоб пообтесали язык... А глядь — атаман. Ну, счастье твое — глаза ишо видют, а то б...

— А есть такие? Пообтешут?

— Имеются, — скромно ответил дед. — Могут.

— Да где ж?

— А вот же ж! Перед тобой. Ты не гляди, што у нас ишо молоко на губах не обсохло, — мы и воевать могем.

— Кто? Вот эти самые?

— Ага. Они самые.

Степан поморщился, бросил саблю в ножны.

— Ну, таких-то телят...

— Ойе! — сказал дед и поднял кверху палец. — То про нас, сынки! Он думает, мы только девок приступом брать умеем. Ничего не сделаешь, придется поучить атамана. Ну, мы легонько — на память. Смотрите не забывайтесь, хлопцы, все же атаман. Што ж ты саблюку запрятал, батька?..

Тут сверху, от дозоров, зашумели:

— Стругá!

Это был гром среди ясного неба. Этого никто не ждал. Слишком уж покойно было вокруг, по-родному грело солнышко, и слишком уж мирно настроились казаки...

Лагерь притих. Смотрели вверх, в сторону дозорных. Не верилось...

— Откуда?!

— От Астрахани!

— Много?! — крикнул Черноярец.

Дозорные, видно, считали — не ответили.

— Много?! — закричали им с разных сторон. — Какого там?!.

— С тридцать! — поспешил крикнуть молодой дозорный, но его поправили:

— Полста! Большие!..

Есаулы повернулись к Степану. И все, кто был близко, смотрели теперь на него.

Степан смятенно думал.

Весь огромный лагерь замер.

— В гребь! — зло сказал Степан.

Вот — наступила ясность: надо уходить. Полста астраханских больших стругов со стрельцами — это много. Накроют.

— В гребь!! — покатилось от конца в конец лагеря; весь он зашевелился; замелькали, перемешались краски. Не страх охватил этих людей, а досада, что надо уходить. Очень уж нелепо.

3

Из единственного прохода в тучных камышах выгребались в большую воду.

— В гребь — не в гроб: можно постараться. Наляжь, братцы!

— Их ты!.. Рраз! Ма-арье в глаз!

— Уйдем не уйдем, а побежали шибко.

Скрипели уключины, шумно путался под веслами ка-

мыш, ломался, плескалась вода... Казаки, переговариваясь в стружках, перекрикиваясь, не скрывали злой досады и нелепости этого бега. Матерились негромко.

— Уйде-ом, куда денемся!

— Шшарбицы не успел хлебнуть, — сокрушался большой казак, налегая на весло. — Оно б веселей дело-то пошло.

— Ишь ты, на шшарбу-то — губа титькой.

— Не горюй, Кузьма! Всыпет вот воевода по одному месту — без шшарбы весело будет.

— А куда бежать-то будем? Опять к шаху? Он, поди-ка, осерчал на нас...

— Это пусть батька с им разговоры ведет... Они дружки.

— А пошто бежим-то? — громко спросил молодой казачок, всерьез озабоченный этим вопросом.

Рядом с ним засмеялись.

— А кто бежит, Федотушка? Мы рази бежим?

— А чего ж мы?..

Опять грохнули.

— Мы в догонялки играем, дурачок! С воеводой.

— Пошел ты! — обиделся казачок. — Ему дырку на боку вертют, а он — хаханьки!

Головные струги вышли в открытое море. Было безветренно. Наладились в путь дальний, неведомый. А чтоб дружнее греблось, с переднего струга, где был Иван Черноярец, голосистый казак громко, привычно повел:

— Эхх!..

— Слушай! — скомандовал Черноярец.

Не великой там огонюшек горит...

Разом дружный удар веслами; почти легли вдоль бортов.

То-то в поле кипарисный гроб стоит...

Еще гребок. Все струги подстроились махать к головным.

Во гробу лежит удалый молодец, —

ведет голос; грустный смысл напева никого не печалит. Гребут умело, податливо: маленько все-таки отдохнули.

Во резвых ногах-то уж и чуден крест,
У буйной-то головы душа добрый конь.

Как и долго ли в ногах-то мне стоять,
Как и долго ли желты пески глотать?
Конь мой, конь, товарищ верный мой!..

Степан сидел на корме последнего струга. Мрачный. Часто оборачивался, смотрел назад.

Далеко сзади косым строем растянулись тяжелые струги астраханцев. Гребцы на них не так дружны — намахались от Астрахани.

Эх-х!..
Ты беги, мой конь, к моему двору,
Ты беги, конь мой, все не стежкою,
Ты не стежкою, не дорожкою;
Ты беги, мой конь, все тропинкою,
Ты тропинкою, все звериною...

— Бегим, диду?! — с нехорошей веселостью, громко спросил Степан деда, который учил молодых казаков владеть саблей.

— Бегим, батька! — откликнулся дед-рубака. — Ничего! Не казнись: бег не красен, да здоров.

Степан опять оглянулся, всматриваясь в даль, прищурил по обыкновению левый глаз... Нет, погано на душе. Муторно.

Прибеги ж, конь, к моему ты ко двору.
Вдарь копытом у верейки.
Выдет, выдет к тебе старая вдова,
Вдова старая, родная мать моя... —

причитал голос на переднем струге.

— Бегим, в гробину их!.. Радуются — казаков гонют. А, Стырь? Смеется воевода! — мучился Степан, накаляя себя злобой. От дома почти, от родимой Волги — гонят куда-то!

Стырь, чутьем угадавший муки атамана, неопределенно качнул головой. Сказал:

— Тебе видней, батька. У меня — нос да язык, у тебя — голова.

Вдова старая, родная мать моя,
И про сына станет спрашивати:
Не убил, не утопил ли ты его?

Ты скажи: твой сын жениться захотел,
В чистом поле положил-то я его,
Обнимает поле чистое теперь...

Степан встал на корме... Посмотрел на свое войско. Потом опять оглянулся... Видно, в душе его шла мучительная борьба.

— Не догнать им, — успокоил дед-рубака. — Они намахались от Астрахани-то.

Степан промолчал. Сел.

— А не развернуться ли нам, батька?! — вдруг воскликнул воинственный Стырь, видя, что атаман и сам вроде склонен к бою. — Шибко уж в груде погано — не с руки казакам бегать.

— Батька! — поддержали Стыря с разных сторон. — Что ж мы сразу салазки смазали?!

— Попытаем?!

Степан не сразу ответил. Ответил, обращаясь к одному Стырю: другим, кто близко сидел, не хотелось в глаза смотреть — тяжело. Но Стырю сказал нарочно громко, чтоб другие тоже слышали:

— Нет, Стырь, не хочу тебя здесь оставить.

— Наше дело, батька: где-нигде — оставаться.

— Не торопись.

— Дума твоя, Степан Тимофеич, дюже верная, — заговорил молчавший до того Федор Сукнин. Подождал, когда обратят на него внимание. — Отмотаться надо сперва от этих... — Показал глазами на астраханскую флотилию. — Потом уж судить. Бывало же: к царю с плахой ходили. Ермак ходил...

— Ермак не ходил, — возразил Степан. — Ходил Ивашка Кольцов.

— От его же!

— От его, да не сам, — упрямо сказал Степан. — Нам царя тешить нечем. И бегать к ему каждый раз за милостью — тоже не велика радость.

— Сам сказал даве...

— Я сказал!.. — повысил голос Степан. — А ты лоб разлысил: готовый на карачках до Москвы ийтить! — Гнев Разина вскипал разом. И нехорош он бывал в те минуты: неотступным, цепенящим взором впивался в человека, бледнел и трудно находил слова... Мог не совладать с собой — случалось.

Он встал.

— На!.. Отнеси заодно мою пистоль! — Вырвал из-за пояса пистоль, бросил в лицо Федору; тот едва увернулся. — Бери Стеньку голой рукой! — Сорвался с места, прошел к носу, вернулся. — Шумни там: нет больше вольного Дона! Пускай идут! Все боярство пускай идет — пускай мытарют нас!.. Казаки им будут сапоги лизать!

Федор сидел ни жив ни мертв: черт дернул вякнуть про царя! Знал же, побежали от царева войска, — не

миновать грозы: над чьей-нибудь головой она громыхнет.

— Батька, чего ты взъелся на меня? Я хотел...

— В Москву захотел? Я посылаю: иди! А мы грамоту тебе сочиним: «Пошел-де от нас Федор с поклоном: мы теперь смирные. А в дар великому дому посылаем от себя... одну штуку в золотой оправе — казакам, мол, теперь ни к чему: перевелись. А вам-де сгодится: для умножения царского рода».

— Батька, тада и меня посылай, — сказал Стырь. — Я свой добавлю.

* * *

На переднем струге астраханской флотилии стояли, глядя вперед, князь Семен Львов, стрелецкие сотники, Никита Скрипицын.

— Уйдут, — сказал князь Семен негромко. Без особого, впрочем, выражения сказал — лиса, жадный, как черт, и хитрый. — Отдохнули, собаки!

— Куда ж они теперь денутся? — озадачило стрелецкого сотника.

— В Терки уйдут... Городок возьмут, тада их оттуда не выковырнешь. Перезимуют и Кумой на Дон уволокутся.

— А не то к шаху опять — воровать, — подали сзади голос.

— Им теперь не до шаха — домой пришли, — задумчиво сказал князь Семен. — У их от рухляди струги ломются. А в Терки-то их отпускать не надо бы... Не надо бы. А, Микита?

— Не надо бы, — согласился простодушный Никита Скрипицын, служилый человек приказа Галицкой чети.

— Не надо бы, — повторил князь Семен, а сам в это время мучительно решал: как быть? Ясно, казаков теперь не догнать. Как быть? Выгнать их подальше в море и стать в устье Волги заслоном? Но тогда переговоры с Разиным поведутся через его голову — это не в интересах князя. Князю хотелось первым увидеться с Разиным, с тем он и напросился в поход: если удастся, то накрыть ослабевших казаков, отнять у них добро и под конвоем проводить в Астрахань, не удастся, то припереть где-нибудь, вступить самому с Разиным в переговоры, слупить с него побольше и без боя — что лучше — доставить в

Астрахань же. Но — в том и другом случае — хорошо попользоваться от казачьего добра. В прошлый раз, под видом глупой своей доверчивости, он пропустил Разина на Яик «торговать» и славно поживился от него. Разин сдуру хотел даже от него бумагу получить впрок, что вот-де князь Львов, второй воевода астраханский, принял от него, от походного атамана, от Степана Тимофеича... Князь Семен велел посыльщикам передать атаману: пусть не блажит! И велел еще сказать: уговор дороже денег, и никаких бумаг!

Так было в прошлый раз.

Теперь же так складывалось, что не взять с Разина — грех и глупость. У разбойников — правда что! — струги ломятся от добра всякого, а на руках у князя «прощальная» царская грамота: год назад царь Алексей Михайлович писал к Разину, что, если он уймется от разбоя и уйдет домой, на Дон, царь простит ему свои караваны, пущенные на Волге ко дну, простит стрельцов и десятников стрелецких, вздернутых на щегле, простит монахов, которым Степан Тимофеич сам, на бою ломал руки через колено. (Забыл Степан, рассуждая с Фролом Минаевым про церковь, забыл про этих монахов.) Князь Львов подсказал князю Прозоровскому, первому воеводе, воспользоваться этой грамоткой теперь и не заводить с донцами свары, ибо стрельцы в Астрахани ненадежны, а Разин богат и в славе: купит и соблазнит стрельцов.

— А ведь не угрести нам за ними, — молвил наконец князь Семен. — Нет, не угрести. Микита, бери кого-нибудь — догоняйте налегке. Отдай грамоту, только — упаси бог! — ничего не сули. Не надо. Пускай в Волгу зайдут — там способней разговаривать.

— Спросют ведь: как, что? Не поверют...

— В грамоте, мол, все писано: «Царь вам вины ваши отдает — идите». Все. С богом, Микита: пусть в Волгу зайдут, там видно будет.

Через некоторое время из-за переднего струга астраханцев вылетела резвая лодочка и замахала в сторону разинцев. С княжьего судна бухнула тяжелая пушка. Флотилия стала.

* * *

Степан, услышав пушечный выстрел, вскочил.

— Лодка! — крикнул рулевой. — Те стали, а лодка вдогон идет!

— Ну-ка, обожди! — велел Степан. — К нам ли?

— Послы, чай? — гадали казаки.

— К нам, что ли?! — крикнул Степан в нетерпении. Послы — это уже не бой. Не ему теперь, слабому, увешанному добром, как гирями, желать боя. Послы — это хорошо. — Ну-ка, кто поглазастей — гляди хорошенько!

Все смотрели на далекую лодочку.

— К нам! — заверили кто поглазастей. — Прямиком суда манет. Легкая, без пабоев.

Через минуту Степан уже распоряжался:

— Пальни, из какой громче! Сенька, дуй к Черноярцу — пускай кучней сплывутся. Сам пусть ко мне идет. Одеться всем!

В разинской флотилии начались приготовления к встрече с послами. Тявкнула пушка. Передние струги развернулись и шли к атаману. Казаки одевались: на каспийской вечерней воде зацвели самые неожиданные яркие краски. Заблестело у поясов драгоценное оружие — сабли, пистоли. У Степана на боку очутился золотой пернач, гнутый красавец пистоль.

— Веселей гляди! — слышался бодрый голос Степана. — Хворых назад!

Огромный плоский диск солнца коснулся линии горизонта и стал медленно погружаться в воду. А в небе, в той стороне, пошел разгораться нежаркий соломенный пожар.

Лодочка с послами все скользила и скользила по воде. Торопилась. Солнце было как раз между лодочкой и стругами Стеньки. И оно медленно катилось вниз. А лодочка все торопилась.

И вот солнце закатилось совсем; на воде остался широкий кровяной след. Лодочка заскользила по этому следу. Пересекла, подступила к атаманову стругу. Несколько рук протянулось с баграми — придержали лодочку. Послов подняли на высокий борт.

Тихо на море. Только чайки кружат и кричат ущемленными кошками.

Ровное, гладкое море. Скоро ночь. Покой.

— «...Чтоб шли вы с моря на Дон, — читал Никита Скрипицын Разину и его есаулам. — И чтоб вы, домой идучи, нигде никаких людей с собой не подговаривали. А которые люди и без вашего подговору учнут к вам

приставать, и вы б их не принимали и за то опалы на себя не наводили...»

Степан покосился на есаулов. Есаулы внимательно слушали.

— «И чтоб вы за вины свои служили, и вины свои заслуживали...»

— Читай ладом! — обозлился Степан. — Задолбил одно: «служили да заслуживали»!

— Здесь так писано! — воскликнул Никита и показал Степану.

Тот оттолкнул грамоту.

— Чти!

— «А что взяли понизовых людей и животы многие, и то все б у вас взять и отдать в Астрахани...»

* * *

Князь Семен Львов, пока послы его раздражали Разина, продумывал простой и надежный план. Что разинцы остановились для переговоров, сулило выгоду. Теперь, как видно, не упустить бы момент.

Князь Семен беседовал с сотниками.

— Дума у меня такая, ребятушки, — тянул по обыкновению хитрый Львов. — Стеньке деваться некуда: шаху насолил, в Терках стрельцы, в Астрахани стрельцы... А на бой идти ему неохота. Ему домой надо — разгрузиться... Во-от... А как зайдут в Волгу — тут мы их запрем, отрежем от моря. Он сразу сговорчивый станет. В Волгу его зазвать, в Волгу... Отымем барахлишко, тогда уж и приведем в Астрахань. А?

* * *

Милостивая царская грамота прочитана.

Казаки думают. Послы ждут.

Степан ходил по стружку взад-вперед. У него созрел свой план, не такой простой, как у князя Львова, и чуть, может, более рискованный. Дело в том, что он не поверил ни грамоте, ни словам Львова (он решил, что грамота фальшивая), но в действиях астраханцев он уловил некую неуверенность и поставил на нее. На нее и на свою смекалку и расторопность.

— Иван! — позвал он Черноярца.

— Ну, — откликнулся тот.

— Так сделаем: мы в десять стругов останемся тут, ты в двенадцать, с ясырем, с бусáми, пойдешь в Волгу.

А мы остров с той стороны обойдем, станем. Если они какой подвох затеяли — мы у их со спины окажемся. Взял? Ишь, они обмануть нас задумали...

— Ты хитрый, Стень... Степан Тимофеич, — заговорил Никита Скрипицын, — а там не гольные дураки: там-то знают, вы не в двенадцать стругов шли, а в двадцать два. Сметют.

— Знамо, сметют. Иван, зайдете в Волгу, метай кого-нибудь в лодку — и к князю Львову. Скажете: вышел у нас здесь раздор: одни на милость пошли, другие со Стенькой в Терки отвалили. Послы с нами побудут. Окажется, подвох — с их начнем: своими руками обоих задавлю. Подбирай людей, Иван. Поменьше бери — только гребцов. Ларька, Федор, Фрол, — со мной. Расскажите казакам, чтоб все знали. Чтоб наизготовке были. Берегите послов. Айда!

Разинская флотилия пришла в движение.

Там и здесь вспыхивали факелы; казаки менялись местами. Двенадцать стругов отряжалось с Черноярцем, остальные должны были быть со Степаном — в засаде.

Никита Скрипицын затосковал. Посольство могло выйти ему боком. Потёмый князь Семен додумается: сообразит казакам ловушку. Тогда атаман исполнит слово — задавит, в этом можно не сомневаться. Не думал только Скрипицын, что атаман сам хочет выставить его, Скрипицына, в качестве грамоты, но не фальшивой, как думал атаман про ту, что ему вычли, а истинной: если дать Скрипицыну удрать, то он и сообщит Львову, что казаки не верят и наладили свою ловушку. Это и надо было Степану: он упорно не хотел боя. Когда станет понятно, что казаки не дали себя обмануть, астраханцы должны будут открыть карты. Может, грамота и не фальшивая, черт ее разберет так-то.

— Пропали, Кузьма, — негромко сказал Скрипицын своему товарищу.

— Чую, — откликнулся тот.

— Что делать? Ну-ка, да там возьмут да кинутся на эти двенадцать стружков? Подумают, все прошли, и кинутся. Пресвятая богородица, отведи напасть. Пропадем...

— Перехитрил, черт дошлый!

— Обманешь их! — с малых лет на воровстве. Черта вокруг пальца обведут. — Скрипицын невольно прислушивался к сборам казаков, прикидывая в уме, сколько они еще прособираются и сколько пройдет времени, пока

казаки подойдут к Волге, а князь Львов отрежет их с моря, — успеет рассветать или нет? Что Львов пойдет на вероломство и вымогательство, в том Скрипицын не сомневался — пойдет. Если бы к тому времени хоть рассвело, хитрость казачья обнаружилась бы и Львов опомнился бы...

— Чего Львов задумал-то? — спросил его Кузьма.

— Откуда мне знать? Ты знаешь?

— Я знаю... Вы там всё шепчетесь-то, всё выгадываете... Кинется он на этих, как думаешь?

Скрипицын помолчал и сказал зло и отчаянно:

— А то ты не знаешь!

Двенадцать стругов под командой Черноярца с множеством факелов двинулись в сторону Волги. Десять с Разиным осталось.

— Огни в воду! — донесся голос Разина. — В гребь! И тихо надо! Смочите колышки, весла... — Голос атамана приближался во тьме. Коренастая его фигура вдруг оказалась уже на струге, где были послы, на корме. — В гребь! Но — тихо, — повторил он. Повернулся к рулевому: — Будешь держать за ими пока, — показал в сторону удаляющихся огоньков. — Остров замаячит, свалишь в левую руку. Стырь, иди ко мне, накажу вам одно дело важное, — позвал он.

Стырь прошел на корму.

— Как совсем стемнеет, — заговорил Степан на ухо старику, — я велю перевести послов на другой струг. Приставными пошлю вас с дедом. В ихной лодке. Надо, чтоб они утекли от нас. Дайте им...

— Как? — не понял Стырь. Он тоже говорил шепотом.

— Дайте им сбежать.

— А мы как? — все не мог понять Стырь.

— Не знаю. Можа, с собой возьмут.

— Хм... А можа, стукнут бабайкой да в воду?

— Не знаю. Иди скажи деду. Оборони бог, чтоб послы чего-нибудь зачуяли... Себя пожалеете, я вас не пожалею. Сделайте, чтоб убежали.

Стырь подумал. Встал. Он понял.

— Убегут. А на худой конец — дай чмокну тебя. Я хошь не шахова девка, а люблю тебя... — Поцеловались. Стырь еще сказал: — Батьке твоему поклон передам.

— Раньше время-то не умирай.

— А кто ведает? Они вон быки какие.

— Иди к деду, расскажи ему все, — поторопил Степан.

— Не поминай лихом, Тимофеич.

Степан некоторое время смотрел в темноту. Потом сказал гребцам:

— Не торопитесь. Поспеем. Гребите тише.

Долго плыли в полной тишине. Только чуть слышно вскипала вода под веслами, шипела. Струги с Чернопрцем были уже далеко; плясали, путались во тьме и качались длинные огоньки их факелов.

Слева замаячил остров, надвигался смутной длинной тенью.

— Остров, батька, — подали голос с носа струга.

— Вали влево. Как остров обогнем... Стырь! И ты, дед Любим! Проводите послов на последний струг, к Федору. А то они развесили тут ухи-то — много знать будут, — нарочно громко сказал Степан. — Уберите их отсудова!

— Пошли, голуби! — скомандовал Стырь. — Вязать будем, Любим?

— Шевелитесь! — прикрикнул Степан нетерпеливо.

— В лодке свяжем, — решил дед Любим. — Шагайте.

Гребцы притабанили струг; четверо с правого борта слезли в лодку. Молчали.

Струг тотчас отвалил влево, к острову, и сразу пропал в темноте, точно его не было. И задних не слышно пока, тоже тихо крадутся.

— Побудем здесь. Федор подойдет, мы ему шумнем, — сказал Стырь. — Давай-ка, браток, рученьки твои белые, я их ремешком схвачу. — Стырь склонился к Никите Скрипицыну.

Никита слегка опалел от нежданного поворота, протянул было руки... Но его товарищ сгреб уже деда Любима и ломал под собой, затыкая ему рот. В то же мгновение и Стырь оказался на дне лодки, и большая ладонь служилого плотно запечатала ему рот. Ремешки, которые взяты были для послов, туго стянули руки приставных. Послы схватились за весла и налегли на них; лодка очумело полетела в темноту.

— Мм!.. — замычал Стырь и засучил ногами.

Никита склонился, покрепче затолкал подол кафтана ему в рот... Захватил в узластую лапу седую бороденку старика, пару раз крепко посунул его голову — туда-сюда — по днищу лодки.

— Будешь колотиться, дам веслом по башке и в воду, — сказал негромко и весело.

Стырь притих. Дед Любим тоже лежал смирно: видно, товарищ Никиты перестарался, помял Любима от души. Или — прирожденный воин — Любим хитрил и, не в пример Стырю, не скреб понапрасну на свой хребет.

— Пресвятая матерь божья, — шептал набравшийся смертного страха Никита Скрипицын, — спаси-пронеси, свечей в храме наставлю. Пособи только, господи.

* * *

Князь Семен до боли в глазах, до слезы всматривался с высокого стружьего носа в сумрак ночи. Огоньки факелов на стругах Черноярца плясали поодаль, качались...

— Прошли, что ль? — ни черта не разберу...

— Прошли. Больше нету.

— Сколь нащитал-то?

— По огонькам — вроде много... Они мельтешат как...

— Ну, сколь? Чертова голова...

— С двадцать, — неуверенно отвечал молодой стрелец. — А можа, боле. Они мельтешат, как... Можа, боле, не поймешь.

— Откуда их боле-то? Их сэстоль и есть. Во-от... Гасите-ка огни! Пошли. Зря не шумите. С богом! Пушкари — готовься. Как отрежем, так лодку к им: «Складай оружье — окруженные». Мы их седня прижмем... В Волге, там, с ими поговорим покруче. Взвозятся, открываем пальбу... Но, я думаю, они умней — не взвозятся. Во-от. Топить-то их не надо бы... Не надо бы — у их добра много. Не топить! Так договоримся.

Князь Семен был доволен.

* * *

— Добре! Стой! — распорядился Иван Черноярец. — Так и есть — окружают, собаки: огни в воду пометали. Сучья порода... Ну-ка, кто? — до батьки! Отрезают с моря, мол. К воеводе я сам отправлюсь. Ах, вертучая душа: медом не корми, дай обмануть. — Забыл первый есаул, совсем как-то забыл, что сами они первые раскинули стрельцам сеть. — Батьке скажи, чтоб не торопился палить: можеть, я их счас припужну там. Можеть, миром решим, когда узнают. Спину-то они нам подставили, а не мы им...

— А затеется бой, — ты как же?

— Ну, как? Как есть... Не затеется, я их припужну счас. Давай лодку!

* * *

В астраханской флотилии произошло какое-то движение, послышались голоса... Похоже, кто-то прибыл, что ли.

— Какова дьявола там?! — зашипел князь Семен. — Оглоеды... Опупели?

Голоса приближались. Да, кто-то прибыл со стороны.

— Тиха! — прикрикнули с воеводского струга.

— Никита вернулся, — сказали с воды. — Ну-к, прими! Спусти конец... Да куда ты багром-то?! Дай конец!

— Никита? — изумился князь. Он так увлекся своими хитросплетениями, так с головой влез в азарт продуманной игры, что забыл про своих послов. — Давай суда его. А чего они? Чего, Никита?

— Беда, князь! — заговорил Никита, перевалившись через борт. — Слава те господи!.. Успели. Фу!.. С того света.

— Что? Говори! — почти закричал воевода.

— Перехитрили нас, воевода. Ты их отрезал? С моря-то.

— Отрезал.

— А Стенька у нас за спиной! Слава те господи, успели. Я так и знал, что отрежешь. Налетели б счас на румяную...

— Как так? — раздраженно спросил князь. — А кто прошел?

— Сколь прошло-то?

— Двадцать нащитали...

— Двенадцать стругов! А десять, самых надежных, у нас за спиной. Разделились они — подвох зачуяли. Мы-то насилу головушки свои унесли. Двух казаков с собой прихватили. От этих не было никого? — Скрипицын кивнул в сторону разинцев с Черноярцем, которых воевода запирал в Волге.

Воевода помолчал.

— Рази ж они не все прошли?

— Скоро пришлют посыльщиков. Послухай, что плести будут! Скажут, раздор вышел: Стенька в десять стружков к Теркам ушел, а эти вроде на милость идут. Ворье хитрое... Мы двоих прихватили — при-

ставных к нам. Слава те господи! А уж про нас, князь, и не подумал? Стенька посулился самолично задавить нас...

— Во-от, — понял наконец воевода. — С вами рази чего сделаешь! — Обидно ему сделалось — так все ладно обдумал, так все сошлось в голове, и надо теперь все переиначивать, все ломать и снова собираться с мыслью и духом. Так резко различаются русские люди: там, где Разин, например, легко и быстро нашелся и воодушевился, там Львов так же скоро уронил интерес к делу, им овладела досада. — А попробуем?! — вдруг вяло оживился он. — Их же меньше. Да мы теперь знаем про ихнюю хитрость. А?

Сразу ответили в несколько голосов:

— Что ты, Семен Иваныч!

— Нет, князь! Господь с тобой!..

— Они как кошки. Им только дай ночью бой затеять. Любезное дело... Они и месяц-то казачьим солнышком зовут.

Опять с воды послышались шум и голоса. Опять, похоже, пришлые.

— Кто?! — окликнули с воеводского струга.

— Есаул Иван Черноярец! К воеводе.

— Зови, — велел князь. — Запалите огонь.

Никита с Кузьмой отошли в сторонку — из светлого круга. Иван поднялся на струг, поклонился воеводе.

«Теперь Стенька не даст, сколько мог дать, запри я его в Волге, — подумал князь Семен. — Воистину, казаки обычьем — собаки».

— Ну? — спросил князь строго. — С чем пожаловал?

— Челом бьем, боярин, — заговорил Иван. — Вины наши приносим великому государю...

— Вы все здесь? — нетерпеливо перебил князь.

— Нет. Атаман наш в десять стружков ушел к Теркам.

— Чего ж он ушел? Вины брать не хочет?

— Убоялся гнева царского...

— А вы не убоялись?

— Воля твоя... Царь нас миловал. Нам грамотку вычли.

— А не врешь ты? Ушел ли Стенька-то? — Теперь князь открыто злился; особенно обозлило вранье есаула, и то еще, что есаул при этом смотрит прямо и бесхитростно. — Ушел ваш атаман?! Или вы опять крутитесь, собаки?! Ушел атаман?

— Вот — божусь! — Иван, не моргнув глазом, перекрестился.

— Страмцы, — сказал князь брезгливо. — Никита!..

В круг света вошел Никита Скрипицын, внезапный и веселый.

— Здоров, есаул! Узнаешь?

Иван пригляделся к послу, узнал:

— А-а... — И поник головой, даже очень поник.

— Чего ж ты врешь, поганец?! — закричал князь. — Да ишо крест святой кладешь на себя!

— Не врали б мы, боярин, кабы вы первые злой умысел не затаили на нас, — поднял голову Иван. — Зачем с моря отсек? В царской милостивой грамоте нет того, чтоб нас окружить да побить, как собак.

— Кто вас побить собирался?

— Зачем же с моря путь заступили? Зачем было...

— Где атаман ваш? — спросил воевода.

— Там, — Иван кивнул в сторону моря. — За спиной у вас... Ты, воевода, будь с нами, как с ро́вней. А то обманываешь тоже, как детей малых. Даже обидно, ей-богу... И ты, служилый, ты же только грамоту нам читал: рази там так сказано! Кто же обманом служит!..

— Пошли к Стеньке! — заговорил князь. — Пускай ко мне идет без опаски: крест целовать будете. Пушки, которые взяли на Волге, в Яицком городке и в шаховой области, отдадите. Служилых астраханцев, царицынских, черноярских, яицких, — отпустить в Астрахани. Струги и все припасы отдать на Царицыне. Посылай.

— Я сам пойду, чего посылать...

— Сам тут побудешь! — резко сказал воевода. — Посылай.

Иван подумал... Подошел к краю струга, свесился с борта, долго что-то говорил казаку, который приплыл с ним и сидел в лодке. Тот оттолкнулся от струга и исчез в темноте.

Воевода меж тем рассматривал стариков — Стыря и Любима, коих подвели к нему, — он велел. Вступил в разговор с ними.

— Куда черт понес — на край света? — с укоризной спросил князь. — Помирать скоро! Воины...

— Чего торописся, боярин? Поживи ишо, — сказал Стырь участливо. — Али хворь какая? — Старики осмелели при есауле: слышали, как тот говорил с воеводой — достойно. Особенно осмелел Стырь.

— Я про вас говорю, пужалы! — воскликнул князь.

— Чего он говорит? — спросил дед Любим Стыря.

Стырь заорал что было силы на ухо Любиму:

— Помирать, говорит, надо!

— Пошто?! — тоже очень громко спросил дед Любим.

— Я не стал про то спрашивать!

— Э?!

— Я враз язык прикусил! Испужался!

— А-а! У меня тоже в брюхе чего-то забурчало. Тоже испужался!

Воевода сперва не понял, что старики дурака ломают. Потом понял.

— Не погляжу счас, что старые: стяну штаны и всыплю хорошенько!

— Чего он? — опять спросил дед Любим громко.

— Штаны снимать хочет! — как-то даже радостно орал Стырь. — Я боярскую ишо не видал! А ты?

— Пошли с глаз! — крикнул воевода. И топнул ногой.

Он, может, и всыпал бы старикам тут же, не сходя с места, но дело его пошло вкось, надо теперь как-то его выравнивать — не злить, например, лишний раз Стеньку: за стариков тот, конечно, обозлился бы.

* * *

Посыльный от Ивана рассказал Степану, чего требует воевода:

— Привесть к вере все войско. И чтоб шли мы в Астрахань, а пушки и знамена — все бы отдали. А струги и припас на Царицыне отдали б...

— Голых и неоружных отправить?! — воскликнул Фрол Минаев. — Во, образйна!..

— Батька, давай подойдем скрытно, всучим ему щетины под кожу, — подсказал Ларька Тимофеев. — Чтоб он, гундосый, до самой Астрахани чесался.

— Гляди-ко!.. — воскликнул Степан. — Какие у нас есаулы-то молодцы! А то уж совсем в Москву собралися — милости просить. А царь-то, вишь, вперед догадался — грамотку выслал. Молодец! И есаулы молодцы, и царь молодец! — Степан воистину ликовал.

— Мы не напрашиваемся в молодцы, — обиделся Ларька.

— Славный царь! Дуй, Ларька, к воеводе. Перво-на-

перво скажи ему, что он — чурка с глазами: хотел казака обмануть. Потом насули ему с три короба... Крест поцалуй за нас. Чего хмурисся?

— Я не ходок по таким делам, — сказал Ларька.

— Кто же пойдет? Я, что ль?

— Воп Мишка Ярославов: и писать, и плясать мастак. Пусть он.

— Я могу, конечно, сплясать, токмо не под воеводину дудку. Шпарь, Лазарь, не робь. — Мишка широко улыбнулся.

— Вместях пойдете, — решил Степан. — Молодец, Ларька, надоумил. Собирайтесь. — Степан посерьезнел. — Гнитесь там перед им, хоть на карачках ползайте, — а домой нам попасть надо. Чего отдать, чего не отдать — это мы в Астрахани гадать будем: грамотка-то, видно, правдишная. Лишь бы они до Астрахани не налетели на нас. Валяйте.

Есаулы, Лазарь и Михаил, поднялись нехотя.

— Пушки, знамена, струги, припас — на то, мол, у нас в Астрахани круг будет, там обсудим, — наказывал Степан.

— Лучше уж счас прямо насулить, — посоветовал Фрол, — чтоб у их душа была спокойная. А в Астрахани стрельцов поглядим — какие они твердые, посадских людишек... Там-то способней разговоры вести.

— И то дело, — согласился Степан. — Сулите и пушки. Наших людей, каких окружил, пусть к нам пропустит, а сам пускай вперед нас идет. До самой Астрахани. А чтоб сердце воеводино помягче было, подберите рухлядишки шаховой — от меня, мол. Поболе! Намекните воеводе: пускай заклад наш помнит. А то он чуть не забыл. В Астрахани, мол, инно дары будут. Скажите: атаман все помнит — и добро, и худо.

Так Разин прошел в Астрахань — без единого выстрела, не потеряв ни одного казака. То была победа немалая.

* * *

«Тишайший» в Москве топал ногами, мерцал темным глазом, торопил и гневался. Он сбирался на соколиную охоту, когда ему донесли с бумаги:

— «...Разорил татарские учуги, пленил персидские торговые суда, ограбил города Баку, Рящ, Ширвань,

Астрабат, Фарабат; и, произведя везде ужасные злодеяния, губил беспомощно мирных жителей. И побил персидский флот. И теперь пошел к Волге...»

— Объявился, злодей! — воскликнул царь. — Откуда пишут?

— Из Терков.

— Писать в Астрахань, к князю Ивану Прозоровскому: остановить! Оружье, припас, грабленое — все отнять! Воров расспросить, выговорить им вины ихние и раздать всех по стрелецким приказам! Собаки неспокойные!.. Они уж в охотку вошли — грабют и грабют. Всех по приказам!

Случившийся рядом окольничий Бутурлин напомнил:

— Государь, мы в прошлом годе писали в Астрахань прощальную Стеньке. Понадеется князь Иван на ту грамоту...

— Ту грамоту изодрать! Год назад писана... Успеть надо, чтоб Стенька на Дон не уволокся. Успеть надо!.. Не мешкайте! Ах, злодей!.. Он эдак мне весь мир с шахом перебаламутит. Не пускать на Дон!

Царская грамота заторопилась в Астрахань — решать судьбу непокорного атамана.

А пока что атаман шел к Астрахани. Позади Львова князя.

И пока он шел к Астрахани, в Москве «тишайший» выезжал из Кремля на охоту.

Думные дворяне, стольники, бояре, сокольничьи, сокольники... Все пылает на них — все в дорогих одеждах, выдаваемых в таких случаях двором. Даже кречеты на перчатках сокольников (перчатки у сокольников с золотой бахромой) и те с золотыми кольцами и шнурками на ногах.

Нет еще главного «охотника» — царя Алексея Михайловича, «рожденного и воспитанного в благочестии» (как он сказал о себе на суде Вселенских Патриархов).

Вот вышел и Он... В высокой собольей шапке, в девять рядов унизанной жемчугом. Нагрудный крест его, пуговицы и ожерелье — все из алмазов и драгоценных

камней. Бояре и окольничьи с ним — в парчовых, бархатных и шелковых одеяниях.

Путь от Красного крыльца до кареты устлан красным сукном. Царь проследовал в карету... «Царева карета была весьма искусно сделана и обтянута красным бархатом. На верху оной было пять глав, из чистого золота сделанных». Одеяние кучеров и вся сбруя были также из бархата.

Поезд тронулся.

Впереди ехал «кроткий духом».

«Был он роста высокого, имел приятный вид. Стан его строен был, взор нежен, тело белое, щеки румяные, волосы белокурые. Он зело дороден».

«Характер его соответствовал сей пригожей наружности. Ревностно приверженный к вере отцов своих, выполнял он от души все правила оной. Нередко, подобно Давиду, вставал ночью и молился до утра».

«Хотя он и был Монарх Самодержавный, но наказывал только по одной необходимости, и то с душевным прискорбием. Щадя жизнь своих подданных, он также никогда не корыстовался имуществом их. Любил помогать несчастным и даже доставлял пособие ссылаемым в Сибирь. Удаленным в сию дикую страну, ино давал малые пенсионы, дабы они там совсем не пропали.

Волнение умов и внутренние неудовольствия побудили его учредить Тайный Приказ, коего действия были не всегда справедливы; а ужасное СЛОВО и ДЕЛО приводило в трепет самых невинных».

«Окинем теперь светлым взором те мудрые деяния царя Алексея Михайловича, коими он восстановил благосостояние подданных своих и даровал им новую жизнь».

«Против Июня 1662 г. случился в Москве бунт.

Какой-то дворянин прибил в разных частях города к стенам и заборам пасквили, в коих остерегал народ, чтоб он не доверял боярам, ибо они, безбожники, стакнувшись с иноземцами, продадут Москву. Буйная чернь, узнав о сем, кинулась ко двору, и произвели бы там изрядные злодеяния, если бы царь и бояре, предваренные о сем восстании, не уехали в село Коломенское.

Отчаянные преступники сии, числом до 10 000, кинулись в село Коломенское, окружили дворец и, требуя по списку бояр, угрожали сему зданию совершенным истреблением, если желание их не будет исполнено».

«Царь Алексей Михайлович, наученный прежде опы-

тами, поступил в сем случае, как Монарху и следовало. Немецкие солдаты и стрельцы телохранительного корпуса явились внезапно на площади и начали действовать так удачно, что 4000 бунтовщиков легло на месте, а большая часть остальных, с предводителем их, были схвачены и закованы.

После сего возвратился царь в Москву и приказал произвести следствие над преступниками. Большая часть из оных приняла достойную казнь, так что 2000 человек были четвертованы, колесованы и повешены. Остальным обрезали уши, означили каленым железом на левой щеке букву «Б» и сослали с семействами в Сибирь. Мальчикам от 12 и до 14 лет обрезали только одно ухо».

«Совершив сии важные действия, для успокоения Отечества нашего необходимо нужные, занялся царь Алексей Михайлович внутренним образованием государства. Издан был новый Полицейский Устав, исполнителем коего определен был князь Македонский».

«Милосердие и человеколюбие были отличительными чертами души царевой...»

4

Утром, чуть свет, бабахнули пушки первого российского боевого корабля «Орел», стоявшего у астраханского Кремля...

С флотилии князя Львова ответили выстрелами же.

Разинцы, недолго думая, зарядили свои и тоже выстрелили.

Первыми плыли струги Львова, за ними, на расстоянии, правильным строем шли разинцы.

— Не понимай, мы кого встречайт: князь Льфоф или Стенька Расин? — спросил с улыбкой капитан корабля Бутлер воеводу Прозоровского (они были на борту «Орла»).

Тот засмеялся:

— Обоих, капитан! Живы-здоровы, — и то слава богу. — Он подозвал к себе приказного писца и стал говорить, что сделать: — Плыви к князю Семен Иванычу, скажешь: Стеньку проводить к Болде, к устью, пусть там стоит. Сам князь после того пускай ко мне идет. Наши стружки здесь поставить. И пускай он Стеньке скажет: чтоб казаков в городе не было! И наших к себе пусть не пускают. Никакой торговлишки не заводить!

— Винишко как? — подсказал бойкий пищик.

— Винишко?.. Тут, брат, ничего не поделаешь: найдутся торговцы. Скажешь князю, чтоб у Болды оставил наших стругов... пять — для пригляду. Понадежней стрельцов пускай подберет, чтоб в разгул не пустились с ворами.

* * *

Разинские струги сгрудились в устье речки Болды (повыше Астрахани).

На носу атаманьего струга появился Разин.

— Гуляй, братцы! — крикнул он. И махнул рукой. Не мало тысяча казаков сыпануло на берег. И пошло дело.

По всему побережью развернулась непуточная торговля. Скорые люди уже поспели сюда из Астрахани — с посада, из Белого города, даже из Кремля. Много было иностранных купцов, послов и всякого рода «жоцок». В треть цены, а то и меньше переходили из щедрых казачьих рук в торопливые, ловкие руки покупателей саженной ширины дороги, зендень, сафьян, зуфь, дорогие персидские ковры, от коих глаза разбегались, куски миткаля, кумача, курпех бухарский (каракуль); узорочный золотой товар: кольца, серьги, бусы, цепи, сулеи, чаши...

Наступил тот момент, ради которого казак терпит голод, холод, заглядывает в глаза смерти...

Трясут, бросают на землю цветастые тряпки, ходят по ним в знак высочайшего к ним презрения. Казак особенно почему-то охоч поспорить в торговом деле с татарином, калмыком и... с бабой.

Вот разохотился в торговлишке рослый, носатый казак. Раскатал на траве перед бабами драгоценный ковер и нахваливает. Орет:

— Я какой? Вона! — Показал свой рост. — А я на ем два раза укладываюсь. Глянь: раз! — Лег. — Замечай, вертихвостые, а то оммапу. — Вскочил и улегся второй раз, раскинул ноги. — Два! Из-под самого шаха взял.

— Да рази ж на ем спят? — заметила одна. — Его весют!

— Шах-то с жонкой небось был? Согнал, что ль?

— Шах-то?.. Шах — он шах и есть: я ему одно, он другое: уросливый, кое-как уговорил...

Разворачиваются дороги, мнут в руках сафьян...

— Эття сафян! Карош?

— А ты что, оглазел?

— Эття скур сибка блеха — толсти...

— Это у тебя шкура толстая, харя! Могу обтесать!

— Посьто ругасся? Сяцем?

— Сяцем, сяцем... Затем! Затем, что сдохла та курочка, которая золотые яички татарам несла, вот зачем.

Оборотистые астраханцы не забыли про «сиуху». Местами виночерпии орудуют прямо с возов. Появились первые «ласточки»... Прошелся для пробы завеселевший казачок:

Ох,
Бедный еж!
Горемышный еж!
Ты куды ползешь?
Куды ежисся?
Ох,
Я ползу, ползу
Ко боярскому двору,
К высокому терему...

Но есаулам строго-настрого велено смотреть: не теперь еще успокоиться, нет. Есаулы и без атамана понимали это.

Иван Черноярец, собираясь куда-то со струга, наказал сотникам:

— За караулом глядеть крепко! А то учинят нам тут другой Монастырский Яр. Ни одной собаке нельзя верить. На думбасах пускай все время кто-нибудь остается. Семка, вышли в Волгу челнока с три — пускай кружут. Замечу в карауле пьяного, зарублю без всяких слов.

Разноцветное человеческое море, охваченное радостью первого опьянения, наживы, свободы, торга — всем, что именуется ПРАЗДНИК, колышется, бурлит, гогочет. Радешеньки все — и кто обманывает, и кто позволяет себя обманывать.

Ох,
Бедный еж!
Горемышный еж!
Ты куды ползешь?
Куды ежисся?..

Назревал могучий загул. И это неизбежно, этого не остановить никому, никакому самому строгому, самому любимому атаману, самым его опытным есаулам.

* * *

В приказной палате в Кремле — верховная власть Астрахани: князь, боярин, воевода Иван Семеныч Прозоровский, князь, стольник, товарищ воеводы Семен Иваныч Львов, князь, стольник, товарищ воеводы Михаил Семеныч Прозоровский (брат Ивана Семеныча), митрополит Иосиф, подьячий, стрелецкий голова Иван Красулин. Думали-гадали.

— Что привел ты их — хорошо, — говорил князь Иван Семеныч, высокий дородный боярин с простодушным, открытым лицом. — А чего дале делать? Ты глянь, мы их даже тут унять не можем: наказывал же я не затеваться с торговлей!.. А вон что делается! А такие-то, оружные да с добром, на Дон уйдут?.. Что же будет?

— Дело наше малое, князь, — заметил Львов. — У нас царева грамота: спровадим их, и все на том.

— Грамота-то, она грамота... Рази ж в ей дело? Учнут они, воры, дорогой дурно творить — где была та грамота! С нас спрос: куда глядели? Потом хоть лоб расшиби — не докажешь. Дума моя такая: отправить их на Доп неоружных. Перепись им учинить, припас весь побрать...

— Эка, князь! — в сердцах воскликнул митрополит, сухой длинный старик с трясущейся головой. — Размахался ты — все побрать! Не знаешь ты их, и не приведи господи! Разбойники! Анчихристы!.. Они весь город раскатают по бревнышку.

— Да ведь и мы не с голыми руками!

— Нет, князь, на стрельцов надежа плоха, — сказал Львов. — Шатнутся. А пушки бы и струги, если б отдали, — большое дело. Через Царицын бы бог пронес, а на Дону пускай друг другу глотки режут — не наша забота. И спрос не с нас.

— Что ж, Иван, так плохи стрельцы? — спросил воевода Красулина, стрелецкого голову.

— Хвастать нечем, Иван Семеныч, — признался тот. — Самое безвременье: этих отправлять надо, а сменщики — когда будут! А скажи этим, останьтесь: тотчас мятеж.

Князь Михаил, молчавший до этого, по-молодому взволнованно заговорил:

— Да что же такое-то?.. Разбойники, воры, государевы ослухи!.. А мы с ими ничего поделать не можем. Стыд же головушке! Куры засмеют — с голодранцами

не могли управиться! Дума моя такая: привести к вере божьей, отдать по росписям за приставы — до нового царева указа. Грамота — она годовалой давности. Пошлем гонцов в Москву, а разбойников пока здесь оставим, за приставами.

— Эх, князь, князь... — вздохнул митрополит. — Курям, говоришь, на смех? Меня вот как насмешил саблей один такой голодранец Заруцкого, так всю жизнь и смеюсь да головой трясу, вот как насмешил, срамец. Архиепископа Феодосия, царство небесное, как бесчестили!.. Это кара божья! Пронесет ее — и нам спасенье, и церкви несть сраму. А мы сами ее на свою голову хочем накликать.

— Что напужал тебя в малолетстве Заруцкий — это я понимаю, — сказал Иван Семеныч. — Да пойми же и ты, святой отец: мы за разбойников перед царем в ответе. Ведомо нам, что у его, у Стеньки, на уме? Он отойдет вон к Черному Яру да опять за свое примется. А с кого спрос? Скажут: тут были, не могли у их оружье отобрать?!

— Дело к зиме — не примется, — вставил Иван Красулин.

— До зимы ишо далеко, а ему долго и делать нечего: стренут караван да на дно. Только и делов.

— Да ведь и то верно, — заметил подьячий, — оставлять-то их тут неохота: зачнут стрельцов зманывать. А тогда совсем худо дело. Моя дума такая: спробовать уговорить их утихомириться, оружье покласть и рассеяться, кто откуда пришел. Когда они в куче да оружные, лучше их не трогать. Надо спробовать уговорами...

— А к вере их, лиходеев, привесть! По книге. В храме господнем, — сказал митрополит. — И пускай отдадут, что у меня на учуге побрали. Я государю отписал, какой они мне разор учинили... — Митрополит достал из-под полы исписанный лист. — «В нонешнем, государь, году августа против семого числа приехали с моря на деловой мой митрополей учуг Басагу воровские казаки Стеньки Разина с товарищи. И будучи на том моем учуге, соленую коренную рыбу, и икру, и клей, и вязигу — все без остатка пограбили и всякие учужные заводы медные и железные, и котлы, и топоры, и багры, и долота, и скобели, и напарьи, и буравы, и неводы, и струги, и лодки, и хлебные запасы все без остатка побрали. И, разоря, государь, меня, богомольца твоего, он, Стенька Разин с товарищи, покинули у нас же на учуге, в тайке заверче-

но, всякую церковную утварь и всякую рухлядь и ясырь и, поехав с учуга, той всякой рухляди росписи не оставили.

Милосердный государь царь и великий князь Алексей Михайлович, пожалуй меня, богомольца своего...»

Вошел стряпчий. Сказал:

— От казаков посыльщики.

— Вели, — сказал воевода. — Стой. Кто они?

— Два есаулами сказались, один казак.

— Вели. Ну-ка... построже с ими будем.

Вошли Иван Черноярец, Фрол Минаев, Стырь. Поклонились рядовым поклоном.

— От войскового атамана от Степана Тимофеича от Разина: есаулы Ивашка и Фрол да казак донской Стырь, — представился Иван Черноярец. Все трое одеты богато, при дорогом оружии; Стырь маленько навеселе, но чуть-чуть. Взял его с собой Иван Черноярец за-ради его длинного языка: случится заминка в разговоре с воеводами, можно подтолкнуть Стыря — тот начнет молоть языком, а за это время можно успеть обдумать, как верней сказать. Стырь было потребовал и деда Любима с собой взять, Иван не дал.

— Я такого у вас войскового атамана не знаю, — сказал воевода Прозоровский, внимательно разглядывая казаков. — Корнея Яковлева знаю.

— Корней — то не наш атаман, у нас свой — Степан Тимофеич, — вылетел с языком Стырь.

— С каких это пор на Дону два войска повелось?

— Ты рази ничего не слыхал?! — воскликнул Стырь. — А мы уж на Хвалынь сбегали!

Фрол дернул сзади старика.

— С чем пришли? — строго спросил старший Прозоровский.

— Кланяется тебе, воевода, батька наш, Степан Тимофеич, даров сулится прислать... — начал Черноярец.

— Ну? — нетерпеливо прервал его Прозоровский.

— Велел передать: завтра сам будет.

— А чего ж не сегодни?

— Сегодни?.. — Черноярец посмотрел на астраханцев. — Сегодня мы пришли уговор чинить: как астраханцы стретют его.

Тень изумления пробежала по лицам астраханских властителей. Это было неожиданно и очень уж нагло.

— Как же он хочет, чтоб его стретили? — спросил воевода.

— Прапоры чтоб выкинули, пушки с раскатов стреляли...

— Ишо вот, — заговорил Стырь, обращаясь к митрополиту, — надо б молебен отслужить, отче...

— Бешеный пес тебе отче! — крикнул митрополит и стукнул посохом об пол. — Гнать их, лихоимцев, гадов смердящих! Нечестивцы, чего удумали — молебен служить!.. — Голова митрополита затряслась того пуще; старец был крут характером, прямодушен и скор на слово. — Это Стенька с молебном вас надоумил? Я прокляну его!..

— Они пьяные, — брезгливо сказал князь Михаил.

— У вас круг был? — спросил Львов.

— Нет. — Черноярец пожалел, что взял Стыря: с молебном перехватили. Оставалось теперь держаться достойно. — Будет.

— Это вы своевольно затеяли?.. С молебном-то? — хотел понять митрополит.

— Пошто? Все войско хочет. Мы — христианы.

Воевода поднялся с места, показал рукой, что переговоры окончены.

— Идите в войско и скажите своему атаману: завтра пусть здесь будет. И скажите, чтоб он дурость никакую не затевал. А то такую стречу учиню, что до дома не очухаетесь.

5

Странно гулял Разин: то хмелел скоро, то — сколько ни пил — не пьянел. Только тяжелым становился его внимательный взгляд. Никому не ведомые мысли занимали его; выпив, он отдавался им целиком, и тогда уж совсем никто не мог понять, о чем он думает, чего хочет, кого любит в эту минуту, кого нет. Побаивались его такого, но и уважали тем особенным уважением, каким русские уважают сурового, но справедливого отца или сильного старшего брата: есть кому одернуть, но и пожалеть и заступиться тоже есть кому. Люди чуяли постоянную о себе заботу Разина. Пусть она не видна сразу, пусть Разин — сам человек, разносимый страстями,— пусть сам он не всегда умеет владеть характером, безумствует, съедаемый тоской и болью души, но в глубине этой души есть жалость к людям, и живет-то она, эта ду-

ша, и болит-то — в судорожных движениях любви и справедливости, и нету в ней одной только голой гадкой страсти — насытиться человечьим унижением, — нет, эту душу любили. Разина любили; с ним было надежно. Ведь не умереть же страшно, страшно оглянуться — а никого нет, кто встревожился бы за тебя, пожалел бы: всем не до того, все толкаются, рвут куски... Или — примется, умница и силач, выхваляться своими превосходствами, или пойдет упиваться властью, или возлюбит богатство... Много умных и сильных, мало добрых, у кого болит сердце не за себя одного. Разина очень любили.

«Застолица» человек в пятьсот восседала прямо на берегу, у стругов. Выстелили в длину нашестья (банки, лавки для гребцов) и уселись вдоль этого «стола», подобрав под себя ноги.

Разин сидел во главе. По бокам — есаулы, любимые деды, Ивашка Поп (расстрига), знатные пленники, среди которых и молодая полонянка, наложница Степана.

Далеко окрест летела вольная, душу трогающая песня донцов. Славная песня, и петь умели...

На восходе было сонца красного.
Не буйные ветры подымалися,
Не синее море всколыхалося,
Не фузеюшка в поле прогрянула,
Не люта змея в поле просвиснула...

Степан слушал песню. Сам он пел редко, сам себе иногда помычит в раздумье, и все. А любил песню до слез. Особенно эту; казалось ему, что она — про названого брата его дорогого, атамана Серегу Кривого.

Она падала, пулька, не на землю,
Не на землю, пуля, и не на воду.
Она падала, пуля, в казачий круг,
На урочную-то на головушку,
Што да на первого есаулушку...

И совсем как стон, тяжкий и горький:

Попадала пулечка промеж бровей,
Што промеж бровей, промеж ясных очей:
Упал молодец коню на черну гриву...

Сидели некоторое время, подавленные чувством, какое вызвала песня. Грустно стало. Не грустно, а — редкая это, глубокая минута: вдруг озарится человеческое

сердце духом ясным, нездешним — любовь ли его коснется, красота ли земная, или охватит тоска по милой родине — и опечалится в немоте человек. Нет, она всегда грустна, эта минута, потому что непостижима и прекрасна.

Степан стряхнул оцепенение.

— Ну, сивые! Не клони головы!.. — Он и сам чувствовал: ближе дом — больней сосет тоска. Сосет и гложет. — Перемогем! Теперь уж... рядом, чего вы?!

— Перемогем, батька!

— Наливай! — велел Степан. — Ну, осадепили разом!.. Аминь!

Выпили, утерли усы. Отлетела дорогая минута, но все равно хорошо, даже еще лучше — не грустно.

— Наливай! — опять велел Степан.

Еще налили по чарам. Раз та́к, так — та́к. Чего и грустить, правда-то. Свое дело сделали, славно сделали... Теперь и попировать не грех.

— Чтоб не гнулась сила казачья! — сказал громко Степан. — Чтоб не грызла стыдобушка братов наших в земле сырой. Аминь!

— Чарочка Христова, ты откуда?..

— Не спрашивай ее, Микола, она сама скажет.

— Кху!..

Выпили. Шумно сделалось; заговорили, задвигались...

— Наливай! — опять велел Степан. Он знал, как изъять эту светлую грусть из сердца.

Налили еще. Хорошо, елкипа мать! Хорошо погулять — дом рядом.

— Чтоб стоял во веки веков вольный Дон! Разом!

— Любо, батька!

— Заводи! Веселую!

— Э-у-а!.. Ат-тя! — Громадина казачина Кондрат припечатал ладонь к доске... А петь не умел.

Грянули заводилы, умелые, давно слаженные в песне:

Ох, по рюмочке пьем,
Да по другой мы, братцы, ждем;
Как хозяин говорит:
За кого мы будем пить?..

— Ат-тя! — опять взыграла душа Кондрата, он дал по доске кулаком. — Чего бы исделать?

А хозяин говорит:
Ох, за тех мы будем пить, —

За военных молодцов,
За донских казаков.
Не в Казани, не в Рязани,
В славной Астрахани...

Кто-то так свистнул, аж в ушах зачесалось. Не у одного Кондрата душа заходила, запросилась на волю. Охота стало как-нибудь вывихнуться, мощью своей устрашить — заорать, что ли, или одолеть кого-нибудь.

В другом конце подняли другую песню, переорали:

А уж вы, гусельки мои, гусли звонкие,
Вы сыграйте-ка мне песню новую!
Как во полюшке, во полянушке
Там жила да была молодая вдова,
Ух-ха-а! Ух-х!..

— Батька, губи песню! — заорали со всех сторон.

Забеспокоилась, забеспокоилась тыща; большинство, особенно молодые, не пели — смотрели с нетерпением на атамана. Но песня еще жила, и батька не замечал, не хотел замечать нетерпения молодых. Песня еще жила, еще могла окрепнуть.

Ох, вдовою жила — горе мыкала,
А как замуж пошла — слез прибавила;
Прожила вдова ровно тридцать лет,
Ровно тридцать лет, еще три года...

— Батька, не надо про вдову, а то мне ее жалко. А то зареву-у!.. — Кондрат закрутил головой и опять трахнул по доске. — Заплачу-у!..

— Добре ли укусили, казаченьки?! — спросил атаман.

— Добре, батька! — гаркнули. И ждали чего-то еще. А батька все никак не замечал этого их нетерпения. Все не замечал.

— Не томи, батька, — сказал негромко Иван Черноярец, — а то правда заревут. Давай уж...

Степан усмехнулся, глянул на казаков... Его, как видно, самого подмывало. Он крепился. Он очень любил своих казаков, но раз он повел праздник, то и знал, когда отпустить вожжи.

— А добрая ли сиуха?

— Ох, добрая, батька!

— Наливай!

Теперь, кажется, близко ожидаемое. Выпили.

Степан поставил порожнюю чару, вытер усы... Полез

вроде за трубкой... И вдруг резко встал, сорвал шапку и ударил ею об землю.

— Вали! — сказал с ожесточением.

Это было то, чего ждали.

Сильно прокатился над водой мощный радостный вскрик захмелевшей ватаги. Вскочили... Бандуристы, сколько их было, сели в ряд, дернули струны. И пошла, родная... Плясали все. Свистели, ревели, улюлюкали... Образовался большущий круг. В середине круга стоял атаман, слегка притопывал. Скалился по-доброму. Тоже дорогой миг: все жизни враз сплелись и сцепились в одну огромную жизнь, и она ворочается и горячо дышит — радуется. Похоже на внезапный боевой наскок или на безрассудную женскую ласку.

Земля вздрагивала; чайки, кружившие у берега, шарахнули ввысь и в стороны, как от выстрелов.

А солнце опять уходило. И быстро надвигались сумерки. Запылали костры по берегу.

Праздник размахнулся вширь: не было теперь одного круга, завихренья праздника образовывались вокруг костров.

У одного большого костра к Степану волокли пленных, он их подталкивал в круг: они должны были плясать. Под казачью музыку. Они плясали. С казаками вперемешку. Казаки от всей души старались, показывая, как надо — по-казачьи. У толстого персидского купца никак не получалось вприсядку. Два казака схватили его за руки и сажали на землю и рывком поднимали. С купца — пот градом: он бы и рад сплясать, чтобы руки не выдернули, и старается, а не может.

— Давай, тезик! Шевелись!

Тезик (купец) тяжко и смешно (уж и рад, что хоть смешно) прыгает — только бы не зашиб невзначай этот дикий праздник, эта огромная лохматая жизнь, которая так размашисто и опасно радуется.

— Оп-па! Геть! О-па! Геть! Ах, гарно танцует, собачий сын!.. Ты глянь, ты глянь, что выделывает!..

Среди танцующих — и прекрасная княжна. И нянька ее следом за ней подпрыгивает: все должно плясать и подпрыгивать, раз на то пошло.

— Дюжей! — кричит Разин. — Жги! Чтоб земля чесалась...

К нему подтащили молодого князька, брата полонянки: он отказывался плясать и упирался. Степан глянул на него, показал на круг. Князек качнул головой и зало-

потал что-то на своем языке. Степан сгреб его за грудки и бросил в костер. Взметнулся вверх сноп искр... Князек пулей выскочил из огня и покатился по земле, гася загоревшуюся одежду. Погасил, вскочил на ноги.

— Танцуй! — крикнул Степан. — Я те, курва, пообзываюсь. Самого, как свинью, в костре зажарю. Танцуй!

Не теперь бы князю артачиться, не теперь бы... Да еще и ругаться начал... Тут многие понимали по-персидски.

— Ну? — ждал атаман.

Бандуристы приударили сильней... А князек стоял. Видно, молодая гордость его встрепенулась и восстала, видно, решил, пусть лучше убьют, чем унизят. Может, надеялся, что атаман все же не тронет его — из-за сестры. А может, вспомнил, что совсем недавно сам повелевал людьми, и плясали другие, когда он того хотел... Словом, уперся, и все. Темные глаза его горели гневом и обидой, губы дрожали; на лице отчаяние и упрямство, вместе. Но как ни упрям молодой князь, атаман упрямей его; да и не теперь тягаться с атаманом в упрямстве: разве же допустит он, хмельной, перед лицом своих воинов, чтобы кто-нибудь его одолел в чем-то, в упрямстве в том же.

— Танцуй! — сказал Степан. Он въелся глазами в смуглое тонкое лицо князька. Тот опять заговорил что-то, размахивая руками. Степан потянул саблю... Из круга к атаману подскочила княжна, повисла на его руке. Персы схватили князька и втащили сами в круг. Степан откинул княжну и, следя за князем, велел: — Дюжей! Повеселели глаза казацкие. Вот отец выкупит, там уж... сам заставляй других.

У одного из костров группа молодых и старых затеяли прыгать через огонь. И тут рев и гогот. Мочили водой только голову и бороду. Больше нигде. Пахло паленым.

«Бедный еж» набрел на эту группу... А был он вовсе пьян.

— Ммх!.. Скусно пахнет! — И «еж» стал снимать с себя кафтан. — Дай-ка я свой тоже подвялю.

Его прогнали. И он пошел и опять запел:

Ох,
Бедный еж!..

А на все это, изумленно мигая, глядели с темного неба крупные звезды. И еще из темноты, из кустов, смотрели завистливые глаза караульных. Не все из них удер-

жались: кое-кто сумел урвать малую малость — чарку-другую.

Иван Черноярец с сотниками обходил караулы... В одном месте, где должен был стоять караульный, случилась заминка. Караульный спал... Услышав, однако, шаги, он вскочил, но поздно. Короткая возня, хриплое дыхание, обрывки слов:

— Держи руку! Руку!.. Собака!..

— Дай ему по башке.

— Руку! Мх!.. Ыэк! — Тупой удар, должно быть, под дыхало: часовой перестал сопротивляться. — Я те покусаюсь! Вяжи, Семен. Суда другого поставь.

— Федька! — позвал сотник. — Становись. Руку укусил, змей. Долго теперь не заживет. Человечий укус долго не заживает. Собачий — и то скорей. Вот змей-то!.. Как жилу не повредил.

— Помочись на ее — заживет.

— Этот пускай лежит, — велел есаул. — Развяжешь, Федька, — гляди! При солнышке мы с им погутарим.

Группа с Черноярцем, шурша кустами, двинулась дальше. Пока войско гуляло, первый есаул покоя не знал.

К Степану пришло состояние, когда не хочется больше никого видеть. Он выпил еще чару и пошел к стругам — побыть одному. Он не опьянел, только в голове толчками качалось.

Его догнала персиянка. Сзади, поодаль, маячила ее нянька.

— Ну? — спросил Степан, не оборачиваясь: он узнал легкие шаги девушки. — Наплясалась?

Персиянка что-то сказала.

— Испужалась за брата-то? Чего он, дурак, заупрямился?

Она опять залопотала что-то — скоро-скоро, негромко, просительным нежным голоском.

Подошли к воде. Степан присел, ополоснул лицо... Потом стоял, задумавшись. Смотрел в вязкую темень.

Тихо плескались у ног волны; колготил за спиной пьяный лагерь; переговаривались на стругах караульные. Огни смоляных факелов на бортах отражались в черной воде, змеились и дрожали. Теплая ночь мягким брюхом лежала на земле, на воде, на огнях... Немного душно было; пахло рыбой и дымком.

Долго стоял Степан неподвижно. Казалось, он забыл обо всем на свете. Какие-то далекие, нездешние мысли опять овладели им. Он умел отдаваться думам, он иногда очень хотел быть один.

Персиянка притронулась к нему: она, видно, замерзла. Степан очнулся.

— Никак, озябла? Эх, котенок заморский, — ласково и с удивлением сказал он. Погладил княжну по голове. Развернул за плечо, подтолкнул: — Иди спать. А то и правда, свежо у воды-то.

Княжна радостно спросила что-то, показывая на свой струг.

— Иди, иди, — подтвердил Степан. — Иди.

Княжна всплеснула руками и побежала. Крикнула на бегу своей няньке; та откликнулась, тоже довольная.

Степан, глядя в ту сторону, куда убежала княжна, качнул головой.

— Вот и возьми с ее... В куклы тут играют, дуреха малая. — И подумал: «Отдам, хватит. А князька пусть выкупа́ют: заломлю, как за полста жеребцов добрых».

Стал опять смотреть в темень... И вспомнилась почему-то другая ночь, далекая-далекая.

Тоже было начало осени... И тоже было тепло. Стенька с братом Иваном (Ивану было тогда лет шестнадцать, Стеньке — десять) засиделись на берегу Дона с удочками, дождались — солнышко село, и темень прилегла на воду. Не хотелось идти домой. Сидели, слушали тишину. И наступил, видно, тот редкий тоже и дорогой дар юности, который однажды переживают все в счастливую пору: сердце как-то вдруг сладко замрет, и некий беспричинный восторг захочет поднять зеленого еще человечка в полный рост, и человечек ясно поймет: я есть в этом мире! И оттого, что все-таки не встаешь, а сидишь, крепко обняв колени, — только желанней и ближе вера: «Ничего, я еще это сделаю — встану». Это сильное чувство не забывается потом всю жизнь.

Братья сидели долго, молчали. Станица отходила ко сну. Вдруг они услышали неподалеку женские голоса — каза́чки пришли купаться. Они всегда купались, когда стемнеет. Блаженствовали одни. Разговаривали они негромко, но как-то сразу голоса их потревожили ночь, заполнили весь простор над водой. Слова слышались отчетливо, близко.

— Ох, вода-а, ну, парна́я!.. Ох, хорошо-то!

— Ласкает... Господи, прямо ласкает. Правда, хорошо.

— Нюрашка, прыгай, какого ты?!. Прыгай, Нюрашка!

— Нюрашка Сазонова, — сказал Иван Разин. — Слушай, какой счас визг подымут.

Он скинул одежду, залез в воду и неслышно поплыл. Стенька сразу же и потерял его из виду. Потом Иван рассказывал, что он, невидимый и неслышимый, подплыл к казáчкам, поднырнул и поймал какую-то за ногу. Стенька услышал, как тишину ночи прорезал страшенный, щемящий душу женский крик... Он сдуру побежал туда и стал звать брата. Он испугался. Стеньку узнали по голосу, и узнали, кто нырял — Ванька Разин. И схватил он не Нюрашку, а, как на грех, схватил казачку постарше, Феклу Миронову, и без того-то заполошную, а тут... Тут она выдала древний крик и сникла в воде. Ее вытащили на берег полуживую. Костька Миронов, муж Феклы, ночью же и пошел к Тимофею Разе — требовать судилища над сорванцами. Тимофей принял было к сердцу упрек и укоры Константина, вознамерился учинить расправу сынам, как только они заявятся домой... но Константин разошелся в обиде и забрал высоко:

— Наплодили живодеров каких-то! Они эдак голову кому-нибудь открутют — шастают по ночам-то. Чего по ночам шастать?

— Еслив она у тебя припадошная, то теперь и купаться в реке не моги? — сдержанно спросил Тимофей.

— Купаться!.. Он же, гаденыш такой, под их нырял! Купаться... Купайся он себе, чего его под баб понесло нырять? Ясное дело: испужать хотел, срамец.

— А ты чего это к гаду пришел жалиться? Рази ж гад тебя может понять? Гаденыш-то — от гада.

— И то, смотрю, — гады. Вся порода гадская — на ножах ходите, живорезы.

— Зачем нож?.. С крыльца-то я и так сумею тебя спустить, без ножа, — вконец обозлился Тимофей.

Поругались.

На прощанье Костька пригрозил:

— Я сам с имя управлюсь! Я им ходули-то повыдергаю!

— Это — как выйдет, — сказал Тимофей. — Спробуй.

Костька пробовал. Не вышло. Не смог.

Костька Миронов погиб вместе с Иваном Разиным в польском походе. Память о том роковом походе была свежа, сколь ни утекло времени, ныла и кровоточила раной под сердцем. И теперь видел Степан... Мучился про-

клятым видением: брата Ивана, головщика (предводителя казачьего отряда, полковника), и его есаулов, связанных, ведут к суковатой сосне. Иван шагал твердо, кривил в усмешке рот: никто не верил, что казаков повесят, и сам Иван не верил. Весь проступок казаков был в том, что они — по осени — послали горделивого князя Долгорукого к такой-то матери, развернулись и пошли назад — домой: зимой казаки не воевали. Так было всегда. Так делали все атаманы, участвовавшие в походах с царевым войском. Так поступил и Разин Иван. Князь Долгорукий догнал мятежный отряд, разоружил... А головщика принародно, среди бела дня, повел давить. Это было невероятно, поэтому никто не верил. Иван сам влез на скамью, ему надели на шею веревку... Только тут стали догадываться: это не нарочно, не попугать, это — казнь. Долгорукий был здесь же... Иван в последний момент с тревогой глянул на князя, спросил: «Ты что, сука?» Князь махнул рукой, скамью выбили из-под ног Ивана. Так было... И теперь Степан, как закроет глаза, видит страшную муку брата: бьется он в петле, извивается всем телом. И Степан скорей куда-нибудь уходил с глаз долой, чтоб не видели и его муку, какая отражалась на его лице. Вот уж чего ни в жизнь, видно, не позабыть!

«Славный царь!.. Славные бояре... Долгорукие: махнул белой рученькой — и нет казака. Во как!»

Степан стиснул зубы и весь напрягся от боли: боль лизнула сердце. Чтобы успокоиться, трижды сказал себе, не разжимая зубов: «Мгм, мгм, мгм», как если бы соглашался или уговаривал себя. И пошел в свой шатер на струге.

Долго еще гудел лагерь. Но все тише и тише становился этот гул, все глуше. Только самые крепкие головы не угорели вконец; там и здесь у затухающих костров торчали малые группы казаков, о чем-то невнятно беседующих. Храп стоял по всему берегу. Спали — где кто упал. Караульные оставались на местах и сменялись вовремя.

Вдруг среди ночи со стороны стругов раздался отчаянный женский вскрик. Он повторился трижды. На стружке с шатром, где находились молодая персиянка со своей нянькой, забегали. Громко всплеснула вода: кого-то не то сбросили, не то сам кто-то сорвался. И еще раз отчаянно закричала молодая женщина...

Степан проснулся как от толчка. Вскочил, нашарил

рукой саблю и, как был в чулках, шароварах и нательной рубахе, так выскочил из шатра.

— Там чего-то, — сказал караульный, вглядываясь во тьму. — Не разберешь... Кого-то, однако, пришшучили. Вроде бабенку...

Степан, минуя зыбкую сходню, махнул из стружка в воду, вышел на берег и побежал. Он знал, кого прищучили — его персиянку, он узнал ее голос.

К стружку пленниц бежал с другой стороны Иван Черноярец.

При их приближении мужская фигура на стружке метнулась к носу... Кто-то там, на носу стружка, помедлил, всматриваясь в ту сторону, откуда бежал Степан; должно быть, узнал его, прыгнул в воду и поплыл, сильно загребая руками. Когда вбежал на струг Иван, а чуть позже Степан, пловец был уже далеко.

У входа в шатер стояла персиянка, придерживала рукой разорванную на груди рубаху, плакала.

— Кто? — спросил Степан Черноярца. Его трясло.

— А дьявол его знает... темно, — ответил Иван. И незаметно сунул за пазуху пистоль.

— Дай пистоль, — сказал Степан.

— Нету.

Степан вырвал у него из-за пояса дротик и сильно метнул в далекого пловца. Дротик тонко просвистел и с коротким сочным звуком — вода точно сглотнула его — упал, не долетев. Пловец, слышно, наддал.

— Далеко, — сказал Иван, послушав всплески на реке.

Степан сгоряча начал было рвать с себя рубаху, Иван остановил:

— Ты что, сдурел? Он выплывет — и в кусты, а там его до второго Христа искать будешь. Он уж у берега почти...

Подошла сзади княжна, стала говорить что-то, показывать за борт. Потащила Степана к борту... Говорила быстро-быстро, так быстро, что Степан не понимал, хоть много знал по-персидски — мог бы в другое время понять.

— Чего? — не понимал он. — Кто там? Ты скажи мне, кто та-ам вон!.. — Степан повернул ее лицом к реке, показал. — Там-то кто?!

— Ге!.. — воскликнул Иван. —Старушку-то он, наверно, того — скинул! Он старуху туда? — спросил он княжну; та уставилась на него. Иван плюнул и пошел в

шатер. — Ну да! — крикнул оттуда. — Старушку тóрнул — нету. — Вышел из шатра, крикнул караульному на соседнем струге: — Ну-ка, кто там?!. Спрыгни, пошарь старушку.

Караульный разболокся, прыгнул в воду. Некоторое время пыхтел, нырял, потом крикнул:

— Вот она!

— Живая? — спросил Иван.

— Кого тут!.. Он ее, видно, зашиб ишшо до этого — вся башка в крове, липкая.

Степан мучительно соображал, кто тот пловец. Кто же это?

— Фролка! — сказал он. — Вот кто.

— Минаев? — изумился Черноярец. — Господь с тобой, Степан!.. Да ты что?

— Ну-ка... как тебя? — перегнулся Степан через борт, где шарился караульный.

— Пашка Хоперский, — откликнулся тот.

— Дуй до Фрола Минаева. Позови суда. Скорей!

— А эту-то куда?

— Оттолкни — пусть домой плывет, — велел Черноярец.

Княжна, догадавшись о чем-то, забеспокоилась, тронула Черноярца и стала знаками показывать, чтоб старуху подняли.

— Иди отсуда! — зашипел тот и замахнулся. — Тебя бы туда надо... змею черную. — Ивану как кто на ухо шепнул — вдруг понял он: Степан прав в своей догадке.

Караульный побежал к есаульскому стругу.

— Потеряли есаула, — горько вздохнул Иван. Он теперь вовсе не сомневался, что это был Фрол Минаев, бабский угодник, падкий на эту сладость. И знал, что Фрол — от атаманова гнева — двинет далеко теперь. Если совсем не скроется с глаз долой. Какую дурь спорол есаул!

— На дне морском найду, гада, — сказал Степан. — Живому ему не быть.

Черноярцу до смерти жалко было Фрола. В таком загуле, конечно, что-нибудь, да должно случиться, но потерять такого есаула... Из-за кого! Было бы хоть из-за кого.

— Может, она его сама сблазнила, — сказал он. — Чего горячку-то пороть?

— Я видел, как он на ее смотрит.

— Прокидаемся так есаулами, — не отступал Иван.

— Срублю Фрола! — рявкнул Степан. — Сказал: срублю — срублю! Не встревай.

— Руби! — тоже повысил голос Иван. — А то у нас их шибко много, есаулов, девать некуда! Руби всех подряд, кто на ее глянет! И я глядел — у меня тоже глаза во лбу.

Степан уставился на него... Помолчал несколько и сказал просительно, но глубоко неукротимо:

— Не наводи на грех, Иван. Добром говорю...

— Черт бешеный, — негромко сказал Иван. И пошел со струга.

По дороге встретил посыльного: тот возвращался с есаульского струга. Иван остановил его, спросил обреченно:

— Ну?

— Нету Фрола, — сказал посыльный. И хотел бежать дальше — сказать атаману.

— Погоди, — остановил Иван. Подумал, но ничего не придумал, махнул рукой. — Тьфу!.. Иди. — Он хотел выдумать какой-нибудь увертливый ход, но тут же и понял, что все без толку: случилось то, что случилось, никуда от этого не уйдешь. Хорошо, хоть Фрол вовремя дал тягу — несдобровать бы ему этой же ночью.

Иван еще постоял... И пошел будить стариков: Стыря и расстригу. Что-то такое ему все-таки влетело в лоб.

Степан сидел в шатре, подогнув под себя ногу, когда вошли Стырь и Ивашка Поп. Они еще не проспались как следует; их покачивало. Но что им надо делать, они знали.

— На огонек, батька, — сказал притвора Поп, старик блудливый, трусоватый, но одаренный краснобай и гуляка.

— Сидай, — пригласил Степан.

— Эхху, — вздохнул Стырь. — Какой я сон видал, Тимофеич!.. — И этот тоже пошел заходить издалека. Его не раз подсылали смирить атаманов гнев на милость. Иногда ему это удавалось. Степан любил старика (Стырь и отец Разина, Тимофей, были земляки — из-под Воронежа), уважал старого воина, но поблажек никаких не давал, Стырь даже обижался. «Ты только об мертвых сокрушаисся! — брякнул ему один раз Стырь. — Что потом кости-то жалеть? Ты лучше меня живого приветь». Степан помрачнел на это, но ничего сразу не сказал. Потом

уж, много позже, вроде мимоходом, спросил: «Ты со зла это? Или правда так думаешь?» А Стырь и думать забыл, не сразу и понял, о чем говорит атаман. «Да что мертвецов только жалею», — напомнил Степан. И пытливо смотрел в глаза старику. Стырь не растерялся, а кинулся далеко и туманно рассуждать, что он так, конечно, не думает, но порой ему кажется... Степан не дослушал, махнул с досадой: «Чего выворачиваться-то начал? Я тебя виню, что ли? Я же не виню». Но мысль эта — что он не жалеет товарищей, а жалеет, только когда их убьют, — эта колючая мысль застряла занозой, и Степан нет-нет, а невзначай пытал то одного, то другого. «Конешно, атаман у вас злой, никого не жалеет... Так, видно?» Нет, так не думали. Но, кто посмелей, не скрывали и того, как думают. Иван Черноярец, когда Степан допек его такими намеками, сказал напрямки: «Да пошто злой? Дурак бываешь, это правда, ты и сам про то знаешь, а злой... Не знаю. Не лезь ко мне, Степан, с такими делами, я тут тебе не помогу: не умею. Да и сам-то... не задумывайся шибко — злой, не злой... Какой есть». Нет, не понимал Иван, как это важно душе. Интересно бы с Фролом Минаевым поговорить, но тут Степан сам не давал себе ходу. Что-то тут останавливало. Может, то, что Степан постоянно чувствовал: не до конца искренен с ним Фрол, нараспашку здесь не будет, не выйдет... Что-то таил Фрол, завидовал, что ли, другу — его воинскому счастью, атаманству его, — что-то такое с некоих пор постоянно стояло между ними. А теперь с этой княжной... Не знали старики, Поп со Стырем, никто не знал, только Степан знал: не тронет он Фрола. Именно потому и не тронет, что —непросто между ними. Другого тронул бы, а Фрола почему-то нельзя. А почему нельзя, это и Степан не понимал, не мог как-то понять, но только знал, что — нельзя из-за девки.

— Ну? — спросил Степан. — Сон, говоришь?

— Чудной такой сон!.. — вскинулся было Стырь, но Степан осадил:

— Запомни: старухе расскажешь. Чего поднялись-то? Иван небось разбудил?

— Иван, — сознался Стырь. — Ты, Тимофеич, атаман добрый, а на Ивана хвоста не подымай. У нас таких есаулов — раз-два, и нету.

— А Фрол?.. — спросил Степан. — Фрол добрый был есаул. Мне его жалко. Иван, он, знамо, добрый есаул, но Фрол... У Фрола ведь и голова была.

— А пошто — «был», батька? — спросил Ивашка Поп, ужасно наивничая.

— Какой хитрый явился! Глянь на его, Стырь... От такой черт заморочит голову, и правда дурнем исделаесся. Нету больше Фролки. — Степан как будто даже рад был сообщить старикам эту печальную новость. И еще он злорадствовал, что старики с Черноярцем вместе так просто и глупо повели эту игру «в уговоры», так беспомощно и бестолково. А то уж больно все умные да хитрые, прямо не подкопаешься ни под кого — такие все умные и хитрые.

— А где ж он? — все простодушничал Поп.

— Пропал. Так мне его жалко!.. Ни за что пропал.

— Ну, можа, ишо не пропал?

— Пропал, пропал. Добрый был есаул.

Помолчали все трое. Степан представил, как мокрый Фрол лежит теперь где-то под кустом... Как он все же насмелился на такое дело, с княжной-то! Это удивляло Степана. То ли пьяный был в дымину, то ли взбесился вовсе. Как же он мог подумать, что ему это сойдет с рук? Ну, Фрол!.. Ну, поганец! Интересно, чего ты сейчас лежишь думаешь своей головой? Но вот что, пожалуй, не менее удивительно: когда давеча стали гадать, кто мог покуситься на княжку, о первом, о ком подумал Степан, — о Фроле. И это тоже удивляло, и безрассудство Фролкино удивляло. Он же осторожный человек. Что же с ним случилось?

— От я тебе одну сказку скажу, — заговорил Стырь. — Сказывал мне ее мой дед. Жил на свете один добрый человек...

Степан встал, начал ходить в раздумье.

— Посеял тот человек пашеницу... Да. Посеял и ждет. Пашеница растет. Да так податливо растет — любо глядеть. Выйдет человек вечером на межу, глянет — сердце петухом поет. Подходит страда...

— Я твою сказку знаю, дед, — прервал Степан. — Слушай, какую я тебе скажу. — Он трезво и серьезно посмотрел на стариков.

— А ну. Я люблю сказки. Больше всего — про чертей: отчаянные, мать их!.. А ну — сказку? — оживился Стырь.

— Жили на свете тоже добрые люди...

— Кхм. Так.

— Хорошо жили, вольно. Делали что хотели. А потом им сказали: «Больше вам воли нету». И стали их

всяко теснить. И жизнь их... стала плохая. — Степан посмотрел на стариков, невольно усмехнулся, видя, как озадачил он их своей притчей.

— И вся сказка?

— Что этим людям делать? — весело и значительно спросил Степан.

— Кто тебе такую сказку сказал? — поинтересовался Стырь.

— Один человек... Я теперь вас спрашиваю: как им быть-то?

— Вот спроси того человека: он знает, как быть. Кто затевает такие сказки, тот и должон знать, как быть. Припрет, так отгадаешь, как быть. Мы вон с отцом с твоим доразу отгадали, когда прижало-то. А как тот человек советует?

— Хорошая сказка, — в раздумье молвил Поп. — Жалко, конца не знаешь.

— Вот думаю: какой бы ей конец приделать? Славный надо конец. А? — Степан вызывающе и с нахальной веселостью посмотрел опять на Стыря. С некоторых пор он изводил старика зловещей выдумкой: будто Стырь подговаривает атамана «поднять на нож» царевы города по Волге — Астрахань, Царицын, Самару... К этой шутейной выдумке относились по-разному. Стырь злился и скоморошничал в ответ: «Не Самару, а уж Москву тада!» Иван Черноярец недоумевал, Фрол Минаев внимательно приглядывался к Степану, когда тот затевал странную перебранку со стариком, Ларька Тимофеев хоть скалился, но тоже с интересом и серьезно взглядывал на атамана — этим казалось, что в этой опасной шутке есть — не шутка. Но никогда об этом не говорили — ни атаман, ни есаулы. — Что молчишь-то? — спросил Степан. — Надо ж сказке конец приделать?

— Делай, — откликнулся Стырь, чувствуя, что атаман вознамерился опять позубоскалить. — Какой я тебе советчик?

— Кто же мне советчик тада, еслив не ты? Да не Поп вон... Вы много видали, много думали...

— Нашел думных! — воскликнул Стырь. — Мы те надумаем... Я вот думаю: где бы нам теперь сиушки раздобыть? У тебя нету?

— Нету, — серьезно сказал Степан. — Чего приперлись? Фрола выручать? Рази так делают, как он?

— Он спьяну, батька. Сдурел, — осторожно повел было расстрига Поп. — Ударило в голову...

— Пускай молоко пьет, раз с вина дуреет, — отрезал Степан.

— Брось, Тимофеич, — серьезно сказал Стырь. — Серчай ты на меня не серчай, скажу: не дело и ты ведешь. Где это видано, чтоб из-за бабы свары какой у мужиков не случалось? Это вечно так было! Отдать ее надо — от греха подальше. А за ее ишо и выкуп хороший дадут. За ее да за брата ейного надо...

— Ладно! — обозлился Степан. — Явились тут... апостолы. Сами пьяные ишо, проспитесь. Завтра в Астрахань поедем.

«Апостолы» замолкли. Иван Поп, тот и вовсе заспешил к выходу — подталкивал Стыря.

— Идите спать, — уже мягче сказал Степан. — А то... сны какие-то принялись тут рассказывать... Делать нечего.

Старики вышли из шатра, постояли и ощупью стали спускаться по сходне — одной гибкой доске, на которой в изредь набиты поперечные рейки.

— А ты, Иване, догадлив: голову за пазушку положил, — с сердцем сказал Стырь. — Чего же язык проглотил, когда я про девку-то заикнулся? То — «надо присоветовать ему», а то онемел сразу. И присоветовал бы — самое время.

— Боюся, — просто сказал расстрига. — Зачем, думаю, на свою руку топор ронять?

— Э-э... да ты из этих, правда-то, из думных? — съехидничал Стырь.

Расстрига вздохнул. Помолчал и сказал с грустью:

— Был когда-то и во мне молодца клок — выдрали.

На берегу их ждал Иван Черноярец.

— Ну? — спросил есаул; он надеялся на стариков.

— Отойдет, — пообещал Стырь. — Весь в деда свово: тот, бывало, оглоблю схватит — дай бог ноги. Потом ничего — отходил. И у этого ухватки такие же. Вылитый дед Разя.

— Оглобля — куда ни шло, — заметил Черноярец. — Этот чего похуже хватает.

— Лют сердцем, правда. А вот Иван у их был — девка красная! Вот кого я любил! И этого люблю, но... боюся, — признался и Стырь. — Не поймешь никак, что у его на уме.

— Извести ее, что ли, гадину? — размышлял вслух есаул. — Насыпать ей чего-нибудь?..

— Не, Иван, то грех. Что ты! — чуть не в один голос сказали старики.

— С ей хуже грех! «Грех»... Мы из-за ее есаула вон потеряли — вот грех-то!

— Нет — грех страшенный: травить человека, — стояли на своем старики; особенно расстрига взволновался. — Грех это великий. Лучше так убить.

— Убей так-то! — воскликнул есаул. — На словах-то вы все храбрые...

— Посмотрим. Домой он ее, что ли, повезет? Там Алена без нас ей голову открутит. Где Фрол-то? — спросил Стырь.

— Вон, у огня сидит. Сушится. Как завтра-то быть? — Черноярец был в большом затруднении. — Ума не приложу.

— Пошли к Фролу, — сказал Поп. — Чего-нибудь придумаем.

— Что-то у меня голова какая-то стала?.. Забыл, чего-то хотел сказать тебе, Иван... — Стырь придержал есаула, потер ладошкой лоб. — Чего я хотел сказать-то?

— Ну? — недовольно сказал есаул. — Чего?

— А-а!.. Спомнил: пошли выпьем по чарочке! Прямо из головы вылетело. С вечера же ишо помнил...

— Чтой-то, Стырь, худой ты становисся, — заметил Черноярец. — Такие дела забываешь... Стареешь?

— Я? Нисколь. Кто тебе сказал?

— Стареешь. — Есаул любовно хлопнул старика по загривку. — Ты рази такой был? Я же помню...

— Старею, Ваня. Осталось мне выпить на этом свете всего... двадцать бочек вина. — Стырь сказал это с наигранной грустью, даже сморкнулся как-то печально.

— Сгоришь к черту.

— Не сгорю! — распрямился Стырь. — Я хоть и старый, да старого замеса, не вам чета. Случись я давеча заместо Фрола, у меня бы осечки не было. Вы только башкой берете, а мы, как яички, — со всех сторон круглые. Хоть поставь нас, хоть положь — мы все на боку. Так-то, паря.

— Что-то надо с ей делать, — опять вспомнил Черноярец княжну. — На Дону ей делать нечего! Куда?!

Он был не злой человек, Иван Черноярец, но святое воинство для него — истинно святое, на том он стоял, за то и любили его в войске, и уважали.

Трое свернули от берега в сторону дальнего костра,

возле которого сушился Фрол Минаев. С того берега его перевез в лодке Черноярец.

Где-то во тьме невнятно пели двое:

Ох,
Бедный еж!
Горемышный еж!
Ты куды ползешь?
Куды ежисся?..

«Бедный еж» нашел наконец родную душу.

ПРАЗДНИК, которого так ждали казаки, отшумел. И славно! Так и было всегда. А как же, если не так? Где есть одна крайность — немыслимое терпение, стойкость, смертельная готовность к подвигу и к жертве, там обязательно есть другая — прямо противоположная. Ведь и Разин не был бы Разин, если бы почему-то — по каким-то там важным военачальным соображениям — не благословил казаков на широкую гульбу. Никаких иных, самых что ни на есть важных соображений! Так русский человек отдыхает — весь, душой и телом. Завтра будут иные дела. Будет день — будет пища. Это на Руси давно сказали.

6

Утро занялось светлое.

После тяжкой угарной ночи распахнулась ширь вольная, чистая. Клубился туман.

Собиралось посольство в Астрахань.

Степан сидел на носу своего струга. С ним вместе на струге были: Иван Черноярец, Стырь, Федор Сукнин, Лазарь Тимофеев, Михаил Ярославов, княжна. Княжна сидела нарядная и грустная. Степан тоже задумчив. Казаки помяты, хмуры с похмелья: Степан не дал опохмелиться, а упрашивать бесполезно — не даст, знали.

Иван Черноярец распоряжался сборами. Наряжалось двенадцать стругов. Хотели перво-наперво пустить астраханцам пыль в глаза: удивить богатством, дорогим оружием.

— Князька-то взяли?! — кричал Иван. — Как он там?

— Ничего! Харю ему маленько спортил батька вчера, а так ничего, веселый!

— Напяльте на его поболе. Пусть смеется, скажите! Прапоры взяли?! (Знамена.)

— Взяли!.. А сколь брать-то?

— Тимофеич, сколь прапоров брать? На каждый стружок?

Степан подумал.

— Десять.

— Десять! — крикнул Иван. — Поисправней выберите!

Двенадцать стругов пылали на воде живописным разноцветьем. Потягивал северный попутный ветерок; поставили паруса. Паруса были шелковые, на некоторых нашиты алые кресты. Снасти тоже из шелка. Двенадцать стружков, точно стая белогрудых лебедей, покачивались у берега, готовые отвалить.

К Степану подошел Стырь (казаки подослали).

— Что, Тимофеич, хотел я тебе сказать... — начал было он.

— Нет, — кратко ответствовал Степан. — Гребцам можно по чарке. Иван!..

— О!

— Гребцам по чарке! Больше никому!

— Добре! — Пасмурное настроение атамана тяготило Ивана, но он старался делать вид, что все хорошо. Ничего. Дело делается, чего еще? Первый есаул нарочно бодрил себя и других.

Гребцы оживились, услышав про чарку. Посмотрели на есаулов весело.

Стырь, печальный, пошел к своему мосту. Оглянулся на атамана... Подсел к одному смуглому гребцу.

— Васька, ты помнишь, собачий сын, как я тебя тада выручил? — ласково спросил он. — Когда тебя к березето привязали...

— Помню, диду. А чарку не отдам. — Васька сплюнул за борт горькую слюну. — Я лучше ишо раз к березе стану...

— Пошто? Ты же как огурчик сидишь! А у меня калган счас треснет. Помру, наверно. Неужель тебе не жалко? А? Васьк...

— У меня у самого... — заговорил было смуглый Васька, но Стырь притиснулся к нему ближе, чуть не обнял, и горячо зашептал, обдавая вонючим перегаром:

— Погоди-ка. Давай такой уговор: ты мне счас отдаешь свою вшивую чару, а дома поедем в Черкасск к Мирону Чорному — сватать за тебя его девку...

— Я про ту девку ни сном ни духом, — изумился Васька. — Я ее в глаза не видал. Ты что?

— Увидишь. Он мне кумом доводится, Мирон-то. А девка у его — не девка, клад. Кресница моя. Ну? А вино у Мирона — ты небось слышал?.. Ты спроси у любого тут: «Что за вино у Мирона?» — тебе скажут. Мы там будем три недели гулять...

В группе, где есаулы, шел негромкий разговор. Свои дела.

— Он где счас-то?

— В тальнике где-то, Иван сховал.

— Ну, он хучь добрался до ее?

— Не успел.

— Жалко. Страдать, дак хоть уж знать за что.

— Иван подговаривает уморить ее как-нибудь...

— Как?.. Догадается ведь. Вперед надо было. Теперь — сразу к нам кинется. Нет, тут всем тада несдобровать.

— Мда-а... От сучка-то! Сгубила казака.

— Да он, Фрол-то, тоже... ни одну бабенку так не пропустит.

— Заглядывался он на ее, я давно замечал. А тут, видно, перебрал вчерась... Не утерпел.

Есаулы приняли близко к сердцу несчастье своего товарища. Жалко было Фрола. Люто возненавидели красавицу княжну. Только двое из них оставались спокойными, не принимали участия в пустом разговоре: Ларька Тимофеев и Федор Сукнин. Эти двое придумали, как избавиться от княжны. Придумал Ларька.

Этот казак с голубыми ласковыми глазами любил Степана особой любовью и предан атаману совсем не так, как преданы все, кто идет за ним, за его удачей. Он хотел, чтобы атаман — был атаман всецело, чтобы вокруг атамана все никло и трепетало, и тогда, за такого атамана, он, не задумываясь, положил бы голову. Тут он не знал удержу. И когда он видел, как Степана что-нибудь уклоняет с избранного пути, он искренне страдал. Он готов был изрубить человека, который нехорошо повлиял на атамана, готов был сам ползать на брюхе перед атаманом — чтоб все видели и чтоб все тоже ползали, — лишь бы величился любимый «вож» и благословлялось удачей его дело. Если он, к примеру, страшился гнева атамана, то редко-редко страшился на самом деле — больше показывал, что страшится. Он не боялся, но любил, и если бы он когда-нибудь понял, что атаман совсем сбился с пути истинного, он лучше убил бы его

ножом в спину, чем своими глазами видеть, как обожаемый идол поклонился и скоро упадет.

Сегодня утром Ларька открылся Федору: он придумал, как умертвить княжну. План был варварски прост и жесток: к княжне разрешалось входить ее брату, молодому гордому князьку, и он иногда — редко — заходил. Пусть он войдет к сестре в шатер и задушит ее подушкой. За это Ларька — клятвенное слово! — сам возьмется освободить его из неволи. Здесь — Астрахань, здесь легко спрятать князька, а уйдут казаки, воеводы переправят его к отцу. Объяснение простое: князек отомстил атаману за обиду. У косоглазых так бывает.

Федор изумился такой простоте.

— Да задушит ли? Сестра ведь...

— Задушит, я говорил с им. Ночью через толмача говорил... Только боится, что обману, не выручу.

— А выручишь?

— Не знаю. Можа, выручу. Это — потом, надо сперва эту чернявочку задавить. Как думаешь? Надо ведь!..

— Давай, — после некоторого раздумья сказал Федор.

Так они порешили сегодня утром.

— А куда он ее счас-то повез? — продолжали негромко беседовать есаулы. — Зачем? Перед воеводами, что ли, выхвалиться?

— Черт его знает... Нарядил!

Посмотрели на княжну. Княжна грустила по няньке своей, которую решил этой ночью Фрол Минаев. Няньку так и не вытащили из воды — оттолкнули плыть.

Подошел Стырь. Судя по глазам, он уломал Ваську.

— Ну? — спросили его из есаульской группы.

— Не велел, казачки́, — весело сказал Стырь. — Ни в какую. Всяко пробовал. Уже и так и эдак подкатывался... Нет! Ничего, потерпите, ребяты. А то правда — на такое дело едем...

— А ты где-то уж урвал! — с завистью сказал Мишка Ярославов. — Ишь как разговорился. Тут на свет белый глядеть неохота, а он ишо тараторит... Урвал?

— Урвал, — сознался Стырь. — Хлопец один должок отдал.

— Кто б мне тоже должок отдал! — вздохнул Мишка.

— Потерпите, — благодушно посоветовал Стырь. — Вот побываем у воеводы, потом уж разговеемся.

Тем временем Степан махнул рукой.

А минутой раньше он же, Степан, пока есаулы раз-

говаривали между собой, велел сказать Ивану Черноярцу, чтоб он ссадил на берег молодого князька, которого тоже готовили с собой в посольство. Иван с недоумением поглядел с соседнего струга на Степана... Тот кивнул головой, подтверждая, что — да, ссади. Иван свел нарядного князя и отдал казакам, которые оставались. Зачем так сделал атаман, Иван не понял. И никто не понял. Потом уж, позже, многие догадались: чтобы князь не знал о горькой участи своей сестры и нигде бы не рассказывал, что́ ему довелось видеть.

Головной струг, а за ним остальные выплыли из Болды в Волгу. Сразу набрали хороший ход.

Степан сидел в той же позе, привалившись боком к борту, посасывал трубку. Изредка взглядывал на есаулов. Видел, что — шушукаются. И уж знал, зна-ал, какие они там разговоры ведут.

Княжна сидела одна. Она даже похудела за эту ночь.

Есаулы все разговаривали. В сторону атамана не смотрели.

А Степан уже неотступно смотрел на них... И взгляд его стал нехороший — внимательный. Он вздохнул. И вдруг вскочил и, шагая через нашестья, быстро пошел к ним. Есаулы невольно поднялись навстречу. Лазарь Тимофеев потрогал саблю...

— Прячете Фрола! — тихо закричал Степан, хватая первого попавшегося за грудки. Им оказался Федор Сукнин. Степан толкнул его. Тот споткнулся сзади о нашестье, грохнулся. — В гробину вашу, в кровь!.. — Еще один есаул полетел от сильного толчка, Мишка. — Жалко Фрола? А я вам кто?!. Я атаман или затычка?! Мной помыкать можно?! Собаки!.. Шепчетесь тут?!.

Двое успели выхватить сабли — вскочивший Федор и Ларька. Федор прямо пошел на Степана, Ларька оказался сбоку и тоже двинулся к атаману.

— А-а, — вдруг вовсе тихо, как-то даже радостно сказал Степан, и в руке его сверкнул косой белый огонь. — Ну?..

Никто не заметил, как выхватил саблю подоспевший Иван Черноярец; увидели только, он махнул рукой... Тонкий, короткий звяк, и сабля Федора Сукнина перелетела через борт и булькнула в воду: Иван вышиб ее у Федора. И он же заслонил Федора и оказался перед Степаном. Федора оттолкнул дальше назад Мишка Ярославов, ибо Федор, очутившись без сабли, засуетился рукой у пояса, где пистоль.

— Миротворец, — тихо и вкрадчиво сказал Степан. — Ну?.. Спас атамана? Спас? — И шел на Ивана, страшный, белый; губы его покривились обидой, тряслись, он никак не мог ими улыбнуться.

— Уймись, шальной! — крикнул Иван. — Что ты делаешь?

— Ать! — Степан резко качнулся вбок... И Ларька чудом уцелел — увернулся. Все же концом сабли Степан черкнул Ларьку по руке. — На-ка!..

В момент, когда Степан повернулся к Ларьке, Иван кинулся на Степана, растопырив руки, — хотел схватить. Степан с нечеловеческой быстротой нырнул ему под руку и подставил ногу. Иван упал, но сабли не выронил, крутнулся лежа, поднял саблю, чтоб заслониться ею от неминучей смерти. Но сабля атамана уже взлетела над ним...

— Пропал, казаче! — крикнул Степан Черноярцу.

В этот момент грянул выстрел. Степан с силой всадил саблю в дно стружка на четверть от Ивановой головы. Только после этого повернулся на выстрел.

— Кто стре́лил?

— Я, — сказал Иван Аверкиев. — Хотел...

— Куда метил? В руку?

— В саблю, батька. Святой крест, в саблю. Хотел выбить.

Степан сел на лавку, сплюнул за борт.

— Ну, повоевали, и будет. — Ядовитая, злая тоска, которая с утра ела сердце, схлынула. Легко стало. — Рассказывайте, чего вы тут шептались?

Случившееся произошло с такой быстротой, что не все сразу опомнились. Отовсюду, со всех стругов, на атамана во все глаза смотрели казаки. Атаман махнул им — гребите.

— Садись, — пригласил Степан есаулов. Он даже повеселел — так легко сделалось на душе. — Ларька, покажь руку. Как мы ее там?.. На атамана — с саблей! Бесстыдник.

— Что я, рубить, что ль, стал бы?

— Показывай руку. А что б ты стал? Причесывать?

— Плашмя бы достал — чтоб руку отсушить.

— Показывай рану. Я те отсушу... Нашелся!

Ларька, морщась от боли, стянул рукав кафтана, разорвал рубашку... Подошел к Степану. Тот оглядел рану. Рана была незначительная, даже до кости не достало.

— Память, Ларька: не крадься сбоку. Ходи теперь с зарубкой...

— Ты сдурел, Степан, — с упреком сказал Иван. — Так можно заикой сделаться. Чего взбесился-то?

— Ты хоть заранее сказывай: буду пужать, — попросил Стырь. — А то я чуть в штаны не наделал.

— Будет про это, — сказал Степан. Помолчал... Посмотрел на реку, на безоблачное небо, промолвил, вроде как с сожалением: — Ясно-то как!.. Господи! Конец лету. — Глянул на есаулов, остался недоволен: — Ну, пошли глаза пялить! Вёдро, говорю, стоит! Стало быть, хорошо! И нечего глаза пялить...

Есаулы молчали. Таким они своего атамана еще не видели: на глазах двоился — то ужас внушал, то жалость.

Степан поднялся, пошел в нос струга. На ходу легко взял княжну, поднял и кинул в воду. Она даже не успела вскрикнуть. Степан прошел дальше, в самый нос, позвал:

— Идите ко мне!

Он сел, опять привалился боком к борту... Коротко глянул на воду, куда без крика ушла молодая княжна... В глазах на миг вскинулась боль и тоска, он отвернулся.

Есаулы подошли; кто присел, кто остался стоять. На атамана боялись смотреть. Теперь уж — только боялись: кому-то да эта княжна отольется слезами. Но кто знал, что он так ее маханет? Знай есаулы, чего он задумал, может, и воспротивились бы... Хотя вряд ли. Может, хоть ушли бы на это время. Как-то не так надо было, не на глазах же у всех... Было ли это обдумано заранее у Степана — вот так, на глазах у всех, кинуть княжну в воду? Нет, не было, он ночью решил, что княжну отдаст в Астрахани. Но после стычки с есаулами, где он вовсе не пугал, а мог по-настоящему хватить кого-нибудь, окажись перед ним не такие же ловкие, как он сам, после этой стычки разум его замутился, это был миг, он проходил мимо княжны, его точно обожгло всего — он наклонился, взял ее и бросил. Теперь он возьмется жалеть ее, тосковать, злиться станет...

— Ларька, чего насулили Львову? Перескажи, — велел Степан.

— Отдать прапоры, пушки... — стал пересказывать Ларька: это то, что они, по научению атамана, согласились отдать во время переговоров с князем Львовым у устья Волги.

— Сколь?
— Не уговаривались. Сказали, чижолые отдадим.
— Ну? Дальше.
— Ясырь. Струга морские, припас... Но припас и струга — в Царицыне. Служилых людишек, какие с нами, он говорит, отпустить...
— Как же мы без припасу останемся? — встрял Черноярец.
— Погоди. Ишо?
— Ишо: бить челом царю за вины. Без того, мол, не пустим на Дон: царь, мол, с их тоже спросит, зачем...
— Иван, сколь пушек у нас?
— Сорок две всех.
— Ишо чего, Ларька?
— Рухлядь, какую на бусах взяли...
— Ишо?
— Все вроде. Ну, к присяге станем — само собой.
— Мишка, списал, чего в дар везем?
— Списал, — живо откликнулся Ярославов.
— Ну-ка?
— Воеводе: бархат красный заморский — шесть бунтов, девять тюков сафьянов — в тюку по пять сафьянов, три килима рытых, кутни с травами — четыре косяка, липты золотые — сорок аршин, педолиски — три, снизки с яхонтом — две, дорожки с золотыми травками — тридцать аршин, кружева шемахинские с золотом и серебром — две стопы, чашки золотые — тринадцать, тридцать юфтей шемахинских — в четырех узлах. Этому воеводе везем, второму: сорок юфтей шемахинских — пять узлов, десять косяков кружев с золотом и серебром, две какие-то книги, ковер большой турецкий с шелком, три штуки бархату золотного, ишо сундук с книгами грецкими, восемь пар пистолей с озолотной оправой, пять косяков тафты струйчатой разных цветов, хрусталей — не счесть, шелк...
— Насобачился ты в этом деле! — удивился Степан. — Чешет, как поп обедню.
— Ишо списки есть...
— Будет. — Степан посмотрел на есаулов. Спросил: — Будет аль нет — глотки-то заткнуть? Али мало?
Есаулы промолчали: никто не знал этого. Только Черноярец высказал свое мнение:
— Выше ноздрей. Припас-то зачем посулились отдать?

— Федор, — позвал Степан, — посылал кого-нибудь, куда я велел?

— Семерых. Пятеро пришли, двое ишо в городе.

— Чего говорят?

— Ждут, говорят, казаков: охота на наше богатство глянуть.

— Ну? Это я без их знаю. Про стрельцов-то?

— Стрельцы-годовальщики домой собираются, ждут новых. Воевать с нами не склоняются. Про цареву милостивую грамоту к нам — знают, даже посадские знают.

Степан вытащил из-за себя небольшую кожаную сумку с тяжелым содержимым. Бросил Федору. В сумке звякнуло, когда Федор поймал ее.

— Дак как с припасом-то! — всерьез обеспокоился Черноярец, глядя на атамана и на есаулов. — Чего вы, на самом-то деле? Куда мы без припасу?!

— Быть бы беде, Ваня, да случились деньги на бедре. Федор, передай Красулину — наособицу, чтоб не видал никто. Я тоже думаю, хватит. А там поглядим, как они... Покажем себя строго. Нос кверху шибко не драть, но и... телятами тоже не притворяйтесь: волки съедят. Смотрите за мной: я в таких делах бывал.

Бывал — есаулы знали. Молчали.

— Ну, рады теперь ваши душеньки? — вдруг зло спросил атаман. И зло и обиженно поглядел снизу на есаулов. — Довольные?.. Живодеры.

И на это ему никто ничего не сказал. Не то чтоб есаулы очень уж были довольны, но... теперь случилось. А раз уж случилось, то оно и к лучшему.

* * *

Народу высыпало на берег — видимо-невидимо. Кричали, махали руками, платками... Рады были. Счужу хоть порадоваться: вольные, богатые люди пожаловали в город. Никого не боятся.

Казачьи струги ткнулись в камни. Казаки сошли на берег и двинулись к Кремлю. Человеческое море расступилось, образовало неширокий проход; казаки влились в этот проход яркой, цветастой рекой.

Степан шел в окружении есаулов, ничем особенным не выделяясь среди них: на нем было все есаульское. Только оружие за поясом побогаче. И все-таки его узнавали, показывали на него... Он шел спокойно, голову держал прямо, чуть щурил глаза.

Четыре дюжих казака шли впереди, раскидывали медные и серебряные деньги.

— А не послать ли нам воеводу к такой-то матери? — спросил вдруг Черноярец. — Тимофеич? Ты глянь, что делается!.. — Они шли рядом; Черноярец посмотрел на атамана. — А, Тимофеич? — Тимофеичем Черноярец звал Степана, когда какое-нибудь рискованное дело, затеянное атаманом, оборачивалось большой удачей.

Степан молчал. Вроде не слышал.

— Я, мол: не кланяться б нам теперь воеводе! Хозяева-то мы получаемся, не воеводы. Тимофеич!..

Степан еще больше сощурил глаза. Наверно, Степан был счастлив. Он был рад.

— Дай срок, Ваня, — сказал он негромко. — Не егозись пока. Может, пошлем, не теперь только. А охота послать-то? — Степан глянул на первого есаула и засмеялся.

Народ ликовал на всем пути разинцев. Даже кто притерпелся и отупел в рабстве и не зовет свою жизнь позором, кому и стон-то в горло забили, все, с малолетства клейменные, вечно бесправные, и они истинно радуются, когда видят того, кто ногами попрал страх и рабство. Они-то и радуются! Любит народ вождей смелых, добрых. Слава Разина бежала впереди него. В нем и любили ту захороненную надежду свою на счастье, на светлое воскресение; надежду эту не могут, оказывается, вовсе убить ни самые изощренные, ни самые что ни на есть тупые владыки этого мира. Народ сам избирает себе кумира — чтобы любить, а не бояться.

С полсотни казаков вошли с Разиным в Кремль, остальные остались за стенами.

7

Чтоб подействовать на гордого атамана еще и страхом божьим, встречу с ним астраханские власти наметили в домашней церкви митрополита. Так надоумил митрополит.

— Знамо, он — подлец отпетый, — сказал митрополит, — но все же... крестили же его! Тут мы его лучше проймем.

Перед небольшим алтарем стоял длинный стол, за ним восседали: князь Иван Прозоровский, князь Михайло Прозоровский, князь Семен Львов, дьяк, подьячий, митрополит, голова стрелецкий Иван Красулин, еще

пять-шесть приказных — всего человек двенадцать-тринадцать.

— Э!.. — сказал Степан, входя в церковку и снимая шапку. — Я в Соловцах видал: вот так же на большой иконе рисовано. Кто же из вас Исус-то?

Разин, еще молодым человеком не раз ходивший послом к калмыкам — склонять тайшей против крымцев (при этом сперва надо было раззудить до визга давнюю злобу калмыков к Малому Ногаю, а уж через Малый Ногай направить эту злобу на Крым), бывший в «головщиках» крупных отрядов в войне с тем же Крымом, к тридцати годам повидавший Азов, Астрахань, Москву, Соловки... Этот самый Разин, оказываясь перед лицом власть имущих (особенно когда видели казаки), такого иногда дурака ломал, так дерзко, зло и упорно стоял на своем, что казалось, — уж и не надо бы так. Не узнавали умного, хитрого Стеньку, даже опасались: этак и до беды скоро. Наверное же, многоопытный атаман понимал потом, что вредит себе подобными самозабвенными выхлестами, но ничего не мог с собой сделать: как видел какого властителя (с Москвы на Дон присылаемых или своих, вроде Корнея), да еще важного, строгого, так его прямо как бес в спину толкал: надо было обязательно уесть этого важного, строгого.

— Сперва лоб перекрестить надо, оголтеи! — строго сказал митрополит. — В конюшню зашли?!

Разин и все казаки за ним перекрестились на распятие.

— Так: это дело сделали, — сказал Степан. — Теперь...

— Всю ватагу привел?! — крикнул вдруг первый воевода, покраснев. — Был тебе мой указ: не шляться казакам в город, стоять в устье Болды! Был или нет?

— Не шуми, воевода! — Резкий голос Степана тоже нешуточно зазвучал под невысокими сводами уютной церковки. — Ты боярин знатный, а все не выше царя. В его милостивой грамоте не сказано, чтоб нам в город не шляться. Никакого дурна мы тут не учинили, чего ты горло дерешь?

— Кто стрельцов в Яике побил? Кто посады пограбил, учуги позорил?.. «Никакого дурна»! — сказал митрополит тоже зло.

— Был грех, за то приносим вины наши государю. Вот вам бунчук мой — кладу, — Степан подошел и поло-

жил на стол перед воеводами символ власти своей. — А вот прапоры наши. — Он оглянулся... Десять казаков вышли вперед со знаменами, пронесли их мимо стола, составили в угол — тряпки на колышках.

Степан стоял прямо, в упор смотрел на сидящих за столом.

— А вот дары наши малые, — продолжал он, не оглядываясь.

Опять казаки расступились... И тринадцать молодцов выступили вперед, каждый нес на плече тяжелый тюк с дорогими товарами. Все сложили на пол в большую кучу. И отошли.

— Мишка! — позвал Степан.

Мишка Ярославов разложил на столе перед властителями листы. Заважничал дурашливо, уловив игривую торжественность момента и подражая атаману.

— Списки — кому чего, — пояснил он. — Дары наши...

— Просим покорно принять их. И просим отпустить нас на Дон, — сказал Степан. Он дурачился, но куда как изобретательнее Мишки, мудрее.

За столом случилось некое блудливое замешательство. Знали: будет Стенька, будет челом бить, будут дары... Не думали только, что перед столом будет стоять крепкий, напористый человек и что дары (черт бы побрал их, эти дары!) будут так обильны, тяжелы... Так захотелось разобрать эти тюки, отнести домой, размотать... Князь Львов мигнул приказным; один скоро куда-то ушел и принес и подставил атаману табурет. Степан сильно пнул его ногой. Табурет далеко отлетел.

— Спаси бог! — воскликнул атаман. — Нам надо на коленках стоять перед такими знатными господарями, а ты табурет приволок, дура. Постою, ноги не отвалются. Слухаю вас, бояре!

Видя растерянность властей, атаман выхватил у них вожжи и готов был сам крепкой рукой пустить властительный встречный выезд — в бубенцах и в ленточках — с обрыва вниз. «Процесческого» спектакля не вышло. Дальше могло быть хуже.

Князь Иван Прозоровский поднялся и сказал строго:

— Про дела войсковые и прочия разговаривать будем малым числом. Не здесь.

Воеводы, дьяк и подьячий с городской стороны, Степан, Иван Черноярец, Лазарь Тимофеев, Михайло Ярославов, Федор Сукнин — с казачьей удалились в при-

казную палату толковать «про дела войсковые и прочия».

На переходе из церкви митрополита в приказную палату, в тесном коридорчике со сводчатым потолком, Степан нагнал воеводу Львова, незаметно от всех тронул его за плечо. Тот, опасаясь, что их близость заметят, приотстал. Нахмурился.

— Здоров, князюшка! — тихо сказал Степан.

— Ну? — недовольно буркнул тот, не глядя на атамана.

— Здоров, говорю.

— Ну, чего?

— Хочу тебе про уговор наш напомнить...

— Дьявол! — зашипел князь. — Чего тебе надо? Мало — прошел на Астрахань?

— Я неоружным на Дон не пойду, — серьезно заявил Степан. — Не доводите до греха. Уговаривай их... Я в долгу не остаюсь. Голый тоже домой не пойду, так и знай.

— Знаю! Ивана Красулина подкупил?

— Бог с тобой! Как можно — голову стрелецкую! — притворно изумился атаман. — Где это видано!

— Дьявол ты, а не человек, — еще раз сказал князь. — Подлец, правда что.

— На море-то правда хотел побить меня? — миролюбиво спросил Степан. — Или — так, для отвода глаз? Небось, если б вышло, — и побил бы?.. Я думал, там Прозоровский был: грешным делом, струсил.

— Отойди от меня! — зло сказал князь.

Степан отошел. И больше к Львову не подходил и даже не смотрел в его сторону: он все сказал, а князь Львов все понял — это так и было.

* * *

Митрополит обратился к оставшимся казакам с речью, которую, видно, заготовил заранее. Историю он рассказал славную!

— Я скажу вам, а вы скажите своему атаману и всем начальным людям вашим и подумайте в войске, что я сказал. А скажу я вам притчу мудреную, а сердце ваше христолюбивое подскажет вам разгадку: можно ли забывать церкву господню! И как надо, помня господа бога, всегда думать про церкву его святую, ибо сказано: «Кесарево — кесарю, богово — богу».

Казаки попачалу с интересом слушали длинного сухого старика; говорил он складно и загадочно.

Митрополит начал:

— Заповедает раз господь бог двоим-троим ангелам: «О вы, мои ангелы, три небесных воеводы! Сойдите с неба на землю, поделайте гуслицы из сухого явору да подите по свету, будто пчела по цвету. От окна божьего — от востока солнечна, и пытайте все веры и все города по ряду: знает ли всякий о боге и божьем имени?» Сошли тогда ангелы, поделали гуслицы из сухого явору. Пошли потом по свету, будто пчела по цвету. От окна божьего — от востока солнечна, и пытают все веры и все города по ряду: знает всякий о боге и о божьем имени?

Казаки помаленьку заскучали: похоже, святой старик разбежался издалека — надолго. Часть их, кто стоял сзади, незаметно улизнули из церковки на волю.

— И вот пришли перед дворы богатого Хавана — а случилось то прямо в святое воскресенье — и стояли ангелы до полуденья. Тут болели они и ногами, и руками трудились белыми, от собак бороняючись. Вышла к ним Елена, госпожа знатная. Перед ней идут служаночки, и за ней служаночки. И вынесла Елена, госпожа знатная, обгорелый краюх хлеба, что месили в пятницу, в субботу в печь сажали, а в воскресенье выпули...

Вовсе поредела толпа казаков. Уж совсем мало слушали митрополита. Митрополит, видя это, заговорил без роздыха:

— Не дала его Елена, как бог милует, бросила его Елена башмаком с ноги правыя: «Вот вам, убогие! Какой это бог у вас, что прокормить не может своих слуг при себе, а шлет их ко мне? У меня мой бог на дому, сотворил мне мой бог дворы, свинцом крытые, и столы серебряны, много скота и имения...»

— Передохни, отче, — посоветовал Стырь. — Запалился.

— Тогда пошли ангелы. Повстречал их Степан, верный слуга Хавана. И говорят убогие: «Послушай-ка, брат Степан, удели, ради бога, чего-нибудь». А Степан им: «Послушайте, братья убогие, ничего нигде нет у меня, кроме одного ягненочка. Служил я у Хавана, служил полных девять лет, ничего-то он не дал мне, кроме одного ягненочка. Молоком побирался я и ягненка откармливал. Теперь мой ягненок самый лучший из всех овец. Будь здесь мой ягненочек, я бы вам отдал его теперь».

Говорят ему ангелы: «Спасибо, брат Степан! Если то и на сердце, что на языке, — тотчас ягненок будет здеся». Обернулся Степан — ан идет ягненочек через поле, блеючи: он Степану радуется, будто своей матушке. Взял Степан ягненочка, поцеловал его три раза, потом дал убогому. «Вот, братья убогие, пусть на вашу долю пойдет. Вам на долю, а мне — заслуга перед богом!» — «Спасибо, брат Степан!» И ушли ангелы. И увели ягненочка. Когда пришли ангелы к престолу Христову, сказывают господу, как что было на земле. А господь знает тó лучше, чем как они сказывают. И молвил им господь бог: «Слушайте-ка, ангелы, сойдите вы с неба на землю да идите ко двору богатого Хавана, на дворе ему сделайте болотное озеро; схватите Елену, повяжите на шею ей каменье студеное, привяжите к каменью нечестивых дьяволов, пусть ее возят по мýке, как лодочку по морю». Вот какая притча, — закончил митрополит. И крепко потер сухими белыми руками голову, виски, чтоб унять тряску. — Ну, поняли хоть?

— Утопили? — спросил Стырь (перед митрополитом стоял он и еще несколько пожилых казаков). — Ая-яй!.. Это как же так?

— Карахтерный бог-то, — промолвил дед Любим, которого история с ягненочком растрогала. — А ягненочка небось зажарили?

Митрополит не знал: злиться ему или удивляться.

— Подумайте, подумайте, казаки, за что бог Елену-то наказал, — сказал терпеливо. — В чем молитва-то наша богу? Заслуга-то...

— В ягненочке? — догадался простодушный дед Любим.

— Да пошто в ягненочке-то? — вышел из терпения митрополит. — Ягненочек — это здесь для притчи сказано. Вы вон добро-то спускаете где ни попадя — пропиваете, а ни один дьявол не догадался из вас церкви господней вклад сделать. Только бы брюхо усладить!.. А душу-то... о спасении-то надо подумать? Кому уж, как не вам, и подумать-то — совсем ведь от церкви отбились.

* * *

А в приказной палате дым коромыслом — торг. Степан не сдавал тона, взятого им сразу. Да его уж и сдавать теперь нельзя было — дело клонилось к казачьей выгоде.

— Двадцать две пушки, — уперся он. — Самые большие — с имя можно год взаперти сидеть. А нам остается двадцать.

— Для чего они вам?! — горячился старший Прозоровский. — Если вы на мир-то, на покой-то идете — для чего они вам?

— Э, князь!.. Не гулял ты на степу-приволье. А — крымцы, татарва? Мало ли? Найдутся и на нас лихие люди. Дойтить надо. А как дойдем, так пушечки эти вернем тотчас.

— Хитришь, атаман, — сказал молодой Прозоровский. — Эти двадцать две, они тяжелые: тебе их везти неохота, ты и отдаешь...

— Не хочете — не надо, мы довезем как-нибудь. Не пойму вас, бояре: то подвох от нас чуете, а отдаешь вам пушки — не берете...

— Не про то речь! — с досадой воскликнул старший Прозоровский. — «Не берете». Ты и отдай все, еслив ты без подвоха-то. А то же ведь ты все равно оружный уходишь!

— А вы чего же хочете? Чтоб я с одними баграми от вас ушел? Не бывать этому. Не повелось так, чтоб казаки неоружные шли. Казаки-то!.. Бог с вами, вы разумные люди: когда это было?

— Да ведь ты если б шел! Ты опять грабить начнешь?

— Куда? Нам теперь хватит на пять лет сытой жизни, даже останется. Солить его, что ли, добро-то?

— Ну, а струги? — спросил младший Прозоровский.

— Как порешили: девять морских берите от нас, нам — струги полегче, а взамен морских — даете нам лодки.

— А ясырь? Сколько у вас их?

— Ясырь — нет. Мы за ясырь головы клали. Надо — пускай шах выкуп даст. Не обеднеет. Понизовские, какие с нами ходили... мы их не неволим: хочут, пусть идут, куда знают. За вины наши пошлем к великому государю станицу — челом бить. Вот Ларька с Мишкой поедут. А теперь — не обессудь, боярин: мы пошли гулять. Я с утра не давал казакам, теперь самая пора: глотки повысыхали, окатить надо. Пушки свезем, струги приведем, князька этого — тоже берите. Его привезут вам. Даром берите, ну его к черту: пока дождесся выкупа за его, он с тоски околеет.

— А сестра его? С ним же и сестра его?..

— Сестры его... нету, — не дослушав воеводу, сказал Степан. — Ушла.

— Как ушла? — опешил воевода. — Куда ушла?

— Не знаю. Далеко. — Степан поднялся и вышел из палаты, не оглянувшись. Дальше он стал бы бестолково злиться, и было бы хуже. Только и оставалось — уйти.

Астраханцы удивились, ничего не поняли.

— Как так? Что он?..

— Где девка-то? — спросил Прозоровский у есаулов.

Есаулы пожали плечами: они тоже не знали, куда она ушла.

— Отдавать не хочет, — понял дьяк. — Сколько вас в Москву поедет? Двое, что ли?

— Шестером, — ответил Иван Черноярец. — Ну, мы тоже пошли. Правда, головы лопаются... Вчерась потанцевали маленько, игры всякие... а похмелиться утром батька не дал. Зарублю, говорит, кто пьяный на глаза воеводам покажется! А голова... Говорю вот, а там все отдает. Не обессудьте нас. Рады бы ишо с вами поговорить, да... какие мы теперь говоруны! Ишо повидаемся!

Есаулы вышли.

Власти остались сидеть. Долго молчали.

— Тц... — вздохнул старший Прозоровский. — Нехорошо у меня на совести, неладно. Ушел, сукин сын, из рук ушел, как налим. Ох, спросют нас, спросют: «А чего вы-то сделали?» А ничего: как он пришел с моря, так и ушел. Отдал, что себе в тягость, — и ушел. Всей и строгости нашей, что молебен отказались служить. Ведь вот как дело-то повернулось.

— Хитер, вор... — вздохнул Иван Красулин. В кармане у Ивана покоился — тянул книзу — тяжелый мешочек: тайный дар Степана.

— Не та беда, что хитер, беда наша, что — умен. Хитрых-то у нас у самих много, умных мало. Чует мое сердце, спомним мы ишо этот разговор, спомним... Это вам не Ивашка Кондырев. Не Ермак даже. Этот — похлеще будет, побашковитей.

— Ну уж, Иван Семеныч... отыскал умницу! — воскликнул князь Семен. — Прямо уж — головой в омут: перемог разбойник умом! Чего уж так?

— Да ведь оружным опять уходит! «Чего так...» Так!

— Ну и уходи он! Они сроду оружные ходют, как теперь? Не нами заведено, не нам отменять. У нас царева грамота на руках — при чем тут его башковитость?

— Знамо, не без головы, — вздохнул стрелецкий начальник, — я согласный с тобой, Иван Семеныч. Но то и худо-то, что не дурак. Не дурак, да и не сотню, не две ведет за собой, а тыщу с лишком — тут и нам тоже не оплошать бы, помоги, господи. Увел бы он их поскорей отсудова — вся забота теперь: лишь бы миновать беду.

— Да ведь и я-то про то! — рассердился старший Прозоровский. — Только забота-то моя дальше вашей смотрит: не было бы у его завтра — пять, а то и поболе тыщ-то. Вот заботушка-то! Ведь он оружный, да при таком богатстве...

— Укажи тада, чего делать? — тоже недобро спросил князь Львов.

— А вот и не знаю. Знал бы — указал. То-то и оно, что не знаю. Все верно, указ довели... А душа болит. Вещует. Неладно поступили, неладно. Разумом — вроде так, а совесть не чиста, хоть ты убей меня.

— Выше царя не станешь, Иван. Указ довели — чего же?.. Все. Ну ладно, — стал размышлять Львов, — захотели мы поотнять у них все: оружье, припас, добро... А кто отнимать-то станет? Стрельцы? Да они вон вместе с имя гуляют, стрельцы-то, вино ихное пьют наши стрельцы... А и найдется сколько-то надежных, так посадские не дадут. Не видишь, что ли, что делается? Не тут, не с нами, он башковитый, а вон где, в городе: он уж все разузнал там, оттого и смелый такой. Нету у нас силы — унять его, нету. А он... что же он, знамо, не дурак: понял это. Да тут и ума большого не надо, чтобы это понять.

— Оно — так, — согласился Прозоровский. — Так-то оно так...

8

Утром другого дня Разин торговал у ногайских татар коней. В торге принимало участие чуть не все войско разинское. Гвалт стоял невообразимый. Это тоже был праздник, такой же дорогой и желанный.

С полста человек татар вертелись на кругу с лошадьми... Казаки толкали коней кулаками, засматривали им в зубы, пинали под брюхо. Где и правда понимали в приметах, а где и показывали, что шибко понимают.

— Сево? Сяцем так? — возмущались татары. — Конька ма-ла-десь, сево зубым смотрис?

— Сево, сево... Вот те и сево! Нисево!

— Ая-яй!.. Касяк — понимать надо конь! Такой конька — ма-ла-десь!

Изучались копыта, глаза, уши коней, груди... Даже зачем-то под хвосты заглядывали. Кони шарахались от людей, от крика.

— Кузьма, ну-к прыгни на его: сразу не переломится, до Царицына можно смело бежать. Подержи-ка, совокалка!

— А спина-то сбитая! Воду, что ль, возил на ем?

— Сево?

— Вот! Как же ее под седло? Спина-то!..

— Потниська, потниська...

— Пошел ты!.. Хитрый Митрий нашелся — «потниська». Я лучше на тебе доеду, без потничка. Дурней себя нашел...

Степан со всеми вместе разглядывал, щупал, пинал коней. Соскучились казаки по ним. Светлой любовью светились глаза их. Были на кругу и верблюды, но никто на них не обращал внимания. Их брали так: они тоже нужны — струги везти на Дон. Кони, вот радость-то долгожданная!

— Ну-к, вон того карего!.. Пробежи кто-нибудь! — кричал Степан. Он прямо помолодел с этими конями, забыл всякие тревоги, всякие важные думы ушли на время из головы. Все они тут — вчерашние мужики, любовь к коню неистребимо жила у них глубоко в крови.

Кто-нибудь, кто помоложе, с радостью великой прыгал карему на спину... Расступались. Кто ближе стоял, вваливал мерину плети... Тот прыгал и сразу брал вмах. Сотни пытливых глаз весело, с нежностью смотрели вслед всаднику.

— Пойдет, — говорил Степан. — А, дед?

Дед Любим отвечал не сразу, с толком — дело это знал.

— Зад маленько заносит... Вишь? Не годится. — Дед, как всякий знаток и мастер, когда слова его ждут и в рот смотрят, привередничал сверх меры.

— Сойдет, ничего. Мы все не годимся, а на свете живем. Нам много надо. Берем! — решал Степан.

— Бери. Чего же тада спрашивать? — обижался дед.

Степан в то утро был в добром настроении. Улыбался.

— Не обижайся, Любим. Я знаю, ты разбираисся. Только — как же ты не поймешь-то? — нам много надо.

Всех надо, сколь тут есть. А смотрины эти... я сам не знаю, к чему мы их затеяли. Так уж...

Окружали следующего коняку. И опять радостно начинали выискивать у него всевозможные недостатки, и шуметь, и спорить.

— Води́! Бегом!.. — орали. — Как?! Дед!..

— Ну, эдак-то моя тешша бегала, даже резвей! Ноги-то навыверт. Эх, ноги-то, ноги-то — навыверт!

— У кого навыверт? У тешши? Рази у ей навыверт были? Ты что, Любим?

— Тю, это я с твоей спутал! Это у твоей навыверт-то были, чего я?.. А у моей, царство ей небесное, ровные были ножки...

К Степану подошел Федор Сукнин, отозвал чуть в сторонку.

— Воевода плывет, Тимофеич. К нам, похоже.

— К нам?

— Вон! Суда рулит... А куда больше-то?

— Найди Мишку Ярославова, — быстро велел Степан. — Стой-ка! — Он всмотрелся в большой струг, махавший от Астрахани. — Нет, воевода. Чего у их там стряслось? А?

— Шут их знает.

— Не от царя ли чего?.. Ну-ка, Мишку.

Мишка скоро оказался тут.

— Написал тайше? — спросил Степан.

— Написал.

— Все там указал?

— Все, как же. Как велел, так и написал.

Степан взял бумагу, а Мишка тем временем привел татарина. Судя по всему, старшего.

— На, — сказал Степан, передавая ему лист. — Отдашь тайше. В руки! Будет так: завидишь, перехватить могут, — сожги, а не то — съешь. Никому больше, кроме тайши!

— Понял. — Татарин прекрасно владел русским языком. — Отдам в руки тайше. А попадусь — съем. Я ел, ничего.

— Бежи скоро! Старайся лучше не попадаться. За коней мы исправно заплатим, никого не обидим, скажи там.

— Понял, батька-атаман.

— От тайши мне ответ привезешь. Здесь не захватишь — мы уйдем скоро, — бежи на Дон. — Степан вы-

нул кошелек, отдал татарину. — Приедешь, ишо дам. Пошли гостя стренем, братцы, воеводу.

Атаман с есаулами направились к берегу, куда подгребали уже астраханцы.

— Зачем? — недоумевал Степан, вглядываясь в воеводский струг. — Львов, сам Прозоровский, ишо кто-то... Зачем, а?

— Не грамота ли какая пришла? — высказал тревожную мысль Мишка Ярославов. — Неужто в Москве хватились?

— Мы б знали, — сказал Федор. — Иван Красулин прислал бы сказать. Нет, так чего-то... Может, ишо порядиться — мало взяли. Если б чего такое, Иван бы прислал сказать.

— Ты передал ему? — спросил Степан. — Деньги-то.

— А как же.

— Он чего?

— Кто, Иван?

— Ну.

— Радый. Будет слать нарочного все время. Говорит: из тех годовальщиков, которых ждут, у его есть тоже надежные.

— Добре. Чего же тада воевода пожаловал, овечий хвост? Зови ко мне. — Степан свернул к своему стругу, недоумевая и тревожась. Неужели царь хватился? Хватился да новую грамоту двинул... Но тогда почему один храбрец воевода пожаловал? Нет, не похоже, что от царя чего приехало. Ему и донести-то небось не успели еще. Нет, что-то другое. Что? — Князька отвезли воеводе? — спросил на ходу есаулов.

— Вчерась.

— Зачем же он пожаловал? Не возьму в толк.

Воевода пожаловал по той причине, что крепко, ему казалось, продешевил в дипломатическом торгу в Астрахани. Когда они потом остались одни, они так и поняли: облапошил их атаман, как детей малых.

— Здоров, атаман! — бодро приветствовал Прозоровский, входя в шатер. Этой бодростью он всю дорогу надувал себя, как цыган худую кобылу. Он опасался атамана. Опасался его вероломства. Пусть уходит на Дон, но пусть хоть не такой сильный уходит. Это ж куда годится — так уходить!

— Здорово, бояре! Сидайте, — пригласил Степан, пытливо вглядываясь в гостей: Прозоровского (старшего), Львова, подьячего Алексеева.

— Экая шуба у тебя, братец! — воскликнул вдруг Прозоровский, уставившись на дорогую соболью шубу, лежащую в углу шатра. — Богатая шуба. В Персии вроде и холодов-то больших нету — откуда ж такая добрая шуба? Небось ишо на Волге снял с кого-нибудь? Вроде нашенская шуба-то...

— С чем пожаловали, бояре? — спросил жестковато Степан. — Не хотите ли сиухи? А то я велю...

— Нет. — Прозоровский посерьезнел. — Не дело мы вчерась порешили, атаман. Ты уйдешь, а государь с нас спросит...

— Чего ж вам надо ишо? — перебил атаман. Он понял: ничего от царя нет — сами воеводы скут ему петельку потуже.

— Ясырь надо отдать. Пушки все надо отдать. Товары... — те, какие боем у персов взяли, — это ваше, бог с ими, а которые на Волге-то взяли?.. Те надо отдать, они грабленые. Надо отдать, атаман. Там же ведь и царево добро...

— Все отдать! — воскликнул Степан. — Меня не надо в придачу?

— А ишо: перепишем всех твоих казаков, так будет спокойней, — непреклонно и с силой договорил Прозоровский.

Степан вскочил, заходил по малому пространству шатра — как если бы ему сказали, что его, чтоб воеводам спокойней было, хотят оскопить. И всех казаков тоже сгуртовать и опозорить калеными клеймами. Это взбесило атамана, но он еще крепился.

— Пушки — я сказал: пришлем. Ясырь у нас — на трех казаков один человек. Мы отдадим, когда шах отдаст наших братов, какие у его в полону. Товар волжский мы давно подуванили — не собрать. Списывать нас — что это за чудеса? Ни на Яике, ни на Дону такого обычая не велось. Я такого не знаю. — Степан присел на лежак. — Не велось такого, с чего вы удумали?

— Не велось, теперь поведется.

— Пошли со мной! — вдруг резко сказал Степан. Встал и стремительно пошел к выходу. — Чего мы одни гадаем: поведется, не поведется...

— Куда? Ты что? Эй!..

— Спросим у казаков: дадут они себя списывать?

— Брось дурить! — прикрикнул Прозоровский. Ко-

гда он убирал свое мясистое благодушие и сердился, то краснел и бил себя кулаком по коленке. — Слышь!..

— Не дело, атаман, — встрял и князь Львов. — К чему это?

Степан уже вышагнул из шатра, крикнул, кто был поближе:

— Зови всех суда! Всех!

— Ошалел, змей полосатый, — негромко сказал Прозоровский. — Не робейте — запужать хочет. Пошли, счас надо построже...

Воевода и подьячий тоже вышли из шатра.

Степан стоял у борта струга; на бояр не оглянулся, ждал казаков. Опасения воеводы сбывались. Вся бодрость, вся умышленная простота, даже снисходительность, все полетело к чертям: этого волка по загривку не погладишь — оскалился, того гляди, хватит клыками.

— Для чего всех-то зовешь? — все больше нервничал Прозоровский. — Чего ты затеял-то?

— Спросим... — тихо, остервенело и обещающе сказал атаман. — А то молотим тут...

— Мы тебя спрашиваем, а не их!

— Чего меня спрашивать? Вы меня знаете... Писать-то их хочете? Их и спрашивайте.

— А ты вели. Ты им хозяин здесь. Они вон даже войсковым тебя величают...

— Я им нигде не хозяин, а такой же казак. Войсковой я им — на походе, войсковой наш в Черкасском сидит, вам известно.

Меж тем казаки с торгов хлынули все на зов атамана, сгрудились на берегу, попритихли.

— Братцы! — крикнул Степан. — Тут бояры пришли — списывать нас! Говорят, обычай такой повелся: донских и яицких казаков всех поголовно списывать! Я такого не слыхал. Вышли теперь вас спросить: слыхали вы такое?!

Вся толпа на берегу будто вздохнула единым вольным вздохом:

— Нет!

— Говори сам, — велел Степан Прозоровскому. — Ну?..

Прозоровский, не без чувства отчаяния и решимости, выступил вперед:

— Казаки! Не шумите! Надо это для того...

— Нет!! — опять могуче ухнула толпа, не дослушав даже, для чего это надо. И в самом деле, никогда не

водилось у казаков такой зловредной выдумки — перепись.

— Да вы не орите! Надо это... Ти-ха!!

— Нет!!!

Прозоровский повернулся и ушел в шатер, злой.

— Скоморошничаешь, атаман! — строго сказал он вошедшему следом Степану. — Ни к чему тебе с нами раздор чинить, не пожалел бы. Потом поздно будет. Поздно будет!

— Не пужай, боярин, я и так от страха трясусь весь, — сказал Степан. — Слыхал: брата мово, Ивана, боярин Долгорукий удавил. Вот я как спомню про это да как увижу боярина какого, так меня тряской трясет всего. — Степан сказал это с такой угрожающей силой, так значительно и явно, что невольно все некоторое время молчали. И Степан молчал, глядел на первого воеводу.

— К чему эт ты? — спросил Прозоровский. — При чем здесь брат твой? Он ослушался, он и пострадал. А ты будь умней его — не лезь на рожон, а то и тебе несдобровать.

— Не пужай, ишо раз говорю.

— Я не пужаю! Ты сам посуди: пошлете вы станицу к царю, а царь спросит: «А как теперь? Опять они за старое?» Пушки не отдали, полон не отдали, людей не распустили... Как же? Куда же вы, скажет, глядели-то?

— В милостивой царской грамоте не указано, чтоб пушки, полон и рухлядь целиком отнять у нас да казаков списывать и теснить.

— Грамота-то когда писана! Год назад писана.

— А нам что? Царь-то один. Может, другой теперь? Мы давно из дому... Но я слыхал — тот же, дай ему бог здоровья.

На берегу возбужденно гудели казаки. Весть о переписи сильно взбудоражила их; и впрямь, такого еще не знали на Дону — перепись: сердцем чуяли тут какую-то каверзу, злой умысел на себя. Для того ли и оставлять было родные деревни и бежать на край света, чтоб тут опять нечаянно угодить в кабалу: сперва перепись, потом, глядишь, седло накинут и поедут. Оттого и гудели. Гул этот нехорошо действовал на астраханцев: прямо как к стене припирали средь бела дня — и мерзко, и деваться некуда.

— Уйми ты их! — попросил князь Львов. — Чего расшумелись-то?

— Они, не ровен час, за сабли бы не взялись, — сказал Степан. — Могут. Тада и мне не остановить. Останови-ка!..

— Ну что, телиться-то будем? — раздраженно спросил Прозоровский. Он нервничал больше других. — Как уговоримся-то?

— Кому время пришло — с богом, — миролюбиво сказал Степан. — Мне рано телиться: я ишо не мычал.

— Ну дак замычишь! — Прозоровский поднялся. — Слово клятвенное даю: замычишь. Раз добром не хочешь...

Степан впился в него глазами... Долго молчал. С трудом, негромко, будто нехотя, осевшим голосом сказал:

— Буду помнить, боярин... клятву твою. Не забудь сам. У нас на Дону зря не клянутся, а клянутся, так помнют. Один раз вот так и я клялся — теперь будем помнить: ты и я.

Разговор принимал нехороший оборот... И очень уж шумели казаки: на нервы действовали. Самая пора — уйти от греха.

Воеводы пошли из шатра... Прозоровский шел последним, замешкался у выхода — что-то как будто вспомнил... Остановился.

— Не люблю уходить с тяжелым сердцем... Давай-ка, атаман, не будем друг на дружку зла таить. Нехорошо это, не по-христиански. Чего молчишь-то?

Степан молчал. Смотрел на воеводу. А тому опять невзначай попалась на глаза шуба. Она тихо светилась в углу дорогим тусклым светом, мягким, струйчатым.

— Ах, добрая шуба! — сказал он. — Пропьешь ведь! А?

Степан молчал.

— А жалко... Жалко такую шубу пропивать, добрая шуба. Сколько б ты за ее хотел?

Степан молчал.

— Хорошо дам... Все равно же она тебе за так досталась. А?

Степан молчал.

— Зря окрысился-то на меня, — сказал Прозоровский и нахмурился. — Про дела-то твои в Москву я писать буду. А я могу всяко повернуть. Так-то, атаман... Должен понимать.

Степан молчал.

— Ну, шуба!.. — опять молвил воевода, подходя и

трогая шубу. — Ласковая шуба... Только — один черт — загуляешь ты ее на Дону. Загуляешь ведь?

— Бери себе, — сказал Степан.

Кое-то как дождался князь этих слов! Его даже стала слегка сердить то ли глупость атамана, то ли жадность его — недогадливость, скорей всего.

— Ну — куда с добром! Только я счас не понесу ее, а вечерком пришлю. Ага, так-то лучше — чтоб не глазели. А то пойдут глазеть! Греха потом не оберешь...

— Я сам пришлю.

— Ну и вот, и хорошо. И хорошо, Степан... — Воевода даже растрогался, у него и из головы вылетело, что все-таки казаки уходят — вооруженные, с припасом, богатые. И никакой острастки на дорогу он им не задал, а забота его — вся-то — страх перед царем, а страх снимался милостивой царской грамотой. Откровенно говоря, хоть он и пугал вчера своих помощников возможными выходками казаков, сам в них не верил: казаки устали, добра у них невпроворот — пить им теперь, заливаться. А мысль эта: что Стенька — не просто разбойная душа, что это умный, сильный, матерый волк, — мысль эта влетела вчера и вылетела вчера же, вечером, когда разбирали дома дорогие Стенькины подарки. «На кой ляд, — думал воевода, — ему теперь разбойничать, когда это-то добро не пропить за пять лет». — Только, Степан... — Прозоровский прижал руку к груди. — Христом-богом прошу тебя: не вели казакам в город шляться. Они всех людишек у меня засмущают. Ведь они вот счас всосутся пить, войдут в охотку, а ушли вы — они на бобах. А похмельный человек, сам знаешь, ни работник, ни служака. Да ишо злые будут, как псы, сладу с имя не будет.

— Не заботься, боярин. Иди спокойно.

Прозоровский ушел.

Степан, оставшись один, стал ходить по шатру. Думал. Он когда крепко о чем-нибудь думал, то ходил из угла в угол и приговаривал: «Мгм, мгм».

— Будет тебе шуба, боярин, — сказал он. И остановился. — Будет тебе шуба... свинья ненасытная.

* * *

Ближе к вечеру того же дня, часу этак в пятом, в астраханском посаде появилось странное шествие. Сотни три казаков, слегка хмельные, направлялись к Кремлю; впереди на высоком кресте несли дорогую шубу Ра-

зина, которую выклянчил воевода. Во главе шествия шел гибкий человек с большим утиным носом и с грустными глазами и запевал пронзительным тонким голосом:

У ворот трава росла,
У ворот шелкóвая!

Триста человек дружно гаркнули:

То-то голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!

Пока шел «голубь», гибкий человек впереди кувыркнулся несколько раз через себя и прошелся плясом. И опять тонко запел:

Кто ту травушку топтал,
Кто топтал шелковую?

И снова разом крикнули триста:

То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!

Худой человечек опять кувыркнулся, сплясал и продолжал:

Воеводушка топтал,
Свет Иван Семенович!
То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!

В вечернем стоялом воздухе вольно и как-то диковато разносилась странная, развеселая песня. Астраханский люд опять высыпал из домов на улицы. Приветствовали донцов, только ничего не могли понять с этой шубой.

Разин шел в первых рядах казаков, пел вместе со всеми. Старался погромче... Пели и все громко, самозабвенно.

Он искал перепелов,
Молодых утятошек!
То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!

Посадские потянулись за казаками: кто, ожидая большого скандала, кто — выпивки.

А нашел он нашу шубу!
Шубу нашу, шубыньку!
То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!

Гибкий человек, отплясав, вел рассказ дальше:

Перепелку на тарелку,
Шубыньку на рученьку!
То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!

Лица казаков торжественны, серьезны. И Разин тоже вполне старателен и серьезен.

Шуба величаво плывет над толпой.

Шубыньку на рученьку,
Душечку, на правую!
То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!

Несколько казаков отстали, поясняют посадским:

— Шуба батьки Степан Тимофеича замуж выходит. За воеводу. Шибко уж приглянулась она ему... В ногах валялся — выпрашивал. Ну, батька отдает. Он добрый...

— Не горюйте: в надежных руках будет, — понимали посадские.

— Да мы не горюем! Но проводить надо хорошо — по-доброму, чтоб им жить-поживать с воеводой в согласии, чтоб согревала она воеводу, как воевода замерзнет.

Полежи-ка, шубынька,
У дружка у милого!
То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!
У сердца ретивого,
У Ивана Семеныча!
То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!

Толпа идет не шибко; шубу нарочно слегка колыхали, чтоб она «шевелила руками».

Ты лежишь, как душечка,
Все лежишь, как купычка!
То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!
Друг ты моя, шубынька,
Радость моя, шубынька!
То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!
Ты меня состарила,
Без ума оставила!

Тут особенно громко, «с выражением» рявкнули:

То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!
Без ума, без разума,
Без великой памяти!
То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!

Посадские дивились: так складно, дружно получалось у казаков — и все про шубу, про шубыньку, да про ихнего воеводу, Ивана Семеныча. Не слыхали раньше такой песни. Не знали они, что Степан незадолго до этого измучил казаков: ходили туда-сюда берегом Болды, разучивали «голубя», спевались. Слова им дал скоморох Семка, переиначив, видно, какую-то нездешнюю песню. Этот-то Семка и шел теперь впереди, и запевал, и приплясывал. Ловкач он был отменный.

— Ие-э-эх!.. — заголосил напоследок Семка, сильно вытянув жилистую шею. — Все разом:

То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!

* * *

В покоях воеводы сидели: сам воевода, жена его, княгиня Прасковья Федоровна, дети, старший Борис, шестнадцати лет, и младший, тоже Борис, восьми лет, брат воеводы Михайло Семеныч. Слушали с большим неудовольствием.

Ярыга, большеротый, глазастый, рассказывал:

— Один впереде идет — запевала, а их, чай, с полтыщи — сзади орут «голубя».

— Тьфу! — Иван Семеныч заходил раздраженно по горнице. — Вот страмцы-то! Ну не гады ли подколодные!..

— Ты уж позарился на шубу! — с укором сказала Прасковья Федоровна. — На кой бы уж она?..

— Думал я, что они такой свистопляс учинят?! Ворье проклятое. Ну не гады ли!..

— Это кто же у их такой голосистый — запевает-то? — спросил Михайло Семеныч.

Ярыга знал и это:

— Скоморох. Днями сверху откуда-то пришли. Трое: татарин малой, старик да этот. На голове пляшет, на пузе...

— Ты приметь его, — велел Михайло. — Уйдут казаки, он у меня спляшет.

— Я так смекаю: они с имя уйдут, — ответствовал вездесущий ярыга. — Приголубили их казаки... С имя ушлепают.

— Стало быть, теперь возьмем, — сказал Михайло Семеныч. — Укажи его, когда суда явются.

— Укажу. Я его харю приметил.

— Сам ихный там же? — спросил воевода, скривившись как от боли зубной. — Стенька-то?

— Стенька? Там. Со всеми вместе орет, старается.

— Стыд головушке! — вздохнула Прасковья Федоровна. — Людишки зубоскалить пойдут. Прямо уж околел ты без этой шубы! Глаз не кажи теперь...

— Иди-ка отсудова, мать! — воскликнул воевода сердито. — Не твое это бабье дело. Иди к митрополиту, детей туда же возьми. Идите.

Прасковья Федоровна ушла и увела детей.

— Ах, поганец! — сокрушался воевода. — Что учинил, разбойник!.. Голову с плеч долой снял. Ну, я с тобой поговорю, кобель. Ты гляди, чего выдумал!.. И подумать нельзя было.

В горницу заглянула усатая голова:

— Казаки!

Братья Прозоровские и несколько приказных вышли на крыльцо, изготовились встретить гостей сурово.

Казаки молча шли по двору Кремля. Увидав воеводу, остановились. Стырь и дед Любим, в окружении шести казаков с саблями наголо, вынесли на руках дорогую шубу.

— Атаман наш Степан Тимофеич жалует тебе, боярин, шубу со свово плеча. — Положили шубу на перила крыльца. — На.

— Вон!!! — закричал воевода и затопал ногами. — Прочь!.. Воры, разбойники! Где первый ваш вор и разбойник?! Он с вами?! Чего он прячется, еслив такой смельчак? Чего же он такой?!

— Какой? — спросил Стырь. — Ты про кого, батюшка?

— Кого вы атаманом зовете?!

— Степан Тимофеича... Кого же нам больше атаманом звать? Степан Тимофеича.

Степан наблюдал за всем из толпы, щурил злые, мстительные глаза. Случись бы теперь с ним сила большая и готовая да случись война в открытую, он бы заткнул воеводе крикливый рот, запечатал бы навек.

— Он больше не атаман вам! — кричал воевода. —

Поганец он, вор!.. Он сложил свою власть! Бунчук его — вот он! — Воевода показал всем бунчук Разина. — Какой он вам атаман?! Идите по домам, не гневите больше великого государя, коли он вас миловал. Не слухайтесь больше Стеньки! Он — дьявол! Он сам сгинет и вас всех погубит!..

Степан внимательно слушал, стиснув зубы, смотрел вниз, в землю. Слегка кивал головой.

— Замычал? — сказал он негромко себе. — Подожди, белугой закричишь, сукин сын.

— Пошли отсуда, — тронул его Иван Черноярец. — Он тут несет чего ни попадя... А эти слушают. Пошли.

— Подожди, дай наслушаюсь досыта. Можеть, когда спомнить доведется. Ты запоминай тоже. Ишь, как поет!..

— Царь-государь милостив, но и у его сердце лопнет, не дожидайтесь этого! — говорил громко воевода. — Хуже будет! Не гневите царя-батюшку и бога всевышнего, не слушайтесь больше атамана: пропадете с им! Он сам себе погибели хочет и вас за собой тянет! Зачем он оружие не отдает?! Чего затевает?!.

— Пошли, — сказал Степан. — Уводи их, а то правда...

Казаки вышли из Кремля. Шубу оставили воеводе.

За воротами, в толпе, к скомороху Семке присоседился ярыга. Заговорил с ухмылкой, с восхищением:

— Эт ты на голове-то пляшешь?

— Я. Я ишо на пузе могу, — похвастался Семка.

— Пошли со мной?.. Дворовым людишкам охота глянуть.

Семка колебнулся, подумал...

— Денег дадут, — заторопил ярыга. — Чего? Ну?..

— Нас трое... — Семке не хотелось и от казаков отстать, и охота было показать свое искусство, где просят.

— Зови и их. Где они?

Семка крикнул старика с бандурой и татарчонка, маленького, проворного, смекалистого парнишку. Втроем они и ходили по городам и деревням русским. Больше — по городам. И вместе же и бегали, и прятались, когда гнали прочь.

— Пошли! — торопил ярыга. — Накормют, денюжку дадут...

Скоморохи с ярыгой выбрались из толпы казаков, пошли вдоль стены к другим воротам. Никто из казаков не обратил на них внимания.

— А я один разок видал вас, чуть не сдурел со

смеху. Пришел, рассказал нашим, они загалдели все в один голос: «Тоже хочем!» — Ярыга все ухмылялся и заглядывал в глаза Семке. — Я говорю: «Денюжку дадите? Они за денюжку пляшут». Они все в один голос: «Дадим!»

— Девки есть? — спросил Семка.

— Девки? — удивился ярыга; он никак не ждал от хилого, доброго Семки такого вопроса. — А для че тебе?

— Девки смеяться любют.

— Есть, есть! Полно. Счас посмеемся!..

За казаками на посаде увязались посадские, стрельцы, бойкие бабенки... Казаки ласково щупали астраханок, те визжали, били казаков по рукам, смеялись: ждали гульбы и подарков. Казаки сулили и то и другое... И третье сулили.

И как пришли к стружкам, тут и всё: торговлишка открылась, виночерпии тут как тут, праздник опять готов раскинуться, море человеческое закачалось, заходило волнами...

Степан смотрел со стороны на знакомую картину... Пожевал ус: картина явно не пришлась ему по душе. Велел есаулам сесть на коней и ускакал с ними сухопутьем к Болде, в лагерь.

А казаки подсаживали бабенок на струги. На струги же закатывали бочонки с вином, вносили караваи хлеба, солонину в туесах, вязанки копченой, вяленой рыбы... Кого не грызут завтрашние заботы, тот сегодня живет через край. А тут еще такая редкая, дорогая радость — бабы. Тут уж — кривись, атаман, не кривись — не твое дело. Да и не заметили, что он кривится-то, — не туда смотрели.

9

Степан заторопил события.

Прискакав из Астрахани в лагерь, он не отпустил есаулов. Собрал их вокруг себя, начал расспрашивать и распоряжаться.

— Сколько коней закупили, Иван? — к Черноярцу. Спрашивал быстро и быстро же велел отвечать. Есаулы знали эту его привычку.

— Сто двадцать. А сбруи на полста.

— Закупить! Какого дьявола ждешь? Пошли за Волгу.

— Они посулились сами...

— Некогда ждать! Солнце встанет, роса очи выест. Пошли пять стружков. И пускай не скупятся. Федор, в Царицын кто поехал? Послал?

— Минька Запорожец, — откликнулся Федор Сукнин.

— Велел передки закупить?

— Велел.

— На Дон ушли? — опять к Черноярцу.

— Ушли. Слышно, Васька Ус собирался к нам, Алешка Протокин...

— Послать к Ваське, к Алешке. Давно ведь велел! Чего ждете?

— В Москву-то будем посылать? — спросил Иван Черноярец.

— Пошлем, — сказал Степан. — Из Царицына. Вот ишо: у воронежцев закупим леса, сплавим плотами... Тоже послать. Федор, сам поедешь. Бери полста, которые с топорами в ладах, и чуть свет дуй. Скажи воронежцам: долю ихную — за свинец и за порох — везем. Свяжите с десять плотов — и вниз. Там, насупроть устья Кагальника, между Ведерниковской и Кагальницкой, островок есть — Прорва. Там стоять будем. Поделайте засеки, землянки — сколь успеете. Еслив кто из казаков уйдет домой хоть на день, хоть на два, — тебе, Иван... всем вам головы не сносить. Мы не зимовые казаки, а войско. Сам буду отпускать на побывку — за порукой. Иван... — Степан в упор посмотрел на Черноярца. — Где Фрол?

Иван увел глаза в сторону.

— А я откуда знаю! Что я, бегаю за им?

— Где Фрол? — повторил вопрос Степан. — Куда вы его спрятали? Чего в глаза-то не смотришь?

Иван уперся:

— Не знаю, где он. Никто его не прятал...

Некоторое время все молчали.

— Не трону я его, — негромко сказал Степан. — Пускай вылазит. — И повысил голос: — Дело делать или по кустам хорониться? Нашли время!..

— Батька, хлопец до тебя, — сказал подошедший казак.

— Какой хлопец?

— Трое шутовых давеч было... шубу-то когда провожали...

— Ну?

— Один, малой, прибег счас из Астрахани: заманули

их ярыги воеводины — мстятся за шубу. А этот вывернулся как-то...

— Позови.

Татарчонок плакал, вытирал грязным маленьким кулаком глаза. Рассказал:

— Семку и дедушку... бичишшем... Мы думали: спляшем им, денег дадут... Семка соблазнил — девок шибко любит. Сколько уж раз, дурака, били!.. Спаси их, батюшка-атаман! А то их совсем заколотют там... Спаси, батюшка, ради Христа истинного...

— Не реви, — сказал Степан — Позови Фрола, Иван. Скажи, хуже будет, еслив счас не вылезет. Не плачь, сынок, поможем. Давай Фрола!

Иван отошел к кустам дальним, громко позвал:

— Фрол!

Фрол откликнулся, но не вылез пока. Они стали переговариваться с Иваном. Иван, как видно, припялся его уговаривать вылезти. Фрол колебался...

— Били? — спросил Степан татарчонка.

— Бичом. Дедушке бороду жгли... Семку огнем тоже мучают. Батюшка-атаман, пособи им... родненький...

— За шубу? Так и говорят — за шубу?

— За шубу. Семке посулились язык срезать...

— А ты как же убег?

— Они мне раза два по затылку отвесили и забыли. Семку шибко уж мучают... Батюшка, ради Христа истинного...

— Вы откуда? — Видно, как изо всех сил крепился Степан, чтобы самому не закричать тут от жалости и злобы.

— Теперь — из Казани. А были — везде. В Москве были...

Фрол вылез наконец из кустов... Подошли. Фрол остановился в нескольких шагах от Степана — на всякий случай.

— Загостился ты там, — сказал Степан. — Поглянулось?

— Прямо рай! — в тон ему ответил Фрол. — Ишо бы гостевал, но заела проклятая мошкара — житья от ее нету, от...

— Отдохнул?

— Отдохнул.

— Теперь так: бери с двадцать казаков и ехайте в Астрахань. Вот малой покажет куда. Там псы боярские

людей грызут. Отбейте. — Степан подтолкнул татарчонка к Фролу.

— Как? Бо́ем прямо? — удивился Фрол.

— Как хошь. Хошь прямо, хошь криво. Чтоб скоморохи здесь были!.. Слышал?!

— Батька, дай я с имя поеду, — попросился Иван Черноярец. — Я больше там знаю...

— Ты здесь нужон. С богом, Фрол. Спробуй не привези скоморохов — опять в кусты побежишь. — Степан отвернулся.

Фрол пошел отбирать казаков с собой.

— Федор, поедешь к воронежцам не ране, чем придем в Царицын. — Степан помолчал: все ли сказал, что хотел, не забыл ли чего... Но видно было — другое уже целиком овладело им. — Сучий ублюдок!.. — вырвалось вдруг у него. Он вскочил. — Людей мучить?! Скорей!.. Фрол! Где он?..

Отряд Фрола был уже на конях.

— Фрол!.. Руби их там, в гробину их! — кричал атаман. — Кроши подряд!.. — Его начало трясти. — Лизоблюды, твари поганые! Невинных-то людей?!.

С ним бывало: жгучее чувство ненависти враз одолевало, на глазах закипали слезы: он выкрикивал бессвязные проклятия, рвал одежду. Не владея собой в такие минуты, сам боялся себя. Обычно, сразу куда-нибудь уходил.

— Отворяй им жилы, Фрол, цеди кровь поганую!.. Сметай с земли! Это что за люди?!. — Степан сорвал шапку, бросил, замотал головой, сник. Стоявшие рядом с ним молчали. — Кто породил такую гадость! Собаки!.. Руби, Фрол!.. Не давай жить... — негромко, с хрипом проговорил еще атаман и вовсе опустил голову, больше не мог даже говорить.

— Он уехал, батька, — сказал Иван Черноярец. — Счас там будут, не рви сердце.

Степан повернулся и скорым шагом пошел прочь.

Оставшиеся долго и тягостно молчали.

— А ведь это болесть у его, — вздохнул пожилой казак. — Вишь, всего выворачивает. Маленько ишо — и припадок шибанет. Моего кума — так же вот: как начнет подкидывать...

— Он после Ивана так, после брата, — сказал Стырь. — Раньше с им не было. А после Ивана ослабнул: шибко горевал. Болесть не болесть, а сердце надорванное...

— Никакая не болесть, — заспорили со стариками. — С горя так не бывает... Горе проходит.

— С чего же он так?

— Жалосливый.

— Ну, с жалости тоже не хворают. И мне жалко, да я же не реву.

— Да ты-то!.. С жалости-то как раз и хворают. У тебя одно сердце, а у другого... У другого — болит. У меня вон Микишка-то, сын-то, — вспомнил Стырь, — когда помер? — годов с двадцать. А я его все во сне вижу. Проснусь — аж в груде застынет от горя, как, скажи, вчерась его схоронил. Вот те и проходит — не проходит. А он брата-то вон как тоже любил... Да на глазах задавили — какое тут сердце надо иметь — камень? Он и надорвал его.

— А ты-то был в том походе? Видал?

— Видал. — Стырь помолчал... и еще раз сказал: — Видал. Не приведи господи и видать такое: самых отборных, головку самую...

— А вы чего глядели?

— А чего ты сделаешь? Окружили со всех сторон — чего сделаешь? Рыпнись — перебили бы всех, и с концами.

— Дед, скажи, — заговорил про свою догадку один казак средних лет, — ты батьку лучше знаешь: ничего он не затевает... такого?..

— Какого? — вскинулся Стырь.

— Ну... на бояр, может, двинуть?.. К чему он, правда, силу-то копит? На кой она ему так-то?

— Это ты сам его спроси, он про такие дела со мной не советуется. Никуда он не собирается двигать... С чего ты взял?

— А силу-то копит...

— Сила завсегда нужна. Кому она мешала, сила?

— Ну, не такую же... Слыхал, по домам — за порукой только? Это уж — войско прямо.

Ларька Тимофеев, бывший тут, сощурил в усмешке девичьи глаза.

— Ну, а доведись на бояр стрепенуться?.. — спросил он. — Как вы тада?

Вопрос несколько ошеломил казаков. Так прямо еще не спрашивали.

— На бояр?.. Дак это ж — и на царя?

— Ну — на царя... — Синие глаза жестокого есаула

так и светились насмешливым, опасным блеском. — Чем он хуже других?

— Да он-то не хуже... — трезво заговорил Стырь. — Нам бы не оплошать: у нас сила, а у его — втрое силы.

— Наша сила ишо не вся тут, — гнул свое Ларька. — Она вся на Дону. Туда нонче из Руси нашугало темные тыщи — голод там... Вот сила-то! А куда ее? Зря, что ль, ей пропадать? Оружьишко с нами...

— Нет, Лазарь, не дело говоришь. — Стырь решительно покачал головой. — Не дело, парень. Еслив уж силу девать некуда, вон — Азов на то... Чего же мы на своих-то попрем?

Глаза Ларькины утратили озорство и веселье... Он помолчал и сказал непонятно:

— Своих нашел... Братов нашел. Вон они, свои-то, чего вытворяют: невиновных людей огнем жгут, свои.

Все промолчали на это.

Иван с Федором нашли атамана в кустах тальника, у воды.

Степан лежал в траве лицом вниз. Долго лежал так. Сел... Рядом — Иван и Федор. Он не слышал, как они подошли.

Степан выглядел измученным, усталым.

— Принеси вина, Федор, — попросил негромко.

Федор ушел.

— Как перевернуло-то тебя!.. — сказал Иван, присаживаясь рядом. — Чего уж так? Так — сердце лопнет когда-нибудь, и все.

— Руки-ноги отвалились, как жернов поднял... — тихо сказал Степан. — Аж внутре трясется все.

— Я и говорю: надорвешься когда-нибудь. Чего уж так?

— Не знаю, как тебе... Людей, каких на Руси мучают, — как, скажи, у меня на глазах мучают, — с глубоким и нечаянным откровением сказал Степан. — Не могу! Прямо как железку каленую вот суда суют. — Показал под сердце. — Да кто мучает-то!.. Тварь, об которую саблю жалко поганить. Невиновных людей!.. Ну за что они их? И нашли кого — калек слабых...

— Ладно, скрепись. Счас Фрол привезет их. Лоб расшибет, привезет: ему теперь любой ценой вину надо загладить.

Федор принес вина в большой чаше. Степан приложился, долго с жадностью пил, проливая на колени. Оторвался, вздохнул... Подал чашу Ивану:

— На.

Иван тоже приложился. Отнял, посмотрел на Федора...

— Пей, я там маленько прихватил, — сказал тот.

— Сегодня в большой загул не пускайте, — сказал Степан. — Ишо не знаем, чего там Фрол наделает. Надо сбираться да уходить: больше ждать нечего. — Он опустил голову, помолчал и еще раз сказал негромко, окрепшим голосом: — Нечего больше ждать, ребяты.

* * *

Фрол ворвался в нижний ярус угловой, Крымской, башни, когда там уже никого из палачей не было. На земляном полу лежали истерзанные скоморохи. Семка был без памяти, старик еще шевелился и слабо постанывал.

Наружную охрану — двух стрельцов — казаки втолкнули с собой в башню и велели им не трепыхаться.

— Живые аль нет? — спросил Фрол, склонившись над стариком.

— Живые-то живые, — шепотом сказал старик. — Никудышные только... Изувечили.

Фрол склонился еще ближе, вгляделся в несчастного старика.

— Как они вас!.. Мама родимая!

— Семке язык вовсе срезали...

— Да что ты! — удивился Фрол. Подошел к Семке, разжал его окровавленный рот. — Правда. Ну, натешились они тут!..

В дверь с улицы заглянул казак:

— Увидали! Бегут суда от приказов. Живей!..

— Берите обоих. Шевелитесь! — Фрол быстро подошел к стрельцам: — Вы что же это? А? Гады вы ползучие, над живыми-то людьми так изгаляться...

— А чего? Мы не били. Мы глядели только... Да подержали, когда язык...

Фрол ахнул стрельца по морде. Тот отлетел в угол, ударился головой и сник.

— Чтоб не глядел, курва такая!..

Второй стрелец кинулся было к выходу, но его оттуда легко отбросил дюжий Кондрат.

Казаки, трое, выбежали из башни, вскочили на коней. Всего их здесь было пятеро; остальные ждали за стеной Кремля, снаружи.

Скоморохи были уже на седлах у казаков. При белом свете на них вовсе страшно было глядеть: истерзали их чудовищно, свирепо. Даже у видавших виды казаков сердца сжались болью.

От приказных построек, под уклон к башне, бежали люди. Передние легко узнались: стрельцы с ружьями. И бежало их много, с пятнадцать.

Кондрат, выскочив из башни, глянул в сторону бегущих, потом на Фрола... Обеспокоился, но к коню не торопился.

— Фрол, успею... Дай?

Фрол мгновение колебался... Кивнул согласно:

— Мигом! По разу окрести, хватит.

Кондрат бегом вернулся в башню; тотчас оттуда раздались истошные крики и два-три мягких, вязнущих удара саблей. Крики оборвались почти одновременно.

Тем временем стрельцы были совсем близко. Некоторые остановились, прикладываясь к ружьям.

— Кондрат! — громко позвал Фрол.

Казаки выпули сабли, тронули коней, чтоб не стоять на месте под пулями. Кондрата все не было.

Раздались два выстрела. Потом третий...

Кондрат выскочил из башни, засовывая на бегу в карман какие-то мелкие штуки.

— Что ты там? — зашипел Фрол. — Сдох, что ли?!.

— Пошурудил в карманах у их... — Кондрат никак не мог попасть ногой в стремя: татарская кобылка, не приученная к выстрелам, испугалась. Дико косила глазом и прядала вбок.

— Тр!.. Той!.. — гудел Кондрат, прыгая на одной ноге. — Чего ты, дурочка, испужалась-то?..

Еще трое бегущих приостановились, припали на колено... Казаки закрутились на месте, дергая поводья. Кони всхрапывали, сучили ногами, норовили дать вдыбки.

— Прыгай! — заорал Фрол. — Твою мать-то!..

Кондрат упал брюхом в седло... Подстегнули коней... Еще три выстрела прогремели почти одновременно. Под одним из казаков конь скакнул вбок и стал падать. Казак бросил его и прыгнул на ходу к Фролу, который для того несколько придержал свою лошадь.

Вылетели через Никольские ворота... И весь отряд Фрола на добром скаку скрылся в улочке, что вела от Кремля наискосок к Волге. Остался в воздухе только

слабый следок пыли, да недолго слышался дробный стремительный бег коней.

Стрельцов было человек восемь. В числе первых подбежал к башне Иван Красулин, голова стрелецкий. Сунулся в башню...

Некоторое время его не было. Потом он вышел. Подавленно молчал. С силой потер ладошкой лоб.

Подбежали другие... По виду Красулина догадались, что́ тут случилось.

— Казаки?

— Должно... Кто же больше?

— Они, больше некому. Раз скоморохов взяли, то они. Не татарва же... Казачье дело.

— Вот чего, — заговорил Красулин, — скоморохов взяли — это не скроешь теперь, а вот стражных срубили — то надо замести как-нибудь. Надо чего-то выдумать.

— Срубили?! — узнавали вновь подбегающие.

— Вон лежат... За скоморохов можно перетерпеть, а за этих — не приведи господи: всем будет. Еслив кто из вас донесет тайком, и тому несдобровать: я всех тут знаю.

— Совсем срубили-то? — Двое вошли в башню... И тотчас вышли. — Да... Напополам развалили.

— Чего делать-то? — вслух думал Иван. — Самих ведь срубют... Ишо и умысел потайной присобачут: нарошно, мол, попустили. И так воевода окрысился давеч: «С ворами гуляете!»

— В воду, чего!.. Чего тут больше выдумаешь? Ушли — и все тут. С казаками ушли, мол. Кто проверит?

— Знамо, им теперь — где-нигде... все то же. Тут не грех и об себе подумать. Да ить как скоро управились!

— Как? Все-то как думаете? — спросил Красулин.

— В воду — и подальше, — согласились все.

* * *

С астраханской стороны Болды послышался конский топот, голоса. Свистнули.

На этой стороне от костров отделились несколько фигур; пошли к воде. Было уже совсем темно.

— Ты, Фрол?! — спросил отсюда голос Ивана Черноярца.

— Мы! — откликнулся Фрол. — Переплавляйте!

Два стружка отвалили от берега.

На той стороне заводили коней в воду, пускали вплавь одних. Фырканье коней, плеск воды, голоса людей звучно отдавались ночной рекой. Ночи стояли тихие.

Стружки ткнулись в берег... Фрол прыгнул в передний.

— Ну как? — спросил его Черноярец. — Привез?

— Везем... Старик кончился дорогой. А парню язык срезали. Живой пока, но... худой тоже.

— Ох?., Успели. — Иван сокрушенно прицокнул.

— Куда старика-то? — спросили есаулов с берега.

— Заноси! — велел Иван. — Завтра схороним. Вот твари дак твари!.. И за што ухайдакали? Ни за што!

Занесли на струг тело старика и полуживого Семку, поплыли.

— Уходить надо, — сказал Фрол. — Мы там двух стрельцов срубили... Всполохнуться могут.

— Каких стрельцов? Приставу?

— Ну.

— Про старика-то да про язык — не надо, промолчите, — посоветовал Иван. — А то его опять корежило давеча. Пусть хоть отойдет. Как со стрельцами-то вышло?

— Так... вышло: не стерпели. Кондрат вон раскроил. Как не сказать, говоришь? Про старика-то?..

— Не надо.

— А спросит?

— Привезли, мол... Шибко, мол, избитые — пусть отдыхаются маленько. Потом уж скажем. Сам потом скажу.

— Уходить надо, Иван. Какого дьявола дожидаться? Пока у их терпенье лопнет? Дождемся...

— С конями он затеялся... Посулились татары ишо пригнать.

— Да мы их на Царицыне приторгуем, у едисанов! А нет, на Дон пригонют.

— Вот будешь счас с им говорить, скажи так. Надо, конешно, уходить.

10

Дни стояли ясные. Огромное солнце выкатывалось из-за заволжской степи... И земля, и вода, все вспыхивало тихим, веселым огнем. Могучая Волга дымилась тума-

нами. Острова были еще полны жизни. Зеленоватое тягучее тепло прозрачной тенью стекало с крутых берегов на воду; плескались задумчиво волны. Но уже — там и тут — в зеленую ликующую музыку лета криком врывались желтые чахоточные пятна осени. Все умирает на этой земле...

Разинская флотилия шла под парусами и на веслах вверх по Волге. Высоким правым берегом, четко рисуясь на небе, то шагом, то неторопкой рысью двигалась конница в полторы сотни лошадей. Там был Иван Черноярец.

Степан был на переднем струге. Лежал на спине с закрытыми глазами. Со стороны — не то дремал, не то думал. Дремал и думал. Наслаждался покоем, какой дарила Волга. Он устал за последние дни: много тревожился, злился, спешил. Теперь спешить некуда. Теперь — собраться с мыслями. Надо думать определенно, твердо — не будет пустых слов. От пустых слов — своих и чужих — атамана тошнило. Полдня потом хворал, если случалось где много и без толку говорить. Особенно же плохо он себя чувствовал, когда говорил, и сам с омерзением сознавал, что несет бестолочь, и злился, что говорить — надо: ждут. А ждут требовательно. Это как проклятие, когда всегда, вечно ждут. В Фарабате, у персов, договорились между собой распотрошить город: сперва казаки начнут торговать с персами, потом, в подходящий момент, Степан повернет на голове шапку... Торговлишка шла, казаки посматривали на атамана... Подходящий момент давно наступил — персы успокоились, перестали бояться. Степан медлил. Он с болью не хотел резни, знал, что они потом сами содрогнутся от вида крови, которая прольется... Но ждали, что он повернет шапку. Он повернул.

Всегда, всю жизнь от него ждали. Еще хлопцы станицы Зимовейской ждали от малого Стеньки Рази, что он сообразит и наведет их на какое-нибудь лихое озорство; от умного казака Стеньки Разина ждали, что он и другие послы уломают капризного тайшу Мончака, и калмыки помогут донцам тряхнуть Малый Ногай; ждали, что он, удачливый, прорвется с ватагой в Азовское море, и они добудут «зипуны» у турок, как позже удачно добыли их у персов. И когда ожидаемого не свершалось, Степан страдал, мучился, готов был лучше принять лютую смерть, чем еще когда-нибудь заставить напрасно ждать. Ждала и Алена, жена его теперь: мучительно ждали ее

глаза, устремленные на молодого казака Стеньку Разина, когда казаки приехали в Малый Ногай под видом гостей, а по сути — разведать о настроении татар перед походом. Там, у татар, томилась красивая Алена, русская полонянка со смуглым ребенком на руках. В походе на татар — это уже потом — Степану удалось вскинуть Алену с дитем в седло. Позже она стала его женой, потому что очень ждала этого. Себе Степан ждал покоя когда-нибудь. Не теперь. Теперь, когда он в славе, в силе и безмерно богат, от него опять ждали — он видел, понимал — ждут. Ждут такие, как Ларька Тимофеев, Федор Сукнин... Даже спокойный Иван Черноярец и тот ждет. Не будут они просто так жить, не смогут. Да и сам Степан, обманывал он себя с этим желанным покоем. Он и хотел покоя, но ведь и сам тоже не смог бы прожить, не тревожась поминутно, не напрягаясь разумом и волей, не испытывая радость и жуть опасных набегов... Он даже не знал — как это так жить без этого? Можно ли? Но мысль о покое, который когда-нибудь у него будет, он потаенно берег и носил в душе — от этого хорошо было: было чего желать впереди. Иной раз он так думал: порубят где-нибудь на бою не до смерти, можно сидеть калекой на бережку, стругать лодочки... И сам же ловил себя: никогда ведь так не будет: порубят, так совсем. Еще он знал, что до старости ему все-таки не дожить, на бережку не сидеть. Что думал атаман? Последнее время — особенно как возвращались из Персии, с моря, — неотступно гвоздила его одна мысль: не начать ли большую войну с боярами. Мысль эту засадил ему Серега Кривой. Один раз, глядя в глаза Степану, Серега сказал: «Разок тряхнуть их, пропахать черту, и чтоб они ее век знали: чтоб ни одна гадина эту черту не заступала». Степан ничего не сказал тогда, внимательно посмотрел на Серегу... Его поразила эта мысль, простая и верная. Сереги нету... Но он стоит в глазах: смотрит прямо, как он умел смотреть, и говорит эти свои слова. И с тех пор она уж не отпускала Степана, эта мысль, она жила в нем, беспокоила. С разных боков принимался за нее атаман... Поднимался духом, то готов был хоть теперь заварить кашу, то страшился. Слова Серегины упали на больное место; Степан, как услышал их, удивился: почему он сам-то не додумался до этого! Ведь это просто, и это — верно; разок тряхануть, втемяшить всем: был вольный Дон, есть вольный Дон и будет вольный — во веки веков. Чтоб даже одна мысль — как-нибудь потеснить каза-

ков, — чтоб одна эта мысль всем казалась нелепой. И чем больше проникался Степан этой мыслью, тем больше и больше охватывало его — то смятение, то нетерпение, нетерпение до боли, до муки. Вдруг ему казалось, что он уже упустил момент, когда надо было начать... В Астрахани в этот раз почудилось, что — пора, надо немедля открываться... Душа ходуном ходила, разум мутился... Боялся, что упустил, безнадежно, гибло упустил случай: есть оружие, люди отдохнули, стрельцы раскорячились меж властями и богатыми, сильными казаками: бери Астрахань! Бери и двигай вверх по Волге! Но крепкой ночной думой остановил себя, никому не проговорился, как близко он стоял от большой, опасной затеи. Намеками пытал кое-кого, игру со Стырем выдумал, вникал в души близких... Понял: нет, рано. Это еще не сила, что у него, сила — на Дону, это правда, голод согнал туда большие толпы, вот сила. Он знал, что Корней Яковлев, войсковой атаман, и верхушка с ним тяготятся беглыми, готовы позабыть святой завет — с Дона выдачи нет, — готовы уж и выдавать, чтобы не кормить лишних и не гневить бояр. И пусть, и хорошо: пусть и дальше, и больше кажут себя с этой стороны, пусть все казаки поймут это — тем скорей прильнет к ним эта мысль — о войне. Что войне быть, в этом Степан теперь не сомневался. Сомневался и мучился — как начать. С бухты-барахты тоже не начнешь. Надо, чтоб и все тоже не сомневались. Казаки ждут от него, сами не знают, чего ждут, надо приучить их, что они ждут войны. Конечно, многие шарахнут от него, как от холерного, но охотники будут. Куда они денутся. Дай время, дай господи ума и терпения — все будет. Не зря сердце подмывает горячими струями, не зря же он день и ночь думает и думает, всосался в эти думы, не малолеток же, не слабоумный какой... Зря, что ли, все это? Не зря. А про покой можно всласть поразмышлять, коли выдалась такая минута. Когда-то она еще случится! Вспомнил Степан Алену, жену, ухмыльнулся... То все в глаза засматривала, все ждала, трепетала, а то освоилась, откуда стать взялась, хозяйский выгляд обрела, нотку в голосе обрела... Милая баба, родная стала, даже не думалось, что такой родной станет. А Афонька полюбился, пасынок, полукровок... Смышленый парнишка. Степан вдруг догадался, что стосковался по ним. За делами, за гульбой да за думами как-то не до них было, а вспомнил вот — и понял, что стосковался. И невольно опять ухмыльнулся: не знал за собой такого. Ну ладно:

пусть. И все-то, наверно, так, все стосковались, только помалкивают. Хорошо, хоть есть по кому тосковать, а то и этого могло не быть. С малолетства на коне, в степи, рука — даже когда не держит — чует саблю. Глаза сомкнутся, вроде забылся, а — покачивает, покачивает — конский скок в крови гудит... Ни речки, ни леска, ни бугорка просто так нету — и не надо, а в голове все: где лучше укрыться, где речку перемахнуть... Окликнут нежданно, дрогнуть еще не успел, а уж рука нож цаппула. Где было про жену, про семью думать. Так уж влез в это воинство, так с головой ушел в походы, в набеги, что и помыслить, и прикинуть свою жизнь иной — никак. А вот — случилась и жена, и семья... Маленько даже смешно, но это хорошо, пускай. Не мешают же. Войне — быть, это уж пропади все пропадом, гори все синим огнем, если ей не быть. Бояре... не сегодня и не вчера накипела к ним ненависть, давно. Одна мысль об этих владыках жгла как огнем, бесила. Какую власть, какую волю на земле взяли! И не перечь им! И не прогневи!.. Только и спасение мужику что — в бег, как от зверей лютых. Да не звери же, люди же, но, видно, не уговаривать, не совестить этих людей, а бить их, пусть сами бегают по лесам и прячутся. Собаки!

Вдруг на стругах зашумели со всех сторон:

— Конные! Догоняют!..

— Эге! К нам?!.

— Война, хлопцы! Воевода очухался...

Степан вскочил...

Краем высокого берега конных разинцев догоняли с полсотни каких-то конников. Шли резво; в воздухе за ними оставался и медленно оседал плотный дымок пыли. И шли без опаски, без оглядки, кучно и прямиком. Отсюда не разглядеть было, как одеты всадники.

Никто не понимал, что это могло значить, кто это.

— К берегу! — велел Степан.

Струги свалили влево, устремились к берегу.

Конники — те, что догоняли, и разинцы — сошлись. Но никакой свалки или стычки там не случилось; вместе, те и другие, двинулись к месту, куда подгребали стружки.

Степан, приложив ладонь ко лбу, всматривался.

— Царь передумал, — гадали казаки. — Милость отнял: видно, из Астрахани, с новой грамотой.

— Не, то воевода горилки послал. За шубу...

— Федька, чего такое? — спросил Степан Сукнина. — Как думаешь? Можеть, татары?

— Нет, на татар не похожи... Нет.

— Кто же?

— Даже подумать на кого, не знаю, — размышлял Федор. — Думал, едисаны, — нет, русские. А, похоже, стрельцы!

— Стрельцы, верно, — узнали и еще некоторые.

— Они...

Конные на берегу — большинство — спешились, а двое поскакали как раз к месту, где ткнулся в берег атаманский струг. Спешились тоже и начали спускаться с высокого крутого обрыва вниз, к атаману.

Степан выпрыгнул из струга... Теперь видно было: спускались сотник Ефим Скула и стрелецкий сотник.

— Чего? — нетерпеливо крикнул Степан, когда еще сотники не слезли к берегу.

— Провожатые! — пояснил Ефим, кивнув на стрелецкого сотника. — Воевода отрядил полусотню до Паншина с нами.

— Зачем? — спросил Степан стрельца.

— Здоров, атаман! — приветствовал тот, почему-то весело глядя на Степана. Подошел и подал руку.

— Здоров, коли не шутейно. Коней поразмять? Или как?.. — Степан пожал протянутую руку.

— Прогуляться с вами до Паншина. — Сотник отвечал смело.

Степану поглянулась его смелость и веселость.

— Далеко. Не боитесь? — невольно тоже попал он на веселую ноту. — Или храбрые такие?

Сотник засмеялся:

— Мы смирные...

— Мясники смирные. Я знаю. — Степан нахмурился, пресекая балагурство. — Зачем явились-то?

— Велено нам провожать вас, — серьезно заговорил сотник. — Велено смотреть, чтоб вы дорогой не подговаривали с собой и не манили на Дон людишек разных. И... всякое. Едет с нами жилец Леонтий Плохово. А провожал нас Иван Красулин... — Сотник замолчал, значительно поглядел на Степана... Глянул искоса, опасливо на казачьего сотника и опять на Степана: опять со значением, тайный смысл которого должен был понять атаман. Стрелец потому, видно, и веселился-то, что знал некую общую с атаманом тайну.

Степан понял.

— Ефим, иди попроведай своих на стружке, — велел он своему сотнику, при котором стрелец опасался говорить.

Ефим пошел к казакам на струг.

— Ну?.. — спросил Степан.

— Велел передать голова наш, что все как и было, а стрельцов этих он сам подобрал — хорошие люди: едем для отвода глаз.

— А ты хороший? — усмехнулся Степан. Ему положительно нравился веселый, словоохотливый стрелец.

— А я над хорошими — хороший. Леонтий едет только до Царицына, я аж до Паншина. Там велено мне пушки взять...

— Ишо чего велено? — насторожился Степан.

— Грамоту везем Андрею Унковскому: чтоб вино для вас в царицынских кружалах в два раз в цене завысить. Тоже и в Черном Яру...

— Дай суда ее, — кратко сказал Степан.

— Кого?

— Грамоту.

— Она у Леонтия...

— Иди скажи Ивану Черноярцу, чтоб он скинул мне ту грамоту сверху. Вместе с Леонтием. — Степан не на шутку обозлился: воевода аж до Царицына протянул свои руки.

— Не надо. Вы на Царицыне — сами себе хозяева. У Андрея под началом полторы калеки, — резонно говорил стрелецкий сотник. — А разгуливаться вам там ни к чему: смена наша где-нибудь под Самарой. Так велел сказать Иван.

Степан с минуту думал.

— Хороший, говоришь? — спросил он и хлопнул сотника по плечу. — Добре! Чара за мной... В Царицыне, по дорогой цене. Идите. Ефим!..

— Ге, батька! — Сотник Скула прыгнул со струга и шел к атаману.

— Скажешь Ивану: Черный Яр минуем.

— Добре.

— Стрельцов не обижайте... Они хорошие, пусть идут с нами.

— Когда спят? Или — проснутся, тоже хорошие? А то я знал одного москаля: спит — ангел господний, а проснется — черт с рогами. Так мы что́ сделали: взяли...

— Из виду нас не теряйте, — прервал атаман болтливого казака. — В степь поглядывайте.

— Добре, батька. И так не зеваем.

Сотники полезли вверх.

Флотилия снова начала выгребать на середину реки.

Больно ужалила Степана эта ядовитая весть о том, что в Царицыне завысят для казаков цену на вино; и то еще заело, что зачем-то понадобилось конвоировать их, как пленников. Сгоряча опять пожалел, что не затеял свару в Астрахани прямо... Но унял себя с этим. Зато опять глубоко и весь ухнул в думы о скорой желанной войне. Опять закипела душа, охватило нетерпение, он даже встал и оглядел своих — на стругах и конных. Хоть впору теперь начинай, нет больше терпения, нет сил держать себя. Понимал — нельзя, рано еще, надо собраться с силой, надо подкараулить случай, если уж дать, то дать смертельно... Но душа-то, душа-то, что с ней делать, с этой душой!.. — мучился Степан. «Ну, змеи ползучие, владыки!.. Навладычите вы у меня, я вас самих на карачки поставлю».

11

Купеческий струг вывернулся из-за острова так неожиданно и так живописно и беспомощно явился разинцам, что те даже развеселились.

— Здорово, гостенька! — крикнул Степан, улыбаясь. — Лапушка!.. Стосковался я без тебя! Давай-ка суда, родной мой!

На купеческом струге поняли, с кем их свела судьба. Поняли и сидели тихо. Плыли навстречу — их легонько подносило самих.

На стружке были: гребцов двенадцать человек, сам купец, трое стрельцов с сотником. Сотник побледнел, увидев казаков: с кем ему никак нельзя было встречаться, с теми как раз и встретился.

Стружок зацепили баграми, придержали.

— Откуда бог несет? — спросил Степан. — Куда?

— Саратовец, Макар Ильин, — отвечал купец. — В Астрахань... Отпустил бы ты нас, Стенька, сделай милость! Товару у нас — кот наплакал, а мне — петля. Отпусти, право!.. — Купец и правда не из дородных и важных: поджарый, русоголовый, в карих умных глазах — не то что испуг — грусть и просьба. — Отпусти, атаман!..

— Ишь ты!.. — сказал Степан. — А чем ты краше других? За что тебя отпустить?

— А так, ни за что. Мы слыхали: ты добрый.

— А вы, молодцы, куда путь держите? — обратился Степан к стрельцам. Посмотрел на сотника. — И откуда?

— Я везу в Астрахань государевы грамоты! — несколько торжественно заявил сотник. Пожалуй, излишне торжественно. Сотник был молодой, статный собой, много думал дорóгой про разбойников, про Стеньку Разина, который, он знал, опять объявился на Волге... И он решил показать ушкуйнику, что не все так уж и боятся-то его, как сам атаман, должно быть, воображает.

— Дай-ка мне их, — попросил Степан. — Гумажки-то.

— Не могу. — Сотник гордо качнул головой.

— А ты перемоги... Дай! — настойчиво сказал Степан.

— Не могу... Я в ответе перед государем.

— Счас возьмем, батька. — Кондрат спрыгнул в купеческий струг. Подошел к сотнику. — Вынь грамотки.

И вдруг сотник — никто не ждал такого — выхватил пистоль... Кондрат качнулся, уклоняясь, и не успел: сотник выстрелил, пуля попала Кондрату в плечо. Сотник вырвал саблю и крикнул не своим голосом:

— Греби! Петро, стреляй в разбойников!..

Двое-трое гребцов взялись было сдуру за весла... А один, который был позади, вырвал из гнезда уключину и дал ею по голове сотнику. Какой-то вскрик застрял у того в горле; он схватился за голову и упал в руки гребцов. Стрельцы даже и не попытались помочь своему молодому начальнику. Отлетела милая жизнь... Даже и не покрасовался молодец-сотник на земле, а, видно, любил покрасоваться — очень уж глупо погиб, красиво.

Степан спокойно наблюдал за всем с высоты своего струга.

Еще двое казаков спрыгнули в купеческий струг. Один подошел к Кондрату, другой начал обыскивать сотника.

— В сапоге, — подсказал стрелец. — Гумаги-то.

— Кто с нами пойдет?! — вдруг громко спросил Степан. — Служить верой, добывать волю у бояр-кровопивцев!

Это впервые так объявил атаман. Он сам не ждал, что так — в лоб — прямо и скажет. А сказалось, и легче стало — просто и легко стало. Он видел, как замерли и притихли казаки, как очумело уставился на него Стырь,

как Ларька Тимофеев, прикусив ус, замер тоже, глядя на атамана, а в двух его синих озерках заиграл ясный свет... Видел Степан, как ошарашил всех своим открытым призывом: кого нехорошо удивил, кого испугал, кого обрадовал... Он все это схватил разом, в короткий миг, точно ему удалось вскинуться вверх и все увидеть.

— Кто с нами?! — повторил Степан. — Мы поднялись дать всем волю!.. — Знал ли он в эту минуту, что теперь ему удержу нет и не будет. Он знал, что пятиться теперь некуда. — Кто?! — еще раз спросил Степан громко и жестко. — Чего онемели-то?! Языки проглотили?

Я! — откликнулся гребец, угостивший уключиной сотника: ему тоже пятиться некуда было теперь.

Еще двое крикнули:

— Мы! С Федором вот... двое.

— А не пойдем, чего будет? — спросил один хитроумный.

— Этого я, братец, не знаю, — сказал Степан, — много грешил — ад, мало — рай. Но, поглядеть в твои глаза, тебе прямая дорога в ад. А ты куда собрался?

— Я-то? Да я было в другое место хотел...

Разинцы засмеялись: оцепенение, охватившее их, проходило. Задвигались, загалдели... Обсуждали новость, какую вывалил атаман: оказывается, они войной идут! На бояр!.. Вот это новость так новость! Всем новостям новость. Теперь, задним умом, понимали, почему так упорно не отдавал атаман пушки и припас, почему на Дону по домам не распустит...

— А чего ты меня в ад-то запятить хошь? — не унимался дотошный гребец. — Я в рай собрался.

— В ра-ай? — удивился Степан. — Не-ет, братец, я хоть не поп, а истинно говорю тебе: в ад. Так что — погуляй пока на земле. Не торопись, туда никто не опаздывал. — У Степана на душе было легко: эта ноша проклятая — постоянная дума втихомолку, неотступная, изнуряющая, — сброшена.

— Так чего же тада пытать? Я с вами!

Казаки опять одобрительно засмеялись.

— А стрельцы как? — спросил Степан. — Куда собрались?

— Оно ведь это... как сказать?.. — замялись стрельцы.

— Так и сказать. Прямо.

— Вроде государю служим...

— Боярам вы служите, не государю! Кровососам! — Степана влекло вперед неудержимо, безоглядно и радостно. — Думайте скорей, мы торопимся. Дорогое вино пить торопимся в Царицыне. Слыхали, казаки: воевода велел в Царицыне цену на вино в два раза поднять! — сообщил всем Разин. — Вот до чего додумались, собаки!.. Ну, стрельцы?.. Долго вас ждать?! А то терпение лопнет, не ведите к тому.

— Когда так — и мы, — сказал один, постарше.

Тем временем подали Степану царские грамоты. Он, не разглядывая, изодрал их в клочья и побросал в воду. Бумаги он ненавидел люто. Казаки издавна не жаловали бумаги: даже при первом Романове, когда донцам жилось куда вольготнее, московские бумаги, прибывая на Дон, вихлялись на кругу казачьем, как последние худые бабенки: то прекратить «промыслы» над татарами и турками, чтобы не злить хана и султана, то — чинить всякий вред тем же татарам, ибо хан опять наслал на Русь силу и лихоимствует. Казаки научились отсылать приказные бумаги — и с увещеваниями, и с угрозами — матерно, далеко, а «держали реку Дон» сами, по своему разумению. Но с тех пор много изменилось, бумаги московского Посольского приказа стали обретать силу, и казаки, особенно те, кто сожалел о былых вольностях, возненавидели бумаги, чуяли в них одно недоброе.

— Вот так их!.. — сказал Степан. — Рыбам читать.

На берегу конные явно заинтересовались событием на воде. Остановились, выстрелили, чтоб привлечь к себе внимание.

— Пальните кто-нибудь, — велел Степан. — Все хорошо.

Человек шесть разинцев разом выстрелили в воздух из пистолей. Звуки выстрелов долго гуляли под высоким берегом и умерли далеко. Конные разинцы успокоились.

Стрелецкому сотнику положили за пазуху какой-то груз из товаров купца, поднесли к борту и спустили в воду между стругами. То ли живой еще был, не пришел в сознание, то ли от уключины сразу кончился — никто не поинтересовался.

— Легкая смерть, — сказал один гребец. И перекрестился. Еще несколько человек сняли шапки и перекрестились.

Степан махнул рукой — дальше, вверх по Волге.

— В гребь! Заворачивайте свою лоханку. Не тужи,

Макар Ильин!.. В Царицыне отпустим. Стрельцы, идите-ка ко мне! Погутарю с вами... Чего там на Москве слыхать?

В эти дни в Астрахань Волгой не прошел никто: никого не пропустили, чтобы в Астрахани не знали, как идут и что делают казаки дорогой, и не всполошились бы. Но казаки уже открыто говорили, что скоро «мир закачается». На батюшку Степана Тимофеича смотрели — почти все, вся громада — с любовью: опять ждали. Сам батюшка (так его величали с легкой руки запорожцев, которых много шло с донцами) хотел одного теперь: скорей проведать, что делается на Дону — много ли правда, как слышно было, сбежалось туда с Руси народу и как тот народ встретит его, особенно холопы. Нетерпение охватило атамана великое; всю мощь души обратил он, чтоб сдерживаться пока, и едва справлялся, а то и не справлялся.

12

В Царицын разинцы пришли первого октября. Дни по-прежнему стояли теплые, тихие, с паутинкой, с последней дорогой лаской.

Высадились ниже города; одновременно подошли конные Ивана Черноярца. Сошлись на берегу.

— Где Леонтий? — сразу спросил Степан Черноярца. Он еле сдерживал себя от ярости. Черноярец решил маленько поослабить накал атамана, но сам видел, что — бесполезно.

— Вперед уехал... — сказал он. — А ты чего такой?

— Змеи ползучие!.. — Степан смотрел в сторону города. — Зашуршали?.. Оставь половину у стружков, остальные пусть в город идут. Пусть гуляют! Собери есаулов, айда со мной. В кружало — дорогое вино пить. Это ж надо, чего удумали!

— Степан... можеть, оно и к лучшему: не разгуливаться бы... — заговорил было Черноярец.

— Вот... — Степан опять посмотрел в сторону города — пристально, как будто смотрел в лицо ненавистному человеку. — Ты у меня разживесся на казачьи денюжки, гад ползучий. Я тебе дорого заплачу!.. Гуляй, Иван!

Казаки опередили своего атамана: когда он появился в городе, там было оживленно, разбродно и шумно.

Шли серединой улицы — «головка» войска: Разин с

есаулами и сотниками. Шли размашисто, скоро и устремленно.

Направлялись в кружало.

В кабаке было полно казаков. Увидев батюшку, заорали, разжигая себя, а больше атамана:

— Притесняют, батька!..

— Ровно с козлов шкуру дерут...

— Где это видано? — такую цену ломить! Они чего?..

— Кто велел? — рявкнул Степан. И навел на целовальника страшный — немигающий — взор. Тот сделался, как плат, белый.

— Воевода... Помилуй, батюшка. Я не советовал им, не послухали... Воевода велел. — Целовальник упал на колени перед атаманом и казаками.

— Воевода? — Рябое лицо Разина, окаменелое, изнутри — из глаз — излучало гнев и готовность.

— Воевода. Батюшка, вели мне живому остаться. Рази я от себя?!. Я не советовал... Ну-к ведь — воевода! Им велено мне и отчет на Москву писать, в Большой приход: как я брал с вас...

— Сукин он сын, ваш воевода! — закричали опять казаки. — Батька, он уж давно притесняет нас. Которые, наша братва, приезжают с Дона за солью, так он у их с дуги по алтыну лупит. Кто ему велит так? Это уж не в Большой приход, а в карман свой большой...

— Это Унковский-то? — вспомнил пожилой казак-картежник. — Так то ж он у меня отнял пару коней, сани и хомут. Я его дюже хорошо знаю, Унковского. Грабитель первый...

— А у меня пистоль отнял в позапрошлом годе. Добрая была пистоль, азовская, — припомнил еще один.

— Вышибай бочки! — велел Степан. — Где воевода?! Я его зарежу пойду. Где он теперь?

— На подворье своем, — подсказали царицынцы, которые с превеликим удивлением и возбужденно суетились тут, смотрели и волновались.

...Степан скоро шел впереди своих есаулов, придерживая на боку саблю. Посадские, кто посмелее, увязались за казаками — смотреть, как будут резать воеводу Унковского. Странное и страшное это было шествие — шли молча, лица ожесточенные, серьезные, глаза горят отвагой: так идут травить злого, опасного зверя, который давно объявился в окрестности, но все не было смель-

чаков взять его. И вот смельчаки — нашлись, и теперь идут.

На подворье воеводском было пусто. Домочадцы и сам воевода попрятались, уведомленные об опасности. Унковский не думал, однако, что это будет прямая облава, поэтому сам с подворья не ушел, а спрятался в горнице.

— Где он?! — закричал Степан, расхлобыстнув дверь прихожей избы. — Где Унковский?!

Кто-то из казаков толкнулся в дверь горницы: заперта. Изнутри.

— Тут он, батька! Заперся.

Степан раз-другой попробовал дверь плечом — не поддалась. Налегли все, кто смог уместиться в проеме... Мешали друг другу, матерились. Двери в каменном доме воеводы тяжелые, наружные обиты дощатым железом, горничная, дубовая, — медными полосами.

— Игнаха, тудыт твою!.. — орали. — Ты мне ребра-то выдавишь! Куда прешь-то? Куда прешь-то?!

— Я на тебя, а ты давай на дверь.

— О, курва-то! Да воевода-то не за ребрами же у меня! Чего ты, дурак, ребра-то мои жмешь?

— А кто тя разберет тут в мялке-то: можеть, ты...

— Вали! Ра-зом!

Дверь надежная, задвига скована из хорошего шведского железа.

— Открой! — крикнул Степан. — Все одно ты не уйдешь от меня! Я с тобой за вино рассчитаюсь, кобель!.. За коней, за сани, за хомут!..

— За пищаль! — подсказывали сзади.

— Открой!

Унковский в горнице молился «закоптелышам» (темным от свечной копоти иконам). Губы трясуче шевелились; пышная борода вздрагивала на груди, на шитой гарусом полотняной рубахе.

Сверху, с божницы, на него бесстрастно смотрели святые.

— Неси бревно! — скомандовал за дверью Степан.

— Да святится имя твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя, — в который раз зашептал Унковский. — Вот поганцы-то!.. Решат ведь, правда, решат — взбесились. Да будет воля твоя, господи!..

В дверь снаружи крепко ударили бревном; дверь затрещала, подалась... Еще удар. Унковский бестолково забегал по горнице...

— Добуду я седня высокой воеводиной крови! — кричал Степан. — За налоги твои!..

Еще саданули в дверь тяжко, с хряском.

— За поборы твои! Грабитель... За лихоимство ваше!..

Унковский подбежал к окну, перекрестился и махнул вниз, в огород. Упал, вскочил и, прихрамывая, побежал, пригибаясь.

Еще удар в дверь... И группа казаков со Степаном вломились в горницу.

— Где он?!. — кинулись искать. Где искали, а где и — между делом — брали что под руку попадет.

Воеводы не было. Не могли понять, куда он девался.

— Утек! — сказал Федор Сукнин. Показал на окно. — Брось ты его, Степан... Вино и так вон — даром пьют, чего теперь с его взять?

— Ну уж не-ет!.. Он у меня живой не уйдет. — Степан, с ним есаулы, кто помоложе, и казаки выбежали из горницы.

— Пропал воевода, — сказал Федор Сукнин. — Найдет ведь...

— Воевода-то — пес с им, — заметил Иван Черноярец. Они вдвоем остались в горнице. — Нам худо будет: опять ему шлея под хвост попала... с кручи понес. Надо б хоть на Дон прийтить, людишками обрасти. Чего уж так взъелся-то?

— Теперь — один ответ, — махнул рукой Федор.

— Не ответа боюсь, а — мало пока нас. Рано он затеял...

— Васька с Алешкой придут...

— Где они, Васька-то с Алешкой? Докричись их!

— Будут люди, Иван! Не скули... Только крякнуть да денюжкой брякнуть. Дай на Дону объявиться — все будет. А Степан счас уймется. Воевода — дурак, сам свару затеял с вином с этим...

— Не сам: от Прозоровского указ привезли.

— Ну и пусть хлебают теперь. Совсем сдурели: цену на вино завысить! Они что?.. Это и — раздевать середь бела дня станут, а тут все молчи?

— Хотели, видно, от греха отвести...

— Отвели... Да надо, Иван, и начинать: чего томиться-то?

— Да не время! — раздраженно воскликнул Иван.

— Да пошто не время-то?! — тоже горячо и громко спросил Федор. — Пошто?! Самое время и есть: какое

тебе ишо время? Теперь уж — сказано, скрытничать нечего. Вот тем и шумнем к себе, что здесь повоюем. Я думаю, он к этому и гнет. И хорошо делает.

Степан ворвался с оравой в церковь.

Поп, стоявший у царских врат, выставил вперед себя крест.

— Свят, свят, свят... Вы куда? Вы чего?..

— Где Унковский? — громко зазвучал под сводами церкви голос Степана. — Где ты его прячешь, мерин гривастый?!

— Нету его тут, окститесь, ради Христа!.. Никого тут нету! — Поп был большой, и нельзя сказать, чтобы он насмерть перепугался.

Казаки разбежались по церкви в поисках воеводы.

Степан подступил к попу:

— Где Унковский?

— Не знаю я... Нету здесь. Стал бы я его прятать, на кой ляд он мне нужен! У меня у самого с Унковским раздор...

— Врешь! — Степан сгреб попа за длинные волосы, мотнул их на кулак, занес саблю. — Говори! Или гриве твоей конец!..

Поп брякнулся на колени, воздел кверху руки и заорал благим и дурашливым, как показалось Степану, голосом:

— Матерь пресвятая! Богородица!.. Ты глянь вниз: что они тут учинили, охальники! В храме-то!..

Степан удивленно уставился на попа:

— Ты, никак, пьяный, отче?

— Отпусти власья! — Поп дернулся, но Степан крепко держал гриву. — Илья-пророк! — пуще прежнего заблажил поп. — Пусти на Стеньку Разина стрелу каленую!.. Пошли две! Ну, Стенька!.. — Поп зло и обещающе глянул на Степана, смолк и стал ждать.

Степан крепче замотал на кулак волосы попа.

— Пусть больше шлет! — Его увлекла эта поповская игра в стрелы: охота стало понять, правда, что ли, он верит в них?

— Илья, — дюжину!!! — густо, со всей силой заорал поп.

— А-а... Ну? Где стрелы? Сам ведь не веришь, а пужаешь... Только пужать умеете! Все пужают, кому не лень!.. — Степан тоже обозлился на попа и не заметил, как крепче того крутнул его «власья».

— Илюха!.. Пусти, Стенька, распро... — Поп загнул такой складный мат, какому позавидовал бы любой подпивший донец. — Пусти, страмец!.. А то прокляну тут же, в храме!..

Казаки бросили искать воеводу, обступили атамана с попом.

Степан отпустил попа.

— Чего ж твой Илюха? Ни одной не пустил...

— Откуда я знаю? Не сразу и бывает все, не торопись... И не гневи бога зазря, и сам не пужай — никто тебя не боится.

— А чего заблажил-то так?

— Заблажишь... Саблю поднял, чертяка, — я же не пужало бессловесное. А ты бы не заорал?

— Был воевода?

— Нет.

— Куда же он побежал? Куда ему, окромя церкви, бежать? Был?

— Нет, святой истинный крест, не был. Сказал бы...

Степан пошел из церкви. Он еще не вовсе остыл, еще кого-нибудь бы вогнал в страх смертный. Очень уж обидным ему казался этот начальственный сговор воевод насчет вина. Гляди-ка, просто-то как: велел один другому, и все, и уж тут рады стараться — до резни доведут, а будут исполнять.

На улице перед Степаном упала на колени старуха.

— Батюшка-атаман, пошто они его под замки взяли? Пошумел в кружале, так и сажать за то? Как жа молодцу не пошуметь!..

— Кто пошумел?

— Сын мой, Ванька. Пошумел пьяный, и как теперь?.. Всех бы и сажали. — Старуха плакала, но и сердилась, вместе.

— В тюрьму посадили? — спросил Степан; старуха навела его на дельную мысль.

— В тюрьму. Да ишо клепают: государя лаял... Не лаял он! Он у меня смирный — будет он государя лаять!

— Кажи дорогу, — велел Степан, не слушая больше старуху. «Надо дело делать, а не бегать зря, — устыдил он себя. — И не заполошничать самому... с этим воеводой».

Он поостыл и действовать стал разумно и непреклонно: он умел — в минуту нужную — скомкать себя, как

бороду в кулаке, так, что даже не верилось, что это он только что ходуном ходил. И даже когда он бывал пьян, он и тогда мог вдруг как бы вовсе отрезветь и так вскинуть глаза, так посмотреть, что многим не по себе становилось. Знающие есаулы, когда случался вселенский загул, старались упоить его до сшибачки, чтобы никаких неожиданностей не было. Но такому-то ему, как видно, больше и верили: знали, что он — ни в удаче, ни в погибели — не забудется, не ослабнет, не занесется так, что никого не видать... Какую, однако, надо нечеловеческую силу, чтобы вот так — ни на миг — не выпускать никого из-под своей воли и внимания, чтобы разом и думать и делать, и на ходу выпрямиться, и еще не показать смятения душевного... Конечно же, она вполне человеческая, эта его сила, просто был он прирожденный вожак, достаточно умный и сильный.

Как ни обозлился Степан на воевод, а справился, понял, что «надо дело делать». Прежде чем казаки уйдут на Дон, надо, чтоб те же воеводы натерпелись от него страха и чтоб все люди это видели. Надо бы и кровь боярскую пролить... Он бы и пролил, если бы Унковский не спрятался. Надо, чтоб теперь пошла молва: на бояр тоже есть сила. Есть рука, готовая покарать их — за их поборы, за жадность, за чванство, за то, что они, собаки, хозяйничают на Руси... И за то, кстати, что казаки у Четырех Бугров ударились от них в бегство, и за это тоже. Надо оставить их тут в испуге, пусть спят и видят грозного атамана. Теперь — с этого раза — пусть так и будет. И пусть они попробуют сунуться на Дон — унять его, пусть попробуют, как это у них получится...

Тем временем подошли к тюрьме.

С дверей посбивали замки. Колодники сыпанули из сырых мерзких клетей своих... Обрадовались несказанно. Их было человек сорок.

— Воля — дело доброе! — громко сказал им Степан. — Но ее же не дают, как алтын побирушке. За ее надо горло боярам рвать! Они не перестанут вас мучить. Вы вот попрыгаете теперь козлами да разойдетесь по домам... Завтра я уйду, вас опять приведут суда на веревочке и запрут. Идите в войско мое!.. Пока изменников и кровопивцев-бояр не выведем, не будет вам вольного житья! Вас душить будут и в тюрьмах держать! Ступайте к казакам моим!..

* * *

— Негоже, Степан Тимофеич. Ай, негоже!.. Был уговор: никого с собой не подбивать, на Дон не зманывать... А что чинишь? — так говорил утром астраханский жилец Леонтий Плохово. Говорить он старался с укором, но по-доброму, отечески.

Степан Тимофеич, слушая его, смотрел на реку. (Они сидели на корме атаманова струга.) Вроде слушал, а вроде не слушал — не поймешь. Астраханец решил уж высказать все.

— С тюрьмы выпустил, а там гольные воры...

Степан сплюнул в воду, спросил:

— А ты кто?

— Как это? — опешил Леонтий.

— Кто?

— Жилец... Леонтий Плохово. Направлен доглядывать за вами...

— А хошь, станешь — не жилец? — спросил спокойно Степан.

— А кто же? — все не мог уразуметь жилец.

— Покойник! Грамотки возишь?! — Степан встал над Леонтием. — Воеводам наушничаешь! Собачий сын!.. Утоплю!

Леонтий побледнел: понял, что обманулся мирным видом атамана.

— Где Унковского спрятали?! — спросил Степан.

— Не знаю, батька. Не распаляй ты сердце свое, ради Христа, плюнь с высокой горы на воеводу... — Леонтий утратил отеческий тон, заговорил резонно, с умом. — На кой он теперь тебе, Унковский? Иди себе с богом на Дон...

На берегу возникло какое-то оживление. Кто-то, какие-то люди подскакали к лагерю на конях, какая-то станица. Похоже, искали атамана: им показывали на струг, где сидели Степан с Леонтием.

— Кто там? — спросил Степан ближних казаков.

— Ногайцы... К которым посылали с Астрахани.

— Давай их, — велел Степан.

На струг взошли два татарина и несколько казаков.

— Карасе носевал, бачка! — приветствовал татарин, видно старший в ногайской станице.

— Хорошо, хорошо, — сказал Степан. — От мурзы?

— Мурса... Мурса каварила...

Степан покосился на Леонтия, сказал что-то татарину по-татарски. Тот удивленно посмотрел на атамана. Степан кивнул и еще сказал что-то. Татарин заговорил на родном языке:

— Велел сказать мурза, что он помнит Степана Разина еще с той поры, когда он послом приходил с казаками в их землю. Знает мурза про походы Степана, желает ему здоровья...

— Говори дело! — сказал Степан по-татарски. (Дальше они все время говорили по-татарски.) — Читал он письмо наше?

— Читал.

— Ну?.. Сам писал?

— Нет, велел говорить.

— Ну и говори.

— Пять тысяч верных татар... — Татарин растопырил пятерню. — Пять...

— Вижу, не пяль.

— Найдут атамана, где он скажет. Зимой — нет. Летом.

— Весной. Не летом, весной! Как Волга пройдет.

Татарин подумал.

— Весной?..

— Весной.

— Ага, весной. Я так скажу.

— На Дону бывал? — спросил Степан. — Дорогу найдешь туда?

Татарин закивал головой.

— Были, были...

Степан заговорил негромко:

— Скажи мурзе: по весне подымусь. Куда пойду — не знаю. Зачем пойду — знаю. Он тоже знает. Пусть к весне готовит своих воинов. Куда прийти, я скажу. Пусть слово его будет твердым, как... вот эта сабля вот. — Степан отстегнул дорогую саблю и отдал татарину. — Пусть помнит меня. Я дружбу тоже помню.

— Карасе, — по-русски сказал татарин.

— Как ехали? — спросил Степан. Тоже по-русски.

— Той сторона. — Татарин показал на левый, луговой берег.

— Переплывали на конях?

— Кони, кони.

— Где?

— Там!.. Вольгым саверпул — так...

— Где островов много?

Татарин закивал.

— Ладно. Микишка! — позвал Степан казака. — Передай Черноярцу: татар накормить, напоить... рухляди надавать и отправить.

— Опять ведь нехорошо делаешь, атаман, — забылся и сказал с укором Леонтий. — Татарву на кой-то с собой подбиваешь. А уговор был...

— Ты по-татарски знаешь? — живо спросил Степан.

— Знать-то я не знаю, да не слепой — вижу... Сговаривались же! А то не видать...

— Отчаянный ты, жилец. Зараз все и увидал! Чего ж ты воеводе астраханскому скажешь? Как?

— Так ведь как чего?.. Чего видал, то и сказать надо, на то я и послан. — Астраханец чего-то вдруг осмелел. — Не врать же мне?

— Да много ль ты видал-то?! Пропьянствовал небось с моими же казаками... Вон глаза-то красные. — Степан ловко опять отвел жильца от опасений. — Чего глаза-то красные? Много ты такими глазами увидишь...

Леонтий заерепенился:

— Купца Макара Ильина с собой завернул, стрельцов сманил, сотника в воду посадил... Сидельцев с собой подбиваешь. Волгой никому не даешь проходу... С татарвой сговор чинится... Много, атаман, — твердо и недобро закончил Леонтий.

— Много, жилец. Так не пойдет. Поубавить надо. Ну-ка, кто там?! Протяжку жильцу! — кликнул атаман.

К Леонтию бросились четыре казака, повалили и стали связывать руки и ноги. Леонтий сопротивлялся, но тщетно. К связанным рукам и ногам его привязали веревки — два длинных свободных конца.

— Степан Тимофеич!.. Батька!.. — кричал жилец, барахтаясь под казаками. А потом и барахтаться перестал, то просил, то угрожал: — Ну, батька!..

— Я не батька тебе! Тебе воевода батька!.. Наушник. Кидай! — велел Степан.

Леонтия кинули в воду, завели одну веревку через корму на другой борт, протянули жильца под стругом, вытащили.

— Много ль ты видал, жилец? — спросил Степан.

— Почесть ничего не видал, атаман. Сотника и стрельцов не видал... Где мне их видеть? — я берегом ехал. Далеко же!..

— Татар видал?

— Их все видали — царицынцы-то. Не я, другие передадут...

— Кидай, — велел Степан.

Леонтия опять бултыхнули в воду. Протянули под стругом... Леонтий на этот раз изрядно хлебнул воды, долго откашливался.

— Видал татар? — спросил Степан.

— Каких татар? — удивился жилец. Да так искренне удивился, что Степан и казаки засмеялись.

— У меня ногайцы были... Не видал, что ль?

— Никаких ногайцев не видал. Ты откуда взял?

— Где ж ты был, сукин сын, что татар не видал? Кидай!

Степан хоть не зло потешался, но со стороны эта «протяжка», видно, кое-кого покоробила... Фрола Минаева, например, — скособотился и отвернулся. Степан краем глаза уловил это. Уловить уловил, но и осердился на своих тоже. Всю ночь со стрельцами вместе прогуляли, а теперь им жалко Леонтия!

Леонтия в третий раз протянули под стругом. Вытащили.

— Были татары? — спросил Степан.

— Были... видал. — Жилец на этот раз долго приходил в себя, откашливался, плевался и жалобно смотрел на атамана.

— Чего они были? Как скажешь?

— Коней сговаривались пригнать. Батька... хватит, я все сообразил, — взмолился Леонтий. — Смилуйся, ради Христа!.. Чего же я ее... хлебаю и хлебаю?.. Поумнел уж я.

— Добре. Хватит так хватит.

Леонтия развязали.

— Скажи Унковскому: еслив он будет вперед казакам налоги чинить, живому ему от меня не быть. За коней, за сани и за пищаль, какие он побрал у казаков, пускай отдаст деньги: я оставлю трех казаков. И пусть только хоть один волос упадет с ихной головы...

— Скажу, батька... Он отдаст. Казаки тоже будут в сохранности... — Леонтий готов был сулить все подряд. — Отдаст...

— Пусть спробует не отдать. Сам после того бежи в Астрахань. Скажешь: ушли казаки. Шли мирно, никого с собой дорогой не подбивали. Скоро не придут.

Не скажешь так, быть тебе в Волге. Мы стренемся. Чуешь, жилец?

— Чую, батька: донести туда, знамо, донесут, но не теперь, не я пока... Так?

— Пошел. С богом!

Леонтий, с молитвой в душе господу богу, поскорей убрался от свирепого атамана.

У Степана же все не выходило из головы, как скосоротился на «протяжку» Фрол Минаев... Как-то это больно застряло, затревожило.

«Чего косоротиться-то? — думал он, желая все понять до конца, трезво. — Раз война, чего же косоротиться? Или — сама война поперек горла?»

Он пристально оглядел казаков... Его пока не тормошили, не спрашивали ни о чем, — сборами занимался Черноярец, — и он целиком влез опять в эту думу о войне. Война это или не война? Или — пошумели, покричали — да по домам? До другого раза, как охота придет?.. Степан все глядел на казаков, все хотел понять: как они в глубине души думают? Спроси вот — зашумят: война! А ведь это не на раз наскочить, это долго, тяжко... Понимают они? Фрол, тот понимает, вот Фрол-то как раз понимает... «Поговорить с Фролом? — шевельнулась мысль, но Степан тут же загубил ее, эту мысль. — Нет. Тары-бары разводить тут... Нет! Даже и думать нечего про это, тут Фрол не советчик. А можеть, я ответа опасаюсь за ихные жизни? — скребся глубже в себя Степан Тимофеич, батька, справедливый человек. — Можеть, это и страшит-то? Заведу как в темный лес... Соблазнить-то легко... А как польется потом кровушка, как взвоют да как кинутся жалеть да печалиться, что соблазнились... И все потом на одну голову, на мою... Вот где горе-то! Никуда ведь не убежишь потом от этого горя, не скроешься, как Фролка в кустах. Да и захочешь ли скрываться? Сам не захочешь. Ну, Стенька, думай... Думай, Разя! Знамо дело, такой порох поджечь — только искру обронить: все пыхнет — война! А с кем война-то, с кем!.. Ведь не персы, свои: тоже головы сшибать умеют. Думай, Разя, думай: тут бежать некуда будет...» Степан даже пошевелился от этих своих растревоженных дум. На миг почудилось ему, что он вроде заглянул в темный сырой колодец — холодом пахнуло, даже содрогнулся... Откинулся на локоть и долго смотрел на солнце. «Пил много последние дни, ослаб, — вдруг ясно понял он свою слабость. — Поубавиться надо». И — чтобы не загля-

дывать больше в этот жуткий колодец — встряхнул себя, сгреб в кулак и больше не давал сползти в тягучие тягостные думы, а то и вовсе ослабнешь с ними, засосет, как в трясину.

— Иван, все сделано? — спросил Степан Черноярца.

— Все, батька. Надо трогаться...

— Стрельцы где?

— Какие?

— Те... с жильцом которые пришли, полусотня.

— Они там, у балочки. А зачем?

— Коня. И найдите Семку-скомороха. Все, Иван, пятиться некуда: или пополам, или вдребезги. Подымай; трогайтесь, я догоню вас.

Иван понял только одно: что хоть уже не сейчас же Москву-то воевать. Матернулся в душе на атамана: завьется как ошпаренный!.. Или догадайся, чего опять?

Через пять минут Степан во весь опор летел на коне в лагерь астраханских стрельцов. За ним едва поспевал Семка-скоморох (Резаный, прозвали его казаки). Он тоже ничего не понимал пока, не совсем оклемался после истязаний в страшной башне, но следовал за атаманом послушно и с охотой.

Подскакав к лагерю, Степан остановил коня.

— Стрельцы! — громко, напористо, короткими фразами заговорил он. — Мы уходим. На Дон. Вам велено назад. Что ж, пойдете? — Степан спрыгнул на землю. — К воеводе опять пойдете?! Опять служить псам?! Они будут душить невиновных, казнить всяко, кровь человеческую пить... а вы им служить?! — Степан больше и больше распалялся. — Семка, расскажи, какой воевода! Покажи, чего они с людями невиновными делают!..

Семка вышел вперед, ближе к стрельцам, открыл рот, и издал гортанный звук, и замотал головой горько. И даже заплакал от обиды и слабости.

— Слыхали?! Вот они, воеводы!.. Им, в гробину их мать, не служить надо, а руки-ноги рубить и в воду сажать. Кто дал им такую волю? Долго терпеть будем?! Где взять такое терпение? Не лучше ли свить им всем петлю покрепче, да всех разом — к солнышку ближе. Вони много будет, разок перенесем, ничего... Заживем на Руси вольно! Идите со мной. Мститься будем за братов наших, за все лиходейство боярское. Жить не могу, как подумаю: какие-то свиньи помыкают нами. Рубить!!! — Степан почувствовал близость нежеланного, опаляюще-

го сердце страшного гнева, сам осадил себя. Помолчал и сказал негромко: — Пушки не отдам. Струги и припас не отдам. Идите ко мне! Кто не пойдет — догоню дорогой и порублю. Подумайте. Будете братья мне, будет вам воля!.. Чего же больше надо? Учиним по Руси вольную жизнь, бояр и всех приказных гадов ползучих выведем. За то и смерть принять легко — бог с ней! А так жить больше не дам. Сами захочете — не дам! Вот... Все. Ставлю над вами вашего же сотника — пойдем на Дон пока. Там перезимуем, соберемся с силой... Там, слышно, много всяких обиженных набралось — мы их всех приветим. Заживем, ребятушки, вольно! — Степан повеселел глазами, даже посмотрел на стрельцов и на их сотника радостно. — Рази ж неохота вам пожить так? Когда вы так жили?

13

Осенней сухой степью в междуречье двигалось войско Разина. Последние медленные, горячие версты... Родная пыль щекочет ноздри. Скоро — родина. Впрочем, у большинства тут родина далеко, и она еще не забыта. Здесь — самарские, вятские, московские, котельнические, новгородские, вологодские, пошехонские, тамбовские, воронежские — отовсюду, где человеку лучше бы и не родиться. Где лучше — нож в руки да в лес — подальше от непосильного тягла, от бобыльской горькой участи мыкаться по закладам. Здесь — беглые. Но так уж повелось, что поначалу верховодят и тон задают донцы (отцы которых тоже вятские да самарские), поются донские песни и ждется и вспоминается вслух, с любовью — ДОН ИВАНОВИЧ... Придет время, и для беглых, живы будут, домом станет тоже Дон Иванович... А пока снятся ночами далекие березки, темные крыши милых сердцу, родимых изб и... другое — кому что. И щемит душа: самая это мучительная, самая неотступная любовь в человеке — память о родимых местах. Может, она и слабеет потом, но уже в других — в детях.

Однако все рады поскорей закончить тяжелый, опасный поход на край света. Кончился он — и славу богу! — надо и отдохнуть, хорошо погулять, отоспаться вволю. А там уж — как судьба да как атаман скажет.

На тележных передках, связанных попарно оглоблями, везли струги; пушки, паруса, рухлядь, оружие, припас и хворые казаки — на телегах. Пленные шли пешком. Только несколько — знатные — качались с тю-

ками добра на верблюдах: их берегли, чтобы потом повыгодней обменять на казаков, томившихся в плену у шаха.

Разин в окружении есаулов и сотников ехал несколько в стороне от войска. Верхами. Степан опустил голову на грудь и, кажется, даже вздремнул.

Сзади наехал Иван Черноярец. Отозвал Степана несколько в сторону...

— Стрельцы ушли, — сказал он негромко, чтобы никто больше не слышал; он вообще не одобрил эту затею со стрельцами — не верил и не мог понять, как это они, царские воины, вдруг станут казаками. Что началась война, а на войне только такая смертная полоса и есть — тут или там, — это как-то еще не дошло до Ивана, он думал, что это пока еще слова, горячка атамана.

— Как ушли? — переспросил Степан, больше — от растерянности. Он понял, «как ушли» — сбежали. Не поверили, не захотели идти с ним — та́к и уходят.

— Ушли... Не все, с двадцать. С сотником. Я посылал Мишку Докучаева — не угнался. Верст с пять, говорит, гнал, не мог настигнуть, ушли. Поздно хватились.

— Сотник увел. — Степан в раздумье с прищуром посмотрел вдаль, в степь, что уходила к Волге. — Змей ласковый. Нехорошо, Ваня: рано от нас уходить стали — другим пример поганый. Чего это они? Я же ведь упреждал...

— Сотник смутил, ты ж говоришь. Он мне сразу не оглянулся, этот сотник: все на улыбочке, на шуточке...

— Ага, сотник. Позови-ка мне Фрола. Сам здесь будешь. Стерегись татарвы. За остальными стрельцами глаз держи.

— Догнать хошь? — удивился Иван. — Ты что?! Где их теперь догнать!

— Надо. Змей вертучий! — еще раз в сердцах молвил Степан и опять посмотрел далеко в степь — Мы им перережем путь-дорожку: берегом кинулись, не иначе. Надо догнать, Ваня. А то эдак от наших слов никакого толку не будет. Я же говорил им!.. Скличь мне полусотню доброхотов негромко.

Полусотня охотников подобралась скоро; выбрались из длинного походного ряда, Степан коротко сказал, в чем дело... И устремились степью в сторону Волги.

Долго скакали молча, вмах... Поглядывали вперед. Солнце свалило в правую руку, они все скакали. Солнце наладилось у них с затылка, все скакали и скакали... Казачьи кони с утра не намаялись, несли ладно, податливо.

— Вон! — показал Фрол.

Фрол, внимательный, умный в последние дни понял: Степан — всерьез, обдуманно — повел войну. Никакая это не дурь, не за́полошь его. Слухи с Дона и особенно с Руси — что там мужиков вконец замордовали тяглом и волокитами, что они то и дело попадают в кабалу, монастырскую и к поместникам и «в безвыходные кре́пи», что бояре обирают их и «выхода» им теперь совсем нету — подтолкнули падкого и слабого до жалости атамана на страшный и гибельный путь. Давно ли он задумал такое или нет, Фрол не знал, но знал, что когда понесут «батюшке» со всех сторон горе да жалобы, «батюшка», сильный, богатый, кинется заступаться за всех, пойдет мстить боярству. Голи, проходимцев всяких найдется теперь много, от них и на Дону, слышно, житья нет... «Скоро они соберутся под высокую руку батюшки, — ехидно думал Фрол, — да Русь, недовольная, голодная, прослышав про такие дела, еще подвалит своих — всем жрать надо, хошь не хошь, а двигай этот сброд куда-нибудь — и нет остановки на этом смертном пути, да и не такой человек Степан, чтобы одуматься и остановиться. Сперва поведет, потом самого поведут впереди... Да и не одумается он ни в жизнь, ему того только и надо — орать на бою да верховодить», — так думал Фрол. Еще он понял, пока гнались за стрельцами, что его, Фрола, Степан взял в этот догон нарочно: замарать стрелецкой кровью. Раз война, раз клич, чтоб сбирались, то и нужна первая кровь, и она прольется.

— Вон! — показал Фрол.

Степан кивнул: он сам тоже увидел стрельцов. Подстегнули коней.

Далекие всадники обнаружили погоню... Там произошло замешательство... Как видно, посовещались накоротке.

— Вплавь кинутся! — крикнул Фрол. Много понимая, он много и старался, чтобы Степан не догадался про его черные и грустные мысли: иначе Фролу несдобровать будет.

Степан несогласно качнул головой.

— Там коней не свести. Маленько подальше — можно, туда побегут. Во-он!.. — Степан показал рукой. — Держим туда, на распадок. А чтоб назад не кинулись, пошли с пятнадцать с той стороны, отрежь.

И правда, далекие всадники, после короткого сбоя, устремились вперед, к распадку: там можно было съехать к воде и попытаться спастись вплавь.

Гонка была отменная. Под разинцами хрипели кони... Летели ошметья пены. Трое казаков отстали: кони под ними не выдержали бешеной скачки, запалились.

Ближе и ближе стрельцы... Кони под ними рвут силы в другой раз за сегодня. Два стрельца должны были тоже спрыгнуть с коней — те заспотыкались и стали падать. Из-за двух стрельцов, соскочивших с коней и побежавших в сторону, никто из разинцев не остановился — далеко не убегут теперь.

Лицо Степана спокойно. Только взгляд, остановившийся, выдавал то нетерпение, какое овладело его душой. Он сильно наклонился вперед, чуть прищурился... Загорелое лицо, широкое в скулах, посерело. Кончик уса встречным ветром загибало к губам, Степан встряхивал головой и коротко, хищно — так выглядело — скалился и неотступно смотрел вперед. Страшный взгляд, страшный... И страшен он всякому врагу, и всякому человеку, кто нечаянно наткнется на него в неурочный час. Не ломаной бровью страшен, не блеском особенным — простотой страшен своей, стылостью. Бывает, в месячную зимнюю ночь глядит в холодную пустыню неба прорубь с реки — не вовсе черная, но в живой глубине ее такая мерцает черная жуть, такая в текучих струях ее погибель, что тянет скорей отойти. Такие есть глаза у людей: в какую-то решающую минуту они сулят смерть, ничего больше. И ясно также — как-то это само собой понятно — глаза эти не сморгнут, не потеплеют от страха и ужаса, они будут так же смотреть и так же и примут смерть — прямо и просто. Когда душа атамана горит раскаленной злобой, в глазах его, остановившихся, останавливается одно только желание: достать, догнать, успеть.

Вот уж двадцать, пятнадцать саженей отделяют разинцев от стрельцов... Те оглядываются. Лица искажены томлением и мукой.

Все ближе и ближе казаки. Смерть хрипит и екает за спинами стрельцов. Смерть зловещей старухой радостно бежит рядом, взглядывает черными дырами глаз в

живые лица. Один слабонервный не выдержал, дернул левый повод коня и с криком загремел с обрыва.

Настигли. Разинцы стали обходить стрельцов, прижимая к берегу, к круче. Шестеро с Разиным очутились впереди, обнажили сабли...

Стрельцы сбились с маха... Сотник тоже вырвал саблю. Еще три стрельца приготовились подороже отдать жизнь. Остальные, опустив головы, ждали смерти или милости.

— Брось саблю! — велел Степан сотнику.

Молодой красивый сотник подумал... и спрятал саблю в ножны.

— Смилуйся, батька, — сказал тихо. — Грех попутал.

— Слазь с коней.

— Смилуйся, батька! Верой служить будем...

— Верой вам теперь не смочь: дорогу на побег знаете. Я говорил вам... Слазьте.

Стрельцы послезали с коней, сбились в кучу. Один кинулся было к обрыву, но его тут же срубил ловкий казак.

Коней стрелецких отогнали в сторону, чтоб они не глазели тут... на дела человеческие.

— Говорил вам!! — закричал Степан, заглушая криком подступившую вдруг к сердцу жалость. — Собаки!.. Доносить побежали!

Стрельцов окружили кольцом... И замелькали сабли, и мягко, с тупым коротким звуком кромсали тела человеческие. И головы летели, и руки, воздетые в мольбе, никли, как плети, перерубленные...

Скоро и просто свершилась расправа. Трупы поскидали с обрыва.

— Говорил вам, — горько, с укором сказал Степан, глядя с обрыва вниз. — Нет, побежали!

Казаки вываживали коней, обтирали их пучками сухой травы. Потом спустились вниз по распадку к воде. Напоить коней. Но еще пока медлили подпускать их к воде, чтобы не опоить с перегона.

Степан сидел на камне лицом к реке, надвинув низко на лоб шапку, смотрел на широкую спокойную гладь.

Солнце клонилось к западу; тень от высокого правого берега легла далеко на воду, и вода тут была темная. Зато дальше и вода, и далекий низкий берег — все тихо пламенело в желтых лучах прощального солнышка. Разница эта — здесь и там порождала раздумья. Ясно ли

думалось или грустно — кому как. Кто как смотрел. Кто смотрел дальше, на светлое, кто — поближе, в тень... Не одинаково думают люди, даже когда видят одинаково. Не одинаково и понимают, когда понимать вроде надо бы — одинаково. Так уж не одинаково устроены... Могут же одни, в близости смертного часа, окаменеть и ждать, другие — кричат, жалуются, ненавидят живых, которым еще некоторое время оставаться здесь. Да и жизнь-то принимают по-разному, не только смерть.

Подошел Фрол Минаев, присел. Тоже долго смотрел на воду... Отходили казаки от смерти стрелецкой, противились, не хотели ее холодного мерзкого касания, нарочно налаживались думать, что — вот... земля, солнышко светит, хорошо на земле, хорошо... Ну, а что случилось-то? Но — случилось, случилось, чего не могли понять: за что порубили людей? Ни в бою, ни в набеге... Зачем же это надо было?

— Зачем Леонтия-то отпустил? — спросил Фрол первое, что пришло в голову. И он рубил, и ему, может быть, больше других было не по себе.

— Отпустил, — нехотя сказал Степан, отрываясь от дум. — А чего?

— Зря. — Фрол жалел, что заговорил: не знал, что говорить больше.

— Пошто?

— Раззвонит там... В Астрахани-то.

— Теперь скрытничать нечего. Но иное дело, Фрол: один зазвонит или... Да уж и то — пора. Теперь: помоги, господи, подняться, а ляжем сами. Как думаешь? — Степан спокойно и пристально посмотрел на Фрола сбоку.

— Я-то? — Фрол смотрел на реку.

— Ты. Не виляй только, а то знаю я тебя, вертучего.

— Еслив по правде... — Фрол помолчал, подыскивая слова.

— По правде, Фрол, по правде. Говори, не бойся: на правду не обижусь — это же не бабу делить.

— Я не боюсь. Немыслимое затеваешь, Степан. Не знаю уж: скажет тебе кто так, нет, а от меня... услышь, можеть, сгодится подумать...

— Ну?

— Никто такое не учинял. Ты раскинь головой.

— Мы первые будем.

— А зачем тебе? Зачем, скажи на милость?

— Гадов повывесть на Руси, все ихные гумаги подрать, приказы погромить — люди отдохнут. Что, рази плохое дело?

Фрол молчал.

— Подумать только, — продолжал Степан, — сидят псы на Москве, а кусают — аж вон где! Нигде спасу нет! Теперь на Дон руки протянули — отдавай беглецов...

— На царя, что ли, руку подымешь? Гумаги-то от кого?

— Да мне мать его в душу — кто он! Если у его, змéя ползучего, только на уме, как захомутать людей, да сесть им на загривок, какой он мне к дьяволу царь?! Знать я его не хочу, такого доброго. И бояр его вонючих... тоже не хочу! Нет силы терпеть! Кровососы... Ты гляди, какой они верх на Руси забирают! Какую силу взяли!.. Стон же стоит кругом, грабют хуже нашего. Одними судами да волокитой вконец изведут людей. Да поборами. Хуже татар стали! А то ты не знаешь...

— А чего у тебя за всех душа болит?

Степан долго молчал. Только повернулся, хотел сказать что-то, но раздался крик:

— Татары! Тю!.. Век не видались, в господа бога мать!

И сразу над головами казаков свистнули стрелы и с коротким чмокающим звуком ушли в воду.

— За бугор! — крикнул Фрол, вскакивая.

Казаки послушно кинулись было к ближнему бугру.

— На коней! — остановил Степан. Первым вскочил на коня, заплясал на месте, поджидая других. — Экая дура, Фрол! Век там сидеть, за бугром-то? Скорей!.. Выследили, собаки. Так и знал...

Стрелы сыпались густо. Три-четыре угодили в казаков, те, страшно ругаясь, выдергивали их.

— Закрывайся чем попало! — кричал Степан. — Потниками, кичимами!.. Крутись ужами!

Татары окружили наверху распадок полукольцом. Сидя на конях, пускали стрелы.

— Эдисаны, твари поганые.

— Шевелись! — торопил Степан. — А то им подмога прискачет. Коней тоже прикрывайте!..

Стрелы, долетавшие до казаков, убойную силу теряли, но ранили больно. Много уж казаков со стоном и матерной бранью выдергивали друг у друга легкие татарские

гостинцы. Всхрапывали и шарахались кони... Наконец все были в седлах.

— В россыпь!..В мах! — коротко, спокойно скомандовал Степан. — Пошли!..

Казаки понеслись по отлогому распадку вверх.

— К кустам жмись! — кричал атаман. Он летел несколько впереди, отпустив поводья, левой рукой прикрывая себя и морду коня потником из-под седла, в правой сабля.

Эдисанцы подпустили казаков совсем близко, потом повернули коней и поскакали в степь. Казаки сгоряча увлеклись было за татарами, но Степан не велел. Он знал их повадку: утомить на степи погоню, измотать и подвести ее, ошалелую в гонке, под засаду... Наверняка где-нибудь сидел, поджидая, сильный отряд татар.

На Степана чего-то нашел веселый стих.

— Фрол, ты, никак, захворал? То в кусты тебя тянет, то за бугор... Не понос ли уж? Зачем за бугор-то велел?

Фролу неловко было за свой суматошный выкрик: что-то нервничать он стал последнее время, правда. Он молчал.

— Спуститесь за стрелецкими конями, пригоните, — велел атаман. — Да потрусим помаленьку к нашим, а то, чего доброго... — Он не досказал, но было и так ясно: эдисанцы, усилившись, могли вернуться. У них старая вражда с донцами.

Десяток казаков поехали вниз за лошадьми, которых не успели второпях взять.

— Чего ты меня пытал, Фрол? — серьезно спросил Степан, подъехав к Минаеву.

Фрол нахмурился, как бы вспоминая... Больше он не хотел говорить со Степаном ни о чем таком. Рано или поздно, может и теперь уже, тот спросит: «А ты как? Со мной?» И будет тогда Фролу вовсе нехорошо.

— Когда это? — спросил Фрол.

— Даве у воды. Татары как раз помешали.

Фрол не вспомнил.

— Забыл с этими татарами... Из башки вылетело.

14

Подьячий астраханской приказной палаты Алексей Алексеев громко, внятно вычитывал воеводам:

— «Вы пропустили воровских казаков мимо города

Астрахани и поставили их в Болдинском устье, выше города; вы их не расспрашивали, не привели к вере, не взяли товаров, принадлежащих шаху и купцу, которые они ограбили на бусе, не учинили разделки с шаховым купцом. Не следовало так отпускать воровских казаков из Астрахани; и если они еще не пропущены, то вы должны призвать Стеньку Разина с товарищами в приказную избу, выговорить им вины их против великого государя и привести их к вере в церкви по чиновной книге, чтоб впредь им не воровать, а потом раздать их всех по московским стрелецким приказам...»

— Ты глянь! — изумился старший Прозоровский. — Легко-то как! Взять да призвать!.. Да привести — только и делов!

— Мда-а!..

— Ну, дальше как?

— «И велеть беречь, а воли им не давать, но выдавать на содержание, чтоб они были сыты, и до указу великого государя не пускать их ни вверх, ни вниз; все струги взять на государев деловой двор, всех пленников и пограбленные на бусах товары отдать шахову купцу, а если они не захотят воротить их добровольно, то отнять и неволею».

— Ай да грамотка! — опять воскликнул Прозоровский. — Ты в Москву писал, отче?

Все поглядели на митрополита.

Митрополит обиделся.

— Я про учуг доносил. Свою писанину я вам всю здесь вычел...

— Кто же про купца-то да про бусы-то расписал? Не сорока же ему на хвосте принесла.

Теперь посмотрели на подьячего.

— Кто ни писал, теперь знают, — сказал подьячий Алексеев. — Надо думать, какой ответ править. На меня не клепайте, я не лиходей себе, на свою голову кары искать. Нашлись...

— Теперь — думай не думай — сокол на волюшке. А что мы поделать могли? — волновался Прозоровский.

— Так и писать надо, — подсказал подьячий. — Поло́н тот без окупу и дары взять у казаков силою никак было не можно, не смели — боялись, чтоб казаки снова шатости к воровству не учинили, и не пристали бы к их воровству иные многие люди, не учинилось бы кровопролитие.

— Ах ты горе мое, горюшко! — застонал воевода. — Чуяло мое сердце: не уймется он, злодей, не уймется. Его, дьявола, по глазам видать было. Ну-ка, покличьте суда немца Видероса... Может, хоть немецкая харя маленько устрашит злодея — пошлем к Стеньке. Снарядите стрельцов с им и — с богом. Хоть перед государем малое оправдание будет. Пусть немец скажет: получена, мол, гумага от царя — царь все знает теперь, велит тебе, Стенька, поганец, уняться с разбоем.

— Стрельцов-то порубили, а!.. — тихо, с жалостью воскликнул старый митрополит. — Что же он себе думает, злодей?

— С погайцами сговаривается...

— Большой разбой затевает, — сказал Алексеев. — Надо все, все государю отписать, все без утайки... Пушки не отдал, казаков не распускает, всех с собой подбивает, воронежцам за припас отдал и снова их в долю берет, за новый... Куда наметился с такой силой?

* * *

Видерос и с ним восемь стрельцов, все о двуконь, гнали день и ночь из Астрахани в междуречье. Догнали Разина на Дону. Капитан с ходу изложил атаману свои соображения по поводу опасности, которой он, Разин, продолжая своевольничать, подвергает себя и своих товарищей. Высокий князь (царь) может разгневаться — будет плохо. Неужели умный атаман не понимает этого?

Степан уставился на немца, долго молчал... Он не понимал, почему — немец?

— Все? — спросил он, больше изумленный, чем встревоженный.

— Если ты последофать сфой пекороши самисли, то будет потребофать фосфращать фсе поддаиый царя, а ф слючай сопротифлений, нет болше царская милость и нет пощада. Надо пить очшень разумный шеловэк...

Разговор случился в присутствии есаулов и нескольких сотников, которые наблюдали за переправой.

Войско Разина переправлялось на правый берег Дона. Пушки сплавляли на саликах (узких, в пять-шесть бревен, плотах), конные переплывали, стоя на лошадях.

Степан, заговоривший сперва спокойно, скоро утратил спокойствие и, чем дальше, тем больше распалялся. Ра-

возлила опять бумага, и в придачу к ней — тупой казенный немец.

— Как ты явился ко мне, образина? — спросил он.

— На конь, — ответил немец. — Калеп!

— Ты не подумал, что оставишь здесь голову? А ну, покажь твою храбрость!.. — Степан выхватил саблю и занес над головой немца. Тот присел в ужасе, закрылся руками. — Как ты посмел явиться ко мне, змеиный ты выползок, такой мне позор советовать: чтоб я предал товарищей моих! Это где так делают?! Кто тебя научил так думать, прихвостень воеводин? Воеводы? Отсеку вот язык-то, чтобы не молотил больше... — Степан вложил саблю в ножны.

Капитан молчал.

— Что? Хватило настырности явиться, да нет духу ответ держать! Ступай, гнида... милую тебя. Придешь, откуда послали, скажи: дул я вилюжками с высокой колокольни и на господ твоих, и на царя. И скажи господину своему: я с ним стренусь. Я приду раньше, чем он думает. И накажу его за дерзость. Скажи всем князьям: я князь от роду вольный, и все воеводы мне в подметки не годятся. Пускай поминют. А забудут, я приду — напомнить. — Степан резко отвернулся и пошел прочь. — Ларька, проводи немца в степь, — сказал на ходу Ларьке Тимофееву.

Капитану подвели коня... Он вдел трясущуюся ногу в стремя, сел в седло. Иван Черноярец огрел его коня саблей в ножнах. Конь прыгнул и понес; капитан чудом не вылетел из седла. Казаки засмеялись.

— Смех смехом, — сказал раздумчиво Фрол Минаев, когда немец ускакал, — а царю-то уж донесли. Про все. Так что... посмеемся, да задумаемся.

Иван Черноярец внимательно посмотрел на него:

— Ты к чему?

— Ни к чему! Сразу — «к чему». Так — думаю. Нашим-то, Ларьке-то с Мишкой, несдобровать будет в Москве, когда поедут: они царю одно, а тот уж все знает.

— Экие тебя думы нехорошие одолели, — засмеялся Иван. — Пойдем-ка выпьем. Мы теперь — дома.

— Дома, так теперь и думать не надо?

— Думать — это надо голову крепкую, а моя едва винишко дюжит, и то кружится... Пошли! Не обмирай раньше время, что будет, то и будь.

— Иди пей. — Фрол стегнул плетью подпрыгнувший к его ногам легкий ком перекати-поля. — Тоже, вишь, ду-

мать не хочет: катается туда-суда. Но этой голове хоть не больно... — Фрол еще разок стегнул ветвястый шар и пнул его — катиться дальше. — А наши, Ваня, так закружутся, что и... отлетят вовсе. Не ерепенься шибко-то, тут наскоком немного возьмешь... да храбростью. Тут и подумать не грех.

— Ну-ка, ну-ка, — всерьез заинтересовался Иван, взял Фрола за руку, повел в сторонку, подальше от других. — Чего это ты такое носишь? Скажи мне...

Фрол охотно отошел с Иваном, они присели на берегу на жесткую колючую травку.

— Ну? — спросил Иван.

— Не дело он затевает, —сразу сказал Фрол. — Не токмо не дело, а тут нам всем и каюк будет. Неужель ты-то не понимаешь?

— Не понимаешь... — повторил задумчиво Иван. — Можеть, и понимаешь, да... А чего ты советуешь?

— Давайте сберемся вместях —прижмем его к стенке: пускай выложит, чего задумал...

— Да он и так выкладает, чего прижимать-то?

— Он не все говорит! Как он думает царя одолеть, какой силой? Говорил он тебе? Вон с этими, — Фрол кивнул на ту сторону Дона, — которые рот разинули — ждут не дождутся, как пожрать да попить даром? Они? Они побегут сломя голову, как только им из Москвы пальцем погрозят. На кого же надежа-то?

Иван молчал.

— «Гадов повывесть» — это легко сказать. С кем ты их повыведешь?

— Ну, и чего ты надумал? — спросил Иван.

— Ничего! Чего я-то надумаю? Давай спросим его: чего он надумал? Чего он разошелся — обрадовался, персов тряхнул? Не он первый тряхнул... Все па Москву и метились после того? Кто это?

— Васька Ус вон... ходил же к Москве.

— Васька, как пришел туда, так и ушел, пе ушел, а — на крыльях летел... Васька. Грозить он шел, Васька-то? Он хлеба просить шел.

— Ну, это уж там как вышло бы, — нехотя возразил Иван. — Так уже вышло. А повернись дело другим боком, не просить бы стал, а так взял. Я, Фрол, одно не пойму: ты страху нагоняешь, чтоб посмелей отвалить от нас, или правда тебя смутные думы одолели?

Фрол помолчал несколько... И сказал с обидой, сердито:

— Да идите вы, господи!.. Идите, куда душа велит, кто вас держит-то. Но уж... смотреть на вас да большие глаза делать от дива великого — какие вы смелые, — это уж вы тоже... силком не заставляйте, пошли вы к такой-то матери.

— А чего ты осердился-то? — просто сказал Иван. — Мне правда понять охота: по робости ты или...

— По робости, по робости.

— Ну-у... зря осердился-то.

— Да чего тут сердиться? — Фрол резко крутнулся на месте — к Ивану. — На баранов рази обижаются, когда они дуром прут? Их бичами стараются направить...

— Да нет, ты с бичами-то погоди маленько, погоди, — ощетинился Иван. — Бич, он тоже об двух концах...

— Да мне жалко вас! — чуть не закричал Фрол. — Усеете головами своими степь вон за Волгой, и все. Чего больше-то?

— Ну, и усеем! Хоть за дело....

— Какое дело? Не перевариваю дураков!.. Долбит одно: за дело, за дело... За какое за дело-то? За какое?

— Боярство унять...

— Тьфу!.. — Фрол встал, постоял — хотел, видно, что-то еще сказать, но невтерпеж стало с дубоватым Иваном — ушел, широко отмеряя шаги.

Иван еще посидел маленько... Поогляделся на переправу... И встал тоже и пошел заниматься привычными войсковыми делами. Тут он все знал и понимал до тонкости.

* * *

— А вот скажи, Семка, — говорил Степан с Семкой-скоморохом, глядя на родимую реку и на облепивших ее казаков, — ты же много бывал по монастырям разным...

Семка покивал головой — много.

— Был я в Соловцах, — продолжал Степан, будто с неким слабым изумлением вслушиваясь в себя; в голове еще не утих скрип колесный, еще теплая пыль в горле чувствовалась, а через все это, через разноголосицу и скрип, через пыль и пот конский, через кровь стрелецкую, через тошный гул попоек, через все пробился в груди, под сердцем, живой родничок — и звенит, и щекочет: не поймешь, что такое хочет вспомнить душа, но что-то

дорогое, родное... Дом, что ли, рядом, оттого вещует сердце. — И там, в Соловцах, видал я одну икону Божьей Матери с дитем, — рассказывал Степан. — Перед этой иконой все на коленки опускаются, и я опустился... Гляжу на ее, а она — смеется. Правда! Не совсем смеется, а улыбается, в глазу такая усмешка. Вроде горько ей, а вот перемогла себя и думает: «Ничего». Такая непонятная икона! Больше всех мне поглянулась. Я до-олго стоял возле... смотрю и смотрю, и все охота смотреть. Сам тоже думаю: «Ничего!» Как это так? Рази так можно? Не побожьи как-то...

Семка подумал и пожал плечами неопределенно.

Степан поглядел на него... Но он и не надеялся на ответ — он с собой рассуждал. И мысль его то хватала в края далекие, давние, то опять высоко и трепетно замирала, как ястреб в степном небе, — все над тем же местом...

— Нет, Семка, — сказал он вдруг иным тоном, доверчиво, — не ее страшусь, гундосую, не смерть... Страшусь укора вашего: ну-ка, да всем придется сложить головы?.. А? — Степан опять посмотрел на калеку, в его невинные глаза, и жалость прищемила сердце. Он отвернулся. Помолчал и сказал тихо: — Не знаю... Не знаю, Семка, не знаю. И посоветоваться не с кем. Уж и посоветовался бы, — не с кем, вот беда. Потянут кто куда... Нет, лучше уж не соваться: разнесут на клочки своими советами, сам себя не соберешь потом. Ничего, Семка!.. Не робей. Даст бог, не пропадем.

* * *

Между тем Ларька с Мишкой Ярославовым и еще с тремя казаками «провожали в степь» капитана Видероса. Немец, оглядываясь на конвой, заметно нервничал и тосковал в недобром предчувствии. Он понимал, что за ним следуют неспроста, не мог только догадаться: что задумали казаки?

Отъехали далеко...

Ларька велел немцу и стрельцам, сопровождавшим его, спешиться. Те послушно это сделали.

— Вы не так пришли к атаману, — сказал Ларька. — Слыхали, он вам сказал: «Я родом выше всех высоких князей». Слыхали? — Глаза Ларькины излучали веселость, точно он затевал с малыми ребятами озорную потеху.

— Слыхали. — Стрельцы тоже затревожились, уловив в глазах есаула недоброе: веселость-то веселость, но какая-то... с прищуром.

— Так кто же так подступается, как вы? — Ларька оставался на коне, а трое казаков и Мишка слезли с коней.

— А как надо? — спросили стрельцы.

— На карачках. Надо, не доходя двадцать сажен, пасть на карачки и полозть. Давайте-ка спробуем. Научимся, вернемся до атамана и покажем, как мы умеем. А то заявились!.. Стыд головушке. Давайте-ка пообвыкнем сперва, потом уж... Ну!

Стрельцы с капитаном отошли на двадцать сажен, пали на четвереньки и поползли к Ларьке. Проползли немного, и капитан возмутился. Он встал.

— Ихь... — показал на себя пальцем, — исьпольняет посоль. Никогда, ни ф какой страна посоль... Посоль — это пошотный шеловэк...

— Мишка, посоли ему плетью одно место, чтоб он знал, какой бывает посол, — сказал Ларька; веселость играла в его синих глазах.

— Я хочет объяснять правил, какой есть каждый страна! — воскликнул капитан. — Правил заключается...

— Объясни ему, Мишка.

— Можеть, ему лучше вытяжку сделать? — спросил здоровенный Мишка. — А? — И пошел к капитану.

Стрельцы в ужасе поглядели на капитана: вытяжка — это когда вытягивают детородный орган. Это — смерть. Или, если не хотят смерти, — обидное, горькое увечье на всю жизнь. Это, кроме прочего, нечеловеческая мука.

Ларька подумал.

— Детишки есть? — спросил немца.

Тот не понял.

— Детишки, мол, детишки есть? Маленькие немцы...

— Смотри, — показал Мишка, — вот так: а-а-а... — Показал, как нянчат. — У тебя есть дома?

— Нет, — понял немец. — У меня есть... нефест.

Казаки, а за ними и стрельцы засмеялись.

— Ладно, — сказал Ларька. — Невесту жалко: ждет его, дурака, а он явится... с погремушкой в кармане. В куклы с им тада играть? Вложь плети, он и так поумнеет. Без плети, видно, не научишь. Мишка, ну-ка, как тебя грамоте учили?

Мишка подошел к капитану, но капитан сам опустился на четвереньки и пополз к Ларьке, который изображал

высокородного князя-атамана. За ним поползли стрельцы, не очень гнушаясь такой учебой.

Подползли...

— Ну? — спросил Ларька. — Как надо сказать?

Стрельцы и капитан не знали, что надо сказать.

— Ишо разок, — велел Ларька.

— Подскажи ты нам, ради Христа, — взмолились стрельцы. — А то же мы так полный день будем ползать!

— Надо сказать: прости нас, грешных, батюшка-атаман, мы с первого раза не догадались, как к тебе подступиться. Ну-ка. Ничего, уже выходит!.. Говорить ишо научимся ладом...

Стрельцы и капитан завелись снова «на подступ». И так три раза они подступались к «атаману» и просили простить. Наконец Ларька сказал:

— Ну вот: теперь хорошо. Теперь научились. Теперь, как ишо доведется когда-нибудь говорить с атаманом, будете так делать. Ехайте.

— Фарфар! — тихонько воскликнул капитан, садясь на коня. — О, фарфар!..

— Чего ты там? — услышал Ларька.

— Я с конь беседофать...

...В тот же день Ларька, Мишка и с ним еще пять казаков поехали в Москву «с топором и плахой» — челом бить царю-батюшке за вины казачьи. Так делали всегда после самовольных набегов на турок или персов, так решил сделать и Разин. Конечно, теперь воеводы нанесут туда всякой всячины, но пусть уж в этом ворохе будет и казачий поклон, так рассудил атаман.

15

По известному казачьему обычаю, Разин заложил на Дону, на острове, земляной городок — Кагальник. Островок тот был в три версты длиной, неширокий.

И стало на Дону два атамана: в Черкасске сидел Корней Яковлев, в Кагальнике — Степан Тимофеич, батюшка, скликатель всех, кого тяжелая русская жизнь — в великой неловкости своей — больно придавила, а кого попросту обобрала, покарала и вынудила на побег... Многих пригнал голод. Но кто способен убежать, тот способен к риску, в том всегда живет способность к мести, ее можно обнажить. Таких-то, способных на многое, на разбой, на войну, всех таких Разин привечал с любовью. И конечно, тут копился большой сговор. Не всегда и сло-

ва нужны, клятвы, заверения... Хватит, что люди все горести свои, все обиды снесли в кучу, а уж тут исход один: развернуться в сторону, где и случилась несправедливость. Как всякий русский, вполне свободный духом, Разин ценил людей безоглядных, тоже достаточно свободных, чтобы без сожаления и упрека все потерять в этой жизни, а вдвойне ценил, кому и терять-то нечего. И такие шли к нему... И если на пути из Астрахани он мучился и гадал, то тут его гадания кончились: он решил. Он успокоился и знал, что делать: надо эту силу отладить и навострить. И потом двинуть.

Зажил разинский городок. Копали землянки (неглубокие, в три-четыре бревна над землей, с пологими скатами, обложенными пластами дерна, с трубами и отдушинами в верхнем ряду), рубили засеки по краям острова стены (в край берега вбивали торчмя бревна вплотную друг к другу, с легким наклоном наружу, изнутри стена укреплялась еще одним рядом бревен, уложенных друг на друга и скрепленных с наружной стеной железными скобами, и изнутри же в рост человеческий насыпался земляной вал в сажень шириной), в стенах вырубались бойницы, печуры для нижнего боя; саженях в пятнадцати-двадцати друг от друга, вдоль засеки возводились раскаты (возвышения), и на них укреплялись пушки. Там и здесь по острову пылали горны походных кузниц: ковались скобы, багры, остроги, копья. Тульские, московские, других городов мастеровые правили на точилах сабли, ножи, копья, вырубали зубилами каменные ядра для пушек, шлифовали их крупносеяным песком.

Атаман, как и сулился, не распустил казаков, а кого отпускал на побывку домой, то за крепкой порукой. Да и не рвались особенно... Семейные бегали налегке попроведать своих, отвезти гостинцев и тут же вертались — здесь веселей и привольней.

К острову то и дело причаливали большие лодки — верхних по Дону, воронежских, тамбовских и иных русских городов торговых людей: шла торговлишка. Втыкались в островок и малые лодки, и выходили из них далеко не крестьянского или торгового облика люди. Иные кричали с берега — просили переправить. Эти — при оружии: донцы и сечевики. Сыскался вожак, нашлись и охотники. Или уж так: охотников было много, нашелся и вожак.

* * *

Землянка Разина повыше других, пошире...

Внутри стены увешаны персидскими коврами, на полу тоже ковры. По стенам — оружие: сабли, пистоли, ножи. Большой стол, скамьи вдоль стен, широкая кровать, печь. Свет падает сверху через отдушины и в узкие оконца, забранные слюдяными решетками.

У хозяина гости. У хозяина пир.

Степан — в красном углу. По бокам все те же — Стырь, дед Любим, Иван Черноярец, Федор Сукнин, Семка, сотники, Иван Поп. За хозяйку Матрена Говоруха, тетка Степана по матери, его крестная мать. Она, как прослышала о прибытии казаков, первой приехала в Кагальник из Черкасска. Она очень любила Степана.

На столе жареное мясо, горячие лепешки, печенные на углях, солонина, рыба... Много вина.

Хозяин и гости слегка уже хмельные. Гул стоит в землянке.

— Братва! Казаки!.. — надрывался Иван Черноярец. — Дай выпить за желанный бой! Дай отвести душу!..

Поутихли малость: чего у него там с душой такое?..

— За самый любезный!.. — Иван дал себе волю — выпрягся скорей других. Его понимали: на походе держал себя казак в петле, лишний глоток вина не позволил. Ивана уважали. — С такими-то боями я б на край света дошел... — Иван широко улыбался, ибо затаил неожиданность с этим «боем» и собирался ту неожиданность брякнуть. Она его самого веселила.

— Какой же это, Иван? — спросил Степан.

— А какой мы без кровушки-то отыграли... В Астрахани! Как нас бог пронес, ума не приложу. Ни одного казака не потеряли... Это надо суметь. За тот самый бой!.. — Иван с пьяной угрозой оглядел всех, приглашая с собой выпить. — Ну?!.

— Был бы калган на плечах, — заметил Стырь. — Чего не пройтись?

— Батька, поклон тебе в ножки!.. — вконец растрогался Иван. — Спаси бог! Пьем!

— За бой так за бой, — сказал Степан просто. — Не всегда будет так — без кровушки. Кресная, иди пригуби с нами!

— Я, Степушка, с круга свихнусь тогда. Кто кормить-то будет? Вас вон сколь...

— Наедимся, руки ишо целые, чего нас кормить? Иди, мне охота с тобой выпить.

Матрена, сухая, подвижная старуха, вытерла о передник руки, протиснулась к Степану.

— Давай, кресничек! — Приняла чарку. — С благополучным вас прибытием, казаки! Слава господу! А кто не вернулся — царство небесное, земля пухом лежать. Дай бог, чтоб и всегда так было — с добром да удачей.

Выпили. Помолчали, вспомнив тех, кому не довелось дожить до этих хороших дней.

— Как там, в Черкасском, Матрена Ивановна? — поинтересовался Федор Сукнин. — Ждут нас аль нет? Чего Корней, кум твой, подумывает?

— Корней, он чего?.. Он притих. Его не враз поймешь: посапливает да на ус мотает.

— Хитришь и ты, Ивановна. Он, знамо, хитер, да не на тебя. Ты-то все знаешь. Али от нас таисся?

Повернулись к Матрене, ждали... Стало вовсе тихо. Конечно, охота знать, как думают и как говорят в Черкасском войсковой атаман и старши́на. Может, старуха чего и знает...

— Не таюсь, чего мне от вас таиться. Корней вам теперь не друг и не товарищ: вы царя нагневили, а он с им ругаться не будет. Он ждет, чего вам выйдет за Волгу да за Яик... За все. А то вы Корнея не знаете! Он за это время не изменился.

Степан слушал умную старуху, понимал, что она говорит правду: с Корнеем их еще столкнет злая судьба, и, наверное, скоро.

— Ну, а как нам худо будет, неуж на нас попрет? — пытал Федор, большой любитель поговорить со стариками.

— Попрет, — ясно сказала прямая старуха.

— Попрет, — согласились казаки. — Корней-то? Попрет, тут даже гадать нечего.

— А старши́на как?

— Чего старши́на?

— Как промеж себя говорят?

— И старши́на ждет. Ждут, какой конец будет.

— Конца не будет, кресная, — сказал Степан. — Нету пока.

— А вы поменьше про это, — посоветовала старуха. — Нету — и нету, а говорить не надо. Не загадывайте.

— Шила в мешке не утаишь, старая, — снисходительно сказал Стырь, опять весь разнаряженный и говорливый. — А то не узнают! — Стырь даже и на побывку домой не шел от войска — откладывал.

— Тебе-то не токмо шила не утаить... Сиди уж. Ты со своим носом впереди шила везде просунесся...

— Старуха моя живая? Ни с кем там не снюхалась без меня?

— Живая, ждет не дождется. Степан... — Матрена строго глянула на крестника. — Это кака же така там девка-то у тебя была?

Степан хотел отмахнуться от мелкого разговора, нахмурился даже, чтоб сразу пресечь еще вопросы.

— Какая девка?

— У тебя девка была...

— Будет тебе, кресная! С девкой какой-то привязалась...

— Шахова девка, чего глаза-то прячешь? — не унималась Матрена. — Ну, приедет Алена... Ты послал ли за ей?

— Послал, послал. — Степан не рад был, что и подал старухе.

— Кого послал?

— Ваньку Болдыря. Ты... про девку-то — не надо, — вовсе строго посоветовал Степан.

— А то не скажут ей! Лапти плетешь, а концов хоронить не умеешь.

— Ну, скажут — скажут. Как они там? Фролка?..

— Бог милует. Фролка с сотней к калмыкам бегали, скотины пригнали. Афонька большенький становится... Спрашивает все: «Скоро тятька приедет?»

— Глянь-ка!.. Неродной, а душонкой прильнул, — подивился Федор. — Тоже тоскует.

— Какой он там был-то!.. Когда мы, Тимофеич, на татар-то бегали, Алену-то отбили? — заговорил дед Любим.

— Год Афоньке было, — неохотно ответил Степан. Он не любил вспоминать про тот бой с татарами, и как отбил он красивую Алену... В том бою он только про Алену и думал — совестно вспоминать. Афоньку же, пасынка, очень полюбил —за нежное, доверчивое сердце.

— Ах, славно мы тада сбегали!.. — пустился в воспоминания дед Любим. — Мы, помню, забылись маленько, распалились — полосуем их почем зря, только калганы летят... А их за речкой, в леске, — видимо-невидимо.

А эти-то нас туда заманывают. Половина наших уж перемахнули речку — она мелкая, а половина ишо здесь. И тут Иван Тимофеич, покойничек, царство небесное, как рявкнет: «Назад!» Мы опомнились... А из лесочка-то их туча сыпанула. А я смотрю: Стеньки-то нету со мной. Все рядом был — мне Иван велел доглядывать за тобой, Тимофеич, дурной ты какой-то тот раз был, — все видел тебя, а тут как скрозь землю провалился. Можеть, за речкой? Смотрю — и там нету. Ну, думаю, будет мне от Ивана. «Иван! — кричу. — Где Стенька-то?!» Тот аж с лица сменился... Глядим, наш Стенька летит во весь мах — в одной руке баба, в другой дите. А за ним... не дай соврать, Тимофеич, без малого добрая сотня скачет. Тут заварилась каша...

Степан налил себе чару.

— Хватит молоть, дед. Наливайте.

— Там к старухе моей никто не подсыпался? — опять спросил подпивший Стырь у Матрены. — Чего молчишь-то?

За столом засмеялись; гулянка стала опять пабирать ширь и волю, чтобы потом выплеснуться отсюда, из тесноты.

— А то ведь я чикаться с ей не буду: враз голову отверну на рукомойник. У меня разговор короткий...

— У тебя, дедка, все коротко, только нос... это... — повел было свою любимую тему большой Кондрат. Левая рука его покоилась пока в петельке из сыромятного ремешка, перекинутого через шею.

— Цыть! — резво осадил его Стырь. — У тебя зато: грудь нараспашку, а язык на плечо. Замолкни здесь с носом, поганец.

— Клюку она на тебя наготовила, твоя старуха... Ждет, — сказала Матрена на расспросы Стыря.

— Ей уж шепнули, наверно, как ты с шахинями-то там... А? Греховодник ты, Стырь!.. Никак уняться не может! Откуль только силы берутся!

В землянку вошел казак, протиснулся к атаману.

— Батька, москали-торговцы пришли. Просют вниз пустить.

— Не пускать, — сразу сказал Степан. — Куда плывут, в Черкасский?

— Туда. Говорят...

— Не пускать. Пусть здесь торгуют. Поборов никаких — торговать по совести, а на низ не пускать ни одну душу. Вперед делать так же. Не обижать никого.

Казак вышел.

— Не крутенько ли, батька? — спросил Федор. — Домовитые лай подымут... Без хлеба ведь останутся.

— Нет, — еще раз сказал Степан. — Федор, чего об Алешке и об Ваське слыхать?

— Алешка сдуру в Терки попер, думал, мы туда выйдем, кто-то, говорят, сказал ему так...

— Это знаю. Послал к нему?

— Послал. Ермил Кривонос побег. Васька где-то на Руси, никто толком не ведает. К нам хотел после Сережки, а домовитые его на войну повернули...

— Пошли в розыск. Подходют людишки? — Степан — и спросил это, и не спросил — сказал, чтоб взвеселить лишний раз себя и других.

— За четыре дня полтораста человек. Но — голь несусветная. Прокормим ли всех? Можеть, поумериться до весны...

— Казаки есть сегодня? — Степан ревниво следил, сколько подходит казаков, своих, с Дона, и с Сечи.

— Мало. Больше с Руси. Еслив так пойдут, то... Прокормить же всех надо. — Так повелось, что Федор Сукнин ведал кормежкой войска, и у него об своем и болела душа.

— Всех одевать, оружать, поить и кормить. За караулом смотреть. Прокормим, всех прокормим. Делайте, как велю.

— Сделать-то мы сделаем... А чего... до весны-то пока бы...

— Наливай! — сбил Черноярец Федора. — Разговорился...

— Ваня... ты, еслив опьянел...

— Ты меня напои сперва! Опьянел... Нет!

— А не сыграть ли нам песню, сынки?! — воскликнул Стырь.

— Любо! — поддержали со всех сторон. — Теперь — дома.

— Заводи! — смешно распорядился опять Иван и саданул кулаком по столу. Сивуха прямо на глазах меняла человека: вместо спокойного, разумного казака, каким знали Ивана, сидел какой-то крикливый, задиристый дурак. Оттого, может, и не пил Иван часто, что знал за собой этот грех и тяготился им.

— Чего расшумелся-то? — урезонил Степан верного есаула; атаман, пока не случался пьян, брезговал пьяны-

ми, не терпел. Но и сам он бывал не лучше, только споить труднее. — А где ж Фрол Минаев? — вспомнил вдруг Степан. — Где, я его не вижу?.. А? — Он посмотрел на всех... и понял. И уж досказал — так, чтобы досказать, раз начал: — Я же не велел пока в Черкасской ходить... Никому же не велел!

С минуту, наверно, было тихо. Степан еще раз посмотрел на всех, с досадой. Положил кулак на стол. Не сразу снова заговорил. И заговорил опять — с запоздалой горечью, незло.

— Чего же не сказали? Молчат... Говорите!

И опять никто не решился ему ответить. А надо-то всего было сказать: ушел Фрол. Совсем ушел. Предал.

— Ну? Похоже, поминки получились? По Фролке...

— Погулять охота было, Тимофеич, — честно сказал Стырь. — При тихой погоде,... без грому.

— И погуляем! Чего нам не погулять? Одна тварь уползла — не велика утеря. Он давно это задумал, я чуял. Давай.

Налили чарки. Но больно резанула по сердцу атамана измена умного есаула. Он с трудом пересиливал эту боль.

— Ну, свижусь я с тобой, Фрол, — сказал он негромко, себе. — Свижусь, Фрол. Давайте, браты!.. Давай песню, Стырь. С Фролом всё: он свою песню спел. Пошла душа по рукам... Давай, Стырь, заводи.

Нет, не так давно задумал Фрол Минаев измену, а после того разговора, как порубили стрельцов и сидели на берегу Волги: с этого момента он знал, что уйдет. Тогда понял Фрол, что Степан теперь не остановится — пролилась дорогая и опасная кровь. И понял еще Фрол, что Степан захотел пролить эту кровь поверх жалости, помимо прямой надобности — чтобы положить конец своим сомнениям и чтобы казаки тоже замарались красным вином страшенной гульбы. Вот тогда твердо решил Фрол уйти. Это было недавно.

* * *

В глухую полночь и теплынь к острову подплыла большая лодка.

С острова, с засеки, окликнули сторожевые.

— Свои, — отозвался мужской голос с лодки. — Ивашка Болдырь. Батьке гостей привез.

— А-а... Давайте, ждет. С прибытием, Алена!

Степан лежал на кровати в шароварах, в чулках, в

нательной рубахе... Не спалось. Лежал, устроив подбородок на кулаки, думал свою думу, вслушивался в себя: не встревожится ли душа, не завещует ли сердце недобро... Нет, все там тихо, спокойно. Даже непонятно: такие дела надвигаются, вот уж и побежали в страхе, и не дураки побежали, и не самые робкие — чем-чем, а робостью Фрол не грешил, — ну? А как дадут разок где-нибудь, тогда чья очередь бежать? И мысль второпях обшаривала всех, кто попадался в памяти... Ну, Иван Черноярец, Федор, Ларька, Мишка, Стырь — такие лягут, лягут безропотно многие и многие... А толк-то будет, что ляжем? Видел Степан, но как-то неясно: взросла на русской земле некая большая темная сила — это притом не Иван Прозоровский, не Семен Львов, не старик митрополит — это как-то не они, а нечто более зловещее, не царь даже, не его стрельцы — они люди, людей ли бояться?.. Но когда днем Степан заглядывал в лица новгородским, псковским мужикам, он видел в глазах их тусклый отблеск страшной беды. Оттуда, откуда они бежали, черной тенью во все небо наползала всеобщая беда. Что это за сила такая, могучая, злая, мужики и сами тоже не могли понять. Говорили, что очутились в долгах неоплатных, в кабале... Но это понять можно. Сила же та оставалась неясной, огромной, неотвратимой, а что она такое? — не могли понять. И это разжигало Степана, томило, приводило в ярость. Короче всего его ярость влагалась в слово — «бояре». Но когда сам же он хотел вдуматься — бояре ли? — понимал: тут как-то не совсем и бояре. Никакого отдельного боярина он не ненавидел той последней искупительной ненавистью, даже Долгорукого, который брата повесил, даже его, какой ненавидел ту гибельную силу, которая маячила с Руси. Боярина Долгорукого он зашиб бы при случае, но от этого не пришел бы покой, нет. Пока есть там эта сила, тут покоя не будет, это Степан понимал сердцем. Он говорил — «бояре», и его понимали, и хватит. Хватит и этого. Они, собаки, во многом и многом виноваты: стыд потеряли, свирепеют от жадности... Но не они та сила.

Та сила, которую мужики не могли осознать и назвать словом, называлась — ГОСУДАРСТВО.

За дверью, на улице, послышались шаги, голоса...
Степан сел, опустил ноги на пол... Уставился на дверь.
Вошли Фрол Разин, Алена и десятилетний Афонька.

— Ну вот, — сказал Степан со скрытой радостью. — Заждался вас. Что долго-то там?

Алена припала к мужу, обняла за шею... Степан поднялся, тоже поприобнял жену, похлопывал ее по спине и говорил:

— Ну вот... Ну, здорово. Ну?.. Сразу — плакать. Чего?

Алена плакала и сквозь слезы шепотом говорила:

— Прилетел, родной ты мой. Думала уж, пропал там — нет и нету... Все глазыньки свои проглядела.

— Ну!.. Пропасть — это тоже суметь надо. Ну, будет. Дай с казаками-то поздороваюсь. Будет, Алена.

Фрол и Афонька ждали у порога. Афонька улыбался во все свои редкие зубы. Черные глазенки радостно блестели.

— Год нету, другой нету — поживи-ка так... Совсем от дому отбился, — говорила Алена как будто заготовленные слова — так складно, к месту они получались.

— Будет тебе...

— Другие хоть к зиме приходют, а тут... Молилась уж, молила матушку пресвятую богородицу, чтоб целый пришел...

— Афонька, здорово, сынок. Иди ко мне, — позвал Степан, с легким усилием отстраняя Алену. — Иди скорей.

Афонька прыгнул к Степану на руки, но от поцелуев решительно уклонился.

— Вот так! — похвалил Степан. — Так, казаче. — Посадил его на кровать.

Поздоровался с братом за руку.

— Ты, никак, ишо вырос, Фрол?

— Да где? — Рослый, усатый Фрол мало походил на старшего брата — красивее был и статнее. — А ты седеть начал.

— А жена-то где твоя? — полюбопытствовал Степан.

— Да там пока...

— Чего? Не поехала, что ль?

— Да... потом. Чего седеть-то начал?

— Ну, рассказывайте, какие дела? Кто первый? Афонька?..

Афонька все улыбался.

— Ты что это, разговаривать разучился? А? — Степан тоже улыбался; на душе было хорошо, только скорей бы ушла уж эта первая бестолковая минута.

— Пошто? — спросил Афонька. — Умею.

— Отвык. Скажи, сынок: ишо бы два года шлялся там, так совсем бы забыли, — встряла опять Алена.

— Не-ет, Афонька меня не забудет. Мы друг дружку не забудем. Мы, скажи, матерю скорей забу... — Степан осекся, конфузливо глянул на Алену. Та с укоризной покачала головой.

— Э-эх!.. То-то и оно. Седеть-то начал, а все не образумисся, все как кобель молодой...

Фрол засмеялся.

— Ну пойду, — сказал он. — Завтра погутарим.

— Погодь! — остановил Степан. — Давайте пропустим со стречей-то. Я тут маленько запасся... Упрятал от своих глотов. Ален, собери-ка на скорую руку.

Алена принялась накрывать на стол.

— Где тут у тебя чего?

— Там... разберись сама. Садись, Фрол, рассказывай.

— Порассказали!.. — все хотела поворчать Алена. — В глаза людям глядеть совестно. Скрозь землю готовà провалиться... Тьфу! Да ишо — черная! Хоть бы уж...

— Будет, Алена, — миролюбиво сказал Степан. — Нашла об чем гутарить. Рассказывай, Фрол.

Фрол — не охотник до войны, до всяких сговоров, хитростей военных. Не в разинскую породу. Он — материн сын, Черток: покойница больше всего на свете боялась войны, а жила с воином и воинов рожала. Зато уж и тряслась она над Фролом, меньшим своим... Помирала, просила мужа и старших сынов: «Не маните вы его с собой, ради Христа, не берите на войну. Пускай хоть он от ее спасется, от проклятой».

— Чего рассказывать-то? — Фрол сел на кровать. Он правда не знал, чтó Степану интересно и нужно знать.

— Корнея когда видал?

— Вчерась.

— Ну? — насторожился Степан.

— Он хотел сам приехать... Приедет на днях. Велел сказать: как от его к тебе казак будет, чтоб сплыл ты с тем казаком ниже куда-нибудь для разговору. Не хочет, чтоб его на острове видели.

— Лиса хитрая. Не дождется. Как казаки там?

— Рóссказней про тебя!.. — со смехом воскликнул Фрол.

— Хоть уши затыкай! — вставила Алена.

— Ко мне собираются? — допрашивал Степан брата, с умыслом не замечая Алениного большого желания — допросить его самого.

— Собираются. Много. Не знают только, чего у тебя на уме.

— Не надо и знать пока.

— Правда, что ль, половина шаховых городов погромил?

— Маленько потрясли, — уклончиво ответил Степан. — А домовитые как?

— Молчат.

— От царя никого не было?

— Нет.

— Ну, садись. Садись, братуха!.. Вот и выпьем вместях — давно думал. Алена, как у тебя?

— Садитесь. — Алена доставала из корзины, которую привезла с собой: домашнее печенье, яйца, варенец... — Хотела больше взять, да этот Иван, как коршун, похватал, как были...

— Молодец, — похвалил Степан. — Нечего там сидеть... у врагов.

— Какие же там враги? — изумилась Алена.

Фрол тоже с любопытством посмотрел на брата. Младенец! Мать-то не зря просила: не воин. Жалко будет, если убьют... Грех на душу возьмешь с таким.

— Ну — будут враги: дело наживное. Ах, Афонька!.. Штуку-то я тебе какую привез! Ах, штука!.. — Степан наклонился, достал из-под кровати городок, вырезанный из кости. — Царь-город. Во, брат, какие бывают! На, играй!

Алена оглядела избушку: должно быть, хотела знать, что же ей-то привез муженек, какие подарки. Так уж... спасительно устроена русская баба: она может подняться до прощения даже и тогда, когда прощения у нее не просят, не вымаливают. Она только найдет — бессознательно, не хитря — какую-нибудь уловку и уверует, что ей, например, — жалко, грех, или что она больше всего на свете любит богатство... Она пощадит оскорбителя и пощадит себя.

Степан перехватил ее взгляд, засмеялся коротко, непонятно.

— Потом, Алена. Подай нам сперва.

— Кресная у тебя? — спросил Фрол.

— Здесь.

— Не мог удержать. Говорю: пришлет он кого-нибудь, куда ты одна! Нет — пойду. Так ушла.

— Она молодец. Ну?.. С приездом вас. И нас. Со стречей.

— С радостью нас, — сказала Алена, чокаясь с казаками золотой чарой, на которую невольно и попросту дивилась: не видывала такой красивой.

Фрол ушел поздно; он захмелел, все улыбался и смотрел на брата, не понимая, наверное, чем он так колыхнул молву?

Алена разобрала постель... Степан помиловался с ней, и она уснула. А Степан в ту ночь так и не мог заснуть до света.

Дождался, в окна землянки забрезжил слабенький синий туман. Тогда он осторожно высвободил руку, на которой лежала голова жены, встал...

— Ты чего? — спросила Алена. — Ни свет ни заря...

— Спи, — сказал Степан. Присел, погладил теплую, со сна особенно хорошую Алену. — Пойду к казакам.

— Господи!.. Хоть маленько-то побудь со мной. Куда они денутся, твои казаки! Спят ишо все...

— Побуду, побуду. Спи. Мне надо.

Степан надел шаровары, сапоги... Накинул кафтан и вышел из землянки.

Городок спал. Только часовые ходили вдоль засеки да чей-то одинокий костер сиротливо трепыхался у одной из землянок.

Степан подошел ближе к костру... Два в дым пьяных казака, обнявшись, беседовали.

— Ты мне ее покажь... Покажь, ладно?

— Ладно.

— Не забудь только, ладно? Покажь, не забудь...

— Кого?

— Эту-то...

— А-а. Не, она для нас — тьфу!

— Кто?

— Эта-то, Манька-то.

— Какая Манька?

— Ну, эта-то!

— А-а. А мы ее обломаем...

— Кого?

— Ну, эту-то...

Степан постоял, послушал, усмехнулся и пошел дальше.

Прекрасен был этот рассветный час золотого дня золотой осени. Свежий ветерок чуть шевелил листья вербы и тальника. Покой, как сонная лень, покой держал землю. Вся она, не такая уж необъятная, нежилась еще в ладонях покоя. Скоро проснутся люди... Опять — в суете, в

словах — явится важность людей, но вот сейчас-то, когда такой покой, — так это все неважно, вся эта суета, слова... Даже смешно.

Степан вошел в землянку, где поселились Иван Черноярец со Стырем: эти двое постоянно ругались, но и постоянно — молча — дружили, всегда жили вместе.

Иван легко отнял голову от кафтана, служившего ему подушкой. Спросил встревоженно:

— Что?

— Ничего, погутарить пришел.

Степан глянул на спящего Стыря, присел на лежак к Ивану.

— Вчерась я сон чудной видал, Ваня: как вроде мы с отцом торгуем у татарина коня игренева. Хороший конь!.. А татарин цену несусветную ломит. Мы с отцом и так, и эдак — ни в какую. Смотрю я на отца-то, а он мне мигает: «Прыгай-де на коня и скачи». У меня душа заиграла... Я уж присматриваю, с какого боку ловчей прыгнуть. Хотел прыгнуть, да вспомнил: «А как же отец-то тут?!» И проснулся.

— Было когда-нибудь так? — спросил Иван, превозмогая похмельную боль в теле: весь день хворать будет Иван.

— С отцом — нет, с браткой Иваном было. Послал нас как-то отец пару коней купить, мы их силком отбили, а деньги прогуляли. Отец выпорол нас, коней возвернул...

Ивану еще и жалко, что недоспал. Зевнул.

— Ты чего пришел-то: сон рассказать?

Степан долго молчал, сосал трубку, смотрел вниз.

— Утро ясное, — сказал он вдруг. — Не в такое бы утро помирать. А? — И глянул на есаула пытливо и весело.

— О!.. — удивился Иван. — Куда тебя уклонило. Это мне седня про смерть-то надо... Перестарался вчерась... дурак.

— Вот чего... — Степан сплюнул горьковатую слюну. — Прибери трех казаков побашковитей — пошлем к Никону, патриарху. Он в Ферапонтовом монастыре сидит: их с царем мир не берет. Не качнется ли в нашу сторону...

— Какой из попа вояка! — удивился Иван.

— Не вояка надобен — патриарх. Будет с нами, к нам народишко легче пойдет. А ему, думаю, где-нибудь тоже заручка нужна. Можеть, качнется — он злой на царя.

Пускай скажут: мы его истинно за патриарха чтить будем. Прибери, кто сумеет...

— Приберу, есть такие.

— Пошли их потом ко мне: научу, как говорить. Письма никакого не писать, но чтоб казаки надежные были, крепкие. Могут врюхаться — слова бы не вымолвили ни с какой пытки.

— Есть такие.

— Ишо пошлем в Запороги — к Ивану Серику. Туда с письмом надо, пускай на кругу вычтут, всем.

— Тада уж и к Петру Дорошенке...

— К Дорошенке? Подумать надо... Хитрый он, крутится, как у́ж на огне... Посмотрим, у меня на его надежи нет. Еслив надо свою выгоду справить — справит, не задумается. Серко, тот надежный...

— Тимофеич, пошли меня к патриарху, — сказал вдруг Стырь, поднимаясь со своего лежака. — Я сумею, вот те крест, сумею. Ишо как сумею-то!

— Ты не спишь, старый?

— Нет. Пошлешь?

— Пошто загорелось-то?

— Охота патриарха глянуть... Мне один бегун рассказывал про Никона: эт-то тебе не...

— Чего в ем? — поп и поп.

— Самый высокий поп!.. Много я всякого повидал, а такого не доводилось. Пошли. Я с им про веру погутарю. Он вишь чего затеял-то?..

— Опасно ведь... схватить могут: Никона стерегут. А схватют, милости не жди: закатуют. Охота на дыбе дни кончать? Они вон какие хорошие, дни-то. Выйди, глянь-ка — сердце радуется.

— Ну, кому-то и на дыбе надо кончать... Я пожил. И дней повидал всяких... А Никон бы нам... ой как сгодился бы! Я его склоню! У меня тоже к вере подвох есть.

— Охота — иди. По путе проведайте про Ларьку с Мишкой — где они? Болит у меня за их душа. Зря отпустили, не надо было. Я виноватый...

Замолчали. Долго молчали.

— Досыпайте, — сказал Степан. Поднялся и пошел из землянки.

— Думы одолели нашего атамана, — сказал Иван.

— Думы... — откликнулся Стырь. — Думы — они и есть думы.

— И тебя одолели? — Иван сидел пасмурный, гадал: удастся ему еще заснуть или подниматься тоже да идти по делам. — Чего тебя-то одолели?

— Меня-то чего? Меня не так уж... А охота мне, Ванятка, патриарха глянуть — прям душа заиграла...

— Да зачем он тебе?

— А дьявол его знает, охота глянуть, и все. По спине его охота похлопать: «Ну что, мол, владыка?» У его, видать, тоже какой-то подвох к вере. Он ведь мно-ого знает, Ваня... Ох, я бы с им погутарил!

— Гляди ты! — зачесалось. Спи пока, а то у меня голова, как кадушка рассохлая, разваливается. Лишка взял вчера. Ничего хоть не болтал сдуру?

— Нет. Все же схожу я к патриарху, Иван. Все равно зиму без толку сидеть будем. Схожу. Будет у меня под конец жизни хоть одно... праведное дело. Прям как по обету схожу.

— Спи пока. Дай маленько очухаюсь... Можеть, сосну ишо.

Степан ушел на берег реки, сел.

Солнце выкатилось в чистое небо... Первые лучи его ударили в вербы; по острову вспыхнули большие желтые костры.

Далеко отсюда думы Степана... Может, в Ферапонтовом монастыре, может, в Запорожье, может, в Москве... Думы одолели атамана, правда. И охота додумать их да вздохнуть бы легко... Еще в Черкасске думы — вовсе рядом, а и тут темень полная, не знаешь, чего ждать.

Сзади к нему неслышно подкрался Афонька и крикнул над ухом, пугая. Степан как бы скачком вымахнул из своих дум... Аж вздрогнул.

— Ах ты, черноглазик!.. Напужал. — Степан показал место рядом: — Садись. Чего рано так?

— Я завсегда так, — сказал Афонька, улыбаясь.

— Не спится?

— Выспался.

— Мать чего делает?

— Поись варит.

— Мгм. Ты сны умеешь отгадывать?

Афонька выкатил на отчима черные свои, прекрасные маслины:

— Сны?..

— Ну. Бабка не учила?

— Нет. А ты сон, что ль, видал?

— Видал. Будто мы с отцом моим поехали коня торговать, поглянулся нам обоим один конь, отец мне мигает: «Прыгай и скачи». Я уж и хотел прыгнуть, да подумал: «Ну, уеду, а как же он тут?» И проснулся. Даже жалко, что проснулся, — надо бы доглядеть...

— Не купили?

— Не купили... Да, вишь, я и не знаю, как дальше-то... Вот втемяшился этот сон — хожу и все думаю...

— Спроси бабку Говоруху.

— Да бабку-то... Нет, бабка в таких делах не знает. А сон не простой, чую. Думаю тӑк: вот скочим мы на коней — умахали. А как же вы тут?

— Мы? — не понял Афонька. — Кто?..

— Ну, вы... Ты вот, матеря твоя, бабка — да много! — Степан посмотрел на мальчика, тронул его воробьиное колено, ощупал ладошкой дорогое слабенькое тело сынишки. — Чижолую я тебе загадку загадал — не по росту. Иди скажи матери: иду. Поедим сядем.

Афонька убежал.

Степан прилег на спину, закинул руки за голову, стал смотреть в небо. Он знал, как они поговорят с Корнеем Яковлевым, войсковым атаманом. Этот предстоящий разговор тоже не выходил у него из головы. Он хорошо представлял эту встречу... Место встречи осторожный Корней выберет сам — подальше от людских глаз.

Корнею за шестьдесят, он еще силен, но ходит нарочно тяжело, трогает поясницу, говорит: «Побаливат». Нигде у него не побаливает: хитер и скрытен... Слово не молвит в простоте: трижды перевернет его в матерой голове, обдумает — скажет. Но никогда и не подумаешь, что он хитрит и нарочно тянет, кажется, кто не знает: такая манера. Манеру его Степан видел в бою: куда медлительность девается, вялость: как волк бьет. Воевать Степан учился у него. Но вот эта затаенность, скрытность — это Степан давно невзлюбил в крестном. Не раз схлестывались из-за этого. Степан недоумевал: «Как другой человек!.. Чего ты все скрытничаешь-то? Кого обманываешь-то?» Корней на это говорил негромко: «От тебя и скрытничаю. В тебе тоже два человка сидят: один дурак круглый, другой — добрый казак, умница. Я когда с тобой гутарю, я с дураком гутарю, но так, чтоб умный не подслушал. В каждом человеке по два человека сидят, не

только в тебе; я желаю иметь дело с дураками. С умными — редко, по надобности». Степан не то что не умел возражать на это, неохота было возражать, но всякий раз эта мудрость Корнея злила его и удивляла.

Встретятся они так:

— Ну, здоров, кресник, — миролюбимо скажет Корней, а сам, пока подойдет вяло и скажет, успеет цепким взглядом оглядеть всего славного батюшку. — Как походил? Говорят, с удачей?

— С удачей.

— Слава богу!

— Чего на остров-то не приехал? — не выдержит и спросит Степан. — От кого крадисся-то? Уж и на Дону у себя не хозяин...

— Да ведь и ты чего-то не в городок, а свой выкопал... Чего бы тоже?

Разговор, в общем-то, не выйдет. Да он, если припомнить, никогда и не выходил у них — добрый-то, по душе-то... Корней ценил Разиных за воинство, за храбрость и преданность общему делу, но вовсе не уважал, даже побаивался — за строптивость, за гордость глупую, несусветную, за самовольство. Разины не были домовитыми, но и недостатка ни в чем не знали, так как были непременными участниками всех походов, часто из походов приходили с хорошей добычей, которую не копили. Степан родился, когда случился очередной поход, и походный атаман (тогда еще головщик) Корней Яковлев, из уважения к есаулу Тимофею Разе и чтоб быть с казаками покороче (казаки очень любили Разю), напросился к нему в кумовья — так породнились Разины с домовитым Корнеем. Строптивости и самовольства у Разиных от этого не убавилось, как, впрочем, и не прибавилось: Разя и сыновья его, Иван и подросший Степан, ревниво оберегали свою независимость, не важничали, слыли, особенно Иван, за башковитых казаков. Степан, довольно рано для своих лет, заставил говорить с собой знатного Корнея, войскового атамана, как с равным. Он и уважал многоопытного крестного отца, учился у него воинскому делу, но в рот не глядел, не пялил напоказ свою с ним близость, за что и Корней невольно проникся уважением к крестнику. Но в отношениях между ними всегда оставался холодок: один не мог поступиться своим высоким положением — снизойти до панибратства с оголтелым, удачливым Стенькой, другой — другому это высокое положение крестного отца как раз было в тягость. В последнее вре-

мя, когда Корней повел дело к тому, чтобы чуть ли не выдавать беглых с Дона, они вовсе разошлись. Правда, Корней собрал и проводил крестника в Персию, но это было в интересах самого войскового. С Руси прибывало и прибывало беглых, — надо было, во-первых, отправить их побольше с кем угодно и куда угодно, хоть «за зипунами» со Стенькой; во-вторых, на какое-то время и сам Стенька исчезал с Дона: Корней чувствовал себя лучше, сколько хотел юлил и изворачивался с этими беглыми, — надо, чтоб никто не подумал, что с Дона теперь есть выдача, то есть вроде и не выдавать, но и с царем и с боярством не хотелось портить отношений, то есть все же потихоньку выдавать. Корнею было трудно; теперь, с приходом Стеньки, будет много трудней. Знал Степан, что Корней очень встревожен его удачами, не знал только — не мог и подумать о том — радует он Корнея, что скликает всех неприкаянных и недовольных и куда-то их манит. Степан ждал, что Корней будет отговаривать его от войны, будет пугать...

— Худое затеваешь, Степан, — скажет, наверно, Корней, — страшное. Зачем тебе надо? Плохо тебе, что ли?

— А я тебе про свою затею не говорил, — заранее знал, как скажет Степан. — С чего ты взял?

— Вижу. Слышу. Казаков не распускаешь...

— А ну крымцы нападут? Или турки?.. Держу... не лежачего же татарам брать.

— Как же теперь, два войска держать?

— На ваше войско надежа худая. Никудышное войско. Вовсе не войско...

— Хитри-ишь, Стенька!.. Всегда было доброе, теперь — на, худое. Другое у тебя на уме: опять на Волгу метишь. На города, слыхал... Сломишь голову, Степан, по-свойски тебе говорю, жалеючи. Поверь мне, старому: два раза судьбу не пытают...

— Да я, можеть, ни разу ишо не пытал ее...

— Батюшки мои!.. Как разохотился-то! Ну, спытай, спытай... глядишь, и наш теля волка слопает, можеть, угораздит. — У Корнея глаза глубокие, и глядит весело и ехидно... Тут где-нибудь заорет на него Степан, в недобрые его глаза:

— Дон продаешь!.. Собака! Сам продавайся с потрохами, а Дон я тебе не дам! Не для того здесь казачья кровушка лилась, не вами воля добыта, не вам ее прода-

вать за царевы подарки! Вот тебе моя голова: отдашь ее с последним беглецом, но раньше ни одного с Дона не выдашь! Я сказал, а ты думай.

Думает Корней, сидя в Черкасске, конечно, думает. И давно уж додумался, как теперь вести дело: не мешать Стеньке в сборах, больше того, всяко зудить его на поход — в этом спасение Дону. Тут Стеньку не одолеть, его одолеют там где-нибудь под Царицыном, там одолеют насмерть. Но собирался он говорить со Стенькой именно так, как и догадывался Степан: всячески отговаривать от похода и грозить. На то он и был Корней, мудрый, матерый атаман, чтобы действовать верно: он знал, как подтолкнуть своевольного Стеньку на погибель.

16

Было еще одно утро. И одна ночь была, которую Степан потом нет-нет, а вспоминал, — странная ночь. Лунная, вся переполненная белым, негреющим светом... Но — позже.

Было утро. Была та короткая предрассветная пора, когда все вокруг — воздух, небо, земля, — все вспыхнет вдруг тихим синим светом, короткое время горит этот нездешний свет, и его потом одолеет ясный, белый — рассвет. И вечером бывает такая пора — предсумеречная. Такой же короткий, драгоценный миг чистого свечения, когда все живое притихнет на земле и пережидает таинственную минуту. Хорошо и грустно.

Степан опять встал рано. Последние дни он совсем не пил, наладился поздно ложиться и рано вставать.

Сел перед высоким оконцем, засмотрелся в синий продолговатый квадратик.

Афонька тихо выскользнул из-под бараньего тулупа, которым укрывался на ночь, посидел на своем маленьком лежаке, зевнул и пошел к отчиму. Степан подвинулся на широком табурете, посадил мальчика рядом. Спросил тихо:

— Чего рано так?

— Поспал... Хватит. А ты?

— Смотри, — показал Степан, — сине. Это синяя птица слетела на землю, хвост распустила. Вот посидит маленько и улетит. А там и солнышко выйдет.

Афонька широко раскрытыми глазами смотрел в оконце... Даже привстал.

— Ой? — недоверчиво сказал он.

— Отчего же сине?
— А как зовут ее?
— Так и зовут — синяя птица.
— Обманываешь ты меня.
— Зачем же я тебя стану обманывать? Я сам ее люблю, птицу эту. Она птица не простая...
— А какая?
— Волшебная. — Степан оглянулся назад, на спящую Алену. Сбавил голос. — Прилетает она два раза на дню — утром и вечером. И вот тут надо не зевать... Надо, как она прилетела, распушила свой хвост, успеть надо сильно-сильно чего-нибудь захотеть. Захотел — и замри: больше чтоб никакие думы в голову не лезли. Как другая какая дума шевельнулась — пропало дело. Тогда жди вечера, когда она опять прилетит, тогда снова загадывай. Но опять — только одно что-нибудь. Сумеешь, пока она сидит, про одно думать, — сбудется, не сумеешь — не сбудется. Сильно надо хотеть. Я, бывало, так хотел, что у меня руки-ноги сводило...
— А чего хотел?
— Ну... разное. А рассказала мне про эту птицу бабка моя. Она все знала. Хорошая была...
— Она померла?
— Померла. Здесь померла... а схоронили на ее родине — она просила перед смертью... Под Воронежем, в деревне. Отец возил да брат Иван. А я не поехал: не люблю хоронить.
— Сидит еще. — Афонька кивнул на оконце. — Птица-то.
— Сидит...
— Пойдем глянем?
Степан качнул головой:
— Ее не увидишь.
— Она же сидит!
— Сидит. А не увидишь... И не услышишь, как она улетит. Оглянешься, а ее уж нету — улетела. Вот, брат, какая птица. Чего бы ты хотел попросить у ей?
Афонька подумал... И сказал честно:
— Не знаю.
— Ну тогда лучше не проси. Вся-то трудность: и знаешь, чего хочешь, но обязательно подумаешь еще про чего-нибудь, про другое. А уж когда не знаешь-то!.. Лучше и не просить. Слушать не станет.
— Рази трудно про одно думать?

— Трудно. Спробуй как-нибудь. В этом все дело — трудно. Не знаю уж почему, а трудно.

За оконцем синева заметно разбавилась.

— Улетела? — спросил Афонька.

Степан кивнул головой.

Посидели немного в молчании.

— Пойдем на реку. Умоемся, — сказал Степан.

Потом был день. День прошел обычно, как шли теперь дни: окапывались, строились, рубили засеки, ковали оружие... За всем надо было приглядеть, где подсказать, где похвалить, где поругать.

На острове — будни.

А вечером Степан опять был у воды. Сидел возле кустов, на тропке, строгал ножом досточку.

Солнце садилось за рекой, за степью. Красное колесо коснулось ровной линии горизонта и как бы замерло... Сзади, в кустах, взбесились птицы — подняли такой свист, писк, такой начался шорох в кустах, что и не верилось, что это всего лишь крохотные живые комочки шныряют в кустах. «Что-то, наверно, для них это значит — когда солнышко садится, — подумал Степан. — Жалко, наверно».

Солнце медленно погружалось за степью — можно даже глазом заметить, как оно уходит все глубже, глубже. Невысокий обрыв того берега реки обозначился черным. Зато вся степь, от реки и до солнца, далекие курганы и близкий кустарничек, все высветилось ласковым желтым светом, как горенка, где горит мытый, скобленый и еще раз мытый сосновый пол. Глаз человеческий должен был отдохнуть после беспощадного дневного света, душа человеческая должна успокоиться от скверны малых дневных дел, разум должен породить мысль, что на земле на этой хорошо бы жить босиком, в просторной рубахе — шагать по ней и шагать из конца в конец, — своя она, мы же родились тут. И даже ложиться в нее не так уж страшно. Свет этот, мягкий, теплый, доступен, наверно, и покойным в земле.

Что-то такое — похожее — успел подумать Степан, заглядевшись на уходящее солнце. А уж легкая тень упала на степь. Курганы погасли и темными силуэтами стали в ночь часовыми. Река потемнела... Чувствовалось, как вода без натуги, не тревожа берегов, тихо двигает гро-

маду свою по скользкому ложу. От воды веяло холодком.

Много ли времени так прошло, Степан забылся. Вдруг сбоку откуда-то в тишину и успокоенность молодой ночи грянул свет — обильный, мертвый. Несколько отодвинулся тот берег, спина реки заблестела холодной сталью. И степь тоже тускло и далеко заблестела, и курганы отчужденно замаячили вдали... И неуютно сделалось на земле — голо как-то. И все случилось так скоро, просто — взошла луна. Черт ее знает, наверно, нужна она в небе, раз она есть, но нехороший, недобрый свет посылает она на землю.

Покой и тишина укутали было землю, а свет тот все потревожил: слышно стало, как всплескивают волны, в кустах беспрерывно кто-то возился, укладываясь спать, что ли, или кто-то не мог теперь заснуть из-за этого нахального света... Мелкий, беспрерывный, нудный металлический звон доносился со степи и сзади, и с боков.

Степан с сожалением очнулся от забытья, стал невольно слушать шорохи, вздохи, звон. Потом он услышал легкие шаги по берегу... Кто-то шел сюда. На ходу кто-то задевал кусты, ветви чутко отзывались легким-легким стуком и шуршанием. Кто-то остановился, постоял и снова двинулся. Степан подумал, что это Афонька ищет его, поближе понял, шаг не Афоньки — тяжелее. Но и не мужской.

«Алена, — догадался Степан. — Потеряла. Дуреха...»

И, как с ним бывало, ни с того ни с сего явилось озорное желание напугать. Он бесшумно соскользнул вниз, к воде, затаился.

Шаги зашелестели над самой головой... Степан громко, отчетливо сказал:

— Я вот пошляюсь ночами, пошляюсь.

Шаги оборвались... Алена тихо ойкнула, схватилась за грудь и попятилась назад.

— Кто эт?

— Не пужайся. — Степан полез наверх, на тропу. Хохотнул.

— Да ты что, Степан? — спросила обиженно Алена. Она все еще держала руки на груди. — С ума спятил? Ноги отнялись прямо...

— Садись, — пригласил Степан. И хлопнул рядом с собой ладонью. — Не татарин выскочил, не голову снял.

— Господи, господи... — все не могла прийти в себя Алена. — А я вижу — темнеет что-то у воды, думала — коряга.

— А чего вот вы, я заметил, — серьезно заговорил Степан, — как пужаетесь, так за титьки сразу хватаетесь? Даже голышом. Дороже всего вам это место, что ли? А?

Алена присела рядышком.

— Где эт ты так на голых-то нагляделся, что уж... все знаешь: чего они вперед прикрывают...

— Будет тебе, — миролюбиво сказал Степан.

— Вечно уколоть надо...

— Будет. Перестань. — Степан привлек к себе теплую родную Алену, подержал ее голову у своей груди: ревность еще не умерла в женщине. Зря он, конечно, вылетел с этими голыми: не надо сейчас досадовать друг на друга, неохота. — Куда шла-то?

— К тебе. — Алена отмякла. — Мне Афонька сказал, где вы завсегда сидите...

Степан устроил свою голову на колени жене, стал смотреть снизу на ее лицо и на далекие жирные звезды.

— Ну?.. А чего? Потеряла, что ль?

— Степа, — вдруг перешла на шепот Алена, — я вот седня тоже загадала желание... — Она стала гладить теплой ладошкой его лицо. И хоть Степан обычно как-нибудь незаметно, чтоб не обидеть, высвобождался от этих поглаживаний, сейчас ему и этого неохота было делать — пусть гладит. — Дождалась вечером, когда слетит та птица, про какую ты Афоньке утром сказывал, и стала думать только одно...

— Чего же? Ты не спала утром-то?

— Нет, слышала. Задумала я так: давай мы с тобой счас прямо сплывем в Черкасск?

— Зачем? — Степан приподнял голову.

— Полегче челночок... до света там будем.

— Да зачем?

— Не знаю, Степа... Захотелось мне пройти с тобой по тем местам, где мы тогда хаживали. Днем-то тебе туда нету пути... — Алена сказала это с нескрываемой грустью. — Хоть ночью... Ночь-то вон какая! Степушка, милый, поедем, а? Шибко охота мне... Ублажи ты бабу глупую. Я, вишь, и разоделась вон... Ты и не заметил.

Степан сел.

Правда, на Алене был дорогой наряд, только что не свадебный.

— Поедем? По улице нашей пройдем, возле дома постоим, возле ворот... Степушка...

Степан услышал в голосе жены нотку глубокую, искреннюю... Подивился, но не стал лезть в душу с расспросами, а только спросил:

— А загадала-то крепко?

— Ни... чтоб я про чего-нибудь другое подумала — ни капельки! Только сидела и думала: «По улице пройдем, у ворот постоим». Больше ничего. — Алена сказала это с силой, убежденно и с правдой неподдельной.

— Раз такое дело, поплыли! — легко согласился Степан. И вскочил. — Готова?

— Готова. И лодочку даже приметила...

— Где?

— Воп там. Славная лодочка... Легкая!

Через какие-нибудь пять минут легкая лодочка летела по реке вниз. Гребец сильно загребал, дробил веслами в золотую мелочь, в кружочки и завитки светлый след луны.

— Намахаюсь... — сказал Степан.

— Ничего! — ободрила Алена.

Еще некоторое время греб Степан. Потом бросил весла, прислушался. И сказал, довольный:

— А-а! Погодь, Алена... черт ими не махал.

И направил лодочку к степному берегу.

— Степа!.. — испугалась Алена.

— Дурную ты мыслю посоветовала мне, — сказал Степан. — И я тоже — согласился.

Лодочка ткнулась в берег. Степан выпрыгнул на сухое, сказал:

— Посиди пока, я скоро.

И исчез. С воды из-за берега не видно было, куда он пошел. Только через некоторое время услышала Алена его глуховатый, густой голос: «Трр, стой!» И поняла: коней ловит Степан. На острове коням не хватало корма, и казаки на ночь переплывали с ними на степной берег, и кони кормились там под присмотром двух-трех казаков. Но караульных казаков что-то не слышно было — не окликнули. Спят, наверно.

Скоро на берегу раздался дробный топот пары лошадей. Конские морды и голова Степана показались над обрывом.

— Вылазь. Задерни лодочку, чтоб не снесло.

Алена выпрыгнула из лодки, задернула ее подальше

к обрыву, с трудом вскарабкалась на яр, невысокий, но отвесный.

Степан осматривал степь. Караульных не видно, огонька нигде нет.

— Спят, окаянные. Садись-ка... жди, я пробегу по берегу, — сказал Степан.

— Да кто тут, поди!.. — заикнулась было Алена, но Степан уже подстегнул своего коня и скакал вдоль берега назад.

Алена села на конскую теплую спину, подумала о наряде своем, но махнула рукой — дьявол с ним, с нарядом. Важно, что желание ее исполняется.

Степан отъехал довольно далеко, остановился, громко крикнул:

— Эгей!.. Кто тут?!

Никто ему не откликнулся. Только по воде, слышно, прокатилось: «У-у-у!»

Степан вернулся. Сердитый.

— Степа, да шут с имя, с караульными!.. — начала было Алена, но Степан не дал ей говорить.

— Хватит! — И, помолчав, отходчиво уже сказал: — Ну, едем или нет?

— Едем.

«Во разыгралась баба! — думал Степан, поглядывая сбоку на жену; Алена ладно сидела на коне, и если б не блестели под луной ее голые коленки, то и не сразу угадаешь: казак скачет или казачка. — До чего же разные они! Но — разные-то они разные, а у всех в башке — только любовь одна, больше — шаром покати — ничего».

Не знал Степан свою жену, плохо знал. Не только одна любовь была в голове у Алены. И любовь, конечно, но не одна только любовь. Не знал он, что Алена за день до этого посылала верного казака к Корнею Яковлеву, и тот передал ей с казаком же: «Пусть приезжают... Пусть она его как-нибудь зазовет ко мне, — может, и уговорим как-нибудь. Попробуем хоть».

Когда Алена уезжала к Степану в Кагальник, был у них с Корнеем разговор: все силы положить, а не допустить, чтобы голь донская, а особенно расейские головорезы подбили доброго атамана на грех и резню. Батюшку-атамана, заступника, ждали, не скрывали этого. И конечно, как он придет, говорили между собой Корней и Алена, первые к нему пробьются голодранцы, и уж они постараются — напоют в уши. Атаман добр до глупости,

готов всех приветить, а они — рванина, сволочь — кинутся с жалобами.

— Наше, наше с тобой, Алена, первое дело — не допустить беды, — говорил Корней, вроде бы искренно озабоченный. — Перед богом и царем ответ держать будем, Аленушка. Ты к ему ближе всех, с тебя и спрос потом особый. Спрос, он ведь какой спрос: кровь прольется, а грех — на твою неповинную душу падет: могла удержать, а не удержала. Вот он и спрос весь. Для чего он казаков не хочет распускать? Чего задумал? Мир-то стоит до рати, а рать — до мира. Ох, Алена...

— Да как его удержать-то? Как? Иль ты не знаешь его? — вся трепетала Алена, пугалась.

— Знаю. А вот как удержать — не знаю. И посоветовать — не знаю как. Знаю только: быть беде. Для чего он войско не хочет распускать? На кого держит?.. Ты разузнай хоть это.

Но только прав был и Степан: жила в Алене огромная, всепожирающая любовь, и не будь ее, этой любви, никакому Корнею, будь он трижды опытный и хитрый, не подействовать бы на нее: Алена хотела удержать Степана возле себя, для себя, для счастливой, спокойной жизни. Ради этого она и не на такой сговор пошла бы. И когда сегодня решила она узвать Степана в Черкасск, то в ней правда родилось такое неодолимое желание: «Пройтись по улице, постоять у ворот». Желание это все росло и росло и выросло в нетерпеливую страсть, она временами стала забывать, зачем везет мужа в Черкасск, к кому. К себе она везла его, к себе — к молодой, любящей. В ту давнюю дивную пору везла и его, и себя, когда она, вырученная с дитем из ненавистного плена, ждала у тех самых ворот, у вереи, своего спасителя и мужа, которого боготворила, целовала следы ног его. Ждала из похода или с пирушки, хмельного, ждала и обмирала от любви и страха — как бы с ним не приключилась беда какая. Дурной он в хмелю, а на походе о себе не думает. Туда везла его теперь Алена, в ту желанную пору: не забыл же он все на свете с этими походами проклятыми, с войной. А забыл, то пусть вспомнит. А Корней... Корней свое дело сделает — он умный. Так и надо: со всех сторон надо обложить неугомонного атамана, чтоб он, куда ни повернулся, везде бы видел: он любим, он в почете, в славе... Чего же еще? Он будет войсковым атаманом — кто еще? Он богат... Неужели давать голодранцам сбить его на путь дурной, гибельный?..

Луна поднялась над степью и висела странно близко: у Степана раз-другой возникло тоже странное желание: повернуть к ней коня и скакать, скакать — до хрипа конского, до беспамятства — и хлестнуть ее плеткой, луну. Он засмеялся. Алена посмотрела на мужа:

— Чего ты, Степушка?

— Поглядеть на нас с тобой этой ночью со стороны — два ушкуйника: лодку бросили, взяли коней и при ночном солнышке — в городок, воровать. А ишо того смешней — баба научила-то!

— Своровала б я теперь одного человека, — серьезно сказала Алена. — Своровала да спрятала подальше... Вот бы своровала-то!

Степан не понял.

— Кого?

— Казака одного... Стеньку Разина.

* * *

В Черкасск прискакали к третьим петухам. Оставили коней за городком, на берегу.

— Ну? — спросил Степан. — Куда? — И сам, глядя на спящий, знакомый до боли, чужой теперь городок, ощутил редкое волнение. Жаль чего-то стало: не то времени прожитого, не то... Грустно как-то сделалось. — Пошли. Я лаз знаю — ни один черт не увидит и не услышит.

Зашли со степной стороны городка, там стена местами изрядно прохудилась, пролезли, где на животе, где на карачках, — очутились в городке. Алена вышла вперед и повела теперь сама: свернула налево, перешли низинку, сырую, заросшую лопухами, вышли на улицу... Дорога, пыль на дороге, тускло серебрилась под луной; нигде ни души. И даже собаки почему-то молчали.

— Куда ты? — спросил Степан.

— Шагай, — велела Алена.

Алена тоже испытывала щемящее чувство грусти, любви... И вела ее все та же любовь, за которую, она понимала, пришла пора вступиться, которую надо отбить любой ценой. Про Корнея она пока не думала; она думала, что сейчас они войдут в церковь и там... повенчаются.

Когда Степан отбил у татар Алену и сделал ее своей женой, повели дело к тому, чтоб венчаться. Но батюшка черкасский запротивился:

— Венчать не стану. Она крещеная? Она же не помнит.

Алена не знала, была она крещеной или нет: в плен ее увезли маленькой. Попу со всех сторон говорили, что — как же иначе? — крещеная. Она же русская! Поп уперся: не буду венчать! Такой был упрямый поп.

— А ну-ка да некрещеная, тогда — грех, грех страшенный. Где хочете узнавайте: грех.

Мать Степана со слезами молила батюшку, Алена убивалась. Тимофей Разя тоже говорил с попом:

— Как же ты так — не поймешь: баба к своим попала, к русским, а ты... Она и так там намучилась, ее пригреть надо, а ты...

— Нет, — твердо стоял на своем поп.

— Ну, возьми да окрести, раз такое дело.

— Нельзя. Мы же не знаем, — можеть, они ее там в свою веру обернули.

— Она же говорит!..

— Ну, говорит!.. Охота у своих жить, вот и говорит. Она наговорит.

— Ну, змей ползучий, гляди! — в сердцах сказал тогда Степан попу. — Я те припомню!

Но поп тот помер, с новым разговор этот не затеяли — время прошло. И остались Алена со Степаном невенчанные. Но если Степан и вовсе забыл про это, а в последние годы у него вообще круто переменился взгляд на попов, то Алена все думала, что вот — не венчаны.

Подошли к церкви...

— Ну? — спросил Степан.

— Пойдем. — Алена шла впереди.

— Куда?

— Пойдем в церкву.

— Она ж закрыта!

— Там замок, он без ключа... Дерни покрепче, он откроется. Пойдем, Степа.

— Да зачем? — не понимал Степан, поднимаясь, однако, по ступеням к широким дверям церковным. — Чего там делать-то?

— Побожимся. Дадим клятву нерушимую перед Божьей Матерью, что никогда-никогда не забудем друг про дружку. Вечно будем любить и помнить... Степан, ты же согласился делать седня, как я прошу. Ради Христа, Степа...

«Блажит баба, — подумал Степан. — Шлея попала».

— Дергай, — велела Алена.

Степан без усилия разомкнул большой ржавый замок... Они вошли в церковь. Из верхних узких окон лился лунный свет, светлыми мечами рассекая темную, жутковатую пустоту храма. Один такой луч падал на иконостас, на икону Божьей Матери с Иисусом на руках. Алена вдруг подавленно вскрикнула и пала на колени перед высветленной иконой. Степан невольно вздрогнул от ее вскрика.

— Становись на колени, Степушка! — громким шепотом, сама не своя, заговорила Алена. — Светится, матушка! Вся светится. Говори за мной: матушка, царица небесная!.. Степа, стань на колени, ради Христа! Ради меня... Ради всех...

Степан опустился на колени, изумляясь, как неистово может заблажить баба.

— Говори: матушка, царица небесная...

— Я в уме буду.

— Не надо в уме. Говори за мной: матушка, царица небесная, как ты любишь своего дитятку, так и я буду...

— Алена! — воспротивился Степан. — Все клятвы эти у меня в голове. Я их знаю... Помню.

— Степа, говори... — Алена заплакала. — Как ты любишь своего дитятку, так я буду любить близких своих, никогда их не забуду...

— Я и так не забуду! — разозлился Степан. И встал. — Не реви! Кликуша какая-то... Чего ты седня?

— Поклянись, Степушка, поклянись, поклянись! Она нам поможет, матушка...

— Клянусь, — сказал Степан. — Чего с тобой делается-то?..

— Не забуду родину свою, не забуду близких своих...

— Куда я, к туркам, что ль, побегу? Чего ты седня?

— Жену свою не забуду и не брошу. Не променяю ни на кого...

— Не променяю. Какой толк менять-то вас? Встань, не дури, Алена...

И тут чей-то голос, увеличенный пустотой церковной, громко спросил сзади:

— Это кто по ночам в церкви ходит?

Алена, в экстазе молитвенном, не узнала тот голос, шлепнулась от страха на четвереньки. Степан узнал — то был Корней Яковлев, крестный отец его. То ли он случайно — не спалось — увидел двери церкви раскрытыми

(он жил напротив церкви, через площадь), то ли нарочно караулил редкого гостя... По голосу — не похоже, что со сна.

Степан поднял Алену с пола. Успокоил.

— Господи, матушки... — едва опомнилась Алена. — Чуть ума не решилась.

— Здоров, Степан! — приветствовал Корней Степана. — Чего же ночью-то, а не днем?

— А ночь вишь какая — светло...

— Ну, пойдем в гости?

— Нет, в гости я к тебе не ходок, — отрезал Степан. Не зло, впрочем, сказал, однако твердо. — Говорить хошь? Давай тут. Есть чего говорить-то?

— Э-э, мало ли! Сколько время прошло...

— Степа, чего же зайти-то не хошь? — встряла Алена, сообразив, что теперь самый раз отговорить Степушку от дурных мыслей.

— Помолчи! — велел ей Степан. Он стал догадываться, что свидание с Корнеем — подстроено. — Чего хотел спросить, кресный?

— Хотел спросить... Может, зайдешь все же? Чего мы здесь, как... — Корней хотел сказать «воры», но вовремя спохватился: Степана кое-кто как раз и величал «вором». — Как враги лютые, — досказал Корней. — Дом-то рядом. Да и твой дом — тут же. Хоть к тебе пойдем.

— Пойдем, Степушка, пойдем, — взмолилась Алена. Но ее не слышали, не до нее.

— Мой дом не тут, Корней...

— Где же? В Кагальнике?

— В чистом поле. Дом большой, крыша высокая... Жильцов много.

— Кого-кого — голи всегда хватало. Чем тут хвастаться...

— Чего спросить-то хотел?

— Спросить хотел... Больше устеречь хотел, чем спросить... Неладное затеваешь, Степан. Вижу. Но спрашивать — чего затеваешь — не стану. Не скажешь. Но три раза все же спрошу тебя. А ты ответь.

— Ну?

— Ты к царю послал станицу челом бить...

— Послал.

— Погоди, это не спрос, это я знаю. Больше знаю: помилует тебя царь...

— Снюхались? С царем-то... Небось посылал уж к ему?

— Нет, догадываюсь. Снюхаться мы с им всегда успеем — я служу ему, Степушка. И ты служишь... Ты его хлеб ешь.

— Ну. Дальше.

— Я становлюсь старый. Мне скоро дороже покой будет, чем знатность всякая. Кто войсковым станет? После меня.

— Найдете. Свято место пусто не бывает.

— Ты станешь. Хошь, так сделаем: я раньше время пошлю к царю... попрошу сложить с меня войскового...

— Ну-у, кресный! — искренне удивился Степан. — Что эт тебя так допекло? Атаманствуй на здоровье.

— То меня допекло, — не выдержал Корней отеческого тона, — что еслив ты, кобель, забунтуесся, то и нам всем головы не сносить. Вот то и допекло.

— Так и говори. А то — знатность ему надоела.

— Я отдам тебе, отдам все!.. Бери. Дай дожить спокойно. Дай голову в могилу с собой унесть. Жалко мне ее — на колу-то будет сушиться. Все тебе отдам!..

— Не хочу. Мне ничего от тебя не надо. А что надо — сам возьму. Только — не надо.

— Другое, что хотел спросить тебя...

— Спрашивай.

— Ты знаешь, еслив ты подымесся против воли царя, он нас хлебного припаса лишит. Весь Дон. Знаешь? Ты же на голод нас обрекешь... Он уж и теперь не шлет вон!

— Врешь! Лукавишь, старый. Вас он припаса не лишит. Он боится, как бы я тот хлеб не перехватил выше, оттого и не шлет вам пока. Я это не сделаю. Если хошь говорить по правде, говори, не лукавь. Не делай из меня недоумка.

— Недоумка из тебя никто не делает... Не сделать. Но не великим умом грешат, Степан, грешат волей. С недоумком я бы не разговаривал тут.

— Какой ишо спрос?

— Куда хошь ийти по весне?

— Этого я... не только тебе или царю, а самому господу богу не скажу. Все?

— Все. Ты знаешь, на што ты идешь?

— Знаю.

— Знаешь. Не маленький. Только не знаешь ты, что сгубишь все наши вольности донские... Не тобой тоже они добывались, не твоими голодранцами. Ты же, в угоду этим голодранцам, все прахом пустишь, за что отцы наши, и твой отец, головы свои клали. Подумай сперва.

Крепко подумай! Бежит с Руси мужик — ему хоть есть куда бежать, на Дон. Еслив он не душегубец прирожденный, не пропойца, мы завсегда его приветим, ты знаешь. Ты же сделаешь так, что мужику некуда будет голову приклонить. Лишат нас вольностей...

— То-то, я гляжу, приветили вы тут голодранцев-то! То-то приветили, приласкали — рожи воротите. На отцов наших не кивай — не тебе равняться с ими. Опи-то как раз привечали. А вы — прихвостни царские стали. Мужика у тебя скоро из-под носа брать будут, вертать поместнику... Ты не увидишь. Ты пальцем не пошевелишь. А то и сам свяжешь да отвезешь. Ты весь жиром затек, кабан! — Голос Степана окреп и зазвучал недобро, немирно. — Пришел отговаривать!.. Соблазнять пришел, как девку глупую, — гостинцев дам! Неужель ты верил, что у меня слюни потекут от твоих посулов? Да мне твое атаманство даром не надо! А про вольности... не моги даже вякать! А то я тебе на язык наступлю. Это их вон, — показал на Алену, — собьешь с толку... Сбил уж. Но я-то все же казак, кресный. Не дите же я малое. Я думал, ты пошире невод заведешь... Можеть, думаю, он куда-нибудь на калмык поманит, лиса... А он пужать явился. Дай дорогу! — Степан шагнул прямо на войскового. Тот посторонился.

Степан вышел из церкви и направился не к лазу, через какой они проникли в городок, а к воротам — на караульного.

— Кто?! — окликнули его сонно.

— Свои, — сказал Степан.

Над степью занималось утро.

17

В ту зиму к поверженному, но еще могучему патриарху Никону в Ферапонтов монастырь приходили донские казаки. Трое. Патриарх внимательно выслушал их... Велел потом накормить казаков, призвал монаха-писца и стал диктовать письмо царю:

— Ты — царь, ты не хочешь сломить гордыню свою. Не передо мной, перед богом-вседержителем. Ты забыл: он тебя возвысил к себе, но он тебя и низвергнет...

В палату заглянул черный дьякон Мардарей:

— Чего с казаками делать?

— Накормили?

— Накормили.

— Вывесть за ворота и отправить с богом. Никогда их тут не было, и никто их не видал. Всем скажи.

Мардарей исчез.

— Низвергнет, — подсказал писец. — Дальше?

— Истинно говорю тебе: учинится пир кровавый в твоем государстве, ибо некому просить бога. Твои же молитвы к нему не доходят. Страшный пир будет: человеки насытятся мясом человечьим. Ты же не хочешь, чтоб господь бог услыхал наши молитвы, уберег Русь.. — Никон остановился за спиной писца, перечел, что тот успел записать... Потом протянул длинную сильную руку, взял письмо и смял в кулаке.

Он не послал то письмо царю. Раздумал.

— Жирно будет, — сказал. — Переживешь... Лупоглазый.

ЧАСТЬ II

МСТИТЕСЬ, БРАТЬЯ!

1

Писали к великому государю.

Из Астрахани боярин и воевода князь Иван Семенович Прозоровский с товарищами:

«Посылали де они из Астрахани на Дон до Черкасского казачья городка едисанского улусного татарина Юмашка Келимбетова тайным обычаем и велели ему про Стеньку Разина и про товарищев его разведать подлинно: в котором городке учнет он, Стенька, жить, и товарищи ево с ним ли, Стенькою, станут зимовать или от него пойдут врознь; и примут ли ево на Дону старшины или учнут писать к великому государю о указе, и какие меж ими ссылки будут. И декабря в 9 день татарин Юмашка, приехав в Астрахань, в распросе сказал: «Съехал де он Стеньку Разина с товарищи на Царицыне и жил с ним с неделю, а с Царицына де ехал он с ним, Стенькою, вместе до Пятиизбского казачья городка. И Стенька де с товарищи из Пятиизбского городка поехал вниз Доном рекою стругами и пришел де в Кагальницкий городок и жил в том городке 6 дней. И обыскал де он, Стенька, ниже того городка с версту остров, и на том острову зделали земляные избы... А ево де, Стенькины, казаки живут все вместе, и никово де он, Стенька, товарищев своих от себя не отпускает, держит их у себя в крепи».

С Царицына воевода Андрей Унковский писал:

«Приезжали з Дону на Царицын донские казаки 2 человека и сказывали, что Стенька Разин с товарищи меж Кагальника и Ведерникова зделали городок земляной. И послал де он, Стенька, в донской в Черкасской городок по жену свою да по брата своего Фролка з женою ж, а сам де он, Стенька, хочет ехать в войско не со многими людьми. А казаков де своих, которых тутошних прежних

донских жильцов, отпускает в казачьи городки для свиданья родителей своих на срочные дни за крепкими поруками. А из запорожских де городов Черкасы и из донских городов казаки, которые голутвенные люди, к нему, Стеньке с товарищи, идут беспрестанно, а он де, Стенька, их осуждает и уговаривает всячески. А всех де казаков ныне у него 2700 человек, и приказывал он казакам беспрестанно, чтоб они были готовы. А какая у него мысль, про то и ево казаки немногие ведают, и никоторыми де мерами у них, воровских казаков, мысли доведатца не мочно. Да ему же де сказывали сотник стрелецкий Микита Урывков и иные служилые люди, которые были в калмыках, что на Дону и на Хопре во многих городах казаки, которые одинакие и голутвенные люди, Стеньке с товарыщи гораздо рады, что они пришли на Дон. И говорят казаки, что на весну однолично Стенька Разин пойдет на воровство, и они де, донские и хоперские казаки, с ним пойдут многие. А которые де старожилые домовые казаки, те де о том гораздо тужат».

От царя и великого князя Алексея Михайловича писали:

«К атаманам и казакам и всему войску Донскому:

Ведомо великому государю учинилось, что Стенька Разин с товарыщи стоит в вашем казачьем верхнем городке Кагальнике. И которые де из наших великого государя украинных городов торговые всякие люди ездят к вам на Дон со всякими запасы, и тех де торговых людей он с теми запасы задерживает у себя, а в Нижней Черкасской городок к вам их не пропускает.

И как к вам ся наша великого государя грамота придет, и вам бы, атаманам и казакам, проведати всякими мерами: которые всяких чинов торговые люди ездят к вам на Дон из наших великого государя украинных городов со всякими запасы и с товаром, и им от Стеньки Разина нет ли какова утеснения, и с ворами ссылку о чем чинит ли и з Дона итти не помышляет ли. И как наше великого государя жалованье и хлебные запасы посланы будут к вам на Дон, порухи какие он, Стенька, не учинит ли. Да что о том проведаете, и вам бы о том о всем отписать к нам, великому государю, подлинно вскоре з жильцом з Герасимом Евдокимовым, который послан к вам с сего нашего великого государя грамотою. А наше великого государя жалованье по вашему челобитью, день-

ги, и сукна, и зелье, и свинец, и хлебные запасы, и вино, послано к вам на Дон будет с станичники вашими без умоленья».

Воронежскому воеводе Василью Епифановичу Уварову писали:

«Ведомо нам, великому государю учинилось, что многие боярские и всяких чинов людей холопи, бегая с Москвы и из городов, приставают к донским станичникам и уходят разными дорогами на Дон.

И как к тебе ся наша великого государя грамота придет, а донские станичники учнут приезжать на Воронеж, и ты б велел у них боярских и всяких чинов людей холопей осматривать. И буде сверх их, донских казаков, объявитца беглые холопи или иные какие люди, и ты б у них тех людей велел имать и расспрашивал накрепко, хто откуда бежал, и тех беглых людей у донских станичников велел имать и сажал в тюрьму и писал о том к нам, великому государю. Да и Воронежском уезде в наших великого государя дворцовых волостях и всяких чинов людей в селах и в деревнях велел заказ учинить крепкий: буде где какие люди объявятся без проезжих, конные и пешие, и тех бы людей отнюдь пигде не пропускали, а приводили бы их к тебе в съезжую избу. И ты б тех людей по тому ж, расспрашивая, сажал в тюрьму и писал к нам, великому государю, а отписки велел подавать в Посольском приказе».

Наказная память жильцу Герасиму Евдокимову:

«А приехав на Дон к атаманам и казакам, велети про себя сказати, чтоб ему дали место, где ему постоять, и приказати к ним, атаманам и казакам, чтоб они были все в зборе. Да как они соберутся, и ему, Герасиму, итти к ним, атаманам и казакам, в круг и вслед в круг атаманам и казакам поклонитись рядовым поклоном.

А после того атаманов и казаков спросити о здоровье, а молыть: — Великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец и многих государств и земель восточных и западных и северных отчич и дедич и наследник и государь и обладатель, велел вас, атаманов и казаков, спросити о здоровье; да после того подать атаманам и казакам великого государя грамоту.

Да ему же, Герасиму, будучи на Дону, проведати всякими мерами подлинно: где ныне Стенька Разин, и с ним атаманы и казаки в совете ль или не в совете, и ссылка меж ими есть ли; и к тому Стеньке казаки, к ево злому умыслу, на всякое воровство не приставают ли...

Да как ево, Герасима, з Дону отпустят, и ему, взяв у атаманов и казаков отписку, ехать к Москве наскоро. А едучи ему дорогою на Дон и з Дону назад, от Стеньки Разина быть опасну, чтоб ево на дороге великого государя с грамотою где у себя не задержали.

А приехав к Москве, явитись ему и атаманов и казаков отписку подать в Посольском приказе».

2

Между тем пришла желанная весна...

Шумит в Черкасске казачий круг: выбирается станица в Москву с жильцом Герасимом Евдокимовым. В Москву собрался жилец, домой... А теперь допивал чаи и меды в атаманском доме.

И тут в круг вошел Степан Тимофеевич Разин. Это был гость нежданный. Явился он раньше своего войска, которое сплывало стругами вниз по Дону в Черкасск.

— Куда станицу выбираете? — спросил Степан громко, резко.

— Отпускаем с жильцом Герасимом к великому государю, — отвечал Корней, явно растерявшись при виде грозного своего крестника.

— От кого он приехал?

— От государя...

— Позвать сюда Герасима! — велел Степан. — Счас узнаете, от кого он приехал. — И, оглядев притихших казаков черкасских, повысил голос: — Всех проходимцев боярских стали примать?!

Герасима уже волокли голутвенные... Жилец перетрусил и заметно утратил начальный вид.

— От кого ты приехал, сучий сын: от государя али от бояр? — спросил его Степан.

— Приехал я от великого государя Алексея Михайловича с его государевою грамотой, — отвечал Герасим торопливо и сунулся за пазуху, достал цветастую грамоту. — Великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец и многих государств и земель восточных и северных отчич и дедич наследник и государь и облада-

тель, велел всех вас, атаманов и казаков, спросити о здоровье...

— Врешь! — загремел Степан. — Не от царя ты приехал, а лазутчиком к нам!

— Да вот же грамота-то!.. За печатями...

— От бояр ты приехал, пес! — Степан подступил к жильцу, выхватил у него грамоту, разодрал, бросил под ноги себе, втоптал в грязь. И еще харкнул на нее.

Круг удивленно загудел: такого в Черкасске не бывало.

Жилец вдруг почувствовал прилив посольской храбрости.

— Как ты смел, разбойник!..

Степан развернулся и дал послу по морде; тот отлетел в ноги к разинцам, которые вышли теперь вперед, оттеснив домовитых. Голутвенные взяли жильца в пиночья.

— В воду его! — крикнул Степан.

Корней кинулся было защищать Герасима, но его отбросили прочь. Посла поволокли к Дону.

— Степан, что ты делаешь?! — закричал Корней. — Останови!..

— И ты того захотел?! Гляди!

— Я велю тебе! — попытался подействовать Корней угрозой. — Кто тут войсковой атаман? Ты или я?! Останови их!

— Владей своим войском, коли ты атаман, а я буду своим. В воду жильца!

— Степан... сынок... головы всем поснесут, что ты делаешь! Останови! — просил Корней: за кого, за кого, а за жильца-то в Москве спросят, и не со Стеньки же спросят!

Степан двинулся прочь с круга.

— Степка, ведь это — война! Ты понимаешь, дурак? — крикнул вслед ему Корней.

— Война, кресный. Война, — ответил Степан.

Жильцу Евдокимову связали руки, наклали за пазуху камней, раскачали и кинули в воду. Жилец громко кричал — грозил карой небесной. Грозил царем...

Степан появился на берегу.

— Не нашли Фролку? — спросил он окружавших его казаков.

— Нет, схоронился. Или уехал куда. Нигде нету.

— Пускай передадут ему, — говорил на ходу Степан, — вылазь, мол, Фролка, ишо раз отпускает тебе

вины твои атаман. Пускай вылезет, не трону. Вон наши гребут... Скажите: круг будет. Корнея и старшину продажную гнать. Наш будет круг!

Степан с братом Фролом, в окружении есаулов и сотников, вышел к тому месту Дона, где приставала его флотилия во главе с Иваном Черноярцем.

Подгреб к берегу головной струг... Иван выпрыгнул и пошел навстречу атаману.

— Как пришли? — спросил Степан.

— Бог миловал — все в добром здравии. Всех, с погаями, — три тыщи и семьсот. — Иван выглядел празднично: дождался похода.

— Добре. Из стружков не выгружайся... Выволоки, какие текут, просмолите. Сгони всех плотников Черкасскова — делайте новые, сколь успеете.

— Корнея видал?

— Видал. Скажи казакам, круг будет. Мои как?

— Вон, — показал Иван, — все в целости.

С одного из причаливших стругов сходили бабка Матрена и Алена с Афонькой.

— Позвать?

— Потом. Пускай домой идут. Пошли на круг. Иван, Федор, идите-ка ко мне, погутарим.

Перед каждым кругом Степан говорил с «башковитыми» — первыми своими помощниками: атаман не то что наказывал, как надо им говорить на кругу, но и не скрывал, чего он ждет от круга, какого решения, — советовал, куда гнуть.

Собрался круг голутвенных. Ни Корнея Яковлева, ни старшины, ни домовитых здесь нет. Только — свои.

Степан, дождавшись теплых дней, двинул события; он понимал: силу, какую он теперь собрал, надо устремить, застой и промедление пагубны для дела и его атаманства.

Степан опять сидел несколько в стороне, на бугре.

В круг вышел Иван Черноярец.

— Казаки! Пришла пора выступать нам. Куда! Моя дума: под Азов! Попытаем ишо раз... Как?! Любо?! — Так уговорились с атаманом: объявить на выбор все возможные пути. — Азов, ребяты?!. — еще крикнул Черноярец. И даже зачем-то рукой показал в сторону Азова.

Круг промолчал. Черноярец — это еще не «башка».

Иван отошел в сторону, к Степану. Степан мельком глянул на него и опять принялся постегивать плеткой сапог. Он слушал круг.

Вышел Федор Сукнин.

— Моя дума: на калмык! — громко сказал он.

Круг молчал.

— На калмык, браты! — еще раз призвал Федор.

И опять круг ответил молчанием. Федор тоже судьбу войска за хохолок не держит.

Федор удалился, не выказав огорчения.

Смотрели на Степана. Вот в чьей руке судьба...

— Батька, какая твоя дума?! — крикнули. — Скажи!

Степан медлил. Степану надо накалить обстановку.

— Скажи, батька! — орали. — Больше никого слухать не станем! Скажи сам!..

Степан поднялся на бугре. Помолчал... Оглядел всех.

— Дума моя: пора нам повидаться с бояры! — сказал он крепко и просто. Помолчал, оглядел всех и еще сказал: — А?

— Любо!! — ухнул круг. Ждали этого.

— Постоять бы нам теперь всем и изменников на Руси повывесть, и черным людям дать волю!

— Любо, батька! — радостно ревела громада. Давно ждали этого: всю зиму потихоньку глодали эти мысли — про изменников бояр, теперь орали открыто, потому и радовались.

— Как ийтить? — спросил Степан.

Тут начался разнобой. Это кровно касалось всех тут.

— Волгой! — кричали донцы. — Дорога знамая!

— Доном! Прямиком, мимо Танбова! — звали пришлые. — Нам эта дорога тоже знамая.

Шум поднялся невообразимый. Там и здесь поталкивали уже друг друга в грудки. Это вопрос коренной — как идти. Как идти, так и воевать, донцы, кто поумнее, понимали это; беглые мужики хороши в родных своих местах, там один драный молодец будет стоить трех: там он и счет короткий сведет с боярином, и дорогу покажет верную, и с собой подговорит не дружка, так кума, не кума, так свояка... Донцам же дорога́ Волга, и Степану тоже, но надо теперь перекричать пришлых, не одни они теперь.

— Мимо Танбова — мы там весь хлеб по селам пожрем! Чем Дон питаться будет? Откуда привезут?! У нас тут детишки остаются, — надрывался казак, обращаясь к пришлым.

— Зато — наша родная дорога! — стояли пришлые.

— Нам Волга такая же родная!

— Кто к нам на Волге пристанет?! Мордва косопузая?!

— Хошь и мордва! Не люди, што ль? Не одна мордва, а и татарин, и калмык пристанет! — гнули свое казаки.

— А чего с имя делать?! — орали пришлые.

— А с тобой чего делать? Ты сам гол как сокол пришел. Тебя приняли?! А ты теперь рожу от мордвы воротишь! На Волгу, братцы! Там — раздолье!

— Пойдем пока до Паншина. Там ишо разок сгадаем, — сказал Степан. — Туда Васька Ус посулился прийтить. Вместях сгадаем. Все.

В круг протиснулись посыльные от городка Черкасска во главе с попом. Люди все пожилые, степенные. Стеньку знали, знали щедрость его.

— До тебя, атаман.

— Ну?

— Покарал нас господь бог, — начал поп, — погорели храмы наши... Видишь?

— Вижу, — сказал Степан.

— Ты богат теперя... на богомолье в Соловки к Зосиме ходил...

Степан нахмурился:

— Ну? Дальше?

— Дай на храмы.

— Шиш! — резко сказал Степан. — Кто Москве на казаков наушничает?! Кто перед боярами стелется?! Вы, кабаны жирные! Вы рожи наедаете на царевых подачках! Сгинь с глаз, жеребец! Лучше свиньям бросить, чем вам отдать! Первые доносить на меня поползете... Небось уж послали, змеи склизкие. Знаю вас, попов... У царя просите. А то — на меня же ему жалитесь и у меня же на храмы просите. Прочь с глаз долой!

Поп не ждал такого.

— Охальник! Курвин сын! Я по-христиански к тебе...

— Лизоблюд царский, у меня вспоможенья просишь, а выйди неудача у нас — первый проклинать кинешься. Тоже по-христиански?

Вперед вышел пожилой казак из домовитых:

— Степан... вот я не поп, а тоже прошу: помоги церквы возвесть. Как же православным без их?

— А для чего церквы? Венчать, что ли? Да не все ли равно: пусть станут парой возле ракитова куста, попляшут — вот и повенчались. Я так венчался, а живу же — громом не убило.

— Нехристь! — воскликнул поп гневно. — Уж не твоим ли богомерзким наущением церквы-то погорели?

Степан вперился в попа:

— Сгинь с глаз, сказал! А то счас у меня хлебнешь водицы!.. Захребетник вонючий. По-христиански он... Ну-ка, скажи мне по-христиански: за что Никона на Москве свалили? Не за то ли, что хотел укорот навести боярству? А?

Поп ничего не сказал на это, повернулся и ушел.

* * *

— Всех, всех разнес, — выговаривала бабка Матрена крестнику. — Ну, Корнея — ляд с им, обойдется. А жильца-то зачем в воду посадил? Попа-то зачем бесчестил?..

— Всех их с Дона вышибу, — без всякой угрозы, устало пообещал Степан. Он на короткое время остался без людей, дома.

— Страшно, Степан, — сказала Алена. — Что же будет-то?

— Воля.

— Убивать, что ли, за волю эту проклятую?

— Убивать. Без крови ее не дают. Не я так завел, нечего и всех упокойников на меня вешать. Много будет. Дай вина, Алена.

— Оттого и пьешь-то — совесть мучает, — с сердцем сказала набожная Алена. — Говорят люди-то: замучает чужая кровь. Вот она и мучает тебя. Мучает!

— Цыть!.. Баба. Не лезь, куда не зовут. Бояр небось не мучает... Ишо раз говорю: не зовут — не лезь.

— Зовут! Как зовут-то! — Алена взбунтовалась. Здесь, в Черкасске, ее подогрели. — Проходу от людей нет! Говорят: на чужбине неверных бил и дома своих же, христьян, бьет. Какую тебе ишо волю надо?! Ты и так вольный...

В другое время Степан отпугнул бы жену окриком, может, жогнул бы разок сгоряча плеткой, которую постоянно носил на руке и забывал иногда снять дома. Но — чувствовал: забудь люди страх, многие бы заговорили, как Алена. А то и обидней — умнее. Это удивляло Степана, злило... И он заговорил, стараясь хранить спокойствие:

— Я — вольный казак... Но куда я деваю свои вольные глаза, чтоб не видеть голодных и раздетых, бездом-

ных... Их на Руси — пруд пруди. Я, можеть, жалость потерял, но совесть-то я не потерял! Не уронил я ее с коня в чистом поле!.. Жалко?! В гробину их!.. — Степан побелел, до хруста в пальцах сжал рукоять плетки. — Сгинь с глаз, дура!

Алена пошла было, но Степан вскочил, загородил ей дорогу, близко наклонился к ее лицу:

— А им не жалко!.. Брата Ивана... твари подколодные... — Спазма сдавила Степану горло; на глазах показались слезы. Но он говорил: — Где же у их-то жалость? Где? Они мне рот землей забили, чтоб я не докричался до ее, до ихней жалости. Чтоб у меня даже крик или молитва какая из горла не вышла — не хочут они тревожить свою совесть. Нет уж, оставили живого — пускай на себя и пеняют. Не буду я теперь проклинать зря. И молиться не буду — казнить буду! Иди послушай, чего пришлые про бояр говорят: скоты! Хуже скотов! Только человечьего мяса не едят. А кровь пьют. А попы... Тьфу! Благостники! Скоты.. Кого же вы тут за кровь-то совестите? Кого-о?!.

Матрена налила в чашу вина, подала Степану:

— Остынь, ради бога, остынь... ажник помушнел.

Степан выпил всю, вытер усы, сел. Долго молчал, потом опять заговорил — тихо, устало:

— Бесстыдники-то вы: дармоедами беглецов обзываете... Я знаю, кто тебе поет в уши... Своих, говорят? Нет, не свои они мне. Мне — кто обижен, тот свой. Змеи брюхатые мне не свои. Умел бы я как-нибудь ишо с имя говорить — говорил бы. Не умею. Осталось — рубить. Рубить умею. Попытайте вы, богомольцы, своими молитвами укорот им навести! А то они скоро всю Русь сожрут! Попытайте, а я погляжу, как они от ваших молитв добрыми сделаются. Плевать они хотели на ваши молитвы!

Степан замолчал. Налил еще вина, выпил, опустил голову на руки, закрыл глаза... Уставал он от таких разговоров очень. Избегал их всячески, но они случались.

Женщины оставили его одного.

Но только они вышли, нагрянули гости: Иван Черноярец, Федор Сукнин... А с ними — Ларька Тимофеев, Мишка Ярославов, все семеро, что ходили в Москву к царю бить челом в Кремле за вины казачьи. Только теперь, увидев их, живых-здоровых, понял Степан, как дороги они ему, верные его товарищи, и как глупо, что он отпустил их в Москву: могли там остаться гнить заживо в царевых подвалах, а то и вовсе сгинуть.

— Тю! — воскликнул Степан радостно. — Ото — гости так гости! Хорошие вы мои...

Вся станица перецеловалась с атаманом.

— Ото гостеньки!.. — повторял Степан. — Да как же? Когда вы? — Он был рад без ума. Чуть не плакал от радости. Все время, пока Ларьки с товарищами не было, болела совесть: зря послал в Москву. — Откуда теперь-то?

— А прямо с дороги.

— Алена! — стол: гулять будем. Где она? — суетился Степан. — Ну, ребятушки!.. Радый я за вас. Слава те господи! А видали войско?.. А? — Степан засмеялся. — Закачается мир! Садитесь, садитесь...

Алена вошла, с неудовольствием посмотрела на ораву и принялась накрывать на стол. Опять — гульба.

— Что царь, жив-здоров? Отпустил вас?.. Или как? — расспрашивал Степан.

— Нас с караулом в Астрахань везли, а мы по путе ушли. Зачем нам, думаем, в Астрахань-то?.. Батька на Дону теперь.

— Охрана как же?

— Коней, оружью у их отняли, а их пешком пустили... — Ларька тоже улыбался, довольный.

— Славно. Что ж царь? Видали его?

— Нет, с боярами в приказе погутарили...

— Не ждут нас на Москву?

— Нет. Они тада не знали толком, где мы есть-то — на Дону или на Волге...

— Добре, пускай пока чешутся. Завтра выступим. А эт кто же? — Степан увидел Федьку Шелудяка.

— Федор... По путе с нами увязался. Бывалый человек, на Москве, в приказе, бича пробовал.

— Из каких? — спросил Степан, приглядываясь к поджарому, смуглому Федьке.

— Калмык. Крещеный, — сказал Федька.

— Каково дерут на Москве?

— Славно дерут! Спомнишь — на душе хорошо. Умеют.

— За что же?

— Погуляли с ребятами... Поместника своего в Волгу посадили. Долго в бегах были. А на Москве, с пытки, за поместника не признался. Беглый, сказал. А родство соврал...

— Как же это вы? И не жалко вам его, поместника-то?

У Шелудяка глаза округлились от удивления: он слышал про Стеньку Разина совсем другое — что тот тоже не жалует поместников.

Степан засмеялся, засмеялись и есаулы.

— Алена, как у тебя? — спросил Степан.

— Садитесь.

* * *

Крепко спит хмельной атаман. И не чует, как хлопочут над ним два родных человека: крестная мать и жена.

Алена, положив на колени руки, глядит не наглядится на такого близкого ей и далекого, родного, любимого и страшного человека.

Матрена привычно готовится творить заговор.

— Господи, господи, — вздохнула Алена. — И люблю его, и боюся. Страшный он.

— Будя тебе, глупая! Какой он страшный — казак и казак.

— Про што думает?.. Никогда не знала.

— Нечего и знать нам... — Матрена склонилась над Степаном, зашептала скороговоркой: — Заговариваю я свово ненаглядного дитятку Степана, над чашею брачною, над свежею водою, над платом венчальным, над свечою обручальною. — Провела несколько раз влажной ладонью по лбу Степана; тот пошевелился, но не проснулся. — Умываю я свово дитятку во чистое личико, утираю платом венчальным его уста сахарные, очи ясные, чело думное, ланиты красные... — Отерла платком лицо. Степан опять не проснулся.

— Погинет он, чует мое сердце, — с ужасом сказала Алена.

— Цыть! — строго сказала Матрена. — Освечаю свечою обручальною его становой кафтан, его шапку соболиную, его подпоясь узорчатую, его сапожки сафьянные, его кудри русые, его лицо молодецкое, его поступь борзую...

Алена тихонько заплакала. Матрена глянула на нее, покачала головой и продолжала:

— Будь ты, мое дитятко, цел, невредим: от силы вражьей, от пищали, от стрел, от борца, от кулачнова бойца, от ратоборца, от дерева русскова и заморскова, от полена длиннова, недлиннова, четвертиннова, от бабьих зарок, от хитрой немочи, от железа, от уклада, от меди красной, зеленой, от серебра, от золота, от птичьева

пера, от неверных людей: ногайских, немецких, мордвы, татар, башкирцев, калмык, бухарцев, турченинов, якутов, черемисов, вотяков, китайских людей.

Бойцам тебя не одолеть, ратным оружьем не побивать, рогатиною и копьем не колоть, топором и бердышом не сечь, обухом тебя бить не убить, ножом не уязвить, старожилым людям в обман не вводить; молодым парням ничем не вредить, а быть тебе перед ними соколом, а им — дроздами.

А будь ты, мое дитятко, моим словом крепким — в нощи и в полунощи, в часу и в получасье, в пути и дороженьке, во сне и наяву — сбережен от смерти напрасной, от горя, от беды, сохранен на воде от потопленья, укрыт в огне от сгоренья.

А придет час твой смертный, и ты вспомяни, мое дитятко, про нашу любовь ласковую, про наш хлеб-соль роскошный, обернись на родину славную, ударь ей челом седмерижды семь, распростись с родными и кровными, припади к сырой земле и засни сном сладким, непробудным.

Заговариваю я, раба, Степана Тимофеича, ратного человека, на войну идущего, этим моим крепким заговором. Чур, слову конец, моему делу венец.

Алена упала головой на подушку, завыла в голос:

— Ох, да не отдала б я его, не пустила б...

— Поплачь, поплачь, — посоветовала Матрена. — Зато легше будет. Шибко только не ори — пускай поспит.

— Ох, да на кого же ты нас покидаешь-то?.. Да и что же тебе не живется дома-то? Да и уж так уж горько ли тебе с нами? Да родимый ты мо-ой!.. — с болью неподдельной выла Алена.

Степан поднял голову, некоторое время тупо смотрел на жену... Сообразил, что это прощаются с ним.

— Ну, мать твою... Отпевают уж, — сказал недовольно.

Уронил голову, попросил:

— Перестань.

3

Шли стругами вверх по Дону. И конники — берегом.

Всех обуяла хмельная радость. Безгранична была вера в новый поход, в счастье атамана, в удачу его.

Весна работала на земле. Могучая, веселая сила ее сулила скорое тепло, жизнь.

Степан ехал берегом.

В последние дни он приблизил к себе Федьку Шелудяка. Нравился ему этот, совершенно лишенный страха и совести выкрест, калмык родом, отпетая голова, почной работничек. Был он и правда редкий человек — по изворотливости, изобретательности ума, необыкновенной выносливости и терпению.

Федька ехал рядом со Степаном, дремал в седле: накануне крепко выпили, он не просыпался. Опохмелиться атаман никому не дал. И сам тоже не опохмелился.

Степан чуть приотстал... И вдруг со всей силой огрел Федькиного коня плетью. Конь прыгнул, Федька чудом усидел в седле, как, скажи, прирос к коню, только голова болтанулась.

Степан засмеялся. Похвалил:

— Молодец.

— Э-э, батька!.. Меня с седла да с бабы только смерть сташшит, — похвалился Федька.

— Ну? — не поверил Степан.

— Ей-богу!

— А хошь, вышибу? На спор...

— Хочу. Поспать. Дай поспать, потом вышибешь.

Степан опять засмеялся, покачал головой:

— Иди в стружок отоспись.

Федька подстегнул коня и поскакал, веселый, к берегу.

Сзади атамана тронул подъехавший казак, сказал негромко:

— Батька, там беда у нас...

— Что? — встрепенулся Степан; улыбку его как ветром сдуло.

— Иван Черноярец казака срубил.

— Как? — Степан ошалело смотрел на казака, не мог понять.

— Совсем — напрочь, голова отлетела.

Степан резко дернул повод, разворачивая коня... Но увидел, что сам Иван едет к нему в окружении сотников и казаков. Вид у Ивана убитый.

Степан подождал, когда они подъедут, сказал коротко:

— Ехай за мной. — Подстегнул коня и поскакал в степь, в сторону от войска.

Иван поспевал за ним. Молчали.

Далеко отъехали... Степан осадил коня, подождал Ивана.

— Как вышло? — сразу спросил он есаула.

— Пьяные они... Полезли друг на дружку, до сабель дошло. Я унять хотел, он — на меня... Казак-то добрый. — Иван зачем-то глянул на свою правую руку, точно боялся увидеть на ней кровь казака.

— Кто?

— Макар Заика, хоперец.

— Ну?

— Ну и рубнул... Сам не знаю, как вышло. Не хотел. — Иван хмурился, не мог поднять головы.

Степан помолчал.

— А чего такой весь? — вдруг остервенело спросил он.

— Какой? — не понял Иван.

— Тебе не есаулом счас с таким видом, а назем выгребать из стайки! Впору слезьми реветь!..

— Жаль казака... Не хотел ведь. Чего ж мне, веселиться теперь?

— Ты эту жаль позабудь! Рубнул — рубнул, ну и все. А сопли распускать перед войском — это я тебе не дам. Ты — вож! Случись завтре: достанет меня стрелец какой-нибудь, кто все в руки возьмет? Кто, еслив есаулы мои хуже курей снулых? Надо про это думать или нет? Жалко? Ночь придет — пожалей. Один.

Помолчали.

— И мне жалко. В другое время я б тебя живого вместе с убитым закопал, — досказал Степан. — За казака.

Иван вздохнул:

— В другое время... В другое время я б сам поостерегся с саблей — черт подтолкнул. Казак-то добрый... я его знал хорошо. А тут как збесился: глаза красные, никого не видит... ажник жуть берет. Я уж с им и так и эдак — не слышит ничего и не видит. Ну, и вот... и вышло.

— Вперед за пьянством гляди хорошенько. Ни капли, ни росинки маковой на походе! Ехай с глаз долой и не показывайся такой. И казакам не кажись. Очухайся один где-нибудь.

Иван поскакал назад, Степан — в голову конницы.

Обеспокоенные событием, его ждали Федор Сукнин, Ларька, Стырь, дед Любим. Убийство воина-казака своим же казаком — дело редкостное. Боялись за Ивана:

если атаман некстати припомнит войсковой закон, есаул может поплатиться за казака головой. Случалось, хоронили в одной могиле обоих казаков — убитого и убийцу его, живого, при этом вовсе не разбирались, почему и как случилось убийство.

Степан налетел на есаулов:

— Был приказ: на походе в рот не брать?! Был или не был?

— Был, — откликнулся за всех Федор.

— Куда смóтрите?! До дури уж допиваются!..

Молчание.

— Ивана не виню, рубнул верно. Вперед сам рубить буду и вам велю. Всем скажите! Пускай на себя пеняют.

Есаулы украдкой облегченно вздохнули — пронесло с Иваном.

— Макара схоронить по чести, — велел атаман. — И крест поставить.

* * *

На виду Паншина городка стали лагерем. Стояли двое суток, поджидая, когда подойдет со своими Чертоус; уговорились через посыльных встретиться здесь.

На третий день к вечеру на горизонте показались конные Васьки Уса.

Василий Родионович Ус (Чертоус) был к тому времени пожилым, поднаторевшим военачальником, прошел две войны, поход под Москву... Поход был, правда, неудачный и горький — от Москвы казаки бежали, бросая по дороге приставших к ним мужиков, но неудача не сломила Василия, не остудила его страсть к войне и походам. Был он еще силен, горд, московский поход забыл.

Степану сказали про конных. Он вышел из шатра, тоже смотрел из-под руки. Он, пожалуй, волновался: охота было склонить славного Ваську с собой.

— Кто больше у его? — спросил у казаков.

— Больше из Вышнева Чира, — стал пояснять казак, ездивший нарочным к Василию, — голутьба. Запорожцы есть — с войны с им...

— Ты ездил к нему? — спросил Степан казака.

— Я.

— Как он?

— Ничо... Погляжу, говорит. Что, мол, за атаман, погляжу.

— Казаков принять хорошо, — велел Степан. И замолчал. Ждал. Должно свершиться важное: Ус поставит под верховную команду Разина свои казачьи отряды. Или — не поставит: Ус казак силен, молва про него на Дону добрая... Степан его не знал (дом Уса в Раздорах, да и там он бывает раз в год по обещанию — вечно в походах); его хорошо знал Сергей Кривой, дружок Уса. Сергей-то и рассказывал Степану про Василия. Сергей же сказал, что Ус — казак вовсе не глупый, но быковатый: заупрямится — с места не сдвинешь, но если изловчиться и захомутать его, — будет пахать.

Василий подъехал к группе Степана, остановился... Некоторое время спокойно, чуть насмешливо рассматривал казаков.

— Здорово, казаки-атаманы!

— Здорово! — ответили разинцы.

— Кто ж Стенька-то из вас?

Степан смолчал. Повернулся, пошел в шатер. Через некоторое время от него вышел Стырь и торжественно объявил:

— Атаман просит зайтить!

Василий, несколько огорошенный таким приемом, спешился, пошел в шатер. С ним вместе пошел еще один человек, не казачьего вида. Казаки — разинцы и пришлые, Уса, — молча смотрели на шатер: никто не ждал, что славные атаманы повстречаются так... странно.

— Чтой-то неласково ты меня стречаешь, — сказал Василий с усмешкой. — Аль видом я не вышел? Аль обиделся, что сразу в тебе атамана не узнал? Ты-то знаешь ли меня?

— Я тебя знаю, — успокоил Степан честолюбивого Уса, внимательно к нему приглядываясь. — Кто тебя не знает!

Поздоровались за руки.

— Сидай, — пригласил Степан.

— Дак мне чего своим-то сказать? Смутил ты меня, парень...

— Сказать, чтоб на постой разбивались. Эка, смутился!

Василий выглянул из шатра... И вернулся.

— Они у меня умные — сами сметили. Ты чего такой, Степушка? А?

— Какой?

— Какой-то — все приглядываисся ко мне... А слава шумит, что ты простецкий, погулять любишь... Врут? Тебе годов-то сколь?

— Сколь есть, все мои. Это кто? — Степан посмотрел на товарища Уса.

— Это мой думный дьяк, Матвей Иванов. Из мужиков... Башка! Завсегда при мне... Я его зову — думный дьяк.

— Пускай он пока там подумает. — Степан кивнул. — За шатром. Один. А мы погутарим...

— Я не помешаю, — скромно, с каким-то неожиданным внутренним достоинством сказал Матвей. Был он, в сравнении со своим атаманом, далеко не богатырского вида, среднего роста, костлявый, с морщинистым лицом, на котором сразу обращали на себя внимание глаза — умные, все понимающие, с грустной усмешкой. И Степан тоже невольно на короткий миг засмотрелся в эти глаза...

— Свой человек, — сказал Ус. — Говори при ем смело.

— Добре, нам таких надо. Дай-ка нам с атаманом погутарить, — настоял Степан. — Выйди.

Матвей вышел.

— Слыхал, чего я надумал? — прямо спросил Степан.

— Слыхал, — не сразу ответил Ус. — На Москву ийтить? Слыхал. Могу дорогу показать... Передний заднему доро́га.

— Это по какой ты бежал-то? Плохая дорога. Мы другую найдем — надежней.

— Лихой ата́ман! — с притворным восхищением воскликнул Ус. — Уж и побегать не даст. А меня дед учил: не умеешь бегать, не ходи на войну. Бывает, Стена. Что горяч ты — это хорошо, а вот еслив горяч, да с дуринкой, — это плохо. Не ходи тада на Москву — там таких с колокольни вниз головой спускают.

Степан улыбнулся криво и недобро.

— Крепко тебя там припужнули...

— Что ты! Шибко уж колокольня-то та высокая. Не видал?

— Видал. Высокая.

— Какую ж ты дорогу себе выбрал? — спросил Ус. — Или — наугад, по-вятски?

— Это как же — по-вятски? — не понял Степан.

— Наугад! И говорится — наугад.

Степан внимательно посмотрел на простодушного Василия Родионыча.

— Наугад — не знаю, не ходил. Я люблю — наудачу.

А в лагере в это время налаживались другие отношения — там не о чем было спорить. Там все ясно.

Казаки Уса и разинцы, в отличие от вождей своих, скоро нашли общий язык — простой, без колючих зазубрин.

Обнаруживались старые знакомцы, вспоминались былые походы... Задымили костры. Гостей готовились принять славно, как и велел атаман.

Разинцы еще раньше принарядились — пускали пыль в глаза пришлым, кобенились — как же!

Стырь собрал вокруг себя целую ораву, показывает, как он «ходил» на Москву к царю.

— Он о так сидит на троне... Мишка, сядь.

— Да иди ты, — отказался Мишка, молодой казак.

— Где кум мой? — вспомнил Стырь. — Он тоже видал царя — покажет.

Дед Любим напялил на голову вывернутую наизнанку шапку, воссел на три положенных друг на друга седла. Сделал скучающее лицо... Стал важный и придурковатый.

— Ну, где там эти казаки-то?! — спросил. — Давайте их суда, я с имя погутарю.

— Не так! — воскликнул Стырь. — Давай: ты из бани пришел.

— А-а!.. Добре. — Дед Любим стал отчаянно чесаться. — В баньку нешто сходить?..

— Да ты уж пришел! — заорали зрители.

— А-а!.. Ну-к... Эй! Бояры!.. Кварту сиухи мне: после бани выпью.

Поднесли «царю» сиухи. Он выпил.

— Ишшо.

— Будя.

— Ты что, горилки царю пожалел, сукин сын?! Ты должон на коленках передо мной ползать. Давай горилки! — Дед изобразил капризное «царское» величие. — Хочу кварту горилки! Хочу кварту горилки!.. — Больше было похоже на то, как капризничает злой ребенок, а не царь.

Ему подали еще. Дед выпил, смачно крякнул. Плюнул.

— Ах, хороша!.. Ну где там казаки-то?

В круг неторопливо вошел Стырь, тоже черт знает в чем — в каком-то непонятном балахоне. Тоже необыкновенно важный.

— Здоров, казак! — приветствовал его «царь». — Ты чего эт в моем царстве шатаисся? Чего ты тут пронюхываешь у меня?

— Прикажи мне тоже дать сиухи, — подсказал Стырь.

— Э-э!.. — загудели зрители. — Вы тут упьетесь, пока покажете.

— Так надо, — сказал Стырь. — Перво-наперво вина подают.

— Правда, — поддержал дед Любим. — Эй, бояры, где вы там, прихвостни? Дать казаку вина заморскыва.

Стырю подали чару вина. Он выпил.

— Ишшо. Я с дальной дороги — пристал.

— Дать ему! — велел «царь».

— Шевелись! — прикрикнул на «бояр» Стырь. — Царь велит!

Подали еще чару. Стырь выпил.

— Как доехал, казаченька? — ласково спросил «царь».

— Добре.

— А чего ты шатаисся по моему царству, мы желаем знать?

Стырь громко высморкался из одной ноздри, потом из другой. Стал полный дурак.

— Чего желаете знать?..

Нелегко матерому Чертоусу смирить гордое сердце — сразу стать под начало более молодого, своенравного Стеньки. Но велико и обаяние Разина, жестокое обаяние. Когда Степан хотел настоять на своем, он не искал слово помягче, он гвоздил словом. Он не скрывал раздражения. И это-то странным образом успокаивало людей: кто гневается, тот прав. Кто верит в себя, тот прав.

Не пощадил Степан старого казака: припомнил ему его паническое бегство от Москвы. Было так: Ус с ватагой военных охотников пошли на Москву просить, чтобы их употребили по назначению — они хотели воевать. Пошли, как на войну, — просить войны. Дорогой к ним пристали мужики. Эти, в глубине души, вовсе не так поняли поход на Москву — не просить пошли войны, а пошли воевать. Москва тоже поняла этот поход как на-

ступление и выслала навстречу сильный отряд под командой Борятинского. Казаки бежали. Пешие мужики не могли убежать. Их убивали.

Это и припомнил Степан. Он говорил резко:

— Ты там мужиков бросил! Псу Борятинскому отдал неоружных людей на растерзанье... Вот как ты там хорошо ходил, той дорогой! И туда же опять зовешь?.. Бесстыдник.

— Тьфу!.. Дурак упорный! — Ус тоже злился. — Не приведи господи, но случится где-нибудь тебе в отступ ийтить — вот этой самой рукой, — Ус показал огромную ручищу, — подойду и по роже дам. А чего мне было делать? Заодно с мужиками ложиться? Это уж ты сам — наберешь мордвы-то, да чувашей, да ногайцев своих — с ими и подставляй лоб, кому хошь, хошь Борятинскому, хошь Долгорукому... Какой! Шибко уж памятливый — на чужую беду.

— Не лезь тада с советом, еслив свою беду не помнишь.

— Иван Болотников не дурней тебя был, а не поперся на Волгу.

— Вона! Спомнил...

— А чего же его забывать, добрый был вож... Дай бог побольше таких.

— Зато и пропал твой Иван.

— Пропал, да не за то. Вас ведь чего на Волгу-то тянет: один раз вышло там, вот и давай ишо... А с Волги тоже дорога на побег есть — Ермакова. — Ус поднялся, выглянул из шатра, позвал: — Матвей! Зайди к нам. Вот послушай, Степан, мужика — дошлый. Послушай, послушай, с лица не опадешь. Я его частенько слушаю.

Вошел Матвей.

— Там казачки-то... это... расходиться начинают, — сказал он и посмотрел на Степана. — Или — ничего, пускай?

— Гулять, что ль? Как же им не погулять? Не с татарвой стретились.

— Хорошее дело, — согласился Матвей. — Я к тому, что — размахнутся они счас широконько: знакомцев полно стрелось. А у вас тут, может, чего другое задумалось.

— У нас тут раскосяк вышел, — сказал Ус. — Не хочет Степан Тимофеич городками да весями ийтить, хочет — Волгой.

— Ну, я тебе то и говорил, — спокойно сказал Мат-

вей. — Говорил я тебе: Степан Тимофеич будет склонять на Волгу.

— Да вот и растолкуйте вы мне, я в ум не возьму: пошто?

Степан с интересом слушал непонятный ему разговор. Мужик Матвей показался ему в самом деле умным. Очень понравилась его манера говорить: спокойно, негромко... На своем не настаивает, нет, но свое скажет. Глаза его понравились: грустные, умные, но и насмешливые. Интересный мужик.

— Раз: кто такой Степан Тимофеич? — стал рассуждать Матвей, адресуясь к Усу. — Донской казак. Правда, корнями-то он — самый что ни на есть расейский, но он забыл про то...

— Какой я расейский? Ты чего?

— Отец-то расейский. Воронежский. Мы так слыхали...

— Ну.

— Вот. Стало быть, есть ты донской казак, Степан Тимофеич. Как и ты, Василий Родионыч. Живется вам на Дону вольготно, номестники вас не гнут, шкур не снимают, жен, дочерей ваших не берут по ночам с постели — для услады себе. Вот... Спасибо великое вам, хоть привечаете у себя нашего брата. Да ведь и то — вся Расея на Дон не сбежит. А вы, как есть вы донские казаки, про свой Дон только и печалитесь. Поприжал вас маленько царь, вы — на дыбошки: не трожь вольного Дона! А то и невдомек: несдобровать и вашему вольному Дону. Он вот поуправится с мужиками да за вас примется. Уж поднялись, так подымайте за собой всю Расею. Вы на ногу легкие... Наш мужик пока раскачается, язви его в душу, да пока побежит себе кол выламывать — тут его сорок раз пристукнут. Ему бы — за кем-нибудь, он пойдет. А вы — эвон какие!.. За вами только и ходить. За кем же?

— Ты к чему это? — спросил Степан.

— Доном ийтить надо, Степан Тимофеич. Через Воронеж, Танбов, Тулу, Серпухов... Там мужика да посадских, черного люда, — густо. Вы под Москву-то пока дойдете — ба-альшое войско подведете. А Волгой — пошли с полтыщи с есаулами да с грамотками, — пускай подымаются да подваливают с той стороны. А там, глядишь, Новгород, да Ярославль, да Пошехонь с Вологдой из лесу вылезут — оно веселей дело-то будет! На Волге, знамо, хорошо — вольно. Опять же, погулять — где? На Волге.

Там душу отвесть можно. А тут бы в самый раз: весь народишко раззудить!.. — Матвей заволновался, глаза его заблестели. — Ты скажи ему, да погромче — прикрикни: пошли! Сиднем засиделись, дьяволы! Волосьем заросли!.. По лесам-то с кистенем — черт вас когда ослобонит там, и детишков ваших. Они вон подрастают да следом за вами — в Петушки, купцов поджидать. Эх!..

— Ты чего ж, Матвей: на царя наметился? — спросил Степан, усмешливо прищурившись. — Ведь мы эдак, как ты советуешь-то, — все царство рассейское вверх тормашками?..

— Пошто на царя?

Степан засмеялся:

— Напужался?.. Ну, так: вы — гости мои дорогие, я вас послушал, и будет. Пойдем Волгой.

— Пеняй на себя, Степан! — воскликнул Ус. — Баран самовольный. Силу собрал, а... Экий дурень! Пропадешь!

— Будешь со мной? — в упор спросил Степан.

— Куда ж я денусь?.. Ты тут теперь — царь и бог: не привязанный, а вижжать окол тебя буду. — Ус встал во весь огромный рост, хлопнул себя по бокам руками. — Золотая голова, а дурню досталась. Пошто уперся-то?

— Неохота сказывать.

— Это твоя первая большая промашка, Степан Тимофеич, — негромко, задумчиво и грустно сказал Матвей. — Дай бог, чтоб последняя. Ах, жаль какая!.. И ничего не сделаешь, правда.

4

В Черкасске домовитые казаки и старши́на крепко задумались. За поход Стеньки они могли жестоко поплатиться, они понимали. Царь слал грамоты, царь требовал разузнать и обезопасить Разина — беспокоился. Но черт его обезопасит, Разина, если он пришел и сел, как в крепости, в своем Кагальнике, казаков не распустил... Иди обезопась его! Он сам кого хочешь обезопасит, да так, что — с головой вместе. Ждали весны: весной будет ясно, куда он пойдет. Может, теперь до турок попытаются добраться, тогда — с богом: там и лягут. Может, с калмыками или с крымцами сцепятся, тоже не страшно, даже хорошо: израсходуют силу в наскоках и утихнут. Старались еще зимой как-нибудь выведать, куда они подымутся по весне. Не могли выведать. Стенька грозил всем, а

на кого точил потаенный нож, про то молчал. Даже пьяный не проговаривался. Гадали всяко — и так, и этак... Думали и так: не на Москву ли правда нацелился? Ждали весны. И вот подтвердились ужасные догадки: Разин пошел на Москву.

Особенно опечалились Корней Яковлев и Михайло Самаренин, войсковые атаманы. Корнею легко удавалась эта печальная игра; в душе он был доволен событиями.

Корней Яковлев, излишне грустный, как будто переболевший за эти дни, стукнулся в дверь дома Минаева Фрола. Из дома не откликнулись.

— Я, Фрол! — сказал Корней негромко.

Звякнул внутри засов. Фрол открыл дверь. Прошли молча в горницу.

В горнице сидел Михайло Самаренин. На столе вино, закуска... Домашних Фрола никого нету — услал, чтоб поговорить без помех.

— Дожили: середь бела дня — под запором, — сказал Самаренин, крупный казачина с красным обветренным лицом.

— Дожили, — вздохнул Корней, присаживаясь к столу. — Налей, Фрол.

— Долго он не нагуляет, — успокоил Фрол, наливая войсковому большую чарку. — Это ему не шахова земля — голову враз открутют. А то уж шибко скаковитые стали.

— Ему-то открутют — дьявол с ей, об ей давно уж топор тоскует. У меня об своей душа болит. — Корней выпил, крякнул, пососал ус... — Свою жалко, вот беда.

— Чего слышно? — спросил Михайло, искренне озабоченный.

— Стал у Паншина, Ваську ждет. Ты говоришь — открутют... У его уж счас — тыщ с пять, да тот приведет... Возьми их! Сами открутют кому хошь. Беда, братцы мои, атаманы, беда. Больше беда могет быть... — Корней оглянулся на дверь горницы.

— Никого нету, — сказал Фрол.

— Письма перехватили от гетмана да от Серика к Стеньке.

У Фрола и Михайлы вытянулись лица.

— Чего пишут?

— Дорошенко не склонился, а Серик, козел чубатый, спрашивает, где бы, в каком урочище им сойтиться. Казак тот, с письмами, разлысил лоб в Черкасской — не

знал, что Стенька ушел, мы вытряхнули того казачка... Во куда невод завел!

— Верно, собирался он писать к Серку и к Дорошенке, — сказал Фрол. — В Астрахани собирался. Эт-то хужее дело...

— Вот какая моя дума: надо спробовать повернуть Стеньку на крымцев. Поедешь ты, Фрол. Скажешь...

— Ты что?! — испугался Фрол.

— Не тронет он тебя. Полный раздор с нами чинить ему тоже не с руки: он не дурак — оставлять за спиной обиженных. А поедешь ты от всех нас. Возьмешь письмо Петра Дорошенко. Сериково письмо я в печь бросил. Ехать надо сразу — успеть до Васьки. Надо, надо, ребяты... Надо хоть показать: чего-то да делали мы тут, а то совсем уж... смотрим только. Спросют ведь!

— Не мне бы... Не поверит он мне.

— Тебе-то как раз и поверит, — сказал Михайло. — Тут ведь — не только письмо передать, а поговорить с им...

— Слышно, мол, стало: крымцы грозят походом. Они правда-то не налетели бы, узнают наши поганые дела, — сказал еще Корней. — Не приведи господи: вовсе не отбиться будет.

— Эх, не мне бы! Подумайте. Не боюсь, а — будет ли толк? Побаиваюсь, конечно, но... постановим, поеду. Только подумайте: мне ли? — Фрол тревожно и вопросительно смотрел на атаманов.

— Тебе, ты с им в дружках ходил. Сулился же он не тронуть тебя. Поговори душевно... Хоть бы он, черт бешеный, на Крым повернул. Подтолкнуть бы его, пока он один-то... Ты, Михайло, собирайся в Москву: надо и об своих головах подумать. Все скажешь, как есть: ничего, мол, не могли поделать. Прибери себе казаков — и с богом. Без огласки.

Все трое посидели в молчании.

— Он когда на Москву-то задумал, где? — спросил Корней Фрола.

— А черт его знает! Его рази поймешь? Думаю, как Астрахань прошли оттуда, он окреп. Те губошлепы-то пропустили... Он и вошел в охотку. Царя, говорит, за бороду отдеру разок...

— Разок надо бы, — неожиданно сказал Корней. — Не худо бы... Только шумом городка не срубить. Славный он казак, Стенька... Жалко мне его. Пропадет.

— Тут, как ты говоришь, самая пора себя пожалеть, — заметил Самаренин. — А то выходит: он ногой в стремя, а мы — головой в пень.

* * *

Поздно вечером Фрол Минаев и с ним два казака выехали вдогон Разину. Побежали сразу резво. Фрол доверился судьбе... На всякий случай надо, конечно, держать ухо востро, но в глубине души он не верил, что Степан поднимет на него руку. Напротив, может, именно он, Фрол, отведет беду с Дона. В Крым или на калмыков Фрол и сам бы еще разок сходил со Степаном... Но не на царя. От этого похода, кроме беды, ждать нечего. Может, и удастся отговорить Стеньку... Жалко его, правда.

Фрол родился и вырос в станице Зимовейской, где родился и Степан, вместе они ходили на богомолье в Соловки... И тогда-то, в переход с Дона на Москву, случился со Степаном большой и позорный грех, про который до сих пор знали только они двое — Степан и Фрол. Было им по двадцать шесть лет, но Степан шел в Соловки второй раз. Ехали с ними все больше старые казаки, израненные в сражениях, много грабившие на веку, — ехали замаливать грехи. Молодые, вроде Стеньки и Фрола, ходили в Соловки то ли по обету, как ходил Стенька в первый раз (обещал умирающему отцу сходить помолиться казачьему святому Зосиме), то ли по настоянию здравых еще, обычно пожилых родичей, желавших своим родным помощи божьей и судьбы милостивой. А заодно и за них бы, стариков, отдать поклон... То ли молодые сами, своей волей просили на кругу разрешения сходить в далекий монастырь — не сиделось дома, охота было посмотреть мир большой, это поощрялось, круг решал отпускать.

В тот раз Стенька ехал своей волей. Фрола послал на богомолье дед его, Авдей Минаев, который на старости лет сильно ударился в бога, но сам был уже не ходок, и потому в Соловки поехал внук Фрол. Не без удовольствия, надо сказать.

Неподалеку от Воронежа, в деревне, остановились на постой. Остановились у крепкого старика; дом у старика большой, на отшибе, ближе к лесу. Дед по вековой традиции своего рода бортничал (собирал дикий мед), у него всегда останавливались казаки с Дона: где мед, там медовуха, где медовуха, там казаки. Да и старик был очень свойский: если не разбойник, то с душой разбойни-

ка: немногословный, верный слову, на первом месте — товарищ, потом все. В прошлый раз Стенька со станицей останавливался у него же. Но с тех пор в доме старика случились изменения: убило лесиной его сына, Мотьку. Осталась со стариком невестка, чернобровая Аганя, баба огромная, красивая и приветливая. Казаки сразу смекнули, что Аганя тут — и за хозяйку, и за жену сильного старика (старухи у него давно не было), но вида не подали.

Выпили. Аганя тоже выпила; молодая ядреная кровь заиграла в ней, она безо всякого стеснения заглядывалась на молодых казаков, похохатывала... Часто взглядывала на Стеньку. А тот еще с прошлого раза запомнил Аганю, но тогда слишком был молод, стеснялся, и у Агани был муж. Теперь Стенька осмелел... И так они откровенно засматривались друг на друга, что всем стало както не по себе. Один только старик-лесовик, хозяин, как будто ничего не замечал, помалкивал, пил. Старший в станице, Ермил Пузанов, вызвал Стеньку на улицу, предупредил:

— Не надо, Стенька, не обижай старика. Оно и опасно: старик-то... такой: пришьет ночью, пикнуть не успеешь.

— Ладно, — ответил Стенька. — Я не малолеток.

— Гляди! — еще сказал Ермил серьезно. — Не было бы беды.

— Ладно.

Ночь прошла спокойно. Но Стенька, видно, успел перемолвиться с Аганей, о чем-то они договорились... Утром Стенька сказался больным.

— Чего такое? — спросил Ермил.

— Поясница чего-то... разломило всего. Полежать надо.

Казаки переглянулись между собой.

— Пускай полежит, — молвил могучий старик хозяин. — Я его травкой здесь отхожу. Я знаю, что это за болесть.

Фрол, улучив минуту, сунулся к Стеньке:

— Чего ты задумал?

— Молчи.

— Отравит он тебя, Стенька... Или пришибет ночью. Поедем.

— Молчи, — опять сказал Стенька.

Казаки уехали.

Стенька догнал их через два дня... Много не распространялся. Сказал только:

— Полегчало. Прошла спина...

— Как лечил-то? — заулыбались казаки. — Втирал? Али как?

— Это — кто кому втирал, надо спросить. Оборотистый казак, Стенька... Старик-то ничего? Облапошили?

— Они ушли, — непонятно сказал Степан. — Вместе: и старик, и...

— Куда? — удивились казаки.

— Совсем. В лес куда-то. Старик заприметил чего-то и... ушел. И Аганьку увел с собой. Вместе ушли.

— Э-э... Ну да: что он, смотреть будет? Знамо, уведет пока — от греха подальше.

— Ну вот, взял согнал людей... Жили, никому не мешали, нет, явился... король-королевич. Надо было!

Поругали Стеньку. И поехали дальше.

Стенька, однако, долго был сам не свой: молчал, думал о чем-то, как видно, тревожном. Казаки его же и отговаривать принялись от печальных мыслей:

— Чего ж теперь? Старик не пропадет — весь лес его. А ее увести надо, конешно: когда-никогда она взбесится.

— Не горюй, Стенька. А, видать, присохло сердчишко-то? Эх, ты...

Только в монастыре догадались казаки, что у Стеньки на душе какая-то мгла: старики так не молились за все свои грехи, как взялся молить бога Степан — коленопреклонно, неистово.

Фрол опять было к Стеньке:

— Чего с тобой? Где уж так нагрешил-то? Лоб разобьешь...

— Молчи, — только и сказал тогда Степан.

А на обратном пути, проезжая опять ту деревню, Степан отстал с Фролом и показал неприметный бугорок в лесу...

— Вон они лежат, Аганька со своим стариком.

У Фрола глаза полезли на лоб.

— Убил?!

— Сперва поманила, дура, потом орать начала... Старик где-то подслушивал. Прибежал с топором. Можеть, уговорились раньше... Сами, наверно, убить хотели.

— Зачем?

— Не знаю. — Степан слегка все-таки щадил свою совесть. — Я так подумал. Повисла на руке... а этот с топором. Пришлось обоих...

— Бабу-то!.. Как же, Стенька?

— Ну, как?! — обозлился Степан. — Как мужика, так и бабу.

Бабу зарубить — большой грех. Можно зашибить кулаком, утопить... Но срубить саблей — грех. Как ребенка приспать. Оттого и мучился Степан, и молился, и злился. До сей поры об этом никто не знал, только Фрол. Тем тяжелей была Степану его измена. Грех молодости может всплыть и навредить.

В раннюю рань к лагерю разинцев подскакали трое конных; караульный спросил, кто такие.

— Аль не узнал, Кондрат? — откликнулся один с коня.

— Тю!.. Фрол?

— Где батька?

— А вон в шатре.

Фрол тронул коня... Трое вершных стали осторожно пробираться между спящими, направляясь к шатру.

Кондрат постоял, посмотрел вслед им... И вдруг его резнуло какое-то недоброе предчувствие.

— Фрол! — окликнул он. — А ну, погодь.

— Чего? — Фрол остановился, подождал Кондрата.

— Ты зачем до батьки?

— Письмо ему. С Украйны, от Дорошенки.

— Покажь.

— Да ты что, бог с тобой! Кондрат!..

— Покажь, — заупрямился Кондрат.

Фрол достал письмо, подал Кондрату. Тот взял его и пошел в шатер.

— Скажи: мне надо с им погутарить! — сказал Фрол.

— Скажу.

Кондрат вошел в шатер.

И почти сразу из шатра вышел Степан — босиком, в шароварах, взлохмаченный и припухший со сна и с тяжкого хмеля.

— Здорово, Фрол.

— Здорово, Степан...

— Чего не заходишь?

Смотрели друг на друга внимательно, напряженно.

— Письмо. От Петра Дорошенки.

— Ты заходи! Заходи — выпьем хоть... А то вишь я какой?

Фрол, умный, дальновидный Фрол, мучительно колебался.

— Не склоняется Петро...

Степан понимал, что́ происходит с Фролом, какие собаки рвут его сердце — Фрол боится, и боится показать, что боится, и хочет, правда, поговорить, и все-таки боится.

— Да шут с им, с Петром. Я и не надеялся шибко-то, ты же знаешь, — непринужденно сказал Степан. — Заходи, погутарим.

Фрол незаметно, как ему казалось, зыркнул глазами по сторонам: лагерь спал.

Степан отметил этот его настороженный волчий огляд.

— Я от Серка жду. От Ивана. Заходи, — еще сказал Степан и пошел в шатер. Шел нарочито беспечным шагом. Рознял вход, вошел в шатер. Не оглянулся.

Фрол остался на коне.

— Пронька, — тихо сказал он молодому казаку, — иди передом.

Пронька не понял. Смотрел на есаула.

— Иди! — сдавленным от волнения и злости голосом сказал Фрол. — А я погляжу...

Пронька слез с коня, пошел в шатер. Фрол остался на коне, стерег глазами вход.

Фрол хорошо знал Степана. Случилось так, как он, наверно, ждал: нервы Степана напряглись до предела, он не выдержал: заслышав шаги казака, стремительно вышагнул навстречу ему с перначом в руке. Обнаружив хитрость друга-врага, замер на мгновение... Выронил пернач. Но было поздно...

Фрол разворачивал коня.

— Погоди, Фрол! — громко вскрикнул Степан. — Фрол!..

Фрол ударил коня плетью... Казак, который оставался на коне, тоже развернулся... Выбежавший на крик атамана Кондрат приложился было к ружью...

— Не надо, — сказал Степан. Подбежал к свободному коню, прыгнул.

И началась гонка.

...Вылетели из пределов лагеря, ударились в степь.

Конь под Степаном оказался молодой; помаленьку расстояние между двумя впереди и третьим сзади стало сокращаться. Видя это, казак Фрола отвалил в сторону — от беды.

— Фрол!.. Я же неоружный! — крикнул Степан.

Фрол оглянулся и подстегнул коня.

— Придержи, Фрол!.. Я погутарю с тобой! — еще крикнул Степан.

Фрол нахлестывал коня.

— В гробину твою! — выругался Степан. — Не уйдешь. Достану.

И тут случилось то, чего никак не ждал Степан: молодой конь его споткнулся. Степан перелетел через голову коня, ударился о землю...

Удар выхлестнул Степана из сознания. Впрочем, не то: пропало сознание происходящего здесь, сейчас, но пришло другое... Голову, как колоколом, накрыл оглушительный звон. Степан понял, что он лежит и что ему не встать. И он увидел, как к нему идет его старший брат Иван. Подошел, склонился... Что-то спросил. Степан не слышал: все еще был сильный звон в голове. «Я не слышу тебя», — сказал Степан и своего голоса тоже не услышал. Иван что-то говорил ему, улыбался... Звон в голове поубавился.

— Братка, — сказал Степан, — ты как здесь? Тебя ж повесили.

— Ну и что? — спросил Иван, улыбаясь.

— Выходит, я к тебе попал? Зашиб меня конь-то?

— Ну!.. Тебя зашибить не так легко. Давай-ка будем подыматься...

— Не могу, сил нету.

— Эка! — все улыбался Иван. — Чтой-то раскис ты, брат мой любый. Ну-ка, держись мне за шею... Держись крепче!

Степан обнял брата за шею и стал с трудом подниматься. Брат помогал ему.

— Во-от, — говорил он ласково, — вот и подымемся...

— Как же ты пришел-то ко мне? — все не понимал Степан. — Тебя же повесили. Я же сам видал...

— Будет тебе: повесили, повесили! — рассердился Иван. — Стой вот! Стоишь?

— Стою.

— Смотри... Стой крепче!

— Ты мне скажи чего-нибудь. А то уйдешь...

Иван засмеялся:

— Держись знай. Не падай... — И ушел.

А Степан остался стоять... Его придерживал под руки Фрол Минаев. Степан долго смотрел ему в глаза. Не верилось, что это Фрол вернулся. Фрол выдержал близ-

кий, замутненный болью взгляд атамана. Даже улыбнулся.

— Живой? Я уж думал, зашиб он тебя.

— А где?.. — хрипловато начал было Степан. И замолчал. Он хотел спросить: «А где брат Иван?» — Ты как здесь?

— Сядь, — велел Фрол. — Посиди — ослабел...

Степан бережно, с помощью Фрола, сел на сырую землю. Фрол сел рядом.

Ослабел атаман, правда. Сознание подплывало; степь перед глазами вдруг вспучивалась и качалась. Тошнило. И звон в ушах опять закипал, и молоточки били в голову так больно, что надо было зажмуриваться.

Фрол вынул из-за пояса дротик, вырыл у ног ямку, взял сильными пальцами со дна ее горсть земли, посырее, подал Степану:

— На, поприкладывай ко лбу — она холодная, можеть, легче станет.

Степан приложил горсть земли ко лбу... Земля пахла погребом и травой. Молодой зеленой травкой. Степан уткнулся в землю и стал вдыхать целительный запах. И в голове вроде прояснилось. И боль вроде потухла. И даже какая-то далекая, забытая радость шевельнулась под сердцем — живой, жив. Согрела радость.

— Пахнет, — сказал Степан. — Ишь ты...

Фрол взял тоже горстку земли, понюхал.

— Корешками гнилыми.

— Травкой, — поправил Степан.

Фрол еще понюхал, бросил землю, вытер ладонь об штанину.

— Можеть, травкой, — согласился.

Степан еще раз уткнулся в пахучую холодную землю, глубоко, со стоном вздохнул и повторил не то из упрямства, не то с каким-то скрытым значением:

— Травкой пахнет, травкой. — Помолчал. — Тебя все на гниль тянет, а пахнет — травкой. Не спорь со мной.

Фрол с удивлением посмотрел на Степана. Ничего не сказал. Подобрал с земли дротик, сунул за пояс, по правую руку.

— Фрол, — заговорил Степан уже в полном сознании, напирая, по обыкновению, на слова, — ты не побоялся вернуться, не побойся сказать прямо: почему отвалил от меня?

— Ты хоть очухайся сперва... Потом уж за дело берись. Небось круги ишо в глазах-то.

— Я очухался. Не веришь в мою затею?

— А какая твоя затея? Я не знаю...

— Знаешь. Не хитри. Не веришь?

Фрол помолчал.

— В затею твою я верю, — сказал он. — Только затея-то твоя землей вот пахнет. — Он опять взял горстку земли, помял в пальцах. — Можеть, она и травкой пахнет, но я туда завсегда успею. Торопиться не буду. — Фрол ссыпал землю в ямку. — Еслив можешь меня без злости послушать, послушай...

— Валяй. Не буду злиться.

— Наберись терпения — послушай. Из твоих оглоедов тебе этого никто не скажет.

— Скоро же ты отрекся от нас! — удивился Степан. — Уж и — оглоеды!

— Ну... отрекся не отрекся — мне с вами не по дороге. Вот, слушай. Ты же умный, Степан, как ты башкой своей не можешь понять: не одолеть тебе целый народ, Русь...

— Народ со мной пойдет: не сладко ему на Руси-то.

— Да не пойдет он с тобой! — Фрол искренне взволновался. — Дура ты сырая!.. Ты оглянись — кто за тобой идет-то! Рванина — пограбить да погулять, и вся радость. Куда ты с имя? Под Танбовом завязнешь... Худобедно им с царем да с поместником — все же они на земле там сидят...

— Они не сидят на земле. Они на карачках стоят.

— Даже и на карачках, а все потревожить надо — на войну гнать. С какой такой радости мужик на войну побежит? Ты по этим гонисся, какие с тобой? Этим терять нечего, они уж все потеряли. А те... Нет, Степан, не пойдут. Ты им — журавля в небе, а им — синица в руке дороже. За журавля-то, можеть, голову сложить надо, а синица — в руке, хошь и маленькая. Все же он ее держит. Ведь ты как ему будешь говорить, мужику: «Выпускай синицу, журавля добудем!» Это надо твоим словам уж так верить, так верить... Отцу родному так не верют, как тебе надо верить, чтоб выпустить ту синицу. Откуда они возьмут эту веру? Ведь это ж надо, чтоб они семьи свои побросали, детишек, жен, матерей... И за тобой бы пошли. Не пойдут!

— Так... Все сказал?

— Ну, считай, все. Я могу день говорить — все про то же: не пойдут за тобой.

— А на меня пойдут?

— На тебя пойдут. Поднимут их — пойдут.

— За царя пойдут, а со мной — нет. Чем же им царь дороже?

— Он им не дороже, а... как тебе сказать, не знаю... Не дороже, а привыкли они так, что ли, хрен их знает. Ты им — непонятно кто, атаман, а там — царь. Они с материным молоком всосали: царя надо слушаться. Кто им, когда это им говорили, что надо слушаться — атамана? Это казаки про то знают, а мужик, он знает — царя.

Степан сердито сплюнул.

— Можеть, ты бы и говорил целый день, Фрол... Можеть, я бы тебя и слушал — вроде говоришь человеческие слова, но сам-то ты, Фрол, подневольная душа. Это ты с молоком всосал — нельзя на царя подняться. Ты ишо на руках у матери сидел, а уж вольным не был. И такие же у тебя мысли, хоть они кажутся верными. Они — верные, но они подневольные. А других ты не знаешь. Чего же я буду выколачивать их из тебя, еслив их нету? На кой черт я гоняюсь-то за тобой?

— Не знаю, чего ты гоняисся.

— Я других с собой подбиваю — вольных людей. Ты думаешь, их нету на Руси, а я думаю — есть. Вот тут наша с тобой развилка. Хорошо, что честно все сказал: я теперь буду спокойный. Теперь я тебя не тропу: нет на тебя зла. И не страшись ты теперь меня... Вы мне — не опасные. Встретисся на бою — зарублю, как собаку. А так — живи. Не пойму я только, Фрол: чем же уж тебе жизнь так мила, что ты ее, как невесту дорогую, берегешь и жалеешь? Поганая ведь такая жизнь! Чего ее беречь, суку, еслив она то и дело раньше смерти от страха обмирает? Чего уж так жалко бросать? С бабой спать сладко? Жрать, что ли, любишь? Чего так вцепился-то? Не было тебя... И не будет. А народился — и давай трясть: как бы не сгинуть! Тьфу!.. Ну — сгинешь, чего тут изменится-то?

— Степан, ты молодым богу верил...

— Не верил я ему никогда!

— Врешь! Я видал, как ты в Соловках лбом колотился. Даже я меньше верил...

— Ну, можеть, верил. Ну и что?

— Я не знаю, чем тебе жизнь твоя так опостылела, но грех ведь других-то на убой манить. О себе только ду-

маешь, а на других тебе... Иди вон в Дон кидайся, еслив жить надоело. На кой же других-то подбивать? Не мудрено голову сломить, Степан, мудрено приставить. Я хоть тоже не шибко верую, но тут уж дурак поймет — грех. Перед людями грех — заведешь и погубишь. Перед людями, не перед богом, перед теми самыми, какие пойдут за тобой...

— Такие, как ты, не пойдут.

— Пойдут — ты умеешь, заманишь. У тебя... чары, как у ведьмы, — ийтить за тобой легко, даже вроде радостно. Я вон насилу вывернулся... отрезвел. Знамо, это все оттого, что самому тебе недорога жизнь. Я понимаю. Это такая сладкая отрава, хуже вина. Я же тоже не бегал ни от татар, ни от турка, ни от шаховых людей... Но там я как-то... свою корысть, что ли, знал или... Да нет, тоже не то говорю — я не жадный. Но ведь там-то не боялся я, ты же знаешь...

— Там... Я знаю: там — это как собаки: перегрызлись и разбежались. Там ума большого не надо.

— Но там же тоже убивают. Ты говоришь: я больше всего смерти страшусь...

— Можеть, не страшисся. Только тебе — за рухлядь какую-нибудь не жалко жизнь отдать, а за волю — жалко, тебе кажется, за волю — это псу под хвост. Вот я и говорю — подневольный ты. По-другому ты думать не будешь, и зря я тут с тобой время трачу. А мне, еслив ты меня спросишь, всего на свете воля дороже. — Степан прямо посмотрел в глаза Фролу. — Веришь, нет: мне за людей совестно, что они измывательство над собой терпют. То жалко их, а то — прямо избил бы всех в кровь, дураков. Вот. Сгинь с глаз моих, Фрол: опять тебя ненавидеть стал. Сгинь! Раз уж сказал, не тропу — не трону. Но — уходи.

Фрол поднялся, пошел к коню.

Степан тоже встал.

— Гады вы ползучие! — крикнул Степан. — Я тебе душу открыл тут... Дурак я! Ехай! Ублажай свою жизнь-дорогушу! Поганка. — Степана шатнуло от слабости... Он опустил голову, стиснул зубы и стал смотреть вниз, в землю.

Фрол вскочил на коня, крутнулся...

Прикинул, опасаться нечего — конь Степана далеко, сказал спокойно:

— От поганки слышу. Иди к своим любезным свисту-

нам, они ждут не дождутся. На тем свете свидимся, только я туда попозже явлюсь.

Степан посмотрел на есаула... И все-таки не нашел бы он сейчас в себе желания убить его, даже если бы догнал и совладал безоружный с оружным, — не было желания. Странно, что не было, но так.

Фрол развернулся и поскакал прочь.

Степан пошел к своему молодому коню. Меринок виновато вскинул голову, скосил опасливый глаз, переступил ногами...

— Не бойся, дурашка, — ласково заговорил Степан. — Не бойся.

Почуяв доброе в голосе человека, конь остался стоять. Степан обнял его, поцеловал в лоб, в шею, в глаза, бесконечно добрые, терпеливые.

— Прости меня... Прости, ради Христа. — За что, Степан не знал, только хотелось у кого-нибудь просить прощения.

Конь дергал головой, стриг ушами.

— Прости!.. — сказал еще Степан.

Потом шли рядом — конь и человек. Голова к голове. Долго шли, медленно шли, точно выходили на берег из мутной, вязкой воды.

Солнце вставало над землей. Молодой светлый день шагал им навстречу, легко раскидывая по степи дорогие зеленые ковры.

5

Сразу, как Степан ускакал за Фролом, Кондрат разбудил Ивана Черноярца, и тот, плохо соображая, что к чему, не седлая коня, погнал вслед атаману. С ним увязалось еще десятка два казаков — те и подавно не знали, куда надо, зачем? Успели понять только: где-то в степи атаман. Один. Однако степь — большая: не нашли атамана. Вернулись.

Встретились недалеко от лагеря.

— Эк вас повскакало! — насмешливо воскликнул Степан. — На одного-то Фрола?

— Ушел, что ли? — спросил Иван.

— Ушел.

— А чего он приезжал-то?

— Письмо привез от Петра Дорошенки. Поехали вычтем... поганое письмо.

— Ты... уж читал, что ль? Как знаешь, что поганое?

— Я Петра знаю, не письмо. Петра самого знаю. Да другое Фрол бы и не привез. Он привез как раз такое... поганое... С коня я упал, Ваня, — неожиданно признался Степан. Им овладело какое-то странное хорошее чувство — легко сделалось на душе, легко, даже смешно было сказать, что — вот, такое дело: упал с коня. — Первый раз в жизни.

В шатре атамана сидел Стырь, вертел в руках письмо гетмана. Он не умел читать. Увидев атамана, поднялся навстречу ему с письмом.

— Слыхал, от Дорошенки... Как он там? К нам не склоняется?

Степан взял письмо, вчитался... Молча изодрал его, бросил на землю. Постоял, глядя вниз, вздохнул со стоном, горько и начал вдруг стегать плетью клочки письма. Стегал и скрипел зубами. Все молчали.

Степан отвел душу, прошел к лежаку, сел. Долго тоже молчал. Легкость враз ушла, точно опять в воду столкнули, в зеленую, вязкую, и он весь ухнул.

— Царем пужает Петро, — сказал он. — Ты хотел знать, Стырь, как там Петро Дорошенко?

— Я. Да всем охота...

— Вот, царем пужает. Зря, мол, поднялись — не надо... страшно, говорит. Не советует. Вот, знай, еслив охота.

— Напужал бабу... — заговорил было Стырь, но атаман сбил его, не дал говорить.

— Ой, храбрый какой!.. — Он прищурил глаз на деда. — Гляньте-ка на его — царя не боится! А я вот боюсь! Что?

— Ничего. Надо было дома сидеть, раз боисся. — Стырь не хотел видеть, что Степан накипает мутью, не хотел показать, что его страшит гнев атамана, — иногда это помогало остановить грозу.

— Вон как! — воскликнул Степан. — Ну, ну?

— А как же? Кто боится, тот остался да дома посиживает. Фрол вон... не поперся же с нами, потому как рассудил: лучше ее дома дождаться, чем на стороне искать...

Степан уставился на Стыря.

Василий Ус впервые воочию наблюдал «хворь» атамана Разина — начало ее. Ему было интересно. Он слышал об этой странности Стеньки еще раньше.

— Боюсь! — рявкнул Степан. — Вот и говорю: боюсь! Какой ишо выискался!.. Еслив ты не боисся, так и

все теперь не боись? И где ты вырос такой! Тебя никогда, что ли, не пужали маленького букой?

— Я б сам кого хошь напужал, — искренне сказал Стырь. — Страшненький был с малолетства, соплями исходил...

— Вот потому и спасенный ты человек от страха. А нас всех бабки глупые запужали с малых лет букой, мы и трясемся всю жизнь. И Петро вон пужает — гляди, мол! Сам, видно, тоже трясется... А царь — радешенек: боятся все! Сиди себе, побалтывай ножками. Ни заботушки... — Степан рывком вскочил с лежака, заходил туда-сюда по шатру. Широкое лицо его исказилось от боли и злости. — А чего?! Хэх!.. Дай вина, Иван! — почти крикнул. Остановился, ожидая, что будет — одолеет его злость или он одолеет ее. Он хотел одолеть, не хотел никуда убегать, кататься по земле... Он стиснул зубы и ждал. — Иван!.. — с мольбой проговорил он, не разжимая зубов. — За смертью посылать!.. Несут, что ль?

— Несут, несут.

Степан выпил при общем молчании... Сел опять на лежак. Дышал тяжело, смотрел вниз... Ждал. И все ждали. Похоже, он все-таки переломил себя — не будет по земле кататься. Он поднял голову, нашел глазами Матвея Иванова.

— Ты вот, Матвей, на царя зовешь... А ведь он крутенек, царь-то. Он вон в Коломенском лет пять назад сразу десять тыщ положил... москалей своих. Да потом ишо две тыщи колесовал и повесил. Малолеткам уши резал...

— Не всем, — встрял Матвей. — Поменьше которым — от двенадцати до четырнадцати годов — только по одному уху срезал. Зачем же напраслину возводишь?

— Ну, на то и милость царская! А ты на царя зовешь...

— Кого я на царя зову?! — воскликнул Матвей.

— Зовешь, не отпирайся. Нас с Родионычем подбиваешь. А война — дело худое, Матвей. Зачем же нас на грех толкаешь? Замордовали? Так царя попросить можно, а не ходить на его с войной. Тоже, додумался! Вот и пойдем просить. Скажем: бояры твои вконец замордовали мужика. Заступись. Хошь поглядеть, как мы просить будем?

— Как это? — не понял умный Матвей.

— А так. Я просить буду, а Стырь вон — царя из себя скорчит. Он умеет. Стырь!.. Валяй на престол, я ско-

ро приду с Дона просить тебя. Всех собери — пускай все глядят.

Стырь, большой охотник до всякого лицедейства, понял все с полуслова. Вышел из шатра.

— Выпьем на дорожку! — распорядился Степан. — Пойдем царя-батюшку просить. Вольности Дону пойдем просить... какие раньше были.

— С мужика начали, а вольности — Дону пойдем просить, — вставил опять Матвей. — Как же так?

— А вы — поглядите, поприкиньте сперва... Потом уж — охотка не пройдет — сами шлепайте. А мы будем просить, чтоб старшину нашу не покупал, она у нас вся продажная. Курва на курве сидит... Всем хорошо одеться! Все чтоб сняли, как бараньи лбы, — к царю идем! Эх и сходим же!..

Пошли одеваться в дорогие одежды. Противиться бесполезно. И опасно. Да и поглядеть интересно, как будут «просить царя». Черноярец скосоротился было, но промолчал, пошел тоже одеваться.

Стырь тем временем сооружал «престол». На этот раз он восседал на большой чумацкой арбе, устелив ее всю коврами и уставив кувшинами с вином. Весь лагерь собрался смотреть «прошение». Для «казаков с Дона» оставили неширокий проход; перед арбой — просторный круг.

Стырь, все приготовив, стал поглядывать в проход, проявляя суетливость и нетерпение.

— Казаков не видать?

— Нет пока.

— Чего они?.. Чухаются там! Пьют небось, кобели.

Но вот закричали:

— Казаки идут! Казаки идут!..

Стырь сел, скрестил по-татарски ноги. Подбоченился.

Разин шел впереди своей группы. Был он одет, как и все с ним «просители», — богато, глаза блестели жутковатым веселым блеском.

— С Дону? — вылетел первый с языком Стырь.

— Не прыгай! — велел Степан. — Он же — великий князь всея, всея... У его бабу патриарх благословил в мыленке, он и то важный остался. А ты прыгаешь, как блоха. — Разин положил свой пернач на землю. — Пришли мы к тебе, царь-батюшка, жалиться на бояр твоих, лиходеев! И просить тебя, оставь вольности Дону! Всегда так было! — Разин говорил громко — всем. — До тебя были вольности! А ты отбираешь!..

— Сиухи хошь? — спросил Стырь. — С дороги-то...
— Я воли прошу, а не сиухи!
— Какой тебе воли?! — вскинулся Стырь. — А хрен в зубы не надо? Воли он захотел!..
— Как же нам без воли?
— Какой тебе воли надо?
— Не вели мужиков имать да вертать с Дону опять поместникам...
— Хрен! — Стырь все торопился, все суетился и не хотел даже смотреть на казаков.
— Дай сказать-то! — обозлился Степан. — Да на меня гляди-то, на меня. Что ты, как коза брянская, все вверх смотришь? На меня!
— Ну.
— Не помыкай нами, еслив хлеб на Дон посылаешь...
— Так.
— Тюрем настроил, курва! Как чуть чего — так в тюрьму!
— Как ты сказал? Курва?
Степан упал на колени.
— Прости, князь великий! Вылетело...
— Срежу язык-то! Вылетело. Какие ишо жалобы на бояров?
— Пошто на одном месте пригвоздить хочешь мужика? — спросил Матвей Иванов. — Был хоть выход.
— Плетей! — велел Стырь, показав на Матвея.
«Приближенные царя» схватили Матвея и раза три всерьез жогнули плетью.
— Какие жалобы, казак? — повернулся Стырь опять к Степану. Степан все стоял перед ним на карачках, покорно ждал.
— Пошто — как войне быть на Дону или миру — мы не вольны сами решить? Мы хочем решать сами, как нам любо, а как нет.
Стырь молчал; он не знал, как огорошить с войной.
— Нас на войну шлешь!.. — закричал с колен Разин. — Сам затеваешь, а нас шлешь! Куда хочешь, туда и шлешь, мы не смей пикнуть! Мы не слуги тебе! Не стрельцы!.. Курва ты великая, а не князь великий! — Степан поднялся в рост.
— Плетей! — тоже заорал Стырь. И тоже вскочил.
«Приближенные» бросились к Разину...
— Стой! — остановил их Стырь. И полез с арбы. — Я прокачусь на ем. На Дону, говорят, жеребцы славные — спробую.

Степан смиренно опустился опять на четвереньки.

— Седло! — распоряжался Стырь. — А то я ишо свою царскую собью...

На Разина накинули седло. Он молчал. Стырь сел на него.

— Ну-ка, прокати царя!..

— Куда, великий? Куда, князь всея, всея?..

— За волей... Где она? Я сам не знаю...

Разин громко заржал и поскакал по кругу.

— Э-эх! — орал Стырь. — За волей казакам поехали! Их-ха!

Степан опять заржал, да громко, умело.

— Ну, как воля, казак? Узнал волю?

— Нет ишо. — Степан остановился. — Слазь.

— Я ишо хочу...

— Слазь!

Стырь слез.

Степан опять упал на колени.

— Спасибо, царь-государь, теперь узнали мы до конца твою волю. Спасибо! Спасибо! Спасибо! — Степан трижды стукнулся лбом об землю. — Теперь отпусти нас на Дон — погуляем мы за твою волюшку. Отпускай нас.

— Отпускаю. Меня возьмите с собой на Дон — я тоже погуляю с вами.

— Шип! Гуляй, братцы! Царь показал, какая будет его воля! Запивай ее, чтоб с души не воротило!..

И загуляли нешуточно. Весь день «запивали волю цареву», усердствовали. Усердствовал и сам атаман. Пил, обнимал Семку Резаного, Матвея Иванова, плакал... Потом свалился и уснул.

— Ну, хоть так, — сказал Иван Черноярец. — Выспится хоть... Бери за руки, за ноги — унесем спать. Кончай гульбу! Федор, Ларька, кто там?.. Вали по рядам, бейте кувшины. Батька велел, мол!

Матвей Иванов, когда Степана раздели и уложили на лежак, остановился над ним, долго всматривался в бледное рябое лицо атамана.

— Вот вам и грозный атаман! Весь вышел. Эх, дите ты, дите... И нагневался, и наигрался, и напился — все сразу.

— Ты, на всякий случай, не лезь-ка ему под горячую руку, этому дитю, — посоветовал Иван. — А то она у него... скорая: глазом не успеешь моргнуть.

— Может, — согласился Матвей. И пошел из шат-

ра. — Пойтить другого заступника поискать... Тоже где-нибудь землю бодает.

— Кого это? — спросил Черноярец.

— Василья Родионыча мово.

6

К Волге вышли глядя на ночь. (В версте выше Царицына.)

Начали спускать на воду струги и лодки. Удобное место спуска указал бежавший из Царицына посадский человек Степан Дружинкин. Он же советовал атаманам, Разину и Усу:

— Вы теперича так: один кто-нибудь рекой пусть сплывет, другой — конями, берегом... И потихоньку и окружите город-то. Утром они проснутся, голубки, а они окруженные, ххэх... — Дружинкин не мог скрыть радости, охватившей его. — Стены, вороты — они, конечно, крепкие. Да надолго ли! Кто их держать-то шибко будет?..

— Воеводой кто сидит? — спросил Степан. — Андрей?

— Тимофей Тургенев. На своих стрельцов, какие в городе, у его надежа плохая, он сверху других ждет. Да когда они будут-то! Они пока без признака...

— Много ждет?

— С тыщу, говорят. С Иваном Лопатиным идут. Надо бы, конечно, до их в городок-то войтить. Ах, славно было бы, Степан ты наш Тимофеич, надежа ты наша!.. Отмстились бы мы тада!..

— Родионыч, поплывешь со стругами, — велел Степан. — Я с конными и с пешими. Шуму никакого не делай. Придешь, станешь, пошли мне сказать.

— Ладно, — сказал Ус. И пошел к месту, где сволакивали на воду струги. Все же тяготило его подначальное положение, не привык он так. Однако — терпел.

Когда стало совсем темно, двинулись без шума к Царицыну водой и сушей.

Утром, проснувшись, царицынцы действительно обнаружили, что они надежно окружены с суши и с воды.

Воевода Тимофей Тургенев и с ним человек десять стрельцов (голова и сотники, да прислуга, да племянник, да несколько человек жильцов) смотрели с городской деревянной стены, как располагается вдоль стен лагерь Разина.

— Сколь так на глаз? — спросил воевода у головы.

— Тыщ с семь, а то и боле.

Воевода вздохнул.

— Неделю не продержимся... Пропали наши головушки!

В городе гудел набат.

Степан, Ус, Федька Шелудяк, Сукнин, Черноярец, Ларька Тимофеев, Фрол Разин, Матвей Иванов — эти внизу тоже оценивали обстановку.

— Ну? — спросил Степан. — Какие думы, атаманы?

— Брать, — сказал Шелудяк, — чего на его любоваться-то.

— Брать?.. Брать-то брать, а как?

— Приступом! Навяжем лестниц, дождем ночки — и с Исусом Христом!..

— Исус что, мастак города брать? — спросил Ус.

— А как же! Он наверху — ему все видать, — отрезал занозистый Шелудяк.

— Хватит зубатиться, — оборвал Степан. — Родионыч, Иван, какие думы?

— Подождать пока, — сказал Иван Черноярец. — Надо как-нибудь в сговор с жильцами войтить.

— Умное слово, — поддержал Матвей Иванов. — Стены стенами, да ведь и их оборонять надобно. А есть ли у их там такая охота? Оборонять-то. А и есть, так...

Подъехал казак, доложил:

— Царицынцы, пятеро, желают Степана Тимофеича видать.

— Давай их.

Подошли пять человек посадских с Царицына.

— Как же вышли? — спросил Степан.

— А мы до вас ишо... Вчерась днем, вроде рыбачить уплыли, да и остались... Нас Стенька Дружинкин упредил. Поговорить к тебе пришли, атаман.

— Ну, давайте.

Стырь с оравой зубоскалов переругивался с царицынскими стрельцами. Те скучились на стене, подальше от начальных людей, с большим интересом разглядывали разинцев.

— Что, мясники, тоскливо небось торчать там? Хошь, загадку загадаю? — спросил Стырь. — Отгадаешь, будешь умница.

— Загадай, старый, загадай, — откликнулись со стены.

Сидит утка на плоту,
Хвалится казаку:
Никто мимо меня не пройдет;
Ни царь, ни царица,
Ни красная девица!

— Отгадаешь, свою судьбу узнаешь.
— То, дед, не загадка. Вот я тебе загадаю:

Идут лесом,
Поют куролесом,
Несут деревянный пирог
С мясом.

— Стрельца несут хоронить! — отгадал Стырь.
Казаки заржали.
Стырь разохотился:
— А вот — отгадай. Отгадаешь, узнаешь мою тайную про тебя думу.

Поймал я коровку
В темных лесах;
Повел я коровку
Нимо Лобково,
Нимо Бровкова,
Нимо Глазкова,
Нимо Носкова,
Нимо Щечкова,
Нимо Ушкова,
Нимо Роткова,
Нимо Губкова,
Нимо Ускова,
Нимо Бородкова,
Нимо Шейкова,
Нимо Грудкова,
Нимо Ручкова,
Нимо Плечикова;
Привел я коровку
На Ноготково,
Тут я коровку-то
И убил.

Кто будет?

— Скажите в городе, — наказывал Степан пятерым царицынцам, — войско, какое сверху ждут, идет, чтоб всех царицынцев изрубить. А я пришел, чтоб отстоять

город. Воевода ваш — изменник, он сговорился со стрельцами... Она боится, что вы ко мне шатнетесь, и хочет вас всех истребить, для того и стрельцов ждет: у их тайный уговор, мы от их гонца перехватили с письмом.

Пятеро поклонились.

— Передадим, батюшка, все как есть. И про воеводу скажем.

— Скажите. Пусть дураками не будут. Не меня надо бояться, а воеводу. Чего меня-то бояться? Я — свой... чего я сделаю?

Пятеро ушли.

Степан позвал Уса:

— Родионыч!..

Ус подошел.

— Останисся здесь. Стой, зря не рыпайся. Я поеду едисан тряхну. За ими должок один есть... И скота пригоню: можа, долго стоять доведется, жрать нечего. Гулять не давай. Не прохлаждайтесь. Караул все время держи. Иван, Федька Шелудяк со мной поедут. А в городе, смотри, чтоб не знали, что я отъехал. Караул держи строго.

— Не долго там.

— Скоро. Они в один перегон отсюда, я знаю где.

Ночью Степан во главе отряда человек в триста, конные, тихо отбыл в направлении большого стойбища едисанских татар. Должок не должок — у атамана с ними дела давние, — а жрать скоро нечего, правда; надо думать об этом.

На другое утро в лагерь к Усу явилась делегация от жителей города. Двое из тех, что вчера были. Всех — девять человек.

— Батька-атаман, вели выходить из города воду брать. У нас детишки там... Какой запаслись, вышла, а они просют. Скотина ревет голодная, пастись надо выгонять...

— А чего ко мне-то пришли? — спросил Ус.

— К кому же больше?

— А как вышли?

— Воевода выпустил под залог — у нас там детишки... А выпустил, чтоб с тобой уговориться — по воду ходить. Детишки там, батька-атаман.

— Скажите воеводе, чтоб отпер город. А заартачится, возьмите да сами замки сбейте. Мы вам худа не сделаем.

— Не велит, поди. Воевода-то...

— А вы — колом его по башке, он сговорчивый станет. С воеводами только так и надо разговаривать — они тада все враз понимают.

— Мы уж и то кумекаем там... По совести, для того и пришли-то — разузнать хорошенько, — признался старший. — Вы уж не подведите тада. Мы так слушок пустили: стрельцы-то, мол, на нас идут, ну — задумались... Вы уж тоже тут не оплошайте...

— Идите и делайте свое дело. Мы свое сделаем.

— Народишко-то, по правде сказать, к вам приклониться желает. А чего ж Степана Тимофеевича не видать? Где он?

— Он на стружках, — ответил Федор Сукнин.

Жители ушли, еще попросив напоследок, что «вы уж тут... это...».

— Всех есаулов ко мне! — распорядился Ус. — Быть наготове. Начинайте шевелиться — вроде готовимся к приступу: пусть они стрельцов своих на стены загонют. Пусть сами тоже суда глядят, а не назад. Двигайте пушки, заряжайтесь... Шевелись, ребятушки! Глядишь, даром городок возьмем!

Задвигался лагерь. Пошли орать бестолково и двигаться и с тревогой смотрели на стену. Таскали туда-сюда пушки, махали прапорами... И с надеждой смотрели на стену и на въезжие ворота. На стене ладились к бою стрельцы.

Ждал Ус с есаулами: они стояли возле коней, чуть в стороне от угрожающего гвалта. Василий Родионыч то ли вздыхал тихо, то ли тихо матерился, глядя на тяжелые въезжие ворота.

Долго ждали.

Вдруг за воротами возникла возня, послышались крики... Дважды или трижды выстрелили. Потом зазвучали тяжкие лязгающие удары железа по железу — похоже, сбивали кувалдой замки. Шум и крики за стеной усилились; выстрелы — далеко и близко — захлопали чаще. Но кувалда била и била в затворы.

Казаки с воем бросились к воротам. Перед носом у них ворота распахнулись...

Казаки ворвались в город.

Царицынцы встречали казаков, как братьев, обнимались, чмокались, тут же зазывали в гости. Помнили еще то гостеванье казаков, осеннее. Тогда поглянулось — хорошо погуляли, походили по улицам вольно, гордо... Люди это долго помнят.

Казачье войско прогрянуло по главной улице города и растекалось теперь по переулкам... Кое-где в домах уже вскрикивал и смеялся Праздник.

Ус сидел в приказной избе, распоряжался, перетряхивал судьбы горожан и служивых людей.

Ему доложили:

— Воевода с племянником, прислуга его, трое жильцов да восемь стрельцов заперлись в башне городской стены.

— Стеречь их там дороже глаз, — велел Ус. — Скоро пойдем к им.

— Поп до тебя, Василий Родионыч, — снова вошел в избу казак.

— Чего ему? — удивился Ус.

— Не сказывает. Атаману, говорит, скажу.

— Давай.

В избу вошел тот самый поп, у которого Степан грозился в храме отрезать космы. Вошел — широкий, гулкий.

— Как зовут? — спросил Ус. — Чего ты до меня?

— Где же атаман-то? — громыхнул поп, как в бочку.

— Я атаман. Что, оглазел? — обиделся Ус.

— Ты, можа, и атаман, только мне надобно наиглавного, Разю, — высокомерно сказал поп.

— Зачем?

— Хочу послужить православному воинству во славу свободного Исуса Христа.

— Молодец! — сердечно похвалил его Ус. — Поп, а смикитил. Как зовут?

— Авраам. А ты кто?

— Ктокало, — ответил Ус со смехом. — Пойдем пить.

7

Вылазка Разина к едисанским татарам была успешной.

Назад казаки гнали перед собой вскачь огромное стадо коров, овец, малолеток лошадей.

Рев и гул разносился далеко вокруг. Казаки орали... Очумелые от бешеной гонки животные шарахались в стороны, кидались на всадников. Свистели бичи. Клубилась пыль.

Степан с Федькой и с Иваном ехали несколько в стороне. Запыленные — ни глаз, ни рожи.

К ним подскакали нарочные из Царицына... Что-то

сказали Степану. Тот радостно сверкнул зубами и во весь опор понесся вперед, к Царицыну. За ним увязался Федька Шелудяк. Иван Черноярец остался с табуном.

Ликующий, праздничный звон колоколов всех церквей города оглушил Разина. Это случилось как-то само собой — высыпали встречать атамана.

Народ и казаки стояли вдоль улицы, которой он шел. Стояли без шапок; ближние кланялись в пояс.

Навстречу атаману от приказной избы двинулась толпа горожан — с хлебом-солью. Во главе — отец Авраам.

Степан, хоть весь был грязный, шел степенно, гордо глядя перед собой: первый царев город на его мятежном пути стал на колени. Славно!

Отец Авраам низко поклонился.

— Здорово, отче! — узнал его Степан. — Как Микола поживает? Ах, мерин ты, мерин... — Степан засмеялся. — Ишь, важный какой!..

Поп, видно, заготовил что сказать, но сбился от таких неуместных слов атамана. Обозлился.

— Поживает... Ты чего зубы-то скалишь?

— Где воевода? — спросил Степан.

Степану поднесли в это время хлеб-соль. На каравае стояла чара с водкой, солонка. Он выпил чару, крякнул, отломил от каравая, обмакнул в солонку, заел. Вытер ладошкой усы и бороду.

— Где воевода? — опять спросил он.

— В башне заперся.

— Много с им?

— С двадцать.

— А Васька где?.. Я не вижу его.

— Васька... — Ларька Тимофеев показал рукой: — До сшибачки. — И еще он сказал весело: — Стрельцы поклали оружье. Мы их пока всех в церкву заперли.

— Пошли воеводу брать, — распорядился Степан. — Нечего ему там сидеть, его место в Волге, а не в башне. Все бы в башнях-то отсиживались! Хитрый Митрий.

Двинулись к городской стене, к башне, где закрылся воевода со своими людьми.

Появилось откуда-то бревно. С ходу ударили тем бревном в тяжелую дверь... Сверху, из бойниц башни, засверкали огоньки, затрещали ружья и пистоли. Несколько человек упало, остальные, бросив бревно, отбежали назад.

— Неси ишо бревно! — приказал Степан. — Делайте крышку.

Приволокли большое бревно и стали сооружать над ним — на стойках — двускатный навес (крышку) из толстых плах. Крышку потом обили потниками (войлоком) в несколько рядов, потники хорошо смочили водой. Таран был готов.

— Изменники государевы!.. — кричали из башни. — Он ведь узнает, государь-то, все узнает! Мы послали к царю-то, послали!

— Это вы изменники! —кричали осаждающие царицынцы. — Государь на то вас поставил, чтоб нас мучить? Царь-то за нас душой изболел, батюшка. Ему самому, сердешному, от вас житья нету! Марью Ильинишну извели, голубушку! Царевичей извели!.. От такие же вот живоглоты. — Тургенев был прислан из Москвы недавно, но успел опротиветь царицынцам.

— Все на колу будете! — кричали осажденные. — С ворами вместе! Бога побойтесь, бога!..

— Кого послушали?! Стеньку, первого вора и разбойника! — крикнул сам воевода Тургенев. — Одумайтесь, вам говорят!

Степан смотрел на башню, щурился. Ему поднесли еще чару. Он выпил, бросил чару, засучил рукава. Глянул на башню... Махнул рукой, подскочил к бревну...

Таран подняли, разбежались, ударили в ворота. Кованая дверь погнулась. Еще ударили, еще...

Сверху стреляли, бросали смоляные факелы, но осаждающих надежно прикрывал навес. Бревном били и били.

Дверь раз за разом подавалсь больше. И наконец совсем слетела с петель и рухнула внутрь башни. Федька Шелудяк с Ларькой Тимофеевым ворвались туда, за ними остальные.

Короткая стрельба, крики, возня... И все кончено. Успокоились.

Воеводу с племянником, приказных, жильцов и верных стрельцов вывели из башни. Подвели всех к Степану.

— Ты кричал «вор»? — спросил Степан.

Тимофей Тургенев гордо и зло приосанился.

— Я с тобой, разбойником, говорить не желаю! А вы изменники!.. — крикнул он, обращаясь к стрельцам и горожанам. — Куда смотрите?! К вору склонились!.. Он дурачит вас, этот ваш батюшка. Вот ему, в мерзкую его рожу! — Тимофей плюнул в атамана. Плевок угодил на полу атаманова кафтана. Воеводу сшибли с ног и при-

нялись бить. Степан подошел к нему, подставил полу с плевком. Он был бледный и говорил тихо:

— Слизывай языком.

Воевода еще плюнул.

Степан пнул его в лицо. Но бить другим не дал. Постоял, жуткий, над поверженным воеводой... Наступил сапогом ему на лицо — больше не знал, как унять гнев. Вынул саблю... но раздумал. Сказал осевшим голосом:

— В воду. Всех!

Воеводу подняли. Он плохо держался на ногах. Его поддержали.

Накинули каждому петлю на шею и потянули к Волге.

— Бегом! — крикнул Степан. Чуть пробежал вслед понурому шествию и остановился. Саблю еще держал в руке. — Бего-ом!

Приговоренных стали подкалывать сзади пиками. Они побежали. И так скрылись в улице за народом. Народ молча смотрел на все. Да, видно, Тимофей Тургенев за свое короткое воеводство успел насолить царицынцам. Вообще поняли люди: отныне будет так — бить будут бояр. Знать, это царю так угодно. Иначе даже и сам Стенька Разин не решился бы на такое.

Только один нашелся из всех — с жалостью и смелостью: отец Авраам.

— Батька-атаман, — сказал отец Авраам, — не велел бы мальчонку-то топить. Малой.

— Не твое дело, поп. Молчи, — сказал Степан.

Подошел Матвей Иванов. Тоже:

— А правда, Степан Тимофеич... Парнишку-то не надо бы...

— Молчи, — и ему велел Степан. — Где Родионыч?

— Дрыхнет Родионыч, где...

— Смотри лучше за атаманом своим. Зачем много пить дал?! Я не велел.

— А то вы послушаете! — горько воскликнул Матвей. — Не велел... А он взял да велел!

— Пошли гумаги приказные драть, — позвал Степан всех.

— Ох, Степан, Степан... Атаман! — дрогнувшим голосом вскрикнул вдруг Матвей. — Послушай меня, милый...

— Ну? — резко обернулся Степан. И нахмурился.

— Отпусти мальца. Христом-богом молю, отпусти. — У Матвея в ясных серых глазах стояли слезы. — Отпусти невинную душу!..

Степан так же резко отвернулся и ушагал к приказной избе. За ним — его окружение.

Воеводу и всех, кто был с ним, загнали в воду, кого по грудь, кого по пояс — кололи пиками. Два казака так всадили свои пики, что не могли вытащить, дергали, ругались.

— Ты глянь! — как в чурбак какой...

— И эта завязла. Тьфу!..

Тела убитых сносило водой. Две пики так и остались торчать — бросили их. Некоторое время пики еще плыли стоймя. Чуть покачивались. И уходили все глубже. Потом исчезли под водой вовсе.

С берега на страшную эту картину смотрели потрясенные царицынцы. Многих, наверно, подавила, оглушила жестокая расправа. Молчали. Неужели же царь велел так? Что же будет?

...На площадь, перед приказной избой, сносили деловые бумаги приказа, сваливали в кучу. Образовался большой ворох.

— Все? — спросил Степан.

— Все.

— Поджигай.

Казак склонился к бумагам, высек кресалом огонь, поболтал трутом, чтоб он занялся огнем... И поднес жадный огонек к бумагам.

Скоро на площади горел большой веселый костер.

Степан задумчиво смотрел на огонь.

— Волга закрыта, — сказал он, ни к кому не обращаясь, раздумчиво. — Ключ в кармане... Куда сундук девать?

— Чего? — спросил Фролка, брат.

Степан не ответил.

8

— Волга закрыта, — сказал Степан. — Две дороги теперь: вверх и вниз. Думайте. Не торопитесь, крепко думайте.

Сидели в приказной избе. Вся «головка» разинского войска, и еще прибавились Пронька Шумливый, донской казак, да «воронежский сын боярский» Ивашка Кузьмин.

— Как ни решим, — чтоб не забыть потом: город укрепить надежно, — добавил Степан. — Вверх ли, вниз ли пойдем, — он теперь наш. Своих людишек посадим — править.

— Ийтить надо вверх, — сказал Ус.

На него посмотрели — ждали, что он объяснит, почему вверх. А он молчал, спокойно, несколько снисходительно смотрел на всех.

— Ты чего это с двух раз говорить принимаисся? — спросил Степан. — Пошто вверх, растолкуй.

— А пошто вниз? Тебя опять в шахову область тянет? — сразу почему-то ощетинился Ус.

— Пошел ты к курвиной матери с шахом вместе! — обозлился Степан. — Не проспался, так иди проспись.

— А на кой вниз? — не сдавался Ус. То ли он на ссору напрашивался. — Чего там делать?

— Там Астрахань!.. Ты к чужой жене ходил когда-нибудь?

— Случалось... Помоложе был, кобелил. — Ус коротко хохотнул.

— А не случалось так: ты к ей, а сзади — муж с топором? Нет? — Степан внимательно смотрел в глаза атамана, хотел понять: всерьез тот хочет ссоры или так кобенится?

— Так — нет; живой пока.

— Так будет, еслив мы Астрахань за спиной оставим.

— Ты-то вниз, что ли, наметил?

— Я не говорил. Я думаю. И вы тоже думайте. А то я один за всех отдувайся!.. — Степан опять вдруг чего-то разозлился. — Я б тоже так-то: помахал саблей да — гулять. Милое дело! Нет, орелики, думать будете! — Степан крепко постучал согнутым указательным пальцем. — Тут вам не шахова область, это правда. Я слухаю. Но инно раз говорю вам: думайте башкой, а то нам их тут скоро снесут, еслив думать не будем.

— Слава те господи, — с искренней радостью молвил Матвей Иванов, — умные слова слышу.

Все повернулись к нему.

— Ну, Степан Тимофеевич, тада уж скажу, раз велишь: только это про твою дурость будет...

Степан сощурился и даже рот приоткрыл.

— Атаманы-казаки, — несколько торжественно начал Матвей, — поднялись мы на святое дело: ослобождать от бояров Русь. Славушка про тебя, Степан, бежит добрая. Заступник ты народу. Зачем же ты злости своей укорот не делаешь? Чем виноватый парнишка давеча, что ты его тоже в воду посадил? А воеводу бил!.. На тебя же глядеть страшно было, а тебя любить надо.

— Он харкнул на меня!

— И — хорошо, и ладно. А ты этот харчок-то возьми да покажи всем: вот, мол, они, воеводушки: так уж привыкли плевать на нас, что и перед смертью утерпеть не может — надо харкнуть. Его тада сам народ разорвет. Ему, народу-то, тоже за тебя заступиться охота. А ты не дашь, все сам: ты и суд, ты и расправа. Это и есть твоя дурость, про какую я хотел сказать.

— Лапоть, — презрительно сказал Степан. — А ишо жалисся, что вас притесняют, жен ваших уводют. Да у тебя не только жену уведут, а самого... такого-то...

— Ну вот... А велишь говорить. А чуть не по тебе — так и лапоть. А все же послушай, атаман, послушай. Не все сапогу ходить по суху...

— Я не про то спрашивал. Черт тебя!.. Чего он молотит тут? — Степан поглядел на всех, словно ища поддержки. И к Матвею: — Я рази про то спрашивал?

— Так ведь еслив думать, то без спросу надо. Как есть...

— Ты, Матвей, самый тут умный, я погляжу. Все не так, все не по тебе, — заметил Ларька Тимофеев, и в глазах его замерцал ясный голубой свет вражды.

— Прямо деваться некуда от его ума да советов! — поддержал Ларьку Федор Сукнин. — Как скажет-скажет, так хоть с глаз долой уходи...

— Да ведь это про нас, про рязанских, сказано: для поговорки до Москвы шел, — отшутился Матвей. И посерьезнел. — Я што хочу сказать, Степан Тимофеич: ты ладно сказал — «думайте», а сам-то, сам-то не думаешь! Как тебя сгребет за кишки, так ты кидаисся куда попало.

Степан как будто только этих слов его и ждал: уставился на Матвея... С трудом разлепил губы, сведенные злой судорогой.

— Ну, на такую-то бойкую вшу у нас ноготь найдется, — сказал он и потянул из-за пояса пистоль. — Раз уж все мы такие дурные тут, так и спрос с нас такой же...

Ус, как и все, впрочем, обнаружил возможную скорую беду тогда только, когда Степан поднял над столом руку с пистолем... Ус, при своей кажущейся неуклюжести, стремительно привстал и ударил по руке с пистолем снизу. Грохнул выстрел: пуля угодила в иконостас, в икону Божьей Матери. В лицо ей.

Матвея выдернули из-за стола, толкнули к дверям...

Степан выхватил нож, коротко, резко взмахнул ру-

кой... Нож пролетел через всю избу и всадился глубоко в дверь — Матвей успел захлопнуть ее за собой.

Степан повернулся к Усу... Тот раньше еще положил руку на пистоль.

Долго смотрели друг на друга.

В избе все молчали, и такая это была тягостная тишина, мучительная.

Степан смотрел не страшно, не угрожающе, скорей — пытливо, вопросительно.

Ус ждал. Тоже довольно спокойно, мирно.

— Еслив вы счас подымете руки друг на дружку, я выйду и скажу казакам, что никакого похода не будет: атаманы их обманули, — сказал Иван Черноярец. — Вот. Думайте тоже, пока есть время.

Степан первый отвернулся...

Некоторое время еще молчал, словно вспоминая что-то, потом спросил Ивана спокойно:

— С чего ты взял, что мы руки друг на дружку подымем?

— К слову пришлось... Чтоб худа не вышло.

— Я слухаю вас. Куда ийтить? — спросил всех Степан.

— Вверх, — твердо сказал Ларька.

— Пошто? — пытал Степан.

— Вниз пойдем, у нас, один черт, за спиной тот самый муж с топором окажется — стрельцы-то где-то в дороге. Идут.

— И в Астрахани стрельцы.

— В Астрахани нас знают. Там Иван Красулин. Там посадские — все за нас... Оттуда с топором не нагрянут.

— Мы ишо про этих ничего не знаем, — заспорил с Ларькой Сукнин. — Можеть, и эти к нам склонются, верхние-то, с Лопатиным-то.

Разговор пошел вяло, принужденно. Казаков теперь, когда беда прошумела мимо, занимала... простреленная Божья Мать. Нет-нет да оглядывались на нее. Чудилось в этом какое-то недоброе знамение. Это томило хуже беды.

Степан понял настроение казаков. Но пока молчал. Ему интересно стало: одолеют сами казаки этот страх за спиной или он их будет гнуть и не освободит. Он слушал.

— Худо, что мы про их не знаем, худо, что и они про нас тоже не знают. А идут-то они из Москвы да из Ка-

зани вон. А там про нас доброе слово не скажут, — говорил Иван.

— Где-нигде, а столкнуться доведется, — настаивал Ларька; он один не обращал внимания на простреленную икону.

— Оно — так... — нехотя согласился Федор Сукнин.

— Так-то оно так, — вздохнул Стырь — так, чтоб только что-нибудь вякнуть. — Не везде только надо самим на рога переть. А то оно... это... к добру тоже не приведет.

— Вниз пойдем, у нас войско прирастет, вверх — не ручаюсь, — подал голос Прон Шумливый, казак, выученный разинцами из царицынской тюрьмы — сидел там за воровство.

— Оно — так... — сказал опять Черноярец.

— Сдохли! — воскликнул огорченный атаман. И передразнил есаулов: «Оно — так», «Оно — та-ак». Помолчал и, повернувшись, заговорил спокойней: — Мой это грех — я стре́лил. Я же не метил в лоб ей, нечаянно вышло... Что же теперь — и будем сидеть, как сычи? Закоптелыша прострелил!.. — Голос Степана окреп. — А как звонить начнут на всю Русь — проклинать? Куда побежите? Эх, други мои, советники... — Степан оглядел «советников», вздохнул: то ли правда никто из них не внушал ему счастливой веры, то ли притворился, что одни только горькие и опасные думы пришли вдруг ему в голову, когда он внимательно посмотрел на сподвижников своих.

— Непривычно, Степан, оттого и... боязно, — захотел объяснить Иван Черноярец свое и других состояние. — Не каждый же день ты их простреливаешь, эти... закоптелыши.

— Ты куда собрался, Иван? — перебил в нетерпении атаман. — Куда пошел?

Иван в простодушии не понял вопроса. Молчал. Смотрел на Степана. И Степан смотрел на него. Ждал. Очень хотелось ему, чтоб Иван сказал: «На Русь пошел, на бояр», и тогда бы Степан на это ахнул бы чем-то сильным, веским — он, видно, заготовил че́м.

— А?

— Не пойму тебя, — признался Иван. — Никуда пока не пошел, сидим вот гадаем — куда.

— На бояр, батька! — выскочил сообразительный Стырь. Он сидел в углу, как раз под простреленной Божьей Матерью. — На Русь!

— А-а! Вон вы куда!.. — с готовностью повернулся к нему Степан. — А что же там, на Руси-то, нехристи?

— Крещеные, как же...

— Так какого ж вы дьявола? Нечаянно прострелил икону, у их уж коленки затряслись. А еслив они, бояры-то, возьмут да крестный ход перед нашим войском учинят? А они учинят — бог-то ихный. Возьмут да с иконами вперед вышлют? Что же мы?..

— Как это — бог ихный? — не понял Стырь.

— А чей? Твой, что ли?

— Наш тоже... Исус-то.

— Бог-то, он, можеть, и наш, да попы — ихные. А за кого попы, за того и бог. А то ты не знаешь, старый человек! Не насмотрелся за свою жизнь?.. Вот я и спрашиваю: возьмут они и выйдут встречь нам с иконами? Как тада?

Есаулы молчали. Положение, в какое поставил атаман казачье войско, нелегкое. Непонятно, как тогда? Не было вроде такого. Что-то не помнили казаки, чтобы когда-нибудь...

— Не было так никогда, — сказал Иван.

— Не было? — ожесточился Степан. — Будет! Это легко сделать, это не воевать. Вот — вынесли. Как мы тада, я спрашиваю? Ну?

— Давайте дело говорить! — уклонился было Ларька Тимофеев. — Про иконы какие-то затеяли...

— Это — дело! — сердито сказал Степан. И кулаком пристукнул в столешницу. — Я спрашиваю: как быть, еслив бояры и попы...

— А кто нас ведет?! — тоже вдруг обозлился Ларька. — Стенька Разин, я слыхал? Вот я и спрашиваю Стеньку: как нам тада быть, Стенька?

— Ты не вали все на меня. Я вас спрашиваю! И велю отвечать: как быть?

Вдруг дверь отворилась, и вошел Матвей Иванов.

Все оглянулись... Опешили: никто не ждал такого.

Матвей с необъяснимой смелостью прямо шел к столу и смотрел на атамана. Как-то даже насмешливо смотрел.

— Загадки загадываешь, атаман, а ответ не знаешь. А заговорил ты про самое главное... Вот слушайте, как быть. — Матвей серьезно оглядел всех. С особенным значением поглядел на атамана. Вообще, кажется, Матвею нравилось учить. Так нравилось, что он страх забыл. — Тут вас, казаки-атаманы, могут легко поймать. Вышлют

на вас баб, да стариков, да мужиков глупых с иконами... Да и даже пусть не вышлют, а наперед накликают на вас хулу божью: и выйдет, что вы — враги человеческие, а ведет вас сам сатана под видом Стеньки Разина... А идете вы — всех бить и резать. Вот где беда-то! Тут вам и конец. С войском воевать можно, войско можно одолеть, народа не одолеешь. Татарин — не этот татарин, а тот, старинный, — он посильней вас был, а застрял: с народом пошла война. Гиблое дело.

— Какой же ответ? На загадку-то... Ты знаешь? — спросил Стырь, крайне заинтересованный.

— Знаю. Оттого и зашел... Можеть, батька и убьет меня после, но уж не подсказать вам — это будет мой грех. Скажу, потом делайте как знаете. Ответ такой, казаки-атаманы: надо вам вперед попов и бояр рассказать мужику: идете вы делать божье дело. Как Христос учил? Скорей верблюд пролезет в игольное ушко, чем богатый попадет в рай. Вот весь и сказ: поднялись на богатых, а бедных идем заслонить от притеснителев... Вот. Нас, мол, можеть, сам господь бог послал.

— Это мы без тебя знаем, как говорить, — сказал Ларька ехидно. — Монах нашелся...

— Вы знаете, надо, чтоб мужик тоже знал. Вот это я и хотел сказать.

— Все? — спросил Степан, странно глядя на Матвея, не то удивляясь на этого человека, не то любуясь весело.

— Все. Запомните, что сказал. А то вам плохо будет.

— Спаси бог! Как можно не запомнить... Теперь я сделаю, чего не сумел давеча. — Страшно сдвинув брови, Степан потянул из-за пояса пистоль... Ус мгновенно развернулся и ногой загреб табурет под Степаном. Табурет вылетел; Степан упал. И, сидя на полу, направил пистоль на Уса...

Ус побелел. Но ни один мускул не дрогнул на его добром лице. Он смотрел на Степана. Выхватить свой пистоль он все равно не успел бы... И он ждал. На его могучей изрезанной морщинами шее вспухала толчками толстая, синевато-багровая жила, точно вскрикивала о жизни.

Степан поднялся... Сунул пистоль за пояс.

— Там же пули нет, — сказал неохотно. — Уставились... Поиграть нельзя с дураками. — Видно, ему самому противной стала эта «игра» — надоело: все утро сегодня он то и дело хватается и хватается за пистоль. Сам как

дурак сделался. — Поплыли дальше. — Степан поднял табурет, сел, поглядел на дверь...

Матвея в приказной избе уже не было. И никто о нем больше не напомнил, не сказал ничего. Утро какое-то кособокое вышло; утро-то какое — победное, а все чем-то да омрачается.

— Дальше так дальше, — беспечным голосом сказал Ларька.

— Куда плывем-то?

— Только одно хочу вам сказать, и запомните: все, что тут счас сказал Матвей, — это истинная правда. — Степан помолчал, чтоб как следует вникли в его слова. — Мне только обидно, казаки-атаманы, что мужицкая голова оказалась умней... ваших. — Не сказал «наших», сказал — «ваших». — А я от вас добивался... Это наука вам. — Степан подумал и все-таки добавил: — И мне тоже. Давайте корень копать... Ишо один наказ: мы на войне, ребятушки, и нечего кажный раз по сторонам оглядываться — то пришибли кого сгоряча, то... в иконку попали. Да как же без этого? На войне-то!.. Вы што?

9

Два казака на небольшой верткой лодочке гребли изо всех сил вниз по течению. Видно, старались держать ближе к берегу — к кустам. Переговаривались сторожко.

— Сколь нацитал?

— Триста набрал в голову и сбился. С тыщу будет. Двенадцать пушек.

— Смело́ они... развалились, как так и надо.

— Не знают, потому и смело.

— Хоть бы стереглись маленько...

— Не пуганные ни разу.

— Оно и мы-то — ждем, что ли, их? Я слыхал, они ишо где-то из-под Казани только-только выворотились... А они — вот они, голуби, пузы уж тут греют.

— Где теперь батька-то?

— В приказе небось? А где, поди?.. Там.

— Будет дело... Откуда, думаешь: с Москвы?

— С Москвы, должно. С казанскими вместе. Эх, разгуляться-та-а! Аж слюни текут. Накрыть можно... как кутят ситом.

— Даст бог, накроем.

Совет кончился; атаманы, есаулы расходились из приказной избы.

— Иван, огляди стены, — велел Степан. — Возьми Проньку с собой — ему тут головой оставаться. Подбирай вожжи, Прон: людей зря не обижай, не самовольничай — кру́гом все решайте...

Ус ушел со Степаном.

— Калган не болит? — спросил Ус просто.

— Нет.

— А то пойдем, у меня четверть доброго вина есть. У воеводы в погребе нашли. Ха-арошее винцо!

Степан думал о другом.

— Где счас Матвей твой? — спросил он.

— Тебе зачем? — насторожился большой Ус.

— Надо повидать его... Не бойся, худа не сделаю.

— Со мной он вместе. Смотри, Степан... тронешь его — меня тронешь. А меня за всю жизнь никто ни разу не мог тронуть. Не нашлось такого.

Степан с усмешкой посмотрел на Уса:

— А князь Борятинский-то... Ты как та девка: ночевала — и забыла, с кем.

Ус замолк — обиделся. Был он как ребенок, этот Ус: зла вовсе не помнил, а обидеться мог зазря... Матвей про него сказал: «Пушка деревянная — только пужать ей».

— Не дуйся, я не по злобе. Бегать и я умею, Вася. Хорошо бы — не бегать. Так бы суметь...

— Зачем Матвея-то надо?

— Глянется мне этот мужик твой. Умный. Ты береги его.

— Глянется, а сам стукнуть хотел... Первый-то раз.

— Попужать хотел и первый раз. Видно, натерпелся он за жизнь всякой всячины... А? Из таких — умные получаются. Где ты его взял-то?

— Все там же! — Ус весело и вызывающе посмотрел на Степана. — Как из-под Москвы бежали, там и подобрал. Пристал к нам... а бросать жалко стало. Натерпелся он, верно, много. Где только не бывал! А говорит не все... Даже не знаю откуда. Рязанский, наверно... Не спрашивал.

— Умный мужик, верно. Пойдем мировую с им выпьем. Из Рязани он.

— Откуда ты знаешь?

— Да он сам сказал давеча. Да и по выговору слышно.

— Ну, мировую? — совсем повеселел Ус.

— Мировую, чего нам с тобой, лаяться, что ль?

— Это дело другое, я не люблю лаяться. Не отставай тада от меня, а я поддам ходу. Как зачую, где вино, так меня не удержишь: как мельница ногами работаю.

Матвей, увидев Степана, встал со скамьи... Усмехнулся горько. Но не особенно испугался. Сказал:

— Так...

— Сиди, я тебе не боярин. — Степан посадил Матвея, сел напротив. — Мировую хочу с тобой выпить.

Матвей качнул головой:

— А я уж богу душу отдавать собрался. Ну, мировую так мировую. Лучше мировую, чем панихидную. Так ведь? — Матвей засмеялся один, атаманы не засмеялись.

— Не сказал ты свое слово: как лучше ийтить-то — вверх, вниз? — спросил Степан, внимательно и серьезно вглядываясь в лицо крайне интересного ему человека.

— Ты сам знаешь не хуже меня. Вниз. — Матвей тоже прямо глянул в глаза атаману. — Еслив это правда война, то — вниз.

— Вниз. — Степан все глядел на Матвея. — Ишь ты!.. Матвей усмехнулся и с особенным любопытством посмотрел на атамана.

— Не боюсь я тебя, грозный атаман, — заявил он спокойно и даже весело.

— Давеча же убить тебя мог, — серьезно сказал Степан.

— Мог, — согласился Матвей. — Можа, и убьешь когда-нибудь. А все равно не боюсь.

— Как так?

— Люблю тебя.

— Хм...

— Одно время шибко я бога кинулся любить... Чего только над собой не делал! — казнил себя всяко, голодом морил... даже на горбатой женился... Ну — полюбил, вроде спокой на душе, молюсь. Пожил маленько — нет, не могу: обман гольный. Отстал. Ну, и больше уж — на кого же надеяться? Все. А с богом никак не могу — не могу его всего в башку взять, не дано. Душа-то, слышу, мертвая у меня...

— А чего хочешь-то? — надеесся-то. Чего надо-то?

— Хочу-то?.. — Матвей помолчал. — Сам не знаю. Жалко людей, Степан Тимофеич, эх, жалко! Уж и не знаю, откуда она, такая жалость. Самого-то — в чем ду-

ша держится, соплей перешибить можно, а вот кинулся весь белый свет жалеть. Да ведь только бы жалел! Ну и иди в монастырь вон — жалей на здоровье, молись. А то ведь руки чешутся тоже — тоже бы кому в зубы сунуть. Злюсь тоже. Прямо му́ка, истинный Христос. И не уйдешь от их никуда, от людей-то, и на их глядеть — сердце разрывается: горе горькое воет. Он вон, царь-то, церквы размахнулся строить — а што?.. А мужику все тесней да тесней, уж и выбор-то стал: или поместнику в ярмо, или монастырю — вот и все, весь наш выход стал.

— Хм... к богу хочет поближе — с церквами-то.

— Теперь стал я на людей надеяться, Степан. На тебя вот... — Матвей, как бы спохватившись, что сказал лишка, смолк.

— Эт ты с любовью-то ко мне вылетел... я знаю зачем, — жестко сказал Степан.

— Зачем? — искренне спросил Матвей.

— Чтоб наперед не страшиться меня. Сказал: «люблю» — у меня рука не подымется больше...

— Ты что, палач, что ль, что тебе надо обязательно поднять на меня руку?

— Не говори поперек.

— Ишь ты какой!..

Пришел из сеней Ус с четвертью вина.

— Ты перепрятал? — спросил он Матвея. — Насилу нашел.

— Спросил бы... Я теперь и сам выпить не прочь. Мировая у нас с атаманом.

— Ты все-таки не выскакивай лишний раз с языком, — еще посоветовал Степан. — А то... Сам потом горевать буду, да поздно. Не знаешь меня...

— Я все про тебя знаю, Степан.

Только налили по чарке — вбежал казак (один из тех, что плыли в лодке):

— Батька, стрельцы!

— Где? — повскакали все.

— На острове, в семи верстах отсель... С тыщу, нам показалось. Про нас не ведают, греются на солнышке, пузы выставили... Мы с Ермилом неводишко хотели забросить подальше от городка, подплываем, а их та-ам...

— Где, какой остров-то?

— Денежный зовут. В семи верстах, вверх.

— С тыщу?..

— С тыщу. Двенадцать пушек. Про нас — ни сном ни духом: валяются на травке, костры жгут...

— Счас они у нас поваляются. Это же те, каких из Казани ждут. Ая-яй! Зови всех ко мне! Счас мы их стренем. Только — никому пока ни слова про стрельцов! Никакого шума! Ая-яй! — Степан как на ежа наступил: засуетился по избе, забегал. — Ая-яй!.. А мы прохлаждаемся тут, вины распиваем. Ну, мало нас били! Ведь вот как могли накрыть! Нет, мало, мало били ишо...

Бой со стрельцами был предрешен.

Степан со стругами отплыл на луговую сторону. Нагорной стороной (правым берегом) пошла конница во главе с Усом. На стенах города остались Черноярец и Шелудяк. С пушкарями.

Стрельцы действительно не знали о пребывании разинцев в Царицыне. И горько поплатились за свою беспечность.

Опи готовились славно и мирно пополдничать, как вдруг с двух сторон на них посыпались пули — с правого берега (островок, где стояли, был недалеко от крутояра) и с воды, со стругов.

Стрельцы кинулись на свои суда. Степан дал им сесть. Но так, чтоб они не поняли, что их заманивают в ловушку: как будто это само собой вышло...

Перед боем Степан быстро и точно рассказал, что делать каждому. И предсказал, как поведут себя стрельцы, застигнутые врасплох. Он говорил:

— Родионыч, бери две тыщи конных, пойдешь горой. Я переплыву к луговой стороне, подойду к им промеж островов поближе, учиню стрельбу. Как услышишь, что я начал, выезжай на яр и пали. Они на стружки кинутся — сплывать. Я им дам — сядут. Федор, Фролка... Ларька, передайте, кто с нами поплывет: чтоб вперед моего стружка не выгребали. Пусть мясники сядут, пусть думают, что избежали участь свою. Почнут к городу выгребать — я им дам. Баграми не сцепляться, на пуле держать. Федька, Иван...

— Какой Федька-то?

— Шелудяк. И ты, Иван: на стене будете с пушкарями. Подплывут на ядро — палите. На низ вздумают утекать, ты их стречай, Прон. Все в голову взяли?

— Все.

— С богом!

...Стрельцы выгребались к городу, полагая, что там воевода. Налегали изо всех сил на весла — скорей под спасительные пушки царицынских городских стен.

Сзади, на расстоянии выстрела, следовал Степан, поджимал их к берегу. С берега сыпали пулями казаки Уса.

Это был не бой даже, а избиение. Пули так густо сыпались на головы бедных стрельцов, что они почти и не пытались завязать бой. Спасение, по их мнению, было в городе, они рвались туда.

И когда им казалось, что — все, конец бойне, тут она началась. Самая свирепая.

Со стен города грянули пушки. Началась мясорубка. Пули и ядра сыпались теперь со всех сторон.

Стрельцы бросили грести, заметались на стругах. Некоторые кидались вплавь... Но и там смерть настигала их. Разгулялась она в тот день над их головами во всю свою губительную силу.

Стрельцы закричали о пощаде. Немногих, кто был ближе к стругам разинцев и отбивался и после криков о милости, стрельцы застрелили сами.

От флотилии Степана отделился один стружок, выгреб на простор, чтоб его с берега и со стен видно было; казак поддел на багор кафтан и замахал им. Это был сигнал к отбою.

Стрельба прекратилась.

Все случилось скоро.

Стрельцы сошли на берег, сгрудились в кучу.

Подплыл Разин, съехал с обрыва Ус.

— Что, жарко было?! — громко спросил Степан, спрыгнув со струга и направляясь к пленным.

— Не приведи господи!

— Так жарко, что уж и вода не спасала.

— За Разиным поехали?!. Вот я и есть — Разин. Кто хочет послужить богу, государю и мне, отходи вон к тому камню!

— Все послужим!

— Всех мне не надо. Голова, сотники, пятидесятники, десятники — эти пускай вот суда выйдут, ко мне ближе: я с ними погутарю.

Десятка полтора человек отделились от толпы стрельцов... Подошли ближе.

— Все? — спросил Степан. — Всех показывайте, а то потом всем хуже будет.

Еще вытолкнули сами стрельцы нескольких.

— Кто голова?

— Я голова, — отозвался высокий, статный голова.

— Что ж ты, в гробину тебя?!. Кто так воюет? Ты бы ишо растелешился там, на острове-то! К куму на блины поехал, собачий сын? Дура сырая... Войско перед тобой али — так себе?! Всех в воду!

Казаки бросились вязать стрелецкое начальство.

К Степану подошли несколько стрельцов с просьбой:

— Атаман... одного помилуй, добрый был на походе...

— Кто?

— Полуголова Федор Якшин. Не обижал нас. Помилуй, жалко...

— Развязать Федора! — распорядился Степан. И, не видя еще, кто этот Федор Якшин, крикнул — всем: — Просют за тебя, Федор!

Почуяв возможность спасения, несколько человек — десятники и пятидесятники — упали на колени, взмолились:

— Атаман, смилуйся! Братцы, смилуйтесь!..

Степан молчал. Стрельцы тоже молчали.

— Братцы, я рази вам плохой был?

— Смилуйся, атаман! Братцы!..

Степан молчал. Молчали и стрельцы.

— Атаман, верой и правдой служить будем! Смилуйся.

К Степану пробрался Матвей Иванов. Заговорил, глядя на него:

— Степан Тимофеич...

— Цыть! Баба, — оборвал его Степан. — Я войско набираю, а не изменников себе. Счас все хорошими скажутся, потом нож в спину воткнут. Не суйся.

Твердость Разина в боевом деле, какой была непреклонной, непреклонной и оставалась. Ничто не могло здесь свихнуть его напряженную душу, даже жалость к людям, — он стискивал зубы и делал, что считал нужным делать.

Больше никого начальных не помиловали.

— Стрельцов рассовать по стружкам, — сказал Степан своим есаулам. — Гребцами. У нас никого не задело?

Есаулы промолчали. Иван Черноярец отвернулся.

— Кого? — спросил Степан, сменившись в лице.

— Дедку... Стыря. И ишо восьмерых, — сказал Иван.

— Совсем? Дедку-то...

— Совсем...

— Эх, дед... — тихо, с досадой сказал Степан. И болезненно сморщился. И долго молчал, опустив голову. — Сколь стрельцов уходили? — спросил.

Никто этого не знал — не считали.

— Позовите полуголову Федора.

Полуголова Федор Якшин до конца не верил в свое освобождение. Когда позвали его, он, только что видевший смерть своих товарищей-начальников, молча кивнул головой стрельцам и пошел к атаману.

— Сколь вас всех было? — спросил тот.

— Тыща. С нами.

Степан посмотрел на оставшихся в живых стрельцов.

— Сколь здесь на глаз?

Заспорили.

— Пятьсот.

— Откуда?.. С триста, не боле.

— Эк, какой ты — триста! Три сотни?.. Шесть!

— На баране шерсть.

— Пятьсот, — сходились многие. — Пятьсот уходили, не мене.

Полуголова Федор, толковый мужик, поглядел на своих стрельцов.

— Не знаю, сколь вам надо, — сказал он грустно, — но, думаю, наших легло... с триста. С начальными.

— Мало, — сказал Степан.

Не поняли — чего мало?

— Кого мало? — переспросил Иван.

— Хочу деду поминки справить. Добрые поминки!

— Триста душ отлетело — это добрые поминки.

— Мало! — зло и упрямо повторил Степан. И пошел прочь от казаков по берегу. Оглянулся, сказал: — Иван, позови Проньку, Ивашку Кузьмина, Семку Резанова. — И продолжал идти по самому краю берега. О чем-то глубоко и сумрачно думал.

Через некоторое время пришли те, кого он звал: Иван Черноярец, Прон Шумливый, Ивашка Кузьмин, скоморох Семка.

Степан сел сам, пригласил всех:

— Сидайте. Прон, в Камышине бывал?

— Бывал.

— Воеводу тамошнего знаешь? Нет, так он тебя знает?

— Откуда!

Степан подумал... Побил черенком плети по носку сапога.

— Ивашка, боярский сын... — сказал он и пристально посмотрел на боярского сына. — Бывал в Камышине?

— Как же! — поспешил с ответом перебежчик, боярский сын. Этот боярский сын из Воронежа, в обиде великой на отца и на родню, взял и перекинулся к разинцам, и, кажется, уже жалел об этом — особенно после избиения царицынцев. Но делать нечего... Единственное, наверно, что можно сделать, уйти опять к своим. Только... и гордость противится, и... как теперь поглядят свои-то? — Бывал. Много раз.

— Воевода тебя знает?

— Знает.

— Хорошо знает? Голос твой узна́ет?

— Как же!

— Добре. Приберете из войска, которые не в казачьем платье... Поедете в Камышин, попроситесь в город. Ты, Ивашка, попросисся. Но с тобой будет мало, с дюжину — по торговому делу. Слышно, мол, Стенька где-то шатается — боязно. Вон скомороху, мол, язык срезали. Пустют. Там подбейте воротную стражу... или побейте, как хочете: откройте ворота. Ты, Прон, с сотнями схоронись поблизости. Как ворота откроются, не зевай, вали.

— Еслив откроются...

— Откроются. Силы у их там мало, я знаю, лишних людишек всегда примут. Ишо порадуются. Я так-то Яик-городок брал. К утру чтоб Камышина на свете не было. Выжечь все дотла, золу смести в Волгу. До тех пор я Стыря земле не предам. Все взяли? Людишек с добром и со скотом... в степь выгоните. Зря не бейте — они по деревням разойдутся. Приказных и стрелецких — в воду. А городка такого — Камышина — пускай не станет, пускай тоже не торчит у нас за спиной. Взяли?

— Взяли.

— С богом. Иван, подбери людей. Сам здесь останься. Станут наши пытать: куда, чего — не трепитесь много. К калмыкам, мол, сбегать. И все. Ивашка... — Степан поглядел на боярского сына. — Еслив какая поганая дума придет в голову, — лучше сам на копье прыгай: на том свете достану. Лютую смерть примешь. Загодя выбрось все плохие думы из головы. Идите.

Казаки ушли.

Степан остался сидеть. Смотрел вверх по Волге. Долго сидел так. Сказал негромко:

— Будет вам панихида. Большая. Вой будет и горе вам.

...Ночью сидели в приказной избе: Степан, Ус, Шелудяк, Черноярец, дед Любим, Фрол Разин, Сукнин, Ларька Тимофеев, Мишка Ярославов, Матвей Иванов. Пили.

Горели свечи, и пахло, как в церкви.

В красном углу, под образами, сидел... мертвый Стырь. Его прислонили к стенке, обложили белыми подушками, и он сидел, опустив на грудь голову, словно задумался. Одет он был во все чистое, нарядное. При оружии. Умыт.

Пили молча. Наливали и пили. И молчали... Шибко грустными тоже не были. Просто сидели и молчали.

Дед Любим сидел ближе всех к покойному. Он тоже был нарядный, хоть печальный и задумчивый.

Колебались огненные язычки свечей. Скорбно и с болью смотрела с иконостаса простреленная Божья Мать.

Тихо, мягко капала на пол вода из рукомойника. В тишине звук этот был особенно отчетлив. Когда шевелились, наливали вино, поднимали стаканы — не было слышно. А когда устанавливалась тишина, опять слышалось мягкое, нежное: кап-кап, кап-кап...

Фрол Разин встал и дернул за железный стерженек рукомойника. Перестало капать.

Степан посмотрел на дедушку Стыря и вдруг негромко запел:

Ох, матушка, не могу,
Родимая, не могу...

Песню знали; Стырь частенько певал ее, это была его любимая.

Подхватили. Тоже негромко, глуховато:

Не могу, не могу, не могу,
могу, могу!

Снова повел Степан. Он не пел, проговаривал. Выходило душевно. И делал он это серьезно. Не грустно.

Сял комарик на ногу,
Сял комарик на ногу...

Все:

На ногу, на ногу, на ногу,
ногу, ногу!
Ой, ноженьку отдавил,
Ой, ноженьку отдавил,

Отдавил, отдавил, отдавил,
давил, давил!
Подай, мати, косаря,
Подай, мати, косаря,
Косаря, косаря, косаря,
саря, саря!
Рубить, казнить комара,
Рубить, казнить комара,
Комара, комара, комара,
мара, мара!
Отлетела голова,
Отлетела голова,
Голова, голова, голова,
лова, лова!

Налили, выпили. Опять замолчали.

За окнами стало отбеливать; язычки свечей поблекли — отцвели.

Вошел казак, возвестил весело:

— Со стены сказывают: горит!

Степан налил казаку большую чару вина, подал. И даже приобнял казака.

— На-ка... за добрую весть. Пошли глядеть.

Камышин сгорел. Весь.

* * *

При солнышке поднялись в поход. Степан опять торопился.

Раскатился разнобойный залп из ружей и пистолей...

Постояли над свежими могилками казаков, убитых в бою со стрельцами. Совсем еще свежей была могилка Стыря.

— Простите, — сказал Степан холмикам с крестами.

Постояли, надели шапки и пошли.

С высокого яра далеко открывался вид на Волгу. Струги уже выгребали на середину реки; нагорной стороной готовилась двинуть конница Шелудяка.

— С богом, — сказал Степан. И махнул шапкой.

Войско двинулось вниз по Волге. На Астрахань.

10

Долго бы еще не знали в Астрахании, что творится вверху по Волге, если бы случай не привел к ним промышленника Павла Дубенского, муромца родом.

Тот плыл по Волге на легком стружке, распевал пе-

сенки. В десяти верстах от Царицына повстречал стрельцов из отряда Лопатина (разбитого под Царицыном), которые чудом уцелели и бежали вверх. Они-то и рассказали Дубенскому все. Тот, видно, не раз ходил Волгою, мести́ хорошо знал. Переволокся на Ахтубу, у Бузуна снова выгреб в Волгу и достиг Астрахани. И там все поведал.

Начальные люди астраханские взялись за головы.

Воеводы, митрополит, приказные, военные-иностранцы сидели в приказной палате, не знали, как теперь быть.

— Говорите, как думаете, — велел Прозоровский. — Рассусоливать некогда. Дорассусоливались! Ведь мы-ы, — постучал он пальцем по столу, — мы, вот здесь вот, благословили Стеньку на такой разбой. Говорите теперь!

Но многим хотелось более ясно представить себе надвигающуюся беду, расспрашивали Дубенского.

— Как же ты-то прошлыл? — спросил князь Львов.

— Ахтубой. Там переволокся, а тут, у Бузуна, вышел. Я Волгой-то с малых лет хаживал, с отцом ишо, царство ему небесное, всю ее, матушку, вдоль и поперек...

— Сколько ж у его силы?

— Те, стрельцы-то, сказывали: тыщ с пять. Но не ручались. А рыбаки, я их тоже стренул, — пятнадцать, мол. А на Царицыне атаманом Пронька Шумливый. Завели в городе казачий уклад: десятников поставили, дела кру́гом решают. А эти, посадские...

— Те, эти... Не мог ладо́м узнать! — разозлился воевода.

— Ты плыл, Камышин-то стоял ишо? — спросил Львов.

— Стоял. А потом уж посадские сказали: спалили. Чего мне говорили, то и я говорю. Зачем же на меня-то гневаться?

Митрополит перекрестился.

— Вот она и пришла, матушка...

— Кто? — не понял младший Прозоровский.

— Беда. При нас начиналась и до нас и дошла.

— Советуйте, — велел воевода. — Как их, подлецов, изменников, к долгу теперь обратить? Как унять?

— Зло сталь очшень большой, — заговорил Давид Бутлер, корабельный капитан. — Начшальник Стенька не может удерживать долго флясть...

— Пошто так?

— Са ним следовать простой шеловек, тольпа —это

очшень легкомысленный... мм... как у вас?.. — Капитан показал руками вокруг себя — нечто низменное, вызывающее у него лично брезгливость. — Как это?

— Сброд? Сволочь? — подсказал Прозоровский.

— Сволечшь!.. Там нет ферпость, фоинский искусств... Дисциплин! Скоро, очшень скоро там есть — пополам, много. Фафилон! Только не давайт фольнеци сдесь, город. Строго! М-м!

— Жди, когда у его там пополам будет! — воскликнул подьячий Алексеев. — Свои-то, наши-то сволочи, того гляди зубы оскалют. На бочке с порохом сидим.

Прозоровский посмотрел на Красулина. Тот грустно кивнул головой. Да воевода и сам знал о ненадежности стрельцов.

— Что правда, то правда, — вздохнул стрелецкий голова.

— Надо напасть на воров в ихнем же стане! — заключил молодой Прозоровский. — Будем готовиться, наших хоть делом займем. А пока готовиться будем, приберем человек четыреста получше да татар стоко же — пусть сходют вверх проведают. А здесь собрать надо людей со всех мест, оружить их... Сколь стрельцов-то у нас?

— Всего войска — двенадцать тыщ, — ответствовал Иван Красулин.

Боярин Прозоровский хлопнул себя по ляжкам.

— А еслив у его, вора, — пятнадцать!

— Не числом бьют, Иван Семеныч, — заметил в сердцах митрополит. — Крепостью. Сразу принялись воров щитать — сколько? Вот те раз! Ишо ничем ничего, а мы уж готовы — сварились.

— Где она, крепость-то? Стрельцы?.. Они все к воровству склонные. Они вон жалованье требуют, стрельцы-то. Вот и вся крепость. Щитать принялись... Будешь щитать, еслив вся и надежда — за стенами отсидеться. Выйди-ка наружу-то... проть кого она обернется, крепость-то?

— Подвесть их под присягу...

— Они жалованье требуют! А не под присягу... — Воевода злился. — Одной присягой не навоюешь.

— Вот вся наша крепость: надо платить, — сказал подьячий. — Надо платить. Тада хоть какая-то надежда будет.

— Подвесть под присягу! — еще раз сказал митрополит. — Острастку сделать!.. — Он тоже был в сильнейшем

раздражении. — А караул кричать — это мы напоследок сделаем. Соберемся с голосами и рявкнем. Можеть, даже Стеньку тем испужаем...

Астраханцы растерялись.

11

Разинцы шли ходко, днем и ночью, без остановок. Для этого вперед, на один конский переход, под сильной охраной высылались кони, кормились, и на них, отдохнувших, пересаживались казаки. Уставшие тоже кормились, налегке обгоняли войско и опять ждали, чтобы везти казаков дальше. Казаки с коней переходили в струги, отсыпались и снова садились на коней. Громада стремительно двигалась на юг, на Астрахань. В войске царила трезвость. За этим следили сотники, есаулы. Никто, и атаман тоже, не имел права выпить, хоть вино везли с собой, много.

Степан со всеми вместе переходил с коня на струг, наскоро ел, спал и опять садился на коня. Был он серьезен в эти дни, не кричал, не ругался. Так всегда было, когда он терял дорогого человека. Так было, когда он потерял в Персии Сергея Кривого.

Как-то под вечер атаман ехал рядом с Матвеем Ивановым. Разговорились про смерть. Совершенная внутренняя свобода Разина, постоянная работа ума, беспокойная натура — силы, которые сшибали его с мыслями трудными, неразрешимыми. То он не понимал, почему царь — царь, то злился и негодовал, как это — люди могут быть подневольными, но при этом — живут, смеются, рожают детей... То он вдруг перестал понимать смерть — человека нету. Как это? Совсем? Что, Стырь так и будет лежать теперь на высоком берегу Волги? Вечно. Для чего же все было? Для чего он жил? Смерть... Да что это, что?

— Степушка, — посмеялся Матвей, — покойников-то на земле больше, чем живых.

— Хреновина выходит, Матвей: одни черви и живут на земле? А мы для чего? Для прокорма ихного?

— Выходит, так.

— Тьфу!.. Аж тошно. А чего ты мне про бога-то плел? Я забыл... Ну-ка, расскажи толком. Я, знаешь, иконку одну видал в Соловцах — Божья Мать, я ее всю понял, всю в башку взял. Не знаю, как тебе сказать, — понял. Сидит хорошая, душевная христьянка... как моя мать.

Я на ее залюбовался, по теперь ее помню. Ну?.. Стало быть, верю я?

— Это не то, Степан Тимофеич.

— Что же? А ты как хотел верить?

Матвей пристроил шагать своего конька к шагу разинского.

— Полюбить я его хотел, бога-то... Не мог — не дано: весь, видно, грехами изъеден, как лесина трухлявая, где же тут полюбить, чем?.. А любови нет, нету и веры, один обман. Я вон на горбатой-то оженился — и што? Ни себе радости, ни... И ей тоже мука. А ведь тоже — хотел полюбить. Вот-де, никто не любит, а я буду. Душу ее буду любить...

— Ну, и как? — со смехом спросил Степан.

— Не мог. Кажилился, кажилился — нет, нету моих сил на то, сбежал. Все бросил и — куда глаза глядят. Там и бросать-то... бобыль я. Нет, брат, душу не обманешь.

Они приотстали от других, никто не мешал разговаривать. И не странно им было — на высоченном берегу Волги, верхами, глотая пыль, поднятую передними, — вести этот углубленный разговор. По Степану было интересно, и Матвею интересно.

— Ну, а как с богом-то? — хотел понять Степан.

— Тоже не мог полюбить. Ведь полюби я, я бы и знал, как жить, — а не могу. Думы черные в голову лезут. Думаю: да сам он боярин добрый, бог-то. Любит, чтоб перед им только стелились. А он поглядит: помочь тебе али нет. Он ишо подумает. От таких-то богов на земле деваться некуда. Вот ведь думы какие! Рази так можно?

— А царя за что не жалуешь?

— Что? — Матвей, когда не знал, как ответить, переспрашивал — собирался с мыслью.

— Царя-то за что не любишь? Глухой, что ль?

— А ты?

— Я тебя спрашиваю!

— А мне интересно, как ты скажешь...

— Хитрый ты, Матвей. Все мужики хитрые.

— А ты не хитрый?

— Чего ты заладил: «а ты», «а ты»?.. Дятел. Я тебя спрашиваю!

— Ты тоже хитрый, Степан. Можеть, так и надо.

— Где это я хитрый?

— Да с царем с тем же... Не жалуешь и ты его, а как

надо людей с собой подбить, говоришь: я за царя! Хэх!.. За царя. За волю уж, Степан, — прямо, не кривить бы душой. Ну, опять же — не знаю. Тебе видней. Погано только. Как-то все... вроде и доброе дело люди собрались делать, а без обмана — никак! Что за черт за житуха такая. У нас, что ль, у одних так, у русских? Ты вот татарей знаешь, калмыков — у их-то так жа?

— Как я их знаю!.. — в раздумье, не сразу откликнулся Степан.

Степану неохота было говорить про это: велика это штука — людей поднять на тяжкое дело долгой войны. За волю, за волю, за царя — тоже за волю, но пусть будет за царя, лишь бы смелей шли, лишь бы не разбежались после первой головомойки. А там уж... там уж не их забота. За волю-то не шибко вон подымаются мужики-то: на бояр, да за царя... Так уж невтерпеж им — перед царем ползать. И нет такой головы, которая растолковала бы: зачем это людям надо?

— Такой же ведь человек — баба родила, — стал думать вслух Степан. — Пошто же так повелось? — посадили одного и давай перед им на карачках ползать. Во!.. С ума, что ль, посходили? Зачем это? Царь. Что царь? Ну и что?

— Дьявол знает! Боятся. А тому уж — вроде так и надо, вроде уж он — не он и до ветру не под себя ходит. Так и повелось... А небось перелобанить хорошо поленом, так и ноги протянет, как я, к примеру...

Степан глядел вперед — как будто не слушал.

Матвей смолк.

— Ну? — спросил Степан.

— Что?

— Перелобанить, говоришь?

— Пример это я тебе!.. Такой же человек, мол, тоже туда же дорога — к червям, а вот вишь, что делается...

— Мгм... Да ишо ежли пример-то выбрать почижельше — осиновый. А?

Засмеялись.

— А что Никон? — спросил вдруг Степан с искренним и давним интересом. — Глянется мне этот поп! Хватило же духу с царем полаяться... А? Как думаешь про его?

— Ну и что?

— Как же?.. Молодец! А к нам не склонился, хреп старый. Тоже, видать, хитрый.

— Зачем ему? У его своя смета... Им, как двум мед-

ведям, тесно стало в берлоге. Это от жиру, Степан: один другому нечаянно на мозоль наступил. Ты бы ишо царя додумался с собой подговаривать...

— Нет, я таких стариков люблю. Возьму вот и объявлю: Никон со мной идет. А?

— Зачем это? — удивился Матвей.

— Так... Народ повалит, мужики. Патриарх... самый высокий поп, как Стырь говорил. Мужики смелей пойдут.

Матвей молчал.

— Что молчишь?

— Делай как знаешь...

— А ты как думаешь?

— Опять ведь за нож схватисся?

— Да нет!.. Что я живодер, что ли?

— Дурость это — с Никоном-то. «Народ повалит». Эх, как знаешь ты народ-то! Так прямо кинулись к тебе мужики — узнали: Никон идет. Тьфу! Поднялся волю с народом добывать, а народу-то и не веришь. Мало мужику, что ты ему волю посулил, дай ему ишо попа высокого. Ну и дурак... Пойдем волю добывать, только я тебя попом заманю. Нет, Степан, ни царем, ни попом не надо обманывать. Дурость это.

— Цыть! Заговорил!.. — Степан уставился на Матвея строгим взглядом. — Много! Ворох сразу вывалил... Умник.

Матвей, недолго думая, подстегнул меринка и отъехал вперед и скрылся в рядах конников.

Степан обогнал всех, свернул в сторону с дороги, остановился. Подождал, когда подъедут есаулы.

— Дед! — окликнул он деда Любима. Когда Любим подъехал, спросил: — Есть у тебя хлопец проворный?

— У меня все проворные. — Дед Любим привстал в стременах, кого-то стал высматривать среди конных. — Зачем тебе? Могу всех кликнуть: сам выбирай — все молодцы добрые.

К ним подвернули есаулы, скучились.

— Мне всех не надо. А одного найди — в Астрахань поедет, к Ивашке Красулину.

— Гумагу? — догадался Любим.

— Никаких гумаг. Взять все в память, и до поры пускай все умрет.

Мимо шла и шла конница. Со Степаном здоровались; он кивал головой, влюбленно всматривался в своих казаков.

— Здоров, батька!

— По чарочке б, Стяпан Тимофеич!.. Глотки — того, дерет... Пыль бы сполоснуть!

Степан задумчиво щурил глаза. Вдруг он увидел кого-то.

— Макся Федоров!

Молодой казак (тот игрок в карты) придержал коня.

— Я?

— Ты. Ехай суда.

Макся подъехал. Степан улыбнулся растерянности парня.

— Чего ж не здороваисся? Не узнал, что ли? Я вот тебя узнал.

— Здоров, батька.

— Здоров, сынок. Как, в картишки стариков обыгрываешь?

— Нет! — выпалил Макся. И покраснел.

Степан и есаулы засмеялись.

— Чего ты отпираться-то кинулся? Старика обыграть — это суметь надо. Они хитрые. — Степан спрыгнул с коня. — Иди-ка суда.

Макся тоже спешился и отошел с атаманом в сторону. Тот долго ему что-то втолковывал. Макся кивал головой. Потом Степан приобнял парня, поцеловал и отпустил.

Макся, счастливый и гордый, никого не видя вокруг, вскочил на коня и с места взял вмах.

Конница все шла.

Степан тоже сел на коня, тронул его тихим шагом. Есаулы за ним.

Степан вдруг обернулся, позвал:

— Иван, найди Матвея Иванова. Пошли ко мне.

Есаулы переглянулись... Не нравился им этот Матвей Иванов — баба какая-то, да еще и говорун. Иван послал казака найти Матвея, но сам подъехал к Степану, чуть потеснил его коня вбок.

— Степан... казаки наказали выговорить тебе...

— Ну. Слухаю.

— Этот Матвей... он, видно, хороший мужик, но ты уж прямо милуисся с им на виду войска. Обида берет казаков...

— А тебя берет?

— А?

— Тебе, говорю, тоже обидно, что я гутарю с мужиком?! Что вы седня, оглохли, что ль, все?

— Да гутарь на здоровье! Уведи в шатер, там и

гутарьте... Только гляди, не стал бы он с толку сбивать...

— С какого?

— Ну... мало ли у их чего на уме. Кто их знает, этих мужиков. А он вон какой говорун!

— Ты прямо как за девкой за мной доглядываешь. — Степан усмехнулся. — Смешной ты, Иван... Не бойся, он меня с толку не собьет.

— Я так-то не боюсь...

— И не обижайтесь. Ума-разума атаман наберется — кому от этого хуже? Всем лучше будет.

— От его — ума-разума? — удивился Иван. — Господи...

— От его. Не гляди, что неказистый, — все смекает. Ты, Ваня, таких не отталкивай от себя. У его вон в чем душа держится — а она болит за всех, умная душа. Не обижайте его.

— Никто его не обижает.

— Мне отец рассказывал про деда, отца своего... Здоров был, пошуметь любил, Стырь знал его. Кому хошь бока наломает, а калеку какого-нибудь домой приведет, накормит, напоит и с собой спать положит. Мне всех убогих да бездомных тоже жалко... Да ишо когда бьют их.

— Кто его бьет!

— Я не про Матвея. А и про его! Бьют таких, Иван! Не слышим мы — стон стоит по деревням да по городам. И такие же, русские... курвы: ни стыда, ни жалости — бьют. Как маленько посильней да царю угодней, так норовит, змея такая, мужику на шею. Мы сдуру в Персию поперли — вот кому надо кровя-то пускать, своим! Я два раза проехал — посмотрел... Да там не... Тьфу! Не буду! Не буду!.. Тьфу! Говори мне чего-нибудь... про войско. Высыпаются казаки?

— Меняемся, как же.

— Шагу не сбавляй, но отоспаться давай. Корми тоже хорошо. Надо в Астрахань свежими прийти. Пить, гляди, не давай.

— Гляжу.

— В Астрахани, даст бог, разговеемся. Ну, оставь одного. Пусть Матвей-то смелей подъедет... шумнул я тут на его. Пусть не боится. Да и вы не коситесь — уревновали, дураки. Побольше б нам таких в войско — с головой да с душой, — умней бы дело-то пошло. Позови-ка.

— Ладно.

Матвей нашел атамана, когда солнышко уже село. На просторную степь за Волгой легла тень. Светло поблескивала широкая полоса реки. Мир и покой чудился на земле. Не звать бы никого, не тревожить бы на этой земле. А что делать? Любить же надо на этой земле... Звезды в небе считать. Почему же на душе все время тревожно, больно даже?

— Звал, Тимофеич?

— Звал. — Степан сидел на яру, обняв руками колени. Сзади стоял конь, недоуменно фыркал и легонько тянул повод. — Хотел договорить давешное, да расхотел. Ты говоришь: кинулся было бога любить... А я любил, Матвей.

— Неужто? — искренне изумился Матвей.

— Любил. Молился... Только молился, а сам думал: не поверит он мне. Я никакой не сиротка, не золотушный... Подумает: просит, а сам небось про баб думает али — как погулять... Он же ведь все там знает.

— А чего просил-то? Молился-то?

— Чтоб отец живой из похода пришел, чтоб казаки одолели... Много — совестно споминать. Маленький был, молился, чтоб мать не хворала, — жалко было. Да мало ли!..

— Не любил ты его, Степан. Так не любют: молится и тут же думает: не поверит бог. Сам ты ему не верил.

— Как же! Плакал даже! Большой уж был и то плакал...

— Это... душа у тебя такая — жалостливая. Когда верют, так уж верют, а ты с им, как с кумом: в думы его тайные полез. Нешто про бога можно знать, чего он думает? Нет, еслив верить, так уж ложись пластом и обмирай. Они так, кто верит-то.

— Ну, не знаю... Я верил.

— Чего ж бросил?

— Я, можеть, и не бросил вовсе-то... Попов шибко не люблю. За то не люблю, оглоедов, что одно на уме: лишь бы нажраться!.. Ну ты подумай —и все! Лучше уж ты убивай на большой дороге, чем обманывать-то. А то — и богу врет, и людям. Не жалко таких нисколь... Грех убивать! Грех. Но куски-то собирать — за обман-то, за притворство-то — да ить это хуже грех! Чем же они не побирушки? А глянь, важность какая!.. Чего-то он знает.

А чего знает, кабан? Как брюхо набить — вот все знатье. Про бога он знает?

— Дерьма много... Правда. А татаре говорят про своего бога: поймешь себя, поймешь бога. Можеть, мы себя не понимаем? А кинулись вон кого понимать...

— Так чего же он терпит там! Все силы небесные в кулаке держит, а на земле — бестолочь несусветная. Эти лоботрясы — с молитвами, а тут — кто кого сгреб, тот того и... Куда ж он смотрит? Нет уж, тут и понимать нечего: не то чего-то... Не так. Кто же людям поможет-то? Царь?

— Ну, это не его дело! Себя только ублажает сидит там. Иной раз думаю: да хоть пожалей ты людишек своих!.. Нет, никак, ни-как! Не видит, что ли?.. Не знает ли...

— Вот... — Степан долго смотрел в заволжскую даль. Сказал негромко: — Вишь, хорошо как. Живешь — не замечаешь. А хорошо.

— Хорошо, — согласился Матвей. — Костерок бы счас над речкой... Лежать бы — считать звезды.

Степан засмеялся:

— Ты прямо мою думку подслушал... Поваляться б? Эх, поваляться б!.. Матвей, хочу спросить тебя, да неловко: чего эт ты с горбатой-то надумал? Правда, что ль, блажь нашла или, можеть, на богатство поманило, а теперь сознаться совестно? А?

— Не надо про это, — не сразу ответил Матвей. — Не надо, Степан. — И стал грустный.

Что-то очень тут болело у мужика, а не говорил. Сказал только:

— Я рассказывал тебе... Ты не веришь.

12

Макся попался в Астрахани. Его узнали на улице. Вернее, узнал он. Пропажу свою узнал. Когда осенью были в Астрахани, пропал у Макси красавец нож с позлаченной рукоятью. Редкий нож, искусной работы. Макся горевал тогда по ножу, как по человеку. А тут — шел он по улице, глядь, навстречу ему — его нож: блестит на пузе у какого-то купца, сияет, как кричит.

— Где нож взял? — сразу спросил Макся купца.

— А тебе какая забота? Где б ни взял...

У Макси — ни пистоля, ни сабли при себе, он в драной одежонке... Но прикинул парень астраханца на

глаз — можно одолеть. Не дать только ему опомниться... А пока он так прикидывал да глянул туда-сюда по улице, астраханец, зачуяв недоброе, заблажил. Макся — наутек, но подбежали люди, схватили его. И тогда-то некая молодая бабенка — без злого умысла даже, просто так — вылетела с языком:

— Ой, да от Стеньки он! Я его видала, когда Стенька-то был... Со Стенькой он был. Я ишо подумала тада: какие глаза парню достались...

У Макси и впрямь глаза девичьи: карие, ласковые... И вот они-то врезались в память глупой бабе.

Повели Максю в пыточный подвал. Вздернули на дыбу... Макся уперся, запечатал окровавленные уста. Как ни бились над ним, как ни мучали — молчал. Меняли бичи, поливали изодранную до костей спину рассолом — молчал. Бился на соломе, орал, потом стонал только, но ни слова не сказал. Даже не врал во спасение. Молчал. Так наказал атаман — на случай беды: молчать, что бы ни делали, как ни били.

Устали заплечные, и пищик, и подьячий, мастер и любитель допроса. Вошли старший Прозоровский с Иваном Красулиным.

— Ну как? — спросил воевода.

— Молчит, дьяволенок. Из сил выбились...

— Да ну? Гляди-ко...

— Как язык проглотил.

— Ну, не отжевал же он его, правда.

— Сбудется! У этого ворья все сбудется.

Воевода зашел с лица Максе.

— Ух, как они тебя-а!.. Однако перестарались? Зря, не надо так-то. Ну-ка снимите его, мы поговорим. Эк, дорвались, черти! — Голос у воеводы отеческий, а глаза красные — от бессонницы последних ночей, от досады и слабости. Этой ночью пил со стрелецкими начальными людьми, много хвалился, грозил Стеньке Разину. Теперь — стыдно и мерзко.

Максю сняли с дыбы. Рук и ног не развязали, положили на лавку. Воевода подсел к нему. Прокашлялся.

— К кому послали-то? Кто?

Макся молчал.

— Ну?.. К кому шел-то? — Воеводе душно было в подвале. И почему-то — страшно. Подвал темный, низкий, круглый — исхода нет, жизнь загибается здесь концами в простой, жуткий круг: ни докричаться отсюда, ни

спрятать голову в угол, отовсюду виден ты сам себе, и ясно видно — конец.

— Ну?.. Чего сказать-то велели? Кому?

Макся повел глазами на воеводу, на Красулина, на своих палачей... Отвернулся.

Воевода подумал. И так же отечески ласково попросил:

— Ну-ка, погрейте его железкой — небось сговорчивей станет. А то уж прямо такие упорные все, спасу нет. Такие все верные да преданные... Заблажишь, голубок... страмец сопливый. Погуляешь у меня с атаманами...

Палач накалил на огне железный прут и стал водить им по спине жертвы.

— К кому послали-то? — спрашивал воевода. — Зачем? Мм?

Макся выл, бился на лавке. Палач отнял прут, положил в огонь накалить снова, а горку рыжих углей поддул мехом, она воссияла и схватилась сверху бегучим синеньким огоньком. В подвале пахло паленым и псиной.

— Кто послал-то? Стенька? Вот он как жалеет вас, батюшка-то ваш. Сам там пьет-гуляет, а вас посылает на муки. А вы терпите! К кому послали-то? Мм?!.

Макся молчал. Воевода мигнул палачу. Тот взял прут и опять подошел к лежащему Максе.

— Последний раз спрашиваю! — стал терять терпение воевода: его тянуло поскорей выйти на воздух, на волю; тошнило. — К кому шел? Мм?

Макся молчал. Вряд ли и слышал он, о чем спрашивали. Не нужно ему все это было, безразлично — мир опрокидывался назад, в кровавую блевотину. Еще только боль доставала его из того мира — остро втыкалась в живое сердце.

Палач повел прутом по спине. Прут влипал в мясо... Макся опять закричал.

Воевода встал, еще раз надсадно прокашлялся от копоти и вони.

— Пеняй на себя, парень. Я тебе помочь хотел.

— Чего делать-то? — спросил подьячий.

— Повесить змееныша!.. На виду! На страх всем.

* * *

Двадцать пятого мая, в троицын день, с молебствиями, с колокольным звоном, с напутствиями удач и счастья провожали астраханский флот под началом князя Львова навстречу Разину.

Посадский торговый и работный люд огромной толпой стоял на берегу, смотрел на проводы. Ликований не было.

Здесь же, на берегу, была заготовлена виселица.

Ударили пушки со стен.

К виселице поднесли Максю, накинули петлю на шею и вздернули еле живого.

Макся был так истерзан на пытках, что смотреть на него без сострадания никто не мог. В толпе астраханцев возник неодобрительный гул. Стрельцы на стругах и в лодках отвернулись от ужасного зрелища.

Воевода запоздало понял свою ошибку, велел снять труп. Махнул князю, чтоб отплывали, — чтоб хоть прощальным гамом и напутственной стрельбой из пушек сбить и спутать зловещее настроение толпы.

Флот отвалил от берега, растянулся по реке. Стреляли пушки со стен Белого города.

Воевода с военными иностранцами, которые оставались в городе, направились к Кремлю.

Гул и ропот в толпе не утихли, когда приблизился воевода с окружением, напротив, стал определенно угрожающим. Послышались отдельные выкрики:

— Негоже учинил воевода: в святую троицу человека казнили!!

— А им-то что?!. — вторили другие. — Собаки!

Младший Прозоровский приостановился было, чтоб узнать, кто это посмел голос возвысить, но старший брат дернул его за рукав, показал глазами — идти вперед и помалкивать.

— Виселицу-то для кого оставили?! — осмелели в толпе.

— Вишь, Стеньку ждут! Дождетесь... Близко!

— Он придет, наведет суд! Он вам наведет суд и расправу!

— Сволочи! — громко сказал Михайло Прозоровский. — Как заговорили!

— Иди, вроде не слышишь, — велел воевода. — Даст бог, управимся с ворами, всех крикунов найдем.

— Прижали хвосты-то! — орали. — Он придет, Стенька-то, придет! Он вам распорет брюхо-то! Он вам перемоет кишки!

— Узю их!..

— Сволочи, — горько возмущался Михайло Прозоровский.

Так было в городе Астрахани.

13

А так было на Волге, пониже Черного Яра, тремя днями позже.

Разинцы со стругов заметили двух всадников на луговой стороне (левый берег). Всадники махали руками, явно привлекая к себе внимание.

Стали гадать:

— Похоже, татаре: кони татарские.

— Они... Татаре!

— Чего-то машут. Сказать, видно, хотят. Батька, вели сплавать!

Степан всматривался со струга в далекий берег.

— Ну-ка, кто-нибудь сплавайте, — велел.

Стружок полегче отвалил от флотилии, замахали веслами к левому берегу. Вся флотилия прижалась к правому, бросали якоря, шумнули своим конным, чтоб стали тоже.

Степан сошел на берег, крикнул вверх, на крутояр, где торчали конские и людские головы:

— Федька!..

Через некоторое время наверху показалась голова Федьки Шелудяка.

— Батька, звал? — крикнул он.

— Будь наготове! — сказал ему Иван Черноярец (Степан в это время переобувался — промочил ноги, когда сходил со струга.) — Татаре неспроста прибежали. Никого там не видно? На твоей стороне?

— Нет.

— Смотрите!

— Не зевали чтоб, — подсказал Степан. — Им видней там...

— Слышь, Федька!

— Ай?!

— Не зевайте!

— Смотрим! А кто там? Татар гости плюхат?

Казаки засмеялись: Шелудяк иногда смешно коверкал слова.

Стружок между тем махал от левого берега. А те два всадника скоро поскакали в степь.

Разинцы поутихли... Ждали. Догадывались: неспроста прибегали татары, неспроста. Атаман постоянно сообщается с ними, но и он озадачен.

— Идут, думаешь? — спросил Черноярец. — Прозоровский идет?.. А? Тимофеич?

— Иван... — с некоторым раздражением сказал Степан, — я столько же знаю, сколь ты. Подождем.

Стружок приближался медленно, очень медленно. Или так казалось. Казалось, что он никогда не подгребет к этому берегу, застрял.

Степана и других охватило нетерпение.

— Ну?! — крикнул Иван. — Умерли, что ль?!

На стружке молчали. Гребли, старались скорей. Стало понятно: везут важную весть, потому важничают и хранят молчание до поры: не выскакивают с оправданием, что — стараются.

Наконец, когда стало мелко, со стружка прыгнул казак и побрел к атаману, высоко подняв в руке какую-то бумагу.

— Татаре!.. Говорят: тыщ с пять стрельцов и астраханцев верстах в трех отсудова. Это мурза шлет. — Казак вышел на берег, подал Степану лист. — Тыщ с пять, сами видали, говорят: стругами, хорошо оруженные.

Степан передал лист Мишке Ярославову (татарскую писанину знал только он один), сам принялся расспрашивать казака:

— Водой только? Конных они, можеть, не углядели? Яром едут где-нибудь...

— Конных нет, говорят. Водой. Держутся ближе к высокому берегу.

— Этой... большой дуры нет с ими? — спросил Стéпан, в нетерпении поглядывая на Мишку.

— Какой дуры?

— Корабль, они называют... «Орел».

— Не знаю, не сказывали. Сказали, если б был.

— Мурза пишет, —начал Мишка, глядя в лист, — были у его от Ивана Красулина... Три тыщи с лишком стречь нам идет. С князем Львовым. Иван велел передать, чтоб ты не горевал: стрельцы меж собой сговорились перекинуться. Начальных людей иноземных, и своих тоже, — побьют, как с тобой свидются. Чтоб ты только не кинулся на их сдуру... Они для того на переднем струге какого-нибудь свово несогласнова или иноземца на щеглу кверху ногами вздёнут. Так чтоб знал: стрельцы служут тебе. Сам он, Иван-то, остается в Астрахани, и это, мол, к лучшему: как-никак, а город брать надо. А в городе ишо остались, мол, — приготовились сидеть. Пишет... какого-то молодого казака на троицу истерзали и повесили. Не Максю ли?

— Это он пишет «не Максю ли»?

— Да нет, это я говорю... Макся, наверно, попался.
— А там все?
— Все. Дальше — поклоны всем...
Степан постоял в раздумье... Поднялся выше, на камни, громко сказал всем, кто мог слышать:
— Казаки!.. Там, — указал рукой вниз по Волге, — стрельцы! Их три с лишним тыщи. Но они люди умные, они головы свои зазря подставлять не будут. Так они велят передать. А станет, что обманывают, то и нам бы в дураках не оказаться: как я начну, так и вы начинайте. А раньше меня не надо. Я напередке буду. Федька!..
— Слухаю, батька! Я все слухаю.
— Как увидишь струга, обходи их берегом со спины. Мы тоже этого берега держаться станем. Без меня не стреляй!.. Счас к тебе Иван придет. — Степан повернулся к Черноярцу: — Иван, иди к им, а то они не разберутся там... Сам знай: можеть, с воезодиной стороны и пальнут раз-другой, ты все равно терпи. А как уж увидишь — бой, тада вали. Мы их изловчимся как-нибудь к берегу прижать. С богом! — Степан показал рукой — вниз. — Там стрельцы. Не бойтесь, ребятушки: они сами нас боятся!
Еще раз судьба сводила атамана с князем Львовым. Удивительно, с каким умом, осторожно держался Львов: всё высылают и высылают его первым встречать Разина и всё никак не поймут, что неудачи этих высылок — если не целиком, то изрядно — суть продуманная, злая месть позорно битого князя Львова Алексею Романову, царю. А бит был князь по указу царя перед приказом тверским — за непомерны поборы (нажиток), за несправедливость и лиходейство... Был бит и обречен во вторые воеводы в окраинные города, за что и мстил. В державе налаживалась жизнь сложная: умели не только пихаться локтями, пробиваясь к дворцовой кормушке, а и умели, в свалке, укусить хозяина — за пинок и обиду. И при этом умели преданно смотреть в глаза хозяйские и преданно вилять хвостом. Это искусство постигали многие. Постигалось вообще многое. «Тишайший» много строил, собирал, заводил, усмирял... Придет энергичный сын, и станет — империя; однако все или почти все — много — было готово к тому. Ведь то, что есть суть и душа империи — равнение миллионов на фигуру заведомо среднюю, унылую, которая не только не есть личность, но и не хочет быть ею, из чувства самосохранения, — с одной стороны, и невероятное, необъяснимое почти возникнове-

ние — в том же общественном климате — личности или даже целого созвездия личностей ярких, неповторимых — с другой стороны, ведь все это, некоторым образом, было уже на Руси при Алексее Михайловиче, но только еще миллионы не совсем подравнялись, а сам Алексей Михайлович явно не дотянул до великана. Но бородатую, разопревшую в бане лесовую Русь покачнул все-таки Алексей Михайлович, а свалили ее, кажется, Стенька Разин и потом, совсем — Петр Великий.

Князь Семен всматривался из-под руки вперед.

— А что, — недовольно обратился он к начальным помощникам своим, — иноземные молодцы поотстали? — Князь все смотрел вверх по реке. — А?

— Вон они. Куда им торопиться?

— Давайте-ка их наперед, — велел князь. — А то они в городе покричать любют, а тут их не доискаться. Давайте. Скоро и Степан Тимофеевич пожалует. Всыпет он нам седня, батюшка. Всыпет. Ну, остудить нас маленько надо, а то шибко уж горячие — выскочили. Стены есть, пушки есть, нет, дай вперед выскочить, дай... А вот и он. Вот они!.. — вдруг воскликнул он захолонувшим голосом. Он показывал рукой вперед.

Из-за острова стремительно вывернулись головные струги Разина и с ходу врезались в астраханские ряды. За первыми наплывали остальные и заруливали с боков, а иные, проворные, легкие, успели заплыть сзади. С астраханских стругов увидели, что и на берегу — конные — забежали им со спины. И все деловито, скоро, спокойно — как в гости ввалились, да прямо в горницу, в передний угол.

— Вот как воевать-то надо, — тихо сказал князь Львов, бледный. — Пропали. Вот теперь-то уж пропали.

— Здравствуйте, братья! — зазвучал голос Степана; он стоял на носу своего струга и обращался к стрельцам. — Мститесь теперь над вашими лиходеями! Они хуже татар и турка!.. Я пришел дать вам волю!

— Здравствуй, батюшка Степан Тимофеич! — заорали стрельцы и астраханцы. — Рады видеть тебя живым-невредимым!

Боя не было. Стрельцы и гребцы астраханские кинулись вязать своих начальников. Сотники и дворяне, оказавшие хоть малое сопротивление, полетели в воду.

— Вы мне дети и братья! — подстегивал расправу

Разин. — Вы будете богаты, как мы. Мне нужна ваша верность и храбрость. Остальное возьмем вместе! Не бойтесь расправы! Мы сами идем с расплатой. Пора нам наказать бояр! Не все вам спины-то гнуть!.. Вы теперь — вольные казаки!

«Вольные казаки» вязали дворянских, купеческих сынов, отказавшихся от сопротивления, а также всех иноземцев — вели на суд атамана. Суд был короткий — в воду. Только князя Львова не велел убивать Степан. Спросил, правда, казаков, но так спросил, что поняли: не хочет атаман смерти князя Львова. Князя переправили на легкой лодочке на струг атамана.

— Здоров, князюшка! Дал бог, свиделись. Чего такой невеселый? — спросил Степан.

— Пошто?.. Вон как весело! — Князь Семен горько усмехнулся. — Чересчур даже... Пир горой!

— Что Прозоровский сам не пошел? Опять тебя выслал...

— За стенами надежней.

— Не знаю. Я так не думаю. Много ль за стенами осталось?

— Есть...

— Будут со мной биться? Как думаешь?

Князь помолчал.

— Мне то неведомо, атаман. Тебе лучше знать. Есть у тебя свои старатели там... Они знают. Много с тобой в Царицыне бились?

— Есть, — согласился Степан. — Есть, князь. Куда я без их? Я без их как без рук. Максю закатовали? Астрахань мне ответит... Ответит! Прозоровского за ноги повешу. Не веришь?

— Как не верю?! Верю. Вон они... тоже верют, бедняги. — Князь посмотрел на дворян и купеческих сынов, которым вязали за спиной руки, набивали им за пазуху камней и пихали в воду. Дворяне, купцы и иноземные начальники сопротивлялись, не хотели в воду, кричали, плакали, кто помоложе... Князь отвернулся. — Как не верить, не хочешь, да поверишь.

— Что, князь? — спросил Степан. — Страшно?

— Мне что же страшно?.. Тебе за все ответ держать, не мне. Мне их жалко... Как ты решился на такое? — Князь открыто посмотрел на Степана. — Ведь это бунт, Стенька. Да бунт-то какой — невиданный. Как же это можно? Неужель ты не думаешь?

— Жалко тебе их? — переспросил жестко Степан,

кивнув на астраханские струги, с которых летели в воду начальные люди.

Князь Семен помолчал и вдруг сам спросил сердито:

— Как мне тебе ответить: «Нет, не жалко»?

— Вот, — кивнул Степан. — Тебе своих жалко, мне — своих. Сколь тут? — капля в море. Рази вы столько извели, без крова оставили, по миру пустили... А ты говоришь, как решился. Вы-то решились.

— Кто мы-то?

— Вы. Вы хуже Мамая... хуже турка! Вы плачете, а мне кажется, волки воют.

Князь Семен посмотрел на атамана... и ничего не сказал. Но, помолчав, все же решился еще возразить:

— Вам ли, казакам, на судьбу жалиться? Уж кому-кому, а вам-то... грех. Чего вам не хватало-то?

— Со мной не одни казаки, что, не видишь? У меня тут всяких...

— Вы затеяли-то.

— Затеяли-то вы, князь. Не бежали б они к нам да не рассказывали, как вы их там... Собаки! — сорвался Степан на крик. — Стойт тут рот разевает: «вы», «вы-ы»... А вы?! Вон где ваше место! — Степан показал. — На дне! Тоже туда захотел? Жалость свою пялит стойт... У вас ее сроду не было.

Теперь князь замолк, не хотел больше ни возражать, ни спрашивать.

Когда расправились с ненавистными, сошли все на берег... Конные тоже послезали с коней. Раскинулись лагерем и держали совет. И круг решил: «Приступать Астрахань».

14

Рано утром, когда еще митрополит служил заутреню, прибежали в храм перепуганные караульные стрельцы.

— Что вы?

— Беда, святой отец! Стояли мы в карауле у Пречистенских ворот, и незадолго до света было нам чудо: отворилось небо и на город просыпались искры, как из печки. Много!..

— Сие видение извещает, что изольется на нас фиял гнева божия, — сказал митрополит. И поспешил к воеводе. В решающие и опасные минуты жизни трезвый старик верил больше сильному и умному — здесь, на земле. Беда только, что Прозоровский-то — и не сильный, и

не умный — сыромятина, митрополит понимал это, но больше идти некуда.

— Беда, — вздохнул воевода, выслушав рассказ митрополита о чуде. — Господи, на тебя одного надежа. Укрепи город.

Вошел подьячий Алексеев.

— Слыхал чудо-то? — спросил его воевода.

Алексеев глянул на Прозоровского и покривился:

— Это чудо — не чудо. Вон чудо-то, на дворе. Вот это так чудо!

— Чего там? Кто? — вскипулся воевода.

— Стрельцы.

— Денег просют?

— Просют ли?! Так не просют. За горло берут!

— Святой отец, я соберу, сколь могу, остальное добавь ты. Иначе несдобровать нам. — Воевода растерянно и с досадой смотрел на митрополита. — Давайте спасаться.

— Сколь надо-то? — спросил тот.

— Сколь есть, столь и надо. Вели и монастырю Троицкому не поскупиться — для ихнего же живота.

— Шестьсот рублев найду, — сказал митрополит. — Тыщи с две монастырь даст. Ты вперед дать хочешь? Надо дать.

— Надо, отец, ничего больше не выдумаешь. Как ни крути, а все — надо. А то сами возьмут. Чем остановим? Львова, как на грех, нету. Куда они задевались-то? Не беда ли с ими какая? Царица небесная, матушка!.. Тоску смертную чую. Говорил тада: не пускать Стеньку оружного! Нет, пустили...

— Да кто пустил-то? — обозлился Алексеев. — Все вместе и пустили. Пошли теперь друг на дружку валить...

— Платить, платить стрельцам, — отчаянно и горько говорил Прозоровский. — Сколь есть, все отдать. Все! Не жадовать. Один раз пожадовали...

— Только ты перед стрельцами-то не кажи такую спешку — с платой-то, — посоветовал митрополит. — Степенней будь, не суетися.

— Степенней... С голым-то задом много настепенничаешь.

...Стрельцы большой толпой стояли на площади пред приказной палатой. Кричали:

— Где воевода?! Пускай к нам выходит!

— Что нам служить без денег!

— Служить — ладно! На убой идти накладно.

— У нас ни денег, ни запасов нету, пропадать, что ли?!

— Пускай дает жалованье!

Вышел воевода, поздоровался со стрельцами. Стрельцы промолчали на приветствие.

— До этой самой поры, дети мои, — заговорил воевода, — казны великого государя ко мне не прислано...

— Пропадать, что ли?!

— Но я вам дам своего, сколь могу! Дастся вам из сокровищниц митрополита; Троицкий монастырь тоже поможет. Только уж вы не попустите взять нас богоотступнику и изменнику. Не давайтесь, братья и дети, на его изменническую прелесть, постойте доблестно и мужественно против его воровской силы, не щадя живота своего за святую соборную и апостольскую церкву, — и будет вам милость великого государя, какая вам и на ум не взойдет!

Хмурые, непроницаемо чужие лица стрельцов. Нет, это не опора в беде смертной, нет. Нечего и тешить себя понапрасну.

Воевода, митрополит, иностранцы-офицеры понимали это.

— Косподин... Иван Семьеновичш, — заговорил Бутлер от имени ближайших своих, стоявших тут же на крыльце. — Мы просит восфращать нам сфобода, который нам дан, когда мы пришель к этот берег. Мы толжен сполнять тругой прикасаний царский фелишество... Мы будет ехать Персия.

— Пошел ты к дьяволу, — негромко сказал воевода. — Утекать собрался? — И повернулся к Бутлеру: — Подождать надо, капитан! Служба царю теперь здесь будет. Здеся! Вот. Успеете в Персию.

— Почшему? Мы толшен Персия...

— Вот тут будет и Персия, и Турция, и... черт с рогами. Нельзя нас оставлять. Нельзя! Нехорошо это! Не побожески!

— Быть беде, — сам себе сказал митрополит. — Крысы побежали. Ну, держись, Астрахань! Это вам не Заруцкий, это сам сатана идет. Пресвятая Матерь Божья, укрепи хоть этих людишек, дай силы, царица небесная, матушка. Надо стоять!

Созвав духовенство, митрополит устроил крестный ход вокруг всего Белогорода. Вышло торжественно и печально; все понимали: беда неминуча, старались с душой.

Впереди несли икону Божьей Матери; прекрасный лик Матери, прижавшей к себе младенца, вселял в души людей святой ужас далекой казни на горе́.

Обходили кругом стену.

Всякий раз, как шествие доходило до ворот, свершалось молебствие.

Прозоровский с военными осматривали городские укрепления. Обошли также стены, осмотрели пушки, развели по бойницам и по стрельницам стрельцов с ружьями, с бердышами, с рогатинами, расставили пушкарей, затинщиков при затинных пищалях; при всех воротах поставили воротников. Чтобы пресечь всякое сообщение города с внешним миром, велели завалить все ворота кирпичом.

На стенах толклись не только стрельцы, пушкари и затинщики, а и посадские тоже — кто с пищалью, кто с самопалом, кто с топором или копьем, а иные с камнями. Наносили вороха дров, наливали в большие котлы воду — чтобы потом, во время штурма, кипятить ее и из котлов прямо лить сверху на штурмующих.

Однако большого оживления не заметно; с тревогой и с большим интересом посматривают со стены вдаль.

— Только не боитесь, ребятушки! — подбадривал воевода. — Ничего они с нами не сделают. Посидим, самое большое, с недельку. А там войско подойдет: гонцы наши теперь к Москве подъезжают...

— А где ж князь Семен-то? — спрашивали воеводу. — Какие вести-то от его?

— Князь Семен... Он придет! Гонцов на Москву мы надежных послали, резвых — скоро добегут. Постойте, детушки, за царя и церкву святую, не дайте своровать вору — царь и господь не оставют вас.

* * *

Войско Разина стало на урочище Жареные Бугры — в ночь изготовились штурмовать Астрахань.

А уж и кралась ночь, темнело.

Степан был спокоен, весел даже, странен... Костров не велел зажигать, ходил впотьмах с есаулами среди казаков и стрельцов, негромко говорил:

— Ну, ну... Страшновато, ребяты. Кому ишо страшно?

Из тьмы откликались — весело тоже, негромко:

— Да ну уж, батька!.. Чего?

— А стены-то? Чего... Подушками, что ль, оттуда кидаться будут? Это вы... не храбритесь пока: можно гриб съисть.

— Бог даст, батька!..

— Бог даст, ребятушки, бог даст... Оно и обмирать загодя — негоже, правда. Знамо, стены высокие, но мы лазить умеем. Так?

То ли понимал Степан, что надо ему вот так вот походить среди своих, поговорить, то ли вовсе не думал о том, а хотелось самому подать голос, и только, послушать, как станут откликаться, но очень вовремя он затеял этот обход, очень это вышло хорошо, нужно. Голос у Степана грубый, сильный, а когда он не орет, не злится, голос его — родной, умный, милый даже... Он вроде все подсмеивается, но слышно, что — любя, открыто, без никакого потайного обидного умысла. Красивый голос, вся душа его в нем — большая, сильная. Где душа с перевивом, там голос непростой, плетеный, там тоже бывает красиво, но всегда подозрительно. Только бесхитростная душа слышится в голосе ясно и просто.

— Ну, все готово? — спросил Степан есаулов, когда вовсе стемнело. Они стояли кучкой на краю лобастого бугра; снизу, из мокрой долины, тянуло сыростью; мирно квакала лягушня.

— Готово.

— Ночка-то подгодила... — Степан помолчал, подышал вольно волглым воздухом болотца. И стал рассказывать свой замысел.

Говорили все тихо, спокойно.

— Мы с тобой, Иван, пойдем Болдинской протокой, Федор с Васильем прямо полезут. Из протоки мы свернем в Черепаху...

— Углядеть ее, Черепаху-то, — сказал Иван.

— Пошли вперед, кто знает... он нам мигнет огоньком.

— Ну?

— Из Черепахи мы с Иваном заплывем в Кривущу, там не промажем, там я знаю, и мы окажемся с полуденной стороны городка: нас там не ждут. А вы, Василий, Федор, как подступите к стене, то молчите пока. А как услышите наш «нечай», валите с шумом. Где-нибудь да перемахнем... Раньше нас только не лезьте: надо со всех сторон оглушить. С богом, ребяты! Возьмем городок, вот увидите.

15

Тягучую тишину ночи раскололи колокола. Зазвонили все звонницы астраханские: казаки пошли на приступ.

— Дерзайте, братья и дети, дерзайте мужественно! — громко говорил воевода, окруженный стрелецкими головами, дворянами, детьми боярскими, подьячими и приказными. — Дерзайте! — повторял воевода, облекаясь в панцирь. — Ныне пришло время благоприятное за великого государя пострадать, доблестно, даже до смерти, с упованием бессмертия и великих наград за малое терпение. Если теперь не постоим за великого государя, то всех нас постигнет безвременная смерть. Но кто хочет, в надежде на бога, получить блага и наслаждения со всеми святыми, тот пострадает с нами в эту ночь и в это время, не склоняясь на прельщение богоотступника Стеньки Разина...

Это смахивало у воеводы на длинную молитву. Его плохо слушали; вооружались кто как, кто чем. Воеводе подвели коня, крытого попоной. Он не сел, пошел пешком к стене. Коня зачем-то повели следом.

— Дерзайте, дети! — повторял воевода.

— Рады служить великому государю верою и правдою, не щадя живота, даже и до смерти, — как-то очень уж спокойно откликнулся голова стрелецкий Иван Красулин.

— Куда он ударил, разбойник? — спросил его воевода.

— На Вознесенские вороты.

— Туда, детушки! Дерзайте!

Трубили трубы к бою, звонили колокола; там и здесь слышалась стрельба, и нарастал зловещий шум начавшегося штурма.

— И ночь-то выбрали воровскую. Ни зги не видать... Жгите хоть смолье, что ли! — велел воевода.

— Смолья! — подхватили во тьме разные голоса.

У Вознесенских ворот была стрельба с обеих сторон, но не особенно густая. Казаки за стеной больше орали, чем лезли на стену, хоть и корячились с лестницами; лестницы отталкивали со стены рогатинами.

— Да суда ли он ударил-то?! — крикнул Михайло Прозоровский брату. — Обманули ведь нас! Да растудыт твою!.. — Младший Прозоровский чуть не плакал. — Обманули! Обманули ведь нас!..

— А куда же? Куда ударил? — растерялся старший Прозоровский.

— А там что за шум?!

— Где?! — тоже закричал зло первый воевода.

— Да там-то, там-то вон!.. Эх!.. Как детей малых!..

Судьба города решалась там, куда показывал младший Прозоровский, — в южной части. Там астраханцы подавали руки казакам и пересаживали через стены. Там местами шло братание.

Один упрямый пушкарь — то ли не разобравшись, что к чему, то ли из преданности тупой — гремел и гремел из своей пушки подошвенного боя в толпу под стеной. Туда к нему устремились несколько стрельцов, и пушка смолкла: пушкаря прикончили возле пушки.

— В город, братцы! — кричали весело. — Вали!

— Любо эдак-то городки брать! Хх-эх!..

— А где батька-то? В городе?

— На месте батька! Вали!..

Но у Вознесенских ворот продолжалась пальба, и теперь уж бесперебойная, яростная. Казаки упорно лезли на стену, на них лили кипяток, забрасывали камнями, осыпали пулями, они все лезли. Лестницы не успевали отпихивать.

Вдруг в самом городе пять раз подряд выстрелила вестовая пушка (ее «голос» знали все), и со всех сторон послышалось заполошное:

— Ясак! Ясак! — То был крик о пощаде, кричали астраханцы.

Город сдавался.

— Обманули! — заплакал молодой Прозоровский. — Там уж пустили их! А здесь глаза отводют. Эх!..

— Сдаю город! — громко закричал стрелецкий голова Красулин. — Давай, как говорили!..

Это был не крик отчаяния, а — так все и поняли — сигнал к избиению начальных людей. Только воевода, охваченный жаром схватки и обозленный изменой, не понимал, что творится рядом с ним.

— Стойте, ребятушки! — кричал воевода. — Стойте насмерть! Сражайтесь мужественно с изменниками: за то получите милость от великого государя здесь, в земном житии, а скончавшихся в брани ожидают вечные блага вместе с Христовыми мучениками!..

В это время сзади подбежали первые казаки. И началось избиение, жестокое, при огнях.

Младший Прозоровский ринулся с саблей навстречу

казакам, но тотчас был убит наповал выстрелом из пищали в лицо.

Дворяне и приказные одни бросились наутек, другие сплотились вокруг воеводы, отбивались. Однако дело их было безнадежно: наседали и казаки и стрельцы. И стали еще прыгать сверху, со стены, казаки Уса: они сбили преграду на стене и сигали вниз, где кипела рукопашная и полосовались саблями.

— В Кремль! — велел воевода. — В Кремль пробивайтесь!

Но его ударом копья в бок свалил Иван Красулин, голова стрелецкий, пробившийся к нему с несколькими стрельцами.

На Красулина кинулись было дворяне, но казаки быстро взяли его в свои ряды и сильно потеснили приказных, дворян и немногих верных стрельцов. Прибывало казаков все больше и больше.

В суматохе не заметили, как верный холоп поднял воеводу и вынес из свалки еле живого. Было еще одно спасение — Кремль, туда и пятились, отбиваясь, наиболее отважные дети боярские, дворяне и военные иностранцы: в Кремле можно было запереться.

Но уже немного оставалось и их, наиболее отважных и преданных, когда появился Степан. Он был весь в горячке боя — потный, всклокоченный, скорый. Прихрамывал: прострелили на южной стене ногу, мякоть.

— В Кремль! — тоже велел он. — Скорей, пока там не заперлись! Иван, останься — добей этих. В Кремль! К утру надо весь городок взять. Не остывайте!

И повел большую часть казаков к Кремлю.

Стреляли по всему городу. Во многих местах горело, тушить пожары никто не думал. Сопротивление оказывали отдельные отряды стрельцов, отрезанные друг от друга, не зная положения в городе, слыша только стрельбу. Бой длился всю ночь, то затихая, то вспыхивая где-нибудь с новой силой, особенно возле каменных домов и церквей.

...Воеводу положили на ковер в соборной церкви в Кремле. Он стонал.

Фрол Дура, пятидесятник конных стрельцов, стал в дверях храма с готовностью умереть, но не пустить казаков.

Прибежал митрополит. Склонился над воеводой, заплакал...

— Причаститься бы, — с трудом сказал воевода. — Все, святой отец. Одолел вор... Кара. Причасти... умираю. Скажи государю: стоял... Причасти, ради Христа!..

— Причащу, причащу, батюшка ты мой, — плакал митрополит. — Не вор одолел, изменники одолели. За грехи наши наказывает нас господь. За прегрешения наши...

Начали сбегаться в храм приказные, стрелецкие начальники, купцы, дворяне, матери с детьми, девицы боярские, дрожавшие за свою честь... Сгрудились все у иконы Пресвятой Богородицы, молились. Стон, причет, слезы заполнили весь храм под купол; в пустой гулкой темени — высоко и жутко — вскрикивали, бормотали голоса.

Дверной проем храма, кроме дубовой двери, заделывался еще железной решеткой. Храбрый Фрол стоял у входа с ножом, истерично всех успокаивал и, вдохновляя себя, ругал казаков и Стеньку Разина.

Еще прибежали несколько дворян — последние. Закрылись, навесили на крюки тяжелую решетку... Последних вбежавших спрашивали:

— Вошли?

— Где они?

— Вошли... Через Житный и Пречистенские ворота. Пречистенские вырубили. Все посадские к вору перекинулись, стрельцы изменили... Город горит. Светопреставленье!..

В дверь (деревянную) забарабанили снаружи. Потом начали бить чем-то тяжелым, наверно бревном. Дверь затрещала и рухнула. Теперь сдерживала только решетка. Через решетку с улицы стали кричать, чтоб открылись, и стали стрелять. Остро запахло пороховой гарью.

Ужас смертный охватил осажденных. Молились. Выли. Крик рвался из церкви, как огонь. В церковь неистово ломились, били бревном в кованую решетку, отскакивали от встречных выстрелов; трое казаков упало.

Решетка под ударами сорвалась с крюков, с грохотом обрушилась внутрь храма на каменный пол.

Фрола Дуру изрубили на месте.

Воеводу подняли, вынесли на улицу и положили на земле под колокольней. Дворян, купцов, стрельцов — всех, кроме детей, стариков и женщин, вязали, выводили из храма и сажали рядком под колокольню же.

— Тут подождите пока, — говорили им. Никого не били, особенно даже и не злобились.

— А что с нами делать будут? — спросили, кто посмелей, из горестного ряда под колокольней. Но и кто спросил, и кто молчал, с ненавистью и скорбью глядя на победителей, знали, догадывались, что с ними сделают.

— Ждите, — опять сказали им.

— А что сделают-то? — извязался один купец с темпыми выпученными глазами.

— Ждите! Прилип как банный лист... Блинами кормить будут.

Ждали Степана.

Светало. Бой утихал. Только в отдельных местах города слышались еще стрельба и крики.

С восходом солнца в Кремле появился Степан. Хромая, скоро прошел к колокольне, остановился над лежащим воеводой... Степан был грязный, без шапки, кафтан в нескольких местах прожжен, испачкан известкой и кровью. Злой, возбужденный; глаза льдисто блестят, смотрят пристально, с большим интересом.

Суд не сулил пощады.

— Здоров, боярин! — сказал Степан, сказал не злорадствуя, — как если бы ему было все равно, кто перед ним... Или — очень уж некогда атаману — ждут важные дела, не до воеводы; запомнил Степан, как поносил и лаял его воевода здесь же, на этом дворе, прошлой осенью.

Прозоровский глянул на него снизу, стиснул зубы от боли, гнева и бессилия и отвернулся.

— Тебе передавали, что я приду? — спросил Степан. — Я пришел. Как поживает шуба моя?

Из храма вышел митрополит... Увидев атамана, пошел к нему.

— Атаман, пожалей ранетого...

— Убрать! — велел Степан, глянув коротко на митрополита.

Митрополита взяли под руки и повели опять в храм.

— Разбойники! — закричал митрополит. — Как смеете касаться меня?! Анчихристы! Прочь руки!..

— Иди, отче, не блажи. Не до тебя.

— Прочь руки! — кричал крутой старик и хотел даже оттолкнуть от себя молодых и здоровых, но не смог. В дверях ему слегка дали по затылку и втолкнули в храм. У входа стали два казака.

— Принесите боярину шубу, — велел Степан. — Ему

холодно. Знобит боярина. Нашу шубу — даровую от войска, не спутайте.

Доброхоты из приказных побежали за шубой.

Большая толпа астраханцев, затаив дыхание, следила за атаманом. Вот она, жуткая, желанная пора расплаты. Вот он, суд беспощадный. Вот он — воевода всесильный, поверженный, не страшный больше... Да прольется кровь! Да захлебнется он ею, собака, и пусть треснут его глаза — от ужаса, что такая пришла смерть: на виду у всех.

И Разин был бы не Разин, если бы сейчас хоть на миг задумался: как решить судьбу ненавистного воеводы, за то ненавистного, что жрал в этой жизни сладко, спал мягко, повелевал и не заботился.

Принесли шубу. Ту самую, что выклянчил воевода у Степана. Степан и хотел ту самую. Спектакль с шубой надо было доиграть тоже при всех — последнее представление, и конец.

— Стань, боярин... — Степан помог Прозоровскому подняться. — От так... От какие мы хорошие, послушные. Болит? Болит брюхо у нашего боярина. Это кто же ширнул нашему боярину в брюхо-то? Ая-яй!.. Надевай-ка, боярин, шубу. — Степан с помощью казаков силой напялил на Прозоровского шубу. — Вот какие мы нарядные стали! Вот славно!.. Ну-ка, пойдем со мной, боярин. Пойдем мы с тобой высоко-высоко! Ну-ка, ножкой — раз!.. Пошли! Пошли мы с боярином, пошли, пошли... Высоко пойдем!

Степан повел Прозоровского на колокольню. Странно: атаман никогда не изобретал смерти врагам, а тут затеял непростое что-то, представление какое-то.

Огромная толпа в тишине следила — медленно поднимала глаза выше, выше, выше...

Степан и воевода показались наверху, где колокола. Постояли немного, глядя вниз, на народ. И снизу тоже смотрели на них...

Степан сказал что-то на ухо воеводе, похоже, спросил что-то. Слабый, нелепо нарядный воевода отрицательно — брезгливо, показалось снизу, — мотнул головой. Степан резко качнулся и толкнул плечом воеводу вниз.

Воевода грянулся на камни площади и не копнулся. В шубе. Только из кармана шубы выкатилась серебряная денежка и, подскакивая на камнях, с легким звоном покатилась... Прокатилась, подпрыгнула последний раз,

звякнула и успокоилась — легла и стала смотреть светлым круглым оком в синее небо.

Степан пошел вниз.

Начался короткий суд над «лучшими» людьми города — дворянами, купцами, стрелецкими начальниками, приказными кляузниками... Тут — никаких изобретательств. Степан шел вдоль ряда сидящих, спрашивал:

— Кто?

— Тарасов Лука, подьячий приказу...

Степан делал жест рукой — рубить. Следовавшие за ним исполнительные казаки рубили тут же.

— Кто?

— Сукманов Иван Семенов, гостем во граде... Из Москвы...

Жест рукой. Сзади сильный резкий удар с придыхом:

— Кхэк!

— Кто?

— Не скажу, вор, душегубец, раз...

— Ы-ык! Молодой, а жиру!.. Боров.

— Кто?

— Подневольный, батюшка. Крестьянин, с Самары, с приказу, с гумагами послан...

Люди вокруг жадно слушали, как отвечают из ряда под колокольней, не пропускали ни одного слова.

— Врет! — крикнули из толпы, когда заговорил самарец. — С Самары, только не крестьянин, а с приказа, и суда в приказ прислан... Лиходей!

— Кхэк!.. — махнул казак, голова самарского приказного со стуком, с жутким коротким стуком, точно уронили деревянную посудину с квасом, упала к ногам самарца.

Некоторых Степан узнавал.

— А-а, подьячий! А зовут как, забыл...

— Алексей Алексеев, батюшка...

— За ребро, на крюк.

— Батюшка!.. Атаман, богу вечно молить буду, и за детей твоих... Сжалься, батюшка! Можеть, и тебя когда за нас помилуют...

Подьячего уволокли к стене.

— Где хоронить, батька? — спросили Степана.

— В монастыре. Всех в одну братскую.

— И воеводу?

— Всех. По-божески — с панихидой. Жены и дети... пусть схоронют и отпоют в церкви. Баб в городе не трогать. — Степан строго поглядел на казаков, еще раз сказал: — Сильничать баб не велю! Только — полюбовно.

На площадь перед приказной палатой сносили всякого рода «дела», списки, выписи, грамоты... Еще один суд — над бумагами. Этот суд атаман творил вдохновенно, безудержно.

— Вали!.. В гробину их!.. — Степан успел хватить «зелена вина»; он не переоделся с ночи, ни минуты еще не имел покоя, ни разу не присел, но сила его, казалось, только теперь начала кидать его, поднимать, раскручивать во все стороны. Он не мог сладить с ней. — Все?

— Все, батька!

— Запаляй!

Костер празднично запылал; и мерещилось в этом веселом огне — конец всякому бессовестному житью, всякому надругательству и чванству и — начало жизни иной, праведной и доброй. Как ждут, так и выдумывают.

— Звони! — заорал Степан. — Во все колокола!.. Весело, чтоб плясать можно. Бего-ом! Все плясать будем!

Зазвонили с одной колокольни, с другой, с третьей... Скоро все звонницы Кремля и Белого города названивали нечто небывало веселое, шальное, громоздкое. Пугающие удары «музыки», срываясь с высоты, гулко сшибались, рушились на людей, вызывая страшный зуд в душе: охота было сделать несуразное, дерзкое — охота прыгать, орать... и драться.

Степан сорвал шапку, хлопнул оземь и первый пошел вокруг костра. То был пляс и не пляс — что-то вызывающе-дикое, нагое: так выламываются из круга и плюют па все.

— Ходи! — заорал он. — Тю!.. Ох, плясала да пристала, сяла на скамеечку. Ненароком придавила свою канареечку! Не сбавляй!.. Вколачивай!

К атаману подстраивались сзади казаки и тоже плясали, притопывали, приседали, свистели, ухали по-бабьи... Наладился развеселый древний круг. Подбегали из толпы астраханцы, кто посмелей, тоже плясали, тоже чесалось.

Черными испуганными птицами кружили в воздухе обгоревшие клочки бумаг; звонили вовсю колокола; плясали казаки и астраханцы, разжигали себя больше и больше.

— Ходи! — кричал Степан. Сам он «ходил» серьезно, вколачивая ногой... Странная торжественность была на его лице — какая-то болезненная, точно он после мучительного долгого заточения глядел на солнце. — Накаляй!.. Вколачивай — тут бояры ходили... Тут и спляшем!

Плясали: Ус, Мишка Ярославов, Федор Сукнин, Лазарь Тимофеев, дед Любим, Семка Резаный, татарчонок, Шелудяк, Фрол Разин, Кондрат — все. Свистели, орали.

Видно, жила в крови этих людей, горела языческая искорка — то был, конечно, праздник: сожжение отвратительного, ненавистного, злого идола — бумаг. Люди радовались.

Степан увидел в толпе Матвея Иванова, поманил рукой к себе. Матвей подошел. Степан втолкнул его в круг:

— Ходи!.. Покажь ухватку, Рязань. Мешком солнышко ловили, блинами тюрьму конопатили... Ходи, Рязань!

Матвей с удовольствием пошел, смешно семеня ногами, и подпрыгивая, и взмахивая руками. Огрызнулся со смехом:

— Гляди, батька, а то я про донцов... тоже знаю!

Костер догорал.

Догадливый Иван Красулин катил на круг бочку с вином.

— Эге!.. Добре, — похвалил Степан. — Выпьем, казаченьки!

Улюлюкающий, свистящий, бесовский круг распался.

Выбили в бочке дно; подходили, черпали чем попало — пили.

Астраханцы завистливо ухмылялись.

— Всем — вина! — велел Степан. — Что ж стоите? А ну — в подвалы! Все забирайте! У воеводы, у митрополита — у всех! Дуваньте поровну, не обижайте друг дружку! Кого обидют, мне сказывайте! Баб не трогать!

— Дай дороги, черти дремучие! — раздался вдруг чей-то звонкий, веселый голос. Народ расступился, но все еще никого не видно. — Шире грязь, назем плывет! — звенел тот же голос, а никого нет. И вдруг увидели: по узкому проходу, образовавшемуся в толпе, прыгает, опираясь руками о землю, человек. Веселый, молодой парень, крепкий, красивый, с глазами ясного цвета. Ноги есть, но высохшие, маленькие, а прыгает ловко, податливо, скорей пешего. Астраханцы знали шумного калеку, почтительно и со смехом расступались. Тот подпрыгал к Разину, смело посмотрел снизу и смело заговорил:

— Атаман!.. Рассуди меня, батюшка, с митрополитом.

— Ты кто? — спросил Степан.

— Алешка Сокол. Богомаз. С митрополитом у нас раздор...

— Так. Чего ж митрополит?

— Иконки мои не берет! — Алешка стал доставать из-за пазухи иконки в ладонь величиной, достал несколько...

Степан взял одну, посмотрел.

— Ну?..

— Не велит покупать у меня! — воскликнул Алешка.

— Пошто?

— А спроси его? Кто там? — Алешка показал снизу на иконку, которую Степан держал в руках.

— Где? — не понял Степан.

— На иконке-то.

— Тут?.. Не знаю.

— Исус! Вот. Так он говорит: нехороший Исус!

— Чем же он нехороший? Исус как Исус... Похожий, я видал таких.

— Во! Он, говорит, недобрый у тебя, злой. Где же он злой?! Вели ему, батюшка, покупать у меня. Мне исть нечего.

Матвей взял у Алешки иконку, тоже стал разглядывать. Усмехнулся.

— Чего ты? — спросил его Степан.

— Ничего... — Матвей качнул головой, опять усмехнулся и сказал непонятно: — Ай да митрополит! Злой, говорит?

— Как тебе Исус? — спросил Степан, недовольный, что Матвей не говорит прямо.

— Хороший Исус. Он такой и есть. Я б тоже такого намазал, если б умел, — сказал Матвей, возвращая богомазу иконку. — Строгий Исус. Привередничает митрополит...

Степану показалось, что это большая и горькая обида, которую нанесли калеке. Опять от мстительного чувства вспухли и натянулись все его жилы.

— Где митрополит? — спросил он.

— В храме.

— Пошли, Алешка, к ему. Счас он нам ответит, чем ему твой Исус не глянется.

Они пошли. Степан скоро пошагал своим тяжелым, хромающим шагом, чуть не побежал, но спохватился и сбавил. Алешка прыгал рядом... Торопился. Рассыпал иконки, остановился, стал наскоро подбирать их и совать за пазуху. И все что-то рассказывал атаману — звенел его чистый, юношеский голос. Степан ждал и взглядывал в нетерпении на храм.

К ним подошел Матвей; он тоже вознамерился пойти с атаманом.

— Ты, мол, обиженный, потому мажешь его такого! — рассказывал Алешка. — А я говорю: да ты что? Без ума, что ли, бьесся? Что это я на него обиженный? Он, что ли, ноги мне отнял?

— Степан Тимофеич, возьми меня с собой, — попросил Матвей. — Мне охота послухать, чего митрополит станет говорить.

— Пошли, — разрешил Степан.

Алешка собрал иконки. Пошли втроем. Вошли в храм.

Митрополит молился перед иконой Божьей Матери. На коленях. Увидев грозного атамана, вдруг поднялся с колен, поднял руку, как для проклятия...

— Анчихрист!.. Душегубец! Земля не примет тебя, врага господня! Смерти не предаст... — Митрополит, длинный, седой и суровый, сам внушал трепет и почтение.

— Молчи, козел! Пошто иконки Алешкины не велишь брать? — спросил Степан, меряясь со старцем гневным взглядом.

— Какие иконки? — Митрополит посмотрел на Алешку.

— Алешкины иконки! — повысил голос Степан.

— Мои иконки! — смело тоже заорал Алешка.

— Ах, ябеда ты убогая! — воскликнул изумленный митрополит. — К кому пошел жалиться-то? К анчихристу! Он сам его растоптал, бога-то... А ты к нему же и жалиться! Ты вглядись: анчихрист! Вглядись! — Старик прямо показал на Разина. — Вглядись: огонь-то в глазах... свет-то в глазах — зеленый! — Митрополит все показывал на Степана и говорил громко, почти кричал. — Разуй его — там копытья!..

— Отвечай! — Степан подступил к митрополиту. — Чем плохой Исус? Скажи нам, чем плохой?! — Степан тоже закричал, невольно защищаясь, сбивая старца с высоты, которую тот обрел вдруг с этим «анчихристом» и рукой своей устрашающей.

— Охальник! На кого голос высишь?! — сказал Иосиф. — Есть ли крест на тебе? Есть ли крест?

Степан болезненно сморщился, резко крутнулся и пошел от митрополита. Сел на табурет и смотрел оттуда пристально, неотступно. Он растерялся.

— Чем плохой Исус, святой отче? — спросил Матвей. — Ты не гневайся, а скажи толком.

Митрополит опять возвысил торжественно голос:

— Господь бог милосердный отдал сына своего на смерть и муки... Злой он у тебя! — вдруг как-то даже с визгом, резко сказал он Алешке. — И не ходи, и не жалься. Не дам бога хулить! Исус учил добру и вере. А этот кому верит? — Митрополит выхватил у Алешки иконку и ткнул ею ему в лицо. — Этому впору нож в руки да воровать на Волгу. С им вон, — Иосиф показал на Степана. — Живо сговорятся...

Степан вскочил и пошел из храма.

— Ну, зря ты так, святой отец, — сказал Матвей. — Смерти, что ль, хочешь себе?

— Рука не подымется у злодея...

— У тебя язык подымается, подымется и рука. Чего разошелся-то?

— Да вот ведь... во грех ввел! — Митрополит в сердцах ударил Алешку иконкой по голове и повернулся к Богородице: — Господи, прости меня, раба грешного, прости меня, матушка-Богородица... Заступись, Пресвятая Дева, образумь разбойников!

Алешка почесал голову; он тоже сник и испугался.

— Злой... А сам-то не злой?

— Выведите из терпения!..

Тут в храм стремительно вошел Степан... Вел с собой Семку Резаного.

— Кого тут добру учили? — запально спросил он, опять подступая к митрополиту. — Кто тут милосердный? Ты? Ну-ка глянь суда! — Сгреб митрополита за грудки и подтащил к Семке. — Открой рот, Семка. Гляди!.. Гляди, сучий сын! Где так делают?! Можеть, у тебя в палатах? Ну, милосердный козел?! — Степан крепко встряхнул Иосифа. — Всю Русь на карачки поставили с вашими молитвами, в гробину вас, в три господа бога мать!.. Мужику голос подать не моги — вы тут как тут, рясы вонючие! Молись Алешкиному Исусу! — Степан выхватил из-за пояса пистоль. — Молись! Алешка, подставь ему свово Исуса.

Алешка подпрыгал к митрополиту, прислонил перед ним иконку к стене.

— Молись, убью! — Степан поднял пистоль.

Митрополит плюнул на иконку.

— Убивай, злодей, мучитель!.. Казни, пес смердящий! Будь ты проклят!

Степана передернуло от этих слов. Он стиснул зубы... Побелел.

Матвей упал перед ним на колени.

— Батька, не стреляй! Не искусись... Он — хитрый, он нарошно хочет, чтоб народ отпугнуть от нас. Он — старик, ему и так помирать скоро... он хочет муку принять! Не убивай, Степан, не убивай! Не убивай!

— Сука продажная, — усталым, чуть охрипшим голосом сказал Степан, засовывая пистоль за пояс. — Июда. Правду тебе сказал Никон: Июда ты! Сапоги царю лижешь... Не богу ты раб, царю! — Степана опять охватило бешенство, он не знал, что делать, куда деваться с ним.

Иосиф усердно клал перед Богородицей земные поклоны, шептал молитву, на атамана не смотрел.

Степан с томлением великим оглянулся кругом... Посмотрел на митрополита, еще оглянулся... Вдруг подбежал к иконостасу, вышиб икону Божьей Матери и закричал на митрополита, как в бою:

— Не ври, собака! Не врите!.. Если б знал бога, рази б ты обидел калеку?

— Батька, не надо так... — ахнул Алешка.

— Бей, коли, руби все, — смиренно сказал Иосиф. — Дурак ты, дурак заблудший... Что ты делаешь? Не ее ты ударил! — Он показал на икону. — Свою мать ударил, пес.

Степан вырвал саблю, подбежал к иконостасу, несколько раз рубанул сплеча витые золоченые столбики, но сам, видно, ужаснулся... постоял, тяжело дыша, глянул оторопело на саблю, точно не зная, куда девать ее...

— Господи, прости его! — громко молился митрополит. — Господи, прости!.. Не ведает он, что творит. Прости, господи.

— Ух, хитрый старик! — вырвалось у Матвея.

— Батька, не надо! — Алешка заплакал, глядя на атамана. — Страшно, батька...

— Прости ему, господи, поднявшему руку, — не ведает он... — Митрополит смотрел вверх, на распятие, и крестился беспрестанно.

Степан бросил саблю в ножны, вышел из храма.

— Кто породил его, этого изверга! — горестно воскликнул митрополит, глядя вслед атаману. — Не могла она его приспать грудного в постеле!..

— Цыть! — закричал вдруг Матвей. — Ворона... Туда же — с проклятием! Поверни его на себя, проклятие свое, бесстыдник. Приспешник... Руки коротки — проклинать! На себя оглянись... Никона-то вы как?.. А, небось языки не отсохли — живы-здоровы, попрошайки.

Степан шагал мрачный через размахнувшийся вширь гулевой праздник. На всей площади Кремля стояли бочки с вином. Казаки и астраханцы вовсю гуляли. Увидев атамана, заорали со всех сторон:

— Будь здоров, батюшка наш, Степан Тимофеич!

— Дай тебе бог много лет жить и здравствовать, заступник наш!

— Слава батюшке Степану!

— Слава вольному Дону!

— С нами чару, батька?

— Гуляйте, — сказал Степан. И вошел в приказную палату.

Там на столе, застеленном дорогим ковром, лежал мертвый Иван Черноярец. Ивана убили в ночном бою. Никого в палате не было.

Степан тяжело опустился на табурет в изголовье Ивана.

— Вот, Ваня... — сказал. И задумался, глядя в окно. Даже сюда, в каменные покои, доплескивался шумный праздник.

Долго сидел так атаман — вроде прислушивался к празднику, а ничего не слышал.

Скрипнула дверь... Вошел Семка Резаный.

— Что, Семка? — спросил Степан. — Не гуляется? Семка промычал что-то.

— Мне тоже не гуляется, — сказал Степан. — Даже пить не могу. Город взяли, а радости... нету, не могу нисколь в душе наскрести. Вот как бывает.

И опять долго молчал. Потом спросил:

— Ты богу веришь, Семка?

Семка утвердительно кивнул головой.

— А веришь, что мы затеяли доброе дело? Вишь, поп-то шумит... бога топчем. Рази мы бога обижаем? У меня на бога злости нет. Бога топчем... Да пошто же? Как это? Как это мы бога топчем? Ты не думаешь так?

Семка покачал головой, что — нет, не думает. Но его беспокоило что-то другое — то, с чем он пришел. Он стал мычать, показывать: показывал крест, делал страшное лицо, стал даже на колени... Степан не понимал. Семка поднялся и смотрел на него беспомощно.

— Не пойму... Ну-ка ишо, — попросил Степан.

Семка показал бороду, митру на голове — и на храм, откуда он пришел, где и узнал важное, ужасное.

— Митрополит?

Семка закивал, замычал утвердительно. И все продолжал объяснять: что митрополит что-то сделает.

— Говорит? Ну... Чего митрополит-то? Чего он, козел? Лается там небось? Пускай...

Семка показал на Степана.

— Про меня? Так. Ругается? Ну и черт с им!

Семка упал на колени, занес над головой крест.

— Крестом зашибет меня?

— Ммэ... э-э... — Семка отрицательно затряс головой. И продолжал объяснять: что-то страшное сделают со Степаном — митрополит сделает.

— А-а!.. Проклянут? В церквах проклянут?

Семка закивал утвердительно. И вопросительно, с тревогой уставился на Степана.

— Понял, Семка: проклянут на Руси. Ну и... проклянут. Не беда. А Ивана тебе жалко?

Семка показал, что — жалко. Очень... Посмотрел на Ивана.

— Сижу вот, не могу поверить: неужели Ивана тоже нету со мной? Он мне брат был. Он был хороший... Жалко. — Степан помолчал. — Выведем всех бояр, Семка, тада легко нам будет, легко. Царь заартачится, — царя под зад, своего найдем. Люди хоть отдохнут. Везде на Руси казачество заведем. Так-то... Это по-божески будет. Ты жениться не хошь?

Семка удивился и показал: нет.

— А то б женили... Любую красавицу боярскую повенчаю с тобой. Приглядишь, скажи мне — свадьбу сыграем. Ступай позови Федора Сукнина.

Семка ушел.

Степан встал, начал ходить по палате. Остановился над покойником. Долго вглядывался в недвижное лицо друга. Потрогал зачем-то его лоб... Поправил на груди руку, сказал тихо, как последнее сокровенное напутствие:

— Спи спокойно, Ваня. Они за то будут кровью плакать.

Пришел Сукнин.

— Ступай к митрополиту в палаты, возьми старшего сына Прозоровского, Бориса, и приведи ко мне. Они там с матерью.

Сукнин пошел было исполнять.

— Стой, — еще сказал Степан. — Возьми и другого сына, младшего, и обоих повесь за ноги на стене.

— Другой-то совсем малой... Не надо, можеть.

— Я кому сказал! — рявкнул Степан. Но посмотрел на Федора — в глазах не злоба, а мольба и слезы стоят. И сказал негромко и непреклонно: — Надо.

Суконин ушел.

Вошел Фрол Разин.

— Там Васька разошелся... Про тебя в кружале орет что попало.

— Что орет?

— Он-де Астрахань взял, а не ты. И Царицын он взял.

Степан горько сморщился, как от полыни; прихрамывая, скоро прошел к окну, посмотрел, вернулся... помолчал.

— Пень, — сказал он. — Здорово пьяный?

— Еле на ногах...

— Кто с им? — Степан сел в деревянное кресло.

— Все его... Хохлачи, танбовцы. Чуто́к Ивана Красулина не срубил. Тот хотел ему укорот навести...

Степан вскочил, стремительно пошел из палаты.

— Пойдем. Счас он у меня Могилев возьмет.

Но в палату, навстречу ему, тоже решительно и скоро вошел Ларька Тимофеев, втолкнул Степана обратно в покои... Свирепо уставился атаману в глаза.

— Еслив ты думаешь, — заговорил Ларька, раздувая ноздри, — что ты один только в ответе за нас, то мы так не думаем. Настрогал иконок?!

Степан растерянно, не успев еще заслониться гневом, как щитом, смотрел на есаула.

— Ты что, сдурел, Ларька? — спросил он.

— Я не сдурел! Это ты сдурел!.. Иконы кинулся рубить. А митрополит их всем показывает. Зовет в церкву и показывает... Заместо праздника-то... горе вышло: испужались все, дай бог ноги — из церквы. На нас глядеть боятся...

До Степана теперь только дошло, как неожиданно и точно ударил митрополит: ведь он же сейчас нагонит на людей страху, отвернет их, многих... О, проклятый, мудрый старик! Вот это — дал так дал.

Степан сел опять в кресло. Посмотрел на Ларьку, на брата Фрола... Качнул головой.

— Что делать, ребята? Не подумал я... Что делать, говорите? — заторопил он.

— Закрыть церкву, — подсказал Фрол.

— Как закрыть? — не понял Ларька.

— Закрыть вовсе... не пускать туда никого.

— А? — вскинулся с надеждой Степан.

— Нет... видели уж, — возразил Ларька. — Так хуже.

— А как? — чуть не в один голос попросили Степан и Фрол. — Как же? — еще спросил Степан. — Разбегутся ведь, правда.

— Сам не знаю. Выдь на крыльцо, скажи: «Сгоряча, мол, я...»

— Ну, — неодобрительно сказал Степан. — Это что ж... Знамо, что сгоряча, но ведь — иконы! А там — мужичье: послушать послушают, а ночью все равно тайком утянутся. Где Матвей? Ну-ка, Фрол, найди Матвея.

— Э-э! — воскликнул Ларька. — Давай так: я мигом найду монаха какого-нибудь, научу его, он выйдет и всем скажет: «Там, мол, митрополит иконы порушенные показывает: мол, Стенька изрубил их — не верьте: митрополит сам заставил меня изрубить их, а свалить на Стеньку». А?

Братья Разины, изумленные стремительным выівертом бессовестного Ларьки, молча смотрели на него. Есаул мыслил, как в ненавистный дом крался: знал, где ступить неслышно, как пристукнуть хозяина и где вымахнуть, на случай беды, — все знал.

— Где ты такого монаха найдешь? — спросил Степан первое, что пришло в голову; Ларька часто его удивлял.

— Господи!.. Найду. Что, монахи жить, что ли, не хочут? Все жить хочут.

— Иди, — сказал Степан. — Иди, останови митрополита вредного. Промахнулся я с им.

— А ты потом выйдешь и устыдишь митрополита принародно. Скажи: «Ая-яй-яй, старый человек, а такую напраслину на меня...»

— Нет, — возразил Степан, — я не пойду. Сам устыди его хорошенько. А батька, скажи всем, пьяный лежит. Нет, не пьяный, а... куда-то ушел с казаками. Найди, найди скорей монаха, надавай ему всякой всячины — пусть разгласит всем, что иконы рубил. Хорошая у тебя голова, Ларька. Не пьешь, вот она и думает хорошо. Молодец. Ай, как я оплошал!..

Трезвый Ларька, а с ним и Фрол пошли улаживать дело.

Ларька смолоду как-то чуть не насмерть отравился «сиухой» и с тех пор не мог пить. Казнился из-за этого — стыд убивал, но никакая сила не могла заставить

его проглотить хоть глоток вина: пробовал — тут же все вылетало обратно, потом был скрежет зубовный и страдание. Так и жил — мерином среди жеребцов донских. Может, оттого и злобился лишний раз.

— Мы с Федькой Шелудяком будем стыдить митрополита, — сказал оборотистый есаул Фролу, — а пока монаха пошукаем... Нет, давай-ка так сделаем, — приостановился Ларька, — вы с Федькой Сукниным народу суда назовите побольше — вести, мол, важные, а я монаха приведу. Потом уж митрополита вытащшим...

— Матвея тоже возьмите с собой, — посоветовал Фрол, — пусть тоже пристыдит его. Мужичьими словами... он умеет.

— Да пошел он... ваш Матвей — без его управимся.

...Уса Степан не нашел в кружалах: собутыльники Уса, прослышав, что его ищет гневный атаман, заблаговременно увели куда-то совсем пьяного Василия.

На берегу Волги казаки и стрельцы, приставшие к казакам, дуванили добро астраханских бояр. Степан пошел туда, проверил, что делят справедливо, набрал с собой голи астраханской и повел селить в дома побитых начальных людей и купцов. Скоро за атаманом увязался весь почти посад астраханский... Многие наизготовке несли с собой скарб малый — чтоб немедля и вселяться в хоромы.

Сперва ходили по домам убитых у Черного Яра, потом пошли в дома убитых в эту ночь и в утро, но народу за атаманом прибывало... Степан вышел на главную улицу — от Волги к Белому городу — и пошел подряд по большим домам: селил бедноту и рвань.

Почти в каждом доме ни хозяина, ни взрослых сыновей не оказывалось — прятались. Остальных домочадцев и слуг выгоняли на улицу... Везде были слезы, вой. Никого не трогали — атаман не велел. Давали забрать пожитки... И в каждом доме справляли новоселье с новыми хозяевами. И в каждом доме — поминки по Ивану Черноярцу.

К концу дня Степан захмелел крепко. Вспомнил Уса, сгребся, пошел опять искать его. К тому времени с ним были трезвые только Матвей Иванов, Федор Сукнин и брат Фрол. Степан то лютовал и грозился утопить Ваську, то плакал и звал Ивана Черноярца... В первый раз, когда Матвей увидел, как плачет Степан, у него волосы

встали дыбом. Это было страшно... Видел он Степана в жуткие минуты, но как-то знал — по глазам — это еще не предел, не безумство. Вот — наступил предел. Вот горе породило безумство. В глазах атамана, ничего не видящих, криком кричала одна только боль.

Оказались возле Кремля, Степан пошел в приказную палату, где лежал Иван. Упал в ноги покойного друга и завыл... И запричитал, как баба:

— Ваня, да чем же я тебя так обидел, друг ты мой милый?! Зачем ты туда? О-ох!.. Больно, Ваня, тоска-а! Не могу! Не могу-у!..

Степан надолго умолк, только тихо, сквозь стиснутые зубы стонал и качал головой, уткнувшись лицом в ладони. Потом резко встал и начал поднимать Ивана со смертного ложа.

— Вставай, Ваня! Ну их к... Пошли гулять.

Иван с разбитой головой повис на руках Степана... А Степан все хотел посадить его на столе, чтобы он сидел, как Стырь сидел в царицынском приказе.

— Гулять будем! Тошно мне без тебя... — повторял он.

— Степан, родной ты мой, — взмолился Матвей. — Степушка!.. Мертвец он, Иван-то, куда ты его? Положь. Не надо. Убитый он, очнись ты, ради Христа истинного, чего ты тормошишь-то его: убили его.

Вот тут-то сделалось страшно Матвею. Степан глянул на него... И Матвей оторопел — на него глянули безумные глаза, знакомые, дорогие до слез, но — безумные.

— Кто убил? — спросил тихо Степан. Он все держал тело в руках.

— В бою убили... — Матвей попятился к двери. — Ночью...

— Кто? Он со мной был все время.

— Опомнись, Степан, — сказал Федор. — Ну, убили... Рази узнаешь теперь? Возле ворот кремлевских... стрельнули. Иван, царство небесное, завсегда вперед других лоб подставлял. Со стены стрельнули. И не с тобой он был, а с дедкой Любимом, вон спроси Любима, он видал... Мы уж в городе были, а у ворот отбивались ишо.

Степан долго стоял с телом в руках, что-то с трудом, мучительно постигая. Горестно постиг, прижал к груди окровавленную голову друга, поцеловал в глаза.

— Убили, — сказал он. — Отпевать надо. А не обмыли ишо...

— Да положь ты его... — опять заговорил было Мат-

вей, но Федор свирепо глянул на него, дал знак: пусть отпевает! Пусть лучше возится с покойным, чем иное что. Вся Астрахань сейчас — пороховая бочка, не хватает, чтоб Степан бросил в нее головню: взлетит к чертовой матери весь город — на помин души Ивана Черноярца. Стоит только появиться Разину на улице и сказать слово.

— Отпевать надо, — поспешил исправить свою оплошность Матвей. — А как же? Надо отпевать — он христианин.

— Надо, — сказал и Фрол Разин.

Степан понес тело в храм.

— Зовите митрополита, — велел он.

Митрополита искали, но не нашли. Стыдили-таки его, принародно стыдили — Ларька и Шелудяк — за «подлог». У митрополита глаза полезли на лоб... Особенно его поразило, что нашелся монах, уличивший его во лжи. После того он исчез куда-то — должно быть, спрятался.

Отпевал Ивашка Поп, расстрига.

Потом поминали всех убиенных...

16

Утром Степана разбудил Матвей.

— Степан, а Степан!.. — толкал он атамана. — Подымись-ка!

— А? — Степан разлепил веки: незнакомое какое-то жилье, сумрачно, только еще светало. — Чего?

— Вставать пора.

— Кто тут?

— Подымись, мол. Я это, Матвей.

Степан приподнял тяжелую хмельную голову, огляделся вокруг. С ним рядом лежала женщина, блаженно щурила сонные глаза. Молодая, гладкая и наглая.

— Ты кто такая? — спросил ее Степан.

— Жонка твоя. — Баба засмеялась.

— Тю!.. — Степан отвернулся.

— Иди-ка ты отсудова! — сердито сказал Матвей бабе. — Развалилась... дура сытая. Обрадовалась.

— Степан, застрель его, — сказала баба.

— Иди, — велел Степан, не глядя на «жонку».

Баба выпростала из-под одеяла крепкое, нагулянное тело, сладко, со стоном потянулась... И опять радостно засмеялась.

— Ох,ноченька!.. Как только и выдюжила.

— Иди, сказали! — прикрикнул Матвей. — Бесстыжая... Урвала ночку — тем и будь довольная.

— На, поцалуй мою ногу. — Баба протянула Матвею ногу.

— Тьфу!.. — Матвей выругался, он редко ругался. Степан толкнул бабу с кровати.

Баба притворно ойкнула, взяла одежонку и ушла куда-то через сводчатый проем в каменной стене.

Степан спустил ноги с кровати, потрогал голову.

— Помнишь что-нибудь? — спросил Матвей.

— Найди вина чару. — Степан тоскливо поискал глазами по нарядной, с высокими узкими окнами белой палате. — Мы где?

Матвей достал из кармана темную плоскую бутыль, подал.

— В палатах воеводиных.

Степан отпил с жадностью, вздохнул облегченно:

— Ху!.. — Посидел, свесив голову.

— Степан, так нельзя... — Матвей изготовился говорить долго и внушительно. — Эдак мы не только до Москвы, а куда подальше сыграем — в гробину, как ты говоришь. Когда...

— Где Васька? — спросил Степан.

— Где Васька?.. Кто его знает? Сидит где-нибудь так же вот — похмеляется. Ты помнишь, что было-то?

Степан поморщился:

— Не гнуси, Матвей. Тошно.

— Будет тошно! С Васькой вам разойтиться надо, пока до беды не дошло. Вместе вам ее не миновать. Оставь его тут атаманом — куда с добром! И — уходить надо, Степан. Уходить, уходить. Ты человек войсковой — неужель ты не понимаешь? Сопьются же все с круга!.. Нечего нам тут делать больше! Теперь мужа с топором — нету. За спиной-то...

— Понимаешь. понимаешь... А не дать погулять — это тоже обида. Вот и не знаю, какая беда больше: дать погулять или не дать погулять. С твое-то и я понимаю, Матвей, а дальше... никак не придумаю: как лучше?

— Сморите маленько. Да сам-то поменьше пей. Дуреешь ты — жалко же. И страшно делается, Степан. Страшно, ей-богу.

— Опять учить пришел? — недовольно сказал Степан.

Матвей на этот раз почему-то не испугался.

— Маленько надо. Царем, вишь, мужицким собира-

нсся стать — вот и слушай: я мужик, стану тебе подсказывать — где не так. — Матвей усмехнулся. — Мне, стало быть, и подсказать можно, где не так делаешь: не боярам же тада подсказывать...

— Каким царем? — удивился Степан. — Ты что?

— Вчерась кричал. Пьяный. — Матвей опять усмехнулся. — А знаешь, какой мужику царь нужен?

— Какой? — не сразу спросил Степан.

— Никакой.

— Так не бывает.

— А еслив не бывает, тада уж такой, какой бы не мешал мужикам. И чтоб не обдирал наголо. Вот какого надо. Тут и вся воля мужицкая: не мешайте ему землю пахать. Да ребятишек ростить. Все другое он сам сделает: свои песни выдумает, свои сказки, свою совесть, указы свои... Скажи так мужику, он пойдет за тобой до самого конца. И не бросит. Дальше твоих казаков пойдет. И не надо его патриархом сманывать — что он вроде с тобой идет...

Степан заинтересовался:

— Вон как!.. А вот здесь у тебя промашка, хоть ты и умный: он, мужик твой...

— Да пошто же он мой-то?

— Чей же?

— Твой тоже. Чего ты от его отрекаесся?

— Хрен с им, чей он! Он своего поместника изведет и подумает: хватит, теперь я вольный. А невдомек дураку: завтра другого пришлют. А еслив он будет знать, что с им патриарх поднялся да царевич...

— Какой царевич? — удивился Матвей.

— Алексей Алексеич.

— Он же помер!

— Кто тебе сказал? — Степан пытливо глядел на рязанца, точно проверяя на нем эту неслыханную весть.

— Да помер он! — заволновался было Матвей.

— Врут. Он живой... Царь с боярами допекли его, он ушел от их. Он живой.

Матвей внимательно посмотрел на Степана. Понял.

— Во-он ты куда. Ушел?

— Ушел.

— И к тебе пришел?

— И ко мне пришел. А к кому больше?

— Знамо дело, больше некуда. Про Гришку Отрепьева слыхал?

— Про Гришку? — Степан вдруг задумался, точно

пораженный какой-то сильной, нечаянной мыслью. — Слыхал про Гришку, слыхал... Как бабу-то зовут?

— Какую?

— Жонку-то мою...

Матвей засмеялся:

— Ариной.

— Ариша! — позвал Степан.

Арина вошла, одетая в дорогие одежды.

— Чево, залетка моя? Чево, любушка...

— Тьфу! — обозлился Степан. — Перестань! Сходи передай казакам: пускай найдут Мишку Ярославова. Чтоб бегом ко мне!

Арина скорчила Матвею рожу и ушла.

Степан надел штаны, чулки. Заходил по палате.

— А бог какой мужику нужен? — спросил через свои думы.

— Бог?.. — Теперь и Матвей задумался, хотел сказать серьезно, а серьезно, вплотную никогда так не думал — какой мужику бог нужен.

— Ну? — не сразу переспросил Степан; из всех разговоров с умным мужиком он не понял: верует тот богу или нет.

— Да вот думаю. Какой-то, знаешь... чтоб мне перед им на карачках не ползать. Свойский. Чтоб я с им — по-соседски, как ты вон рассказывал. Был у меня в деревне сосед... Старик. Вот такого бы. Так живой, говоришь, царевич?

— Что ж старик? — Степан не хотел больше про царевича.

— Старик мудрóй... Тот говорил: я сам себе бог.

— Ишь ты!

— Славный старик. Помер, царство небесное. Такого я б не боялся. А ишо — понимал бы я его хоть. Того вон, — Матвей посмотрел на божницу, — не понимаю. Всю жись меня им пугают, а за что? — не пойму. Ты вон страшный, но я хоть понимаю: так уж человек себя любит, что поперек не скажи — убьет.

Степан остановился перед Матвеем, но тот опередил его неожиданным вопросом:

— А меня-то правда любишь? — спросил.

— Как это? — опешил Степан.

— Вчерась говорил, что жить без меня не можешь. — Матвей искренне засмеялся. — Ох, Степан, Степан... смешной ты. Не всегда, правда, смешной. Да как же царевич-то уцелел, а?

— Я его про бога, он мне про царевича. С царевичем дело простое: поведем на Москву, спросим отца и бояр: чего там у их?.. Ты богу веруешь?

— Про бога, Тимофеич... не надо — боюся. Думать даже боюся. Вишь, тут как: залезешь в душу-то, по правдишному-то, а там и говорить нечего — черным-черно. Вовсе жуть возьмет.

Вошел Мишка Ярославов.

— Здорово ночевал, батька! — Сам Мишка не светлей атамана с утра; только, видно, разбудили, опухший.

— Здорово. Садись пиши. — Степан недовольно посмотрел на есаула. — Тоже красавец... Не просвистеть бы нам, есаул, с этой сиухой последний умишко.

— Чего писать-то? — Мишка не глядел на атамана, а на Матвея украдкой, зло зыркнул: овца рязанская, успел наябедничать. — С утра писать...

— Чего говорить буду, то и пиши. Сумеешь хоть?..

Мишка нашел в воеводиных палатах бумагу, чернила, перо... Подсел к столу, склонил набок пудовую голову... Еще раз презрительно глянул на Матвея.

— Давай.

— Брат! — стал говорить Степан, прохаживаясь по горнице. — Ты сам понимаешь... Нет, погоди, не так...

— Это кому ты? — спросил Матвей.

— Шаху персицкому. Брат! Бог, который, ты сам знаешь, управляет государями не так, как целым миром, этой ночью посоветовал мне хорошее дело. Я тебя крепко полюбил. Надо нам с тобой соединиться против притеснителев...

— Погоди маленько, — сказал Мишка. — Загнал. Притеснителев... Дальше?

Матвей изумленно и почтительно смотрел на атамана и слушал.

— Я прикинул в уме: кто больше мне в дружки годится? Никто. Только ты. Я посылаю к тебе моих послов и говорю: давай учиним дружбу. Я думаю, у тебя хватит ума, и ты не откажесся от такого выгодного моего предлога. Заране знаю, ты с великой охотой согласисся со мной, я называю тебя другом, на которого надеюсь. У меня бесчисленное войско и столько же богатства всякого, но есть нуждишка в боевых припасах. А также в прочих припасах, кормить войско. У тебя всяких припасов много...

— Погодь, батька. Много... Так?

— У тебя припасов много, даже лишка есть, я знаю.

Удели часть своему другу, я заплачу́ тебе. Я не думаю, чтоб тебе отсоветовали прислать это мне. Но если так получится, то знай: скоро увидишь меня с войском в своей земле: я приду и возьму открытой силой, еслив ты по дурости не захочешь дать добровольно. А войска у меня — двести тыщ. — Степан подмигнул Матвею.

— Так, — сказал Мишка. — Думаешь, клюнет?

— Так что выбирай: или ты мне друг, или я приду и повешу тебя. Печать есть у нас?

— Своей нету. Я воеводину прихватил тут... На всякий случай: добрая печать.

— Притисни воеводину. Пора свою заиметь.

— Заимеем, дай срок. — Мишка хлопнул воеводиной печатью в лист, полюбовался на свою писанину и на красавицу печать.

— Собери сегодня всех пищиков астраханских: писать письма в городки и веси, — велел Степан, подавая есаулу плоскую темную склянку. — Много надо! Разошлем во все стороны.

— Разошлем, — сказал Мишка, принимая из рук атамана бутылицу. А ему показал лист. — Чисто указ государев!

— Доброе дело, — похвалил Матвей мысль атамана — про письма-то: он давно талдычил про них.

— К шаху сегодня послать. Скажи Федору: пускай приберет трех казаков... — Степан взял у Мишки бутылицу с «сиухой», допил остатки.

— Когда же вверх-то пойдем? — спросил Матвей.

— Пойдем, Матвей. Погуляем да пойдем. Наберись терпения. Дай маленько делу завязаться... Пускай про нас шире узнают, народишко-то, — пускай ждут по дороге, чтоб нам не ждать. Пускай и письмишки походют по свету... Надо было раньше с имя додуматься: с зимы прямо двигать. Вот где надо, так ни одного дьявола с советом нет! — Степан отпил еще из бутылки. — Интересно, говоришь, как уцелел царевич? — спросил он легко и весело.

— Шибко интересно. Как же это он, сердешный...

— О, это цельная сказка, Матвей. Разное с им приключалось... Я тебе как-нибудь порасскажу.

ЧАСТЬ III

КАЗНЬ

1

А в Москву писали и писали...

Думный дьяк читал царю и его ближайшему окружению обширное донесение, составленное по сведениям, полученным из района восстания:

— «...Великому государю изменили, того вора Стеньку в город пустили. И вор Стенька Разин боярина и воеводу князя Ивана Семеныча Прозоровского бросил с раскату *. А которые татаровя были под твоею, великого государя, высокою рукою, и те татаровя тебе, великому государю, изменили и откочевали к нему, вору, к Стеньке. А двух сынов боярских он, Стенька, на городской стене повесил за ноги, и висели они на стене сутки. И одного боярского большого сына, сняв со стены, связав, бросил с раскату ж, а другого боярского меньшого сына, по упрошению матери его, сняв со стены и положа на лубок, отвезли к матери в монастырь. А иных астраханских начальных людей, и дворян, и детей боярских и тезеков всех, и которые с ним, Стенькою, в осаде дрались, побил. И в церквах божьих образы окладные порубил, и великого государя денежную казну всю поимал, и всякие дела в приказах пожег с бесовскою пляскою, и животы боярские и всяких чинов начальных людей в том городе Кремле все пограбил же. И аманатов из Астрахани отпустил по кочевьям их, и тюрьмы распустил. А боярская жена и всяких начальных людей жены все живы, и никого тех жен он, Стенька, не бил.

А был он, Стенька, в Астрахани недели с две и пошел на Царицын Волгою. И после себя оставил он, Стенька, в Астрахани товарищев своих, воровских казаков, с десятка по два человека; а с ними, воровскими казаками,

* Раскатом в XVII веке называли, очевидно, всякое сооружение, которое практически служило еще и целям обзорной высоты: башни крепостных стен, лобные места, колокольни. — *Примеч. авт.*

оставил в Астрахани начальным человеком товарища своего Ваську Уса.

А стольник и воевода князь Семен Львов ныне в Астрахани жив. А как ему, вору Стеньке, астраханская высылка на Волге сдалась, и он, вор Стенька, учиня круг, и в кругу говорил: любо ль вам, атаманы молодцы, простить воеводу князь Семена Львова? И они, воровские казаки, в кругу кричали, что простить его им любо.

А из Астрахани он, вор Стенька, до Царицына шёл Волгою две недели.

И пришел он, вор Стенька, на Царицын, послал от себя на Дон воровских казаков с братом своим Фролкою — всех человек с 500 с деньгами и со всякими грабежными животами, да с ними восемь пушек. И у него, у вора Стеньки, на Царицыне были круги многие.

А с Царицына он, вор Стенька, пошел под Саратов. А конных людей у него, Стеньки, нет ни одного человека, потому что которые конные люди у него, Стеньки, были, и у них лошади у всех попадали.

А стружки у него, Стеньки, небольшие, человек по десяти, и в большем человек по двадцати в стружке, а иные в лодках человек по пяти. А которых невольных людей с посадов и стругов неволею к себе он, Стенька, имал, и у тех всех людей ружья нет.

А богу он, вор Стенька, не молится и пьет безобразно, и блуд творит, и всяких людей рубит без милости своими руками. И говорит и бранит московских стрельцов и называет их мясниками: вы-де, мясники, слушаете бояр, а я-де вам чем не бояриц? От него, Стеньки, всем воровским казакам учинен заказ крепкой, что уходцев бы от них на Русь не было. А где кого от него, Стеньки, беглеца догонят, и они б тех беглецов, имая на воде, метали в воду, а на сухом берегу рубили, чтоб никто про него, Стеньку, на Русь вести не подал.

А из Саратова к нему прибегают саратовцы человека по два и по три почасту и говорят ему, чтоб он шел к ним под Саратов не мешкав, а саратовцы городские люди город Саратов ему, Стеньке, сдадут, только-де в Саратове крепится саратовский воевода».

Дьяк кончил вычитывать. Однако было у него в руках что-то еще...

— Что? — спросил царь.

— Письмо воровское... Он, поганец какой: и чтоб весть про его не шла, и тут же людишек сзывает.

— Ну? — велел царь.

Дьяк стал читать:

— «Грамота от Степана Тимофеича от Разина.

Пишет вам Степан Тимофеич всей черни. Кто хочет богу да государю послужить, да великому войску, да и Степану Тимофеичу, и я выслал казаков, и вам бы заодно изменников вывадить и мирских кравапивцев вывадить. И мои казаки како промысел станут чинить, и вам бы итить к ним в совет, и кабальныя, и опальния шли бы в полк к моим казакам».

Долго молчали царедворцы.

Беда.

Царь тоже писал.

Другой дьяк басовитым голосом вычитывал на Постельном крыльце московским служилым людям Указ царя:

— «И мы, великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, велел вам сказать, что Московское государство во жребии и во обороне пресвятые владычицы нашея Богородицы и всегда над всякими неприятели победу приемлет по господе бозе молитвами ея. А ныне мы, великий государь, и все наше Московское государство в той же надежде, и его господе бозе несумненную надежду имеем на руководительницу нашу Пресвятую Богородицу. И указали быть на нашей государевой службе боярину нашему и воеводам князю Юрью Алексеевичу Долгорукову да стольнику князю Константину Щербатову.

А за те ваши службы наша государева милость и жалованье будет вам свыше прежнего. А буде, забыв господа бога и православную христианскую веру и наше великого государя крестное целование, против того врага божия и отступника от веры православной и губителя невинных православных христиан Стеньки Разина на нашу великого государя службу тотчас не поедут и учнут жить в домах своих, и по нашему великого государя Указу у тех людей поместья их и вотчины укажем мы, великий государь, имать бесповоротно и отдавать челобитчикам, которые будут на службе. А буде, которые всяких чинов служилые люди с нашей великого государя службы збегут, и тем быть казненым смертью безо всякой пощады. И вам бы однокончно ехать со всею службою, не мешкая, и нам, великому государю, служить, и за свои службы нашу великого государя милость получить. Все!»

Нет, не зря Степан Тимофеич так люто ненавидел бумаги: вот «заговорили» они, и угроза зримая уже собиралась на него. Там, на Волге, надо орать, рубить головы, брать города, проливать кровь... Здесь, в Москве, надо умело и вовремя поспешить с бумагами — и поднимется сила, которая выйдет и согнет силу тех, на Волге... Государство к тому времени уже вовлекло человека в свой тяжелый, медленный, безысходный круг; бумага, как змея, обрела парализующую силу. Указы. Грамоты. Списки... О, как страшны они! Если вообразить, что те бумаги, которые жег Разин на площади в Астрахани, кричали голосами, стонали, бормотали проклятья, молили пощады себе, то эти, московские, восстали жестоко мстить, но «говорили» спокойно, со знанием дела. Ничто так не страшно было на Руси, как госпожа Бумага. Одних она делала сильными, других — слабыми, беспомощными.

Степан, когда жег бумаги в Астрахани, воскликнул в упоении безмятежном:

— Вот так я сожгу все дела наверху, у государя!

Помоги тебе господи, Степан! Помоги тебе удача, искусство твое воинское. Приведи ты саблей своей острой обездоленных, забитых, многострадальных — к счастью, к воле. Дай им волю!

2

Саратов сдался без боя. Степан велел утопить тамошнего воеводу Кузьму Лутохина. Умертвили также всех дворян и приказных. Имения их передуванили. В городе введено было казацкое устройство; атаманом поставлен сотник Гришка Савельев.

Долго не задерживаясь в Саратове, Степан двинул выше — на Самару.

В последнее время, когда восстание начало принимать — неожиданно, может быть, для него самого — небывалый размах, в действиях Степана обнаружилась одержимость. Какое-то страшное нетерпение охватило его, и все, что вольно или невольно мешало ему направлять события на свой лад, вызывало его ярость. Крутая, устремленная к далекой цели, неистребимая воля его, как ураган, подхватила и его самого, и влекла, и бросала в стороны, и опять увлекала вперед.

Приходили новые и новые тысячи крестьян. Поднялась мордва, чуваши... Теперь уже тридцать тысяч шло

под знаменем Степана Разина. Полыхала вся средняя Волга. Горели усадьбы поместников, бояр. Имущество их, казна городов, товары купцов — все раздавалось неимущим, и новые тысячи поднимались и шли под могучую руку заступника своего.

...Остановились на короткий привал — сварить горячего хлебова и передохнуть. Шли последнее время скоро; без коней уставали: большие струги с пушками сидели в воде глубоко, а грести — против течения.

— Загнал батька.

— Куда он торопится-то? — переговаривались гребцы. — То ли до снега на Москву поспеть хочет?

— Оно не мешало б...

— По мне — и в Саратове можно б зазимовать. Я там бабенку нашел... мх! — сладкая. Жалко, мало там постояли.

Атаману разбили на берегу два шатра. В один он позвал Федора Сукнина, Ларьку Тимофеева, Мишку Ярославова, Матвея Иванова, деда Любима, татарского главаря Асана Карачурина и Акая Боляева — от мордвы.

С Мишкой Ярославовым пришел молодой боярский сын Васька — они разложились было писать «прелестные» письма, какие они десятками, чуть ли не сотнями писали теперь и рассылали во все концы Руси. Странно, но и эти ненавистники бумаг, во главе с Разиным, очень уверовали в свои письма. А уж что собирало к ним людей — письма ихние или другое что, — люди шли, и это радовало.

Степан подождал, когда придут все, встал, прошелся по шатру... Опять он не пил, был собран, скор на решения. Похудел за последние стремительные дни.

— Чего вы там разложилися? — спросил Мишку и Ваську.

— Письмишки — на матушку-Русь...

— Апосля писать будете. Васька, выдь, — велел он боярскому сыну, которому не верил, а держал около себя — за умение скоро и хорошо писать.

Васька вышел, ничуть не обидевшись.

— Вот чего... Объявляю, — заявил Степан как свое окончательное решение. Речь шла о том: объявлять войску и народу, что с разинцами идут «патриарх» и «царевич Алексей», или еще подождать.

— Степан... — заговорил было Матвей, который всеми силами противился обману, — дай слово молвить: если в ты...

— Молчи! — повысил голос Степан. — Я твою думку знаю, Матвей. Что скажешь, Федор? — Он стал против Федора.

— Зря не даешь ему говорить, — сказал Федор с укором. — Он...

— Я тебя спрашиваю! Тебе велю: говори, как сам думаешь.

— Какого черта зовешь тогда! — рассердился Федор. — Как не по тебе, так рта не даешь никому открыть. Не зови тогда.

— Не прячься за других. А то наловчились: чуть чего, так сразу язык в... Говори!

— Что это, курице голову отрубить?.. «Говори». С бабой в постеле я ишо, можеть, поговорю. И то — мало. Не умею, не уродился таким. А думаю я с Матвеем одинаково: на кой они нам черт сдались? Собаке пятая нога. У нас и так вон уж сколь — тридцать тыщ. Кого дурачить-то? И то ишо крепко заметь в думах: от Никона-то правда отшатнулось много народу... Хуже наделаем со своими хитростями.

— Говорить не умеет! А наговорил с три короба. Тридцать тыщ — это мало. Надо тридцать по тридцать. Там пойдут города — не чета Царицыну да Саратову. — Степан не хотел показать, но слова Федора внесли в душу сомнение; он думал, и хотел, чтоб ему как-нибудь помогли бы в его думах, но никак не просил о том. Сам с собой он порешил, что — пусть обман, лишь бы помогло делу. Вся загвоздка только с этим «патриархом»: от Никона на Руси, слышно, отреклось много, не наделать бы себе хуже, правда.

— Они же идут! Они же не... это... не то что — стало их тридцать, и все, и больше нету. Две недели назад у нас и пятнадцати не было, — стоял на своем Федор.

— Как ты, Ларька? — спросил Степан Ларьку, тоже остановившись перед ним.

Ларька подумал.

— Да меня тоже воротит от их. На кой?.. — сказал он искренне.

— Ни черта не понимают! — горестно воскликнул Степан. — Иди воюй с такими. Один голову ломаешь тут — ни совета разумного, ни шиша... Сяли на шею и ножки свесили.

— Чего не понимаем? — изумился Федор. — Во!.. Не понимают его.

Степан напористо — не в первый раз — стал всем объяснять:

— Так будут думать, что сам я хочу царем на Москве сесть. А когда эти появются, — стало быть, не я сам, а наследного веду на престол. Есть разница?..

— Ты меньше кричи везде, что не хошь царем быть, вот и не будут так думать, — посоветовал Матвей.

— Как думать не будут? — не понял Степан.

— Что царем хошь сесть. А то — кричишь, а все наоборот думают: царем сесть задумал. Это уж так человек заквашен: ему одно, он — другое.

— Пошел ты!.. — отмахнулся Степан.

— Я-то пойду, а вот ты с этими своими далеко ли уйдешь. Мало ишо народ обманывали! Нет!.. И этому дай обмануть. А как обман раскроется?

— Для его же выгоды обман-то, дура! Не мне это надо!

— А все-то как? И все-то — для его выгоды. А чего так уж страшисся-то, еслив и подумают, что царем? Ну — царем.

— Какой я царь? — Степан, и это истинная правда, даже и втайне не думал: быть ему царем на Руси или нет. Может, атаманом каким-то Великим...

— Ишо какой царь-то! Только самовольный шибко... Ну — слушаться зато будут. Был бы с народом добрый — будешь и царь хороший. Не великого ума дело: сиди высоко да плюй далеко. — Всегда, как разговор заходил про царя, Матвей смотрел на Степана пытливо и весело.

— Вон как! — воскликнул Степан. — Легко у тебя вышло. Ажник правда посидеть охота. Плеваться-то научусь, дальше других насобачусь...

— Тут важно ишо — метко, — заметил Ларька.

Засмеялись. Но Матвей не отлип от Степана.

— А ведь думка есть, Степан, нас-то не обманывай. Скажи: придержать ее хошь до поры до время, ту думку. Ну, и не объявляй пока. Какое нам дело — кем ты там станешь?

— Вам нет дела, другим есть. — Теперь уж и Степан серьезно втянулся в спор с дотошным мужиком.

— Кому же? — пытал Матвей.

— Есть...

— Кому?

— Стрельцам, с какими нам ишо доведется столкнуться. Им есть дело: то ли самозванец идет, то ли ведут коренного царевича на престол. Как знать будут, такая

у их и охотка биться будет. Нам надо, чтоб охотка-то эта вовсе бы пропала.

— Да пусть будут! — воскликнул Ларька. — Мы что, с рожи, что ль, опадем? Объявляй. — Атаман убеждал его больше, чем занудливый Матвей.

— Не то дело, что будут, — упрямился Матвей. — Царевич-то помер — вот и выйдет, что брешем мы. А то бояры не сумеют стрельцам правду рассказать! Эка!.. Сумеют, а мы в дураках окажемся с этим царевичем. С какими глазами па Москву-то явимся?

— Надо сперва явиться туда, — резонно заметил Степан. — На Москве уж явился, скорый какой.

— Ну... а ты дай мне так подумать: вот — явились. А там и стар и млад, все знают: царевич давно в земле. А мы — вот они: пых, с царевичем. Кто же мы такие будем?

Степан не хотел так далеко думать.

— До Москвы ишо дойтить надо, — повторил он. — А там видно будет. Будет день — будет хлеб. Зовите казаков, какие поблизости. Объявляю. Как думаешь, Асан? — напоследок еще весело спросил он татарина.

— Как знаешь, батька, — отвечал татарский мурза. — Объявляй: наша рожа не станет худая. — Асан засмеялся.

— Матвей?.. — Степан все же хотел пронять мужика, хотел, чтоб тот склонился перед его правдой.

— Объявляй... что я могу сделать? Знаю только, что дурость. — Матвей и склонился, но — горестно и безнадежно, не в силах он ничего никому доказать тут.

Казаки — рядовые, десятники, какие случились поблизости от шатра атамана, — заполнили шатер. Никто не знал, зачем их позвали. Степана в шатре не было (он вышел, когда стали приходить казаки).

Вдруг полог, прикрывающий вход в шатер, распахнулся... Вошел Степан, а с ним... царевич Алексей Алексеич и патриарх Никон. Особенно внушительно выглядел Никон — огромный, с тяжелыми ручищами, с дремучей пегой бородой.

Царевич и патриарх поклонились казакам. Те растерянно смотрели на них. Даже и те, кто знал о маскараде, и те смотрели на «царевича» и «патриарха» с большим интересом.

— Вот, молодцы, сподобил нас бог — гостей наслал, — заговорил Степан. — Этой ночью пришли к нам царевич Алексей Алексеич и патриарх Никон. Ходили

слухи, что царевич помер, — это боярская выдумка, он живой, вот он. Невмоготу ему стало у царя, ушел от суровостей отца и от боярского лиходейства. Теперь пришло время заступиться за его. Надо вывести бояр на чистую воду... А заодно и поместников, и вотчинников, и воевод, и приказных. Они никому житья не дают... даже им вон... Вон кому даже!.. — Степану не удавалось говорить легко и просто, он ни на кого не смотрел, особенно уклонялся от изумленных взглядов казаков, сердился и хотел скорей договорить, что надо. — Все. Это я хотел вам сказать. Теперь идите. Царевич и патриарх с нами будут. Теперь... Ишо хотел сказать... — Степан посмотрел на казаков, столпившихся у входа в шатер, подавил неловкость свою улыбкой, несколько насильственной, — теперь дело наше надежное, ребяты: сами знайте и всем говорите: ведем на престол наследного. Пускай теперь у всех языки отсохнут, кто поминает нас ворами да разбойниками. С богом.

Казаки, удивленные необычной вестью, стали расходиться, оглядывались на «царевича» и «патриарха». Некоторые, глазастые, заметили, что одеяние «патриарха» очень что-то напоминает рясу митрополита астраханского, но промолчали.

Когда вышли все, Степан сел, велел садиться «патриарху» и «царевичу»:

— Садись, патриарх. И ты, царевич... Сидайте. Выпьем теперь... за почин доброго дела. За удачу нашу.

Есаулы потеснились за столом, посадили с собой старика и смуглого юношу-«царевича» — поближе к атаману.

— Налей, Мишка, — велел Степан, сам тоже не без любопытства приглядываясь к «высоким гостям».

Мишка Ярославов налил чары, поднес первым «патриарху» и «царевичу». Усмехнулся.

— Ты пьешь ли? — спросил он юношу.

— Давай, — сказал тот. И покраснел. И посмотрел вопросительно на атамана. Тот сделал вид, что не заметил растерянности «царевича».

«Патриарх» хлопнул чару и крякнул. И оглядел всех, святой и довольный.

— Кхух!.. Ровно ангел по душе прошел босиком. Ласковое винцо, — похвалил он.

Казаки рассмеялись. Неизвестно, как «царевич», а «патриарх» явно был мужик свойский.

— Приходилось, когда владыкой-то был? Небось за-

морское пивал? — поинтересовался Ларька Тимофеев весело.

— Дак а можно ли?.. Патриарху-то? — спросил Матвей не одного только «патриарха», а и всех.

Казаки за столом покосились в сторону «патриарха».

Старик прищурил умные глаза: слова Матвея пропустил мимо ушей, а Ларьке ответил:

— Пивали, пивали... Ну-к, милок, поднеси-к ишо одну — за церкву православную. — Выпил и опять крякнул. — От так ее! Кхэх!.. Ну, Степан Тимофеич, чего дальше? Располагай нас...

Степан с усмешкой наблюдал за всеми; он был доволен. Сказал:

— На струги пойдем. Тебе, владыка, черный струг, тебе, царевич, — красный. Вот и будете там. Будьте как дома, ни об чем не заботьтесь.

В шатер заглянули любопытные, войти не посмели, но с интересом великим оглядели двух знатных гостей атамана.

— Пошло уж, — сказал Степан. — Можно ийтить. Пошли! Никон, давай, передом шагай. Ты самый важный тут...

Вышли из шатра втроем — Степан, «царевич» и «патриарх», направялись к берегу, где приготовлены были два стружка с шатрами — один покрыт черным бархатом, другой — красным. У обоих стружков — стража нарядная.

Степан, на виду всего войска, что-то рассказывал гостям своим, показывал на войско... Шагал сбоку «патриарха» — вперед заходить не смел. Громадина «патриарх» ступал важно, кивал головой.

Со всех сторон на них глядели казаки, мужики, посадские, стрельцы. Все тут были: русские, хохлы, запорожцы, мордва, татары, чуваши. Глядели, дивились. Никому не доводилось видеть патриарха и царевича, да еще обоих сразу.

Степан проводил гостей до стружков, поклонился. Гости взошли на стружки и скрылись в шатрах.

Степан махнул войску рукой — по стругам.

3

А к царю шли, ехали, плыли — бумаги. Рассказывали.

«...Стоит де он под Самарою, а самареня своровали, Самару ему, вору, здали. И хочет он, вор Стенька Разин,

быть кончее под Синбирск на Семен день (1 сентября) и того часу хочет приступать к Синбирску всеми силами, чтоб ему, вору, Синбирск взять до приходу в Синбирск кравчего и воеводы князя Петра Семеновича Урусова с ратными людьми.

И только, государь, замешкаются твои, великого государя, полки, чаять от него, вора, над Синбирском великой беды, потому что в Синбирску, государь, в рубленом городе, один колодезь, и в том воды не будет на один день, в сутки не прибудет четверти аршина. А кравчей и воевода князь Петр Семенович Урусов из Казани и окольничей князь Юрья Никитич Борятинский с Саранска с ратными людьми в Синбирск августа по 27-е число не бывали. А от синбирян, государь, в воровской приход чаять спасения большаго, смотря на низовые городы, что низовые городы ему, вору, здаютца...»

Царь встал и в раздражении крайнем стукнул палкой об пол.

— Я, чай, нагулялся уж Стенька?! — гневно воскликнул он. — Пора и остановить молодца. Что же такое деется-то!

4

Стенька еще не нагулялся.

Еще «обмывали» город — Самару.

...Праздник разгорелся к вечеру. На берегу. Повыше Самары. Гулял весь огромный лагерь. Жарились на кострах целые бараны и молодые телята-одногодки. Сивуху из молодой ржи, мед и пиво расходовали вольно; сидели прямо у бочек... Впереди, дальше, трудно будет — Степан знал, потому дал погулять. Хотели немного, а разошлись во всю матушку, раскачали опять теплые воздухи, загудели.

Степан, изрядно уже пьяный, сидел возле своего шатра, близко у воды, расхлыстанный, тяжелый, опасный, пел негромко. По левую руку его — «царевич», по правую — «патриарх». «Патриарх» тоже уже хорош; но пить, видно, он может много.

Степан пел опять свою дорогую, любимую дедушки Стыря:

Ох, матушка, не могу,
Родимая, не могу!..

Все, кто сидел рядом, вразнобой подтянули:

Не могу, не могу, не могу,
могу, могу!
Ох, не могу, не могу, не могу,
могу, могу!
Сял комарик на ногу,
Сял комарик на ногу!

Опять недружно, нескладно забубнили: «у-у, у-у!..»

На ногу, на ногу, на ногу,
ногу, ногу!
Ох, на ногу, на ногу, на ногу,
ногу, ногу!

Степан вдруг разозлился на эту унылую нескладицу, встал и заорал и показал, чтоб и все тоже орали.

Ой, ноженьку отдавил,
Ой, ноженьку отдавил!

И все встали и заорали:

Отдавил, отдавил, отдавил,
давил, давил!
Ох, отдавил, отдавил, отдавил,
давил, давил!

Крик распрямил людей; засверкали глаза, набрякли жилы на шеях... Песня набирала силу; теперь уж она сама хватала людей, толкала, таскала, ожесточала. Ее подхватывали дальше по берегу, у бочек, — весь берег грозно зарычал в синеву сумрака.

«Патриарх» выскочил вдруг на круг и пошел с приплясом, норовил попасть ногой в песню.

Подай, мати, косаря,
Подай, мати, косаря.

Еще с десяток у шатра не вытерпели, ринулись со свистом «отрывать от хвоста грудинку». Угар зеленый, буйство и сила — сдвинули души, смяли.

Косаря, косаря, косаря,
саря, саря!
Ох, косаря, косаря, косаря,
саря, саря!

«Патриарх» пошел отчебучивать вприсядку, легко кидал огромное тело свое вверх-вниз, вверх-вниз... Трудно было поверить, что — старик почти.

Никто ее не заметил, старуху-кликушу. Откуда она

взялась? Услышали сперва — завыла слышней запева атаманского:

— Ох, да радимы-ый ты наш, сокол ясны-ый!.. Да как же тебе весело гуляется-то!.. Да на вольной-то во-олюшке. Да праздничек ли у тя какой, поминаньице ли-и?..

Причет старухи — дикий, замогильный — подкосил песню. Опешили. Смотрели на старуху. Она шла к Степану, глядела на него немигающими ясными глазами, жуткая в ранних сумерках, шла и причитала:

— Ох, да не знаешь ты беду свою лютую, не ведаешь. Да не чует-то ее сердечушко твое доброе! Ох-х... Ох, пошто жа ты, Степушка!.. Да пошто жа ты, родимый наш!.. Да ты пошто жа так снарядился-то? А не глядишь и не оглянешься!.. Ох, да не свещует тебе сердечушко твое ласковое! И не подскажет-то тебе господь-батюшка — вить надел-то ты да все черное!..

Степан не робкого десятка человек, но и он оторопел, как попятился.

— Ты кто? Откуда?..

— Кликуша! Кликуша самарская! — узнали старуху. — Мы ее знаем — шатается по дворам, воет: не в себе маленько...

— Тьфу, мать твою!..

— Ох, да родимый ты наш... — опять завыла было кликуша и протянула к атаману сухие руки.

— Да уберите вы ее! — заорал Степан.

Старуху подхватили и повели прочь.

— Ох, да ненаглядное ты наше солнышко! — еще пыталась голосить старуха. Ей заткнули рот шапкой.

Степан сел, задумался... Потом встряхнул головой, сказал громко, остервенело:

— Врешь, старая, мой ворон ишо не кружил! — Посмотрел на казаков. — Не клони головы, ребятушки! Наливай. Отпевать — умельцы найдутся, сперва пусть угробют.

Налили. Выпили.

Помаленьку праздник стал было опять налаживаться... И тут-то нанесло еще одного неурочного. Это уж как знак какой-то небесный, рок.

Зашумели от берега.

— Куприян! Кипрюшка!.. Тю!..

— Как ты?!..

— Гляди! — живой. А мы не чаяли...

— Кто там? — спросил Степан.

— Кипрюшка Солнцев, до шаха с письмом-то ездил. А пошто один, Куприян? Где же Илюшка, Федька?

— Какие вести? — тормошили Куприяна.

Куприян Солнцев, казак под тридцать, радостный, захмелевший от радости, пробрался к атаману.

— Здоров, батька

— Ну?.. — спросил Степан.

— Один я... Как есть. Господи, не верится, что вижу вас... Как сон.

— Что так? — опять негромко спросил Степан. Его почему-то коробила шумная радость Куприяна. — А товарищии твои?..

— Срубил моих товарищев шах. Собакам бросил... Степан стиснул зубы.

— А ты как же?

— А отпустил. Велел сказать тебе...

— Не торопись!.. — зло оборвал Степан. — Захлебываисся прямо! — Степана кольнуло в сердце предчувствие, что Куприян выворотит тут сейчас такие новости, от которых тошно станет. — Чего велел? Кто?

— Велел сказать шах...

— Через Астрахань ехал? — опять сбил его атаман.

— Через Астрахань, как же. — Куприян никак не мог понять, отчего атаман такой неприветливый. И никто рядом не понимал, что такое с атаманом.

Атаман же страшился дурных вестей — и от шаха, и об астраханских делах. И страшился, и хотел их знать.

— Что там? В Астрахани?..

— Ус плохой — хворь какая-то накинулась: гниет. С Федькой Шелудяком лаются... Федька князя Львова загубил, Васька злобится на его из-за этого...

— Как это он!.. — поразился Степан. — Как?

— Удавили.

— Я не велел! — закричал Степан. — Круг решал!.. Он нужон был! Зачем они самовольничают!.. Да что же мне с вами?!.

— Не знаю. А шах велел сказать: придет с войском и скормит тебя свиньь...

Коротко и нежданно хлепнул выстрел. Куприян схватился за сердце и повалился казакам в руки.

— Ох, батька, не... — и смолк Куприян.

Степан сунул пистоль за пояс. Отвернулся. Стало тихо.

— Врет шах! Мы к ему ишо наведаемся... — Степан с

трудом пересиливал себя. В глазах — дикая боль. — Наливай! — велел он.

Трудно было бы теперь наладиться празднику. Нет, теперь уж ему не наладиться вовсе: от этого выстрела все точно оглохли. Куприян, безвинный казак, еще теплый лежит, а тут — наливай! Наливай сам да пей, если в горло полезет.

— Наливай! — Степан хотел крикнуть, а вышло, что он сморщился и попросил. Но и на просьбу эту никак не откликнулись. Нет, есть что-то, что выше всякой власти человеческой и выше атаманской просьбы.

Степан вдруг дал кулаком по колену:

— Нет, в гробину их!.. Нет! Гуляй, браты! — Но руки его прыгали уже. Он искал глазами место, как выйти...

Федор Сукнин подхватил его и повел в сторону. К шатру. Степан послушно шел с ним. Ларька Тимофеев налил чару, предложил всем:

— Наливайте! А то... хуже так. Веселись! Чего теперь?

— Ну, Лазарь!.. Плясать ишо позови.

— Ну, а чего теперь? Ну — на помин души Куприяновой, — Ларька выпил, бросил чарку: даже и ему было нехорошо, тошно. Он только сказал: — Никто не виноватый... Пристал атаман, задергался... Рази же хотел он?

От места, где только что соскользнул из жизни человек, потихоньку, молча стали расходиться. Осталось трое или четверо, негромко говорили, где схоронить тело.

Из-за кручи береговой вылезла краем луна; на реке и на обоих берегах внизу все утонуло во мрак и задумчивость.

Степан лежал у шатра лицом вниз. Сукнин сидел поодаль на седле.

Подошел Ларька, остановился...

— Господи, господи, господи-и! — стонал Степан. И скреб землю, и озирался. — Одолел меня дьявол, Ларька. Одолел, гад: рукой моей водит. За что казака сгубил?!. За что-о?!

Ларька стоял над атаманом, жестоко молчал. Ларьке до смерти жалко было казака Куприяна Солнцева. И он хотел, чтоб атаман мучился сейчас, измучился бы до последней нестерпимой боли.

— А вы?!.. — вскочил вдруг Степан на колени. — Рядом были — не могли остановить! Чего каждый раз

ждете? Чего ждете? Хороши только потом выговаривать!..

Ларька молчал. И Сукнин молчал.

— Чего молчите?! — заорал Степан. — Пошто не остановили?!

— Останови! — воскликнул Сукнин. — Никто глазом не успел моргнуть.

— Моя бы воля, — негромко и тоже зло заговорил Ларька, — да не узнай никто: срубил бы я тебе башку счас... за Куприяна. И рука бы не дрогнула.

Сукнин оторопел... Даже встал с седла, на котором сидел.

Степан вскочил на ноги... Не то он вдруг — в короткое это время — решился на что-то, не то — вот-вот — на что-то страшное с радостью готов решиться. Не гнев, а догадка какая-то озарила атамана. Он пошел к есаулу. Ларька попятился от него... Федор на всякий случай зашел сбоку. Но атаман вовсе не угрожал.

— Ларька, — как в бреду, с мольбой искренней, торопливо заговорил Степан, — рубни. Милый!.. Пойдем? — Он схватил есаула за руку, повлек за собой. — Пойдем. Федор, пойдем тоже. — Он и Федора тоже схватил крепко за руку. Он тащил их к воде. — Братцы, срубите — и в воду, к чертовой матери. Никто не узнает. Не могу больше: грех замучает. Змеи сосать будут — не помру. Срубите! Срубите!! Богом молю, срубите!.. Милые мои... помогите. Не могу больше. Тяжело.

Степан у воды упал на колени, опустил голову.

— Подальше оттолкните потом, — посоветовал. — А то прибьет волной... — Верил он, что ли, что други его верные, любимые его товарищи снесут ему голову? Хотел верить? Или хотел показать, что верит? Он сам не понимал... Душа болела. Очень болела душа. Он правда хотел смерти. Вот и не пил последнее время... Нет, не вино это, не вино изъело душу. Что вино сильному человеку! Он видел, он догадывался: дело, которое он взгромоздил на крови, часто невинной, дело — только отвернешься — рушится. Рассыпается прахом. Ничего прочного за спиной. Астраханские дела, о которых сгоряча — при всех! — донес несчастный Куприян, это — малая капля, переполнившая обильную горькую чашу. В Царицыне тоже не лучше: Прон Шумливый самоуправствует хуже боярина. На Дону, кто приходит оттуда, сказывают: ненадежно. Плохо. Затаились... Такой войны, какую раскачал Степан, там не хотели даже те, кто поначалу молча благо-

словлял на нее. Там испугались. Так — на пиру вселенском, в громе труб — чуткое сердце атамана слышало сбой и смятение. Это тяжело. О, это тяжело чувствовать. Он скрывал боль от других, но от себя-то ее не скроешь.

— Уймись, Степан, — миролюбиво сказал Ларька. — Чего теперь?

Федор тронул Ларьку за руку, показал: молчи.

Степан плакал, стоя на коленях, отвернувшись лицом к Волге.

— Дайте один побуду, — попросил он тихо.

Есаулы пошли к шатру. Но из виду атамана не упускали. Он все сидит, оперся локтями на колени, чуть покачивается взад-вперед.

— Старуха... выбила из колеи, — сказал Сукнин.

— Не старуха... Наш недогляд, Федор: надо было перехватить Куприяна, научить, как говорить. А то и вовсе не пускать, завтра бы рассказал.

— Куприян, конешно... Но старуха! У меня давеча у самого волосья на голове зашевелились, когда она завыла. Откуда вывернулась, блажная?

— Васька-то что же, помирает?

— Видно... Вот ишо змею на груде́ отогрели, — Шелудяк, дармоед косоглазый, — жестоко сказал Сукнин. — Он там воду мутит. Васька ослаб, он верх взял.

— Зачем они Львова-то решили?

— Спроси! Шелудяк все.

Тихо говорили между собой у шатра есаулы. И поглядывали в сторону берега: там все сидел атаман и все тихо покачивался, покачивался, как будто молился богу своему — могучему, древнему — Волге. Иногда он бормотал что-то и тихо, мучительно стонал.

Луна поднялась выше над крутояром; середина реки обильно блестела; у берега, в черноте, шлепались в вымоины медленные волны, шипели, отползая, кипели... И кто-то большой, невидимый осторожно вздыхал.

Позже Степан взошел в небольшую лодку тут же, неподалеку, прилег на сухую камышовую подстилку и заснул, убаюканный прибрежной волной. И приснился ему отчетливый красный сон.

Стоит будто он на высокой-высокой горе, на макушке, а снизу к нему хочет идти молодая персидская княжна, но никак не может взобраться, скользит и падает. И плачет. Степану слышно. Ему жалко княжну, так жалко, что впору самому заплакать. А потом княжна — ни с того

ни с сего — стала плясать под музыку. Да так легко, неистово... как бабочка в цветах затрепыхалась, аж в глазах зарябило. «Что она? — удивился Степан. — Так же запалиться можно». Хотел крикнуть, чтоб унялась, а — не может крикнуть. И не может сдвинуться с места... И тут увидел, что к княжне сбоку крадется Фрол Минаев, хитрый, сторожкий Фрол, — хочет зарубить княжну. А княжна зашлась в пляске, ничего не видит и не слышит — пляшет. У Степана от боли и от жалости заломило сердце. «Фрол!» — закричал он. Но крик не вышел из горла — вышел стон. Степана охватило отчаяние... «Срубит, срубит он ее. Фро-ол!..» Фрол махнул саблей, и трепыхание прекратилось. Княжна исчезла. И земля в том месте вспотела кровью. Степан закрыл лицо и тихо закричал от горя, заплакал... И проснулся.

Над ним стоял Ларька Тимофеев, тряс его.

— Степан!.. Батька... чего ты?

— Ну? — сказал Степан. — Что?

— Чего стонешь-то?

Степан сел. Горе стояло комом в горле... Даже больно. Степан опустил руку за борт, зачерпнул воды, донес, сколько мог, ополоснул лицо. Вздохнул.

— Приснилось, что ль, чего? — спросил Ларька.

— Приснилось...

Как-то странно ясно было вокруг. Степан поднял голову... Прямо над ним висела — пялилась в глаза — большая красная луна. Нехороший, нездоровый, теплый свет ее стекал на воду; местами, где в воде отражались облака, казалось, натекли целые лывы красного.

— Душно, Ларька... Тебе ничего?

— Да нет, я спал, пока ты не застонал...

— Застонал?

— Ну. Что за сон такой?

— Не знаю... дурной сон. Не помню. Выпил лишнее. Ты чего тут?

— Спал здесь...

Степан вспомнил вчерашнее... казака Куприяна... Опустил голову и коротко простонал.

— Выпить, можеть?.. — посоветовал Ларька.

— Нет. Ларька... тебе не страшно? — спросил Степан.

— О! — удивился Ларька.

— Нет, не так говорю: не тяжко? Душно как-то... А?

— Да нет... С чего? — не понимал Ларька.

— Ладно... Так я — хватил вчера лишка, правда.

— Похмелись!

— Иди спать, Ларька... Дай побыть одному.

Ларька, успокоенный мирным тоном атамана, пошел досыпать в шатер.

Все спали; огромная, светлая, красная ночь неслышно текла и стекала куда-то в мир чужой, необъятный — прочь с земли.

Рано утром, едва забрезжил рассвет, Степан был на ногах.

Лагерь еще спал крепким сном. Весь берег был сплошь усеян спящими. Только там и здесь торчали караульные. Да у самой воды, в стороне от лагеря, спиной к нему, неподвижно сидел одинокий человек; можно было подумать, что он спит так — сидя. И хоть это было не близко, Степан узнал того человека и через весь лагерь направился к нему.

Это был Матвей Иванов. Он не спал. Увидев Степана, он вздохнул, показал глазами на лагерь и сказал так, будто он сидел вот и только что об том думал:

— Вот они, вояки твои... Набежи полсотни стрельцов — к обеду всех вырубют. С отдыхом. Не добудиться никаким караульным...

Степан остановился и смотрел на воду.

— Уймись, Степан, — заговорил Матвей почти требовательно, но с неподдельной горечью в голосе. — Уймись, ради Христа, с пьянкой! Что ты делаешь? Ты вот собрал их — тридцать-то тыщ — да всех их в один пригожий день и решишь. Грех-то какой!.. И чего ты опять сорвался-то? Неужель тебе не жалко их, Степушка? — У Матвея на глазах показались слезы. — Надежа ты наша, заступник наш, батюшка, — пропадем ведь мы. Подведи-ка под Синбирск эдакую-то похмельную ораву — что будет-то? Перебьют, как баранов! Пошто ты такой стал? Зачем казака убил вчерась? — Матвей вытер кулаком слезы. — Радовался, сердешный, — от шаха ушел. Пришел!.. Степушка!.. Ты что же, верить, что ль, перестал? Что с тобой таксе?

— Молчи! — глухо сказал Степан, не оборачиваясь.

— Не буду я молчать! Руби ты меня тут, казни — не буду. Не твое только одного это дело. Русь-матушка, она всем дорога. А люди-то!.. Они избенки бросили, ребятишек голодных оставили, жизни свои рады отдать — насулил ты им...

— Молчи, Матвей!

— Насулил ты им — спасешь от бояр да дворян, волю дашь — зря? Возьмись за дело, Степан. Там — Синбирск! Это не Саратов, не Самара. Там Милославский крепко сидит. И, сказывают, Борятинский и Урусов на подходе. А нам бы Синбирск-то до Борятинского взять. Можно ли тут пиры пировать? Есть ли когда? Не на Дону ведь ты! И не в Персии. Это — Русь... Тут и шею сломить могут. Гони от себя пьянчуг разных!.. Или дай мне волю — я их вот этими своими руками душить буду, оглоедов, хоть и не злой я человек. Погубители!.. Одна у их думка — напиться. А что мы кровушкой своей напиться можем — это им не в заботу. Возьмись, Степан, за гужи, возьмись. Я знаю — тяжко, ты не конь. Но как же теперь?.. Сделал добро — не кайся, это старая поговорка, Степан, она не зря живет, не зря ее помнют. Только добро и помнют-то на земле, больше ничего. Не качайся, Степан, не слабни... Милый, дорогой человек... как ишо просить тебя? Хошь, на колени перед тобой стану!..

Степан повернулся и пошел к лагерю. Отошел далеко, остановился и свистнул так, что чайки с воды снялись.

— Господи, дай ему ума и покоя, — с неожиданной верой сказал Матвей, глядя на любимого атамана.

Лагерь стал подниматься. Зашевелился.

Степан пошел было к шатру, но вдруг остановился и посмотрел в сторону Матвея... Постоял, посмотрел и быстро пошел к нему.

Матвей ждал.

— Вот тебе и каюк пришел, Матвей, — сказал он сам себе негромко.

— Ты вот не боисся учить меня, — издали еще заговорил Степан, — не побоись сказать и всю правду. Соврешь — будешь в Волге. — Остановился перед Матвеем, некоторое время смотрел в глаза ему. — Я повел их! — Показал рукой назад, на лагерь. — Я! Но воля-то всем нужна!.. Всем?!

— Всем.

— А случись грех какой под Синбирском или где — побьют: кому эти слезы отольются? Стеньке?!. Стенька — вор, злодей, погубитель — к мятежу склонил!

— Ты спрашиваешь только или уж суд повел?

— Не виляй хвостом!

— Всем отольются, Степан. А тебе в первую голову. Только не пужайся ты этого — горе будет, а не укор.

— На чью душу вина ляжет?

— На твою. Только вины-то опять нету — горе будет.

А горе да злосчастье нам не впервой. Такое-то горе — не горе, Степан, жить собаками век свой — вот горе-то. И то ишо не горе — прожил бы, да помер — дети наши тоже на собачью жись обрекаются. А у детей свои дети будут — и они тоже. Вот горе-то!.. Какая ж тут твоя вина? Это счастье наше, что выискался ты такой — повел. И веди, и не думай худо. Только сам-то не шатайся. Нету ведь у нас никого боле — ты нам и царь, и бог. И начало. И вож. Авось, бог даст, и выдюжим, и нам солнышко посветит. Не все же уж, поди, ночь-то?

— Ну, и не жальтесь тада. А то попреков потом не оберешься. Знаю: все потом кинутся виноватого искать.

— Да никто и не жалится! Я, мол, воеводы со всех сторон идут... И какая же тут вина твоя, коли псов спустили? Да и царь... Да нет, какая же вина?! Тут стяжки в руки — да помоги, господи, пробиться. Только с умом пробиваться-то, умеючи, вот я про што. А ты — умеешь, вот и просим тебя: не робей сам-то, сам-то впереде не шатайся, а мы уж — за тобой. Мы за тобой тоже храбрые.

— Не пропадем! — резко сказал Степан, будто осадил тайные свои, тревожные думы.

— Неохота, батька. Ох, неохота.

— Вот... Сделаем так: седня не пойдем. Соберемся с духом. Подождем Мишку Осипова с людишками. — Степан помолчал. — Гулевать подождем, верно. Соберемся с духом, укрепимся.

Матвей, чтоб не спугнуть настроение атамана, серьезное, доброе, молчал.

— Соберемся с духом, — еще раз сказал Степан. Посмотрел на Матвея, усмехнулся: — Чего ты лаешься на меня?

— Я молюсь на тебя! Молю бога, чтоб он дал тебе ума-разума, укрепил тебя... Ты глянь, сколько ты за собой ведешь!..

— Ну, загнусел...

— Ладно, буду молчать.

...В то утро приехал с Дона Фрол Разин. Степан очень ему обрадовался. Посылал он его на Дон с большим делом: распустить перед казаками такой райский хвост, чтоб они руки заломили бы от восторга и удивления и все бы — ну, не все, многие — пошли бы к Степану, под его драные, вольные знамена. Послал он с братом пушки, много казны государевой — приказов: астраханского, черноярского, царицынского, камышинского, саратовско-

го, самарского. Велел раззадорить донцов золотом и кликнуть охотников.

— Ну, расскажи, расскажи. Как там?

— Мишка Самаренин в Москву уехал со станицей...

Степан враз помрачнел, понимающе кивнул головой:

— Доносить. Эх, казаки, казаки... — Сплюнул, долго сидел, смотрел под ноги. Изумляла его эта чудовищная способность людей — бегать к кому-то жаловаться, доносить, искренне, горько изумляла. — Куда же мы так припляшем? А? — Степан посмотрел на брата, на Ларьку, на Матвея. — Казаки?

Ответил Матвей:

— Туда и припляшете, куда мы приплясали: посадили супостатов на шею и таскаемся с имя как с писаной торбой. Они оттого и косятся-то на вас: вы у их как бельмо на глазу: тянутся к вам, бегут... Они мужика привязывают, а вы отвязываете — им и не глянется.

— Мужики — ладно: они испокон веку в неволе, казаки-то зачем сами в ярмо лезут? Этого — колом вбивай мне в голову — не могу в толк взять.

— Корней говорит... — начал было Фрол.

— Постой, — сказал Степан. — Ну их всех... Корнея, мурнея... гадов ползучих. Злиться начну. У нас седня — праздник. Без вина! Седня пусть отдохнет душа. Там будет... нелегко. — Степан показал глазами вверх по Волге. — Мойтесь, стирайтесь, ешьте вволю, валяйтесь на траве... А я в баню поеду. В деревню. Кто со мной?

Изъявили желание тоже помыться в бане Ларька, Матвей, Фрол, дед Любим, Федор Сукнин. Взяли еще с собой «царевича» и «патриарха».

«Патриарх» хворал с похмелья, поэтому за баню чуть не бухнулся принародно в ноги атаману.

— Батюшка, как в воду глядел!.. Надо! Баслови тя бог! Баня — вторая мать наша. А я уж загоревал было. Вот надоумил тя господь с баней, вот надоумил!.. — «Патриарх» радовался, как ребенок. Собирался. — Экая светлая головушка у тя, батька атаман. Эх, сварганим баньку!..

* * *

Потом, когда сплывали вниз по Волге, до деревни, Степан беседовал с «патриархом».

— Сколько же ты, отче, осаденить можешь за раз? Ведро?

— Пива или вина?
— Ну, пива.
— Ведро могу.
— Вот так утроба! Патриаршая.
— Сам-то я из мужиков, родом-то. Пока патриархом-то не сделался, горя помыкал. По базарам ходил — дивил народ честной. Ты спроси, чем дивил!
— Чем же?
— Было у меня заведено так: выпивал как раз ведро медовухи, мослом заедал...
— Как мослом?
— А зубами его... только хруст стоит. В мелкие крошки его — и глотал. Ничего. Потом об голову — вот так вот— ломал оглоблю и как вроде в зубах ковырял ей...
— Оглоблей-то?!
— Да так — понарошке, для смеха. Знамо, в рот она не полезет.
— А был ли женат когда?
— Пробовал — не выдюживали. Сбегали. Я не сержусь — чижало, конешно.
— Ты родом-то откуда?
— А вот — почесть мои родные места. Там вон в Волгу-то, справа, Сура вливается, а в Суру — малая речушка Шукша... Там и деревня моя была, тоже Шукша. Она разошлась, деревня-то. Мы, вишь, коноплю ростили да поместнику свозили. А потом мы же замачивали ее, сушили, мяли, теребили... Ну, веревки вили, канаты. Тем и жили. И поместник тем же жил. Он ее в Москву отвозил, веревку-то, там продавал. А тут, на Покров, случилось — погорели мы. Да так погорели, что ни одной избы целой не осталось. И поместник наш сгорел. Ну, поместник-то собрал, чего ишо осталось, да уехал. Больше, мол, с коноплей затеваться у вас не буду. А нам тоже — чего ждать? Голодной смерти? Разошлись по свету, куда глаза глядят. Мне-то что? — подпоясался да пошел. А с семьями-то — вот горе-то. Ажник в Сибирь двинулись которые... Там небось и пропали, сердешные... У меня брат ушел... двое детишков, ни слуху ни духу.
— Ну, и пошел ты по базарам? — интересно было Степану.
— И пошел... По Волге шастал — люблю Волгу.
— А потом?.. — любопытствовал дальше Степан, но вспомнил и осекся: ему полагалось знать, как дальше сложилась судьба «патриарха» — высокая судьба. — Твоих земляков нет в войске? Не стречал? — спросил он.

— Нет, не стречал.

— Стренешь, отверни рожу — не знаешь. Так лучше будет.

— Они, видно, далеко разошлись. В Сибирь-то много собиралось. Прослышали: земли там вольные...

Степан перестал расспрашивать, задумался.

Сибирь для Разина — это Ермак, его спасительный путь, туда он ушел от петли. Иногда и ему приходила мысль о Сибири, но додумать до конца эту мысль он ни разу не додумал: далеко она где-то, Сибирь-то. Ермака взяли за горло, он потому и двинул в Сибирь, Степан сам пока держал за горло...

...Баня стояла прямо на берегу Волги. «Патриарх» захотел сам истопить ее. Возликовал, воспрянул духом... Даже лицом просиял неистребимый волгарь.

— Я с хмелю завсегда сам топил — умею. Уху сварить да баньку исполнить — это, милок, уметь надо. Бабы не умеют.

— Валяй, — благодушно сказал Степан. И сам ушел на берег к воде. Охота было побыть одному... Вклинились в думы — Ермак, Сибирь... и охота стало додумать про все это, и про себя.

Денек набежал серенький, теплый, задумчивый. С реки наносило сырой дух... Гнильцой пахло и рыбой.

Степан поднял палку поровней и пошел вдоль берега. Шел и сталкивал гнилушки в воду. И думал. Редкие дни выпадали Степану вот такие — безлюдные, покойные, у воды. Он очень любил реку. Мог подолгу сидеть или ходить... Иногда, когда никто не видел, мастерил маленькие стружки и пускал по воде плыть. Для этого обстругивал ножом досточки, врезал в них мачточки, на мачточки — паруса из бересты — и отправлял в путь. И следил, как они плывут.

Степан думал в тот грустный, милый день так.

Почему не вышло у Ивана Болотникова? Близко ведь был... Васька Ус — славный казак, жалко, что хворь какая-то накинулась, но Васька — пень: он заботится, той или не той дорогой идти. Не тут собака зарыта. Вот рассказали: некий старик на Москве во всеуслышанье заявил, что видел у Стеньки царевича Алексея Алексеевича, что Стенька ведет его на Москву — посадить на престол заместо отца, который вовсе сник перед боярами. Старика взяли в бичи: какого царевича видел? «Живого

истинного царевича». — «И что ж ты, коль придет Стенька к Москве?» — «Выйду стречать хлебом-солью». Старика удавили. Вот если б все так-то! Всех не удавишь. Все бы так, всем миром — стали бы насмерть... Только как их всех-то поднять? Не поднять. Идут... Одни идут, другие смотрят, что из этого выйдет. И эти-то, тыщи-то, — сегодня с тобой, завтра по домам разошлись. У Ивана потому и не вышло, что не поднялись все. Как по песку шел: шел, шел, а следов нет. А у меня так: из Астрахани ушел, а хоть снова туда поворачивай — не опора уж она, бросовый город. И Царицын, и Самара... Пока идешь, все с тобой, все ладно, прошел — как век тебя там не было. Так-то челночить без конца можно. Надо Москву брать. Надо брать Москву. Слабого царя вниз головой на стене повесить — чтоб все видели. Тогда пятиться некуда будет. А до Москвы надо пробиваться, как улицей, — с казаками. Эти мужицкие тыщи — это для шума, для грозы. Вся Русь не подымется, а тыщи эти пускай подваливают — шуму хоть много, и то ладно. Фрол привел с собой казаков, Степан думал, что он приведет больше, но на Дону — раскоряка, испугались: испугал, как это ни странно, как ни глупо, размах войны. Надо после Симбирска опять на Дон послать... Как воодушевить дураков?

Так думая, далеко ушел Степан по берегу. Версты две. И деревню прошел, и шел потихоньку дальше, пока его не нагнал «патриарх». Закричал издали:

— Батька!.. Эй! Мы уж хватились тебя! Пойдем-ка первый жарок словим. Отменная вышла банька!

— Скоро ты управился, — сказал Степан, вернувшись и подходя к «патриарху». — Ну, пошли, пошли.

— Я везде скорый! И устали сроду не знал, ей-богу. За трех коней ворочал, — похвалился «патриарх».

— Ну?

— Не вру! Вот те крест. — Громадина «патриарх» сотворил на себя святой знак. — Один раз пошел на спор с поместником нашим: выдюжу за трех коней или нет.

— Как это?

— А вишь, коноплю-то, до того как в мялки пустить, ее сперва на кругу конями топчут: самую свежую-то, крепкую-то — кострыгу выламывают. Разложут на кругу — от так от высотой, — «патриарх» показал рукой от земли, — связывают трех коней, и стоит посередке парнишка и погоняет их. Они и ходют по кругу, мнут ко-

пытьями-то, ломают кострыгу... Так одну закладку до полдня, а то и больше топчут. Переворачивают аккуратно, чтоб не спутать, и толкут дальше. Я говорю поместнику: «Давай я тебе тоже до обеда всю закладку отомну. А ты мне за то — полведра сиухи и полотна на штаны и рубаху». — «Давай, — говорит. — Выдюжишь?» — «Это, — говорю, — не твоя забота. Ты лучше готовь сиуху и холста на одежу». Но был у меня, правда, ишо один уговор с поместником: вокруг будут стоять молодые бабенки и прихлопывать мне, подпевать. И какой-нибудь дед с дудкой. «Ладно», — говорит.

Выстрогал я себе деревянные колодки на ноги, обул их на онучки... Дед Кудряш, мы его за лысину так звали, заиграл мне под пляску, а девки и бабы подпевать стали да в ладошки прихлопывать. И пошел я — в колодках-то этих — по конопле плясака давать. Эх!.. Да с присвистом, с песенками разными... Девки ухи затыкают, а самим послушать охота, а то я их не знаю. И поместник тут же стоит, хохочет. Солнышко уж высоко поднялось, а я все наплясываю. «Может, — говорит, — сиухи маленько?» — поместник-то. «Нет, мол, уговора такого не было». А мне сиуху-то жалко: выпьешь, а она враз вся пóтом выйдет. Думаю, я ее лучше вечерком в холодке оглоушу. Пляшу. С меня пот градом... Рубаху скинул, пляшу. Передохнул, пока коноплю переворачивали, и опять. Так до обеда всю ее перемял. Даже маленько раньше.

Степан задумчиво слушал «патриарха». Под конец рассказа невпопад сказал:

— Ну... Можеть, и так... А?

«Патриарх», сообразив, что атаману не до его рассказов, а какие-то вредные думы одолели, тяжко хлопнул его по спине:

— Не кручинься, атаман. Вон как все ладно! А ты нос повесил. Чего?

— Так, отче... Ничего. — Степан помолчал... Поглядел на «патриарха», усмехнулся: — Смешно ты кормился... на базарах-то. Надо же додуматься!

Баню «патриарх» накалил так, что дышать было больно — обжигало рот.

— Ты с ума сошел! — воскликнул Степан, выпячиваясь задом из бани. В предбанник. — Мы окочуримся тут к черту. Как она ишо не спыхнула?..

— Ну, пережди маленько, — посоветовал старый богатырь. — Пусть он отмякнет, жар-то, а то, правда, горло дерет. Счас отмякнет! — Он надел шапку, рукавицы и

полез на карачках к полку. — О-о!.. Драться начал! Ишь, гнет, ишь, гнет!..

Степан присел пока на порожек предбанника.

— Доберись до каменки, там сбоку кадушка с водой, зачерпни ковш — кинь на каменку! — крикнул «патриарх».

Степан нашарил кадушку, ковш около нее, зачерпнул полный ковш и плесканул на каменку. Каменка зло — с шипом, с треском — изрыгнула смертоносный жар. Степан выскочил опять из бани.

— Оставь дверь открытой! — заорал совсем теперь невидимый за паром «патриарх». И принялся там хлестать себя веником. Кряхтел, мычал, охал, ухал блаженно. — Вся скверна выйдет! Весь новый стану, еслив кожа не нолопается!.. От-тана! От-тана! О-о!..

— Помрешь! — — крикнул Степан. — Сердце треснет!

«Патриарх» слез с полка́, лег на полу — голова на пороге.

— Вот, батюшка атаман, так и выгоняют из себя всю нечистую силу. Это меня двуперстники научили, старцы. Бывал я у них в Керженце... Глянутся они мне, только не пьют.

— Сам-то к какой больше склоняесся: к старой, к новой? — спросил Степан. — Чего старцы-то говорят? Шибко клянут Никона?

— Клянут... — неопределенно как-то сказал старик. — Они много-то не говорят про это. А себя соблюдают шибко. О-о, тут они...

— А к какой сам-то ближе? Тоже к старой?

— К старой не могу — змия люблю зеленого. К новой... Я, по правде, не шибко разбираюсь: из-за чего у их там раскол-то вышел? Христос — один — для тех и для этих. А чего тада? В Христа я сам верую.

— А крестисся как?

— А никак. В уме «Осподи, баслови» — и все. Христос так и учил: больше не надо. Не ошибесся. И тебе так советую.

Помолчали.

— Отче, ну-ка скажи мне, — заговорил Степан, — вот сял я на Москве царем. Ну... поднатужься, прикинь — так вышло. Сял. А тебя сделал правда патриархом...

«Патриарх» смотрел снизу удивленными глазами.

— Ну, и чего мы с тобой будем делать? — спросил он.

— Это я спрашиваю: чего будем делать?

«Патриарх» задумался. Усмехнулся... Покачал головой:

— Как я ни дуйся, а патриархом... Ты что, батька? Я скорей... Да нет, как я ни кажилься, а такой думы не одолеть.

— Да ну, — обозлился Степан, — не совсем же уж ты в сук-то вырос! Ну, подумай шутейно: стали мы — я царем, ты патриархом. Что делать станем?

— Хм... Править станем.

— Как?

— По совести.

— Да ведь и все вроде — по совести. И бояры вон — тоже по совести, говорят.

— Они говорят, а мы б делали. Я уж не знаю, какой ба из меня патриарх вышел, никакой, но из тебя, батька, царь выйдет. Это я тебе могу заранее сказать.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю... Я мужика знаю, сам мужик, знаю, какой нам царь нужен.

— Какой же?

— А мужицкий.

— Ну, заладил: мужицкий, мужицкий... Я сам знаю, что не боярский. А какой он, мужицкий-то?

— Да тут все и сказано: мужицкий. Чего тут гадать?

— Не ответил. Знаю, погулять мы с тобой сумеем, только там и для других дел башка нужна.

— А ты что, дурак, что ль? У тебя тоже башка на плечах, да ишо какая! Ты бедных привечаешь — уже полцаря есть. Судишь по правде — вот и весь царь. А будешь не такой заполошный, тебе цены не будет! Вся Русь тебе в ножки поклонится. На руках носить будем. Народ тебя и так любит... Нет, у тебя выйдет. А патриарха ты себе найдешь, не дури со мной... Куда! — «Патриарх» усмехнулся. — Не надо, батюшка...

— Чего так? — улыбнулся и Степан.

— Не надо, — уперся «патриарх».

— Ну, отец, и колода же ты: лег поперек дороги — ни туда ни суда. Пошто, я спрашиваю?

— Да какой же я патриарх — выпить люблю. Ты меня тада главным каким-нибудь над питейными делами поставь, это по мне. Всех целовальников в кулак зажму!.. Шибко народ надувают, черти! Я б их тоже извел всех — заодно с боярами. Полезешь париться-то? Теперь уж не так гнет. А то выстынет — какое тада...

— Обожду пока. Не сдюжу. Лезь, парься.

«Патриарх» опять полез на полок.

— Кинь, батька!

Степан поддал еще парку, вышел в предбанник... И тут прибежали сказать:

— Батька, там из-под Синбирска люди прибегли...

— Ну? Что там? — всполошился Степан.

— Борятинский идет от Казани. В городке, слышно, не склоняются к сдаче... Велели тебя звать.

— Кто послал-то?

— Мишка Ярославов.

— А Мишка Осипов не пришел?

— Нету.

— Не шуми много — про Борятинского-то. Молчи. Приведи коня... — Степан второпях одевался. Крикнул вслед казаку: — Есаулам скажи, чтоб за мной гнали! Может, коней тут найдут... Не мешкайте!

Казак подвел коня, Степан вскочил на него и уехал. Остальные — немногие коней нашли, опять в лодках — устремились тоже в лагерь. В баньке не успели помыться. «Патриарх» очень сокрушался, что атаман так и не попарился. Банька была отменная, «царская».

5

Князь Борятинский пришел к Симбирску раньше Степана. Степан опоздал. Но он и не мог поспеть до Борятинского, даже если бы и не делал этого передыха своему войску.

Подойдя к городу, он свел своих на берег, построил в боевой порядок и сразу повел в наступление на царево войско. День клонился к вечеру — медлить нельзя: к утру, если пережидать ночь, Борятинскому может подоспеть помощь.

Борятинский велел подпустить разинцев ближе и тогда только ударил. Он стоял выгодней — на взгорке. Он еще надеялся, что казаки и мужики устали, махая на стружках вверх по течению.

Бой был упорный.

Люди перемешались, не могли порой отличить своих от чужих.

Войско Борятинского было научено сохранять порядок и, конечно, лучше вооружено. Разинцев было больше, и действовали они напористее, смелее.

Степан вел донцов. С мордвой, чувашами и татарами были Федор Сукнин и Ларька Тимофеев. Татары, мордва

воевали своим излюбленным способом — наскоком. Ударившись о стройные ряды стрельцов, сминали передних, но, видя, что дальше — крепко, не подается, они рассыпались и откатывались. Ларька, Федор и другие есаулы и сотники опять собирали их, налаживали маломальский строй и вели снова в бой. Степан хорошо знал боевые качества своих инородных союзников, поэтому отдал к ним лучших есаулов. Есаулы ругались до хрипа, собирая текучее войско, орали, шли при сближении с врагом в первых рядах... В этом бою погиб Федор Сукнин.

Донцы стояли насмерть. Они не уступали врагу ни в чем, даже больше: упорней были и искусней в этих делах. Да они и свежей были, чем мужики: Разин, предвидя события, не велел им грести, когда спешили сюда, к Симбирску.

Борятинский медленно отступал.

Степан был в гуще сражения. Он отвлекался, только чтобы присмотреть, что делается с боков — у мужиков. С мужиками тоже были казачьи сотники и верные стрельцы астраханские, царицынские и других городов. Мужики воинское искусство восполняли нахрапом и дерзостью, но несли большой урон.

Степан взял с собой с десяток казаков, пробился к ним, встал с казаками в первые ряды и начал теснить царских стрельцов. Дело и тут налаживалось.

Пальба, звон железа и хряск подавили голоса человеческие... Стеной стоял глухой слитный гул, только вырывались отдельные звучные крики: матерная брань или кого-нибудь громко звали. Порохом воняло и горелым тряпьем.

— Не валите дуром!.. — кричал Степан Матвею. — Слышишь?!

— Ой, батька! Слышу!

— Прибери поздоровей с жердями-то — ставь в голову! А из-за их — кто с топорами да с вилами — пускай из-за их выскакивают. Рубнулись — и за жерди! А жердями пускай все время машут. Меняй, когда пристанут! Взял?

— Взял, батька!.. Не слухают только они меня.

— Перелобань одного-другого — будут слухать!

— Батька! — закричали от казаков. — Давай к нам! У нас веселея!..

Дед Любим был с молодыми.

— Минька!.. Минька, паршивец! — кричал он. — Не забывайся! Оглянись — кто сзади-то?! Эй...

— Чую, диду!
— Ванька!.. Отойди, замотай руку!
— Счас!.. Маленько натешусь.
— Не забывайтесь, чертяки! Гляди па батьку вон!.. Сердце радуется.
Так учил дед Любим своих питомцев. И показывал на атамана. А случилось так, что забылся сам атаман. Увлекся и оказался один в стрелецкой вражьей толпе. Оглянулся... Стрельцы, окружавшие его, сообразили, ктó это. Стали теснить дальше от разинцев, чтобы взять живого. Атаман крутился с саблей, пробиваясь назад, к своим.
— Ларька! — крикнул Степан. — Дед!..
С десяток стрельцов кинулись к нему. Ударили тупым концом копья в руку. Один прыгнул сзади, сшиб Степана с ног и стал ломать под собой, пытаясь завернуть руки за спину.
Ларька услышал крик атамана, пробился с полусотней к нему. И поспел. Застрелил стрельца над ним. Полусотня оттеснила стрельцов дальше.
Степан поднялся — злой, помятый, подобрал саблю.
— Чего вы там?! — заорал. — Атаману ноги на шее завязывают, а они чешутся!..
— Стерегись маленько! — тоже сердито крикнул Ларька. — Хорошо — услыхал... Не лезь в кучу! Куда лезешь-то?
— Что мордва твоя? — спросил Степан.
— Клюем! Наскочим — опять собираю... Текут, как вода из ладошки. Веселимся... а толку нет. Но хоть наших обойти не даем, и то дело. Обойти ж хотели!..
— Ммх!.. Войско. Не сварить нам с имя каши, Ларька. Побудь с казаками, сам пойду туда.
Мордва и часть мужиков с дрекольем опять шумно отбегали от самой кипени свальной драки — чтобы опять скучиться и налететь. Бежали, впрочем, весело, не уныло. Стрельцы, чтобы не рушить свой строй, не преследовали их.
Степан и с ним десятка два казаков остановили мужиков.
— В гробину вас!.. В душу!.. — орал Степан. — Куда?! — Двух-трех окрестил кулаком по голове. — Стой! Стой, а то сам бить буду!...
Инородцы и мужики остановились.
Степан построил их так, чтоб можно было атаковать, стал объяснять:

— Счас наскочим — первые пускай молотют, сколь есть духу. Пристали — распадайся, дай другим... А сами пока зарядись, у кого есть чего, передохни. Те пристали — распадись, дай этим. Чтоб на переду всегда свежие были. И не бегать у меня! Казаков назад поставлю, велю рубить! Кого боитесь-то?!. Мясников? Они только в рядах мастаки — топорами туши разделывать! А здесь они сами боятся вас. Ну-ка!.. Не отставай!.. Узю мясников!.. С жердями, с жердями-то — вперед, выставляй их! Тесней, тесней!..

Бежали тесной толпой, и выходило, что и к свалке бежали опять шумно и весело.

— Ну-ка, забежи вперед кто-нибудь! — крикнул Степан. — Скажите нашим, чтоб распáлись!.. А мы долбанем с бегу!

Наскочили. Заварилась каша... Молотили оглоблями, жердями, рубились саблями, кололись пиками, стреляли...

А уже вечерело. И совсем стало плохо различать, где свои, где чужие.

— Круши! — орал Степан. — Вперед не суйся — ровней! А то от своих попадет.

— Ровней, ребятки! — покрикивал дед Любим. — Ровней, милые! Тут как с бабой: не петушись, тада толк будет!

Степану прострелили ногу. Он, ругаясь, выбрался из свалки, взошел, хромая, на бугорок. Ему помогли стащить сапог.

Подошел потный и окровавленный Ларька.

— Куда?.. В ногу? — спросил он.

— В ногу опять. А ты чего в крове?

— Шибко?

— Нет... — Степан поворочал ногой. — Кость целая. Ты-то чего? Зацепили?

— Федора убили. Сукнина. — Ларька плюнул сукровицей, потрогал разбитые губы. — Я целый... зубы только... И то целые, однако.

— Ох, мать ты моя-то!.. Совсем есаулов не остается, — с горечью горькой сказал Степан. — Вынесли хоть?

— Вынесли.

— Берегитесь сами-то! — повысил голос Степан. — Куда вас-то тоже черт несет! С кем останусь-то? — все поляжете...

— Хватит, что ль? Не видно уж стало... — Ларька

всматривался в темную шевелящуюся громаду дерущихся людей.

— Погодь. Пускай он отойдет подальше... С горки пускай слезет. Пускай горка-то за нами будет.

— Отходит уж. А то — впотьмах-то — своих начнем глушить. Стрельцы плотней держутся, а мы своих начнем... Горка и так за нами.

— Ну, вели униматься. Хватит. Казаков много легло?

— Да нет, думаю... Задело многих. Нет, три зуба все же выбили! — Ларька сплюнул. — Хорошие зубы-то были.

— Матвей живой? — спросил Степан.

— Видел, живой был. Он ничего, не робеет. Орет, правда, больше, чем руками делает... Но помогает собирать.

— Хоть так, — нерадостно сказал Степан. — Иди унимай потихоньку.

Ларька ушел.

Битва долго еще ворочалась, гудела, кричала, брызгала в ночи огнями выстрелов. Но постепенно затихала.

На совет к атаману собрались есаулы.

— Борятинский отходит к Тетюшам.

— Добре. Городок надо брать, — заговорил Степан. — Пока подойдут Урусов с Долгоруким, нам надо в городке быть. Брать надо. Иначе хана́ нам тут с мужиками... Взять городок, всеми правдами и неправдами. Борятинский больше не сунется.

— Обождать бы, батька. А ну — хитрит Борятинский? — усомнился Матвей Иванов, которого Степан тоже позвал на совет.

— Не хитрит. Знает теперь: одному ему нас не одолеть. А других нам в открытом поле ждать негоже: пропадем с мужиками твоими, Матвей. Горе луковое, а не вояки. Отходите потихоньку к острожку. Был там кто-нибудь? Узнали?

— Были! — откликнулись из группы есаулов. — Сдадут острожок. А рубленый город надо приступом доставать. Тот не сдадут.

— Будем доставать. Готовьте приметы. Сено, солому, дранку — подожгем. Лестницы вяжите... Не давайте людям охлаждаться. Там отдышимся. Взять надо городок! Возьмем — сядем там. Мишка Осипов придет, пошлем в Астрахань — Федька Шелудяк приведет своих, на Дону ишо разок кликнем... Тада и вылезть можно. Но городок надо взять!

6

Наступила ночь.

В темноте Степан подвел войско к посадской стене, где был острог, и повел на приступ. Со стены и с вала по ним выстрелили холостыми зарядами; разинцы одолели первую оборонительную черту. Это было заранее известно: посад сдадут без боя. Дело в основном городке, где решительно заперлись.

Части войска Степан велел укрепить посадскую стену и расставить на ней пушки (на случай, если Борятинский вздумает вернуться и помешать штурму), остальных бросил на стены городка, которые хоть тоже деревянные, но и прочней, и выше посадских.

Начался штурм.

Стены и сам городок пытались зажечь. По ним стреляли горящими поленьями, калеными ядрами... Несколько раз в городке вспыхивали пожары. Симбирцы тушили их. То и дело в разных местах занималась огнем и стена. Осажденные свешивали с нее мокрые паруса и гасили пламя. А в это время казаки подставляли лестницы, и бой закипал на стенах. Упорство тех и других было свирепое, страшное. Новые и новые сотни казаков упорно лезли по шатким лестницам... В них стреляли, лили смолу, кипяток. Зловещие зарева огней то здесь, то там выхватывали копошащиеся толпы штурмующих.

Разин сам дважды лазал на стену. Оба раза его сбивали оттуда. Он полез в третий раз... Ступил уже на стену, схватился с двумя стрельцами на саблях. Один изловчился и хватил его саблей по голове. Шапка заслонила удар, но удар все-таки достался сильный, атаман как будто обо что запнулся, поослабла на миг его неукротимая воля, ослаб порыв... Тоскливо стало, тошно, ничего не надо.

Ларька и на этот раз выхватил его из беды.

Рану наскоро перевязали. Степан очухался. Скоро он снова был на ногах и опять остервенело бросал на стены новых и новых бойцов.

Урон разинцы несли огромный.

— Городок надо взять! — твердил исступленно Степан.

Беспрерывно гремели пушки; светящиеся ядра, описывая кривые дуги, падали в городке. Точно так же летели туда горящие поленья и ту́ры (пучки соломы с сухой драниной внутри). Со стены тоже, не смолкая, гремели пушки, ружья... Гул не обрывался и не слабел.

Под стены городка подвозили возы сена, зажигали. Со стен лили воду, огонь чах, горький смрад окутывал людей.

— Ларька, береги казаков! — кричал Разин. — Посылай вперед мужиков на стену.

— Всех сшибают! — отозвался Ларька. — Очертенели, гады. Не взять нам его...

— Надо взять!

К Степану привели переметчика из города.

— Ну? — спросил Степан. — Чего?

— Хочут струги ваши отбить... Чтоб вы без стругов остались... — Переметчик показал на городок: — Там уговариваются...

— А?! — переспросил Степан: не то не расслышал, не то не поверил.

— Хочут струги отбить!! — повторил перебежчик. — Вылазкой!.. С той стороны, с реки!

Степан оскалил стиснутые зубы, огляделся...

— Ларька! Мишка! Кто есть?!

— Мишку убили! — откликнулся подбежавший сотник. — Чего, батька?

— К стружкам! — велел ему Степан. — Бери сотню и к стружкам! Бегом! Отплывите па середину... Не отдавай стружки! Не отдавай!.. Ради бога, стружки!..

В это время со спины разинцев, от Свияги-реки, послышался громкий шум и стрельба. И сразу со всех сторон закричали казаки, которые больше знали про военные подвохи и больше стереглись; мужики, те всецело были озабочены стеной.

— Обошли, батька! Долгорукий с Урусовым идут!.. А эти из городка счас выйдут! Окружут!.. Беда, батька!..

— Ларька! — закричал Степан.

— Здесь, батька! — Ларька вмиг очутился рядом.

— Собери казаков... Не ори только. К Волге — в стружки. Без гама! Останови сотню — я послал отогнать стружки: не отгоняйте, садитесь в их. Выходите не все сразу... И тихо. Тихо!

— Чую, батька, — сказал смекалистый Ларька.

— Найдите Матвея, — велел Степан.

Матвея скоро нашли. Тот как прибежал с пожара: в саже, местами опален...

— Стойте здесь, Матвей, — сказал Степан. — Я пойду с казаками стретить пришлых... Слышишь, Урусов с Долгоруким подошли. Ждали-то когда их, а они — вот они, собаки.

— Как же, Степан?! Ты что?! — оторопел Матвей.— Какой там тебе Урусов — они ночью не сунутся... Это Мишка Осипов пришел.

— Стой здесь! — Степан был бледен и слабо держался на ногах. Но говорил твердо. И неотступно смотрел на Матвея.

Матвей понял, что их оставляют одних.

— Степан... Батька!.. Это Мишка Осипов!..

— Молчи! — Степан толкнул Матвея. — Откуда у Мишки пушки да ружья?.. Ты слышишь?!

— Мужики!!! — заполошно заорал Матвей и бросился было к стене, к мужикам, но Ларька догнал его, сшиб с ног, хотел зарубить. Степан остановил. Матвею сунули кляп в рот и понесли к берегу.

На стену всё лезли и лезли... Но оттуда упорно били и били. Под стеной кишмя кишело народу, рев и грохот не ослабели.

Скоро казаков никого почти у стены не было.

Штурм продолжался. Он длился всю ночь. Город устоял. Шум с тыла штурмующих был ложный. Борятинский, не рискуя пойти на разинцев в лоб, но чтобы хоть как-то помешать им и сбить с толку, завел от Свияги один полк и велел открыть стрельбу. Он достиг цели. Когда рассвело, осажденные и стрельцы увидели, что перед ними — только мужики с оглоблями да теплыми пушками, из которых нечем было стрелять.

7

Матвей очнулся в струге.

Светало.

Сотни четыре казаков молча, изо всех сил гребли вниз по Волге. Разин был с ними. Он сидел в том же стружке, что и Матвей, сидел, склонив голову и прикрыв глаза; голова его чуть качалась взад-вперед от гребков.

Матвей огляделся... И все вспомнил. И все понял. И заплакал. Тихо, всхлипами...

— Не скули, — сказал Степан негромко, не открывая глаз и не поднимая головы.

— Ссади меня, — попросил Матвей.

— Я ссажу тебя!.. На дно вон. — Степан посмотрел мутным взглядом на Матвея.

— Ссади, Степан, — плакал тот и просил.

— Молчи, — устало сказал Степан.

Матвей умолк.

И все тоже молчали.

— Придем в Самару — станем на ноги, — сказал Степан, подняв голову, но ни к кому не обращаясь. — Через две недели нас опять много тыщ станет... Не травите себя. — Степану было тяжко и совестно говорить, он говорил через великую муку и боль.

— Сколько их там легло-о! — как-то с подвывом протянул Матвей. — Сколько их полегло, сердешных!.. Господи, господи-и... Как жить-то теперь?.. Ка-ак?

— Ихняя кровь отольется, — сказал Степан.

— Кому?! — закричал ему в лицо Матвей.

— Скоро отольется... Не казнись — так вышло.

— Да кому?! Кому она отольется?! Пролилась она, а не отольется! Рекой пролилась... в Волгу! — Матвей плакал. — Понадеялись на молодцов-атаманов... Проверили! Эх!.. Заступники...

— Молчи!

— Не буду я молчать! Не буду!.. Будьте вы прокляты!

Ларька выхватил саблю и замахнулся на Матвея:

— Молчи, собака!

Степан оглянулся на всех, пристально посмотрел на Матвея... Сглотнул слюну.

— Кто виноватый, Матвей? — спросил тихо.

— Ты, Степан. Ты виноватый, ты.

Степан побледнел еще больше, с трудом поднялся, пошел к Матвею.

— Кто виноватый?

— Ты!

Степан подошел вплотную к истерзанному горем Матвею.

— Ты говорил: я не буду виноватый...

— Зачем мы бежим?! Их там режут, колют счас, как баранов!.. Зачем бросил их! Ваське пенял, что он мужиков бросил... Сам бросил! Бросил!.. Воины, мать вашу!..

Степан ударил его. Матвей упал на дно стружка, поднялся, вытер кровь с лица. Сел на лавку. Степан сел рядом с ним.

— Они пока одолели нас, Матвей, — с мольбой заговорил атаман. — Дай с силами собраться... Кто сказал тебе, что конец? Что ты! Счас прибежим в Самару, соберемся... Нет, это не конец. Что ты! Верь мне...

— Все изверилось у меня, вся кровь из сердца вытекла. Сколько их там!.. Милые...

— Больше будет. Астраханцы придут... Васька с Федькой, самарцы, царицынцы... На Дон пошлем. Алешку Протокина найдем. К Ивану Серку напишем... — Степан говорил как будто сам с собой. Как будто он и себя хотел убедить тоже. Он очень устал — много потерял крови, рана болела.

— Не пойдут они теперь за тобой, твои Алешки да Федьки. Они везучих атаманов любют. А тебя сбили... Не пойдут теперь...

— Врешь!

— Не пойдут, Степан, не тешь себя. Под нещастной звездой ты родился. — Матвей вытер разбитое лицо, ополоснул руку за бортом, опять приложил мокрую ладонь к лицу. — Кинулись мы на тебя, как мотыли на огонь... И обожглись. Да и сам ты сорвался теперь, а сгореть — это скоро. Один след и останется... яркый.

— Вымойся, — велел Степан. — И не каркай.

— Спробуй. Приди в Самару — там поймешь. Кто сам перестал верить, тому тоже не верют. Не могли мы погинуть по-доброму — со всеми вместе. Кто же нам теперь верить станет! Не я каркаю, Степан, над нами над всеми каркают... Подыми голову-то, оглядись: они уж свет заслонили — каркают.

8

Стали выше Самары.

Степан послал Ларьку с казаками в город — проведать. Сам ушел подальше от стругов, сел на берегу.

Это было то самое место, где совсем недавно последний раз пировало его войско. Еще всюду видны были следы стоянки лагеря, еще зола кострищ не потемнела, не развеял ее ветер степной.

Мрачно и пристально смотрел Степан на могучую реку.

Вдали на воде показались какие-то странные высокие предметы. Они приближались. Когда они подплыли ближе, Степан догадался, что́ это... И страх объял его мужественную душу.

Это были плоты с виселицами. На каждом плоту торчмя укреплено бревно с большой крестовиной наверху. И на этих крестовинах гроздьями — по двадцать-тридцать — висели трупы. Плотов было много. И плыли они медленно и торжественно.

Степан, не отрываясь, смотрел на них.

Подошел Матвей, тоже сел. И тоже стал смотреть на плоты. Лица обоих были бледны, в глазах — боль. Долго смотрели.

— Считай, — тихо сказал Степан. — За каждого здесь — пятерых вешать буду. Клянусь. Теперь — клянусь, другой раз клянусь. Господи, услышь меня, дай подняться, дай ишо раз подняться...

Матвей грустно, согласно вроде, кивнул головой.

— Когда ты, бабушка, ворожить стала? Когда хлеба не стало.

— Нет уж... теперь я не так буду.

— Будешь, будешь.

— Ты знай считай! Я в долгу аккуратный. — Дрогнувший было голос Степана вновь обрел крепость.

— Кого же считать?! — тихо и горько воскликнул Матвей. — Вся Русь тут. — Он помолчал и повернулся к атаману: — Только не на Дону наше спасение, Степан. Нет, не на Дону.

— Где же?

— Там, — Матвей показал на плоты. — Там, откуда они плывут. Можеть, там наше спасение, больше нигде.

Подскакал на коне Ларька.

— Не пускает Самара, — спрыгнув с коня, сказал он.

— Как?! — Степан вскочил. — Как? Ты что?

— Закрылись...

— Взять!!! Раскатать по бревну, спалить дотла!.. Зачем ты уехал оттуда? На распыл всю Самару!.. Поедем туда. Счас навяжу вот таких же плотов, и вперед этих по воде пустим. — Степан кинулся было к лодке.

Матвей молчал. Смотрел на плоты. Ларька тоже не двинулся с места.

— Поедем Самару брать! — крикнул Степан. И остановился.

— С кем возьмешь-то? — спросил Ларька. — Взять. Перевернулось там все... Побили наших...

Степан растерянно оглянулся кругом... На воду. И опустил голову. Сказал тихо:

— Самара... А-а!.. Пока обойдем. Потом вернемся.

* * *

Уже только сотни две казаков скакали верхами приволжской степью. Скакали молча. Впереди Разин, Ларька Тимофеев, дед Любим, несколько сотников. Полторы

сотни казаков на резвых татарских конях Степан послал в Астрахань — подымать в поход всех, кто там остался. Если потребуется — если там спились с круга и забыли войну, — жестоко карать и гнать силой. А полсотни конных стрельцов ушли ночью со стоянки — сбежали. Догонять не стали — не догонишь.

Все понимали беду... Беда стояла в глазах у всех. Ничего впереди не ждали, но еще жались друг к другу... Да и не все жались-то: стрельцы уходили ночами. А кто оставался, с атаманом во главе, скакали и скакали, точно была еще одна надежда — уйти от беды, отъехать.

...Еще город на пути — Саратов.

Степан опять послал Ларьку. И опять ждал...

Вернулся Ларька, сказал:

— Не открыли.

— В Царицын, — велел Степан. — Там Пронька. Саратов потом сожгем. И Самару!.. И Синбирск!! Все выжгем! — Он крутнулся на месте, стал хватать ртом воздух. — Всех на карачки поставлю, кровь цедить буду!.. Не меня!.. — Он сорвал шапку, с силой бросил ее к ногам. — Не меня змей сосать будет! Сам змей буду — сто лет кровь лить буду!.. Клянусь!.. Вот — клятву несу! — Степан брякнулся на колени, дрожащими пальцами хотел захватить горсть земли.

Ларька и Матвей подняли его за руки. Он уронил голову на грудь, долго стоял так. Вздохнул глубоко, посмотрел на товарищей своих — в глазах слезы. Он их не устыдился. Сказал тихо:

— В Царицын.

— Плохой ты, батька... Отдохнуть бы, — с жалостью сказал Матвей.

— Там отдохнем. Там нет изменников.

— Есть, Степан. Там будет так же. Не тешь себя...

— Откуда они узнают нашу беду? — с ужасом почти спросил Степан. — Ведь и едем скоро...

— Э-э... Вóроны каркают — смерть чуют.

* * *

Теперь уж полторы сотни скакало осенней сухой степью.

Степан правда очень плох, ослаб очень.

На перегоне, вечерней порой, у него закружилась голова, он, теряя память, упал с коня.

И в тот-то момент, когда он летел с коня, раздался в ушах опять знакомый звон... И, утратив вовсе сознание, увидел Степан на короткое время: Москва... В ясный-ясный голубой день — престольная, праздничная. Что же это за праздник такой?

Звон колокольный и гул... Сотни колоколов гудят. Все звонницы Москвы, все сорок сороков шлют небесам могучую, благодарную песнь за добрые и славные дела, ниспосланные на землю справедливой вселенской силой.

Народ ликует. Да что же за праздник?

Москва встречает атамана Стеньку Разина.

Едет Стенька на белом коне, в окружении любимых атаманов и есаулов. А сзади — все его войско.

Со Степаном: Сергей Кривой, Иван Черноярец, Стырь, дед Любим, Ларька Тимофеев, Мишка Ярославов, брат Фрол, Федор Сукнин, Федор Шелудяк, Василий Ус, маленький сын Афонька, Прон Шумливый — все, все. Все нарядные и веселые.

Народ московский приветствует батюшку атамана, кланяется. Степан тоже кланяется с коня, улыбается. Натерпелись люди...

Так хорошо видел Степан: проехали кривыми улочками Москвы... И улочки-то знакомые! Выехали на Красную площадь. Проехали мимо лобного места, направляясь к Спасским воротам. Степан слез с коня и вошел в Кремль. Вот те и Кремль — Кремль как Кремль... А вот и палаты царские.

В царских палатах — царь и бояре.

Степан вошел, как он вошел когда-то в домашнюю церковку митрополита астраханского: с ватагой, хозяйским шагом.

— На карачки! — велел боярам. — Все! Разом!..

Бояре разом, послушно стали на карачки; на сердце у атамана отлегло. Он, не останавливаясь, прошел к трону, где восседал царь, взял его за бороду и сдернул с трона. И долго возил по каменным белым плитам, приговаривая:

— Вот тебе, великый! Вот как мы его, великого! Вот он у нас какой, великый!.. Где он великый-то? — затычки делать из таких великых, бочки затыкать. Дурь наша великая сидит тут... расселась. — Степан пнул напоследок царя, распрямился, посмотрел на него сверху. — Вот он и весь... великый!.. Тьфу!

Потом он примерился сесть на трон... Посидел маленько — не поглянулось, делать нечего.

— Стырь! — позвал он любимого старика.

— Тут, батька!

— Иди садись. В царя игрывал — садись: всех выше теперь будешь.

— А чего я там буду?.. Негоже соколу на воронье место.

— Иди, не упирайся, старый!

— Да что я там?! Дерьма-то — царем. Я и не хотел сроду... Я так — зубоскалил. Неохота мне там... Да и чего делать-то?

— Сидеть! Не робей, тут — мягко, хорошо.

Стырь подошел, тоже пнул лежачего царя, взобрался на трон.

— Кварту сиухи! — велел он. — А чего с боярами будем делать, батька?

— Всех повесить и — вниз по Волге. Всех! — закричал Степан.

9

Очнулся Степан в незнакомом курене. Лежит он на широкой лежанке с перевязанной головой. Никого нет рядом, хотел оглядеться — голову повернуть больно. Хотел позвать кого-нибудь... и застонал.

К нему подошел Матвей Иванов.

— Ну, слава те господи! С того света...

— Где мы? — спросил Степан.

— На Дону на твоем родимом. — Матвей присел на лежанку. — Ну силы у тебя!.. На трех коней. Господи, господи... вернул человека... Слава тебе господи!

— Ну? — спросил Степан, требовательно глядя на Матвея. — Долго я так?..

— Э-э!.. Я поседел, наверно. Долго. — Матвей оглянулся на дверь и заговорил, понизив голос, как если бы он таился кого-то: — А Волга-то, Степанушка, горит. Горит, родимая! Там уж, сказывают, не тридцать, а триста тыщ поднялось. Во как! А атаманушка тут — без войска. А они там, милые, — без атамана. Я опять бога любить стал: молил его, чтоб вернул тебя. Вот — послушал. Ах, хорошо, Степанушка!.. Славно! А то они понаставили там своих атаманов: много и без толку. Широко разлилось-то, а мелко.

— А ты чего так — вроде крадисся от кого?

— На Дон тебя будут звать... — Матвей опять огля-

нулся на дверь. — Жена тут твоя, да Любим, да брат с Ларькой наезжают...

— Они где?

— В Кагальнике сидят. Хотели тебя туда такого, мы с дедкой не дали. Отстал от тебя Дон — и плюнь на его. Ишо выдадут. На Волгу, батька!.. Собери всех там в кучу — зашатается Москва. Вишь, говорил я тебе: там спасение. Не верил ты все мужику-то, а он вон как поднялся!.. Э-э, теперь его нелегко сбороть. Теперь он долго не уймется... раз уж кол выломил.

— А на Дону что?

— Корней твой одолел. Кагальник-то хотели боем взять — не дались. Бери счас всех оттуда — и...

— Много в Кагальнике? — допрашивал Степан.

— С три сотни.

— А в Астрахани?

— Васька помер, царство небесное. Митрополита убили, знаешь. Зря. И ты с церквой зря ругался — проклянут они тебя: грозятся. Это промашка твоя. Дон-то все... расшиперился — я так и знал. Но мужик, он... Слушай, Степан, пока тебе другого не насказали: мужик теперь в силе. Не гляди, што его колотют, — он сам обозлел...

Вошел дед Любим.

— Мать пресвятая!..

— Пришел попроведать нас с того света, — сказал счастливый Матвей. — Вот как бывает — не чаяли, не гадали.

— Что на Дону, дед? — спросил и Любима Степан.

— Плохо, атаман. Корней да Мишка Самаренин верх взяли. Кто и хотел ворохнуться, — присмирели. А они взяли да ишо слух пустили. Корней-то: срубили тебя...

— Степушка, — не унимался со своей радостью Матвей, — вот теперь скажу тебе... Ишо когда от Синбирска бежали, думал, на тебя глядючи, но плохой ты был — не стал уж говорить. Ты про Исуса-то знаешь?

— Ну? Как это?.. Знаю.

— Как он сгинул-то, знаешь? Рассказывал, поди, поп?.. Хорошо знал: ему же там — гибель, в Ирусалиме-то, а шел туда. Я досе не могу понять: зачем же идти-то было туда, еслив наперед все знаешь? Неужто так можно? А глядел на тебя и думал: можно. Вы что, в смерть не верите, что ли? Ну, тот — сын божий, он знал, что воскреснет.. А ты-то? То ли вы думаете: любют вас все, — стало, никакого конца не будет. Так, что ли?

Ясно видит: сгинет — нет, идет. Или уж и жить, что ли, неохота становится — наступает пора. Прет на свою гибель, удержу нет. Мне это охота понять. А сам не могу. Обдумай теперь все, хорошо обдумай... Я тебе не зря это рассказал, с Христом-то.

Степан хотел вдуматься в слова Матвея, но — сложно это, трудно, не теперь. Еще слабость великая в теле... Еще кулак не сожмешь туго — такая слабость. Он прикрыл глаза и долго лежал, пытаясь припомнить, как все случилось с ним... Правда, что ли, в стычке какой рубнули? Или — как?

— А казаки что? — опять спросил он Любима.

— А казаки что?! Я ж и говорю: нет тебя — они в разные стороны. Корней владычит...

— И наплевать на их! — с силой сказал Матвей.

Дед Любим посмотрел на него с усмешкой, пожаловался Степану:

— Загрыз меня тут совсем. Я уж не рад стал, что и казак-то.

Степан встал было с лежака, но его шатнуло вбок. Он сел опять, потрогал голову.

— Лежи уж!.. Куда ты? — сказал Матвей.

Но Степан привыкал к новому состоянию. Силы потихоньку возвращались к нему.

— Когда Ларька с Фролом приедут? — спросил.

— Седня пожалуют, — ответил Любим.

— Алена с имя?

— Алена здесь. Счас покличу. — Матвей вышел из куреня.

— Правда, на Волге-то?.. — спросил Степан старика. — Или прибавляет?

Дед Любим подумал.

— Не знаю, как тебе сказать. Поднялось много. С Осиповым, с Васькой Федоровым, Харитонов — эти вроде войском держутся, остальные — кто в лес, кто куда... Разлилось широко, а мелко, это он верно говорит. Туда зовет?

Степан опять в волнении встал. И устоял.

— Глубоко будет. Корнея с Мишкой надо убить. Это мой промах: я их жить оставил. Завтра... Мы где?

— В Качалинском.

— Завтра в Кагальник поедем. Вот вам и конец! — воскликнул Степан, неведомо к кому обращаясь. — Начало только, а вы — конец!

В душу Степана наливалась сила, а с силой вместе —

вера. Раз он поднялся, то какой же это конец! Муть в голове и слабость — пройдет, живая радость загудела в крови, уже он начал всего себя хорошо слышать и чувствовать.

— Окрепни сперва. Не торопись, — посоветовал Любим.

— Окрепну.

— Конешно, появись ты теперь на Волге...

— Надо с казаками появиться.

— Казаки-то...

Вбежала Алена:

— Родимый ты мой!.. Степушка!.. — Повисла на шее мужа. — Да царица ты небесная, матушка-а!..

— Ну, ну, только не выть, — предупредил Степан.

Дед Любим поднялся, сказал сам себе:

— Пойду приму сиухи. Во здравие. Можеть, принесть кварту?

— Не надо, — отказался Степан.

Любим ушел. Пошел искать Матвея, чтобы с ним выпить. Знал, что Матвей пить не станет — не пьет, но про Исуса доскажет. За время долгой болезни атамана, выхаживая его, старый казак сдружился с умным Матвеем, любил его рассказы.

Обо всем успели поговорить Степан с женой. Осталось главное: что делать дальше? Алена знала, что делать, — ей подсказал Корней Яковлев. Она тайком виделась с ним.

— Степушка, родимый, согласися. Пошто ты его врагом-то зовешь? Он вон как об тебе печалится...

— Дура! — Степан встал с кровати, заходил по куреню. Алена осталась сидеть. — Ах, дура!.. Приголубили ее. Он — лиса, я его знаю. Чего он говорит?

— Поедем, говорит, с им вместе, он повинится царю — царь помилует. Было так — винились...

— Зачем же он с войной на Кагальник приходил?

— Они тебя опять сбивать станут, смутьяны... Он хотел их переимать, твоих...

— Тьфу!. — Степан долго ходил туда-сюда в сильном раздражении. — И ты мне говоришь такое!

— Кто же тебе говорить будет? Смутьяны твои? Они ждут не дождутся, когда ты на ноги станешь. Им опять уж не терпится, руки чешутся — скорей воевать надо, чтоб их черт побрал. Согласись, Степушка!.. Съезди к царю, склони голову, хватит уж тебе. Слава богу, живой

остался. Молебен царице небесной отслужим да и станем жить, как все добрые люди. Чего тебе надо ишо? Всю голь не пригреешь — ее на Руси много.

— Сам он к царю ездил? После Мишки-то...

— Иван Аверкиев с казаками. В двенадцать. А царь, слышно, заслал их в Холмогоры — не верит. Раз, мол, присылали, а толку...

— Собака, — с сердцем сказал Степан, думая о своем. — Помутил Дон. Я его живого сожгу!.. И всю старшину, всех домовитых!.. Не говори мне больше такие слова, не зли — я ишо слабый. К Корнею я приду в гости. Я к им приду! Пусть зараньше в Москву бегут.

Алена заплакала:

— Не обманывает он тебя, Степушка!.. Поверь ты. Не с одной мной говорил, с Матреной тоже, с Фролом...

— Он знает, с кем говорить.

— Он говорил: Ермака миловал царь, тебя тоже помилует. Расскажешь ему на Москве, какие обиды тебя на грех такой толкнули... Он сам с тобой поедет. Не лиходей он тебе, не чужой...

— Хватит. Вытри слезы. Афонька как?

— Ничо. С бабкой Матреной там... Она прихворнула. Повинись, Степушка, родной мой...

— Тут кони есть? — спросил Степан.

— Есть.

— Покличь деда с Матвеем. Сама тоже собирайся.

— Слабый ты ишо. Куда?

— Иди покличь. Не сердись на меня, но... с такими разговорами больше не лезь.

— Господи, господи!.. — горько воскликнула Алена. — Не видать мне, видно, счастья, на роду, видно, проклятая... — Она заплакала.

— Что ж ты воешь-то, Алена! Радоваться надо — поднялся, а ты воешь.

— Я бы радовалась, если б ты унялся теперь. А то заранее сердце обмирает. Уймись, Степан... Корней не лиходей тебе.

— Уймусь. Как ни одного боярина на Руси не станет, тай уймусь. Потерпи маленько. Иди покличь деда. И не реви...

Пришли дед с Матвеем. У деда покраснел нос.

— Степан, ты послушай-ка про Исуса-то... — начал было Любим, но Степан не дал ему.

— Завтра в Кагальник поедем, — сказал он. — Собирайтесь.

Но в Кагальник они приехали только через неделю: пять дней еще Степан отлеживался.

10

В Кагальник прибыли, когда уж день стал гаснуть.

Казаки — триста самых отпетых и преданных — встретили атамана с радостью великой, неподдельной.

— Батька! Со здравием тебя!.. — орали.

— Поднялся! Мы Зосиму молили тут...

— Здоров, батюшка!

Высыпали из землянок, окружили атамана, здоровались. Степан тоже улыбался, оглядывал всех... Похоже, можно начинать все сначала. Никакой тут беды нет, она тут не ночевала.

«Матвей, Матвей... не знаешь ты казаков, — думал он. — Мужик, он, может, и обозлился, и махнет там оглоблей, на Волге-то, но где ты таких соколов беззаветных найдешь, таких ловкачей вертких, где еще есть такие головушки буйные?..»

Степан подавал всем руку, а кого и обнимал.

— Здорово, братцы! Как вы тут?

— Заждались тебя!

— Ну, добре. Радый и я вас всех видеть... Слава богу! Все хорошо будет.

Вышли навстречу атаману Ларька, сотники, брат Фрол...

— Слыхал? Корней-то с Мишкой войной на нас приходили! — издали еще весело известил Ларька.

— Что ж ты радуисся? — спросил Степан, отдавая коня в чьи-то руки. — Горевать надо... Или — как? — Поздоровался с есаулом, с сотниками, с братом.

— Клали мы на их — горевать, — откликнулся Ларька.

Степан устал за дорогу. Прошли в землянку.

Матрена, слабая и счастливая, приподнялась на лежаке.

— Прилетел, сокол... Долетели мои молитвы.

Степан неумело приласкал старуху.

— Что эт ты? Завалилась-то?

— Вот — завалилась, дура старая...

Афонька давно уже ждал, когда его заметит отчим.

— Афонька!.. Ух, какой большой стал! Здоров! —

Поднял мальчика, потискал. — Вот гостинцев, брат, у меня на этот раз нету — не обессудь. Самого, вишь, угостили... насилу очухался.

Не терпелось Степану начать разговор деловой — главный.

— Ларька, говори: какие дела? Как Корнея припяли?

— Ничего... Хорошо. Больше зарекся, видать, — нету.

— Много с им приходило?

— Четыре сотни. К царю они послали. Ивана Аверкиева...

— Вот тут ему и конец, старому. Я его миловал сдуру... А он додумался — бояр на Дон звать. Чего тут без меня делали?

— В Астрахань послали, к Серку писали, к ногаям...

— Казаки как?

— На раскорячку. Корней круги созывает, плачет, что провинились перед царем...

— Через три дня пойдем в Черкасск. Передохну вот...

— Братцы мои, люди добрые, — заговорил Матвей, молитвенно сложа на груди руки, — опять ведь вы не то думаете. Опять вас Дон затянул. Ведь война-то идет! Ведь горит Волга-то!.. Ведь там враг-то наш — на Волге! А вы опять про Корнея свово: послал он к царю, не послал он к царю... Зачем в Черкасск ехать?

— Запел! — с нескрываемой злостью сказал Ларька. — Чего ты суесся в чужие дела?

— Какие же они мне чужие?! Мужики-то на плотах — рази они мне чужие?

Тяжелое это было воспоминание — мужики на плотах. Не по себе стало казакам: и тяжело, и больно.

— Помолчи, Матвей! — с досадой сказал Степан. — Не забыл я тех мужиков. Только думать надо, как лучше дело сделать. Чего мы явимся туда в три сотни? Ни себе, ни людям...

— Пошто так?

— Дон поднять надо. Думаешь, правда остыли казаки? Раззудить некому... Вот и раззудим. Тогда уж и на Волгу явимся. Но не в триста же!

— Опять за свой Дон!.. Да там триста тыщ поднялось!.. — Матвей искренне не мог понять атамана и казаков: что за сила держит их тут, когда на Волге война идет? Не мог он этого понять, страдал. — Триста тыщ, Степан!..

Горе Матвея было настоящее, казаки это видели.

— Знаю я их, эти триста тыщ! Седни триста, завт-

ра — ни одного, — как можно мягче, но и стараясь, чтоб правда тоже бы дошла до Матвея, сказал Степан. — И как воюют твои мужики, тоже видали...

— Опять за свое! — воскликнул Матвей. — Вот глухари-то!.. Да вы вон какие искусники, а все же побежали-то вы, а не...

— Выдь с куреня! — приказал Ларька, свирепо глядя на Матвея.

— Выдь сам! — неожиданно повысил голос и Матвей. — Атаман нашелся. Степан... да рази ж ты не понимаешь, куда тебе счас надо? Ведь что выходит-то: ты без войска, а войско без тебя. Да заявись ты туда — что будет-то! Все Долгорукие да Борятинские навострят лыжи. Одумайся, Степан...

— Мне нечего одумываться! — совсем тоже зло отрезал Степан. — Чего ты меня, как дите малое, уговариваешь. Нет войска без казаков! Иди сам воюй с мужиками с одними.

— Эхх!.. — только и сказал Матвей.

— Все конные? — вернулся Степан к прерванному разговору.

— Почесть, все.

— Три дня на уклад. Пойдем в гости к Корнею. Матвей... как тебе растолковать... К мужикам явиться, надо... радость им привезть. Одно дело — я один, другое — я с казаками. Все ихное войско без казаков — не войско. Сам подумай! А мне надо ишо тут одну зловредную голову с плеч срубить — надежней за свою будет. Мой промах, я и выправлю.

* * *

Ночью в землянку к Матвею пришел Ларька.

— Спишь? — спросил он тихо.

— Нет, — откликнулся Матвей и сел на лежанке. — Какой тут сон... Тут вся душа скоро кровью истекет. Горе, Лазарь, какое горе... не понимаете вы, никак вы не поймете, где вам теперь быть надо. Да вразуми вас господь!.. Вы же с малолетства на войнах — как вы не поймете-то? А?

— Собирайся, пойдем: батька зовет, — сказал Ларька.

Матвей удивился и обеспокоился:

— Опять худо ему?

— Нет, погутарить хочет... Пошли.

— Чего это?.. Ночью-то?

— Не знаю. — Ларька нервничал, и Матвей уловил это. Он вздул с помощью кресала малый огонек и внимательно посмотрел на есаула... И страшная догадка поразила его. Но еще не верилось, еще противились разум и сердце.

— Ты что, Ларька?..

— Что? — Ларька злился и хуже нервничал. — Пошли, говорят!

— Зачем я ему понадобился ночью?

— Не знаю. — Ларька упорно смотрел на крохотный огонек, а не на Матвея.

— Не надо, Лазарь... Грех-то какой берешь на душу. Я лучше так уйду...

— Одевайся! — крикнул Ларька.

— Не шуми. Приготовлюсь по-людски... Эхх...

Матвей встал с лежанки, прошел со свечечкой в угол, молча склонился к сундучку, который повсюду возил с собой. Достал из него свежую полотняную рубаху, надел... Опять склонился к сундучку. Там — кое-какое барахлишко: пара свежего холстяного белья, иконка, фуганок, стамеска, молоток — он был плотник. Это все, что он оставлял на земле. Он перебирал руками свое имущество... Не мог подняться с колен.

— Ну! — позвал Ларька.

Матвей словно не слышал окрика, все перебирал инструменты. Плечи его вздрагивали. Он плакал.

— Пошли. — Матвей вытер слезы, встал с колен... — Прости вас господь! — сказал он с волнением. — Обманули людей... Можеть, и не хотели того. Но много-ого на вас невинной крови... — Он повернулся было к Ларьке, но тот сильно толкнул его к выходу!

— Шагай!

Утром Ларька сказал Степану:

— Этой ночью... Матвей утек.

— Как? — поразился Степан. — Куда утек?

— Утек. Кинулись — нигде нету. К мужикам, видно, своим — на Волгу. Куда звал, туда и утизенил.

Степан пристально посмотрел на верного есаула... И все понял. И так больно стало, так нестерпимо больно, как бывает больно от невозвратимой дорогой утраты.

— Гад ты подколодный, — сказал он, помолчав, негромко. — Ох, какой же ты гад... Мешал он тебе?

— Мешал, — твердо сказал Ларька. — Умный шибко!.. Чего ни сделаешь, все не так, все не по его...

— А мы с тобой?! — закричал Степан, белея. — Мы всегда с тобой умные?!

— Ну, и... так тоже... к такой-то матери все, все дела, все на свете! — Ларька прямо и свирепо смотрел на атамана. — Кончай и меня тогда, раз он тебе милее нас. Мне с им тоже не ходить. Меня всего тряской трясти начинает, как он только поглядит — опять не так делаем. Живи и оглядывайся на его!..

— Тряской его трясет... — Степан долго, мрачно молчал, глядя в пол. И сказал с грустью: — Нет у меня есаулов... Один остался, и тот живодер. А выхода... тоже нет. Поганец! Уйди с глаз долой!

Ларька ушел.

11

Через два дня три с лишним сотни казаков, во главе с Разиным, скакали правым берегом Дона — вниз, к Черкасску. В «гости» к Корнею.

Опять — движение, кони, казаки, оружие... Резковатый, пахучий дух вольной степи. И не кружится голова от слабости. И крепка рука. И близок враг — свой, «родной», знакомый. И близко уж время, когда враг этот посмотрит в мольбе и злобе предсмертной...

Ну, что же это, как не начало?

Но, может, это после хвори осталась тревога на душе? Никак не поймешь: отчего она? Все же ведь хорошо. Все хорошо. Но какая-то есть в душе неуютность, что-то тревожит и тревожит все время. Оглянется Степан на казаков — и шевельнется в груди тревога, прямо как страх. И никак от этой тревоги не избавишься — не обгонишь ее на коне, не оставишь позади. Что за тревога такая?

Черкасск закрылся.

Заплясали на конях под стенами.

— В три господа бога мать! — ругался Степан. Но сделать уже ничего не сделаешь — слишком малы силы, чтобы пробовать взять хорошо укрепленный теперь городок приступом.

Трижды посылал Степан говорить с казаками в городе.

— Скажи, Ларька: мы никакого худа не сделаем. Надо ж нам повидаться! Что они, с ума посходили? Своих не пускают...

Ларька подъезжал близко к стене, переговаривался. И привозил ответ:

— Нет.

— Скажи, — накалялся Степан, — еслив они будут супротивничать, мы весь городок на распыл пустим! Всех в Дон посажу! А Корнея на крюк за ребро повешу. Живого закопаю! Пусть они там не слухают его, он первый изменник казакам, он продает их боярам. Рази же они совсем одурели, что не понимают!

Ларька подъезжал опять к стене и опять толковал с казаками, которые были на стене. И привозил ответ:

— Нет. Ишо суляться стрельбу открыть. Одолел Корней.

— Скажи, — велел в последний раз Степан, — мы ишо придем. Мы придем! Плохо им будет! Кровью плакать будут за лукавые слова Корнеевы. Скажи: они все уж там проданы с потрохами! И еслив хоть одна курва в штанах назовет там себя казаком, то пусть у того глаза на лоб вылезут. Пусть над имя дети малые смеются. — Степан устал. — И дети ихние проданы. Скажи: все они там, с Корнеем в голове, — прокляты от нас. Еслив их давить всех придут, мы не придем заступиться. Мы им теперь не заступники.

Ехали обратно. Не радовала степь вольная, не тревожил сердце родной, знакомый с детства милый простор.

Нет, это, кажется, конец. Это тоска смертная, а не тревога.

12

Астрахань не слала гонцов. Серко молчал. Алешка Протокин затерялся где-то в степях Малого Ногая.

Степан бросился в верховые станицы поднимать казаков, заметался, как раненый волк в облаве. Стремительность опять набрали нечеловеческую, меняли запаленных коней.

Станица за станицей, хутор за хутором...

По обыкновению Степан велел созывать казаков на майдан и держал короткую речь:

— Атаманы-молодцы! Вольный Дон, где отцы наши кровь проливали и в этой самой земле лежат, его теперь наша старшина с Корнеем Яковлевым и Мишкой Самарениным продают: называют суда бояр. Так что лишают

нас вольностей, какие нам при отцах и дедах наших были! Нам бы теперь не стерпеть такого позора и всем стать заодно! Нам бы теперь своей казачьей славы и храбрости не утратить и помочь нашим русским и другим братам, которых бьют на Волге. А кто пойдет на попятный, пускай скажет здесь прямо и пускай потом на себя пеняет!

Таких не было, которые бы заявляли «прямо» о своем нежелании поддержать разинцев и помочь «русским и другим братам» на Волге, но к утру многих казаков не оказывалось в станице. Степан зверел.

— Где другие?! — орал он тем десяти-пятнадцати, которые являлись поутру на майдан. — Где кони ваши?! Пошто неоружные?!

Угрюмое молчание было ответом.

Уводили глаза в сторону...

— Ну казаки!.. Наплачетесь. Ох, наплачетесь! — недобро сулил Разин.

...В другом месте Степан откровенно соблазнял:

— Атаманы-молодцы! Охотники вольные!.. Кто хочет погулять с нами по чисту полю, красно походить, сладко попить, на добрых конях поездить, — пошли со мной! Силы со мной — видимо-невидимо: она на Волге, там ждут нас! Ну, молодцы!.. Не забыли же вы, как вольные казаки живут. Стрепенитесь!

Поутру — то же: десять-двенадцать молодых казаков, два-три деда, которые слышали про атамана «много доброго». И все. А никогда не говорил атаман так много, цветасто — аж самого коробило. Но он больше не знал, как всколыхнуть мертвую воду; гладь ее, незыблемость ее — ужасала.

Тоска овладела Степаном. Он не умел ее скрывать. Однажды у них с Ларькой вышел такой разговор. Они были одни в курене. Степан выпил вина, сплюнул, сказал прямо и просто:

— Не пьется, Ларька. Мутно на душе. Конец это.

— Какой конец? Ты что? — удивился Ларька; может, притворился, что удивлен, — даже и это противно знать: все врут теперь или нет?

— Конец... Смерть чую.

— Брось! Пошли в Астрахань... Уймем там усобицу ихнюю. Можеть, в Персию опять двинем... — Ларька вроде говорил искренне.

— Нет, туда теперь путь заказан. Там два псаря сразу обложут: царь с шахом. Они теперь спелися.

— Ну, на Волгу пошли! — Нет, Ларька ещё предан душой. Но это не радует, а только гнетет: где другие, где они, с преданными душами-то!

— С кем? Сколь нас!..

— Сколь есть... Мужиками обрастем: вошкаются же они там...

— Мужики — это камень на шее. Когда-нибудь, да он утянет на дно. Вся надежа на Дон была... Вот он — Дон! — Степан надолго задумался. Потом с силой пристукнул кулаком в столешницу. — На кой я Корнея жить оставил?! Где голова была!.. Рази ж не знал я его? Знал — не станет он тут прохлаждаться: всех путами спутал, а концы... Москва держит. Не седня-завтра суда бояры с войском явются.

Ларька выпил. Помолчал и сказал:

— Не вышло, видно, у Ивана. Пропал где-то.

— Про кого ты? — не понял Степан.

— Ванька Томилин... Посылал я его в Черкасск Корнея извести. Пропал, видно, казак. Можеть, перекинулся...

— Когда же?

— До того ишо, как нам к Черкасску ходить. Ни слуху ни духу... У меня зельишко было, мордвин один дал: с ноготка насыпать в рюмку... А можеть, мордвин надул.

— Пропал. Корнея кто обведет, тот сам дня не проживет.

— Пропал... Можеть, не сумел. Но там... чего там, поди, суметь-то!

— Может, изменил. За кого теперь можно заручиться? Надо было нам раньше думать, Ларька. Как я-то?!. Где голова была!

— Нет. Я его знаю, Ваньку... Чего-то, видно, не вышло.

— Ну, пропал.

— Пропал. Жалко, казак добрый, — вздохнул Ларька.

Степан надолго замолк.

* * *

В одной станице, в курене богатого казака, вышел с хозяином спор.

— Пропало твое дело, Степан Тимофеич, — заявил хозяин напрямки. — Не пойдут больше за тобой.

— Пошто? — спросил Степан.

— Пропало... Не пойдут больше.

— Откуда ты взял?! — хотел серьезно понять Степан. — Как это: я вам говорю — не пропало, а вы — пропало. Я лучше знаю или вы?

— Видим... не слепые. За тобой кто шел-то? Голутьба наша да москали, которых голод суда согнал. Увел ты их, слава богу, рассеял по городам, сгубил которых — теперь все, не обижайся. Не пойдут больше за тобой. И не мани, и не сули горы златые... Смешно даже слушать-то. Не зови никого и сам уйдешь. Хватит.

— А ты, к примеру, пошто послужить не хошь?

— Кому? — Казак прищурил глаза в усмешке. — В разбойниках не хаживал, не привел господь бог... С царем мне делить нечего — мы с им одной веры. Он меня поит-кормит, одевает...

— А мужиков... — Степан уже пристально смотрел на казака. — Братов таких же, русских, одной с тобой веры — бьют их... У тебя рази душа не болит?

— Нет. Сами они на свой хребет наскребли. И ты, Степан, не жилец на свете. От тебя смертью пахнет.

Степан и Ларька уставились на казака.

— Смертью пахнет, — пояснил тот. — Как вроде — травой лежалой. Я чую, когда от человека так пахнет. Значит: не жилец.

— А от тебя не пахнет? — спросил Степан.

— От себя не учуешь. А вот у нас в станице — кто бы ни помирал — я наперед знаю. Подойдешь — даже лихотит, до того воняет. Скажешь человеку — не верит, пройдет время, глядишь: отдал богу душу. Или на войне срубют, или своей смертью помрет. Я — такой. Меня даже боятся. А от тебя счас — крепко несет. Срубют тебя, Степан, на бою. Оно бы и лучше — збаламутил ты всех... Царя лаешь, а царь-то заботится об нас. А счас вот — по твоей милости — без хлебушка сидим. Мы за тебя в ответе оказались. А на кой ты нам? Мы с царем одной веры, ишо раз тебе говорю.

Степан впился немигающим взглядом в казака, одаренного таким странным даром: чуять чужую смерть.

Ларька встал и вышел из куреня, чтоб ничего больше не видеть. Слышал, как Степан сказал казаку:

— Поганая ваша вера, раз она такая...

Больше Ларька не слышал.

Через некоторое время Степан вышел во двор, вытер саблю пучком пакли... Садясь на коня, велел казакам:

— Спалить.

— Не надо бы — у себя-то... — неуверенно сказал Ларька. — Так вовсе никого не подымем.

— Спалить! — крикнул Степан. Стегнул коня и погнал прочь.

Лазарь догнал атамана на выезде из станицы, подравнял своего коня к скоку разинского жеребца, чуть сзади.

— Спалили? — спросил Разин, не оглянувшись.

— Нет, — коротко отозвался Ларька.

Степан оглянулся... Не то что удивился такому непослушанию, а — интересно: это бунт, что ли?

— Я же велел...

— Со зла велел. После сам пожалеешь.

Если это не бунт, то и не ватажный угар, когда слово атамана, как искру живую, рвет и носит большой ветер, и куда она упадет, искорка, там горит. Нет, это не гулевой пожар, это похмелье в пасмурное утро, горькое, пустое и мерзкое.

«Это — конец. Конец. Конец». Степан понимал.

Он молча скакал... И захотелось вдруг еще и вот что понять: ну, есть страх? Злость? Боль? Жалость?.. Нет, одно какое-то жгучее нетерпение: уж скорей бы, скорей бы какой-то конец. Какой ни на есть! Надоело. Тошно. Он и сам не верил теперь, что можно поднять Дон. Нет, прав был Матвей Иванов, царство небесное: на леченом коне далеко не ездят. «Битый я — вот отгадка всему. Кто же пойдет за мной, какой дурак! Я б сам первый не пошел...»

Ларька как будто подслушал его мысли. Позвал:

— Степан!

— Ну? — Атаман не обернулся.

— Придержи!.. Погутарим.

Степан перевел жеребца с рыси на шаг, но и опять не обернулся.

— Не подымется Дон, Степан... — заговорил Ларька, оглянувшись на казаков, но те были далеко. — Знаешь, чего мы делаем, мотаемся по станицам? Слабость свою всем в глаза пялим. Когда волка ранют, он, дурак, заместо того чтоб перебрести ручеек да отлежаться где-нибудь в закутке, зализать рану, он заместо этого старается уйти подальше — кровь теряет и след за собой волокет. Так и мы...

— Мы же не уходим. — Степану интересно стало, как думает есаул про все эти дела.

— Мы хуже: на глазах мечемся.

— Все так же думают или один ты... такой умник?

— Все. Не показывают только. Тут дураку все понятно, не надо даже умником быть. У тебя голова, а у нас что, корчаги заместо голов?

Степан оглянулся на есаула:

— Чего ж ты советуешь? — Еще сбавил ход жеребцу. — Нет, так: скажи, пошто Дон больше не подымется?

— Степа, мы ж казаки с тобой. Чего греха таить — и ты знаешь, и я знаю: за щастливым атаманом — это мы с радостью великой, хоть на край света... хаживали! И за тобой шли. А теперь ты... запнулся. Тут уж — прости, батюшка атаман, — погожу. Отсижусь пока дома. Ненавижу эту поганую жилку, но сам такой... Никуда не денесся. Вот тебе мой ответ. Плохой ответ, но... какой есть.

— Я не ответ спрашиваю, а — совет.

— Совет?.. Тут я пока... дай подумать. — Ларька замолчал.

И Степан молчал.

— Ну, раз спрашиваешь, — заговорил Ларька, — то я скажу... Пойдем в Запороги? Нас там с радостью примут. Вот мой совет добрый. Никуда больше не надо — ни в Астрахань, ни... Там хуже нашего. И на Волге нечего делать: у их там теперь свои атаманы... Там теперь — ихная война пошла.

— Битые-то придем в Запороги?..

— А они что, сроду битые не были? Им тоже попадало.

— Ларька!.. — с грустью и изумлением воскликнул атаман. — Послухал бы ты счас со стороны себя: бесстыдник! Братов наших, товарищей верных в землю поклали, а сами наутек? Эх, есаул... Плачет по тебе моя пуля за такой совет, но... не судья я вам больше. Скажу только, как нам теперь быть: разделим с братами нашими ихную участь. А еслив у тебя эта твоя поганая жилка раньше времени затрепыхалась, — отваливай.

Теперь молчал Ларька.

— Что молчишь?

— Нечего сказать, вот и молчу. Это как же ты мне советуешь отвалить-то — ночью? Тайком?

— Ты видишь, как отваливают. Тайком.

— До такого я пока не дошел.

— А не дошел, не советуй всякую дурость.

Некоторое время ехали молча.

Отдохнувшие кони сами собой перешли в рысь. Ка-

заки отпустили их. День был нежаркий. Степь, еще не спаленная огневым солнцем, нежилась, зеленая, в ласковых лучах; кони всласть распинали ее сильными ногами.

— Знаешь, чего хочу? — спросил Степан после долгого молчания.

Ларька, оскорбленный и пристыженный, хотел уклониться от разговора. Буркнул:

— Знаю.

— Нет, не знаешь. Хочу спокоя. Упасть бы в траву... и глядеть в небо. Всю жизнь, как дурак, хочу полежать в траве, цельный день, без всякой заботы... Скрывал только... Но ни разу так и не полежал.

Ларька удивленно посмотрел на Степана. Не думал он, что неукротимый атаман, способный доводить в походах себя и других до исступления... больше всего на свете хотел бы лежать на травке и смотреть в небо. Он не поверил Степану. Он переиначил желанный покой этот на свой лад:

— Скоро будет нам спокой. Только опасаюсь, что головы наши... будут в сторонке от нас. Одни только головушки и будут смотреть в небо. А? — Ларька невесело засмеялся.

Степан улыбнулся тоже.

— Воронье... — сказал он непонятно.

— А?

— Воронье, мол... глаза выклюют — не посмотришь. Нечем смотреть-то будет.

На этом перегоне их догнал верховой.

— За вами не угоняисся. То там, сказывают, видали, то тут...

— Говори дело! — нетерпеливо велел Степан.

Казак ненароком зыркнул глазами на войско атамана, до смешного малое... Разные ходили слухи: то говорили, со Стенькой много, то — мало. Теперь видно: плохо дело атамана, хуже не бывает. И казак не сумел скрыть своего изумления; на его усатом лице промелькнуло что-то вроде ухмылки.

— Ты что? — спросил Ларька, обеспокоенный заминкой казака и его пытливым взглядом. Он и усмешку казака не проглядел.

— Корней в Кагальник нагрянул. — Казак спокойно посмотрел в глаза Степану.

Степан, Ларька; сотники молча ждали, что еще скажет гонец. Казака этого никто не знал.

— Ну? — не выдержал Степан. — С войском?

— С войском.

— Сколь? Да рожай ты!.. — заругался Степан. — Тянуть, что ль, из тебя?

— Сот семь, можа, восемь... Сказывает, грамоту тебе от царя привез.

— Какую грамоту?

— Больше молчит. Велел только сказать: милостивая грамота.

Степан долго не думал:

— В Кагальник!

— Степан... я не поеду, — заявил Ларька.

— Как так? — Степан крутнулся в седле, вперился глазами в есаула — в лицо его, в переносицу. — Как ты сказал?

— Подвох это. Какая милостивая грамота! Ты что?

Степан качнул удивленно головой:

— Рази я для того еду, что в грамоту ту верю? Ларька... что ты, бог с тобой! Ты уж вовсе меня за недоумка принимаешь. Грамота, видно, есть, только не милостивая. С какого черта она милостивой-то будет? Мы ему Сибирь не отвоевали...

Теперь Ларька удивился:

— Для чего же? Не возьму, для чего к им ийтить?

— Придем — все разом решим. Раз они сами вылезли — нам грех уклоняться. Не могу больше... Ты видишь — зря мотаемся. Сам же укорял: без толку мотаемся... Поехали — крест поставим и не будем мотаться.

— В триста-то казаков на семьсот! Нет, Степан... ты вояка добрый, но там тоже... не турки, а такие же казаки. Ничего нам не сделать. Какой крест?

— Помрем по-людски...

— Мне ишо рано. — Ларька решительно изготовился в душе; страх он одолел, но все же заговорил громче — чтоб другие слышали.

— Вон ка-ак? — протянул Степан; такого он не ждал.

— А как?.. С тобой на верную гибель? — спросил Ларька. — Зачем?

— Последний раз говорю: едешь? — Степан не угрожал, но никто бы и не поручился, что он сейчас не всадит Ларьке пулю в лоб. Было тихо.

— Нет. Зачем? Я не понимаю: зачем? — Ларька

оглянулся на казаков... И опять к Степану: — Зачем, батька?

Степан долго смотрел в глаза верному есаулу. Ларька выдержал взгляд атамана.

Степан отвернулся, некоторое время еще молчал. Потом обратился ко всем:

— Казаки! Вы слыхали: в Кагальник пришел с войском Корней Яковлев. Их больше. Их много. Кто хочет ийтить со мной — пошли, кто хочет с Ларькой остаться, — я не неволю. Обиды тоже не таю. Вы были верные мои други, за то вам поклон мой. — Степан поклонился. — Разделитесь и попрощайтесь. Даст бог — свидимся, а нет — не поминайте лихом. — Степан подъехал к Ларьке, обнял его — поцеловались.

— Не помни зла, батька, — сказал Ларька, перемогая слезы. — Не знаю... у тебя своя думка... я не знаю...

— Не тужи. Погуляй за меня. Видно, правду мне казак говорил... близко мой конец.

Ларька не совладал со слезами, заплакал, больно сморщился и ладошкой сердито шаркнул по глазам.

— Прости, батька... Не обессудь.

— Добре... Вы простите тоже.

Степан развернул коня и, не оглядываясь, поскакал в степь. Он слышал топот за собой, но не оглядывался, крепился. Потом оглянулся... Не больше полусотни скакало за ним. Степан подстегнул коня и больше уже не оборачивался. И не давал коню передохнуть — торопился. Полусотня едва поспевала за ним — не у всех были добрые кони. Один раз сзади шумнули Степану, чтоб маленько сморйл. Степан не оглянулся и не сбавил бег.

13

Трудно понять, какие чувства овладели Степаном, когда он узнал, что в Кагальнике сидит Корней Яковлев. Он действительно прямиком пошел к гибели. Он не мог не знать этого. И он шел. Вспомнились слова Матвея про Иисуса... Но вдумываться в них Степан не стал. Да и не понял он тогда, почему — Иисус? А теперь и вовсе не до того — разбираться в чувствах, в предчувствиях, в мыслях путаных... С каждым скоком коня все ближе, ближе, ближе те, кого атаман давно хотел видеть. Теперь — скоро уж — все будет ясно, скоро будет легко. Скоро, скоро уже станет легко. Степан волновался, тискал в пальцах тонкий ремешок повода... Господи, как охота скорей за-

глянуть в ненавистные, в глубокие, умные глаза Корнея, Фрола Минаева, Мишки Самаренина... Выстегать бы их вовсе, напрочь — плетью изо лба, чтоб вытекли грязным гноем. Но зачем-то надо было Степану — еще раз увидеть эти глаза. Зачем? Не понимал тоже... Затем, может, что охота увидеть — какое в них будет торжество. Будет в них торжество-то? Как они глядеть-то будут?

* * *

К вечеру подъехали к Кагальнику.

Оставив полусотню на берегу Дона (таково было условие сидящих теперь в Кагальнике), он с тремя сотниками переплыл, стоя на конях, на остров. И пошел к своей землянке, где были теперь Корней и старши́на — ублюдки, нечисть донская. Степан ничего вокруг не видел, не слышал. Он торопился, хоть изо всех сил не показывал этого, но прямо чуть не бежал.

У входа в землянку его и сотников хотели разоружить. Степан вытащил саблю — как если бы хотел отдать ее — и вдруг с силой замахнулся на караульных. Те отскочили.

И Степан вошел — стремительный, гордый, насмешливый. Вот он, желанный миг желанного покоя. Враги в сборе — ждут. Теперь — его слово. Ах, сладкий ты, сладкий, дорогой миг расплаты. Будет слово. Будет слово и дело. Усталая душа атамана взмыла вверх — ничего не хотела принять: ни тревоги, ни опасений.

Корней и старши́на сидели за столом. Всего их было человек двенадцать-пятнадцать. Они слышали некий малый шум у входа, и многие держали руки с пистолями под столом. Выбежать на шум не решились — посовестились своих, да и знали, что со Стенькой здесь всего трое, и знали, что Стенька не затеет свару на улице — войдет сюда.

В землянке была Алена. Матрены, брата Фрола и Афоньки не было. Про Алену Степан не знал, что она здесь.

— Здорово, кресный! — приветствовал Степан Корнея.

— Здоров, сынок! — мирно, добрым голосом сказал Корней.

— Чего за пустым столом сидите? Алена!.. Али подать нечего? — Степан даже руками развел — так удивился.

— Есть, Степан, как же так нечего! — встрепенулась Алена, до слез обрадованная миром в землянке.

— Так давай! — Степан отстегнул саблю, бросил ее на лежанку. Пистоль оставил при себе. Сотники его сабель не отстегнули. На них покосились из-за стола, но смолчали.

Степан прошел на хозяйское место — в красный угол. Сел. Оглядел всех, будто хотел еще раз проверить и успокоиться, что — все на месте.

Никто не понимал, что происходит. Даже Корней был озадачен, но вида тоже не показывал.

— Чего такие невеселые? — спросил Степан. — А? Сидят как буки... Фрол, чего надулся-то?

— А ты с чего развеселел? — подал голос Емельян Аверкиев, отец Ивана Аверкиева, того, который и теперь еще был где-то в Москве — наушничал царю и боярам на Стеньку.

— А чего мне? Дела веселые, вот и веселюсь.

— Оно видно, что веселые...

— Не рано ли, Степан? Веселиться-то?

— Ну, а где ж твое войско, кресник? — спросил Корней.

— На берегу стоит. — Степан все не спускал дурашливого, веселого тона. Все поглядывал на старшину — будто наслаждался. Он и наслаждался — видел теперь глаза всех: Фрола Минаева, Корнея, Мишки Самаренина, всех. И — ни торжества в этих глазах, ничего — один испуг, даже смешно.

— Там полста только. Все, что ль? А я слыхал, у тебя многие тыщи. Врут? — Умный Корней догадался — подхватил беспечную игру. — От люди! — медом не корми, дай приврать. И все ведь добра атаману желают, не по злобе. А невдомек, дуракам, что такими-то слухами только хуже душу бередят атаману. И так-то не сладко, а тут...

— А у тебя сколь? — нетерпеливо прервал его Степан. — Семьсот, я слыхал? — Вот — семьсот твоих да полста моих — это семьсот с полусотней. Вот это и есть пока наше войско. Пока сэстоль... Скоро будут многие тыщи. Говорят, а зря не скажут, кресный, — не отмахывайся. Про вас вовсе вон чего говорят: совсем уж, мол, боярам продались, беглецов отдают... все вольности отдают, даже и бояр с войском зовут, мол... Я тоже не шибко верю, но спросить тоже охота: так ли, нет ли? А? — Степан засмеялся. — Тоже врут небось?

Корней старательно разгладил левой ладошкой усы, промолчал на это.

Алена поставила на стол вино. Из всех тут, в землянке, одна, может быть, Алена только и не понимала, не догадывалась, чем кончится это застолье.

— Разливай, дядя Емельян! — Степан хлопнул по плечу рядом сидящего пожилого, дородного Емельяна Аверкиева. — Вынь руку-то из-под стола, чего ты там? Уж не забыл ли на старости, как креститься надо? Лоб надо крестить-то, лоб, а ты... Грех ведь! Тьфу!

Дядя Емельян дернулся было с рукой... и смутился. Сказал с усмешечкой:

— Да ведь ты, Стенька... ложкой кормишь, а стеблем в глаз норовишь.

— Да что ты, Христос с тобой! — воскликнул Степан. — Я грамотку царскую приехал послушать, грамотку. А вы зачем звали? Мне сказали — грамотка у вас от царя...

Выручил всех Корней. Взял кувшин, разлил вино по чарам. Но опять вышла заминка — надо брать чары. Левой рукой — поганой рукой, не по-христиански. Опять не знали, что делать, сидели, кто ухмылялся в дурацком положении, кто хмурился... Упустить Стеньку из виду — хоть на короткое время занять руки — опасно: неизвестно, кому первому влетит между глаз Стенькина пуля, а сзади — еще трое с саблями и с пистолями.

Степан взял свою чару, поднял...

— Со свиданьем, казаки!

Старшина сидела в нерешительности.

Степан выложил свой пистоль на стол.

— Кладу — вот. Выкладывайте и вы, не бойтесь. Или вы уж совсем отсырели, в Черкасске сидючи? Нас ведь четверо только!

Казаки поклали пистоли на стол, рядом с собой, взяли чары.

— Я радый, что вы одумались и пришли ко мне, — сказал Степан. — Давно так надо было. Что в Черкасск меня не пустили, за то вам отпускаю вашу вину. Это дурость ваша, неразумность. Выпьем теперь за вольный Дон — чтоб стоял он и не шатался! Чтоб никогда он не знал изменников поганых!

Переглянулись...

Понесли пить...

Когда пили, Корней незаметно мигнул одному каза-

ку. Тот встал и пошел было из землянки. Один из сотников Разина остановил его:

— Посиди.

— Ты с чем приехал, Степан? — прямо спросил Корней.

— Карать изменников! — Степан ногой двинул стол. Трое его сотников рубили уже старшйну. Раздались выстрелы... В землянку вбежали. Степан застрелил одного и кинулся к сабле, пробиваясь через свалки кулаком, в котором был зажат пистоль.

— Степан!.. — закричала Алена. — Они же подобру приехали!.. Степушка!.. — Она повисла у него на шее. Этим воспользовались, ударили чем-то тяжелым по голове. Удар, видно, пришелся по недавней ране. Степан упал.

И опять звон ошеломил голову. И ночь сомкнулась непроглядная, беспредельная, и Степан полетел в нее. Не чувствовал он, не слышал, как били, пинали, топтали распростертое тело его.

— Не до смерти, ребятушки!.. — заполошно кричал Корней. — Не до смерти! Нам его живого надо!

...И опять, как сознание помутилось, увидел Степан:

Степь... Тишину и теплынь мира прошили сверху, с неба, серебряные ниточки трелей. Покой. И он, Степан, безбородый еще, молодой казак, едет в Соловецкий монастырь помолиться святому Зосиме.

— Далеко ли, казак? — спросил его встречный старый крестьянин.

— В Соловки. Помолиться святому Зосиме, отец.

— Доброе дело, сынок. На-ка, поставь и за меня свечку. — Крестьянин достал из-за ошкура тряпицу, размотал ее, достал монетку, подал казаку.

— У меня есть, отец. Поставлю.

— Нельзя, сынок. То — ты поставишь, а это — от меня. На-ка. Ты — Зосиме, а от меня — Николе Угоднику поставь, это наш.

Степан взял монетку.

— Чего ж тебе попросить?

— Чего себе, то и мне. Они знают, чего нам надо.

— Они-то знают, да я-то не знаю, — засмеялся Степан.

Крестьянин тоже засмеялся:

— Знаешь! Как не знаешь. И мы знаем, и они знают.

Пропал старик, все смешалось и больно скрутилось в голове. Осталось одно мучительное желание: скорей до-

ехать до речки какой-нибудь и вволю напиться воды... Но и это желание — уже нет его, опять только — больно. Господи, больно!.. Душа скорбит.

Но опять — через боль — вспомнилось, что ли, или кажется все это: пришел Степан в Соловецкий монастырь. И вошел в храм.

— Какой Зосима-то? — спросил у монаха.

— А вон!.. Что ж ты, идешь молиться — и не знаешь кому. Из казаков?

— Из казаков.

— Вот Зосима.

Степан опустился на колени перед иконой святого. Перекрестился... И вдруг святой загремел на него со стены:

— Вор, изменник, крестопреступник, душегубец!.. Забыл ты святую соборную церковь и православную христианскую веру!..

Больно! Сердце рвется — противится ужасному суду, не хочет принять его. Ужас внушает он, этот суд, ужас и онемение. Лучше смерть, лучше — не быть, и все.

Но смерти еще нет. Смерть щадит слабого — приходит сразу; сильный в этом мире узнает все: позор, и муки, и суд над собой, и радость врагов.

14

Вот уж не бред и видения — а так и было: прокляли Степана на Руси. Все злое, мстительное, маленькое поднялось и открестилось от Стеньки Разина, разбойника, изменника, душегубца.

«Великому государю изменил, и многия пакости и кровопролития и убийства во граде Астрахане и в иных низовых градех учинил, и всех купно православных, которые к ево воровству не пристали, побил, со единомышленники своими да будет проклят!..» — так читали. Вот она — бумага-то!..

Господи, господи!.. Кого клянут именем твоим здесь, на земле! Грянь ты оттуда силой праведной, силой страшной — покарай лживых. Уйми их, грех и подлость творят. Зловоние исторгают на прекрасной земле твоей. И голос тут не подай, и руку не подыми за слабых и обездоленных: с проклятиями полезут!.. С бумагами... С именем твоим... А старания-то все, клятвотворцев-то, вера-то вся: есть-пить сладко надо.

«...Страх господа бога вседержителя презревший, и

час смертный и день забывший, и воздаяние будущее злотворцем во ничто же вменявший, церковь святую возмутивший и обругавший...»

Слушали люди... Это — из века в век — слушают, слушают, слушают.

«И к великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичу, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцу, крестное целование и клятву преступивший, иго работы отвергший...»

Как, однако!.. Как величаво лгут и как поспешно душат всякое живое движение души, а всего-то — чтоб набить брюхо. Тьфу!.. И этого хватает на целую жизнь. Оно бы и — хрюкай на здоровье, но ведь хотят еще, чтобы пятки чесали — ублажали. Вот невмоготу-то, господи! Вот с души-то воротит, вот тошно-то.

«Новый вор и изменник донской казак Стенька Разин, злоумышленник, враг и крестопреступник, разбойник, душегубец, человекоубиец, кровопиец...»

Ну, что же уж тут... Ничего тут не сделаешь.

— Врете! — сильный душераздирающий голос женщины. Если бы его тоже могли слышать все.

Это кричала Алена-старица с костра. Ее жгли. Это — там, где еще горел бунт, где огонь его слабел, смертно чадил и гас в крови.

— Врете, изверги! Мучители!.. Это вас, — кричала Алена, объятая пламенем, в лицо царевым людям (стрельцам и воеводам, которые обступили костер со всех сторон), — не вы, мы вас проклинаем! Я, Алена-старица, за всю Русь, за всех людей русских — проклинаю вас! Будьте вы трижды прокляты!!! — Она задохнулась дымом... И стало тихо.

15

Какая бывает на земле тишина! Непостижимая.

Отлогий берег Дона. Низину еще с весны затопило водой, и она так и осталась там, образовав неширокий залив.

Ясную, как лазурь поднебесная, гладь залива не поморщит низовой теплый ветерок, не тронет упавший с дерева легкий лист; вербы стоят по колена в воде и смотрятся в нее светло и чисто.

Станица в две сотни казаков расположилась на бе-

регу залива покормить коней. Везут в Москву Степана Разина с братом. Они еще в своих богатых одеждах; Степан скован по рукам и ногам тяжкой цепью, Фрол гремит цепью послабее, не такой увесистой.

— Доигрался — ишо никого из казаков не проклинали, — горестно сказал Корней крестнику. — Легко ли?

— Ну, так я тебя проклинаю, — молвил Степан спокойно.

— За что бы? Я на церкву руку не подымал, зря не изводил людей, — стараясь тоже говорить спокойно, сказал Корней. — Царю служу, я на то крест целовал. И отец мой служил... И твой тоже.

— Эх, Корней, кресный, — вздохнул Степан. — Вот закованный я по рукам-ногам, и не на пир ты меня везешь, — а жалко тебя.

— Вон как! — искренне изумился Корней.

— Жалко. Червем прожил. Помирать будешь, спомнишь меня. Спомнишь... Я ишо раньше к тебе не раз приду — мертвый.

Они сидели чуть в сторонке от других, ближе к воде; Степан привалился спиной к нетолстой молодой вербе с криулинкой, руки держал промеж ног, чтоб лишний раз не звякать цепью — этот звяк угнетал его.

— Ладно, — согласился Корней, — я — червем, ты — погулял...

— Не в гульбе дело, — оборвал Степан рассуждения войскового. — А то бы я не нашел, где погулять!

— Чего же ты хотел добиться? — спросил тогда Корней.

— Не поймешь.

— Где нам! Где нам за тобой угнаться. Мы люди малые...

— Змей ты ползучий, и поганый вдобавок, — сказал Степан негромко. — Подумай: рази ты человек? Да рази человек будет так, чтоб ему только одному хорошо было! Ты вот торгуешь Доном... Вольностями нашими. После тебя придут — тоже охота урвать кусок пожирней, — тоже к царю поползут... Больше-то чем возьмете? — Степан говорил без злобы, спокойно. — И вот такие лизоблюды... все отдадут. Вот беда-то. Пошто я тебя не пристукнул!.. Можеть, другим бы неповадно было... Гады вы! Бог тебе ум дал, а ты измусолил его — по углам рассовал, всю жизнь, как собака, в глаза хозяину своему заглядывал. А доберись я до того хозяина — он бы сам завыл, как собака.

— Быть было ненастью, да дождь помешал. Смотри, как бы тебе не завыть там. Там умеют... сок жать.

— Не завою. Не порадую царя — не дождетесь.

— Стенька... Скажи напоследок: пошто войсковым не захотел стать? Я же тогда не обманывал тебя, правду говорил. Помнишь? В церкви-то...

— Помню.

— Пошто же?

— У человека душа есть, а рази важно ей — войсковой я или не войсковой. Она небось и не знает-то про эти слова. Был бы я товарищ верный, да была бы... Да был бы я — вольный. Вот и все, я и спокойный.

— Ну, и спокойный? Столько людей загубил...

— Не за себя губил, за обиженных.

— Фу-ты, какой заступник выискался!

— А кто же за их заступится? Ты? Тебе лишь бы доползти до кормушки... Эх, надо б мне тебя раздавить! Пожалел. Моя промашка, кресный. Каюсь.

— Корней Яковлевич! Можно и в путь-дорогу! — шумнули от казаков, где их собралось покучней; которые уж и коней седлали, подпруги подтягивали.

— С богом! — Корней встал и пошел к своей лошади.

За разговором этим наблюдал со стороны Фрол Минаев. За время, пока Степана держали в Черкасске и потом везли плененного, Фрол Минаев держался поодаль, наблюдал, но не подходил. А Степану было не до него. Степан, как пришел в память, все время был спокоен и задумчив. Иногда только подбадривал брата, павшего духом, улыбался и шутил с ним. На всех остальных смотрел с глубоким презрением.

Теперь, пока казаки ловили и седлали коней, Фрол Минаев подошел к Степану, присел рядом. Как когда-то, в степи, когда гнался атаман за другом-врагом, не догнал, упал с коня, — так же сидели теперь, только Степан был в железах. Оба, видно, вспомнили то свое сидение, глянули друг на друга, помолчали. Близко никого не было; Фрол заговорил:

— Степан...

— Ну? — Степан прищурился на Фрола... Долго смотрел, внимательно. — Что ж ни разу не подошел поговорить?

— А чего говорить? — наигрывая беспечность, но и принахмурившись, откликнулся Фрол. — Без разгово-

ров все понятно. Чего говорить? Хотел я только спросить...

— Тебе — есть чего. Ты упреждал меня — твоя взяла. Вот и скажи, а не спрашивай. Посмейся хоть надо мной. Корней вон выговорил...

— Я не радуюсь, Степан, — искренне сказал Фрол. — Нет. Мне жалко тебя.

— Ну? — удивился Степан. — А кто это угостил меня сзади? В землянке-то?.. Не ты?

— Нет.

— Кто же?

— Не все равно тебе, кто?

— Ну, все же.

— Мишка Самаренин.

— А-а. Я, грешным делом, на тебя думал. Похоже на тебя...

— Степан... — раздумчиво, с глубоким, серьезным интересом повторил Фрол, — дурацкое дело — теперь спрашивать: к чему ты все это затеял?..

— Дурацкое, — согласился Степан. — Надоело. Я ж тебе говорил.

— Ладно, не буду. Скажи только: пошто так легко попался? Сам ведь полез... Знал же: конец там тебе, зачем же лез?

— Э, не так все легко, Фрол, как на словах у тебя. «Конец»... Перебей мы вас тогда, в землянке... Не знаю. Не знаю, кто из нас какие слова говорил бы счас.

— Четверо-то — двенадцать?! Ты что?

— Не знаю, не знаю. Одно знаю: вовремя меня Мишка угостил по затылку. Не знаю, куда бы качнулись эти ваши семьсот казаков. Выйди я тада из землянки цел, невредим — поднялась бы у кого рука на меня? А?

— Не знаю, — признался Фрол. — Как-то... не думал так.

— А я знаю. И ты знаешь: не поднялась бы. Опять хитришь. Все хитришь, Фрол... Ты все знаешь: они с вами, пока вы — над имя. Убери-ка счас отсуда всю головку старшинскую... А? — Степан засмеялся. — Встал бы я да зыкнул, как бывало: братцы!.. — Степан и в самом деле налег на голос, крикнул. Казаки, все как один, враз оглянулись. Кто успел поставить ногу в стремя, оглянулся, стоя на одной ноге, кто седлал лошадь, оглянулся с седлом в руках... Корней Яковлев шел к коню, от возгласа Степана, нежданного, аж споткнулся. Резко оглянулся... Не по-старчески скоро пошел, побежал поч-

ти к Степану, невольно сунулся правой рукой к поясу. И никто ничего не сказал, все молчали. Смотрели на Степана...

— А-а, — сказал Степан. — А ты говоришь.

Фрол Минаев махнул рукой Корнею, чтоб не спешил к пленнику, что пленник — дурачится. Корней, не поворачивая головы, глянул туда-сюда по сторонам — не видел ли кто, как он чуть не бегом кинулся к скованному по рукам и ногам человеку и даже за пистоль схватился? — проверил — и, повернувшись, пошел опять к коню, медленно.

— Змей заполошный, — сказал негромко, себе под нос. — Ажник ноги подсеклись.

Степана истинно развеселила эта всполошка казаков.

— Вот, Фрол.., говорят: не выливай помоев, заготовь сперва чистой воды. Правда. Всяко бывает... И так бывает: поехали пир пировать, а пришлось бы горевать.

— Да нет, тебе теперь уж не пировать, — тихо сказал Фрол.

— Как знать... — тоже тихо, глядя на затон, молвил Степан.

— Знаю. Это-то знаю.

— Ну, а чего ж ты ишо хочешь узнать, Фролушка? — спросил Степан ласково. — Чего тебе сказать, друг мой любый? — Он повернулся к Фролу.

— Зачем в Кагальник-то пришел? Неужель уйтить некуда было? Я прям ушам своим не поверил, когда сказали, что — едешь.

Степан ответил не сразу. И ответил неясно:

— Спотычка была у меня в жизни... Горькая одна спотычка. — Он посмотрел в далекую даль, и боль явственная проглянула из его глаз, так, что он даже зажмурился. И опять молчал долго. Открыл глаза, глянул на свои руки и ноги, качнул горестно головой. — Вот за то и получил... эти дары. — Тряхнул железами, они покорно звякнули.

— Какая спотычка? — Фролу и правда было интересно. — У тебя много спотычек было. Какая же самая... горькая?

— Это я тебе не скажу. Другу сказал бы... Но у меня их не осталось. Вот на том свете свижусь с имя — покаюсь. Повинюсь.

— Жалеешь, что не убил меня? На степи-то? — спросил еще Фрол.

— Нет, — честно сказал Степан. — Нет. Гнался —

хотел убить, потом — нет. Не знаю... как-то расхотел. Я тебя ишо один раз мог убить... теплого, в постеле. Был я однова в Черкасске. Ночью. Ты даже не знаешь...

— Знаю, Корней говорил.

— А-а. Ну вот: мог зайти, приткнуть к лежаку... Не стал.

— Ну, а чего ты хотел-то, Степан? Прости меня... не думал спрашивать, а охота. — Фрол жалостливо смотрел на скованного давнего друга. — Я и тогда спрашивал, только не понял...

— Хотел дать людям волю, Фрол. Я не скрытничаю, всем говорил. И тебе говорил, ты только не захотел понять. Мог-то ты мог — не захотел.

— А чего из этого вышло? — Вот это, главное, и хотел — не спросить — сказать хотел Фрол.

— А чего вышло? Я дал волю, — убежденно сказал Степан.

— Как это?

— Дал волю... Берите!

— Ты сам в цепях! Волю он дал...

— Дал. Опять не поймешь?

— Не пойму. — Фрол все смотрел на повергнутого атамана с жалостью и пытливо.

— Фрол... — Степан вдруг резко повернулся к нему, один миг смотрел — присматривался, от волнения даже пошевелился и глотнул. — Друг... сбей железы. Пока подбегут — успеешь... — Степан торопился говорить, говорил негромко и неотступно смотрел на Фрола. — Спомни дружбу, Фрол... Мы их одолеем, они сами не полезут... Фрол... милый... вас же обманно зовут на Москву: вас тоже покарают там. Откинут вас, как бревешки обгорелые, — вы ж тоже возле огня лежали. На кой вы им теперь? Сбей, Фрол: улетим, только нас и видали. А? Они, эти-то, не сунутся, Фрол!.. Ослобони только руки — иди тада, возьми меня! Да они и не сунутся. Фрол, друг... — Степан все смотрел на Фрола... и плакал. Черт знает, какая слабая минута одолела, но — плакал. Светлые капли падали с ресниц на щеки, на усы, а с усов, подрожав, срывались. — Век не забуду. Неужель тебе бояры московские дороже? Мы уедем... Куда позовешь, туда уедем. С нами опять сила большая будет!..

— Опять он за силу!.. — Фрол явно растерялся от таких нежданных, напористых, из самого сердца идущих слов Степана. — На кой она тебе?

— Ну, так уедем, — на все соглашался Степан. —

Возьмем сотни две охотников — и в Сибирь. Что же за радость тебе, что мне снесут голову? И вам позор, и Дону всему... на веки вечные. Неужель ты спокойно помрешь после этого?! Да и не выпустют вас теперь с Москвы — вы тоже опасные, раз со мной знались. А ты-то... в дружках ходил. Подумай-ка, ты ж не дурак. Чего ж мы... сами лезем туда? Фрол! Сбей — скочим на коней — мы их тут же развеем, они и не рыпнутся. Рáзи не так, Фрол?

Может, мгновение какое-то Фрол колебался... Или так показалось Степану. Но только он еще раз с мольбой сказал:

— Фрол, друг... спаси: доживем вольными людями. Не страх меня убивает, а — совестно так жизнь отдавать. Веришь, нет — загодя от стыда душа обмирает. Это ж — перед всем-то народом... Сам теперь жалкую, что поехал тада в Кагальник — стих накатил какой-то. Мы ишо стрепенемся, Фрол!

— Без ума, что ли, бьесся? — сказал Фрол, не глядя на Степана. Встал и пошел прочь грузным шагом.

Степан отвернулся... Резко тряхнул головой, скидывая с ресниц слезы. Сплюнул.

Казаки были уже все верхами. Подъехали сажать на коней Степана и Фрола, они сами не могли сесть из-за цепей.

— Другой раз в казаки крестют нас, брат, — сказал Степан брату. — Первый раз — когда отец малых... Я про себя-то не помню, а с тобой — помню: вокруг церкви отец возил: тоже подсаживал да держал. Теперь тоже — подсаживают и держут, чем не крестины! Вот. А ты закручинился. Казаку, когда его один-то раз в казаки крестили, и то пропасть нелегко, а нас — по другому разу. Не тужи, брат, не пропадем.

Фрол Минаев через день пути сказался хворым и вернулся в Черкасск. Многие поняли: не хочет видеть казни Степана в Москве. Не хочет и близко быть к тому месту, где прольется кровь атамана, бывшего друга его.

Понял это и Степан. Долго после того караулил минуту, когда брат Фрол окажется близко и их не услышат; скараулил, стал наказывать брату тихо, просительно:

— Фрол... потерпи, как пытать станут, пожалей меня... Не кричи, не кайся.

Брат Фрол молчал.

— Потерпи, Фрол, — просил Степан, стараясь найти

слова добрые, ласковые. — Что теперь сделаешь? Разок перетерпим, зато ни одну собаку не порадуем. Хоть память... хоть лихом никто не помянет.

— Тебе хорошо — ты погулял вволю, — сказал Фрол.

— Ну!.. — Степан не знал, что на это сказать. — Фролушка, милый ты мой, потерпи: закричишь, все дело смажешь. Ради Христа, прошу... Сам Христос вон какие муки вынес, ты же знаешь. Потерпи, Фрол. Подумай-ка, сколь народу придет смотреть нас!.. А мы вроде обманем их. У нас отец хорошо помер, брат Иван тоже... Ты вот не видал, как Ивана удавили, а я видал — хорошо помер, нам с тобой не совестно за их было. Не надо и нам радовать лиходеев, не надо, Фрол, пожалей меня. Я любил тебя, зря, можеть, затянул с собой, но... теперь чего про это — поздно. Теперь примем все сполна... бог с ей, с жизней. Ладно, Фрол?

Фрол подавленно молчал. Что он мог сказать? — он не знал, как там будет, сможет ли он вытерпеть все.

— Фрол Минаев, смотри, — отвалил, — подвел к концу Степан свою просьбу. — Знаешь пошто? Не хочет на наши муки смотреть — совестно. Вишь, ждут — сломаемся. Не надо, брат. Думай все время про ихные усмешки поганые — легче терпеть будешь. Смотри на меня: как я, так и ты. Будем друг на дружку глядеть — не так будет... одиноко. Это хорошо, что нас вместе: они нам, дураки, силы прибавляют.

Лет через десять после того юный Афонька Разин, пасынок Степана, выпив лишка, стал резко и опасно говорить — в присутствии войскового атамана, — что-де он еще «пустит кой-кому кровя» за отчима — отомстит... Все так и ахнули. Подумали: пропал Афонька, малолеток, дурачок. Но войсковой только глянул на казачка... И, помолчав, грустно промолвил:

— Пусть сперва молоко материно на губах обсохнет. Мститель. Не таких... — И не досказал войсковой. Смолк.

Войсковым тогда был Фрол Минаев.

16

И загудели опять все сорок сороков московских.

Разина ввозили в Москву.

Триста пеших стрельцов с распущенными знаменами шествовали впереди.

Затем ехал Степан на большой телеге с виселицей. Под этой-то виселицей, с перекладины которой свисала петля, был распят грозный атаман — руки, ноги и шея его были прикованы цепями к столбам и к перекладине виселицы. Одет он был в лохмотья, без сапог, в белых чулках. За телегой, прикованный к ней за шею тоже цепью, шел Фрол Разин.

Телегу везли три одномастных (вороных) коня.

За телегой, чуть поодаль, ехали верхами донские казаки во главе с Корнеем и Михайлой Самарениным.

Заключали небывалое шествие тоже стрельцы с ружьями, дулами книзу.

Степан не смотрел по сторонам. Он как будто думал одну какую-то большую думу, и она так занимала его, что не было ни желания, ни времени видеть, что творится вокруг.

Так ввезли их в Кремль и провели в Земский приказ.

И сразу приступили к допросу. Царь не велел мешкать.

— Ну? — мрачно и торжественно молвил думный дьяк. — Рассказывай... Вор, душегубец. Как все затевал?.. С кем сговаривался?

— Пиши, — сказал Степан. — Возьми большой лист и пиши.

— Чего писать? — изготовился дьяк.

— Три буквы. Великие. И неси их скорей великому князю всея-всея.

— Не гневи их, братка! — взмолился Фрол. — К чему ты?

— Что ты! — притворно изумился Степан. — Мы же у царя!.. А с царями надо разговаривать кратко. А то они гневаются. Я знаю.

Братьев свели в подвал.

За первого принялись за Степана.

Подняли на дыбу: связали за спиной руки и свободным концом ремня подтянули к потолку. Ноги тоже связали, между ног просунули бревно, один конец которого закрепили. На другой, свободный, приподнятый над полом, сел один из палачей — тело вытянулось, руки вывернулись из суставов, мускулы на спине напряглись, вздулись.

Кнутовой мастер взял свое орудие, отошел назад, замахнул кнут обеими руками над головой за себя, подбежал, вскрикнул и резко, с вывертом опустил смоленый

кнут на спину. Удар лег вдоль спины бурым рубцом, который стал напухать и сочиться кровью. Судорога прошла по телу Степана. Палач опять отошел несколько назад, опять подскочил и вскрикнул — и второй удар рассек кожу рядом с первым. Получилось, будто вырезали ремень из спины. Мастер знал свое дело. Третий, четвертый, пятый удар... Степан молчал. Уже кровь ручейками лилась со спины. Сыромятный конец ремня размяк от крови, перестал рассекать кожу. Палач сменил кнут.

— Будешь говорить? — спрашивал дьяк после каждого удара.

Степан молчал.

Шестой, седьмой, восьмой, девятый — свистящие, влипающие, страшные удары. Упорство Степана раззадорило палача. Умелец он был известный, и тут озлобился. Он сменил и второй кнут.

Фрол находился в том же подвале, в углу. Он не смотрел на брата. Слышал удары кнута, всякий раз вздрагивал и крестился. Но он не услышал, чтобы Степан издал хоть один звук.

Двадцать ударов насчитал подручный палача, сидевший на бревне.

— Двадцать. Боевой час, — сказал он. — Дальше... без толку: забьем, и все.

Степан был в забытьи, уронив голову на грудь. На спине не было живого места. Его сняли, окатили водой. Он глубоко вздохнул.

Подняли Фрола.

После трех-четырех ударов Фрол громко застонал.

— Терпи, брат, — серьезно, с тревогой сказал Степан. — Мы славно погуляли — надо потерпеть. Кнут не Архангел, душу не вынет. Думай, что — не больно. Больно, а ты думай: «А мне не больно». Что это? — как блоха укусила, ей-богу! Они бить-то не умеют.

После двенадцати ударов Фрол потерял сознание. Его сняли, бросили на солому, окатили тоже водой.

Стали нажигать в жаровнях уголья. Нажгли, связали Степану руки спереди теперь, просунули сквозь ноги и руки бревно, рассыпали горячие уголья на железный лист и положили на них Степана спиной.

— О-о!.. — воскликнул он. — От эт достает! А ну-ка, присядь-ка на бревно-то — чтоб до костей дошло... Так! Давненько в бане не был — кости прогреть. О-о... так! Ах, сукины дети, — умеют, правда...

— Где золото зарыл? С кем списывался? — вопрошал дьяк. — Где письма? Откуда писали?..

— Погоди, дьяче, дай погреюсь в охотку! Ах, в гробину вас!.. В три господа бога мать, не знал вперед такой бани — погрел бы кой-кого... Славная баня!

Ничего не дала и эта пытка.

Два палача и сам дьяк принялись бить лежащего Степана по рукам и по ногам железными прутьями.

— Будешь говорить?! — заорал дьяк.

— Июды, — сказал Степан. — Бейте уж до конца... — Он и хотел уж, чтоб забили бы насмерть тут, в подвале, — чтобы только не выводили на народ такого... слабого.

— Где добро зарыл?

На это Степан молчал.

— Заговорил? — спросил царь.

— Заговорит, государь! — убежденно сказал думный дьяк, не тот, что был при пытке, а другой, который часто проведывал Разиных в подвале: он истинно веровал в кнут и огонь. — Покамест упорствует.

— Спросить, окромя прочего: о князе Иване Прозоровском и о дьяках. За что побил и какая шуба?

Писец быстро записывал вопросы царя.

— Как пошел на море, по какому случаю в Астрахань ясырь присылал? Кому? По какому умыслу, как вина смертная отдана, хотел их побить и говорил? За что вселенских хотел побить, что они по правде низвергли Никона, и что он к ним приказывал? И старец Сергей от Никона по зиме нынешней прошедшей приезжал ли? Как иттить на Синбирск, жену видал ли?

Степана привязали спиной к столбу, заклячили голову в кляпы, выбрили макушку и стали капать на голое место холодную воду по капле. Этой муки никто не мог вытерпеть.

Когда стали выбривать макушку, Степан слабым уже голосом сказал:

— Все думал... А в попы постригут — не думал. Я грабил, а вы меня — в попы...

Началось истязание водой.

— С крымцами списывался? — спрашивал дьяк.

Степан молчал.

Капают, капают, капают капли... Голова стянута железными обручами — ни пошевелить ею, ни уклониться от му́ки. Лицо Степана окаменело. Он закрыл глаза. А на голове куют и куют красную подкову; горит все внутри, глаза горят, сердце горит и пухнет... Да уж и остановилось бы оно, лопнуло! Господи, немо молил Степан, да пошли ты смерть!.. Ну, сколько же?.. Зачем уж так?

— Куда девал грабленое? Кого подсылал к Никону?

Волнами из тьмы плещет красный жар; голова колется от оглушительных ударов. Степан стал терять сознание.

— Чего велел сказать Никон? — еще услышал он, последнее.

...Вошел Степан в избу; сидит в избе старуха, качает дите. Поет. Степан стал слушать, прислонившись к косяку. Бабка пела:

Бай, бай, да побай,
Хоть сегодни помирай.
Помирай поскорей —
Хоронить веселей.
Тятька с работки
Гробик принесе,
Баушка у свечки рубашку сошье.
Матка у печки
Блинов напеке.
Бай, бай...
С села понесем
Да святых запоем.
Захороним, загребем
Да с могилы прочь пойдем.
Будем исть-поедать,
Да и Ваню поминать.
Ба-ай...

— Что ж ты ему такую... печальную поешь? — спросил Степан.

— Пошто печальную? — удивилась старуха. — Ему лучше будет. Хорошо будет. Ты не дослушал, дослушай-ка:

Спи, Ванюшка, спи, родной,
Вечный табе упокой:
Твоим ноженькам тепло,
И головушке...

— Хватит! — загремел в былую силу Степан.

...Он почти прошептал этот свой громовой вскрик. Мучители не расслышали, засуетились.

— Что ты? А? — склонился дьяк.

— Кто? — спросил Степан, вылавливая взглядом в горящей тьме лицо дьяка.

— Кого хотел сказать-то? — еще спросил тот.

— Вам? — Степан медленно повел глазами, посмотрел на палачей. — Ну-у... выставились... Вы рады всю Русь продать... Июды. Змеи склизкие. Не страшусь вас...

Его ударили железом каким-то по голове. Опять все покачнулось и стало валиться.

Степан закрыл глаза. И вдруг отчетливо сказал:

— Тяжко... Помоги, братка, дай силы!

...И вдруг, почудилось ему, палачи в ужасе откачнулись, попятились... В подземелье загремел сильный голос:

— Кто смеет мучить братов моих?!

Вниз со ступенек сошел Иван Разин, склонился над Степаном.

— Братка!.. — Степан открыл глаза — палачи на месте, смотрят вопросительно.

— За брата казненного мститься хотел? — спросил дьяк. — Так?

Степан закрыл глаза. Больше он не проронил ни слова. Ни единого стона или вздоха не вырвалось больше из его уст. Господи, молил и молил он, пока помнил, да пошли ты мне смерти. Ну, что же так?.. Так уж и я не могу.

Царю доложили:

— Ничего больше не можно сделать. Все пробовали...

— Молчит?

— Молчит.

Царь гневно затопал ногами, закричал (Романовы все кричали, это потом, когда в их кровь добавилась кровь немецкая, они не кричали):

— Чего умеете?! Чего умеете?! Ничего не умеете!

— Все пробовали, государь... Из мести уперся, вор. За поимку свою мстится. Дальше без толку — дух испустит.

— Ну, и... все, будет, — сказал царь. — Не волыньте.

17

Красная площадь битком набита. Яблоку негде упасть.

Показались братья Разины под усиленной охраной. Площадь замерла.

Степан шел впереди... За ночь он собрал остатки сил и теперь стараясь идти прямо и гордо глядел вперед. Больше у него ничего не оставалось в последней, смертной борьбе с врагами — стойкость и полное презрение к предстоящей последней муке и к смерти. То и другое он вполне презирал. Он был спокоен и хотел, чтобы все это видели. Его глубоко и больно заботило — как он примет смерть.

Сам, без помощи палачей, взошел он на высокий помост лобного места. Фролу помогли подняться.

Дьяк стал громко вычитывать приговор:

— «Вор и богоотступник и изменник донской казак Стенька Разин!

В прошлом 175-м году, забыв ты страх божий и великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича крестное целование и ево государскую милость, ему, великому государю, изменил, и собрався, пошел з Дону для воровства на Волгу. И на Волге многие пакости починил, и патриаршие и монастырские насады, и иных многих промышленных людей насады ж и струги на Волге и под Астраханью погромил и многих людей побил».

Слушал люд московский затаив дыхание.

Слушал и не слушал Степан историю славных своих походов. Он помнил их без приговора. Спокойно его лицо и задумчиво. Он старался изо всех сил стоять прямо.

— «Ты ж, вор, и в шахове области многое воровство учинил. А на море шаховых торговых людей побивал и животы грабил, и городы шаховы поимал и разорил, и тем у великого государя с шаховым величеством ссору учинил многую».

Степан посмотрел на царскую башню на Кремлевской стене...

Оттуда смотрел на него царь Алексей Михайлович.

— «А во 177-м году по посылке из Астрахани боярина и воевод князя Ивана Семеновича Прозоровского стольник и воевода князь Семен Львов и с ним великого государя ратные люди на взморье вас сошли и обступили и хотели побить. И ты, вор Стенька с товарыщи, видя над собой промысл великого государя ратных людей, прислал к нему, князь Семену, двух человек выборных казаков. И те казаки били челом великому государю от всего войска, штоб великий государь пожаловал, велел те ваши вины отдать. А вы за те свои вины ему, велико-

му государю, обещались служить безо всякой измены и меж великим государем и шаховым величеством ссоры и заводов воровских никаких нигде не чинить и впредь для воровства на Волгу и на моря не ходить. И те казаки на том на всем за все войско крест целовали. А к великому государю к Москве прислали о том бить челом великому государю казаков Ларьку и Мишку, с товарыщи, знатно, обманом».

Вот когда во всю силушку заговорила бумага-то! Вот как она мстила теперь.

— «А во 178-м году ты ж, вор Стенька с товарыщи, забыв страх божий, отступя от святые соборные и апостольские церкви, будучи на Дону, и говорил про спасителя нашего Иисуса Христа всякие хульные слова, и на Дону церквей божиих ставить и никакова пения петь не велел, и священников з Дону збил, и велел венчаться около вербы. Ты ж, вор, пошел на Волгу...»

Волга... Неведомо ей, что славный герой ее, которого она качала на волне своей, слушает сейчас в Москве последние в жизни слова себе.

— «Ты ж, вор Стенька, пришед под Царицын, говорил царицынским жителям и вместил воровскую лесть, бутто их, царицынских жителей, ратные великого государя люди идут сечь. А те ратные люди посланы были на Царицын им же на оборону. И царицынские жители по твоей прелести своровали и город тебе здали. И ты, вор, воеводу Тимофея Тургенева и царицынских жителей, которые к твоему воровству не пристали, побил и посажал в воду».

Слушал народ московский. Молчал.

— «Ты ж, вор, сложась в Астрахани с ворами ж, боярина и воеводу князя Ивана Семеновича Прозоровского, взяв из соборной церкви, с раскату бросил. И брата его князя Михаила, и дьяков, и дворян, и детей боярских, которые к твоему воровству не пристали, и купецких всяких чинов астраханских жителей, и приезжих торговых людей побил, а иных в воду пометал мучительски, и животы их пограбил».

Степан смотрел куда-то далеко-далеко.

— «А учиня такое кровопролитие, из Астрахани пришел к Царицыну, а с Царицына к Саратову, и саратовские жители тебе город здали по твоей воровской присылке. А как ты, вор, пришел на Саратов, и ты государеву денежную казну и хлеб и золотые, которые были на

Саратове, и дворцового промыслу, все пограбил и воеводу Козьму Лутохина и детей боярских побил.

А от Самары ты, вор и богоотступник, с товарыщи под Синбирск пришел, с государевыми ратными людьми бился и к городу Синбирску приступал и многие пакости починил. И послал в разные города и места свою братью воров с воровскими прелестными письмами, и писал в воровских письмах, бутто сын великого государя нашего благоверный государь наш царевич и великий князь Алексей Алексеич жив и с тобой идет.

Да ты ж, вор и богоотступник, вмещал всяким людям на прелесть, бутто с тобою Никон монах, и тем прельщал всяких людей. А Никон монах по указу великого государя по суду святейших вселенских патриарх и всего Освещенного престола послан на Белоозеро в Ферапонтов монастырь, и ныне в том монастыре.

А ныне по должности к великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичу службой и радением войска Донского атамана Корнея Яковлева и всево войска и сами вы и с братом твоим с Фролкой поиманы и привезены к великому государю к Москве.

И за такие ваши злые и мерзкие пред господом богом дела и к великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичу за измену и ко всему Московскому государству за разоренье по указу великого государя бояре приговорили казнить злою смертью — четвертовать».

Все так же спокойно, гордо стоял Степан.

Палач взял его за руку... Степан оттолкнул палача, повернулся к храму Василия Блаженного, перекрестился.

Потом поклонился на три стороны народу (минуя Кремль с царем), трижды сказал громко, как мог:

— Прости!

К нему опять подступили... Степан хотел лечь сам, но двое подступивших почему-то решили, что его надо свалить; Степан, обозлившись, собрал остатки сил и оказал сопротивление. Возня была короткая, торопливая; молча сопели. Степана уронили спиной на два бруса — так, что один брус оказался под головой, другой — под ногами... В тишине тупо, коротко тяпнул топор — отпала правая рука по локоть. Степан не издал стона, только удивленно покосился на отрубленную руку. Палач опять взмахнул топором; железное лезвие хищно всплеснуло на горячем солнце белым огнем; смачный, с хрустом, стук — отвалилась левая нога по колено. И опять ни стона, ни

вздоха громкого... Степан, смертно сцепив зубы, глядел в небо. Он был бледен, на лбу мелкой росой выступил пот.

Фрол, стоявший в трех шагах от брата, вдруг шагнул к краю помоста и закричал в сторону царя:

— Государево слово и дело!

— Молчи, собака! — жестко, крепко, как в недавние времена, когда надо было сломить чужую волю, сказал Степан. Глотнул слюну и еще сказал — тихо, с мольбой, торопливо: — Потерпи, Фрол... родной... Недолго.

Палач третий раз махнул топором...

Гулко, зевласто охнул колокол. Народ московский дрогнул. Вскрикнула какая-то баба...

Палач рубил еще дважды.

Еще и еще били в большой колокол. И зык его — густой, тяжкий — низко плыл над головами людей...

КОММЕНТАРИИ

ЛЮБАВИНЫ

Замысел романа (первоначальное название «Баклань») относится ко второй половине 50-х годов: В. М. Шукшин, студент ВГИКа, ездит на каникулы в родное алтайское село Сростки и там подолгу беседует со старожилами о временах гражданской войны и коллективизации.

В основу романа положены семейные предания. Вопрос о прототипах ждет отдельного исследования: Байкаловы, Колокольниковы, Малюгины, Поповы — фамилии реальных, живущих в Сростках семейств. Очевидная связь образа Марии Поповой с матерью писателя Марией Сергеевной Шукшиной (урожденной Поповой) отмечалась в критической литературе. Менее очевидна, но не менее реальна связь романа с воспоминаниями В. М. Шукшина об отце. В рабочих тетрадях писателя сохранился набросок, озаглавленный «Отец» и посвященный Макару Леонтьевичу Шукшину; этот набросок важен для понимания творческой эволюции Шукшина-романиста.

«О т е ц.

Отца плохо помню. Помню — точно это было во сне — бежал за жнейкой по пыльной улице и просил его:

— Тять, прокати! Тять!

Еще помню: он лежал на кровати — прилег, а я разбежался от лавки и прыгнул ему на грудь. А он сказал:

— О, как ты умеешь!

Рассказывают, это был огромный мужик, спокойный, красивый... Насчет красоты — трудно сказать. У нас красивыми называют здоровых, круглолицых — «ряшка — во!». Наверно, он был действительно очень здоровый: его почему-то называли двухсердечным. Фотографии его ни одной не осталось — не фотографировали. Он был какой-то странный человек. Я пытаюсь по рассказам восстановить его характер и не могу — очень противоречивый характер. А может, не было еще никакого характера — он был совсем молодой, когда его «взяли», — двадцать два года.

Мать моя вышла за него «убегом». Собрала в узелок рубашонки, какие были, платьишки — айда! Ночью увез, на санях.

А потом — ничего: сыграли свадьбу, все честь по чести. Просто мамины родители хотели немного покуражиться — не отдавали девку.

А потом жили неважно.

Отец был на редкость неразговорчивый. Он мог молчать целыми днями. И неласковый был, не ласкал жену. Другие ласкали, а он нет. Мама плакала. Я, когда подрос и начитался книг, один раз хотел доказать ей, что не в этом же дело — не в ласках. Она рассердилась:

— Такой же, наверное, будешь... Не из породы, а в породушку.

Почему-то отец не любил попа.

Когда поженился, срубил себе избу. Избу надо крестить. Отец на дыбы — не хочет, мать в слезы. На отца напирает родня с обеих сторон: надо крестить. Отец махнул рукой: делайте что хотите, хоть целуйтесь со своим длинногривым мерином.

Воскресенье. Мать готовится к крестинам, отец во дворе. Скоро должен прийти поп. Мать радуется, что все будет как у добрых людей. А отец в это время, пока она хлопотала и радовалась, потихоньку разворотил крыльцо, прясло, навалил у двери кучу досок и сидит тюкает топором какой-то кругляш. Он раздумал крестить избу.

Пришел поп со своей свитой: в избу не пройти.

— Чего тут крестить, я ее еще не доделал, — сказал отец.

Мать неделю не разговаривала с ним. Он не страдал от того.

А меня крестили втайне от отца. Он уехал на пашню, а меня быстренько собрали мать с бабкой и оттащили в церковь.

Работать отец умел и любил. По-моему, он только этим и жил — работой. Уезжал на пашню и жил там неделями безвыездно. А когда к нему приезжала мама, он был недоволен.

— Макар, вон баба твоя едет, — говорили ему.

— Ну и что теперь?

— Я ехала к нему, как к доброму, — рассказывала мама. — Все едут и я еду — жена ведь, не кто-нибудь. А он увидит меня, возьмет топор и пойдет в согру дрова рубить. Разве не обидно? Дура была молодая: надо было уйти от него.

И всегда она мне так рассказывала об отце. А я почему-то любил его <...>». *(Архив В. М. Шукшина.)*

Этот набросок существен как для творческой истории «Любавиных», так и для формирования замысла романа В. М. Шукшина о Разине. По свидетельству близко знавших Шукшина людей, характер отца сложным образом ассоциировался у него с характером Степана Разина. Что же до «Любавиных», то черты Макара Леонтьевича Шукшина можно распознать у некоторых главных героев романа. Написанный в 1959 году набросок «Отец» яв-

ляется, по-видимому, первым подступом В. М. Шукшина к тексту романа «Любавины».

Роман написан в 1959—1961 годах, преимущественно в общежитии ВГИКа («четыре гаврика в одной клетке», М. И. Ромм — один из первых читателей). Думая, куда предложить текст, В. М. Шукшин колеблется между двумя журналами, которые печатают в ту пору его рассказы: между «Октябрем» и «Новым миром». 16 ноября 1962 года главный редактор «Октября» Всеволод Кочетов в «Комсомольской правде» называет Шукшина постоянным автором журнала и добавляет: «Мы знаем, что он готовит и крупное произведение».

«Крупное произведение» — роман «Любавины» — в это время (ноябрь 1962 г.) лежит в редакции «Нового мира». «Новый мир» «Любавиных» отвергает, но из редакции роман попадает в издательство «Советский писатель». В течение 1963 года идет рецензирование. Рецензенты: Георгий Радов, Евгений Белянкин, Николай Задорнов и Ефим Пермитин — достаточно жестки к автору; однако замечания Е. Н. Пермитина, вполне конкретные, В. М. Шукшин принимает и по ним дорабатывает рукопись. К осени 1964 года доработка закончена, и текст одобрен издательством.

5 апреля 1964 года отрывок из «Любавиных» появляется в газете «Московский комсомолец».

К этому времени вновь возникает вопрос о публикации романа в журнале — на этот раз в журнале «Сибирские огни»: осенью 1964 года текст запрошен журналом из издательства. К декабрю собраны внутренние рецензии членов редколлегии и работников редакции (А. Иванов, Л. Чикин, А. Никульков, А. Высоцкий). Замечания носят еще более жесткий характер, чем в издательстве: от общих пожеланий прописать фон и атмосферу до поправок бытового и хронологического характера. Сознавая серьезность претензий, редакция направляет к В. М. Шукшину для переговоров Н. Н. Яновского. Переговоры успешны, однако через некоторое время В. М. Шукшин пишет Н. Н. Яновскому письмо, в котором берет назад свое согласие на переделки, — письмо это ценно как пример авторского отношения В. М. Шукшина к тексту:

«Дорогой Николай Николаевич!

Я еще раз прочел рукопись (с замечаниями) и еще раз (честно, много-много раз) рецензии на рукопись и понял: мы каши не сварим. Надо быть мужественным (стараться, по крайней мере). Я признаю, что довольно легкомысленно и несерьезно кивал Вам головой в знак согласия. А когда подумал один — нет, не согласен. Кроме одного — времени. (Время — да! как говорит Иванов.)

Меня особенно возмутил тов. Высоцкий (я его тоже возмутил). Так прямо и махает красным карандашом: хошь не хошь — клони грешную голову <...>. Он у меня хочет отнять то, что я прожил, то, что слышал, слушал, впитал и т. д. Я не в обиде, я просто хочу сказать, что **т а к** не размахивают красным карандашом. Да еще и безосновательно.

Я готов спорить с Вами, тов. Высоцкий, по любому «пункту» Ваших замечаний, но это уже не будет касаться романа. Вы тоже — о времени? Согласен. Да. А еще о чем?.. О ком? Что, неважно, что ли? А то ведь пошли — «сапоги не дегтярят в избе», «обрезов не бывало из дробовых ружьев»... — да все с таким несокрушимым обвалом, что уж тут — ну и бог с вами! А я знаю, что так было. Знаю, вот и все.

Озадачила меня рецензия Л. Чикина. «При большой работе...» Сколько? Лет пятнадцать? Простите мне, Леонид, это пугает смертных. Я хожу и думаю: сколько мне осталось? И неужели это действительно так важно, что в деревне (нам с Вами двоим известно) живут еще люди с фамилиями из романа? Ну? И что? Смею уверить: они наши книжки не читают, ибо им часто и часто — неинтересно. Господи, когда же мы почувствуем, что ведь это нужно — чтоб нас читали.

Как будто трудно исправить некоторые неточности в смысле времени — раз плюнуть! Но ведь тут и одно, и другое — и «стиль», и «фамилии» — да все: карандаш! Увольте. Простите.

Николай Николаевич! Прошу наш договор перечеркнуть, — я в тех размерах исправления, какие предлагает редакция <делать>, не согласен. Смалодушничал, простите, — согласился. Не надо всего этого. Я начну исправлять — угодничать: кому это надо?

Простите, ребята, что морочил вам голову. Простите, правда, — мне, поверьте, не очень уж легко <...>». *(Архив В. М. Шукшина.)*

Однако в ходе дальнейшей работы автор и редакция все же находят общий язык, и роман, доработанный для журнала, печатается в «Сибирских огнях» летом 1965 года (№ 6—9) — практически одновременно с выходом отдельного издания в «Советском писателе».

16 июля отрывок из «Любавиных» появляется в еженедельнике «Литературная Россия». В. М. Шукшин предпосылает этой публикации вступление, интересное как с точки зрения его авторских чувств, так и в плане развиваемой им концепции русского крестьянства:

«Отдавая роман на суд читателя, испытываю страх. Оторопь берет. Я, наверно, не одинок в этом качестве — испугавшегося

перед суровым и праведным судом, но чувство это, знакомое другим, мной овладело впервые, и у меня не хватило мужества в этом не признаться.

Это — первая большая работа: роман. Я подумал, что, может быть, я, крестьянин по роду, сумею рассказать о жизни советского крестьянства, начав свой рассказ где-то от начала двадцатых годов и — дальше...

22-й год. Нэп — рискованное, умное, смелое ленинское дело. Город — это более или менее известно. А 22-й год — глухая сибирская деревня. Еще живут и властвуют законы, сложившиеся веками. Еще законы, которые принесла и продиктовала новая власть, Советская, не обрели могущества, силы, жестокой справедливости.

Еще недавно был Колчак, еще совсем недавно слова «верховный правитель» звучали царским окриком, была отчаянная, довольно крепкая попытка оставить «все, как было». Но есть — Время, Революция...

Мне хотелось рассказать об одной крепкой сибирской семье, которая силой напластования частнособственнических инстинктов была вовлечена в прямую и открытую борьбу с Новым, с новым предложением организовать жизнь иначе. И она погибла. Семья Любавиных. Вся. Иначе не могло быть. За мальчиком, который победил их, пролетарским посланцем, стоял класс, более культурный, думающий, взваливший на свои плечи заботу о судьбе страны.

Об этом роман. У меня есть тайная мысль: экранизировать его. Но прежде хотелось бы узнать мнение читателя о нем. Можно сдуру ухлопать огромные средства, время, силы — а произведение искусства не случится, ибо не было к тому оснований. И вот такая просьба: посоветуйте, скажите как-нибудь: надо это делать или нет?..»

Относительно экранизации: В. М. Шукшин ее делать не стал. Шесть лет спустя с согласия автора «Любавины» были экранизированы режиссером Л. Головней по сценарию Л. Нехорошева; фильм вызвал сдержанно-отрицательные отзывы прессы; сам В. М. Шукшин в печати не высказывался.

О месте романа в дальнейших литературных планах автора можно судить по интервью, данному В. М. Шукшиным корреспонденту газеты «Молодежь Алтая» (1 января 1967 г.):

«...Думаю года через два приступить к написанию второй части романа «Любавины», в которой хочу рассказать о трагической судьбе главного героя — Егора Любавина, моего земляка-алтайца. Главная мысль романа — куда может завести судьба сильного и волевого мужика, изгнанного из общества, в которое ему нет возврата. Егор Любавин оказывается в стане врагов — ос-

татков армии барона Унгерна, которая осела в пограничной области Алтая, где существовала почти до начала тридцатых годов. Он оказывается среди тех, кто душой предан своей русской земле и не может уйти за кордон, а вернуться нельзя — ждет суровая расплата народа. Вот эта-то трагедия русского человека, оказавшегося на рубеже двух разных эпох, и ляжет в основу будущего романа».

Эта часть замысла не была осуществлена, однако В. М. Шукшин мыслил продолжение «Любавиных» шире описания судьбы одного только Егора. Во второй книге романа он рассчитывал проследить судьбы алтайских крестьян до послевоенного времени; действовать в книге должны были дети героев первой книги. В архиве В. М. Шукшина сохранился текст второй книги романа «Любавины», вчерне законченный автором в конце 60-х годов, так и не доведенный им до печати: некоторые сюжетные ситуации второй книги В. М. Шукшин впоследствии использовал в своих рассказах и фильмах, а одна из линий романа легла в основу повести «Там вдали...».

Первая книга (сами слова «первая книга» были автором сняты из публикации «Сибирских огней») вызвала при своем появлении умеренно-хвалебные отзывы критики («Литературная газета», «Литературная Россия», журналы «Знамя», «Москва», «В мире книг», «Семья и школа»). Первый роман Шукшина оказался при этом вне главных споров момента, что объясняется особенностями ситуации 1965—1966 годов: такие споры кипели в ту пору вокруг первых фильмов Шукшина; к фильмам охотно подключали его рассказы из книги «Сельские жители» и тем более из периодики; в контексте тогдашней злободневности роман казался слишком углубленным в историю и вместе с тем слишком традиционным по фактуре. Впрочем, некоторую беглую дискуссию вызвал и роман, но по «косвенной проблеме»: академик В. В. Виноградов, анализируя в «Литературной газете» язык современной прозы, упрекнул автора в излишествах «диалектно-натуралистического стиля»; В. Гура в той же газете и В. Хабин в «Литературной России» мягко оспорили это мнение; оба критика тем не менее согласились, что роман небезупречен, и заметили, что автору над ним надо еще серьезно работать.

Возможно, В. М. Шукшин последовал бы этому совету, если бы соединил в новом единстве первую и почти законченную вторую книгу, но он этого так и не сделал.

В 1972 году В. М. Шукшин переиздал «Любавиных» в Петрозаводске.

В 1975 и в 1976 годах роман входит в избранные сочинения в двух томах, изданные «Молодой гвардией».

В 1978 году «Любавины» переиздаются в Новосибирске в серии «Библиотека сибирского романа».

В 1977 году роман вышел в Варшаве по-польски, в 1979 году — в Ташкенте по-узбекски.

Критическая литература о Шукшине, появившаяся со второй половины 70-х годов, рассматривает роман «Любавины» как необходимое звено в задуманной автором художественной истории русского крестьянства и связывает его, с одной стороны, с историческим романом о Разине и, с другой — с рассказами и повестями В. М. Шукшина о современной русской деревне.

Я ПРИШЕЛ ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ

Известно, что по ходу работы над разинской темой у В. М. Шукшина крепло ощущение прямой, почти, так сказать, потомственной связи с участниками крестьянской войны: связи эти он прослеживает начиная даже не с Алтая, а именно — от разинских мест: «...Завидую моим далеким предкам, — пишет В. М. Шукшин в 1973 году, — их упорству, силе огромной. Представляю, с каким трудом проделали они этот путь — с Севера Руси, с Волги, с Дона на Алтай...»

Новейшие архивные разыскания показывают, что В. М. Шукшин имел для такой генеалогии реальные основания. По сообщению В. Гришаева («Несколько слов в биографию Шукшина». — «Сибирские огни», 1983, № 4), прадед Василия Макаровича, Павел Павлович Шукшин (отец Леонтия Павловича, дед Макара Леонтьевича), переселился в Сростки в 1867 году из Самарской губернии, и из Самарской же губернии тридцать лет спустя, в 1897 году, переселился в Сростки дед — Сергей Федорович Попов, отец Марии Сергеевны.

Таким образом подтверждается поволжское происхождение автора, на которое есть намек в романе «Я пришел дать вам волю»: «— Ты родом-то откуда?.. — А вот почесть мои родные места, там вон в Волгу-то, справа, Сура вливается, а в Суру — малая речушка Шýкша...»

Однако осознание прямого преемства с разинцами и причастности к разинской эпопее приходит к В. М. Шукшину не сразу и возникает лишь на определенном этапе.

Как предмет любви Степан Разин входит в жизнь В. М. Шукшина со школьных лет: с момента, когда он впервые слышит песню «Из-за острова на стрежень» и слова Д. Н. Садовникова воспринимает в качестве народных; существует рассказ матери В. М. Шукшина о том, как он переписывал себе эти слова (рассказ вошел в фильм А. Заболоцкого «Слово матери», снятый в

1978 году). Разин, народный заступник, становится для В. М. Шукшина самой притягательной фигурой мировой истории; как уже говорилось выше, он сложно совмещается при этом с детскими воспоминаниями об отце.

Как объект писательского осмысления Степан Разин входит в творчество В. М. Шукшина с начала 60-х годов; в 1962 году опубликован рассказ «Стенька Разин»; с тех пор имя Разина лейтмотивом проходит через творчество В. М. Шукшина: через прозу, драматургию и публицистику его — как символ выстраданной народной совести и мстящей силы.

Как герой специально посвященного ему обширного программного произведения Степан Разин появляется в замыслах и творческих планах В. М. Шукшина в середине 60-х годов — с завершением первой книги «Любавиных». История крестьянской семьи требует «предыстории»; роман о Крестьянской войне XVII века возникает в сознании В. М. Шукшина как необходимый этап исследования *современного* крестьянства. В бумагах В. М. Шукшина сохранилась рабочая запись, отражающая это отпочкование исторического сюжета от сюжета семейно-родословного:

«О романе. Хотелось бы (если хватит сил, времени и еще кое-чего) проследить историю крестьянства (сибирского) до наших дней. В традициях реализма.

Всякое явление начинает изучаться с истории. Предыстория — история. Три измерения: прошлое — настоящее — будущее — марксистский путь исследования общественной жизни». *(Архив В. М. Шукшина.)*

Задумав написать «предысторию» современного крестьянства, В. М. Шукшин углубляется в специальную литературу; он собирает целую библиотеку по Разину, начиная с известной статьи К. Маркса «Стенька Разин», с книги Н. И. Костомарова «Бунт Стеньки Разина», с фундаментального собрания документов «Крестьянская война под предводительством Степана Разина» и тома иностранных свидетельств об этой войне и кончая статьями и сообщениями исторических журналов по весьма специфическим и узким аспектам темы. В. М. Шукшин изучил, например, «Дело о патриархе Никоне», изданное в 1897 году археографической комиссией по документам Московской синодальной библиотеки, — Никон был предметом его особого интереса, о нем В. М. Шукшин хотел написать роман.

Сохранившийся в архиве В. М. Шукшина список литературы насчитывает 60 названий; материалы он пополнял с помощью музейных работников Астрахани, Волгограда, Загорска, не говоря уже о московских хранилищах. Особенно прочные связи — с Новочеркасским музеем истории донского казачества. Характерный

факт: вначале музей помогает В. М. Шукшину (его консультирует Лидия Андреевна Новак), а затем уже сам музей просит его о помощи — предоставить собранный В. М. Шукшиным материал для выставки.

Фундаментальная осведомленность В. М. Шукшина в предмете будет оценена историками, но сам он исходит в своей концепции не только из эмпирического материала истории — он взаимодействует с образом, живущим в народной памяти. Этот образ не совпадает с историческим; попытка соединить эти две стороны имеет для шукшинской концепции крестьянского вождя решающее значение; ведет его в этом выборе собственная внутренняя тема — дума о крестьянстве.

Первоначально оформляется замысел фильма. В марте 1966 года В. М. Шукшин пишет заявку на литературный сценарий «Конец Разина». Это первый по времени документ, зафиксировавший работу писателя над образом Степана Разина:

«Написано о Разине много. Однако все, что мне удалось читать о нем в художественной литературе, по-моему, слабо. Слишком уже легко и привычно шагает он по страницам книг: удалец, душа вольницы, заступник и предводитель голытьбы, гроза бояр, воевод и дворянства. Все так. Только все, наверно, не так просто. (Сознаю всю ответственность свою после такого заявления. Но — хоть и немного документов о нем — они есть и позволяют увидеть Степана иначе.)

Он — национальный герой, и об этом, как ни странно, надо «забыть». Надо освободиться от «колдовского» щемящего взора его, который страшит и манит через века. Надо по возможности суметь «отнять» у него прекрасные легенды и оставить человека. Народ не утратит Героя, легенды будут жить, а Степан станет ближе. Натура он сложная, во многом противоречивая, необузданная, размашистая. Другого быть не могло. И вместе с тем — человек осторожный, хитрый, умный дипломат, крайне любознательный и предприимчивый. Стихийность стихийностью... В XVII веке она на Руси никого не удивляла. Удивляет «удачливость» Разина, столь долго сопутствующая ему. (Вплоть до Симбирска.) Непонятны многие его поступки: то хождения в Соловки на богомолье, то через год — меньше — он самолично ломает через колена руки монахам и хулит церковь. Как понять? Можно, думаю, если утверждать так: он у м е л в л а д е т ь толпой (позаимствуем это слово у старинных писателей). Он, сжигаемый одной страстью «тряхнуть Москву», шел на все: таскал за собой в расписных стругах «царевича Алексея Алексеевича» и «патриарха Никона»... (один в это время покоился в земле, другой был далеко в изгнании). Ему нужна была сила, он собирал ее, поднимал и вел. Он был жесток, не щадил врагов и преда-

лей, но он и ласков был, когда надо было. Если он мстил (есть версия, что он мстил за брата Ивана), то мстил широко и страшно, и он был истый борец за Свободу и предводитель умный и дальновидный. Позволю себе некий вольный домысел: задумав главное (вверх, на Москву), ему и Персия понадобилась, чтобы быть к тому времени в глазах народа батюшкой Степаном Тимофеевичем. (На Персию и до него случались набеги. И удачные.) Цель его была: на Москву, но повести за собой казаков, мужиков, стрельцов должен был свой, батюшка, удачливый, которого «пуля не берет». Он стал таким.

Почему «Конец Разина»? Он весь тут, Степан: его нечеловеческая сила и трагичность, его отчаяние и непоколебимая убежденность, что «тряхнуть Москву» надо. Если бы им двигали только честолюбивые гордые помыслы и кровная месть, его не хватило бы ни до Симбирска, ни до Москвы. Его не хватило <бы> до лобного места. Он знал, на что он шел. Он не обманывался. Иногда только обманывал во имя святого дела Свободы, которую он хотел утвердить на Руси.

Фильм предполагается двухсерийный, широкоэкранный, цветной».

Тогда же, в 1966 году, В. М. Шукшин замечает в «Автобиографии»:

«Сейчас работаю над образом Степана Разина. Это будет фильм. Если будет. Трудно и страшно... Гениальное произведение о Стеньке Разине создал господин Народ — песни, предания, легенды. С таким автором не поспоришь. Но не делать тоже не могу. Буду делать».

Очевидное противоречие этой записи и выше цитированной заявки раскрывает внутреннюю драматичность шукшинского замысла: он одновременно и прикован к народным легендам, и хочет вопреки этим легендам восстановить трагедию Разина-человека, и от этого дерзкого замысла ему «трудно и страшно».

В ту же пору газета «Молодежь Алтая» публикует (1 января 1967 года) следующие размышления В. М. Шукшина, где он вновь возвращается к противоречивости своего героя:

«Меня давно привлекал образ русского национального героя Степана Разина, овеянный народными легендами и преданиями. Последнее время я отдал немало сил и труда знакомству с архивными документами, посвященными восстанию Разина, причинам его поражения, страницам сложной и во многом противоречивой жизни Степана. Я поставил перед собой задачу: воссоздать образ Разина таким, каким он был на самом деле.

Сейчас я завершаю работу над сценарием двухсерийного цветного широкоформатного фильма о Степане Разине и готовлю материалы для романа, который думаю завершить к трехсотлетию

разинского восстания. А несколько раньше на экраны выйдет фильм, к съемкам которого я думаю приступить летом 1967 года.

Каким я вижу Разина на экране? По сохранившимся документам и отзывам свидетелей представляю его умным и одаренным — недаром он был послом Войска Донского. Вместе с тем поражают противоречия в его характере. Действительно, когда восстание было на самом подъеме, Разин внезапно оставил свое войско и уехал на Дон — поднимать казаков. Чем было вызвано такое решение? На мой взгляд, трагедия Разина заключалась в том, что у него не было твердой веры в силы восставших.

Мне хочется в новом фильме отразить минувшие события достоверно и реалистично, быть верным во всем — в большом и малом. Если позволит здоровье и сила, надеюсь сам сыграть в фильме Степана Разина».

Роман о Разине, который В. М. Шукшин решил написать после сценария, ему действительно удалось завершить к трехсотлетию разинского восстания. Фильм ему не удалось снять вообще. Сценарий фильма был напечатан в журнале «Искусство кино» в 1968 г. (№ 5—6). Параллельно писался роман.

Роман завершен в 1969 году. В нем две части. Для первой В. М. Шукшин долго ищет название («Помутился ты, Дон, сверху донизу»; «Вольные донские казаки»; «Вольные казаки»); вторая часть называется неизменно: «Мститесь, братья!» Третья часть («Казнь») оформляется в окончательной редакции позднее, в 1970 году.

Судьба рукописи наиболее подробно описана биографом Шукшина В. И. Коробовым в его работе «Шукшин. Годы и творчество» (журнал «Волга», 1981, № 9).

В. И. Коробов пишет:

«Роман «Я пришел дать вам волю» был отдан... журналу «Новый мир»... «Новый мир» тянул с окончательным решением, и это очень беспокоило Шукшина, так как он связывал с публикацией романа его кинематографическую судьбу. В начале мая 1970 года по пути в Сростки Василий Макарович зашел в Новосибирске в редакцию («Сибирских огней». — *Л. А.*) и передал рукопись «Разина» с условием прочитать и решить вопрос о публикации как можно скорее, желательно к его возвращению в Москву...»

Как рассказывал В. И. Коробову Н. Н. Яновский (тогда заместитель главного редактора «Сибирских огней»), «Шукшин сразу спросил: не смутят ли редакцию такие обстоятельства — роман лежит в «Новом мире», тема его и материал не сибирские, какая-то часть книги уже была напечатана в виде сценария «Искусством кино»? Яновский заверил его, что не смутит. Роман сибирякам

был прочитан быстро, решение было единогласным — публиковать».

Стало быть, на этот раз, сравнительно с прохождением «Любавиных», разногласия между автором и редакцией не возникли.

В 1970 году намечаются две публикации романа: одна — в журнале «Сибирские огни», другая — в издательстве «Советский писатель». В сибирском журнале роман быстро готовят к печати, в московском издательстве не спешат.

Задержка эта связана с тем, что внутренние рецензенты издательства обнаруживают кардинальные расхождения в оценке текста, причем литераторы сплошь оказываются оппонентами историков. Грубо говоря, литераторы роман отвергают, историки принимают. Второе обстоятельство чрезвычайно любопытно для нас: оценивая исторический роман В. М. Шукшина, именно специалисты-историки (А. Зимин, А. Сахаров, а еще раньше — В. Пашуто и С. Шмидт, рецензировавшие сценарий для «Искусства кино») становятся на сторону автора. Они отчетливо видят внутреннюю свободу, с которой В. М. Шукшин создает художественный образ Разина, однако единогласно признают, что концепция автора безусловно укладывается в рамки научно подтвержденной исторической истины. Эта поддержка со стороны ученых очень важна для В. М. Шукшина в его дальнейших усилиях.

Передав роман издателям, он делает новую попытку продвинуться вперед в работе над фильмом. В. М. Шукшин охотно беседует с корреспондентами газет о планах, представляющихся ему вполне реальными. Некоторые аспекты этих разговоров с корреспондентами интересны с точки зрения того, как шлифуется в сознании В. М. Шукшина замысел разинской эпопеи.

Корреспондент «Литературной газеты» И. Гуммер:

— Как случилось, что Вы вдруг обратились к далекой исторической теме?

В. М. Шукшин:

— Не вдруг. В «Степане Разине» меня ведет та же тема, которая началась давно и сразу, — российское крестьянство, его судьбы. На одном из исторических изломов нелегкой судьбы русского крестьянства в центре был Степан Разин. Потому — Разин. К истории я уже обращался в романе «Любавины». То была первая попытка, не столь сложная по материалу и не столь далекая по времени: в «Любавиных» речь шла о начале 20-х годов нашего века. Но тема та же, и не случайно: я по происхождению крестьянин.

Как только захочешь всерьез понять процессы, происходящие в русском крестьянстве, так сразу появляется непреодолимое желание посмотреть на них оттуда, издалека. И тогда-то возникает глубинная, нерасторжимая, кровная связь — Степан Разин и рос-

сийское крестьянство. Движение Разина — не «понизовая вольница», это крестьянское движение, крестьянским соком питавшееся, крестьянскими головами и крестьянской кровью оплаченное. И не случайно все движение названо «второй крестьянской войной».

Не менее глубокой проблемой был для меня и сам Степан Разин. Кто он, что он, каков он — не внешне, а по сути своей, по глубине — на это надо отвечать.

С высоты 300 лет фигура Разина гораздо сложнее, объемнее, противоречивее. В своем неудержимом стремлении к свободе Разин абсолютно современен, созвучен нашим дням. При всем том он остается человеком своего века. И не хочется сглаживать, вытаскивать его оттуда в наше время.

— Как известно, о Разине писали Чапыгин и Злобин, до войны был фильм с Абрикосовым в главной роли...

В. М. Шукшин:

— ...Добавьте еще ленту 1908 года «Понизовая вольница» — первый художественный фильм на Руси. Но та, пожалуй, вовсе не в счет. Только обратите внимание: первый художественный фильм — о Разине.

В смысле фактологическом дать что-либо новое о Степане Разине почти невозможно. О нем меньше известно, чем о Болотникове или Пугачеве. Правда, недавно вышел в свет объемистый многолетний труд Академии наук, в котором собраны все документы о Разине. Но и тут, к сожалению, не так много нового. В художественных произведениях неизбежны домыслы. Мои домыслы направлены в сторону связи донцов и крестьянства. Я высоко ценю прежние произведения о Разине, особенно роман Чапыгина, хорошо их знаю и не сразу отважился на собственный сценарий и роман — да, и роман — он будет печататься в журнале «Сибирские огни». Успокаивает и утверждает меня в моем праве вот что: пока народ будет помнить и любить Разина, художники снова и снова будут к нему обращаться, и каждый посвоему будет решать эту необъятную тему. Осмысление этого сложного человека, его дела давно началось и на нас не закончится. Но есть один художник, который создал свой образ вождя восстания и которого нам — никогда, никому — не перепрыгнуть, — это народ. Тем не менее каждое время в лице своих писателей, живописцев, кинематографистов, композиторов будет пытаться спорить или соглашаться, прибавлять или запутывать — кто как сможет — тот образ, который создал народ...

Это интервью напечатано 4 ноября 1970 года. С января 1971 года роман о Разине публикуется в «Сибирских огнях». С 1972 года в печати появляются отклики.

Отклики доброжелательные. Высказывается, впрочем, областная

печать, центральные газеты и журналы молчат. В некоторых рецензиях подмечена связь противоречивой, мятущейся натуры Разина с духовными исканиями самого В. М. Шукшина, но этот аспект не углублен: критики воспринимают роман о Разине прежде всего как произведение исторического жанра, рассматривают его не столько в контексте творчества В. М. Шукшина, сколько в контексте других произведений о Разине — прежде всего романов А. Чапыгина и Ст. Злобина. С этим связан несколько «академичный» тон откликов (лучший из разборов — статья В. Петелина «Степан Разин — личность и образ. Три романа о Степане Разине» — журнал «Волга», 1972, № 3).

Журнальная публикация романа благожелательно встречена критикой, а отдельное издание застопорилось. О дальнейших планах и мыслях В. М. Шукшина в связи с разинской темой и о его психологическом состоянии в эту пору могут дать представление письма, сохранившиеся в его архиве. Одно из писем адресовано жителю поселка Трудфронт Икрянского района Астраханской области Г. И. Родыгину.

Г. И. Родыгин обратился в газету «Известия» с просьбой прислать ему описание разинского струга — мастер резьбы по дереву задумал изготовить по этому описанию макет струга в подарок Астраханскому краеведческому музею. Из «Известий» письмо переслали на консультацию В. М. Шукшину. Он набросал ответ, в котором дал волю чувствам:

«Что тут сказать. Был я в Астрахани — собирал материал, готовился к фильму о Разине. К сожалению, раззвонил я об этом — о будущем фильме — широко (помогли корреспонденты), а дела пока нет. Пользуюсь случаем, отвечу разом всем, кто пишет лично мне и тоже спрашивает о фильме: нет, пока фильм не делается. Причина? Одна из них такая: у моего кинематографического руководства есть сомнения в правильности решения мной образа Степана Разина в сценарии. А так как постановка такого фильма — это деньги, и немалые, то, значит, и вопрос стоит серьезно. Теперь к письму. (Поначалу, как взял письмо, у меня даже пальцы слегка задрожали — подумал: уж не известно ли кому о Разине что-то такое, чего никто не знает?) С удовольствием отвечаю Вам.

Мне вспомнилась одна встреча на Дону. Увидел я на пристани в Старочеркасске белобородого старца, и захотелось мне узнать: как он думает про Степана? Спросил. «А чего ты про него вспомнил? Разбойник он... Лихой человек. И вспоминать-то его не надо». Так сказал старик. Я оторопел: чтобы на Дону и так... Но потом, когда спокойно подумал, понял. Работала на Руси и другая сила — и сколько лет работала! — церковь. Она, расторопная, прокляла Разина еще живого и проклинала еще 250 лет ежегод-

по, в великий пост. Это огромная работа. И она-то, эта действительно огромная работа, прямиком наводит на мысль: как же крепка благодарная память народа, что даже такие мощные удары не смогли пошатнуть ее, не внесли и смятения в душу народную — и образ Степана Тимофеевича Разина живет в ней — родной и понятной. Что ж, что старичок не хочет вспоминать? Значит, уж очень усердно бился лбом в поклонах — память отшибло. У меня даже досады на него не нашлось. А как подумаешь, что — ничего ж не смогли сделать! — помним, так радостно. Конечно, Разин был не агнец с цветком в руке, рука его держала оружие и несла смерть. Но мы и с той поры крепко запомнили: заступник найдется! Предводитель сыщется. И пусть он будет крепким.

Вы, товарищ, спрашиваете: не имеют ли ученые люди рисунка или чертежа стружка, на котором плавал Степан Разин? Мы нашли такие рисунки... Тоже так же вот искали ученых людей и нашли. Я могу выслать чертеж и фотографии рисунков. Я вышлю. Только зудится на языке спросить: а зачем уж так точно-то? Ну, будет несколько не так, как надо в музее, ну и что? Тут дороже — как самому захотелось, как бог на душу положит. Странный совет, понимаю, но — подумайте. Резон есть. Точно по рисунку да по чертежу — это как-то сухо, казенно. Не все же — музей да историки! Послушайте, как Шаляпин поет «Из-за острова...» — и делайте. Точно будет. А рисунки я Вам вышлю. Желаю удачи! Если потом пришлете фотографию Вашего стружка, буду благодарен. С уважением, Шукшин».

Это письмо, опубликованное одиннадцать лет спустя в книге В. М. Шукшина «Вопросы самому себе», к сожалению, не стало объектом интереса критиков, между тем оно — замечательное выражение мучительных метаний В. М. Шукшина между исторически достоверным Разиным и тем героем, которого жаждала его душа; грезившийся ему образ В. М. Шукшин по-прежнему то противопоставляет народной легенде, то старается опереть на нее, — хотя неоднозначность народного отношения к фигуре Разина вопиет уже из самой ситуации, когда один сельский житель не хочет «вспоминать» о Разине, а другой сельский житель хочет своими руками увековечить его память.

Между тем В. М. Шукшин продолжает работать над текстом романа. Один из этапов этой работы означен записью, сделанной женой писателя Л. Н. Федосеевой-Шукшиной 11 января 1974 года:

«Последняя ночь переписки седьмого раза романа о Разине.

— Кончил сегодня... и как будто ушел... Хороший мужик он. Жалко даже». *(Архив В. М. Шукшина.)*

К этому же времени относится свидетельство Л. Н. Федо-

сеевой-Шукшиной, записанное и опубликованное В. И. Коробовым:

«Шукшин писал последние страницы... Попросил: «Ты сегодня не ложись, пока я не закончу казнь Стеньки... я чего-то боюсь, как бы со мной чего не случилось...» Лидия Николаевна, уставшая от домашних дел, часам к двум ночи сама не заметила, как заснула. Пробудилась же в половине пятого от громких рыданий, с Василием Макаровичем была нервная истерика, сквозь стенания едва можно было разобрать слова: «Тако-о-го... мужика... погу-у-били... сво-ло-чи...»

В такие моменты и становится ясно, сколь глубоко совпадает у В. М. Шукшина образ Разина с его собственным миром: и с образом отца, и с лирическим «я» писателя.

Весной 1974 года, закончив фильм «Калина красная», В. М. Шукшин возвращается к мысли о разинской киноэпопее. Он подает на имя генерального директора киностудии «Мосфильм» Н. Т. Сизова следующую заявку:

«Предлагаю студии осуществить постановку фильма о Степане Разине.

Вот мои соображения.

Фильм должен быть двухсерийным; охват событий — с момента восстания и до конца, до казни в Москве. События эти сами подсказывают и определяют жанр фильма — трагедия. Но трагедия, где главный герой ее не опрокинут нравственно, не раздавлен, что есть и историческая правда. В народной памяти Разин — заступник обиженных и обездоленных, фигура яростная и прекрасная — с этим бессмысленно и безнадежно спорить. Хотелось бы только изгнать из фильма хрестоматийную слащавость и показать Разина в противоречии, в смятении, ему свойственных, не обойти, например, молчанием или уловкой его главной трагической ошибки — что он не поверил мужикам, не понял, что это сила, которую ему и следовало возглавить и повести. Разин — человек своего времени, казак, преданный идеалам казачества, — это обусловило и подготовило его поражение; кроме того, не следует, очевидно, в наше время «сочинять» ему политическую программу, которая в его время была чрезвычайно проста: казацкий уклад жизни на Руси. Но стремление к воле, ненависть к постылому боярству — этим всколыхнул он мужицкие тысячи, и этого у Разина не отнять: это вождь, таким следует его показать. Память народа разборчива и безошибочна.

События фильма — от начала восстания до конца — много шире, чем это можно охватить в двух сериях, поэтому напрашивается избирательный способ изложения их. Главную заботу я бы проявил в раскрытии характера самого Разина — темпера-

мент, свободолюбие, безудержная, почти болезненная ненависть к тем, кто способен обидеть беззащитного, — и его ближайшего окружения: казаков и мужицкого посланца Матвея Иванова. Есть смысл найти такое решение в киноромане, которое позволило бы (но не обеднило) делать пропуск в повествовании, избегать излишней постановочности и дороговизны фильма (неоднократные штурмы городов-крепостей, передвижения войска и т. д.), то есть обнаружить сущность крестьянской войны во главе с Разиным — во многом через образ самого Разина.

Фильм следует запустить в августе 1974 года...»

Решение о запуске фильма было принято дирекцией «Мосфильма» в сентябре 1974 года. В. М. Шукшин в эту пору снимался на Дону в картине С. Ф. Бондарчука «Они сражались за Родину». В последних числах сентября В. М. Шукшин узнал о положительном решении студии.

В ночь на 2 октября 1974 года он умер от сердечного приступа.

Поздней осенью в издательстве «Советский писатель» вышел отдельной книгой роман «Я пришел дать вам волю», так и не увиденный автором.

На этот раз реакция критики — всеобщая, бурная и яркая. Выход книги совпадает с потрясением, вызванным неожиданной смертью В. М. Шукшина. Образ Степана Разина, его внутренняя противоречивость, поиски правды и ощущение вины, трагическое чувство бессилия, драма, которая заключалась в отходе казачьей вольницы от векового крестьянского дела, само ощущение горькой неотвратимой беды, которую предвещает раскол народной души, — все это осмысляется теперь в критике не как страница художественной истории XVII века, а как прямая исповедь — свидетельство мучительных исканий самого В. М. Шукшина. Роман о Разине встает как своеобразное завещание в творческую биографию автора.

Среди последующих изданий романа (к настоящему времени их уже пять) особый интерес представляет одно, осуществленное в 1983 году историками. Роман В. М. Шукшина «Я пришел дать вам волю» вкупе с известным сочинением Г. Котошихина «О России в царствование Алексея Михайловича» входит во второй том библиотеки «История Отечества в романах, повестях, документах», которую выпускает издательство «Молодая гвардия». Том называется «Бунташный век», он составлен и прокомментирован историком В. С. Шульгиным.

В своем предисловии к тому В. С. Шульгин пишет: «В основу сюжета романа положены реальные исторические события, при описании которых автор широко использует материал источников, в нем действует много реальных исторических лиц. Конеч-

но, как во всяком художественном произведении, здесь есть и вымышленные эпизоды, и вымышленные действующие лица. Но не само по себе наличие вымысла и его количественное соотношение с реальными фактами является главным критерием при оценке степени достоверности художественного исторического повествования. Важнее другое: насколько вымысел согласуется с реальными фактами, вписывается в реальную историческую действительность, насколько интерпретация автора описываемых событий, действительно происходивших, соответствует этой действительности, логике истории, современным научным представлениям, в какой мере убедительны и достоверны образы героев, реальных и вымышленных, правильно ли отражена их социальная психология».

Отметив определенную психологическую модернизацию фигуры Разина в романе (некоторый форсаж антицаристских и антицерковных настроений), В. С. Шульгин признает эту вольность законной с точки зрения художественного замысла. По его мнению, «выгодно отличает этот роман также стремление автора избежать односторонности в образе Степана Разина, показать его исторически обусловленную противоречивость».

Автор предисловия отмечает в романе «расширение и укрепление реальной фактической основы» сравнительно с предшественниками В. М. Шукшина, широкое использование материала источников, а главное — достоверность в передаче «стихийного, импульсивного характера крестьянской войны».

Это очень важное для нас суждение. Художественный организм рожден, как уже говорилось, взаимодействием трех начал: во-первых (и прежде всего), это собственная исповедальная дума автора, во-вторых, это народные легенды (пробудившие когда-то в авторе любовь к Разину) и, в-третьих, это исторический материал (изученный им в процессе работы). Сложное взаимодействие В. М. Шукшина с легендами видно из его высказываний. Взаимодействие его с исторической фактурой — проблема не менее сложная. Тем более существенно мнение историков, подтверждающих, что В. М. Шукшин, отнюдь не связывая себя материалом до скрупулезности, сумел уловить главное: характер исторической эпохи, и что историческая реальность: импульсивность, стихийность крестьянского движения XVII века — угадана, раскрыта и подтверждена художественной структурой романа: теперешней болью самого автора.

«Однако, — пишет В. С. Шульгин, — как нам кажется, автору свойственно стремление несколько преувеличивать степень сознательности рядовых участников движения и особенно его руководителей. Это проявляется в ряде вымышленных эпизодов романа, в интерпретации автором некоторых реальных фактов,

в размышлениях Разина о целях борьбы, о царе и царской власти, о религии и церкви. Особенно ярко эта тенденция проявляется в образе Матвея Иванова, которому в романе отведена роль «крестьянского идеолога». Этот образ явно модернизирован: крестьянин XVII века, начисто лишенный царистских иллюзий и совершенно не подверженный влиянию религиозной идеологии, — фигура малореальная. Создается впечатление, что через Матвея Иванова автор делится с читателем своими собственными раздумьями о происходивших событиях, своими оценками этих событий».

Так задуманная В. М. Шукшиным «предыстория» крестьянства подкрепляет сегодняшнюю его мысль о нем и сама подкрепляется ею.

«Бунташный век» снабжен построчными комментариями. Читатель, интересующийся чисто исторической стороной дела, может найти в комментариях В. С. Шульгина подробное толкование некоторых слов, вполне понятных лишь в контексте XVII века. Мы здесь этих толкований не приводим, поскольку полагаем, что читатель, интересующийся духовным опытом В. М. Шукшина, поймет эти слова из художественного контекста.

В 1977 году роман «Я пришел дать вам волю» издан в Хельсинки по-фински, в 1978 году — в Братиславе по-словацки, в 1978 году — в Берлине и в 1980 году — в Штутгарте по-немецки, в 1980 году — в Киеве по-украински.

К началу 80-х годов роман В. М. Шукшина «Я пришел дать вам волю» прочно входит также в сферу внимания литературоведов и историков литературы (см., например: Петров С. М. Русский советский роман. М., 1980; Чмыхов Л. М. История и современность. — В кн.: Проблемы совершенствования анализа художественных произведений в вузовском преподавании. М., 1977).

О ширящемся общественном и эстетическом резонансе романа В. М. Шукшина свидетельствует обилие его инсценировок: Белорусский театр имени Янки Купалы — 1976; Русский драматический театр Бурятской АССР — 1976; Русский драматический театр Эстонской ССР — 1977; Московский театр-студия на Красной Пресне — 1977; Московский театр имени Евгения Вахтангова — 1979.

Л. АННИНСКИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Шукшин В. М.

Ш 95 Собрание сочинений. В 3-х т. Т. 1. Любавины; Я пришел дать вам волю: Романы / Сост. Л. Федосеева-Шукшина; Вступ. ст. С. Залыгина; Коммент. Л. Аннинского. — М.: Мол. гвардия, 1984. — 702 с.

В пер.: 2 р. 80 к. 150 000 экз.

В 1-й том собрания сочинений входят романы. Действие в романе «Любавины» развертывается в Сибири в 20-х годах. В центре произведения — семья сельских богатеев. Роман «Я пришел дать вам волю» — широкое историческое полотно, отражающее сложные драматические события крестьянского восстания под предводительством Степана Разина.

Ш $\frac{4702010200-065}{078(02)-84}$ Свод. пл. подписных изд. 1984

ББК 84Р7
Р2

ИБ № 3727

Василий Макарович Шукшин

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. Т. 1

Редактор
Г. Кострова
Художники
А. Яковлев, А. Озеревская
Художественный редактор
А. Романова
Технический редактор
Г. Прохорова
Корректоры
В. Авдеева, Т. Пескова,
Т. Крысанова

Сдано в набор 26.10.83. Подписано в печать 17.02.84. А00616. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 36,96+0,10 вкл. Усл. кр.-отт. 37,48. Учетно-изд. л. 39,8. Тираж 150 000 экз. (1-й завод 75 000 экз.). Цена 2 р. 80 к. Заказ 1154.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская ул., 21.